

---

**САША ЧЕРНЫЙ**

---

**САША ЧЕРНЫЙ**

---

**САША ЧЕРНЫЙ**

---

**САША ЧЕРНЫЙ**

---

**САША ЧЕРНЫЙ**

---

# САША ЧЕРНЫЙ





# САША ЧЕРНЫЙ

---

Собрание сочинений  
в пяти томах

Т о м 4

## РАССКАЗЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ

Рассказы, написанные в России  
Несерьезные рассказы  
Эмигрантские рассказы,  
не собранные в книгу

Москва  
Издательство  
«Эллис Лак»  
1996

Составление, подготовка текста и комментариев  
А. С. Иванова

Собрание сочинений подготовлено составителем при поддержке  
Международного фонда «Культурная инициатива»

На фронтисписе: Саша Черный (фото 1930-х гг.)

**Редакционно-издательский совет**

*А. М. Смирнова*

*(председатель, директор издательства)*

*Т. А. Горькова*

*(главный редактор)*

*А. С. Иванов*

*И. Л. Тимашева*

*С. В. Федотов*

**Черный Саша**

Ч-49 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4: Рассказы для больших/  
Сост., подгот. текста и коммент. А. С. Иванова.—М.:  
Эллис Лак, 1996.—432 с.

ISBN 5—7195—0048—0 (Т. 4)

В четвертый том собрания сочинений Саши Черного вошли беллетристические произведения. Впервые собраны все выявленные к настоящему времени рассказы, написанные с 1910 по 1932 год.

Ч  $\frac{4700000000—046}{130(03)—96}$  Без объявл.

ББК 84 Ря 44

## «АХ, ЗАЧЕМ НЕТ ЧЕХОВА НА СВЕТЕ!»

ПРОЗА САШИ ЧЕРНОГО

В начале 1911 года Саша Черный неожиданно распрощался с «Сатириконом». Ушел из журнала без всяких объяснений и видимых причин. Естественно, на этот счет строились разные предположения. Одно из них высказано много лет спустя художником-сатириконецем А. А. Радаковым. Дескать, Саша Черный «думал, что он величайший прозаик. Стихи это так, ерунда, между прочим. А я,—продолжает Радаков,—помню, читал его большой рассказ — очень слабо». Кроме раздражения коллеги по сатирическому цеху, осудившего поэта за то, что тот занялся не свойственным ему делом, в этом отзыве обозначилась и позиция самого Саши Черного, видимо отстаивавшего серьезность и важность своего перехода на прозу.

Скорее всего речь шла о рассказе «Люди летом», появившемся на исходе 1910 года в солидном журнале «Современный мир». Контраст между ним и «Сатириконом» и впрямь разителен. На страницах сатирического еженедельника царила атмосфера веселья, импровизации, розыгрыша; в «толстом» журнале, напротив, все было чинно, пристойно и... скучновато. Невольно возникает в памяти убийственная чеховская фраза: «Мороз крепчал...» — своего рода пародийная квинтэссенция бездарной и умозрительной писанины, в изобилии заполнявшей литературно-художественные ежемесячники. Непонятно, что могло привлечь туда Сашу Черного — с его парадоксальным талантом, бунтарским нравом и жадой непроторенных путей в литературе.

Как что? Именно эти еретические качества и подталкивали поэта к поиску и открытию новых горизонтов творчества. И еще Чехов — ближайший из классиков, почти современник. Разминулись они совсем немного: сообщение о кончине А. П. Чехова появилось в «Волынском вестнике», где только-только дебютировал в печати Саша Черный. Через несколько лет, будучи уже в зените своей сатириконской славы, поэт напишет:

Ты один, тревожно-мудрый Чехов,  
С каждым днем нам ближе, чем вчера.

И это были не просто слова к юбилею, дань памяти. Без этого имени в разговоре о Саше Черном — поэте ли, прозаике — не обойтись. Ибо главная тема «Сатир» — нравственная поврежденность души, разлад реальной жизни интеллигенции

с ее порывами к справедливости, свету и красоте — была введена в отечественную словесность никем иным, как автором «Трех сестер» и «Хмурых людей». Видимо, и первый беллетристический опыт Саши Черного возник не без влияния Чехова. Явно ощутим способ его писательского мышления, сформулированный, в частности, в тезисе: «Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать».

Что касается фабулы, то какая-либо интрига в рассказе Саши Черного, действительно, начисто отсутствует. На протяжении всего повествования ничего существенного не происходит, никаких коллизий не завязывается. Зато сюжет воистину нов. Автор как бы задался целью поставить эксперимент, поместив в замкнутое пространство несколько случайных «попутчиков по даче». Это лаборант, художник, докторша, учительница, курсистка. Впрочем, их функциональная сущность не важна и используется лишь для обозначения действующих лиц.

Минутку! Ведь все это — и ситуация, и набор почти тех же персонажей — было уже в стихотворении «Мухи»:

На дачной скрипучей веранде  
Весь вечер царит оживление.  
К глазастой художнице Ванде  
Случайно сползлись в воскресенье  
Провизор, курсистка, певица,  
Писатель, дантист и девица.

Каждый образ — саркастическое, шаржированное воплощение пошлости так называемого образованного общества. Любая реплика, любое действие вызывают у автора лишь негативные эмоции.

Было бы, однако, заблуждением думать, что рассказ «Люди летом» представляет собой многословное, растянутое переложение в прозе данного стихотворения. Вовсе нет. При сопоставлении двух этих произведений становится ясным принципиальное различие между поэтом Сашей Черным и прозаиком. Повествовательный жанр позволял освободиться от фрагментарности, от предвзятости и односторонности в освещении героев и, следовательно, приблизиться к опосредствованному, более объективному и глубокому постижению сущности современников.

Хорошие они или плохие? Сразу и не разберешь. Мешает шелуха политизированности и эстетства, графаретность отношений и дел, стирающих индивидуальность. Где же выход? В какой-то мере сбросить городские вериги удастся во время летнего отдыха, на природе. Исподволь человек сущностный начинает в этой обстановке раскрываться. И это заставляет вернуться к названию рассказа — «Люди летом». Оно кажется неброским, невыразительным. Однако автор неспроста воспользовался обобщенной категорией «люди». И недаром объект удален из привычных условий, рассмотрен в определенном ракурсе — «летом».

Уже само заглавие свидетельствует о философской постановке проблемы, об аналитичности подхода писателя.

«Люди и положения» — так можно в обобщенном виде обозначить содержание рассказа. Пикник на озере, сбор грибов, фотографирование группой и по отдельности, совместные морские купания и другие немудреные развлечения дачников. Обычное летнее времяпровождение. Что связывает этих людей, что между ними общего? Дружба? Но они скорее просто знакомы. Взаимные симпатии и антипатии едва намечены, не переходя в любовные отношения или хотя бы флирт, что могло бы сообщить занимательность сюжету. Но автор, похоже, вовсе не стремится к этому. Он занят рекогносцировкой, фиксацией мимолетных черт бытия: как люди сообща чаевничают, зубрят иностранные фразы, читают банальный дамский роман, к которому в городе и не прикоснулись бы, коротают время, рассказывая анекдоты — это «румяное, навозное творчество казармы и ресторанов», раскладывают пасьянс — так можно до бесконечности. Привычно, знакомо, повседневно...

Однако за кажущимся импрессионизмом повествования (что вижу — о том пишу) кроется строгий отбор, желание разобраться наконец в них, а значит, и в себе как частице интеллигенции. Метод постижения, избранный Сашей Черным, был когда-то сформулирован им самим в строках эпитафии:

Но Расскажи мне: чем, мой друг,  
Ты наполняешь свой досуг,  
И я тебе открою — кто ты.

И вот в ординарных, каких-то среднестатистических личностях начинает проступать что-то живое, детское, ликующе-мажорное. То, похожие на бандитов, они горланят песню — вернее, нелепые, буйно вырвавшиеся откуда-то изнутри слова. То вприпрыжку, отдуваясь, гоняются за велосипедом, подспудно осознавая: «Это были лучшие часы их жизни. Оба были довольны, страшно довольны, хотя в городе они нередко даже из Мариинского театра возвращались желчные, критикующие, неудовлетворенные».

Но моменты веселья, радости, единения кратки. За ними — периоды отчуждения, тоски, томления духа, самоедства, угрызений совести. Иногда начинают смертельно ненавидеть друг друга, и тогда каждый уединяется в купальную будку: смотреть на море и думать. Правда, на природе «зимние» комплексы смягчены. Летом люди добрее, лучше, что вселяет некоторую надежду, но не дает окончательного ответа, каковы они по своей сути. И в этом Саша Черный следовал заветам Чехова, который требовал от писателя правильной постановки вопроса, но не решения.

Вообще, «Люди летом» — это попытка коллективного портрета, своего рода срез общества, к которому принадлежал сам



писатель. Можно сказать, что Саша Черный-прозаик решал, в сущности, ту же задачу, что и поэт, автор книги стихов «Сатиры», где стиховая множественность, объединенная в циклы, призвана отобразить вкупе его взгляд на мир или, конкретнее,— на современную интеллигенцию. Но мозаичность этого портрета, по-видимому, не совсем удовлетворяла художника. Тяга к целостности заставила его обратиться к иным изобразительным средствам. И в этом смысле прозу Саши Черного можно считать прозой поэта. Вовсе не значит, однако, что она требует к себе особого подхода и снисходительности. Как прозаик Саша Черный уже в первом произведении предстал сложившимся мастером, владеющим секретами опосредствованной характеристики персонажей — через прямую речь. Голос автора не является доминирующим: то и дело он передает это право — право рассказа и право видения — действующим лицам и даже животным. При этом органично вплетены в художественный текст и «поток сознания», и внутренний диалог — новаторские для того времени приемы.

Обращение к прозе объясняется, вероятно, еще и тем, что Саша Черный с годами стал тяготиться репутацией сатирика. Душа его была не утолена отрицанием, искала утверждающего начала. Им как будто был услышан чеховский совет, высказанный одному из коллег-писателей: «Будьте объективны, взгляните на все оком доброго человека, то есть Вашим собственным оком,— и засядьте писать повесть или пьесу из русской жизни, не критику на русскую жизнь, а радостную песнь Щегла по поводу русской жизни, да и вообще нашей жизни, которая дается только один раз и тратит которую на обличение шмулей, ядовитых жен и комитета, право, нет расчета».

В середине 1913 года в хронике новостей литературного мира промелькнуло сообщение, что Саша Черный «пишет повесть из быта молодой русской интеллигенции». Сейчас трудно сказать, имелся ли действительно такой замысел, который так и не был реализован, или подразумевался рассказ «Мирцль», появившийся в печати годом позднее. Это немного сентиментальная, чуточку грустная, чуточку смешная история влюбленности русского студента, проходящего курс наук в Гейдельберге, и простой немецкой девушки, певички из ресторана. В «Мирцли» весьма силен личный элемент, лирическое, одухотворенное начало, ведущее извечный спор с прозой и скверной жизни, с прагматичным и циничным взглядом на любовь.

Но прежде было еще одно значительное произведение Саши Черного в прозе — «Первое знакомство». Своей тематикой оно сродни тенденции, подмеченной критикой: «За последние годы наша литература уделяет серьезное внимание «полям». Сергеев-Ценский пишет «Печаль полей», Горький — «Исповедь» и «Лето». Бунин — «Деревню» — все ищут пути там, в глубине России, сре-

ди беспредельных полей, и у читателей повысился интерес к деревне» (Современный мир. Спб., 1910. № 9, с. 170).

Творчество Саши Черного нельзя рассматривать в отрыве от литературной жизни эпохи. И потому уместно будет назвать тех собратьев по перу, в ком он в пору душевной смуты и творческих исканий пытался найти опору. Заметим: среди них нет поэтов. Л. Андреев, А. Куприн, М. Горький, И. Бунин — вот чьи лики, словно образа в доме, благоговейно хранил в углах своего внутреннего мира. С каждым из них у Саши Черного была своя степень близости, свои собеседования.

Меньше всего известно о дружбе его с Леонидом Андреевым — «трагиком по самому своему существу», стихийной, больной совестью России, ненавидевшим «безумия и ужасы войны», дурь и мерзости самовластья. Любая беседа с ним, размышления над глобальными проблемами бытия и российской действительности заряжали «поэта-пессимиста» верой в лучшее, что есть в каждом человеке.

Куприн... «Большой, зрячий и сильный», мятущийся и срывающийся, жадно влюбленный во все живое, чувствующий себя своим среди людской пестроты. По-человечески он был наиболее симпатичен и близок Саше Черному. Недаром взаимная приязнь и приглядывание, проявившиеся еще до революции, переросли потом, на чужбине, в прочные, тесные дружеские отношения до конца дней.

Увлечение личностью Горького, начавшееся в 1912 году с личного знакомства на Капри, к 1917 году заметно поостыло, а впоследствии перешло в открытую конфронтацию.

Бунин в этом ряду стоит особняком. Это, если можно так выразиться, была потаенная любовь и обожание издалека. Лишь однажды, в дни 25-летнего юбилея литературной деятельности Бунина Саша Черный решился послать своему кумиру поздравительный экспромт. В ответ было получено долгожданное фото с надписью:

Спасибо за милый привет,  
Талантливый «Черный поэт»!  
Примите на память портрет.

В судьбе Саши Черного Бунин сыграл огромную роль. Сам, наверное, того не ведая, Бунин послужил художественным и прежде всего этическим ориентиром в творческом обновлении выходца из «Сатирикона». О какой-либо зависимости, стилистическом копировании не может быть и речи. В правильности избранного пути Сашу Черного укрепляло строгое благородство поведения старшего собрата, ярое неприятие им модернистских выкрутасов, непримиримость и максимализм в защите своих убеждений.

Видимо, не без влияния автора «Деревни» в 1911 году Саша Черный избрал местом своего летнего отдыха деревню Кривцово

на Орловщине, где и родился рассказ «Первое знакомство», название которого является своего рода ключом к пониманию авторского замысла. Городской интеллигент едва ли не впервые на четвертом десятке лет знакомится въяве и воочию с народом и страной, где он родился и живет. В пейзажных и бытовых картинах, развертывающихся перед его изумленным взором, происходит узнавание отечества, дотоле таимого где-то в генетическом пространстве души. Звуки, запахи, краски, стадо, бредущее в закатном свете солнца... Овечье бляенье... «Почему же с первого взгляда это стало таким же органически ценным и обычным, как... как стихи Пушкина?»

Вопросы, рой вопросов возникает у «человека в воротничке» (вариант — «в шляпе») при непосредственном общении с деревенскими жителями. Эти, исконно русские люди подчас кажутся ему такими же неведомыми и загадочными, как какие-нибудь туземные племена. С трудом находя общий язык, пытается он что-то им растолковать, завоевать их доверие. Пустое. Чаще всего наталкивается на стену непонимания и враждебности. Его кличут «барин», «ваша милость», но тут же он может услышать пьяную матерную брань, неприкрытые насмешки и снисходительные поучения... Его, образованного, не грех обмануть. Что бросается в глаза в первую очередь — это невежество, жадность, озлобленность, недоверие к прогрессу и идиотизм деревенской жизни. И еще, конечно, бедность и беспомощность. Писатель увидел прекрасную землю и на ней полунищих людей. Увы, такова наша быть...

Но это не вся правда. Другая открывалась герою повествования в беседах с крестьянками. Это многотерпение, сдержанность, достоинство простых женщин. Чудо, как хороши исполняемые ими русские песни. Равно как и расшитые розами платки, огненные полотенца, истинную красоту которых сами творцы и исполнители почти не осознают. Далекий как от обличений, так и от идеализации, автор задается вопросом: какой он, народ? И подлинно: «Отчего там, в селе, так часто — подойдешь к человеку, а он прежде слов тебе улыбнется?»

Впрочем, не только сельчане стали объектом внимания писателя. Сам он, тайный соглядатай, попал под многоокое, настороженное наблюдение мужиков, баб, ребячьей мелюзги. И впрямь ощущение такое, словно «ты голый, живешь в каком-то стеклянном аквариуме... Даже не голый, а больше — точно с тебя кожу содрали». Нет более спасительной «культуры», журнальных направлений, диспутов, а есть дачник, занятый чтением и отдыхом, есть чужеродный элемент, неполноценная в чем-то личность. Тьма и боль притаились и дремлют в душе, заглушенные вдали от города единственной неоспоримой и вечной правдой — радостной синевой неба, вольным ветром за плечами, нежным шумом берез...

Что касается художественных принципов Саши Черного, то они остались прежними — чеховскими. Явленные в первом прозаическом произведении, они были подтверждены во всех последующих рассказах. Так, в «Первом знакомстве» тоже нет конфликта — пружины, сообщающей внутреннее движение повествованию. Что, право, за фабула: приезд в деревню, времяпровождение и затем отбытие домой? Сюжет же глубоко нетрадиционен, полемичен, что, однако, воспринималось как неумение, как отсутствие онога. И все же сюжет есть, и он, заметим, тот же, что в «Людах летом», а именно — изучение и анализ. Только объект иной. На сей раз это не интеллигентская компания, а те, кого именуют «низовыми слоями». Одновременно размыкается пространство действия: вместо дачного локуса — мир русской деревни. Автор далек от окончательных выводов. Видя «чужое, безголовое, дикое, чего не понять, а поймешь, все равно не поможешь», он оставляет читателя с раздумьями: «Какая странная жизнь. Да и жизнь ли?»

Параллель между книгой стихов «Сатиры» и рассказом «Люди летом» может быть продолжена. В известной мере «Первое знакомство» можно соотнести со второй книгой стихов Саши Черного «Сатиры и лирика». Продираясь сквозь «бурьян зла», поэт стремился выйти к миру гармонии, естественности и любви. В книге стихов зло и благо автор тематически развел по разделам. В рассказе нет такого деления — дурное и хорошее переплетено.

Надо заметить, что Саша Черный, заканчивая рассказ, не ставит точку: повествование продолжается в других сюжетах, с другими персонажами. Но все они, несмотря на тематическое разнообразие, укладываются в лоно умонастроений второй книги стихов Саши Черного. Таков герой рассказа «Друг» — нахрапистая бездарность, выворачивающая напоказ свои «самодовольные, идиотские недра». В нем нашли воплощение наиболее ненавистные поэту категории зла — хамство, пошлость, глупость. Героиня «Храброй женщины», напротив, — личность неординарная, не желающая мириться с шаблоном, скукой, буржуазным благополучием и деловым рационализмом. Правда, ее нелепая, чисто ребяческая фантазия (прогулка кошки на поводке) вызывает разве что улыбку, но в этом поступке-протесте заключена на редкость дорогая и важная Саше Черному идея. И рассказ «Иероглифы» — не рассказ, собственно, а поток воспоминаний, вызванных перелистыванием старых гимназических тетрадей — протест против образовательной системы, коверкавшей детские души, вдалбливавшей в их стриженные головы бесполезные сведения, которые и взрослым не понятнее иероглифов.

Словом, во всех беллетристических произведениях Саши Черного той поры прослеживается определенная целенаправленность, которая неизвестно во что могла вылиться, если бы...

...Если бы не война, революция, гражданская усобица — исторический катаклизм, переломивший надвое его судьбу и судьбы многих его соотечественников. Вопросы, которые ставил в своем творчестве Саша Черный, разрешились самым неожиданным и катастрофичным образом — гибелью России. То инобытие, которое было построено на обломках старого мира, его душа не могла понять и принять. На долю изгнанников остались, как сказано у Саши Черного, лишь горестные воспоминания и думы: «...несла наша курица в прошлом золотые яйца, курицу зарезали, яйца разбились, пух по ветру гуляет... А кто ее зарезал, до сих пор на диспутах спорят. Может, интеллигенция, а может, и неграмотные».

Около десяти лет новые рассказы Саши Черного не появлялись в печати. Начинать приходилось с нуля — прежние темы и проблемы сметены революционным самумом, потеряли актуальность. Ибо в корне изменившаяся жизненная ситуация требовала нового писательского подхода. К кому мог обратиться Саша Черный за помощью и советом, как не к своему вечному спутнику и наставнику? «О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил вместе с нами в эмиграции?» — такой вопрос возникает в одном из писем поэта начальной поры изгнания. Но и ранее, в «черные, железные годы русской беды», он тоже не забывал о Чехове. Так, в мемуарах генерала П. Н. Краснова есть рассказ о том, как в 1917 году к нему обратился поэт Саша Черный, предложивший организовать библиотеки и чтения для солдат. На вопрос: «Что читать?» — ответил: «Чехова».

По всей видимости, не без чеховского влияния поэт в середине 1920-х годов вновь возвращается к жанру короткого рассказа. Многие писатели эмиграции абстрагировались от горестной реальности, удалялись в исторические глубины. Саша Черный не из их числа. Как и прежде, он предпочитал «скромно вышивать по невзрачной канве действительности». Но не затем, чтобы упиваться трагедией русского бездорожья. Напротив: все его устремления направлены на то, чтобы помочь соотечественникам, поднять дух — шуткой, комичным случаем, озорным и потешным словом. Ведь поэту давно было ведомо, что «от боли лекарство — смех».

Худо только, что, по его собственному признанию, «в быту нашем эмигрантском веселых историй с воробьиный клюв не наберешь». Однако уже к 1928 году Саша Черный смог их набрать на целую книгу, назвав ее «Несерьезные рассказы» (не переключка ли это с «Пестрыми рассказами?»). Эпиграфом к ней взята пословица: «Посильна беда со смехом, невмочь беда со слезами». И подлинно: вся она, по словам А. Куприна, «пронизана легкой улыбкой, беззлобным смехом, невинной проказливостью». Это вовсе не юмористика и не сатира. Самое точное определение эмигрантских рассказов Саши Черного — именно

несерьезные. Лукавая усмешка умеренно дозирована, и, как замечает Куприн: «...если ухо улавливает изредка чуть ощутимый желчный тон, то что ж поделаешь: жизнь в эмиграции не особенный сахар».

Впрочем, не следует сводить писательскую задачу лишь к одной благородной, но утилитарной цели — забавлять, утешать, щеголять образами и затейливыми словечками. Это лишь верхний, видимый пласт. Очевидно, была еще некая сверхзадача, проистекавшая из новых, необычных условий бытия русского человека. Отныне персонажами Саши Черного, так же как и его читателями, стали апатриды — лица без гражданства, чьи родовые корни остались где-то там, за горами, за долами, в «огромной, несурзной и милой стране, называвшейся Россией».

Невозможно, право, представить всю степень отчаяния и опустошения беженцев из России. В одночасье они лишились всего. Остались без дома, без средств к существованию, без привычной работы, без паспорта и гражданских прав и, главное, — без надежд на будущее. Если поначалу еще и были какие-то иллюзии, то с годами все яснее становилась безысходность, необратимость случившегося. Это уже навсегда, до смертного часа.

Единственное, что осталось, что невозможно отнять, — то неосязаемое, именуемое М. Цветаевой «непреложностью памяти и крови». Прошлое — минувшее — былое... Одно на всех. Но у каждого имелась своя личная горькая услада: «Можно выбрать из прошлого самую счастливую неделю, самый веселый день — и вспоминать минуту за минутой, будто медленно, ложечку за ложечкой фисташковое мороженое ешь».

Саша Черный тоже отыскал в своем элизии памяти такие заветные, милые сердцу истории. К примеру, «Московский случай»... Рассказ о том, как впервые встретился с первопрестольной и сразу влюбился в ее затейливо-безалаберный облик, в румяный, уютный старомосковский обиход. Или эпизоды житомирской юности: любовное свидание в гимназическом кабинете физики, веселая свадьба под пожарной каланчой, рождественские розыгрыши и ряженья... Или забавная история из детства — о приготовишке, заброшенной в сад женской гимназии на «растерзание» девчонкам: «Ужаснешься... и улыбнешься».

Читатели, знакомые с рассказами Саши Черного, написанными в России, вправе подивиться метаморфозе, произошедшей с писателем. Куда девался критический подход? Напрочь исчезло все дурное, гнусное, негативное. Увиденная сквозь дымку времени, из зарубежного далека, воссозданная воображением художника «русская Атлантида» предстает неким потеряннным раем. В этой земле обетованной всегда царят мир, лад, любовь, красота. Он зрим, этот мир, домовит, насыщен множеством узнаваемых бытовых подробностей, позволяющих почувствовать вкус, запах, цвет ушедшей жизни. И в то же

время в нем присутствует какая-то дымка, миражность, сновиденность. Вот уж воистину: «с какой стороны о России говорить ни начнешь <...> нет конца и края словам,— не нахвалишься, не наплачешься...»

Откуда это? Чем объяснить сей феномен? Сожалением об убежавшем детстве и улетевшей юности? Дистанция времени, безусловно, сообщает духовной памяти избирательность особого рода — положительную, идеализирующую. Тогда, быть может, причина в пространственной удаленности? Издалече оно виднее. Вспомним, однако, что Гоголь, написавший в Риме «Мертвые души», узрел иное — «как грустна наша Россия». Видимо, пространственная и временная удаленность еще не все. Была еще и отъединенность, позднее осознание непоправимости свершившегося, что и дало тот поразительный эффект ретроспекции, который наблюдается в литературе русского зарубежья. Ибо память, закрепленная в слове, это не просто пережитая действительность, но нечто более важное и ценное — действительность, преображенная для бессмертия. Только там открылась им в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в повторяемости слов и движений высшая мудрость миропорядка, складывавшегося веками, величие страны, которой могли гордиться.

Все так. Но жить с постоянно повернутой назад головой трудно и противоестественно. Недаром Ходасевич ставил в упрек писателям старшего поколения, что они замкнулись на прошлом. Такие корифеи отечественной словесности, как Бунин, Куприн, Шмелев, Зайцев, Осоргин, Ремизов, рассматривали миссию писателя в изгнании как миссию посланническую: сохранять и претворять в слове былое. Напрасно, однако, думать, что «те баснословные года» занимают центральное место в зарубежном наследии Саши Черного. Для него это было хотя и важным, но побочным направлением, производным от главного.

А главным — доминантой всего написанного на чужой стороне явилась тема «трудов и дней» эмиграции. Российская история поставила грандиозный и чудовищный эксперимент: изрядная часть россиян была оторвана от родины, рассеяна по свету. Уже не несколько попутчиков по даче, а многочисленное беженское новообразование стало объектом изучения и наблюдения Саши Черного. Какая участь им предназначена и кто они, собственно, такие? Подобные вопросы занимали не одного Сашу Черного.

«Россия, выехавшая за границу» — так, не без вызова, титуловал эмиграцию сатирик Дон-Аминадо. Это мнение опровергалось скептическим и вполне резонным трезвомыслием: «Вот говорят, что все мы цыгане в пиджаках, никакого своеобразия в себе не носим и растворяемся, как капли дождя в море, в окружающей европейской суете». Как разрешить эту дилемму? В конце концов после долгих и мучительных раздумий (чем

и объясняется, по-видимому, длительная беллетристическая пауза) Саша Черный склонился к первой мифологеме, найдя свое писательское предназначение в том, чтобы быть бытописателем эмиграции.

«Бытовик»... Слово это в старые времена произносилось с оттенком некоторого уничижения. Тем более в зарубежье, где оно, как казалось, вообще потеряло смысл, ибо: «В атмосфере эмигрантского безбытничества, среди чужой природы и под звуки чужой речи ему (писателю.— А. И.) никогда не стать достойным наследником великого русского искусства <...> от его ржей всегда будет пахнуть не рожью, а эмигрантской тоской по ней; ржи пахнут Богом и хлебом, а тоска полынью—это запахи разные» (Ф. А. Степун).

Но ведь не во сне—наяву существовало великое множество «песчинок бытия», мыкающих долгу в краю чужом и зарубежном, добывающих в поте лица горький хлеб изгнания. Несмотря на ущербность существования, на изломанность человеческих судеб, таких разных и в чем-то сходных,—они, живущие как бы по инерции, достойны были своего выразителя, истолкователя, своего, если угодно, душеприказчика, то есть хранителя русского духа. Именно так можно определить роль Саши Черного-рассказчика в литературе русского зарубежья.

Герои его—это чеховские персонажи (земские врачи, присяжные поверенные, приват-доценты, чиновный люд и пр. и пр.), бежавшие за границу. Они почти неотличимы друг от друга—эти бесчисленные Иваны Кузьмичи, Павлы Петровичи, Василии Созонтовичи, Веры Ильинишны, Прасковьи Львовны, Анны Петровны... Похоже, автор намеренно наделяет их расхожими, незапоминающимися именами, дабы подчеркнуть их обыкновенность, усредненность. Однотонность в обрисовке героев не связана с неумением автора найти экстраординарные характеры и колоритные образы. Ибо Саша Черный опять, уже в новых условиях, пишет коллективный портрет.

Выходцам из России прежде всего пришлось забыть о своих былых мирских званиях и профессиях—агронома, педагога, конторщика... В срочном порядке им приходится осваивать иные специальности, связанные, как правило, с тяжелым, грубым физическим трудом. О роде своих нынешних занятий один из персонажей выразился так: «По эмигрантскому цеху. Что подвернется». По эмигрантской рулетке выпадала работа маляра, строителя, шофера, грузчика, официанта, посудомоя...

Из этой колеи можно выскочить только при условии, «если на фантастическую лошадку поставишь». Вот, наверное, потому герои рассказов Саши Черного так легко обольщаются всевозможными авантюристическими предложениями, сулящими сказочные дивиденды («Млечный путь», «Тихое кабаре»). Увы, все эти фантазмагии лопаются, как мыльные пузыри.



ри. Точно так же, словно воздушный замок, тает «испанская легенда» — надежда на бесплатный летний отдых на Майорке. Впрочем, для доморожденных «изобретателей» — завсегдатаев русской ресторации важна не столько реализация замыслов, сколько сам полет фантазии. Ибо: «Кто знает, что у скоропостижного кондитера-эмигранта в душе в вечерний час копошится».

Не стоит, однако, представлять их беспочвенными мечтателями — такими Маниловыми и Обломовыми, неспособными к созиданию, «копящими небо». Из рассказов Саши Черного вырастает трагедия простого человека на чужбине. У поэта, писателя, даже если его не печатают, есть возможность самовыражения — его вдохновение подвластно ему одному, ибо оно обращено к Богу и к миру. Человек общественного, гражданского склада сжигает себя на костре политических страстей. Но как быть, чем заполнить вакуум личности сильной, мыслящей, незаурядной, которая лишена всего — привычной среды, профессии, родных и близких людей, прикована к каторжной тачке тупого и рабского труда? Если раньше смыслом и содержанием жизни российского интеллигента было служение на благо народа и отечества, то что дала взамен эмиграция? Барак, осточертевший пейзаж алюминиевых копеек где-то в глубине Франции да несколько бедолаг, друзей по несчастью (бывший агроном, бывший офицер и т. п.), превращенных в связку мускулов, в двуногих двигателей тачки. И так — что самое ужасное — день за днем, год за годом, без какого-либо про света...

Остается загадкой, как они, изгнанники и изгои, прошедшие через земной ад, в большинстве своем не опустили тем не менее на четвереньки, сохранили в своем душевном складе то, что всегда отличало русскую интеллигенцию: чувство собственного достоинства, внутреннюю чистоплотность, терпимость и совесть, жизнестойкость, добросердечие и готовность прийти на помощь ближнему... Эти качества не выставлены напоказ, а как бы растворены в поступках, лексиконе, бытовом антураже и обиходе. Что это: избирательность писательского подхода? Или в самом деле испытания, общее русское лихо помогло выявить в людях хорошее, главное, что таилось дотопе в душевном подвале, засыпанное трухой будней и забот?

Как тут не вспомнить разоблачительный пафос «Сатир» — направленный на изъяны «всех нищих духом». От него не осталось и следа. Чувствуется, что Саше Черному любо и отрадно открывать все новые грани хорошего в людях (что, впрочем, не мешает ему подтрунивать над людскими слабостями и причудами). Автор сам растворяется в своем герое, даря ему не только свои симпатии, но и свое мироощущение — голос и взгляд поэта на мир.

Несколько слов о стилистике прозы Саши Черного. Письмо его в «Несерьезных рассказах» и в том, что появилось позже, близко к сказовой манере. Нередко это даже подчеркнуто подзаголовками, скажем, такого рода: «Рассказ эмигранта», «Рассказ офицера», «Рассказ кроткого человека»... Повествование явно ориентировано на устную речь, причем речь «среднеобразованных» слоев населения, выросшую из быта, из дорожной и застольной беседы. Немудрено, что оно пересыпано расхожими разговорными оборотами, как-то: «Извольте видеть», «Поверите ли», «Слов нет», «Все это особь статья»... Чувствуется фонетическое дыхание живой сказовой интонации, ритм которой перебивается задержками, передышками, что свойственно устной молви: «Надо паузу сделать», «Извольте, господа, чай допью. Очень уж смрадно на душе стало». Встречаются и перлы выморочно-галантного обращения, ассоциируемые обычно с языком зощенковских персонажей: «Мне только надо тембр голоса услышать, чтобы фибры ваши сообразить». Однако подобные речения скорее исключение.

Писатель, в общем, не перебарщивает с просторечием, органически вплетая сказовые элементы в авторскую речь. Такого рода сопряжение, видимо, не было для него искусственным, не требовало какого-либо насилия над собой. Есть художники, противостоящие мирозданию. Поэт, стоящий над толпой,— привычный, почти классический образ. Саша Черный, однако, далек от этого. Не пророк, не прокурор, он не был сторонним наблюдателем, не отделял себя от широкой эмигрантской мысли. Его творчество «укоренено» в жизни, в самых ее простых и обычных проявлениях, оцененных по достоинству лишь в изгнании.

Не следует забывать и того, что будучи беллетристом — добротным, без всяких скидок — Саша Черный при всем при том оставался поэтом. Сказывается это хотя бы в прихотливых метафорах, брошенных как бы вскользь. Цитировать подобные лексемы одно удовольствие: «Не еда, а романс Чайковского, переложенный на сахарно-творожную музыку нежными и милыми женскими руками». Так сказать, наверное, мог только Саша Черный. Из обычных, примелькавшихся, даже надоевших фактов он добывает самую высокопробную лирику. К примеру, о звездах, горящих над застольем под открытым небом, сказано: «Клади в чай вместо варенья». Ранее, в годы сатириконства, за поэтом подобных красот вроде как не замечалось. Наоборот, описания обывательских натюрмортов исполнены нескрываемого омерзения:

На блюде киснет одинокий рыжик,  
Но водка выпита до капельки вчера.

Право, любопытные умозаключения могут быть сделаны из этого кулинарного антуража, явившего как бы двух Саш Черных.

Один поэзию низводил до житейской прозаичности, другой — прозу уснащал поэтизмами. Тот, что жил в России, был глубоко уязвлен несовершенством мира. Его «оскорбленная любовь» восставала против даже таких, казалось бы, само собой разумеющихся вещей, как прием пищи или распитие горячительных напитков, возводя их в гротескный символ бессмысленности, скуки и какой-то механистической заведенности человеческого существования. Афористически емко сформулировал это Дон-Аминадо в эпитафии:

Жили. Были. Ели. Пили.  
Воду в ступе толочли.  
Вкруг да около ходили.  
Мимо главного прошли.

А в чем «главное»-то? Похоже, что именно в эмиграции Саша Черный приблизился к пониманию смысла жизни. Он — в человеческом общении. Попробую пояснить.

Они — «перелетные птицы, залетевшие в чужие края с русского пожарища» — должны были не только быть благодарны, но и восхищены устройством цивилизованного мира. Но что-то мешало им оценить прелести и совершенство чужеземного уклада. Не потому, что тамошние порядки и обыкновения хуже, а потому, что это не свое, чужое и чуждое. Представьте себе, что неприятие касается даже обиходных мелочей: не так и не то готовят, не так режут хлеб... Можно, конечно, свыкнуться, приноровиться, но все равно в душе останется ощущение неправильности такого порядка вещей. По-настоящему надо так, как приучили в детстве. «Своим» окружающее может стать при одном условии — надо заново родиться.

И потому только в кругу соплеменников беженцы из России чувствовали себя комфортно и раскованно. Где можно обратиться к своему визави, пусть даже шапочно знакомому, со словами: «А помните, как...» и знать, что ты будешь понят. Где на пирушке какая-то неведомая сила заставляет каждого «пристегнуться» к разноголосому хору, затянувшему какую-то разбойничью песню, того же «Стеньку Разина», или самому отчебучить озорные частушки, слышанные когда-то в деревне. Где можно не чиниться — дурачиться, рассказывать анекдоты, изливать душу. Иной, застенчивый и нелюдимый в обычной обстановке, человек вдруг, ни с того ни с сего может короной замычать. Что с того? Любая безалаберная и диковинная причуда — в масть, любое лыко в строку, ибо здесь все свои — и этим все сказано. Посторонний на подобной русской гулянке лишний. Пусть это будет милейший человек, как, например, англичанка Мэри — прелестная женщина, ангел во плоти, но когда она ушла, все вздохнули свободно («Кофе по-турецки»).

Недаром одним из излюбленных лейтмотивов эмигрантской прозы Саши Черного является ритуал неофициального общения. «Подумаешь, совместные алкогольные возлияния!» — усмехнется кто-то. Не скажите. Во мраке европейской ночи, пусть и освещенной электричеством, подобные земляческие „симпозиции“ были для россиян едва ли не единственной отдушиной. Потому-то они не упускали случая, чтобы соорудить «русский остров в междупланетной Сахаре». В первую очередь, сюда относятся старинные и любимые на Руси праздники: Рождество, Пасха, Татьянин день, бережно сохраненные в изгнании. А помимо того, всевозможные частные поводы, чтобы собраться: новоселье, чей-то день рождения и просто-напросто «вспрыски» удачной покупки. Именно на чужбине такие „отмечания“ приобрели значение некоего почти сакрального обряда. Ибо в результате рождалось единение, мимолетное ощущение дружества, что сообщало им, лишенным, казалось бы, всего, витальную энергию и чудные мгновенья счастья. Как выразился один из персонажей Саши Черного: «Красиво надо пить. Чтоб как птица стать».

«Люди не перестали бы жить вместе, хотя бы и разошлись в разные стороны», — создается впечатление, что автор этого парадокса К. Прутков имел в виду русскую эмиграцию. Действительно: что сплавивало беженцев, что влекло их друг к другу? Роевое сознание? Или, быть может, соборное начало? Либо просто-напросто инстинкт самосохранения, вынуждающий приходить на помощь другим, дабы выжить самому? Все это так, но было еще одно, пожалуй, наиважнейшее обстоятельство, которое оберегало их, «в рассеяньи сущих», от энтропии распыления и исчезновения. А именно — принадлежность к национальному сообществу.

И вот оно, главное. Каждый эмигрант не мог не задавать себе вопрос: во имя чего? Во имя чего они, не имеющие никаких перспектив, делят свои дни вдаль от родной земли? Что касается творческой интеллигенции, то свою миссию в эмиграции она определила, помнится, как посланническую — спасение основ и заветов отечественной культуры. Ну а что оставалось на долю их соотечественников — простых смертных, неприметных тружеников?

При чтении Саши Черного проступает на каком-то подсознательном уровне расширительный или, если угодно, анагогический смысл их бытия. Он — в сохранении архетипа русской души. Им, не разглагольствующим каждодневно о патриотизме, не знающим всяких мудреных словес, предстояло — уже «после России» — сберечь менталитет народа.

Все так, но разве весь этот жизненный уклад (этикет неофициального общения, обычаи, навыки, присловья и пр.) отсутствовал ранее, на родине? Нет, конечно. Однако общенациональная основа бытия была заслонена чем-то, как казалось, более

важным — деловой активностью, идейными бореньями, сословными различиями... В эмиграции все это стинуло или ушло на второй план, поравняв изгнанников бесправием и свободой. В условиях герметичности и отторженности чуть ли не единственным оплотом выходцев из России стала принадлежность к национальному социуму. Несмотря ни на что эта беженская корпорация оказалась самодостаточна и живуча. Можно сказать, что она была тождественна самой жизни как таковой. Исчезновение ее для большинства индивидуумов было равносильно гибели.

Но вернемся к Саше Черному, он стал бытописателем русского зарубежья, ее певцом. В эмпирике, в предметной подробности бытия ему открыли истинный лик народной души, точнее те ее черты, что ранее оставались в тени — хлебосольство, гостеприимство. Слова-то какие — роскошные, степенные, протяженные, как сама Россия! Высвечивание лучших сторон характера не обман, но высокая правда, противостоящая низменным фактам человеческого жития. И дело поэта добыть ее.

М. Цветаева, с присущей ей категоричностью, наметила водораздел между поэтом и не-поэтом (читай — прозаиком), высказав в письме к Дон-Аминадо следующую претензию: «...у Вас не хватило любви — к высшим ценностям; ненависти — к низшим. Случай Чехова, самого старшего — умного — и безнадежного — из чеховских героев. Самого — чеховского».

Опять возникло это имя — Чехов. И, видимо, неспроста. В русской словесности начала века Чехову суждено было особое предназначение — он явился неким камнем преткновения, что разделил художников слова на два стана. Надо говорить не о правоте или ложности цветаевского суждения, а о несовместимости мироощущений, творческих устремлений. Одних — к ним принадлежала Цветаева — влекла «над-мирность», «без-мерность»; их путь — в «единоличье чувств», в запредельные, разреженные выси. Для них классовость, национальность, народность — то, что относится к поверхности. Для художников чеховского склада свойственно движение противоположное — к простому человеку, если хотите, к обывателю, к человеческому теплу, к неисчерпаемому в своих проявлениях быту и обиходу, унаследованному от родителей, уходящему своими корнями в глубь столетий. И, как видно, Саша Черный оставался верен этому направлению на протяжении всего пути.

В его прозе, рожденной под небом Франции, событийность сведена к минимуму, действие чаще всего топчется на месте. Куда важнее для автора само протекание жизни, житейский «сор», из которого произрастает обобщенный облик современника. Изображение это, как правило, лишено игры светотеней добра и зла. Ибо эмигрантское сообщество мыслилось Сашей Черным своего рода прибежищем чести и совести

(хотя каждый его представитель мог быть в чем-то небезупречен).

Что же, выходит, прохиндеи, живоглоты, оглоеды, олухи (перечень «рухляди людской» можно длить и длить) сгинули в чужеземье? Разумеется, нет. Но все несимпатичные автору господа как бы вынесены за пределы эмигрантской среды: они крайне редко становятся героями его произведений. Это, к примеру, художник Кандыба, которого не грех разыграть, чтобы эта «плюшкинская душа», скупердяй разорился на шикарное угощение («Иллинойсский богач»). Или русский нувориш, разбогатевший на махинациях, господин Курдюмов, перелицевавший свое имя на иностранный лад — «де-Курдюмэн» («Ракета»). Или пошлая и в высшей степени навязчивая и несносная особа — Цецилия Сигизмундовна, сумевшая своим присутствием отравить отдых в пансионе («Клещ»).

Примечательно, что Саша Черный в этих случаях изменил своему правилу и присвоил вышеназванным персонажам сатирически окрашенные имена. Читая эти страницы, убеждаешься, что с годами «отравленное перо» Саши Черного не утратило своей остроты и желчности. С какой убийственной беспощадностью изобразил он ту же Цецилию Сигизмундовну: «А платье, должно быть, разбогатевший свинопас выбирал: лилово-зеленое — лягушка в обмороке — с вышитыми золотыми глистами... Голые руки — ляжки у пожилого немецкого борца — желто-кирпичной прослойки с жилками». Под иронический прицел Саши Черного, право, лучше не попадаться! Былой сатириконец узнается в разбросанных метафорах: «кузен, жимолость в штанах», «жилица, застарелый укус в розовой шляпке», «мышинный горошек на цыплячьих ножках», «идет вот такое раскрашенное междометие»... Можно бесконечно цитировать...

Из сказанного выше вовсе не следует, что эмигранты были обречены на вечное коловращение лишь в собственной среде. Ведь в каждом из них, помимо россиянина, жил просто человек. Потеряв шестую часть суши, они, изгнанники, обрели пять шестых земли, которая, по выражению Саши Черного, была столь же прекрасна, «как в первые дни мирозданья, когда Господь положил кисти и сам засмотрелся на свое творение». По-прежнему были сладостны земные плоды, благодатно солнечное тепло и бездонна бесплатная бирюзовая крыша над головой, и никто не мог запретить насладиться этими красотами. Надо было лишь накопить некоторую сумму, чтобы хотя бы пару недель в году пожить на лоне природы, «на полной воле по старинному рецепту Адама, Евы, Диогена, Робинзона и прочих, понимающих в этом толк людей».

Но робинзонское житье чересчур кратко и ненадежно. И потому у Саши Черного была давняя заветная мечта: приобре-

сти клочок земли где-нибудь в живописном месте, построить собственный дом, где можно отдаться любимому творческому делу и повседневным хозяйственным трудам. Во время всех своих скитаний поэт всегда устраивал свою походную скинию, превращая временное жилище в некое подобие русского уголка: на стенах портреты Пушкина, Гоголя, Чехова, план Петербурга, полка с книгами отечественных классиков... Можно вспомнить слова древнего воина, о котором пишет Плутарх: «Ночью, в пустынных полях, далече от Рима, я раскинул шатер, и мой шатер был мне Римом».

Мечте этой, как ни удивительно, суждено было осуществиться. Саша Черный в конце концов обзавелся собственным участком земли—на вершине холма, у средиземного лукоморья. Были и еще счастливики из числа научной и творческой интеллигенции, основавшие русскую колонию в Ла Фавьере.

Но так повезло далеко не всем. В подавляющем большинстве соотечественники Саши Черного отдыхали «диким» способом, либо в русском «доме отдыха» под Ниццей, либо... занимаясь на стройку в каком-нибудь живописном уголке Франции, как, например, Павел Баранов—герой рассказа «Капитан Бопп». Овладев ремеслом каменщика, он мог вдоволь любоваться голубым и зеленым простором, открывающимся с верхотуры стропил. После рабочего дня мог бродить по улицам уютного приморского городка, а вечером дома, открыв книжку Жуковского, погрузиться «в этот чудесный русский язык, развернувшийся перед ним, словно северное сияние, в повести старого поэта». Однако счастье, несмотря на безбедность и относительную стабильность его одинокого существования, не было полным. Чего ж не хватало? Русской беседы—«как на русских дачах когда-то разговаривали», как в былые годы «вот так—в четыре руки по всему мирозданию клавишами перебирали».

Круг замкнулся. Можно подвести итог рассуждениям об участии русского человека за границей. В чем он мог найти опору и отраду, спасение и утешение? С одной стороны: в уединении, в свободе и созерцании. С другой: в единении, в общении с соотечественниками, в повязанности общей судьбой. Вот и ответ, имеющий двусоставный, амбивалентный характер.

Закономерность эта не применима к категории, которую Саша Черный именовал «международным человеком», к тем, кому, по латинскому изречению *Ubi bene, ibi patria*, «где хорошо, там и родина». О них речь здесь не идет.

И последнее...

Посмертное произведение Саши Черного—рассказ «Илья Муромец»—напечатан был на тех же страницах газеты, где и некролог на смерть поэта и прощальные слова его собратьев по перу, спутников по эмигрантскому бездорожью—Дон-

Аминадо, М. Осоргина, М. Струве... Подобные произведения, возникшие как бы на грани жизни и смерти, обладают особой значимостью, имеют эффект продолжительного звучания. Точно так музыкальное произведение, завершающее концерт, еще долго звучит в душе. Посмертное произведение—это и подведение итогов, и нечто вроде духовного завещания...

При сравнении этого произведения с «Несерьезными рассказами» ощутима та дистанция, которую преодолел за эти годы писатель. «Несерьезность» почти сошла на нет. Перед нами воистину поздняя проза, «отягощенная мудростью» и горьким опытом прожитого и одновременно окрыленная верой в человека и последней освобожденностью от какой-либо фабульной зависимости. Автор занят художественным осмыслением действительности. Главный герой... Нет, героиня... Опять неверно—три героини рассказа: хозяйка эмигрантской ресторации в Париже Агафья Тимофеевна, барменша Дарья Петровна и ее дочка Катюша—как бы три поколения русских женщин в зарубежье, взаимно дополняющие друг друга, такие обаятельные, хоть и обремененные своими заботами, олицетворяют единую «Россию, выехавшую за границу»...

В связи с этим позволю оспорить одно, пущенное недавно в ход суждение о Саше Черном, которому не подберу иного выражения, кроме как душевный дальтонизм. В это трудно поверить, но поэт обвинен... в женоненавистничестве. Для пущего эффекта и вескости ввернуто ученое словечко—мисогиния. Якобы у Саши Черного вообще нет любовной лирики. Как же так?! Такое сказать о художнике, чье творчество насквозь пронизано любовью—к детям, вообще к человеку, ко всему живому, к окружающему миру, к родине... и особенно к женщине. Уже с «Лунных рассказов», первого юношеского опыта в прозе, писатель постоянно возвращается к этой теме, но всегда на редкость целомудренно, ненавязчиво. Самые задушевные, самые ласковые, в общем, самые-самые слова, извлеченные из сокровенных тайников души, обращены к ней, голубушке: «Простота-то, лучезарность, плавность лебединая, сероглазое мое золото,—вишь, чуть стихами не заговорил». Или вот еще: «Она вся как лесная яблоня на заре была». Надо ли продолжать?

Судя по произведениям, Саше Черному, видимо, милей всего был кустодиевский тип женщины. Округлость форм... Степенность осанки... Румянец во всю щеку... Мягкость нрава. Добросердечность. Прочитайте хотя бы «Комариные мощи».

А что же те зловерные женщины, которые с таким сарказмом выведены в сатирах Саши Черного? Неужто неясно? Душа поэта особенно была уязвлена, когда столь ненавистные ему формы зла выступали в женском обличье. Да, это он ненавидел.



А «Илья Муромец» — это воистину рассказ-прощание. Автор, словно витязь на распутье, всматривается вдаль, в будущее: что ждет его героинь и их жизненных прототипов в их земной юдоли? Им предстояло еще долго бедовать и радоваться, одаривать друг друга жалостью и любовью. Но уже без него, без Саши Черного...

*Анатолий Иванов*

**РАССКАЗЫ,  
НАПИСАННЫЕ В РОССИИ**



## ЛЮДИ ЛЕТОМ

### I

#### «ТИХОЕ ОЗЕРО»

Впереди всех шел лаборант по физике, размахивая аршином чайной колбасы. Сбоку звякали бутылки баварского кваса, подвешенные за веревочки, и штопор, патентованный штопор с толстой английской пружиной. Лаборант свистал. Что он свистал,— неизвестно. Это был очень сложный, запутанный переход от «Вдали тебя я обездолен» до «Куда, куда вы удалились», приноровленный к быстрому шагу.

Было девять часов утра. «Докторша», в красном пикейном колпаке, шагавшая за лаборантом, уже упарилась. Под одной рукой у нее сиял самовар, все время ускользавший вниз под углом в 40°, другой она прижимала белый зонт, две бутылки и самоварную трубу. Капот оттопыривался и бил по ногам, живот жизнерадостно выпячивался, бюст трепыхался и дрожал, как на рессорах, висюльки на лбу развинтились и методично болтались справа налево.

По бокам шли еще две: учительница истории, Лидочка Панова, высокая и, конечно, насколько возможно, худая, с картузом углей и коробкой килек. Она решительно резала локтями воздух, плоско шаркала большими подошвами и через каждые десять шагов повторяла: «О, какой воздух!» Курсистка Яценко несла только стаканы, но зато все время спрашивала: «Где это Тихое озеро? Мы возьмем одну лодку? Отчего не взять две лодки? Вы умеете грести? Кто будет на руле? В Одессе я всегда сидела на руле. А вы умеете править?»

Лидочка на все вопросы аккуратно отвечала «угу» и, занятая чем-то глубоко своим, упорно смотрела в спину лаборанта.

Позади всех, шагов на сорок, шел последний — художник-портретист, блондин и немножко франт, Поль Луцкий.

Все жили на одной даче, и все очень любили друг друга, но в это утро Поль Луцкий поступил как предатель — нарочно отстал, невинно рассматривал елки по сторонам и всем туловищем и выражением глаз показывал, что он идет в лавку за папиросами, что те — с самоваром, колбасой, капотом и кильками — совершенно посторонние, и даже обменивался со встречными полуулыбками по адресу тех... диких.

Луцкий нес большой хлеб, нож и сковородку, но эти презренные предметы были так искусно завернуты, что походили отчасти на теннисную ракетку, отчасти на гитару...

\* \* \*

На пристани выбрали «Ласточку», красную, добросовестно большую и широкую, как комод, лодку.

Лаборант на передней паре греб по-морскому, с выплеском: весла выворачивались вокруг кистей, плашмя скользили назад по воде, окачивали всех и сразу глубоко забирали воду. Так глубоко, что часто уходили под лодку, и рукоятки беспомощно лезли вверх.

Докторша на второй паре отставала, цеплялась за переднюю пару и бурно возмущалась:

— Гребите по-человечески!

— Я именно и гребу по-человечески.

— Гребите без выкрутасов... Вы тормозите лодку!

— Я не торможу лодку. Если не умеете,— нечего лезть.

— Ну и черт с вами! Гребите сами.

— Тем лучше! От вас, как от козла...

— Чучело!

— Сама чучело!

Остановились и хохотали. Курсистка заявила, что умеет по-морскому, бросила руль и полезла на весла, докторша — на ее место. Учительница замерла, высчитала в тоске, что до ближайшего плота сорок пять шагов, ей же не проплыть и двадцати, даже натошак. Художник наступил ногой на спасательный круг: «Двух не выдержит; да и черт с ними: порядочные люди так себя не ведут в лодке... Боже мой, когда же они пересядут?» Как ни странно, лодка все-таки не перевернулась.

Гребли ровнее. Глаза ленились и не моргали. Сонные плоты на реке, проплывавшие песчаные откосы и мерно бежавшая за кормой струя разбудили эстетические эмоции. Учительница потянулась за кувшинками. Заколыхался и всплыл деликатный образ Офелии с веночком на голове, поразительно похожий на Лидочку Панову, и ей стало ужасно жалко себя.

Художник съел уже целый фунт семечек. Отряхивая с коленей шелуху, спустил в воду руку, подумал и деловито, заученно заскулил:

«Шумен праздник... Не счесть приглашенных гостей...»

Курсистка бросила весла:

— Луцкий, голубчик, пожалуйста, не надо!

Лаборант охотно присоединился:

— На берегу. Ей-богу, успеете! А то вы нас так растрогаете, что мы не сможем грести...

И тихо добавил для одной курсистки:

— Если он не замолчит, я переверну лодку!

Однако природа действовала на всех неотразимо: через пять минут эстетические эмоции пробудились с новой силой. Доктор-

ша перебрала в уме «Вниз по матушке по Волге», «Много песен слышал...», «Среди долины ровныя...» — все мотивы, приспособленные для пения в лодке, отбросила их и запела, без голоса, но довольно громко:

«Реве тай стогне...»

Как котенок хватается за тянущийся по земле конец веревки, так всякий, с голосом и без голоса, как только услышит «Реве тай стогне...», не может спокойно слушать и молчать. Действительно, прицепились все. К сожалению, как почти всегда случается, со второй строфы уже не знали слов. Один помнил начало, другой — конец, что для хора совершенно бесполезно.

Пели еще «Солнце всходит и заходит» точно по такому же методу, и хор распался.

Художника не просили, но он, забыв нанесенную его декламации обиду, запел:

Друзья, подагрой изнуренный,  
Уж я не в силах больше пить, пить, пить...

Слова знал все до конца, только жестикулировал преувеличенно глупо. На последнем речитативе штопор, лежавший на груди провизии, от толчка локтем полетел в воду. «Держите! Ай! Штопор!» Удивление, смех, сожаление и злость — все было в этих криках.

Больше всех злилась докторша, так как штопор принадлежал ей. Именно поэтому она сказала: «Ничего!» и молчала до самого берега.

Художник покраснел, подумал, что может стоять штопор, и покорно сказал:

— Ольга Львовна, завтра же у вас будет точно такой новый.

Докторша отвернулась. Лаборант крепче рванул весла и глубоко-оскорбительно бросил:

— А чем вы сегодня откроете квас? Носом?..

В зарослях справа открылся узкий проток. Докторша гневно дернула руль, и широкими бросками, вдоль шипящих и кланяющихся камышей, лодка въехала в «Тихое озеро», врезалась в жирный ил у старого хвойного леса, вздрогнула и остановилась.

\* \* \*

Лаборант воткнул в землю палку, повесил на нее пиджак и шляпу, разостлал перед ней плащ, отошел и полюбовался. Поправил шляпу. Получилось грубое подобие человеческого жилища... уют... собственность...

Потом лег на разостланное ложе и с чувством глубокого удовлетворения стал рассматривать пузыри на ладонях от весел. А у художника, благодаря несчастному случаю со штопором, совершенно изменился характер; он высадил дам, снял весла, зарыл по горло квас в холодный ил у берега, снес всю провизию к лесу и пошел собирать растопки для самовара.

Курсистка мало устала. Прямо от лодки на одной ноге поскокала в лес. За первым стволом нашла три ягодки земляники, честно собрала в платочек, пошла дальше все прямо, чтобы не сбиться,— и на жаркой полянке у гнилых пней собрала много-много — полную ладонь. Съела одну — кисло и свежо — и вспомнила лимон. «Это к чаю».

Потом раскрыла платочек, попробовала вторую и третью, после долгой и томительной борьбы решила, что на всех не хватит, и съела все до последней ягодки.

На опушке докторша с Лидочкой катили в лес, неизвестно зачем, большой мохнатый камень. Молча и кровожадно. Лаборант так заинтересовался, что встал с плаща и пошел помогать. Докторша рассердилась:

— Что за свинство! Пойдемте, Лидочка, вон там другой, еще лучше...

По голове лаборанта щелкнула здоровенная шишка, и недвольные геркулесы ушли в лес.

Художник тоже заинтересовался, положил щепки и подошел к камню:

— Бросим его в озеро.

— Он тяжелый, что вы думаете?

— Не на спине же тащить, мы покатым.

— Катить легко! Вот они катили...— лаборант махнул рукой на лес.

— Ну, понесем. По-про-бу-ем!

Пыхтели, краснели, ругались и мокли, наконец подняли и потащили. Когда бросили в озеро, все произошло как следует: толстый столб воды шапкой взлетел кверху, потом брызги, потом круги.

Лаборант думал, что он Робинзон. Только не мог вспомнить, зачем он бросил эту скалу в море.

А художник заметил в тине горлышки бутылок и вздохнул:

— Не открыть, Иван Петрович?

— Что?!

— Кваса, говорю, не открыть?

Лицо Робинзона было решительно и воинственно:

— И черт с ним! Айда самовар ставить. Надуемся и чаем.

Ставили самовар. Лаборант командовал:

— Спички в пиджаке, живо! Мало воды! Дуйте в озеро. Гребите на се-ре-ди-ну, здесь грязная вода... Луцкий, комары! Тащите можжевельник! Костер! Живо. Хо-хо!

Потерявший штопор исполнял все.

Костер разгорался. Можжевельник стрелял и корежился. Шишки пыхтели, накаливались, корчились, сухой навоз сладко и едко чадил, сизый дым вливался в рот, кусал зрачки и все-таки радовал. Луцкий подбросил еще и еще; как любопытная обезьяна, вцепился глазами в огонь и присел на корточки.

Лаборант танцевал вокруг самовара скифский танец или, по крайней мере, танец человека, нечаянно попавшего на пчельник.

Отскакивая, приседал, бросался на землю и заглядывал в решетку снизу; труба гремела о землю — ловил ее, пихал в топку уголь и щепки и иступленно потирал черные руки:

— Попьем! Валяй, валяй, нечего... Ух ты!

Чай он пил, конечно, каждый день, иногда и по два раза, но сегодня самовар разбудил в нем все первобытные инстинкты.

Луцкий волновался не меньше: на двух камнях, на черной сковороде великолепно шипела чайная колбаса и свертывались желтки и белки, но ветки были длинны, пламя слишком усердно лизало чугунные бока. Колбаса с одного края съезживалась, била в нос жареным салом и зловеще чернела. Сердце повара тоже съезживалось и чернело, пальцы хватались за сковородку, губы дули на пальцы, подошвы лезли в огонь — все напрасно. Наконец догадался — обхватил пиджаком лаборанта жестокие края и бросил сковородку на траву. Пиджак положил тихонько на место, вытер мокрое лицо и взволнованно загудел на все озеро:

— О, о, о, шашлык го-то-ов!

На последнем слогe вспомнил, что забыл посолить, но было уже поздно.

Пять самоваров выпили (в городе выпивали один, на даче — два). Съели весь «шашлык», остатки и хлеб скормили прибежавшей из леса пастуховой собаке.

Тень была под каждым деревом, но дамы долго искали какой-то особенно уютной тени. Легли под обыкновенной сосной. Докторша уютнее всех — животом на шишках, задрав пятки вверх; всунула в рот первую попавшуюся былинку и стала ее жевать. Курсистка поставила возле себя монпансье, набила полный рот и углубилась в небо. А учительница оглянулась, увидела, что мужчин нет, и, блеснув желтыми чулками, покатила под откос.

Луцкий куда-то пропал... Лаборант пошел в лес. Сапоги вкусно чмякали по кочкам, холодная вода выдавливалась и наливала следы. Мох был сизый, пепельный и влажно-изумрудный. На подсохших сосновых ветвях висела сухая пакля. Сосна дышала лесным здоровьем. На рыжей чешуе сияли длинные стеклянные капли смолы...

Лаборант выбрал место посуше, сел. Хотя был сыт до сонливости, протянул руку к матово-лиловой чернике, потом ко рту, опять к чернике и опять ко рту. Скоро устал, лег лицом в кривые тоненькие веточки и прямо зубами потянулся к ягодам. Щипал долго. Холодный сок щекотал горло, новые ягоды, тугие и крупные, нависали со всех сторон все гуще и гуще.

Где-то сзади вдруг захрустел вереск, и приторно знакомый голос заблеял:

— Ага! Вот вы чем занимаетесь...

— Да, занимаюсь.

Лидочка Панова, перегнувшись пополам, опустилась на колени рядом и неуклюже скокетничала:

— И я хацу черники. Можно?



— Пожалуйста. Не ложитесь рядом, здесь коровий помет.

— Merci.

Она кисло улыбнулась, наклонилась к старому пню, тесно обросшему черникой, и меланхолично стала общипывать кустики.

Лаборант покосился и убежденно и сухо подумал: «Собачья морда! Прилезла».

Лидочка подумала — кротко и умильно: «Какой он сегодня радостный! И как хорошо бы взять его за плечо. Нельзя. Милый!»

Лаборант подумал: «Одна худая выдра может отравить весь пейзаж».

Встал и пошел. Сзади тонкий и жалобный дискант пропел:

— Куда же вы, Иван Петрович?..

Лаборант с удовольствием не ответил и только прибавил шагу. Когда поредели стволы, когда за ярко-песчаными дюнами, как чудо, открылось море и солнце — широкий дрожащий простор, — он увидел черные силуэты «своих», встрепенулся и, как сирена, оглушительно-громко взвыл:

— Ого-го-го-го! Черти!

Трио отвечало возбужденно и весело, раздирающе-нестройным аккордом:

— Ау, Иван Петрович!

Он побежал.

Солнце плавилось над всей широкой водой несдержанно и до боли ярко. Бедное северное море голубело чисто и радостно, трепетало и гасило танцующие искры; плоские волны приходили и приходили, светлыми складками легко умирая на песке... Густые стаи булавочных рыбок шлепались за волной и вдруг испуганно, боком удирали вдоль берега. Голый человек далеко в море купал лошадь. Не двигался. Может быть, заснул вместе с ней в теплой солнечной воде у отмели?

Художник долго искал сравнения, так как без сравнений он не мог любить природу. Наконец сказал:

— Неаполитанский залив. Точь-в-точь.

Курсистка обиженно заметила:

— При чем здесь Неаполитанский залив? А если я не была на Неаполитанском заливе? Хорошо и так...

Докторша сказала:

— Господа, пора домой. Как бы не украли лодку...

Худая учительница, сонная и, кажется, заплаканная, неожиданно показалась из леса и взволнованно, как слепая, не видя ни воды, ни неба, закричала:

— Меня укусила пчела!

— Ну и поцелуйтесь с ней...

И, вскинув ногами, пригнувшись низко к земле, лаборант пустился через пляж прямо к лодке, за ним — докторша, завернув живот в капот, вся расплескиваясь на бегу; за ней, крепко взяв-

шись за руки и взрывая песок, понеслись художник и курсистка в огненной жажде хоть суррогата любви, хоть на полчаса, так хороши были небо и море! Позади всех, с недоумевающим, обиженным лицом — учительница, которую, собственно говоря, никакая пчела и не думала кусать, а сказала она это так... чтобы о ней поговорили или чтобы скрыть горевшую на лице обиду. Кто знает?

Назад гребли быстро и дружно. Молчали. Говорить никому не хотелось. Все были немножко недовольны друг другом... и собой.

Когда приехали, сразу разошлись по комнатам и уснули — даже без ужина.

## II

### БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Лаборант сидел на дереве. Поворачивал голову, как птица, навстречу каждому скрипу, остро внюхивался в благословенный запах сосновой смолы, смотрел в чисто вымытое васильковое небо, закрывал глаза, опять раскрывал их и думал.

Вот что он думал: Третий броненосец ушел — два осталось. Ну и пусть остаются... Не мое дело. Какая это птица? Когда изучаешь физику, не знаешь орнитологии. Когда изучаешь орнитологию, не знаешь физики. Сиди, сиди, я тебя не трону! Улетела... Дура! Что сегодня будет на обед? Утром покупали телячью печенку. Люблю телячью печенку. Славное небо. Драгоценное небо. Если я упаду, схвачусь за этот сучок. За тот... Я то-от, ко-то-ро-му внимала!.. Покурить бы! Фу, свинство! В старом пиджаке. Ты в по-о-лу-ноч-ной ти-ши-не-э-э-э! Слезать будет труднее. Здоровенный ствол, гладкий. И на стволе — лаборант. Да-с, лаборант. Oga et labora.<sup>1</sup> Ори и люби... Основательный ствол! Ничего, брат, ничего, не скрипи, мы еще поживем...

Через пять стволов, на кривой узловатой сосне сидела обыкновенная рыжая белка, чесала спину, зорко всматривалась в лаборанта и думала.

Вот что она думала: «Ого! По деревьям начали лазить. Это мохнатый с березовой дачи. А вдруг и другие полезут? Как тогда жить? За мной не угнаться... но беспокойно... Сидит. Хитрый, сел на толстую ветку. Тоже понимает. Прыгнуть тебе на голову? Ни-ни! Цапнет за хвост, потом в клетку. Видали. Ты! Что ты молчишь? Слезай вон. Ходи по дорожкам, здесь тебе нельзя. Сорвал шишку. Спрятал. Зачем ему шишка? Играться. Ой-ой-ой! Слезает. Фу, косолапый! Надо мордой вниз, мордой вниз надо! А он задом наперед... Упадешь! Передние лапы белые, задние —

<sup>1</sup> «Молись и трудись» (лат.) — девиз ордена бенедиктинцев.

черные, без хвоста... как лягушка. Слез. Нет... это надо обдумать...»

Лаборант слез, потому что женский голос внизу тоненько прокричал: «Ау! Иван Петрович!»

А мужской низко прогудел: «Ку-паться! О-о!»

Прошумел белый капот с маками, за ним полное соблазна «кимоно» курсистки — кремовое, с голубой оторочкой. Компания весело скрылась за последними ивами перед пляжем.

Был особенный день: в первый раз решили купаться вместе. Художник даже купил себе новый костюм, желтый с черным, в обтяжку, и еще рано утром, вскочив с постели на два часа раньше обыкновенного, репетировал в нем.

Мужчины заперлись в своей будке. Художник быстро разделся, натянул трико задом наперед и никак не мог из него выбраться. Напротив, на лавочке, сидел голый лаборант и громко хохотал. Действительно, снизу танцующие щуплые ноги, — конечно, волосатые, — с вылезавшими коленными чашками, на месте живота — впадина в желтых и черных полосках, руки острыми локтями вперед, вывернутые назад и словно сдирающие со спины кожу.

— Павел Николаевич, лопнуло!

— Где?

— Под мышкой. Погибло ваше кокетство.

— Ничего не лопнуло, врете.

Художник наконец вылез, перевернул трико и злобно посмотрел на визави.

Мужчины перед купаньем, надо сказать по правде, волновались. Только по-разному. Художнику, как ни странно, нравилось его тело. Во-первых, оно было его. Во-вторых, он не был умен. Нужны ли другие причины? Поэтому углы смягчались, мышцы нарастали, кожа становилась белой и крепкой.

Лаборант сидел на скамье и разглаживал гусиную кожу на икре. Он не любил своего тела и видел его более уродливым, чем оно было. Боялся быть смешным: умная, славная голова на теле жабы. Боялся увидеть милую докторшу, которую так почтительно любил, что даже забывал, что у нее есть тело; инстинктивно боялся костей учительницы, прозванной, даже в платье, «спичкой в обмороке», и особенно трусил курсистки. Он ей нравился и знал это. Но в платье, за давний союз чуткости, за умение быть собой, за насмешливую улыбку и молчание. И конечно, ценил это. Сам же минутами бесконечно тянулся к ней совсем за другим и, как каменный, скрывал это все лето. И вот сейчас, только открыть жалкую, косую дверку...

С захлебнувшимся сердцем толкнул пискнувшие доски, вышел, увидел где-то справа густое сиреневое пятно и сразу пошел боком в сторону. «Не выдать себя, не выдать себя, не выдать себя!» За ним, развернув плечи, вытягивая каждый мускул, гусиным шагом — гордый, сияющий и нисколько не смешной художник.

Докторша была в сиреновом. Длинные мягкие складки кофты падали и дипломатично скрывали вторую часть туалета, бюст, живот и бока. Было пышно, перепутано, ярко, грандиозно-много, как груда подушек в цветном чехле. Только тонкие кремовые ноги до смешного не вязались с колыхающимся тестом остального тела. Она попробовала концом носка воду и, величественная, как королева Виктория, с болтающимся сзади черным хвостиком, ни на кого не глядя, пошла в море. Вода разошлась и побежала, сиреневое намокало и становилось лиловым, бока все шире разбивали волны и врезались в зеленый холод.

Было мгновение, когда по всему побережью чуть не начался прилив, но как-то обошлось...

Шаг за шагом, разбрасывая коленями и ладонями брызги, звала она за собой, как утка утят, отставших мужчин: «Ай да вода! Павел Николаевич! Не сидите в воде, как индюшка! Двигайтесь! Да идите же! Иван Петрович! Намочите головку! Раз, раз, раз, раз...» И чувствовала себя в этот момент, как Самсон, раздвигающий колонны.

Учительница? Кто видал, хотя бы на фотографиях, голодающих в Индии,— тот все поймет. Спина с желобом посередине, такая же вторая спина спереди,— там, где должна была быть грудь; остальное в таком же роде. Вся обтянутая черным, прижимая руки к плечам, она побежала вприпрыжку к воде, как китайская тень, как профиль перочинного ножа,— странный мальчик на длинных спицах, который не ел супу целый год. Коленки поднимала чуть не к подбородку, визжала, шлепала руками по воде. На мужчин не смотрела.

Когда, после черной будки, солнце ударило в глаза, подумала: «Ай-яй-яй, как стыдно!» Хотя ей, собственно говоря, нечего было стыдиться. Потом, в воде, сразу стало не до того. Было холодно и было весело. Эти два ощущения растворили стыд, а вода покрыла тоненькую, длинную палочку— тело.

Наконец показалась и третья. Девушка на секунду задержалась на пороге, схватилась рукой за косяк и осмотрелась.

Лаборант был уже в море, но видел, хотя и смотрел будто бы мимо, на желтый павильон.— Что интересного в павильоне?

Слегка переваливаясь, краснея от ушей и под черным трико, вся, до маленьких узких пяток,— пошла. Отчего лаборант вдруг отвернулся, лег на воду и поплыл, резко выбрасывая руки? Она подумала, что ему просто неинтересно, но ее это уже перестало занимать. Надо было как можно скорее войти в воду. Вошла и скорей-скорей добралась до аршина глубины, присела и успокоилась.

Отчего он отвернулся? Под полным солнцем, на матовом, палевом песке невысокая крепкая фигура, смуглая, с хорошими плечами и грудью, была до умиления проста и привычно-обыкновенна, как береза, как труба на крыше.

Даже трико удивляло. И если бы под синим-синим небом, перед большой и сонной водой она бы показалась из будки

совсем безо всего, он бы так же отвернулся, слегка разочарованный, но успокоенный: и только-то? Или вода была слишком холодна, и он остыл? Может быть.

В воде шумели. Докторша плыла, как колесный пароход, била ногами, фыркала, словно тюлень, и увлекала за собою остальных. Курсистка с учительницей показывали, как купаются провинциальные еврейки: взялись за руки, с громким плеском приседали и пыхтели в такт: «Уф! Уф! Уф!» Мужчины ныряли. Кто больше продержится под водой? Лаборант пересидел на пятнадцать секунд, так как его грудь была втрое шире. Художник не обиделся, несмотря на то что был очень самолюбив.

В свободной, холодной воде забыли о телах, береговых тонкостях, волнениях и расчетах и купались, как добрые дельфины, прокачавшиеся всю жизнь на волнах.

Это было очень странно, так как в городе художник ходил в баню раз в два месяца; остальные — немного чаще, когда приходилось. Ванны ни у кого не было. Мылись под краном или в жалкой миске, наспех, без всякого удовольствия...

А здесь — каждый день, два раза в день; жалели, что не четыре. Отчего? Солнце и море. Море и солнце. И еще большой длинный день, делай, что хочешь, то есть ничего не делай. Тогда вспоминали о бедном, замученном теле...

Вышли из воды, опять разбились на мужчин и женщин и сели на простынях друг против друга греться на песке.

### III

#### ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

По заведенному порядку, все пошли прощаться с солнцем; заходило оно в двух шагах от дачи, сейчас же за купальными будками.

Происходило это очень просто: декоративный круг цвета настурции, величиной с средний швейцарский сыр, садился на горизонт. Море становилось скучно-линюче-синего цвета. Облака, поближе к солнцу, добросовестно краснели, подальше — розовели. Затем солнце солидно опускалось в воду. Только и всего. Напоминало это, если повторялось изо дня в день (здесь оно так именно и было), не то посредственный любительский спектакль, не то картинку Клевера, но те, которые прибегали прощаться, не замечали этого.

Художник, как знаток и специалист, заведовавший восхищениями, сказал:

— Сегодня оно как кровоточащая рана! Посмотрите, как поет вон то облачко справа.

Учительница сказала:

— Прощай, милое солнце! Прощай, мое славное солнце! — И покосилась на лаборанта.

Курсистка сказала:

— Вы заметили, как побежали тени по воде? Заметили, какое оно сегодня абсолютно-чистое? Завтра будет хорошая погода.

Лаборант считал:

— Пол-окружности, четверть, осьмушка, одна шестнадцатая. Готово!

Представление окончилось. Как раз в этот момент кухонная девочка заставила всех радостно вздрогнуть:

— Ужинать! Скорей-и!

С самого рождения они привыкли по несколько раз в день есть, нисколько не волнуясь по этому поводу. Здесь было иначе. Как голодные шакалы, ворвались в кухню, жадно потянули в себя блаженный аромат свиной грудинки с картофелем и чуть не опрокинули керосинку с макаронами. Лидочка стащила кусок ветчины, половину урвал художник, половину — курсистка. У бедной ничего не осталось, и ее же докторша, главнокомандующая по кухне, обругала свиньей.

Кто-то кричал о некультурности, кто-то — о голоде. Наконец ковшик с холодной водой выбросил всех за дверь.

\* \* \*

Никому не нужные салфетки лежали в кольцах. Челюсти шелкали немножко громче, чем в городе, и пока не наелись, никто не заговорил.

Убрали посуду. Лампа с зеленым колпаком сразу выделилась. Когда перед ней поставили веселый пискливый самовар, — они, как два друга, переглянулись и наполнили всю комнату: одна — интимным уютom вечера, другой — теплом и тихой мелодией пара...

— Расскажите что-нибудь! — Так докторша, заваривая чай, обыкновенно начинала вечер.

Учительница, разрывавшая коробку с шелками, остановилась:

— Да, да! Давайте составим план завтрашнего дня.

Лаборант перестал ковырять в зубах.

— Где план, там скука... У нас есть сегодняшней вечер.

Художник решил, что пора поговорить о себе.

— Я вам рассказывал, как я в Париже забыл название своего отеля?

— Если вы расскажете, будет в четвертый раз.

Курсистка поправила:

— В третий.

— Ну, не надо... Я не люблю крепкого чая, Ольга Львовна.

— Я не вам наливаю, — докторша передала стакан лаборанту.

Луцкий насупился, достал с подоконника спрятанную среди груды неразвернутых газет книжку, отвернулся от докторши и решительно поплюнул палец.

Докторша перетасовала набухшую, тридцатилетнюю колоду и разложила «Наполеонову могилу». Не вышло. В «Северном сиянии» последняя десятка попала под короля, и пасьянс опять лопнул. Только испытанный друг, старый «Гран-пасьянс» утешил (правда, не обошлось без маленького плутовства). Облегчилась и вспомнила:

— Господа, кто хочет простокваши?

Спросила три раза и ответила сама себе:

— Никто не хочет? Ну, и не надо... Аннушка, отнесите Марсу! Что же все молчат?

Тишина.

— Странное прилежание! Павел Николаевич, что вы там читаете?

— Книжку.

— Миленький ответ!.. Та-та-та, дорогой мой; вы взяли мою «Вторую жену»! Извольте отдать!

— Я сейчас кончу.

— Как «сейчас», когда у вас больше половины осталось? Как вы смели взять? Вчера кричал, что Марлитт могут читать только совершенно неинтеллигентные люди, а сам... Давайте сюда!

— Не отдам!

— А, так... Ну, посмотрим!

Художнику подставляли ноги, стулья, но он, прижимая «Вторую жену» к груди, летал кругом стола, как сумасшедший. За ним — докторша.

Звякали стаканы, дрожал пол, лампа судорожно мигала. Было очень весело, но докторша разгневалась и устала.

— Это насилие! Фу...

— Голубушка, Ольга Львовна, дайте дочитать...

— Да ведь «неинтересно» же?

— Ей-богу интересно, изумительно интересно.

— Ага! Ну, черт с вами, стащили — так кончайте.

Опять тишина.

Лаборант принес восемь толстых книг; тоскливо перелистывая их, пил чай, хотя не хотелось, и упорно не уходил в свою комнату, где бы ему никто не мешал. В записной книжке было подробно размечено по неделям все, что он должен был сделать за лето; но каждый вечер, пугливо пробегая свои заметки, он испытывал ту тоскливо-щемяще-сосущую спазму в сердце, которую простой народ зовет угрызениями совести.

Почистил ногти, посмотрел на остальных, виновато вздохнул и стал набивать папиросы.

Курсистка читала про себя, по-детски шевеля губами:

«In diesem „mir gegeben“ liegt unmittelbar... der Gegensatz zwischen mir, dem etwas gegeben ist und... demjenigen, was mir gegeben ist»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> «В этом „мне дано“ заложено непосредственное противоречие между мной, которому что-то дано, и... тем, что мне дано» (нем.).

Читала, понимала все слова, но не понимала ни слова и т. д. Это была только третья страница липпсовой «Воли», которую, в числе трех других «Воль», она должна была одолеть к осени.

С Липпса она начала, и в тетрадке для выписок даже поставлено было:

А) Der Begriff des «Gefühls»<sup>1</sup>. Дальше шли мелкие расходы, адрес зубного врача и стихотворение Бальмонта «Можно жить с закрытыми глазами».

После долгих шатаний по лесу, бесконечного завтрака, обеда, ужина, купанья, прогулок и «дивного заката» в этой большой, милой комнате, когда море шумело даже сквозь запертые двери, а зеленая лампа так лениво и просто горела,—заглавие «Vom Fühlen, Wollen und Denken»<sup>2</sup> смыкало глаза и вызывало убийственно-мягкий и зевотный вопрос: к чему?

Она закрыла книгу; как вчера, пошла к себе, принесла плоский деревянный ящик и из-под руки показала его лаборанту.

— All right!..<sup>3</sup>—Лаборант весело кивнул, грубо отодвинул толстые корешки и очистил место.

В ящике были шашки.

Только у самовара кипела работа. Учительница завязывала шелковинки узлами и с чистейшим харьковским акцентом спрашивала:

— Combien de portes y a-t-il dans cette chambre?<sup>4</sup>

Докторша отвечала с вологодским акцентом:

— Cette chambre a deux portes<sup>5</sup>.

Учительница заглядывала в книгу и поправляла:

— Il ya deux portes dans cette chambre..<sup>6</sup>

Потом спрашивала докторша.

Пять лет назад они решили побывать в Париже, скопили уже в сберегательной кассе 16 р. 54 к. и вот второе лето подряд усердно изучали французский язык.

В этот вечер им опять помешали. Лаборант и курсистка, радуясь развлечению и немножко завидуя усердию будущих парижанок, смеясь, стали передразнивать их. Парижанки огрызнулись. Поль Луцкий развлекся и захлопнул Марлитт.

— А вот еще анекдот, господа,—так он всегда начинал.

Предвкушая неожиданный смех и дурашливый вечер, на магическое слово повернулись все.

Даже докторша мгновенно остыла к французскому языку:

— Только не очень грязненько, Павел Николаевич!

<sup>1</sup> Понятие чувства (нем.).

<sup>2</sup> «От чувствований, желаний и мыслей» (нем.).

<sup>3</sup> Хорошо! (англ.)

<sup>4</sup> Сколько дверей имеется в этой комнате? (фр.)

<sup>5</sup> Эта комната имеет две двери (фр.).

<sup>6</sup> В этой комнате две двери... (фр.)



Но Луцкий не ставил точек над і и умел быть постепенным. Рассказал один, другой и, грубо утрируя армянский и еврейский акцент, пошел спать.

Анекдоты были те самые, которые рассказывают и за Уралом, и в Бессарабии, и в Петербурге. Немножко глупые, немножко грязные. Анонимное творчество ленивых мещан, произведения которых знали лучше стихотворений Пушкина, со всеми вариациями наизусть.

Румяное навозное творчество казармы и ресторанов. Место действия—вагон железной дороги, еврейское местечко, уборная...

Компания смеялась сочно и заразительно. Вспоминали свои анекдоты; даже учительница разошлась и рассказала об акушерке, которая сама у себя принимала.

Это были семечки, которые можно грызть без конца у ворот, поплеывая шелухой и провожая глазами прохожих. Испытанный летний наркоз, прогонявший мысли, заслонявший город, дела, все, о чем не хотелось думать.

\* \* \*

Отсмеялись. Опять тишина. Докторша, машинально размазывая пальцем по клеенке капли молока, отвлеклась, углубилась и, как это часто с нею бывало,—незаметно заспорила сама с собой:

— Стыдно?

— Нисколько не стыдно... Довольно за зиму насерьезничали.

— Да ведь анекдоты глупые?

— Ну и пусть.

— Как «пусть»! У тебя так много вечеров осталось в жизни, что ты можешь их так ничтожно убивать?

— Фразы! Кто круглый год работал, как вол, имеет право...

— Быть летом пошлым?..

— Нисколько не пошлым! Имеет право быть веселым.

— Разве нет другого веселья?

— Сейчас нет.

— Отчего же вы не ищите людей? На все побережье только вас пять? Подумайте!

— Кого искать? Обезьян из курорта? Для нас—только нас пять. Новые утомляют.

— Да ведь художник пошловат?

— Здесь—нет.

— А учительница? Личность?

— Личность! И очень нежная личность.

— Поди ты! Просто попутчики по даче... для дешевизны.

— Пусть и для дешевизны! Ничего худого.

— И ты их любишь?

— Отчего же мне их не любить? Кого мне любить? Фому Гордеева? Отрывать по странице и прикладывать к сердцу? Они живы-е...

— Полуживые.

— Ложь! Живые, милые, простые, никого не мучат! Ложь!

— Спокойной ночи!

Докторша очнулась. Зевающий Луцкий исчез за дверью, за ним вяло потянулся Иван Пётрович с пачкой книг. Курсистка лениво собирала шашки.

— Где Лидочка?

— Не знаю.

— Вы скоро пойдете спать?

— Не знаю.

— Гм... Ну, спокойной ночи.

Докторша презрительно перетираала блюдечки и сурово смотрела на лампу. С лампой что-то сделалось: она уже горела скучно и брезгливо, огнем привычного одиночества и раздумья. Впрочем, как на нее смотрели, так она и горела...

#### IV

#### ПЕРВЫЕ ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ

Папоротник уже завивал в тонкие спирали края вырезных листьев. Лопух дорос до размеров тропического растения и остановился. Весь пыльный, дырявый, с кучей дряни в желобках, с водянистыми, бледными жилами, подошел вплотную к веранде — и вял.

Дворницкий Марс так отъелся и обнаглел, что брезгал простоквашей, от черного хлеба отворачивался вовсе, лежал по целым дням перед кухней, урчал и снисходительно ловил пролетавших мимо носа мух.

Вставали позднее. Утром уже не купались. День становился все бесконечнее. Не купались и днем: северная вода больше не нагревалась, кусалась, как бич, резала тело и гнала на берег. А на берегу ждал острый ветер, гнал в будку и забирался под мокрую кожу.

Шли дожди. Целые дни жужжали косые спицы, разбивались с однотонным плеском о стекла и текли вниз, вялые и слезливые. Тяжелели и намокали сосновые кисти, свешивались длинные руки кленов, слипались и блестели листья, темнели стволы, а дождь лил, лил, лил... Только песчаные дорожки и пляж не поддавались — вбирали без конца свежую воду, рыхлели и набухали, но луж не оставалось.

В один из таких дней курсистка встала в час и, не заплетая густых темных волос, зевая, вышла на веранду. Посмотрела на художника, который рисовал все тот же, начатый в мае, этюд дворника у забора, на лаборанта, лихорадочно

метавшегося среди весьма толстых книг, покачала головой и, не умываясь, поплелась к морю.

Солнце бесследно исчезло, но все-таки на море было интересно. Густая сетка сверху жизнерадостно лупила в дымящееся море, горизонт провалился, облака слились в жемчужную ровную кашу, ветер взбил, разметал их и бросил. Она засмотрелась.

Голова ясна, дождь ласково мыл лицо и шею. Скоро продрогла и забралась в будку. «Плик, плик, плик...» — стучали по крыше капли. Слушала, затихала и начинала верить, что жизнь — такая ровная, спокойная работа, бодрая задумчивость, умное ожидание.

Легче думалось об осени, городской беготне, зеленых билетах у ворот, незнакомой, но уже ожидающей новой комнате, новых встречах, театре и толстых томах курсовой библиотеки. Может быть, и любовь, но в дождь и любви не хотелось. Море тут же, в двух шагах, скамейки мокры и приветливы, вода пьет воду и жужжит, поет и вздыхает...

На холмике, у калитки, появилась вся серия: докторша, в дождевике с капюшоном и страшных калошах, вся как лакированный куб; учительница и художник, под одним красным зонтом; лаборант — под черным. Головы не было видно — только сапоги и живот. Из-под зонтика вырвался сырой и зычный голос:

— Sansonnet, où es-tu ?

— Je suis ici !<sup>1</sup>

Подошли к будке, в углу сидела девица с сияющими глазами и смотрела в море.

— Что вы здесь делаете?

— Думаю.

— Индюк думал, думал... — Художник не окончил своего афоризма, потому что курсистку вдруг передернуло, и дверь с треском захлопнулась перед носом всех четырех.

Докторша прищурила глаза, посмотрела на море, сочувственно улыбнулась и сказала:

— До свидания, господа. Я тоже хочу думать, — и пошла к соседней будке.

Лаборант занял следующую, учительница и художник не захотели одни уходить и тоже забралась в деревянные мокрые клетки.

Море напилось... Ветер, тяжелый от сырости и соли, где-то далеко, на море, раскачал волны, столкнул их, бросил назад и вдруг погнался к берегу.

Идем! Идем! Берегись! По всему заливу заплясали белые кудри, а под ними, кругло переливаясь в тусклом блеске, понеслись длинные, крепкие валы, и там, где кончался один, начиналась новая цепь. Точно взявшись за руки, опьянев от воздуха, глубокие подводные воды пробовали дикие силы. Лизнули берег; но пло-

<sup>1</sup> — Скворец, где ты?

— Я здесь! (фр.)

ский, вялый песок не давал отпора. Бешеные валы расплескались, как вода из лохани, зазмеились ручьями и, шипя, сбежали назад. Шли вторые, третьи — и далеко-далеко, все меньше и меньше, насколько хватало глаз, белели новые волны, с веселым гулом бежали на берег и вершок за вершком подступали к будкам. В облаках разорвалось окно с ползучими, висячими клочьями по краям, а в нем темно лиловела безнадежно густая, важная, старая туча.

В пяти будках думало пять голов. Перед пятью будками было пять морей, каждому свое, к своей скорби, к своей радости...

Лаборант смотрел:

«Вода и ветер! Однако, пейзажик! К вечеру затопит до забора, как на прошлой неделе. Эх, как несутся! Вали, вали, ух ты! А лодку-то оторвет! Оторвет или нет? Однако, ноги насквозь. Опять придется салицил глотать. Ух, как дует! Не-ет. Дверь мы прикроем, дорогой мой. Нечего, нечего, не рвись. Так. А теперь покурим. Боже мой, как хорошо!»

Художник напряженно вспоминал, где он видал такое море? «На прошлогодней выставке в Москве? Нет, на Лидо. Точно такое. Был дождь, последний парус с коричневой заплатой спешил к лагунам. На берегу пристал бедный итальянец. Пришлось купить рамку из раковин и запонки с мозаикой. Подарил швейцару... Какой великолепный серый тон сверху, и вода вся серая, но сто оттенков: от бутылочно-серого до пепельно-лилового и только у маяка чистый графит. Трудная гамма!»

Одобрительно посмотрел на свежую даль, повернулся к стене, стал перечитывать дачные надписи: «27 июня 1901 года здесь купался... А кто — угадайте?», «Приходите сюда в семь, на старое место. А. П.». В трех местах неизвестный поэт написал: «Поэма». А под ней: «Однажды испустил я дух...» Что было дальше, так и осталось тайной. Художник бессознательно вынул карандаш, нарисовал фонарь, написал под ним «Тарарабумбия» и пошел на дачу.

Учительница побежала за ним:

— Павел Николаевич, подождите...

Она не могла больше: море «стонало», дождь «плакал», ветер «рыдал», волны хоронили лето, хорошую погоду, ее маленькие надежды... Стало так больно, больно, что захотелось поскорее успокоиться. А дома ждали недочитанные «Разорванные цепи» и пирожные.

Докторшу море «ласкало», «убаюкивало», примиряло. В плаще и в старой ватной кофте стало жарко. Через четверть часа, под ликующий грохот, она заснула и во сне почему-то увидела, что Максим Горький, во фраке и в цилиндре, просит ее руки. Она обещала «подумать», проснулась и плюнула. Встала и, смеясь, пошла к курсистке.

— Уснули?

— Ау! Нет... А что?

— Пойдемте домой...

— Есть.

Девушка вышла из будки, словно из лазоревого грота. Долго не могла прийти в себя, блаженно улыбаясь и все оборачивалась на море. Ей одной оно было радостно, ей одной наобещало удивительно много хороших вещей... Докторша взяла ее под руку, заглянула в глаза и, ежась от холода, завидуя и любя, повела к калитке.

На даче было тихо. Лидочка забралась с ногами на диван, положила возле себя, под шаль, «свои» пирожные, жадно переворачивала страницы. Художник снова сидел на веранде над «дворником у забора», лаборант пошел наверх спать. Курсистка и докторша равнодушно посмотрели и пошли каждая к себе. Надоели все друг другу достаточно.

Если бы за столом любой из них — кроме Лидочки — решил сказать вслух, что он думает о других, вся дача, судорожно запихивая в корзины белье, башмаки, посуду и книги, разъехалась бы через полчаса, и близкие, милые друг другу люди не встречались бы до самой смерти, веря, что каждый из них «мерзавец» или «мерзавка».

К счастью, все были хорошо дрессированы — никто ничего не выдал.

В хорошую погоду, по утрам, в саду за домом дамы рвали для варенья черную и красную смородину. Бессознательно любили ходить в одиночку и тогда обрывали самые крупные и густые кисти. Для себя.

Перечинили все белье. Обшивали при мужчинах русскими кружевами свои «интимности», ставили метки, большие, лишь бы подольше вышивать, на кухонных полотенцах, наволочках, носовых платках. Лаборант и художник воспользовались их рвением — и притащили свое белье. Пометили и им, а художник за это рисовал буквы. Рисовал со вкусом и непонятно-долго.

Бесконечно-часто катались на велосипеде докторши — грузном, старом велосипеде, похожем на пулемет.

Мужчины катались только по вечерам, когда не стыдно было ехать на дамском. Колени распирало в стороны, локти разлезались, спина торчала гвоздем, вся фигура держалась как в зубоврачебном кресле. Седло скрежетало и корчилося.

Самое ужасное было то, что ноги вертелись со скоростью спиц «собственного» экипажа, а проклятая машина едва обгоняла темных пешеходов и в темноте упорно лезла в море. И все-таки дай Бог каждому!

Лаборант, как летучая мышь, проплывал вперед, рубашка надувалась, какая-то хлипкая спица чиркала о педаль, море шуршало и чуть слышно возилось в темноте. Иногда красным фонарем поднималась над лесом наивная луна. Иногда сумасшедшая ракета с визгом взвивалась над тьмой, и с соседней дачи прилетал с ветром оглушительный хохот...

Художник бежал сзади и выжидал. Когда лаборант наконец взлезал в море или натыкался на будку и падал, он весело кричал:

— Ну, довольно с вас! Давайте сюда швейную машину...

Влезал на нее и, скрипя, исчезал в трех шагах. И уже лаборант, вприпрыжку, отдуваясь, бежал вдогонку.

Это были лучшие часы их жизни. Оба были довольны, страшно довольны, хотя в городе они нередко даже из Мариинского театра возвращались желчные, критикующие, неудовлетворенные.

Когда, наконец, уставали, потные и радостные, болтая, как дети, тащили трясущуюся машину на дачу, с хохотом вваливались в столовую, любовно поглядывали на трех девиц, тормозили их, острили и подымали настроение до дикой суматохи и возни.

Докторша в такие часы благословляла ту минуту, когда она решила взять с собой на дачу свою железную рухлядь.

Однажды в полдень, когда солнце высушило мокрый гамак, скамейки и ступени террасы, на которых расселась вся компания и лениво грелась, художник сказал:

— У меня осталась дюжина пленок. Давайте сниматься! В последний раз.

— Только не здесь.

Докторша очень не любила верандные снимки, где в тесноте на ступеньках она казалась Голиафом рядом с другими.

— Пойдем к морю.

— К морю так к морю.

Собрались в одну минуту. Никому не хотелось стоять у гуттаперчевой груши, чтобы не пропустить снимка; поэтому, как всегда, все предлагали свои услуги, но маленькая дочка дворника, прибежавшая посмотреть, выручила.

Ей объяснили, когда нажимать, а она косилась на грушу, почему-то краснела и фыркала.

Размер аппарата был 6×9. Но художник, распределявший места, и дамы увлеклись и забыли. Курсистка хотела даже, чтобы вышли ее новые бронзовые туфли, и оттянула юбку назад, насколько могла. Учительница заботилась больше о глазах: она хотела, чтобы этот снимок был вечной мукой для лаборанта, замечавшего ее только тогда, когда она наступала ему на ногу. В глазах ее горела святая томность, скорбная гордость и трепетный вызов — все в одно и то же время, как могут только женщины.

Докторша сделала выражение, еще когда устанавливали треножник: спокойный ум, маленькое презрение к миру и бюст в три четверти, что, по ее мнению, шло к ее фигуре.

Художник принял дурашливо-небрежную позу человека, который доставляет удовольствие ближним, а лаборант хотел выйти таким, какой он есть, — поэтому, не мигая, вылупил глаза на объектив и засунул руки глубоко в карманы брюк...

— Теперь можно, Катюша...

Катюша с некоторой опаской надавила на грушу. Все вздохнули и сразу заговорили.

Снимались на скамейке, спиной к морю, боком к морю, у самого моря, там, где начинается вода, и пр., и пр., и пр. Не

догадались только снять одно море, без самих себя. Впрочем, размер был  $6 \times 9$ , а море — как вечность.

Снимали и Марса: на коленях у докторши, которая хотела подчеркнуть свое одиночество, и в профиль у собственной чашки, за которой послали девочку. Марс так часто видел, как они снимались, что сумел выдержать позу: в первой роли задумчиво улыбался, хотя в жизни был всегда серьезен и груб, а во второй — застыл у чашки с ясно выраженным чувством благодарности и глубокого огорчения перед близкой разлукой.

— А теперь что?

— А теперь за грибами.

Докторша давно уже мечтала об этом невинном удовольствии.

Художник знал, что есть маринованные белые грибы и рыжики и что к водке они незаменимы. Лидочка, лаборант и курсистка знали о грибах и того меньше, но схватились за предложение с радостью. Это было ново. Вспомнили вдруг о лесе, солнце тепло колыхалось в глазах... Пошли.

\* \* \*

Среди частых старых сосен бежала дорожка, вся в узловатых корнях. Прошлогодня хвоя пропеклась, вылиняла и делала подошвы скользкими и шаловливыми; испуганные муравьи, роняя иглы и палочки, метались из-под ног во все стороны; головы муравейников жирно кишели черными лакированными точками.

Марс гонял, как цирковой наездник. Нырлял под кустами, вдруг показывался за сто шагов с другой стороны, разевал пасть, вываливал язык, осклаблялся и упорно приглашал за собой глупых людей, которые не умели ни бегать, ни лаять, ни рыть задними ногами землю...

Учительнице посчастливилось первой: в плоской плетушке из-под пирожного с гордым лицом принесла она докторше две поганки. Кремовую, плиссированную снизу, на тоненькой ножке, и серую, липкую, маленькую, плотную, с круглой шапочкой.

Докторша разломала, смеясь, бросила на дорожку и тут же под можжевельником обобрала целое семейство сыроежек.

Обступили и долго рассматривали. Гриб был несложный, запомнили сразу, и скоро по всему лесу заахали: «Наш-о-ол! Скорее! Сюда! Че-ты-ре сразу! И еще! И еще!» Художник присел на корточки над одинокой сыроежкой, величиной с добрую скорородку, в экстазе молитвенно прижал руки к сердцу и созвал всех. К сожалению, гриб оказался червивым.

Скоро притихли: сыроежек было слишком много, разбрелись по лесу и только изредка перекликались:

— Ау, где вы? Ку-ку!

В лаборанте проснулся зверь. Косился на каждую букашку на бруснике, прицеливался к каждому подозрительному пятну и вдруг, как тигр, бросался на гриб:

— Есть! Не уйдешь!..

Собирали часа три. Но за болотом, в сухом, ровно зеленом мху, нашли целые рощи подореховиков, светло-коричневых, матовых, до сентиментальности умильных, и, по примеру докторши, выбросили вульгарные сыроежки. Собирали, собирали, пока косое солнце не зажгло на сосновых стволах красный бенгальский огонь.

Стянулись. Заглянули во все плетушки, посмотрели, у кого больше, и наискось пошли по солнцу к берегу, ближайшим путем к даче.

На пляже растянулись гуськом.

Впереди — курсистка, болтая корзиночкой, с тайной и странной радостью в душе: это была первая пища, которую она собрала собственными руками. А смородина? Нет, смородина не пища... Первая, не купленная в лавке! Надо будет посолить и увезти с собой в город. В город...

За ней шел художник. «Свои» были похожи на бандитов, но он их теперь нисколько не стеснялся, так как на пляже не было ни души. Он отважно нес на плече корягу со шляпой, отважно маршировал и отважно выкрикивал.

Гремят валы, и рвутся волны!

Скрипит песок, и бурно рвется грудь!

Дальше он ничего не мог придумать, потому что он был художник, а не поэт. Но лаборант, шагавший за ним, подхватил:

Иду вперед! Отваги полный!

Та-та, та-та. Та-та, куда-нибудь!..

Дамы засмеялись и дружно присоединились к импровизации.

Пели все в унисон, коровьими голосами, темпом медленного марша. Шли в ногу и через минуту пели уже совершенно серьезно, вкладывая в странные слова внезапный прилив буйства, освобождаясь в крике от смутной силы, рожденной свежим шумом прибоя, удачным сбором и поздоровевшей за лето кровью. Хотелось что-то такое сделать, полететь над шумной водой на закат, поднять одной рукой десять пудов, броситься вперед на какого-то врага и ударить им о землю...

Последний кусочек солнца покосился на хор и нырнул под горизонт. Вода стала скучно-линяче-синего цвета, облака, поближе к закату, краснели; подалее — розовели.

Хор надрывался:

Гремят валы!.. И рвутся волны!

Скрипит песок, и бурно рвется грудь!

— Не отставайте, Иван Петрович!

Идем вперед! Отваги полны!

Та-та, та-та! Та-та, куда-нибудь!..



## ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Станция Мценск. Чемодан в одну руку, портплед в другую и на платформу. Поезд взвизгнул и укатил, а я остался. Скамейка с веселым соседом-скорняком, свечи на столике, недопитый чай, скептический разговор с наборщиком в коридоре и уютная ночная печаль за окном — где все это?

Холодный ветер, мечущиеся фонари у дверей первого класса и ящик для писем, — все такое обычное и чужое. Особенно чужие черные буквы на стене: «Мценск». Сейчас открою дверь, глаза увидят новых людей и всякий будет нужен, как утопающему — круг.

Носильщик берет мои вещи и, пробуя на руке новый чемодан, с любопытством, но почтительно заглядывает в глаза:

— В номера изволите?

— Нет. Лошадей надо. В Торчино.

— Лошадей, ваша милость, не достать, поздно.

Поздно? Как же быть?

— А вы в номера, с дороги отдохнете, а утречком...

— Далеко?

— Два квартала-с. Номера Бочагова, Еремей довезет.

— Какой Еремей?

— Извозчик, то есть, у подъезда. Прикажете нести?

— Несите. Клопов много?

Носильщик улыбается, словно я ему рубль подарил:

— Маленечко есть, господа не обижаются, ничего-с.

— Ну, ладно.

Прохладная пыльная тьма, собачий лай. Влезаю на темные дрожки, прижимаю к груди чемодан и доверчиво всматриваюсь в тьму. Через 10 минут жестокой тряски приехали. Еще новый человек вынырнул из тьмы, потащил вещи и привел наверх. Оказался блондином; конечно, заспанным, конечно, грязным и, конечно, первые слова: «Пожалуйста паспорт».

Вхожу в номер, закрываю за собой дверь и оглядываюсь. Чужое... чужое, — там, за ставнями, сотни верст тьмы, незнакомой земли, лесов и пещерных жилищ, — здесь квадрат, оклеенный малиновой с золотом бумагой, запах грязного белья и обезьяньей клетки. А в центре я. Кто я? Зачем здесь? Спать.

Старые темные волны подступили, остановили расшагавшиеся ноги, опустили голову... Но ерунда, к черту — спать все-таки надо, а утром будет солнце и все будет иначе. С гадливостью сбросил на пол сальное ватное одеяло и жеваное белье, разостлал на матрац портплед, сверху свою простыню, укрылся пальто и, стараясь не касаться ни одной точкой тела заплыванной стены и железа кровати, укрылся с головой, притаился, согрелся кое-как и через пять минут умер легко и коротко.

Воскрес и ничего не понимаю. Где? Во всех четырех окнах, как в рамах, пестрый нищенский жанр: мелкая речка, водовоз на бочке, заплатанный свайный мост, обшарпанные дома, осевшие и кривые, точно их кто распер изнутри, наличники, окрашенные синькой и охрой, и церкви... одна, две, четыре, шесть, семь,— все разные, игрушечных стилей, яркие,— словно декорация из национального балета. Все такое знакомое по книжкам, выставкам, но почему-то никогда не приходило в голову, что оно существует, где-то живет, кем-то заведено и до сих пор, как было в «Мертвых душах», так и сохранилось. Уездная Помпея, так сказать. Разве только вокзал железной дороги пристроился на окраине.

Звоню:

— Самовар, и как насчет лошадей?

— Сейчас.

Услужающий засален, заспан, угрюм и пахнет чем-то очень сложным и тяжелым,— словом, традиция соблюдена до мелочей. Даже трогательно. Самовар оказался такого цвета, точно его только что выкопали из кургана, чай отдавал мокрой шерстью, а баранки ломались с сухим треском и рассыпались в пальцах. Мне стало смешно.

Солнце залило комнату, и вся эта рвань за окном как-то особенно приветливо и простенько запестрела. Когда там, за окном вагона, после бесконечных квадратов черной и бурой земли, оврагов, перелесков и лужков, выросли груды крыш, а станция бросала в глаза имя своего городка, чтобы через минуту скрыть его навсегда—крыши эти были, как встречи во сне, слиты и призрачны. А тут, вот сейчас, выйду, увижу, проеду из конца в конец, и каждый нелепый домик с замшившимся тесом на крыше будет как свой и войдет в глаза на утреннем холодке, как новая жизнь и какая-то своя правда.

Черт знает что,—разбежался и вспыхнул, иду навстречу и знаю сам, что ни к чему. Чужое и вымороченное. Солнце и из навоза стихотворение в прозе сделает...

Вот и кучер. Мужик с бляхой на затылке, в картузе, в нагольном тулупе. Борода до бровей, глаза, как у Шелли, но десять рублей вместо шести, как надо бы взять, все-таки спросил и не уступил. Случай редкий—как не содрать,—поневоле в славянской душе проснулись итальянские инстинкты.

— Как вас зовут?

— Трифон.

— С колокольчиком поедем?

— Уж как полагается; погоди, за город выедем, отвяжу балабон-то. В городе исправник не позволяет.

— А сам, небось, всегда с колокольчиком?

— Да ему кто ж запретит?

О, какие лошади! И не только у моего извозчика, вон и рядом и еще вдоль забора, у всех извозчиков такие. Опилками они их кормят или хворостом? Или ничем? Усаживаюсь на ржавые,

оборванные дрожки, смотрю и жду. Если бы нищий мог держать свой выезд, у него должен был бы быть точно такой экипаж и лошади. Спины так остры, что глазам больно,—их бы куда-нибудь в лошадиную санаторию, что ли, а не гнать за тридцать верст. Овсом кормит,—оказывается. Полную торбу под себя подложил.

— Но, эй!

Поехали, я думал—не повезут. Качаюсь вправо, качаюсь влево, голова болтается, камни на мостовой, как черные клавиши, протарахтел мост, улица полезла в гору, тащимся, и с каждым шагом из-за крутого взгорья с желтой церковью все шире и шире разворачивается лиловая световая даль... Но глаза еще отворачиваются, ждут полного простора там, за городом, чтоб нанирваниться допьяна, без помехи. Опять повернули. Серые от дождей матовые заборы отливают тусклым блеском на сучках, над заборами—яблони. Кое-где, среди ржавых лепестков белеет еще последний цвет,—так давно, так давно не видел... Там, за заборами, скамейки под густыми кустами, беседки, закрытые хмелем, тишина и сырость... Мимо, ни к чему! «Продажа муки и прочего зерна». Еще одна церковь. К чему им столько? Домики все реже, еще один, другой. У последнего старик в пиджаке и нижнем белье отворяет ставни. Конец.

— Что это за дом на горе?

— Чего?

— Дом, спрашиваю, чей на горе?

— Не дом, это — тюрьма.

Ну что ж, тюрьма так тюрьма. Два этажа, беленькая. Во всем городе такого большого, красивого дома нет. Спасибо хоть за то, что горизонт украшает...

Все дальше, дальше... Поля подошли к колесам, грачи поднимают головы от земли, смотрят и равнодушно поворачиваются боком; железнодорожный мост спрятал последнюю арку, навстречу зашумела у перекрестка искалеченная ракета и, как ровный колыбельный напев, закачался у дуги тонкий, чуть надтреснутый томный плеск. Небо стало другим. Громадное, глазом не охватишь, здесь синее, там голубое, облака развернулись и стали,—края, как золотые стружки. Воздух—как полная радость, дышишь, словно здоровье пьешь-пьешь, и жажде конца нет. Землей пахнет, травами пахнет, тишина до края земли, и колокольчик словно не к дуге привешен, а к самому сердцу.

Дорога колея в восемь—земли не жалко—взобралась на пригорок, и вдруг поля исчезли. Въехали в деревню. Прямая длинная улица, только одна, по бокам низкие кубы, одни из бревен, другие кирпичные. Дырки побольше—двери, дырки поменьше—окна. Там и сям перед избами тощие ракирки. Навстречу с криком бегут оборванные дети. Мужик подымается с земли и снимает на всякий случай шапку... Проехали...

Я мог бы теперь быть в Сицилии или в Каире... Или в другом таком месте, где еще можно видеть последние клочки чудес на земном шаре. Отчего же я здесь? Ах, да! Петр Петрович посоветовал: сказал, что в стране, в которой мы живем, есть свой необъятный Каир,— очень удобный к тому же Каир, потому что в нем говорят по-русски. Назвал знакомое село: далеко от города, не очень бедно, есть пруд...

Какое оно, это село? Есть там леса и глубокие складки земли, заросшие прохладными кустами, какие люди, у кого буду жить, что будет перед окном?.. Все это уже есть и иным, чем оно есть, быть не может, но я не знаю, я еще не видел, и для меня это новое так многогранно и таинственно... Качаюсь вправо, качаюсь влево, глаза уходят за сизую полоску горизонта, все обычное отошло, душа словно пустая квартира — все выбросила и ждет новых жильцов...

\* \* \*

С северной стороны администрация и культура: волостное, чайная (там же и водка), больница с темно-зеленой каймой шиповника вдоль ограды и двухэтажная веселая школа. Перед школой уютные лохматые липы.

С востока, запада и юга попроще: деревянные и кирпичные избы под огромными нестриженными соломенными крышами (у лавочника железная), по кирпичу белые разводы зигзагами вверх и вниз.

В юго-западном углу крытый колодец с колесом, перед колодцем кирпичный домик с косою трещиной через всю стенку и,—слава Богу!—две ракиты. У домика крытое крыльцо со скамейкой. На скамейке я. Вот вся топография.

Остальное меняется: облака в небе то стоят над колодцем, то уходят в конец дальней улочки, маленькие дети то рассматривают меня в упор, усевшись перед крыльцом на траве, то садятся сбоку и рассматривают мой профиль. В домике я один. Хозяину его оторвало на шахтах ногу, и так как на деревяшке за плугом не угонишься, то он, вернувшись, устроился сторожем в школе за три версты, а дом сдавал кому придется. В прошлом году больнице под рожениц, в этом — мне. Жена его, Феня, приходит ежедневно готовить обед.

Хорошо ли? Шарик, который в позе сфинкса лежит под ракитой, вероятно, усмехнулся бы на такой вопрос, если б понимал. То один глаз откроет, то другой, оба сразу — лень; язык вывесил и греется. Может быть, где-нибудь за полверсты и лучше. Под березой на опушке рощи... Там повернешься на один бок — небо, как океан в парусах, и сквозная зелень трав так таинственно бормочет и качается, повернешься на другой — белые стволы, словно из тела растут, а верхушки мотаются у самой голубой краски. Лучше там, Шарик, а? Вот ты лежишь, как колода, под неинтересным деревом, а у пруда можно погонять по кустам, напиться, утенка деревенского сцапать — благо никто не увидит. Но пока туда доберешься... Жара.

Летняя лень, как запой. Лежит Шарик, сидят дети, сижу я — и так целыми часами. Дети молчат и смотрят.

Самый маленький и пузатый время от времени наклоняется к белоголовой девочке с черными глазами и, захлебываясь, сообщает ей, очевидно, результат своих наблюдений над моей особой. Что он такое говорит, одному Богу известно, потому что у него вместо слов пузыри изо рта выскакивают. Девочка досадливо отодвигает его локтем и еще пристальнее, еще неотвязнее впивается в мою фигуру. Подходят новые и новые, усаживаются на земле и с выражением напряженного ожидания начинают меня разглядывать: лицо, ботинки, цепочку от часов и пр. Мне все более неловко, я чувствую, что надо что-нибудь такое сделать, чтобы их не разочаровать. Вспоминаю, как мы ходили с братьями в детстве в зоологический сад и часами обиженно простаивали перед клеткой медведя или какой-нибудь вялой птицы, которые упрямо не желали двигаться, — вспоминаю, кстати, свой давно забытый талант и, победив внезапное волнение артиста перед незнакомой публикой, — заливаюсь лаем на весь выгон.

Успех полный. Шарик вскочил и чуть не схватил меня за губу, вихрястый мальчик с выбитыми зубами перевернулся через голову и обнаружил всю неисправность своего костюма со стороны ближайшей к земле, девочка взвизгнула, самый маленький упал и заплакал, но потом понял, в чем дело, и стал от восторга пускать такие пузыри, что мне страшно стало...

Пришлось повторить еще и еще, потому что слишком уж хорошо они смеялись. Так хорошо, что даже действительный тайный советник улыбнулся бы в ответ и, пожалуй, тоже залаял бы, чтобы снова вызвать такой смех...

Потом я курил и пускал дым из ноздрей, ловил три камня одной рукой, высовывал язык, свистал и уже думал, что лед сломан и можно перейти к более культурным формам общения. Но напрасно. Едва окончилась увеселительная программа, как наступило полное молчание, только пузатый все громче сопел от напряжения, а остальные, как маленькие Будды, неподвижно и важно сидели на траве и рассматривали меня.

— Как тебя зовут? — спрашиваю девочку.

Молчание.

— А тебя? — спрашиваю лукавого мальчишку в рваной малиновой рубашке.

Молчание.

— Проглотил язык? Ну ладно, не будете разговаривать, так я больше лаять не буду.

Молчание, но уже начинают переглядываться и прятаться друг за друга. Я встаю со скамьи, подхожу к девочке, опускаюсь рядом на траву и заглядываю в ясные черные глазки:

— Отчего ты не хочешь сказать, как тебя зовут?

И вот происходит нечто необыкновенное: девочка стремительно бросается на землю и в припадке какого-то патологиче-

ского смущения (другого слова и не подберу) закрывает руками лицо и подворачивает голову под плечо. Обращаюсь к другому — то же самое. Оцепенел, свернулся в клубок, закрыл лицо и так крепко прижался к траве, что и не оторвешь никак. Зато остальные довольны необычайно — в глазах блеснуло не то злорадование, не то сочувствие. Даже языки развязались: «Так ее, так ее! Боишься? Смотри, за руку Серегу берет...» — «Серега, не поддавайся! Черт!»

Я печально вздыхаю, поднимаюсь и иду к себе. Еще не один день нам надо рассматривать друг друга, чтобы узнать, как кого зовут. В передней висят «котелки» (так здесь называются баранки), снимаю и отдаю им. Но взятка не помогла: стремительно съели и опять застыли в прежних позах.

Ухожу в комнату. Жаль опускать занавески, жаль закрывать синее небо и дальнюю улочку с ракетами, еще больше жаль лишить ребят дарового представления — вон они уже сидят друг на друге и разглядывают сквозь оба окошка и меня и комнату. Но что делать? Кроме чемодана и умения лаять, я ведь привез и так называемые нервы, — когда даже такие маленькие люди так долго и неотступно осматривают тебя, начинает казаться, что ты голый, живешь в каком-то стеклянном аквариуме... Даже не голый, а больше — точно с тебя кожу содрали и смотрят. Они вот падают же на землю, когда подходишь к ним ближе.

Белые стены. Низкий потолок. На стене яркие картинки из «Jugend» (сам вделал в стекла), карта России из путеводителя и Толстой на кнопках, над Толстым огненное орловское полотенце, а над постелью — горячий, веселый, оранжевый платок с малиновыми розами и изумрудными листьями. Стены — это главное. Когда вот такие уютные штучки развесишь, как-то спокойнее себя чувствуешь, словно в степи за ширмами сидишь. А иногда засмотришься на яркие краски, на мудрые лица и обрадуешься. Радость маленькая, а все-таки радость. Пусть по существу радость эта, как голодному нарисованный окорок, — что делать, если другого нет? Хоть оближешься и вздохнешь, — все лучше, чем бить мух уныния на собственной голове... И стол у меня есть: достал из школы в виде одолжения учителя за интеллигентные разговоры. На столе в банках изумительной нежности полевые цветы: кашки, ромашки и еще что-то лиловенькое, высокое, сквозное и радостное. В углу кровать: композиция из холстины, досок и сена. У дверей висит доска на бечевках, а на ней Диккенс и иные сладкие обманщики, которые здесь так легко и полно входят в голову, а в городе годами валялись на полках.

Вот и вся комната. Хороша, не правда ли? Нарядная, новая маленькая коробка: живи в ней хоть среди Ледовитого океана, и то не страшно. А тут еще за оконной занавеской сквозит зелень, мягкие пятна изб, небо.

Жужжание бесчисленных мух сливается в один гудящий контрабас, немецкая толстая Mädchen<sup>1</sup> из «Jugend» жизнерадостно упирается в бока, и мне начинает казаться, что немного сонное, немного недоуменное ощущение свободы и безделья, наполняющее тело, есть ощущение счастья.

Бабы, которые приносят яйца, масло и прочие необходимые для каждого мирозерцания предметы, удивляются и ахают — крестьянская изба и так, мол, красиво. Такое проявление вкуса радует, но досадно: полотенца и платок я у них же купил, а до меня они прели в сундуках. Что бы вынуть и развесить? Но полотенца эти, как объяснили мне бабы, вышли из моды, а платки они носят на головах. Цветов тоже вокруг сколько угодно. Кувшины есть и вода есть. Но странно, такая простая мысль, что бабы нарвут цветов и поставят у себя на стол, как-то сразу конфузливо съезживается и вянет... С полотенцами прямо беда: нужно было одно, а купил три, и теперь носят каждый день без конца. Вытаскивают из сундуков холсты, которые сами пряли, уборы, вышитые их матерями, половики, и все мне. Я удивляюсь, но привычка подтасовывает карты, снисходительно уверяет, что удивляться нечему, что я «покупаю», что здесь деньги редки и дороги и т. д. Но многому уже веришь с трудом, — веришь с трудом, что где-то есть конные статуи на площадях, журнальные направления и прочие городские удовольствия.

На кухне что-то шипит и булькает. Вернулась хозяйка с ведрами, а с ней восьмилетняя дочка Аннушка — тоненькая, быстрая, вся запыхалась и трется о юбку матери. Совсем как жеребенок... Хозяйка красивая, строгая, улыбается редко и говорит со мной, всегда отвернувшись в сторону.

— Соро обедать?

Феня пробует вилкой:

— Картошки еще твердые, погодить надо.

— Ну, ладно.

Иду в сад. К задней стороне дома плотник за рубль пришил по бокам несколько досок, с четвертой стороны бесплатно торчит соседний плетень. В этом курятнике садовник из соседнего имения насажал цинний, астр и душистого горошку вдоль плетня. Посредине, как я его ни умолял, сделал клумбу, обсадил ее гирляндой из голых ивовых прутьев и утвердил на вершине этого торта горшок с геранью. По бокам, у дверей, посадил несколько бобов, и мой Эдем был закончен. Скамейку заменил березовый обрубок, а стол — найденная на школьном чердаке старая дверь, которую я с великим трудом утвердил на четырех кольях.

По ту сторону забора все это предприятие казалось талантливым шаржем на дачную жизнь, но я был доволен необыкновен-

---

<sup>1</sup> Девушка (нем.).

но. И не один я. У забора перебивало все село, и я не заметил ни одной скептической улыбки. Одобряли: одному вспомнилась городская портерная с садом, и он подмигнул мне, показывая на стол: «Пивка бы сюда, барин?» Другие сочувственно смотрели, как я сидел на обрубке, и видно было, что это их успокаивает, что человек в пиджаке так и должен сидеть на обрубке, за перегородкой, перед идиотской клумбой с геранью, что этим он, так сказать, исполняет свои функции и украшает собою село. Я даже слышал, как, проходя мимо, бабы со вкусом говорили другим бабам (вероятно, из другой деревни): «А вон там наш дачник сидит!» И чужие бабы подходили к забору и смотрели на меня.

Теперь привыкли. Я вот стою уже минут десять в дверях, и только два крошечных белобрых мальчугана из коровинской избы присели на корточки у забора, смотрят на меня и шушукуются. Медленно обхожу клумбу. Во всем теле ленивый хмель безделья и беспечности. Останавливаюсь над грядкой у плетня и смотрю: ростки горошка уже кое-где приподняли землю: сморщенные, бледно-зеленые — что в них? Но глаза никогда не видали, как показываются цветы из земли. В цветочных магазинах они продаются в готовом виде, а здесь я сажал их вместе с садовником, я их поливаю, гоняю от них кур и цыплят, когда те пролезают сквозь самые узкие щели внизу забора и бросаются, как угорелые, прямо на грядки... Сентиментальность? Скорее, я думаю, любовь; большие ее запасы остаются в городе нераскупоренными, а тут за день столько простого и ясного увидишь, — того, к чему там все пути уже закрыты, — что невольно раскупориваешься и выходишь из берегов.

С этими медленно выплывающими мыслями сливаются, как с облаками, другие, которых ни за что не уловить — так много в них образов от дальней роши, от колыханья конопли за плетнем и смутного сознания, что все это как будто и не существует, что день отъезда сотрет всю эту чужую реальность, как губка новые слова на доске...

Дошел до стены и вздрагиваю — против меня, облокотясь на забор, стоит Коровин, черный, с блестящими глазами, похожий на цыгана мужик. Сейчас будет разговор. И точно: гнусаво поздоровался (болен он, что ли, но такого гнусавого голоса я никогда в жизни не слышал) и начал издали:

— Гуляешь?

— Да... вот... гуляю.

— Погода хороша ноньче.

— Хороша.

— Пондравилось у нас?

— Очень. Лесу только мало у вас, погулять негде.

— Погулять? — Коровин ядовито ухмыляется в сторону. —

Погулять и без лесу можно. Вот насчет отопления, это точно, без леса не отопишься.



— Куда же вы лес девали?

— Куды девали? Господину Харитонову на доски в прошлом годе продали. Еще вон роща есть — на две зимы хватит, а там хошь бородой отопляйся.

— Зачем же лес продавали?

— Зачем? — Коровин еще ехиднее ухмыляется. — Покупал — как же ты не продашь? Деньги завсегда надобны.

— Гм... Так вы бы сажали лес. Часть вырубить, часть насадить. Вот всегда и будет, — как в именье здесь.

— В именье? — Лицо Коровина изображает высшую степень сарказма. — Позвольте вас спросить, какое ваше занятие будет? — перешел он вдруг на вы.

— Занятие, — сконфузился я. — Пишу... в газетах...

— В газетах... а говоришь, зачем мужики лес не сажают...

— Да ведь помещик сажает?

— Помещик? Помещик, может, на тройке водку ездит пить к соседу, а мужик на одной пашет...

Аргумент был так неожидан, что я промолчал.

— У нас, брат, картох до весны не хватает, а помещик одних груш возов десять в город посылает.

— И у вас могут быть груши...

— Груши, а может и апельцины?

Упорное повторение моих последних слов и «апельцины» окончательно взорвали меня. Я сделал рукой широкий жест и не без жару произнес:

— Да, груши! «Апельцины» нет, а груш можете иметь сколько угодно. Вон пустырь, и там пустырь, и у вашего дома пустырь. Посадите каждый хоть по дереву — не велик труд — и у всех будут груши.

— Не будут.

— Почему не будут?

— Ребята переломают.

— А вы огородите.

— Может, и сторожа к ним нанять?

— Зачем сторожа? Отчего же у немцев не только возле домов, а все дороги грушами и яблонями обсажены и никто не ломает?

— У немцев? Вы видали?

— Видел.

— Так то у немцев, у нас нельзя этого. Не переломают, так покрадут.

— Кто украдет, если у всех будут?

— Ну, ребята обтрясут, да зелеными полопают. Вон как горох: Тимохин посадил — раскralи, у Бобкова покрали, у лавочника и то покрали... Вот тебе и груши!

— Это верно, покрадут, — с удовольствием подтвердил сосед, внезапно появляясь из-за плетня.

Молчание.

— Скучаете у нас? — осведомляется он с таким видом, будто иначе и быть не может и что скука — это тоже одна из функций господина в пиджаке.

— Чего ему скучать? — отвечает за меня Коровин. — На всем готовом, читай да гуляй, только и делов.

И все это без малейшей иронии, точно он определил меня простой и ясной формулой, всем давно известной. Я переминаюсь и поворачиваюсь к клумбе, чтобы подготовить отступление, но сосед удерживает меня вопросом:

— Листок получили?

— Какой листок?

— Газету, тоись? Я из волостного принес сегодня, вам под дверь сунул.

— Получил, спасибо.

— Нет ли чего? Насчет хуторов или так?

— Насчет хуторов нет. Да ведь к вам в воскресенье член придет насчет хуторов, он и расскажет.

— Расскажет, само собой, да в листке, чать, все больше... Настоящее, тоись...

— Нет ничего. Все больше пишут, как летают. Убился один русский. Упал на дерево и убился.

— Летают, говоришь. Как же это?

Я, насколько мог яснее и подробнее, стал рассказывать, как летают, кто летает и для каких надобностей, но в середине рассказа Коровин равнодушно меня перебил:

— Ни к чему это. Зря.

Очевидно, он поверил мне, нисколько не удивился и только решил, что это «зря».

Я ничего не мог на это возразить и опять повернулся к клумбе, но, к счастью, Феня выручила, — появилась в дверях и сказала: «Пожалуйте кушать».

Ем. Мухи как пьяные кружат над борщом и, так как он слишком горяч, едят меня. За перегородкой на кухне, как несмазанные насосы, втягивают в себя борщ Феня с Аннушкой. Обедать со мной вместе они не хотят. Аннушку, может быть, и удалось бы убедить — она любопытнее и посмотреть, как ест человек в пиджаке, очень интересно, но ее мать чувствует разницу положения не хуже любой губернаторши и наотрез отказалась:

— Нет, мы уж на кухне.

— Да почему на кухне, Феня? В комнате прохладнее и чище, да и мне вместе обедать веселее.

— Нет, уж мы на кухне.

Когда такое возражение с безнадежно-одинаковой интонацией повторяется раз пять, невольно падаешь духом и отходишь.

Ем. Аннушка что-то оживленно шепчет матери. Мне очень интересно послушать, но я знаю, что стоит мне только встать и подойти к дверям, чтоб она замолчала. За занавеской все еще висит на руках любопытный мальчишка. Ему ничего не видно, но

он, очевидно, дошел до мысли, что должен же я когда-нибудь откинуть занавеску,— и он не пропустит этого счастливого момента, хотя бы ему пришлось висеть так до вечера. А там, у колодца, мутными пятнами сквозят на траве фигуры ожидающих. Точно у кассы Художественного театра.

Борщ становится все преснее и безвкуснее, и я в раздражении думаю, что деликатность должна бы быть врожденным качеством и совершенно от культуры не зависеть и что голова мальчишки через минуту проломит стекло и в припадке ужаса застрянет между выгоном и комнатой. Подхожу к окну, отдергиваю занавеску и в упор смотрю на мальчика. Ему всего четыре года. В первые мгновенья он изумленно смотрит на меня, как на летающую лошадь, но через минуту не выдерживает, кубарем слетает на траву и ревет. Остальные, как воробьи, перепархивают по земле и боком подбегают к окну. В эту минуту Феня вносит картофельные котлеты. Но ребятам так и не суждено было увидеть, как я их ем — она распахнула окно и решительно вступилась за мои интересы:

— Озорники! Не видали, как человек ест, что ли? Пошли прочь!

Никакого впечатления.

— Пошли прочь, говорю!.. А то возьму хворостину...

Магическое слово вызвало знакомый образ и подействовало. Они ушли, а я виновато вздохнул. Пусть бы смотрели,— смотрю же я, как овцы щиплют траву: для меня ново, а овцам, быть может, тоже неприятно.

В улочке за колодцем оживление. К третьему домику слева подъехала телега. Мужик сбросил на траву гроб. Подходят бабы, со всех сторон сбегаются дети, но к самому дому никто близко не подходит.

— Что там такое, Феня?

— Харитон помер.

— Отчего?

— Сибирка. Корову драл, вот и пристала.

— Что ж он, лечился?

— Дурной он. Кабы лечился, как следует, выжил бы... Восемь ден в больницу не шел, а на девятый пришел, рука вся напухла, как колбаса гнилая...

Она ставит на стол кисель и продолжает:

— Вылечился бы, ничего... Шпринцовали его там, через день полегчало, да баба дура испугалась, что помрет, положила его вчерась на телегу и повезла причащать. Наш поп хворый, повезла к другим...

— Ну и что ж?

— Митрохинский в город уехал... Покровский забранил, зачем поздно привезла, прогнал,— повезла в Хомутово, да лошадь заморилась — стала. А тут дождь пошел. Беда... Привезла его домой, светать стало, а он не дышит... Что ж вы киселя не едите?

— Спасибо. Не хочется. Что ж, корову закопали?

— Кому охота?!— презрительно фыркает Феня.— В овраг сволокли— и то спасибо.

— Да ведь все стадо заразиться может!

— Им что? Шкура снята, хозяин свое получил, чего еще? Покойника вот боятся. Обмыть надо, да бабы боятся— не идут. Кисель убрать, что ли?

— Уберите.

Однако не все боятся. Вот в избу вошла одна, другая, и вся толпа подвинулась ближе.

Мухи, отяжелев от обеда, с удручающим упорством вяло опускаются на мое лицо. Вспоминаю, что, может быть, час назад они сидели на руке Харитона и наливались... Бррр!.. Взмахиваю руками и начинаю шагать по комнате: мухи оставляют меня в покое и головами внутрь собираются в черные живые круги над каплями борща.

За перегородкой Аннушка ожесточенно вычерпывает кисель. Подхожу на цыпочках и смотрю в щель: ишь ты! Щеки в киселе, нос в киселе, глаза сияют, засунет ложку в рот до самого черенка, потом оближет ее изнутри и снаружи и опять в тарелку.

— Вкусно?

Аннушка подымает голову и улыбается. Положительно, здесь, в деревне, по-особенному улыбаются,— не улыбка, а какая-то эссенция улыбки. Мать сдержаннее: шевельнула углами рта и ласково покосилась на дочку. Мне досадно, что разговор оборвался. О сибирской язве и о Харитоне, положим, не аппетитно слушать, но Феня удивительно рассказывает. Интересны не самые слова, а то, что за ними: все совершенно определенно, твердо и с оттенком снисходительности к собеседнику. Точно это Платон беседует, а не жена безногого сторожа.

— Скажите, Феня, где лучше, в городе или в деревне?

— Как кому. Вам в городе, чай, лучше.

— Почему вы думаете?

— А как же? В гости сходить, или к вам придет кто... подходящий.

Гм... подходящий. Ошиблись, друг мой, сию дома, как сыч, а если кто и придет, так совсем не «подходящий»...

— А вы в городе были?

— Была. Один раз была,— сказала и рассмеялась.

— Чего вы?

— Да так.

— Что так? Вы расскажите как следует.

— Смешно уж очень! После свадьбы года с два прошло, а я-то со своим и недели не пожила. Поженили его, да на шахты, в дому и без него два брата, он выходил лишний. Два года, значит, прожил на шахтах и заскучал: пишет письмо, чтоб я к нему приезжала немедля, и денег прислал на билет...

— Ну-те...

Феня перетирает кастрюлю и ждет, пока Аннушка доложит тарелку и уйдет в сад.

— Еле добралась. Сперва кондуктор подлый попался, хотел посадить меня на станции, где ему смена была. Здесь, говорит, тебе слезать, а я неграмотная была тогда...

— Зачем слезать? — не понял я.

— Да так... — Феня конфузится: — Красивая я была... Слава Богу, люди заступились, прочитали билет, а то бы беда... Приехала в город и с письмом пошла на шахты. Грязно как, Боже спаси, уголь на зубах хрустит, трубы какие-то да сараи, люди, как черти, вымазавшись ходят. Иду с письмом, дорогу спрашиваю, а шахтеры в тот час в казармах отдыхали. Показали казарму, где мой Михаил был. Только чувствую, что не помню, какой он из себя, хоть убей, не помню! Да и то сказать: долго ли мы с ним и пожили-то? Забыла. Испужалась я до смерти тогда. Одна, никого не знаю, денег рубль, народ кругом озорной. А все иду, — чего станешь делать?

Она перевела дух и остановилась, и по лицу ее совсем не было видно, что это ей даже и теперь «очень смешно».

— Как же вы его нашли?

— Бог спас. Вошла в казарму, в глазах темно стало, лежат на полу шахтеры, как дрова, черные все — может, триста их там было; и все, как один. Спросить боюсь, дрожу, а вдруг покажут, а он вовсе и не муж мне — я одна, их полна казарма, что делать? Погубят. Только обхожу я их так, да глянула вдруг на одну рубашку и признала. Сама вышивала, только к Успенью послала, — как свою работу не признать? Ну, и не ошиблась, действительно муж оказался. Смеялись потом очень.

— А если б ошиблась?

— Так бы и пропала.

Это было сказано так уверенно и просто, что я на мгновение задумался, представил себе всю картину и невольно повторил: «так бы и пропала».

Ложки и тарелки вымыты, стол тоже. Феня берет свое лукошко, в котором она приносит овощи, и кличет дочь: «Куды пропала? Домой надо». Потом поворачивается ко мне и безразличным голосом, точно она не мне все это только что рассказывала, а стенке, говорит:

— Прощайте. Там у нас баба цыплятами называется<sup>1</sup>. Принести, что ль?

— Нет, не надо.

— Ну что ж.

Аннушка приветливее и, уходя, оборачивается:

— Я тебе завтра розан принесу.

— Распустился уже?

— Распустился. Во какой розан!

<sup>1</sup> Предлагает купить (Прим. Саши Черного. — А. И.).

— Спасибо.

Ушли. Я опять на крыльце. Сижу уже бесконечно долго. Приходили цыплята и клевали пшено прямо из рук. Приходил Шарик и съел на зависть всем соседским собакам (и, кажется, не только собакам) гуцу от борща с хлебом. Потом ребята разошлись и, щеголяя передо мной и друг перед другом, показывали разные штуки: цеплялись ногами за жердь между двумя ракетами и висели вниз головой, пока глаза не вылезали на лоб, боролись, плевали Шарикку между глаз,—потом им надоело и они ушли на другой конец выгона, уселись там в кружок и затеяли какую-то таинственную игру. И справедливо. Ни о каких настроениях они не слыхали,—стоит ли зря занимать человека, который утром сам лаял и ходил на голове, а к концу дня сидит, как палка, и даже не вынесет ни одной котёлки или леденца...

Ветер далеко за улочкой взбил пыльный смерч и погнал к крыльцу. Харитона давно увезли и зарыли... Запад порозовел, и первая овца, низко наклоняя голову к земле, протрусила из-за дальнего поворота улицы к колодцу. За ней бежала частой рысью и непрерывно повизгивая черная поджарая свинья, за ней еще овца, которая бежала ровно, но вдруг сбивалась на какие-то странные прыжки и четко обеими передними ногами хлопала о землю, потом точно плотина прорвалась: колыхались черные, серые и белые овечьи спины, скрипел кашель, звенело детским плачем блеяние, какие-то необыкновенно нервные свиньи мчались во весь карьер, не останавливаясь, и так же визжали, как первая,—собаки, сидя у своих ворот, коварно отворачивались в сторону и вдруг неожиданно кусали то ту, то другую свинью за зад или бок, свиньи отскакивали и в ужасе мчались назад, поросята пищали под ногами у овец и разыскивали взрослых,—а над всем этим живым, хрюкающим и блеющим потоком в волнах оранжевой пыли заходило солнце. Хозяйки выходили к воротам с хлебом в руках и кричали: «тпруси, тпруси»,—и овцы бежали на зов, дети хватали самых маленьких и глупых ягнят и тащили домой... Разыгрывалась какая-то овечья и поросячья симфония. Я сидел неподвижно на крыльце, как и в прошлые дни, и последним пальцем ноги чувствовал: «Вот, наконец, настоящее... близкое до конца». Радовался так, словно сквозь щелку в рай заглянул. Не правда ли, странно? До сих пор для меня это было тоже, «водопой жирафов в Сенегамбии»,—почему же с первого взгляда это стало таким же органически ценным и обычным, как... как стихи Пушкина?

Пробежала последняя овца. Как всегда, иду с ведром к колодцу: надо поливать цветы. Как всегда, одна из баб, которая тоже пришла с ведром, настойчиво хочет сделать это за меня,—ибо таскание ведер из колодца не было, по ее понятию, функцией человека в пиджаке. Но я огорчил бабу, бросил ведро в черную пасть и с силой дернул за колесо.

Мимо возвращались с работы подростки и взрослые. Одни фыркали, другие улыбались. Одни кланялись, другие не знали, кланяться или нет, третьи враждебно в упор смотрели в лицо и точно говорили: «Думаешь, поклонюсь? На-кось, выкуси». Все это, как обычно, смущало, и я был рад, когда очутился с ведром в саду... Сухая земля жадно пила воду. Стебли колыхались под струей, запах мокрой зелени и земли радовал так, словно сам я иссох от зноя и меня поливали... Так. Больше ни капли.

Задвинул засов, зажег лампу. Долго барабанил по столу и смотрел в окно... Ясные деревенские картинки, которые пестрели в оконных рамах утром, исчезли,— за окнами сизая мгла, последние угли заката, и со всех сторон умирающие дали. Спят куры, овцы, собаки, дети, дремлют мухи на потолке и сонно жужжат, словно кто тихо играет на гребенке, укладываются бабы и мужики, и через час на много верст все уснет. Даже сторож с колотушкой погремит, пока все не легли, а потом повалится на траву и захрапит. И отлично. Стихотворение в прозе: спящая деревня, одинокий индивидуалист в пиджаке, Katzenjammer<sup>1</sup> и решение задачи на тему— «отчего люди живут, как свиньи»... К черту! И еще раз к черту! Такой хороший день, и вдруг к вечеру легкий приступ морской болезни. Нервы... надо бороться. А вдруг не нервы? И даже наверно не нервы...

Конечно, можно написать письмо, если есть кому и о чем. Конечно, можно пришить пуговицу к жилету, который ждет этого вторую неделю: к тому же, во-первых, каждый обязан, по возможности, делать все сам; во-вторых, труд наполняет время и... Еще нюанс: скребет мышь.

Подхожу к полке и долго не знаю, какую книгу буду я сегодня читать. Потом закрываю глаза, пробегаю пальцами по корешкам, как по клавишам, и вытаскиваю — Верлена. В голове пробегает дикая мысль: что если позвать сторожа с колотушкой и попробовать своими словами рассказать ему что-нибудь из этой книги, ну хоть Коломбину? Позвать?.. О, как дико, как дико,— или среди тишины умирающего вечера недостает еще истерики, и надо, чтобы куры, собаки, дети проснулись и сбежались под окна?.. Сколько посторонней дряни живет под черепом...

Я тихо сижу за столом, и все во мне замирает. Я повторяю простые удивительные слова незнакомого мне человека, давно мертвого,— слова, которые я нашел в его книжке, раскрыв ее наугад:

Les sanglots longs  
Des violons  
De l'automne  
Blessent mon cœur  
D'une langueur  
Monotone.

<sup>1</sup> Состояние похмелья (нем.).

Я радуюсь, что был такой человек, мне бесконечно жалко, что он никогда больше не увидит даже того, что видит простая овца,— а кому видеть, кому видеть и слышать, как не ему! Я опять и опять повторяю его слова, закрываю глаза и, вдруг содрогаясь, широко раскрываю их. Кто-то резко ударил в раму, окно распахнулось, дрожащая серая рука отодрала занавеску, и красная пьяная голова соседа тупо и изумленно уставилась на меня.

— Драстуй! С тобой пришел по-го-во-рить... Лампа горит. Думаю, скучно ему, дай поговорю... Баррин,— заорал он вдруг на всю деревню,— ты думаешь, я пьян, так не мо-ггу говорить. Могу! Все могу...

— Я вам верю. Только не надо так кричать,— вы всю деревню разбудите. Зайдите в комнату, будем чай пить, поговорим.

— Пого-во-рить? А може я с тобой не желаю говорить? Ты кто такой? Думаешь, лампу зажег, так и баррин... Нет, брат...

— Зачем вы так кричите? Вы бы пошли домой... Хотите, я вас отведу, вам бы лучше уснуть.

— Не желаю. «У московских у варот, есть налево па-ва-рот»...

— Не кричите, пожалуйста. И ступайте отсюда вон!

— Не желаю. Сам пошел к .....!

Тогда я наклоняюсь к самым его глазам и медленно и твердо произношу:

— Пошел вон, пьяная морда, слышишь!

Он понял.

— Баррин! Доррогой мой! Правильно, последняя свинья я, пьяный пес и негодяй! Я тебе завтра петуха зарезу, какого хошь,— сказал и зарезу... Потому ты не брезгаешь. Я понимаю, я, брат...

Он ушел во тьму, продолжая выкрикивать какие-то бессвязные жалкие слова о моих добродетелях и своих пороках, и вдруг опять заорал на весь выгон:

У московских у варот

Есть налево па-варот...

Мы еще даля пайдем...

Но подошел караульщик, который до того, не желая отнимать у себя редкого развлечения, не вмешивался в его диалог со мной, и повлек его куда-то.

Опять тишина. Я сбросил Верлена на пол и вышел на крыльцо. Посреди дороги чернело какое-то чудовище. Подошел ближе: борона, зубьями кверху. Должно быть, сосед загулял и забыл убрать. Если кто наедет в темноте,— лошадь, чего доброго, ноги переломает,— она-то, во всяком случае, не виновата. Оттащил в сторону и оглянулся. Встал молодой месяц. Черные ракиты глухо шумели у темных изб. Перед больницей желтел одинокий фонарь... Все спят. В избе у соседа темно и тихо. Должно быть, его сволокли в пожарный сарай— до



утра очухается... Что ж, у кого водка, у кого Верлен. Причина одна... Да и сам господин Верлен не оттого ли и пил, что слишком больно писать иные строки?

Спать, спать, спать.

\* \* \*

Прошли недели... Тихие такие дни. Утром проснешься как новорожденный, закроешься от мух кисеею и, улыбаясь, смотришь, как они ползают над самыми зрачками, громадные такие, как крокодилы. Цыплята пищат на крыльце, а за занавеской дежурит знакомый кудлатый мальчик: я вижу, кто такой, а он меня не видит.

Всякий пустяк, всякое знакомое с детства движение приобретает новый радостный, хочется сказать, лирический характер. Со вкусом натягиваешь сапоги, со вкусом умываешься, и глаза смотрят не в эмалированный таз, а в траву, утыканную желтым коровником. Чай в саду вкуснее меда. Цыплята лезут в тарелку и щиплют хлеб, Шарик следит за каждым глотком, вздыхает, облизывается, ребята висят на заборе и завидуют. Словом, комическая идиллия во вкусе «*Fliegende Blätter*»... Потом купаешься в пруде, обедаешь лесной земляникой... Стоит только час-другой пролежать в роще или у пруда, как сейчас же вокруг открывается новый рынок: несут землянику, грибы, кто норовит продать свой складной нож, кто ежа. Поймает и тащит ко мне: купи. Куда он мне? Но они знают: «А ты как намерен, купи да выпусти...»

— А вы опять поймаете и мне продадите?

— Знамо! — и сами хохочут.

— Куда вам деньги?

— Мало куда! Гостинцев купить, подсолнухов...

— Подсолнухов? Вы бы весной посадили горстку семечек в огороде, — и покупать не надо.

— Посадил один такой! А летом что лущить-то?

— Осенью соберешь, и на лето хватит.

— Как же! Хватит! Все равно мамка продаст. Ты вот за грибы пятак дал, она увидала, себе взяла.

— Зачем же взяла? Ведь ты собирал?

— Что ж, что я: ей деньги нужней...

Слушаешь, слушаешь, встанешь, отойдешь будто так себе за стволы и заросшим оврагом улизнешь от них в такую глушь, что и ветер не сыщет.

Лежишь и представляешь себе: я мужик, у меня три десятины земли (средний местный надел), жена, корова, лошадь и прочие принадлежности. Домик беленький, ставни зелененькие, с вырезанными сердечками посередине, перед домиком шиповник (из оврага сколько хочешь пересадить можно) и мальвы. Над окнами резные наличники, как в альбомах кустарных художеств (здесь ни

у кого), у дверей скамейка со спинкой,— не сидеть же на земле, как они... В саду груши, яблони, смородина, малина, ульи и проч. В огороде огурцы, репа, горох, свекла, фасоль и тому подобные прекрасные растения. Фасоль, например, и горох питательнее ржи, в случае засухи их можно поливать, а в огородах у местных крестьян кроме «картох» и конопли ничего... Лука нет. Громадные пространства обросли татарником, полынью и еще какой-то бурой дрянью. Об оврагах и говорить не стоит... Так думаю я, закрыв глаза, и представляю себе, как удивляются все крестьяне не только в селе, но и во всем округе. Как сначала завидуют, потом начинают подражать...

Да, да, совершенно серьезно: я твердо верю, что если и не будут подражать, то все это каждому лично можно устроить. Зачем другому, может быть, мне? Купить в рассрочку три десятины... нанять работника, садовника, агронома, маляра... От этой простой, но ядовитой мысли вся идиллия сворачивается, как молоко от жары. Доводы против так и обгоняют друг друга... Хотя бы... хотя бы... то, что рассказала на днях фельдшерица. Крестьяне ее очень любят, и она их очень любит и возится с ними двадцать с лишним лет. Но она кроме крестьян любит еще и лилии и белые розы и насадила их за амбулаторией вдоль карниза. Какие-то необыкновенные сорта выписала. «Царицу весны» или как-то в этом роде. И вот, мало того что они и оне (взрослые, как клятвенно свидетельствовал сторож) неуклонно ходят туда гадить, хотя для этого устроен для них павильон,— какой-то дьявол взял да и выворотил эту «Царицу весны» с корнями и втоптал в землю. Словно не человек, а носорог. Фельдшерица так огорчилась, что и слов не находила. Пришел к ней чай пить, а она сидит и повторяет:

— Зачем они это сделали? Ну зачем?..

Вот и обзаводишься зелеными ставнями с сердечками, мальвами и проч. ...

Так, под орешником в овраге домечтаешься и довозражаешь себе до того, что устанешь и уснешь, как жук в сене.

. . . . .

Сегодня был особенно пестрый день. Утром зашел в школу. Сторож Игнат, маленький лысый человечек, на круглых ногах, дал мне ключ от шкапа с инструментами и показал, как надо строгать. Сначала начерно «шершебелем», потом рубанком и наконец самой большой штукой— фуганком. По-моему, все они рубанки, только один побольше, другой поменьше. Но Игнат категорически заявил:

— Не, как же можно. Названия дана каждому своя. Скажем, теленок и корова, порода одна, а названия разная... Как же без названия!

Я убеждаюсь. Рубанок ерзает вправо и влево. Игнат сидит на соседнем верстаке и с увлечением командует:

— Ровно надо! Сначала толкани, опосля ровно! Чтоб стружка ровная, не рватая. Во как! Во как! Во как!

Собственно, было бы гораздо лучше, если бы он ушел, и стружка была бы тогда не «рватая», и рубанок шел бы ровнее. Но Игнат не понимает, что люди в пиджаках, когда смотрят на их работу, начинают волноваться и нервничать. Я искромсал доску, устал и бросил ее. Тогда Игнат слез с верстака и, в десять легких взмахов выгладив ее, повернулся ко мне и сказал:

— Во как надо! Вещь не хитрая...

«Может быть, дорогой мой, может быть... Я вот от рождения рубанка в руках не держал, а ты всю жизнь с ним провозился, и все-таки я в пять, шесть раз перейму эту «нехитрую вещь», а ты попробуй: не хочешь ли, подарю тебе, ну хоть «Евгения Онегина»,— с рисуночками даже для облегчения,— осиль его, друг... До самой смерти не осилишь, хоть трех приват-доцентов по русской словесности для разъяснения к тебе приставить!»

Этакая дрянная, гаденькая мысль... мелькнула и скрылась, как судорога. Откуда она пришла? Почему за секунду до того ее не было, и путей к ней даже не было?

В школьной зале глухой стук, жужжание и кто-то поет тоненьким голоском.

— Что там, Игнат?

— А ткачихи—толкачевская Дуня да Саша плотникова,— пренебрежительно отвечает сторож,— акушерке полотенца ткнут.

Вхожу и здороваюсь. Дуня похитрее: лисье личико, быстрые глаза, худенькая. Одной рукой колесо вертит, другой катушку придерживает, нитки мотает. Остановилась и петь перестала. Саша посолиднее: опустила глаза на холст, стучит станком и головы не подымает. На обеих платки до глаз.

— Что ж вы, Дуня, не поете?

— Уйдете, запою.

— Разве я вам мешаю?

Переглядывается с Сашей и прыскает.

— Ну, что ж. Мешаю, так уйду!

— Что вы ее слушаете,—возмущается Игнат.—Ишь ты, принцесса какá,—«уйдете, запою». Интересно им, чего не поешь, язык отвалится, что ль?

— И без вас спою, дяденька. Вашего носа здесь не спрашивается.

— Носа!—Игнат обижается.—Цаца какá нашлась. Сговоришь с тобой, как же... Тьфу!

Слава Богу, ушел. Прямо наказание, без толмачей и чичероне шагу не ступишь.

— Вы не уходите, я так...—дружелюбно обращается ко мне Дуня.

Я сажусь на скамью.

— Что это вы пели?

— Песню.

— Какую?  
— Да так, песня. Деревенская.  
— А вы расскажите мне ее.  
— Зачем вам?  
— Интересно. Городские знаю, а ваших нет. Расскажите, а я запишу.

«Запишу» озадачило ее.

— Зачем писать, я так скажу.

— Лучше уж я запишу, а то все забуду. С собой в город повезу, память будет.

Пошепталась с Сашей, подумала и решительно трянула головой.

— Пишите. Какую, Саша, сказывать?

— «Приехал гусарик»,— тихо отвечает Саша, не отрываясь от работы.

— Только речами трудно сказывать...

— Так вы пойте. Вот как до меня, и нитки свои мотайте. Я не хочу вам мешать.

Дуня смутилась и петь отказалась:— Пишите:

Приехал гусарик  
Из нового полку.  
Недавно приехал,  
Опять уезжает.  
Его расхорошая  
Плачет и рыдает,  
Плачет и рыдает,  
На ночь оставляет.

Песня была длинная, глупая, отзывалась каким-то особым, лакейски-писарским романтизмом. Диктовала Дуня превосходно. Кружила колесо и косилась глазом на мой карандаш, чтоб не поспешить и не отстать. Записал.

— Хороша?

— Нет, не хороша.

— Вот видите, а сами просите...

— Вы не сердитесь, Дуня. Ведь песня-то не ваша?

— Шахтерская.

— Вот видите! А вы скажите вашу, деревенскую.

Опять пошептались.

— Пишите:

Горько мне, горько калинушку кушать,  
Горчей того нету за старым за мужем.  
За старым за мужем ни игры, ни потехи,  
Ни тихоговоря, ни ласкового слова.  
Он спать ложится, как дуб валится,  
Распустил свои сопли по моим по подушкам...

Сладко мне, сладко малинушку кушать,  
Лучше того нету за младым за мужем.  
За младым за мужем игра и потеха,  
И тихоговорье, и ласковое слово.  
Он спать ложится, как голубь гуркует,  
Распустил свои кудри по моим по подушкам.

Я, затаив дыхание, записывал эту удивительную песню.  
Даже ужасные «сопли» не оскорбили уха.

- И эта скажете нехороша?
- Так хороша, что лучше и не надо!
- Правда? — недоверчиво спросила Дуня. — Так вам нравится?
- А вам?
- Песня ничего. Ваши все лучше.
- Какие наши?
- Городские. «Чуден месяц»...
- «Ах зачем эта ночь»... — робко подсказала Саша.
- Гм... Нет, вы лучше свои рассказывайте!
- Еще есть одна «Трансваль», знаете?
- Нет.

Трансваль, Трансваль — страна моя,  
Горишь ты вся в огне.  
Под деревом развесистым  
Задумчив бур сидит...

- Подождите, Дуня! Что такое «Трансваль»?
- Это так, зря, без внимания.
- Как без внимания?
- Почему я знаю! — Дуня переглядывается с подругой и обе фыркают.
- А бур, кто же это такой?
- Насмехаетесь вы, я сказывать не стану...
- Совсем не насмехаюсь. Интересно только, как же вы это поете и не знаете что.

Надулась. С трудом успокоил ее и кое-как объяснил, что такое Трансвааль и бур, но на девушек это произвело так же мало впечатления, как авиация на Коровина. Я стал осторожнее и критических замечаний больше не высказывал.

- Игнат вдруг заглянул в дверь и поманил меня. Я подошел.
- Чего вам?
  - Вы им, барин, на полушалок дайте, они и не такие песни вам докажут...
  - А какие же?
  - Хи-хи! — Он весь сморщился и захихикал: — веселые есть, убей Бог!.. Они знают:

Дед и баба разговлялись:  
Ели кашу с молоком...

Следующие две строки, которые он выдавил из себя, захлебываясь от смеха, были совершенно неожиданны и нецензурны.

— Таких мне не надо...

— Не надо? Я думал, интересуетесь. Еще хотел вас спросить: пятак старинских не возьмете ль? Катерининские... У меня много!

— Откуда у вас?

— Да так, жена держит. От ломоты очень помогает, ежели воду с них пить. Да куды их столько? Я бы десяточек продал, она не узнает.

— Нет, не надо. А от ломоты вы бы лучше у доктора полечились, больница рядом. Вы сколько лет сторожем в школе?

— Шешнадцать.

— Грамотны?

— А то как же!

— Вот видите! А настойку на пятаках пьете.

Игнат озадачен:— Что ж, что пью? Многие пьют... Так не возьмете?

— Нет, не возьму.

Возвращаюсь.

— Чего это он вас звал?— спрашивает Дуня.

— Так... Пятаки старые продать хотел.

— Купили?

— Нет, не купил.

— Куды их, старые-то! Новых бы поболее было.

— Что ж бы вы с ними делали, если б много было?

Дуня быстро переглядывается с Сашей.

— Смеетесь? С деньгами и дурак умный. В город бы уехала, вот что.

— Разве здесь плохо?

— Здесь... Чего здесь делать—вшей кормить, что ли?— грубо обрывает меня Дуня.— Замуж сбудут. Мужа на шахты, меня в хомут... Не видали, что ли, сколько здесь баб вроде монашек? Мужа нет, а с кем хошь за грош...

Саша еще ниже склоняется к станку и дергает Дуню за подол.

Пауза.

— Ну, что же, продиктуйте еще что-нибудь,—робко прошу я.

— Пишите:

Из-под дуба, из-под вяза,  
Из-под липовых кореньев...  
Из-под липовых кореньев  
На мое ли разоренье...

Ах, какая песня! Но следующая была, как удар по уху,— шедевр армейско-базарной сентиментальности: об «ахвицерике молодом», который «ножкой топнул, ручкой хлопнул по белу Машу лицу». «Очень, стало быть, лихо хлопнул!» — восторженно объяснила Дуня. Записал еще и еще, и все прекрасные песни были деревенские, а все бессмысленные или хамские были городские, разве кроме «Коробушки» и еще одной, двух.

Так вот что поют они по вечерам, раскачивая нехитрые, но неуловимые мелодии с необыкновенной быстротой, или тягуче и хрипло повышая их до пьяного крика... Я бы записал еще, но Игнат стал в дверях, расставив свои кривые ноги, потом пришел маляр, который красил в школе крышу, и тоже застрял в дверях, заглянула в окно мимоидущая баба и завязла в нем с раскрытым ртом. Пришлось уйти, да и Дуня застыдилась и замолчала.

Я долго сидел на скамье у школы и перечитывал свои песни, скажу правду, не менее горячо, чем Верлена. Так вот как «они» чувствуют природу...

Ветер-ветерочек, ветер тоненький голосочек...

А вы, милорд, жили бок о бок и думали...

— Здравствуй, милай!

Подымаю голову: ах, это сосед!

— Здравствуйте.

После того злополучного вечера он сегодня в первый раз со мной поздоровался.

— Ну что, как порешили?

— Это насчет хуторов-то? — Сосед уныло плюет наземь.—

Шут их знает! Не пожелали сперва, да член урезонил. Согласились... А теперь ходят, ругаются.

— А вы-то сами довольны?

— Мне что. Куда люди, туды и я.

— Как же так? Если все так будут говорить, то и схода не надо.

— Кто его знает, може и не надо. С весны нам переселяться, пособие дадут — на много ль его хватит? Избы у нас все больше кирпичные, вот горе! Сруб перевезешь, а кирпич станешь разбирать — побьешь половину. Опять же овцы. На хуторах, брат, шабаш! Теперь самый бедный, как я, скажем, овцы три либо пять держит... Общество.

— А вы в хлеву держите, как... в Германии,— спотыкаюсь я.

— В хлеву... А кормить чем? Теперь, скажем, выгон да овраги...

— Клевер сейте,— авторитетно советую я,— семена земство даром дает. Чего лучше! Управляющий в экономии обходится же без выгона.

— Обошелся! С этого самого клевера два теленка у него поколело,— злорадно сообщает он.

— Обожрались, может быть?

— Там с чего, это дело не наше, а клевер-то вот и оказался!

Увы, через триста лет будут помнить в селе только этих двух телят и не вспомнят ни об одном, кому этот клевер был питательней рыбьего жира.

— Ни к чему все это, барин... Вон после Харитона баба осталась. С похорон пришла, полведра купила, четверть на угощение, а другую четверть тут же гостям и продала. Нашла себе занятие, теперь живет... ничего. Так-то! — прибавляет он злобно, точно возражая кому-то, и отходит прочь.

Разворачиваю тетрадку. Прекрасные песни, о которых я только что думал, завяли: вижу слова, вижу строки. Пусто и темно... Какая странная жизнь. Да и жизнь ли?

Доктор возвращается из больницы и машет мне рукой:

— Размышляете? Идемте ко мне чай пить!

Покорно встаю и иду за ним к низеньким желтым дверям его квартиры. У крайнего окна больницы с любопытством вытягивает шею мальчик с забинтованной головой.

— Не соскучились еще у нас?

— Нет, напротив... напротив.

— Когда уезжаете?

— Не знаю. Как поживется... Недели через две...

— А то на зиму бы остались... Снега́ тут у нас, тишина.

Работать никто не помешает.

Я представляю себе эту прекрасную тишину и сдержанно отвечаю: — Зимой не могу. У меня в городе дела.

— Только потому, что дела?

— Нет, не только потому, что дела. Не приспособлен.

— Приспособиться можно.

— Для чего? Я не врач, не ветеринар, не акушерка, не урядник и не помещик, следовательно...

— Следовательно, будем пить чай. Маша, самоварчик бы нам. Я сейчас, только руки умою.

Осматриваю комнату, хотя и знаю ее наизусть. Кусочек города — словно оазис какой-то. Все так знакомо и ценно, особенно здесь, где любое жильё, как берлога. Резная этажерка с книгами, огромный диван, на стене Пирогов, группа врачей, на шкапу гипсовый «мальчик с занозой».

За стеклянной дверью старенькая терраса, густо переплетенные ветви яблонь и груш, пестреют маки, бегонии, ирисы... Ишь ты, на много лет устроился! Не чета моему саду.

Доктор вытирает руки и следит за мной глазами из соседней комнаты.

— Хорошо у вас, доктор.

— Ничего, жить можно. Устаешь иногда, это верно. Сегодня шестьдесят пять человек осмотрел залпом... разговоры при том всякие. Изнуряют. Они ведь как дети, или, если угодно, как телята какие: разжуй и в рот положи. Не разжуешь, капли вместе



со склянкой проглотит, потом, конечно, ad patres<sup>1</sup>,—и шабаш. У всей деревни навек доверие к медицине подорвано. Вот хоть сегодня... Варвару Козыреву знаете? Старуху? Обратной стороной, надписью т. е., горчичник к животу приложила и удивляется, что не помогло! Думаете, не объяснял? Двадцать раз объяснял. Стара, глуха, головой кивает, разбери там, поняла она или нет. А не узнай я вовремя, смех на все село: бумажками лечит...

Доктор входит и начинает шагать по комнате.

— Школа!— Он махнул рукой в окно на двухэтажный веселенький дом.— «Птичку божию» изучают. Хоровое пение, токарные финтифлюшки и прочие деликатесы... Гигиены никакой. Сведений о том, что под носом, с чем они всю жизнь возятся, ни на грош. Акушерка в селе пятнадцать лет, поповская сестра, здесь же и выросла,—а они бабку зовут, когда рожать надо. Потом заражение, потому что бабка с грязными руками так и лезет! У учителя мать знахар-ка! Молодые, вот, к ней ходят, когда дети не родятся. Холсты приносят. Холсты эти она, видите ли, должна сжечь,—тогда дети будут. Иначе не будут-с. Холсты эти, госпожа, конечно, в сундук, а потом, если баба родит,—следовательно, помогло. Не то что наши горчичники. И ходят все ведь школьники бывшие, которые эту самую «Птичку божию» учили... Годам к двадцати «птички»-то эти, конечно, повьют. Лечит она тоже. Конкурирует... Коров вот лечит, а сама, когда у нее корова заболела, ха-ха, к ветеринару обратилась. Умная баба... Что ж вы чаю не пьете? Может быть, варенья?

— Нет, спасибо. Отчего же сын не повлияет?

— Парамон Николаевич? Очень она его послушает! От него и крестьяне нос воротят, потому что свой же, деревенский, хоть и в манишке. Давно ли с ребятами горох воровал, в ночное ездил, а теперь в шляпе, учитель, живет в комнате с обоями, сторож ему ботинки чистит. Они этого не любят. Да и ему не сладко! В прошлом году его какой-то мужик обложил по какому-то поводу...

— Как обложил?

— Выругал то есть; потом бедняга приходил советоваться, как ему быть. Чуть не плачет. Я посоветовал плюнуть, а он ни за что, за престиж свой, видите ли, испугался. Пожаловался в волостное управление, мужика на три дня в холодную. Теперь сам жалеет: кланяться они ему перестали. Только ради матери иной и поклонится, который рубля в срок не отдал...

Доктор искренен. Но чувствую, что все эти иллюстрации, главным образом, разворачиваются для меня. Я покорно слушаю и о горчичнике, и о холстах, смотрю на свое растянутое лицо в самоваре и вяло удивляюсь: почему люди ходят на руках, а не на ногах? Неужели бабы не знают, отчего дети рождаются? Орангутанги и те, вероятно, знают! Смотрю на доктора и думаю: что, если предложить ему хорошее место в городе, уедет он или

<sup>1</sup> К праотцам (лат.).

нет? Пожалуй, уедет. Ему ведь, собственно, лечить людей полагается, а он тут какой-то хронический подвиг совершает... Объясняет, чтоб склянок не ели... Из одного чувства самосохранения, кажется, не станешь есть... Чего объяснять еще?

Я томлюсь, перелистывая старые газеты, и, наконец, подымаюсь. Доктору досадно, он только разошелся и еще многое бы продемонстрировал. При этом он пристально и сухо смотрел бы в мои зрачки, а я бы беспомощно слушал, хрустел под столом пальцами и думал, что он повторяет про себя: «негодяй, негодяй, негодяй...» Затем все это разрешилось бы, как в прошлый визит, знакомым припевом: город отвлекает от деревни все культурные силы. О доктор, доктор! Если бы вы знали, как мало этих культурных сил в городе, как невероятно мало... Там, правда, горчичников надписью к животу не прикладывают, но в обращении с мыслью, с идеями, с искусством, с детьми и т. д.— там это происходит сплошь и рядом, г. доктор...

И еще,— господин доктор, забыл я вам сказать, да все равно возвращаться не стоит! У многих ваших пациентов, видите ли, сохранился неразменный рубль: странная такая уверенность, что после погребения для трупов наступает новая жизнь, несравненно интереснее земной. Так вот, таких пациентов, собственно, не очень жаль: о том, что никакой новой жизни не будет, они ведь так и не узнают, а здесь, на земле, они побогаче нас с вами, господин доктор. Чай внакладку и галстук не такое ведь большое утешение, когда знаешь, что окно твое выходит прямо... в черную дыру.

Долго стою в недоумении посреди зеленого квадрата выгона. Куда идти? В рощу или к пруду или просто по проезжей дороге в поля. Но глаза упали на желтый клин ржи у больничного сада и вдруг вспомнилось, что сегодня начали косить заливной луг.

Жужжат колосья. Глубокий плавный такой шум, словно о точильные колеса тихо ножи точат. Посреди межи уцелели отдельные колосья, а местами целый ряд тянется, тянется и оборвется. Земля плотно убита, светло-серая, как слоновая кожа,— гудит под ногами и струится легким зигзагом куда-то в бездонную желтую глубину шипящего хлеба. Где доктор и его комната? Есть ли там за спиной село? Да, есть— обернулся и увидел. Но если смотреть вперед или под ноги, все обрывается. Над желтым краем ржи густое синее небо. Легкий ветер. Передо мной руки отклоняют колосья, во мне поют все скрипки жизни и тишины. Я темный тупой камень! Я сидел там на выгоне часто по целым дням, как привязанная собака, и до сих пор не знал, что можно ходить по меже. Я ходил по голым дорогам, глотал пыль из-под всех встречных телег и боком косился на переломанные, измазанные дегтем колосья у края дороги...

Колосья жужжат. Внизу у прохладных зеленых стеблей сквозят яркие васильки. Я иду все медленнее, я не знаю, что мне

делать, так мощно приливает к глазам синий и желтый океан неба и ржаных полей. Межа оборвалась к зеленому скату лога. По гребню там и сям группы пышных берез свесили длинные светло-зеленые ленты. Пасутся пестрые коровы. Прибавляю шаг и из-за поворота уже слышу: «жах-жах», «жах-жах». Косят.

Раскрылся широкий прибрежный луг. Телеги с поднятыми оглоблями сбились в кучу. По всему лугу длинные ряды посеревшей скошенной травы и длинные ряды белых рубах косарей. Первый из ближайшего ряда останавливается, вытирает рукавом лицо и широко улыбается.

— Здравствуйте.

— Здравствуй. Поглядеть пришел?

— Да, интересно.

— Ну что ж, погляди, погляди.

Подошел второй, третий и другие, кто поближе. Тяжело дышат, вспотели, иные совсем измучены.

— Устали?

— Помахай так с зари, небось устанешь!

— Пить — смерть хочется, — прибавляет другой.

— Отчего же вы квасу не взяли?

— Кувшин взял, да выпил. Много ли в нем, в кувшине-то?

Молчу и думаю, что, если б это я был на его месте, я бы взял квасу столько, чтобы хватило на весь день. Или, если не квасу, то воды — благо, река близко: зарыл бы кувшин в землю ипил сколько надо. Деда и прадеда косили, тысячелетний опыт за плечами и страдают от жажды, точно здесь Сахара какая-нибудь.

— Ты что ж, барин, смотреть пришел? Покосил бы! — обращается ко мне с улыбочкой низенький мужик. Плотный такой мужик, — между плечами у него, пожалуй, весь его рост уложился бы.

— Да я никогда косы в руках не держал, — извиняюсь я и с ужасом оглядываюсь.

Остальные, как заговорщики, тесно обступили меня, рыжий мужик пошаркал по косе брусом, вложил мне ее в руки — и все загалдели:

— Не держал, так поддержи!

— И я, как впервой косил, допрежь того в руки не брал!

— Леву руку к грудям приверни, а правой вот так!..

— Филимон, покажь им, как ворочать-то!

Огромный бородатый Филимон берет меня в охапку, кладет на мои руки свои и начинает плавно и сильно вертеть мной и косой, так что мое тело вдруг превращается в рукоятку.

— По самому низу пушай, не тяни на себя, по низу, по низу!

Когда он отпускает меня наконец, я, к глубочайшему своему удивлению и к полному удовольствию мужиков, продолжаю разворачиваться, как заведенная пружина, и повторяю те же движения до тех пор, пока острое косы не врезается в землю. Вот что делает иногда самолюбие!

Я тяжело дышу. От телег примчались с гиканьем мальчишки, но их ожидало разочарование: человек в пиджаке не полетел кубарем в траву, не срезал себе косой подметок и не сломал косы.

— Здорово! — поощрил меня рыжий мужик. — Этак к вечеру лучше нас косить станешь.

«Как же, стану я тебе косить», — огрызаюсь я про себя. От десяти взмахов и то сердце в глотку полезло...

Подходит лавочник (он тоже сегодня с косой) и протягивает руку, — один из всех. Все-таки, так сказать, свой человек, как же не обменяться рукопожатием!

— Не скучаете у нас?

Опять о том же...

— Нет, не скучаю.

— Скоро в Питербург? — с особенным удовольствием подчеркивает он «Питербург».

— Не знаю еще.

— Хороший город. Года три в нем пожил. Шестнадцатая линия на Васильевском острове, дом купца Дроздова. Может, знаете?

Хочется сделать ему удовольствие и сказать, что знаю, но избираю средний путь и молчу.

— Я думаю, что другого такого города и на свете нет! Домá, например: глазом не окинешь. В дроздовском доме, чай, больше народу жило, чем у нас в селе.

— Что же в этом хорошего?

— Как же можно. Кипение жизни, опять же торговля, в каждом доме своя лавка, улицы мощены, водопровод...

Рыжий мужик не выдерживает и ввязывается:

— Знамо, столица! У меня вон брат тама в дворниках служит, письмо прислал: очень уж хвалит.

— Еще б не хвалил, дворникам житье...

— Вы бы поехали, если бы вам найти место дворника? — спрашиваю я того, который сказал, что «дворникам житье»...

— Чего? Найди, друг, пудову свечу за тебя поставлю!

Мужики хохочут: — Поставит, это он верно сказал. Кто не поставит!

— Да ведь у вас хозяйство. Две коровы, лошадь...

— Шут в ем, в хозяйстве. Бьешься, бьешься, окромя хлеба ничего. Жизни не видишь.

Так, так. Вы не совсем правы, господин доктор. Оказывается, что стремятся из деревни не только те, кто пиджак носит. Есть, стало быть, и метафизические причины. — «Жизни не видишь» — гм... А ведь это мои слова. Да, мои слова, только не о деревне, а... о городе.

Косари переминаются и что-то шепчут.

— За науку с тебя четвертинку следовало б, — вдруг решительно выступает безусый Данилов.

— За какую науку?

— Забыл, барин? Филимон-то учил, аль нет?

— Поднесли б мужичкам, ваша милость,— почтительно поддерживает другой.— С устатку по баночке... хорошо б!

«Моя милость» озадачена. Пить водку в жару, в разгар работы...

Растерянно опускаю руку в карман и с радостью не ощущаю в нем ни гроша. Пусть хоть случай выручит.

— Денег с собой я не взял, извините...— Я краснею и хочу отойти, но рыжий мужик находчив:

— Мы и без денег, за ваше здоровье. Иван Михайлыч,— тычет он в лавочника,— вам поверит, два рублика только. Вон Мишка за вином и съездит.

Мишка высовывается и выражает своей фигурой полную готовность съездить хоть на край света.

— Что ж... Пусть съездит.

Меня провожает сочувственный гул и радостные торжественные восклицания. Чувствую всем нутром, что в эту минуту я приобрел в их глазах больше уважения, любви и преданности, чем всем своим упорным осторожным вниканием во все мелочи их жизни за все эти недели. Лед сломан...

Отхожу, волоча ноги по жесткой щетине скошенного бурьяна. Среди оголенного луга, как острова, там и здесь поднимаются красно-бурые метелки конского щавеля, за спиной с удвоенной энергией лихо запели косы: «жах-жах», «жах-жах».

Вот и безлюдный овраг, но наперерез от телег мчится с криком мальчик, зажав что-то в руках.

— Чего тебе?

— Перепела купи. Батя косил, а он в траве запутлялся, купи! Жирной, ногу только ему одной косою отчекрыжило. Тебе ведь есть все равно...— И он протягивает ко мне птицу.

Я отворачиваюсь, закрываю лицо руками и, ни слова не говоря, бегу изо всех сил по низу оврага, бегу до тех пор, пока бешеная одышка не бросает меня на землю. За мной никого...

Когда я подходил к селу, весь запад был залит прозрачным бронзовым румянцем. Облака по краям наливались золотом, легкий ветер перекачивал ржаные волны, и они шуршали так сдержанно и тихо, словно сами себя укачивали. А что если там за краем поля... Эдем?

Нет, не Эдем. Когда поле окончилось, открылся угол выгона, собака на цепи у чайной и урядник на ступеньке, школа и за колодцем моя резиденция.

Не входя в комнату, прошел через сени в «сад». Бобы взобрались уже по веревкам выше дверей, встретились над ними и перевились легкой зеленой гирляндой. На красных кирпичах очень мило. Подсолнечник по плечо,— скоро раскроется. Прибежали цыплята. Большие такие—противно смотреть. Куриное мясо!.. Иду за водой, кое-как поливаю грядки и клумбы. Циннии распустились, но что толку: цветы как бумажные и не пахнут.

В комнате еще хуже. Душно. Мухи засидели занавески, красавицу из «Jugend», Толстого. В тарелке с формалином целая куча дохлых. Другие еще вяло летают, ползают по полу и трещат под ногами. Темнеет. Зажигаю лампу, ставлю самовар, ложусь на скамью и холодно рассматриваю потолок.

Я не понимаю, отчего люди не умеют жить! Исторические причины, экономические причины,— очень хорошо. Но не только же в них дело. Отчего бьют детей? Каталог общих мест подсказывает: от некультурности и тяготы жизни. Так-с. Отчего же у башкир не бьют? Та же некультурность, та же тягота. Не бьют же — сам видел. Отчего коровинская свекровь запрещает невестке писать письма мужу-шахтеру? От некультурности? Разве человек — тигр, которого культура должна сделать вегетарианцем? Пусть тогда остается лучше тигром, будь он проклят! Разве не всегда, когда человек упадет в воду,— культурные бегают по берегу, охают и падают в обморок, а некультурные снимают портки и бросаются в воду, даже если не умеют плавать? Или есть дьявол и ангел некультурности и оба квартируют в одном человеке? Должно быть, есть...

Я замираю от тоски, как перепел с отрезанной ногой, от которого я убежал, и встаю, потому что самовар на кухне плюется и шипит. Тоска тоской, а чай надо пить каждый вечер.

Кто-то осторожно стучит в окно.

— Можно к вам?

— Конечно, конечно, как раз к самовару поспели...

Учитель. Ну, что ж, и то слава Богу! В иной вечер и камергеру обрадуешься.

Станный человек: манишка, воротничок, манжеты с какими-то безнадежно скучными запонками, плоский галстук, похожий на высушенную летучую мышь, коричневый костюмчик в клеточку, черная шляпа и палка с бронзовой собакой, а над всем этим великолепием обыкновеннейшее крестьянское курносое лицо, обрамленное желтым пухом, который торчит откуда-то из-под воротника.

Первым долгом, конечно, отдал дань культуре: подошел к полке и в сотый раз пересмотрел знакомые корешки. Потом обошел картинки.

— Интересно сделано.

— Что?

— Рамочка.

— Что в ней интересного? Бумага под дуб, наклеена на картон. Если б дубовая была — другое дело.

— Дубовая — не штука. Потому и интересно, что так натурально сделана.

Молчу.

— Книжку вашу не кончил. Завтра принесу. Не к спеху ведь вам?

— Не к спеху. Понравилась?

— Занимательно. Репортер-то какой ловкий: книгу Моисея протелеграфировал. Догадался.

Он стал мне рассказывать своими словами, местами с мельчайшими подробностями, содержание «Духовной жизни Америки» Гамсуна. Рассказывал так же точно и подробно, как в прошлый раз содержание какой-то повести в последних книжках «Нивы», так же точно и подробно, как он рассказывал о прошлогодней поездке с экскурсией учителей в Египет: где какие гавани, как кормили и какую он купил феску. Воображаю его в феске! Я знаю также, что, если спросить его о нем самом, он также подробно и точно расскажет, когда родился, где учился, сколько у него учеников в школе, сколько девочек и мальчиков, как он преподает хоровое пение и прочее.

Наливаю ему чай и, чтобы оттащить его как-нибудь от Гамсуна, спрашиваю:

— Не знаете, Парамон Николаевич, почему урядник до сих пор моего паспорта не спрашивает?

— Боится, должно быть...

— Боится? Чего же ему бояться? Бог с вами!

— Случай, видите, был такой. Зимой как-то под вечер прискакали в село охотники, устроились на ночлег кто куда, а главный охотник какое-то высокопоставленное лицо был — граф или князь. Ваша изба тогда пустая стояла, он в ней и устроился. Вытопить приказал и сена принести. Дама с ним какая-то еще была. Кто такой — никому не известно. Тимохинскую избу приказал очистить: собак туда поместили. Урядник тогда был другой, его после той истории и турнули. Пришел, спрашивает паспорт. Граф-то этот, или кто он был, его выгнал. Урядник в амбицию вломился, стал требовать на законном основании, да тот ему никакого паспорта не дал и дверь запер. Утром укатили, куда — никому не известно, а через три дня от исправника бумага, чтобы урядника вон. Так никто и не знает, кто был и откуда. Новый, должно быть, и боится теперь.

Слушаю эту невероятную историю и смеюсь:

— Так, так... Так что, может быть, Парамон Николаевич, перед вами сидит теперь испанский посланник или какой-нибудь ревизующий сенатор.

— Почему?

Ах, чтоб тебя! Извольте объяснять почему. Пошутил, пошутил. Конечно, не испанский посланник и не сенатор. Иван Иванович Иванов, дачник из Петербурга, могу даже паспорт показать.

Пьем чай и молчим.

— Скажите, Парамон Николаевич, большие у вас каникулы?

— Четыре с половиной месяца...

— Школа у вас летом свободна, вы свободны. Посторонних привлечь можно, меня, например, и поповских племянниц. Отчего бы не устроить в школе детский сад, что ли? Для самых маленьких. Песням их обучать, играм разным, картины показывать, — у вас в шкапах много. Они ведь летом дуреют прямо без

призору, ревут по целым дням, колотят друг друга, грязны до омерзения...

Парамон Николаевич озадачен и думает.

— Нет, это невозможно. Инспектор не разрешит.

— Детских игр не разрешит? Что вы? Черт с ним, можно ведь и не в школе, в сарае каком-нибудь, в роще, мало ли где. Лето ведь — не замерзнут.

— Не знаю. Времени много отымет, — вяло возражает Парамон Николаевич.

— Какое там время! Сами же говорили, что в иной день от скуки до вечера проспите. С ними другой раз три часа проводишься и не заметишь, словно минута.

— Не знаю... не знаю... Сами они играют, чего еще с ними играть...

Пьем чай и молчим. Рассматриваю его сбоку и постепенно накаляюсь. Какая-то принципиальная бездарность! Мало того, — не только сам бездарен, но и все, чего он ни коснется, становится бездарным и скучным, как квасная гуща, — Гамсун, Египет и проч. Словно это не чудеса, а тоже какие-то манжеты и палки с собачьими набалдашниками, служащие для отличия культурного человека от некультурного. Напялил манишку, да еще летом... Кто ее теперь в городе носит? Почему он удивляется, что я не читал последних книжек «Нивы»? Отстал, мой дорогой, ничего не поделаешь, да и не мое это дело: ведь книжки эти специально для вас предназначены, специально для собачьих набалдашников.

Я почти задыхаюсь от бешенства и смотрю на бороду Парамона Николаевича так пламенно, словно он мой личный враг. Парамон Николаевич поднимает глаза и вдруг улыбается такой доброй, простодушной улыбкой, словно я в эту минуту самый приятный для него человек на свете.

Мне стыдно и больно.

— Пойду я. — Парамон Николаевич подымается. — Книжку завтра занесу непременно.

— Хорошо. Вы бы еще посидели?

— Нет, мне пора. До свиданья.

— До свиданья.

Ушел. Что делать, что делать... Не в иконостас же его вставлять только потому, что он народный учитель. Улыбнулся он — что ж? Может быть, это у него вроде отрыжки. Отрыжка благодушия.

Небо за занавеской совсем потемнело. Мимо крыльца возвращаются с покоса телеги, нагруженные сеном, и скрипят. Я не выхожу. Сегодня, пожалуй, все кланяться будут...

У соседей переполох. Визгливый женский голос с надрывом орет:

— Серега, вовцы в картохи побегли!

В голове кто-то отчетливо произносит: «О великий русский язык». Я усмехаюсь, беру том Киплинга и ложусь в постель.



Через минуту я уже в Индии и только к самому рассвету возвращаюсь оттуда и засыпаю как убитый.

\* \* \*

Вспоминать ли о других днях? Все, как один. В полях Эдем, в роще Эдем и у стога сена и всюду, где небо, земля и никого вокруг. Но встретишь людей, и опять темные, запутанные узлы, мое «да» — их «нет», их «нет» — мое «да»...

Звонит колокольчик. Ржавая старая таратайка скрежещет и накреняется то вправо, то влево. У одного лавочника только и нашелся такой прекрасный экипаж. Работник сидит боком на передней скамейке, курит и лениво подстегивает снизу пристяжную, которая все норовит проволочить постромки по земле. У края дороги пропыленный чахлый подорожник и серо-голубой цикорий. Рожь сжата. Поперек жнивья над межой мотаются длинные ряды бледной полыни. Красная крыша школы долго еще маячит над дальними верхушками лип. Но вот и она пропала. Нет больше села. Нет больше клумбы с геранью, бобов на красной кирпичной стене, выбеленной комнаты с бревнами вдоль потолка и с привычно устоявшимися вещами, нет больше знакомых детей, школы, верстака, Коровина и всего, что наполняло там жизнь... И не сегодня все это исчезло: в последние дни перед глазами словно мутное стекло встало, и выгон, и Шарик, и ночная колотушка — все стало призрачным и, как во сне, едва касалось глаз и слуха. Работник, пара лошадей и таратайка — еще реальны, но мы уже равнодушны друг к другу. Довезут и свалят, как случайную кладь...

Пока еще все притаилось и дремлет. Простор разбежался, колокольчик звонит, сухая полынь желанней пальмы, людей нет. Земля опять благословенна. В овраге и пашен не видно, медленно раскрываются волнистые зеленые бока, сережки бересклета бьют по лицу. Разве не радостно небо — синяя сияющая полоса над головой? Разве не волен ветер за плечами? Не нежен шум берез у перекрестка? Или это мои глаза радостны, дух волен и мечта нежна? А небо, ветер и березы мертвы, как льды у полюса? Не мертвы, потому что во мне тьма и боль, — не от меня сиянье, не от меня воля... Все притаилось и дремлет, но в городе все эти дни встанут, как нищие у порога, и никакой красотой от них не отмахнешься. Никакими спорами... О чем спорить? Здесь не услышат. А если и услышат, так не поймут.

Отчего там, в селе, так часто — подойдешь к человеку, а он прежде слов тебе улыбнется? Там странные бывают улыбки... Человеку оторвало на молотилке пальцы, а он зажал руку в шапку, идет в больницу и улыбается. А я даже смотреть не мог, словно смотреть больнее, чем так улыбаться... Отчего они ломают ракиты у дорог и потом зимой в метель сбиваются с пути и гибнут? Отчего сосед пришел ко мне за советом, когда у его

лошади лопнуло копыто? Ветеринар в полуверсте, я не ветеринар, отчего он пришел ко мне? Отчего мне было так стыдно, когда я не мог ничего ему сказать? Я, который так много знаю о грусах в Германии, о зеленых ставнях...

Клубы пыли поднимаются из-под копыт и медленно уплывают в сторону. Кто спорит во мне и о чем? Я видел ясное небо, заросшие бурьяном пустыри у нищенских домов, прекрасную землю до края неба,—не песок, не серые камни, прекрасную черную землю,—и на этой земле полунищих людей. Я видел детей, покрытых коростой грязи, одетых в рваные тряпки, которыми у нас даже пыли вытирать бы не стали,—а кругом все огороды были полны конопли, сундуки замашным холстом и в пруде воды, сколько хочешь... Я слышал, как мужики, когда я прочел им из газеты первые вести о голоде в соседней губернии, прежде всего обрадовались, что цена на рожь будет высокая... Отчего все это? В редакциях толстых журналов, конечно, знают, и я когда-то в городе знал, но сейчас забыл.

Хочу вспомнить, но поля не отпускают. Пустые, безлюдные, ни хлебов, ни трав,—они плавно уходят к небу и наполняют сознание силой и строгою ясностью. Оголенная земля еще свежее, еще просторнее, чем летом. Ветер свистит, полынь гнется. Отчего не сорвет меня с тарантаса и не понесет по пустым полям, как клоч соломы? Выдул бы из души все, что набилось в нее со всех сторон,—все чужое, безголовое, дикое, чего не понять, а поймешь — все равно не поможешь. Нет, здесь ничего не вспомнишь... Пустые поля, ветер и небо так свободны, что ни за что не поверишь, ни за что не поверишь, что те, кто с ними всю жизнь, так бедны и беспомощны...

Я качаюсь из стороны в сторону. Я представляю себе, что я получил наследство и купил кинематограф, подобрал самые веселые и интересные картины. Карнавал в Мадриде... Ловля диких слонов... Мюнхенская пивная, где баварские крестьяне изображают перед местной интеллигенцией национальные танцы... Я достаю разрешение и объезжаю деревню за деревней, село за селом... И куда я ни приезжаю, дети, бабы, мужики и даже самые древние старухи захлебываются от радости... Я собираю копейки, бесчисленное множество копеек, а у кого нет копеек, тот дает шапку зерна — и потом все эти копейки и зерно везу туда, где голод...

Толчок на ухабе. Я прихожу в себя. Глупости: диких слонов не разрешат, а если и разрешат каким-нибудь чудом, то копейками плотины не заткнешь. Работник хлещет лошадей. Въезжаем на бугор. Справа от дороги белеет острог, а за железнодорожным мостом засияли купола: шесть, семь, девять, двенадцать. Слава Богу, приехали в культурное место! Лихо пронеслись по городу и через несколько минут остановились у станционного подъезда...

## СЛУЧАЙ В ЛАГЕРЕ

Я и мой товарищ по роте, вольноопределяющийся Павел Москаленко, пришли часов около одиннадцати из города в лагерь. Москаленко только что приехал из отпуска, а я вышел из лазарета, где провалялся недели две с вывихнутой ногой. На следующий день рано утром нам надо было идти на стрельбище, верст за пять от лагеря,— вот мы и решили с Москаленко переселиться на все время стрельбы ко мне в барак, чтобы не опаздывать и не подводить фельдфебеля и себя.

Барак этот уступил мне за ненадобностью батальонный адъютант, который в городе часто забывал чинопочитание и угощал меня у себя крепким чаем, крепкими папиросами, пехотными анекдотами и топографическими характеристиками местных, наиболее «фигуристых», по его выражению, дам. Барак, иными словами маленький некрашенный домишко из досок, имел три шага в ширину, четыре в длину; крыльцо выходило на заднюю линию палаток, единственное небольшое оконце с проволочной сеткой вместо стекла (для воздуха и от мух) смотрело прямо в поле.

В лагере было тихо—спали. В фельдфебельской палатке тускло просвечивал сквозь полотно огонь, но пока мы стояли перед баракком и курили, и он погас.

— Отворяй! — сказал Москаленко.

Спать еще не хотелось, да и на дворе было хорошо: полная луна, ясное небо, тепло, белые палатки, перед крыльцом шелестела березка, по временам из ближайших палаток доносился мелодический хоровой храп. Но вставать чуть свет, когда не выспишься, тоже не сладко,— приходилось ложиться.

Я сунул руку в один карман—нет ключа, в другой—тоже, в кармане для часов ничего, кроме часов, не было. Ловко!

— Ключ забыл. Должно быть, в новых шароварах остался... Фу, свинство какое!

— Рохля, тетенька. Ну что ж, кража со взломом, дело—пустяк.

Он вытащил штык, подошел к двери и продел его было сквозь шейку нового медного замка, висевшего в кольцах. Мне стало жалко замка.

— Постой, можно ведь и через окно.

— А сетка?

— Сетку отдерем, долго ли?

— Валяй!

Мы обошли барак, отодрали с одной стороны окна сетку, загнули ее и полезли. Москаленко первым. Но так как он был толст и притом плотен, то удалось ему это с большим трудом, да и порванная сетка мешала—царапала руки. Я его слегка подсадил; когда он проводил сквозь окно наиболее широкую

часть своей фигуры и застрял, я не удержался от искушения, стащил со штыка ножны и со вкусом смазал ими Москаленко. Средство помогло: Москаленко отчаянно заболтал ногами, сказал басом: «Халява, чего дерешься!» и исчез за окном. Я пролез легко и так как надвинул предусмотрительно на лицо фуражку, то ожидавший меня щелчок и пришелся по фуражке, а не по лбу. Предусмотрительность эту я, впрочем, от Москаленко скрыл.

Зажгли лампу.

Теперь надо как можно точнее описать внутренность барака. Против окна с продранной сеткой—дверь на замке: верхняя часть двери, стеклянная, была завешена кисейной занавеской. Справа и слева сплошные дощатые стенки, пол тоже дощатый. Вдоль левой (если стоять лицом к окну) стенки стояла прочная железная кровать с тонким, как войлок, слежавшимся тюфяком и узкой длинной подушкой. Кровать упиралась изголовьем в угол у окна, перед окном, касаясь боком кровати, стоял небольшой столик. Вдоль правой стенки, ближе к дверям, лежал туго набитый соломой сенник, под столом валялся маленький продавленный чемодан, а на столе горела тусклая длинношеяя фаянсовая лампа с длинным круглым фитилем.

Я достал из чемодана белье, постлал себе и Москаленко постель и, отстегнув ремешок, стал раскатывать шинель, которая служила мне одеялом. Москаленко сел на сенник и принялся, отдуваясь, стаскивать сапоги.

— Завтра, коли ветра не будет, все пять попаду...— проворчал он, рассматривая на свет внутренность сапога.

— Значка захотелось?— поддразнил я его.

— На кой черт.

Москаленко положил под голову свой мешок, лег и повернулся к стенке.— Так, вообще, чтоб ротный не ел...

— Попади, брат... Небось станет за спиной, да начнет винтовку поправлять, все пули за молоком пошлешь.

— Не пошлем, будь покоен,— вяло ответил Москаленко, подбирая ноги. Через минуту он поднял голову, посмотрел мутными глазами на лампу и сказал:

— Туши, Шурка, лампу. Сидит, как сова. Завтра я тебя, черта, за ноги отсюда вытащу.— Последние слова он пробормотал так неразборчиво, словно у него за щекой лежала ложка с медом.

Я разделся и потушил лампу.

На полу против окна лег легкий лунный квадрат. На стене забелели ободки картинок из «Нивы». На сеннике, против кровати, мутно сквозила короткая фигура Москаленко: солома под ним затихла, послышался ровный всхрап, потом сильнее и еще сильнее.

Я лег на бок, натянул шинель на голову и закрыл глаза. Вкусный животный запах шинели и нагретый дыханьем воздух

усыпляют очень скоро, и я бы через минуту-другую крепко уснул, как вдруг резкий треск в головах над кроватью и царапающий хруст сетки, на которой лежал тюфяк, вспугнули дремоту.

«Крысы, что ли»,— подумал я и сбросил с лица шинель.

Я лежал совершенно неподвижно, вытянувшись пластом, ожидая новой дремотной волны.

Опять треск, но еще резче. Под головой звякнула сетка, выперла кверху подушку и, выгибаясь крутым медленным валом, осела под похолодевшими пятками. Снова толчок, вся сетка вздрогнула, в ногах приподнялись ножки кровати и с резким стуком ударили в доски.

Я вскочил. Зажег спичку, посмотрел под кровать: сапоги да старые газеты. Посмотрел на Москаленко—спит, повернувшись к стене. Совершенно ясно видел его все время... «Что это он такое устроил?»— подумал я (я решил, что он мстит мне за то, что я хлестанул его ножнами, когда он лез в окно). Спичка погасла. Но как он это делает? Привязал веревку, что ли? Нет, веревки не было, да и не похоже. У меня было совершенно такое впечатление, точно под кровать подлез медведь, прошелся ползком вдоль всей сетки, поднял на спине край кровати и хлопнул ножками об пол.

Мне стало досадно, хотелось спать, завтра вставать на заре, а тут приятель представление устраивает. Еще притворяется, каналья, храпит.

Я подошел к Москаленко и растолкал его.

— Ты что, Павлушка, дурака валяешь? А?

— Чего? Чего? Чего?..

— Нечего ломаться. Что ты тут устраиваешь—спать не даешь?

Москаленко сел на сенник и локтем протер глаза: «Я не даю?! Это ты мне спать не даешь, свинья египетская!»

Голос был невероятно сонный и злой, актерским талантом в такой степени Москаленко никогда не обладал,—я почувствовал неприятное недоумение, но решил не сдаваться и устроить ему испытание.

— Ложись на мою кровать, Павлушка. Пожалуйста.

— Что еще за фанаберии такие?

— Не все ли тебе равно? У меня от этого матраца спина болит, а ты толстый...

Москаленко, ворча, перешел на кровать, а я полулежа скорчился на сеннике, лицом к Москаленко, и зажал в руке коробку спичек. Одну спичку вынул и держал наготове, приложив к спичечной терке. А ну-ка!

В комнате были видны все предметы. Напротив, на кровати, белела спина Москаленко. Тишина.

И вот опять: звякнула сетка в головах, характерный тугой звук сильно придавленных пружин прокряхтел по всей сетке, секунда—и еще более крепкий удар ножек об пол.

Я чиркнул спичкой: под кроватью старые газеты и сапоги, на кровати сидит, выпучив глаза, Москаленко и спрашивает:

— Что за черт, а?

Я рассказал ему, в чем дело, но так как ему и мне хотелось сильно спать и были мы оба люди не суеверные и со здоровыми нервами, то опять-таки ничего, кроме недоумения, мы не ощутили.

— А зажги-ка лампу! — сказал, слезая с кровати, Москаленко.

Я зажег. Обшарили все углы, вытащили из-под кровати сапоги и газеты, заглянули даже в ящик стола — нигде ни щелочки, мышь не проберется. Дверь закрыта. Ничего не понять!

— Давай-ка ляжем вместе, — предложил я.

— Сейчас.

Москаленко достал из шаровар заряженный бульдог, положил его под подушку и лег на кровать. Я зажал в руке спички, потушил лампу и лег рядом.

Кровать тяжело ухнула под нами и успокоилась. Прошла минута, другая, третья: тихо.

И вдруг опять все по той же программе, но еще сильнее.

— Кто тут?! — заорал Москаленко. — Буду стрелять!

Ни звука.

— Зажигай спичку, Шурка!

— Постой! — Мне самому очень хотелось зажечь спичку, но я решил посмотреть, что из всего этого выйдет.

Кровать чуть-чуть поскрипывала, словно собираясь с силами. Стучали часы на столе, торопливо и гулко стучало сердце — мое или соседа, трудно было разобрать. Прошла еще минута. Снова хрустнула сетка, но на этот раз случилось нечто необыкновенное: кровать встряхнулась, словно мокрая собака, приподнялась и ударились ножки у нас под головами, сетку выперло горбом и перекатывало к ногам и обратно, вся кровать содрогалась, словно под ней барахталась дикая лошадь, — и, вдруг двинув вбок прижатый к ней столик, отделилась ребром от стены, сбросила нас, как котят, на пол и остановилась.

Я поднял дрожащими руками оброненную коробку и зажег спичку. Матрац валялся, изогнувшись, как французское S, у ног, кровать полулежала боком у стены, сквозь сетку видны были доски пола и коробка из-под папирос. Москаленко, бледный, вероятно, не меньше, чем я, сидел на полу и бессмысленно ухмылялся.

Я зажег лампу, сразу стало мирно и обычно, точно ничего и не было. Москаленко закурил от лампы папиросу, посмотрел на свои босые ноги и хрипло сказал:

— Что за дичь такая? Как ты думаешь?

— Не знаю, никогда ничего такого со мной не было.

— А все-таки, как ты думаешь?

— Не знаю,— что же больше я мог ему ответить...

— Пойдем, что ли... Или еще посидим? У меня и сон пропал, больно, брат, диковатисто...

— Посидим,— согласился я.

При лампе казалось, что все это должно как-нибудь разрешиться самым обыкновенным образом, а любопытство заглушало подымающийся страх.

Поставили на место кровать, положили тюфяк. Я надел сапоги и шаровары, сунул в карман найденный в ящике стола огарок, завернул лампу и сказал:

— Сядем в углу на сеннике и будем ждать. Хорошо?

— Ладно.

Мы сели, подогнули под себя ноги, крепко взяли друг друга за руки, чтобы окончательно убедиться, что никто из нас не дурит, и замерли. Спички лежали на полу рядом.

Но проходила минута за минутой, и все было спокойно. Стучали часы, стучали сердца, шуршали листья за дверью. Становилось холоднее.

Тогда мне пришла в голову мысль,— как пришла, не знаю, так как за секунду до того я не знал, что я это сделаю. Я повернулся лицом к постели, еще крепче сжал руки Москаленко и убежденным, ровным, холодным тоном (хотя мне было так трудно говорить, точно меня давили за горло) сказал:

— Если тут что-нибудь есть,— какая-нибудь незнакомая сила, которой от нас что-нибудь нужно,— то пусть она докажет, что она разумна... Пусть докажет! На столе лежит моя фуражка. Если это на что-нибудь нужно, пусть моя фуражка... сама собой... перелетит... на кровать... Пусть!

Легкий шорох, в полумраке мелькнуло белое пятно, я, задыхаясь, зажег спичку и, боясь верить глазам, покосился: на кровати лежала моя белая фуражка! Кое-как зажег свечку. Москаленко молчал и смотрел то на меня, то на фуражку. Вдруг он встал и быстро стал одеваться.

— Чего ты? — шепнул я, пересиливая сердцебиение.

— Надо доложить дежурному по лагерю.

— Постой, балда,— сказал я, когда он оделся.— Что же мы ему докладывать будем?

— Да все, что было.

— А если он не поверит?

— Приведем. Дело, брат, особенное, леший бы его драл! — хмуро ответил Москаленко, надевая на ремень штык.

— А если при нем ничего не будет? Да и придет ли он еще?.. Так он тебе и поверил. Просто подумает, что с ума посходили, или еще хуже, что нализались, как свиньи. Что тогда?

— Н-да,— протянул Москаленко и сел на сенник.— Что же делать-то?

— Ты боишься?

— А ты?..— спросил Москаленко.

— Неприятно! Подождем еще... Такая история, может быть, раз в тысячу лет случается, а мы сдрейфим... удрать-то всегда успеем.

При свече, как и при лампе, непонятное уже не пугало. В двадцати шагах за дверями спали солдаты, спички и оружие были под рукой, притом же нелепая ночная история начинала злиться, хотелось довести ее до конца.

— Подождем,— покорно сказал Москаленко, уставившись на свечку.— Только ты, Шурка, вопросов этих дурацких больше не задавай, а то не останусь.

— Не буду,— ответил я тихо.

Когда огарок погас, я ясно почувствовал, что я и не мог задать больше ни одного вопроса. Я вдруг крепко поверил, что, если бы в ночной полумгле раздался ответ,—какой бы то ни было ответ той невероятной неведомой силы, которая перебрала мою фуражку со стола на кровать, я бы не выдержал этого. Разорвалось бы сердце, или лопнуло что-нибудь в мозгу, или я, высадив дверь, бежал бы с диким воем вдоль лагеря, пока бы не упал лицом в землю...

Я высунул голову в окно, посмотрел на ясную спокойную луну, глубоко вдохнул свежую ночную струю и успокоился.

Что было еще? Почти ничего. Мы с Москаленко стояли, растопырив ноги, на кровати, упираясь изо всей силы в ее спинки, мы весили оба по меньшей мере девять пудов—и все-таки кровать содрогалась под нами, как живая, и била, сотрясая барак, ножками об пол... Мы упирались руками в железные полосы спинок и, странно вспомнить, хохотали, потому что мы уже ПРИВЫКЛИ к небывалому и неслыханному нами явлению. А потом, когда нам надоело, я соскочил на пол, а Москаленко лег на край кровати, свесил под кровать голову, вытянул перед собой руку с бульдогом и шепотом, точно боясь, что его кто-нибудь мог услышать, попросил меня сесть рядом на пол со спичкой наготове. При первом движении кровати я должен был зажечь огонь...

Но мне вдруг стало неудержимо смешно, и, когда кровать снова хрустнула, я, вместо того чтобы зажечь спичку, быстро сказал:

— Приказываю тебе, приказываю тебе! Цапни его за волосы!

Что почудилось Москаленко— не знаю. Но он, как бешеный, вскочил с кровати, наступил мне сапогом на грудь и бросился к окну... Я уронил спички и, в смертельном страхе, что останусь в бараке один и без огня, схватил его за плечи и стал отгаскивать. Перевернули стол, опрокинули лампу, Москаленко сдавил меня под мышками так, что у меня загудело в голове, но я как-то вывернулся и, двинув его в бок, вылетел, царапая руки и шею,



в окно, головой в мягкую траву. Через минуту на меня свалился Москаленко, вскочил на ноги и плюнул:

— Тьфу! Чтоб ты погиб со своим помещением вместе...

— Да что тебе показалось? — слабым голосом спросил я из травы.

— Показалось! Еще спрашивает, свинья персидская. Стану я тебя еще ждать, чтоб показалось... Ничего не показалось. Тьфу!

Через десять минут мы уже спали, как каменные, в фельдфельдской палатке на чьей-то подвернувшейся шинели, — а днем, придя со стрельбы, долго стояли в недоумении перед невзрачным сереньким бараком и удивленно переглядывались: что, мол, за чепуха такая? Но когда Москаленко сломал штыком замок, то оказалось, что не совсем «чепуха»: крепкие ножки кровати были согнуты крючком, в полу под ножками были глубокие выбоины и царапины, точно кто-нибудь скакал на одном месте по полу на железном костыле...

На следующую ночь привалила ватага вольноопределяющихся (Москаленко не удержался и рассказал им о нашей ночной истории). Конечно, ничего не повторилось. Вольноопределяющиеся пили водку, хватали друг друга за нос, рассказывали пещерные анекдоты, потом зажгли лампу и проиграли до зари в банчок (я не был, мне передавал Москаленко), — о нас же единогласно решили, что мы попросту были пьяны, как каптенармусы...

В бараке я больше не ночевал. Вещи перевез в тот же день в город и поселился у знакомых на даче, возле лагеря. Кровать осенью продал старьевщику и о дальнейшей ее судьбе ничего не знаю...

\* \* \*

Я знаю — никто не поверит тому, что все рассказанное здесь правда. Больше того, если б я сам прочел такой рассказ, я тоже никогда бы не поверил, что все это могло случиться... И все-таки это было именно так, как я рассказал. В памяти сохранилось все до последней подробности, хотя с тех пор прошло уже десять лет. Мне очень бы хотелось, чтобы в моей жизни не существовало этой ночи, так было бы спокойнее, потому что теперь я не знаю, что делать моему сознанию с этим острым и нелепым случаем. Ведь я-то сам не могу себе сказать, что его не было.

Написал же я этот рассказ вот для чего: когда-нибудь люди, вероятно, будут знать, что им делать с такими фактами, — и вот тогда, может быть, мое правдивое и подробное описание окажется нелишним.

А пока считайте, что это был «рассказ». Еще один рассказ. Пусть так...

<1913>

Началось до смешного просто. В один из слякотных петербургских дней Василий Николаевич Попов вернулся с уроков домой и нашел на столе рядом с прибором письмо. Этаким галантный сиреневый конверт в крупную клетку, залихватский почерк, полностью выписанный и подчеркнутый титул:

*Его Высокоблагородию  
Г-ну такому-то,*

а на обороте зеленая печать с коронкой и выкрутасами.

Перепиской Василий Николаевич себя не обременял, знакомых писарей не имел.

От кого бы? — Штемпель был тамбовский, но мысль о Тамбове ничего, кроме смутных образов тамбовских окороков, не вызвала. Попов неторопливо распорол зубочисткой толстый конверт, прочел, удивленно хмыкнул и позвал сестру, которая возилась на кухне с жарким.

— Нина, поди-ка сюда!..

— Сейчас несусь!..

— Да нет! Я про письмо.

Нина Николаевна простучала каблучками по коридору, внесла на сковородке еще ворчавшую свиную котлету, поставила ее перед братом и села напротив него, деловито облокотившись:

— Ну?

— Угадай, от кого.

— Прекрасный пол? — она подразнила, но видно было, что ни на секунду не верит тому, что сказала.

— Нет... Какое... От Петухова. Помнишь?

— От какого Петухова?

— Боже мой, товарищ по гимназии. Толстый такой, блондин...

— Не помню. Ну, так что же?

— Да вот. Переезжает в Петербург. По этому поводу вспомнил о моем существовании, выражает уверенность и прочее. На ты. Все, как следует.

— Ты что же? Дружил с ним?

— Почти. Водку пил, банчок. Давал ему списывать. Да, дружил! — вдруг радостно вспомнил Василий Николаевич. — Рыбу ловили, как же, раков. За Катюшей Кривенко вместе ухаживали, только обоим был нос: Шильский-бродяга перебил, красивый был, мундир такой шикарный... Куда нам!.. Фу, как давно было — точно триста лет назад. (Василию Николаевичу шел тридцать первый год.)

Он мечтательно отправил в рот приставшую к краю тарелки картофелинку и вздохнул.

— Гм... Что ж ты, Васюк, с ним будешь делать? — озабоченно спросила Нина. — Он, пожалуй, так со всеми потрохами к нам и ввалится.

Она представила себе их три чистенькие комнатки и постороннего полного человека: непременно курит, все трогает руками, валяется целыми днями на новом диване и съедает один весь их обед.

— Нет, зачем же... — нерешительно протянул Василий Николаевич. — Он пишет, что в пятницу вечером будет у нас. Увидит сам, что здесь негде. Да и церемониться с ним нечего!

Нина Николаевна пожалала плечами и пошла за киселем, а Василий Николаевич лениво поднялся с места, достал с комода альбом с полуотвалившимся жестяным рыцарем и после долгого перелистывания разыскал среди полувыцветших, похожих друг на друга коллег-восьмиклассников, Петухова. Лицо как лицо, посмотришь — ни тепло, ни холодно, — отвернешься — забудешь. «Лапша», — подумал Василий Николаевич и, вытащив карточку, перевернул ее:

«Жизнь прожить — не поле перейти». — «Милому и дорогому другу В. Попову от любящего его друга Димитрия Петухова».

— Гениально! — усмехнулся Василий Николаевич. — Другу от друга. Как же! — Он вставил карточку на место, медленно разорвал письмо и принялся за кисель.

## II

Вечером в пятницу к Василию Николаевичу ввалился рыхлый, улыбающийся блондин в котелке, круглорожий, с жиденькими китайскими усами и почти без глаз, — наполнил всю квартиру наглым запахом дешевого шипра и вспотевшей лошади, сбросил с себя на сундук нелепое пальто с серыми бараньими обшлагами и воротником и шумно полез целоваться. Это и был Петухов.

Василий Николаевич поцеловался, тщательно подбирая губы (черт его знает, здоров ли?), познакомил его с выпорхнувшей из коридора сестрой и повел гостя к себе в кабинет к дивану. Сели. Василий Николаевич не знал, как начать — на ты или на вы? Но Петухов затараторил сам:

— А ну-ка, покажись, Базиль? Сколько лет, сколько зим... Да ты, брат, молодцом, все такой же. Полысел только, хо-хо, здорово полысел. Как живешь? А? Ну, рассказывай, рассказывай!

«Болван!» — коротко разъяснила про себя Нина Николаевна нового знакомого, но вспомнила, что он пришел без чемоданов, и, приветливо рассматривая простенок, спросила:

— Чаю хотите?

— Не вредно! Не откажусь. Не откажусь...

Василий Николаевич остался наедине с гостем и, недоумевая, начал «рассказывать»:

— Да вот, существую. Холост. Живем с сестрой, работаем,— я в коммерческом литературу преподаю, сестра в городском училище подвизается... Много читаю... Театр.— Он остановился и, слегка отклонившись от слишком шумного дыхания друга, подумал.— «Что я ему расскажу? Вот чудак!»

Но вспомнил испытанный рецепт и обрадовался:

— Что я?.. Ты лучше про себя расскажи, Димитрий... Петрович.

— Степанович... ха-ха... забыл?

Упрашивать не пришлось. О себе Петухов всегда охотно распространялся, а здесь, где никто его не знал, было особенно просторно. Он живописно откинулся к спинке дивана и, широко обнаружив все великолепие тонов своего уездного жилета, взял Василия Николаевича за цепочку.

— Всяко бывало. Был и на коне, был и под конем... Ты здесь в качестве невского аборигена и понятия не можешь иметь! Среда, конечно, того,— со всячинкой, но женщины—какие женщины! Только ради них со всем примиряешься. И не какое-нибудь курсье,— разговоры, морально и принципиально, с точки зрения вашего позволения, Вейнингеры и все такое... Гиль!.. Все по природе,— лови свой миг и благословляй судьбу.

— Ловил?—недоверчиво спросил Василий Николаевич, незаметно освобождая цепочку.

— А ты как полагаешь? Пальца, брат, в рот не клади. Ах, милый, представь себе ярко: вокруг хамье, с десяти до четырех торчишь в присутствии, «принимаете во внимание» да «присовокупляете при сем», мзда сто целковых в месяц, ни сантимата доходов, вечером собрание, ночью рижский бальзам, преферанс и никаких гвоздей—и вдруг среди всей этой тундры пышные цветы любви, страсти и неги... И какие цветы! Ты, брат, не ухажер, не поймешь.

Петухов сжал потной, горячей рукой равнодушную ладонь Василия Николаевича, шумно вздохнул и, явно привирая, принялся рассказывать отдельные случаи из своей ухажерской практики.

Василий Николаевич сидел и слушал,— губы улыбались сами по себе, в глазах сонно перебегали искры ленивой насмешливости, но недоумение все росло. Он не мог отрешиться от странного ощущения: ему казалось все время, что рядом с ним сидит не Петухов, тот самый Петухов, с которым он когда-то играл на гимназическом дворе в чехарду,—а какой-то средний пассажир российского трамвая, самое загадочное и постороннее существо на свете, и, торопясь, раскрывает перед ним свои самодовольные идиотские недра. Резал глаза нелепый большой университетский знак на сером пиджаке, удивляли давно забытые словесные фиоритуры. Мало-помалу становилось скучно.

— Чай пить!—мрачно позвала Нина Николаевна из столовой.

За столом друг опять начал о себе, томно адресуясь главным образом к Нине Николаевне, на фигуру которой он облизнулся еще в передней.

— Как у вас уютно! Сразу чувствуешь женскую руку... Прекрасную женскую руку, одухотворяющую, так сказать, все, к чему она ни прикоснется. Н-да. Мы вот спорили с вашим братом о любви (Василий Николаевич удивленно поднял глаза)... Я убежден, Нина Николаевна, что вы будете на моей стороне. «Но нет любви, и дни ползут, как дым»... Не правда ли?

Петухов необыкновенно осторожно прикоснулся носком сапога к ботинку Нины Николаевны, но встретил в ответ такой изумленный и брезгливый взгляд, что поспешил убрать ноги под стул.

— Вам крепкий или средний?

— Кре... Средний. Мерси! Вы позволите?

Он щелкнул серебряным портсигаром, испещренным уменьшительными именами жертв своей неги и страсти, и закурил, не дожидаясь ответа.

— Что ж так сидеть? А, господа? Двинем куда-нибудь озаглавить встречу... Какой здесь кабаец пошкарнее, Базиль?

— Право, не знаю. Да и не стоит. Я устал, а сестра не любит.

— Пуркуа? Можно вызвать автомобиль, заказать кабинет... Кутить так кутить. Ставлю на баллотировку! Только чур, условие — я угощаю...

— Нет, брось. Спасибо... Ты зачем, собственно, в Петербург приехал? — перевел разговор Василий Николаевич, рассматривая с легкой тоской лоснящееся лицо сидящего против него постороннего человека, тянувшего в себя со свистом чай.

— Зачем приехал? Друг мой!.. Я, как тебе отчасти известно, с пятого класса, т. е. слава Богу, семнадцать лет служу музам. И, увы, как тебе безусловно известно, меня за пределами Тамбова и его уезда ни одна собака не знает. Питер — центр: сто редакций, тысячи рецензентов, десять тысяч комбинаций. Компренэ?

Петухов хитро подмигнул другу, погрузил свою ложечку в вазочку с вареньем и отправил ее к себе в рот.

— Ах, вот что? — улыбнулся Василий Николаевич. Он вспомнил, что, действительно, когда-то, бесконечно давно, Петухов писал сонеты, другой его друг, Ника Плющик, увеличивал *cartes postales*<sup>1</sup>, а сам Василий Николаевич очень художественно выпиливал рамки. — Служили музам...

— Ты, кажется, удивлен? — Лицо неожиданного Петрарки исполнилось снисходительной иронии. — Впрочем, кое-что со мной. — Он бережно прикоснулся пальцем к боковому карману, торопливо допил чай и привычным движением вывалил на

<sup>1</sup> Почтовые открытки (*фр.*).

стол грязную пачку завихрившихся газетных вырезок и листочков.

— Вот.

Нина и брат переглянулись. Что ж? Пусть хоть балаган... Но балагана не было. Было просто невыносимо скучно и противно. Точно средняя овца, кое-как прожевавшая полфунта страниц из Апухтина, Надсона и Лохвицкой, обрела вдруг дар тусклого обесцвеченно-плоского слова и заблела на одной ноте:

На заре моей жизни унылой  
Счастье вдруг посетило меня:  
Получил я блаженство от милой,  
Горячо полюбил я тебя...  
Не страшны мне страданье и горе,  
Не боюсь я людей клеветы,  
Так как счастья светлого море  
Подарила мне, милая, ты!

Дальше шли: желанья-свиданья, грезы-розы, сидели-трели и т. д., до одуренья...

Долго читал, одно за другим. Минут двадцать — не меньше. Но Василию Николаевичу показалось, что часа четыре, а Нине — что с прошлой пятницы.

Когда он наконец замолчал и победоносно насторожил уши, привыкшие к добродушным и увесистым уездным комплимен-там, в комнате наступила неловкая тишина.

— Здорово! — сказал наконец Василий Николаевич, избегая взгляда сестры. — Ишь, сколько ты, брат, накатал...

Нина ничего не сказала. В упор уставилась на поэта и еще раз едко подумала: «Болван».

Она встала, не предложив второго стакана, ушла к себе в комнату и там, не зажигая огня, села в угол к окну. «Осел! Как он смел лезть своими ногами! Тоже поэт... Удивительно, как таких олухов печатают. Приехал в Петербург. Как же! Тут тебе покажут. Будьте покойны...»

Эта мысль ее несколько успокоила, но наглый табачный дым, потянувшийся из-под двери, и вновь заскрипевшее в ушах самодовольное бляение Петухова пробудили едва преодолимое желание распахнуть дверь и крикнуть: «Эй вы, животное, убирайтесь отсюда вон!» — Нельзя... Она порывисто поднялась с места и, бессильно усмехаясь, ушла на кухню.

Василий Николаевич должен был страдать один. Человек из трамвая прочел еще дюжины две листочков — стихотворения в прозе, новеллы, баллады и все такое. Прочел две тщательно подклеенные на толстой бумаге рецензии о каких-то

своих «Искрах души»: «Приветствуя молодое дарование нашего даровитого местного поэта, горячо рекомендуем его вниманию наших читателей...» На часах пробило половину двенадцатого.

— Я тебя не стесню, Базиль, если переночую, а? А то далеко, брат, переть.

— Нет, нет, пожалуйста,—с тоскливым радушием пробормотал Базиль.

Другу постелили на диване, простыню Нина Николаевна дала самую старую, подушку самую жесткую, ящики комода выдвигала так, что стены тряслись. Но увы, друг ничего не заметил.

Василий Николаевич сделал вид, что ложится рано, но эта невинная хитрость не помогла. Друг разделся, лег и, блестя во тьме непотухающей папиросой, перешел к анекдотам. Анекдоты были вроде фотографий парижского жанра—до тошноты циничные, нелепые и грубые. Надо было оборвать, но хозяин не решился и попросил только, чтобы потише, а то сестра услышит...

К двум часам Петухов заговорил о гимназии. Василий Николаевич несколько оживился и тоже вспомнил два-три выброшенных из памяти за ненадобностью случая. Около трех часов, после продолжительной паузы, друг наконец спросил:

— Слушай, Базиль...

— А?

— У тебя нет в Питере подходящих знакомств?

— Каких?

— Литературных... Ты ведь всюду вращаешься...

— Нет,—злорадно ответил Василий Николаевич, натягивая на глаза одеяло.

— А у Нины Николаевны?

— Нет.

— Гм...—гость вздохнул и потушил папиросу.

— А у твоих знакомых?

— Нет!—еще злораднее ответил Василий Николаевич.

— Тэкс... Ну, спокойной ночи.

— Приятных сновидений.—Василий Николаевич язвительно улыбнулся под одеялом и через минуту уснул.

### III

Прошло две недели. Брат и сестра сидели после обеда за столом и, с привычным уже для них сладострастием злобы, говорили о друге.

— Это дико, Васька! Мы проходим через сотню измов, спорим о судьбах мира, свысока смотрим на обывателя, считаем себя внутренне свободными, гордимся этим, верим только своему чувству выбора, уму и вкусу, и вдруг первый встречный хам делает из нас половик для вытирания своих идиотских ног... Влезает с улицы в дом, невыносимо оскорбляет изо дня в день глаза, уши... обоняние,— Нина вспомнила ужасный шипр и окурки на всех столах,— и мы ничего не в состоянии сделать... Гадость!

— Но что же с ним делать? — раздраженно спросил Василий Николаевич.

— Выгнать!

— Ах, Нина... Не могу же я. Ведь это все-таки не кошка, забежавшая с черного хода.

— Хуже... Если ты не можешь, я могу.

— Как? — Василий Николаевич с тревожной надеждой посмотрел на сестру.

— Очень просто. Напишу письмо: милостивый государь, брат мой человек деликатный и рохля. У вас с ним решительно ничего общего нет, мне лично вы противны. Вы человек бездарный, навязчивый, некультурный, ничего не делающий и потому не щадящий чужого времени...

— Курящий... — подсказал Василий Николаевич.

— Ты вот смеешься, а я напишу. Ей-богу, напишу!

— Не напишешь, Нина. Нельзя.

— Почему нельзя? Если этот болван сам не понимает, шляется каждый вечер, не замечает, что его едва выносят, читает все письма у тебя на столе, засыпает пеплом твою работу, остается ночевать даже тогда, когда ты говоришь, что ты нездоров, — как с ним можно поступить иначе?

— И все-таки нельзя.

— Почему?! — Нина готова была заплакать от злости.

— Потому. Разве он виноват, что он такой? Зачем оскорблять напрасно человека...

— А я виновата, что он такой? Или ты виноват?.. А нас он не оскорбляет? Значит, любой прохожий со свиным затылком, случайно познакомившийся с тобой в бане, может прийти к тебе в дом. Придет, развалится в кресле, положит тебе ноги на плечи, начнет ругать всех талантливых людей бездарностями, а свою бездарность навязывать, как гениальность, — и ты — ничего?.. Ты — ничего?!

Василий Николаевич удивленно посмотрел на сестру и промолчал. «Однако! Чтобы Нину превратить в тигрицу, — это действительно надо того... Как быть? Жена швейцара, которая готовит им обед, в шесть часов уже уходит. Не отпирать совсем? Нельзя, — вдруг кто-нибудь интересный придет или по делу. Написать, что уехал в Финляндию? Не поможет. Справится у дворника и прилетит... Еще хуже. Вечером как раз должны были



прийти несколько близких знакомых. Притащится Петухов, будет всем мешать, хлопать Василия Николаевича по плечу, плоско и бездарно врать, ругать петербургские литературные кружки (еще бы!), читать свои «новеллы»... Неловко. Черт его знает, как все это глупо!—Василий Николаевич смахнул со стола крошки и беспомощно посмотрел на свою ладонь.

— Что с тобой, Нина?—спросил он, подняв глаза на сестру. Она необыкновенно лукаво улыбалась, точно захлебывалась в улыбке, и с глубоким удивлением радостно повторяла:

— Какая я дура! Ах, какая я дура!

— Да в чем дело?

— Нашла!

— Не может быть...

— Нашла!

— Не может быть...

— Нашла! Нашла!—Она вскочила с места и, как ветер, завертелась по комнате.

— Что нашла?

— Стоп! Я хорошенькая, Васька!

— Допустим.

— Не допустим, чучело ты этакое, а факт.

— Пусть факт,—улыбнулся, ничего не понимая, Василий Николаевич.

— Раз. Твой друг ухажер? Два. Я его слегка подогрею... Три!

— Ты? Его?

— Да, его. Противно, но что же делать? Он ничего не поймет и пересолит. Четыре! Я возмущаюсь. Пять! Жалуюсь тебе—шесть! И мы его вы-ста-вляем... Семь! Понял, а? Разве я не гениальная женщина?

— Гениальная,—удивленно улыбнулся Василий Николаевич,—только...

— Что только?

— Разве ты сумеешь?

Нина Николаевна повернулась на каблучках, снисходительно посмотрела на брата и расхохоталась...

#### IV

Хитрый план Нины Николаевны, который пришел ей в голову в минуту отчаяния, оказался совершенно ненужным. Все завершилось так же просто, как и началось. Можно сказать, классически просто.

В ту пятницу, когда к Василию Николаевичу собрались гости и он, как обреченный медленной пытке, весь вечер ждал друга,— друг не явился. Не явился он и в следующие три дня, а на четвертый пришло письмо,— городское, в том же сиреновом конверте в клетку, с печатью, завитушками и пр.

Письмо было кратко: «Дружище Базиль! Очаровательный Питер в качестве столичного города полон соблазнов, я, признаюсь, пожуировал и профершпилился вдребезги. Жду из провинции подкрепления, а пока что, будь добр, пришли четвертную ассигнацию, которую не премину вернуть в ближайшем будущем. Между прочим, поздравь,— продал на четырнадцать рублей стихов... Журнальные сферы меня совершенно разочаровали, однако сдаваться не намерен и твердо держусь бессмертного девиза тургеневского воробья: «Мы еще повоюем!» Твой друг Димитрий».

Василий Николаевич оторвал чистую половинку от сиренового в клетку листочка и, не давая себе остыть, не без иронии сейчас же ответил:

«Дружище Demetrius!

Двадцати пяти рублей тебе выслать не могу, так как собираюсь купить на выставке ангорского кота, на покупку которого отложил как раз эту сумму. Что касается до журнальных сфер, то ты прав— они у нас действительно того... Хотя в данном случае к ним следует быть снисходительнее. Твой друг Базиль».

Результаты решимости Василия Николаевича оказались превосходными: Нине Николаевне не пришлось брать на себя муку делать вид, что друг брата нравится ей больше, чем любой трамвайный контролер,—служитель муз исчез сразу и безвозвратно. Правда, был еще один аккорд: неделю спустя почтальон еще раз принес знакомый сиреневый конверт. Нина Николаевна вырвала письмо из рук брата и, пародируя «блеяние друга», задыхаясь от еле сдерживаемого смеха, прочла:

«Милостивый Государь, Василий Николаевич! Ежели в виде ничтожной дружеской услуги попросил у Вас жалкий четвертной билет и ежели бы Вы, не имея возможности исполнить просьбу, отказали— это было бы досадно, но понятно. Ваш же ответ свидетельствует о том, что Вы в затхлой и черствой петербургской атмосфере лишились даже чувства примитивной *джентльменской* этики и зазнались. Прошу Вас исключить меня из списка не только друзей Ваших, но и знакомых, и, кстати, напоминаю Вам одну старую французскую истину: «Riga bien, qui riga le dernier», что по-русски, как Вам известно, значит: «Придет коза до воза».

Известный Вам Димитрий Петухов».

<1914>

## ХРАБРАЯ ЖЕНЩИНА

Молодая русская дама, выше среднего ума и так называемого роскошного телосложения, ходила по палисаднику вокруг снятого на год кирпичного особняка в предместье Берлина. Ходила и дурела от скуки.

Был май, одиннадцать часов утра. Летом роскошное телосложение, как известно, еще более увеличивает состояние разваренности и апатии у людей, которые не знают, что делать с огромным количеством времени, отпущенным им жизнью. Кофе давно был выпит, писем не было, газета... но читать каждый день бюллетени о развитии катара у Франца-Иосифа могут только немцы... Даже Эльза, убирая комнаты, была в это утро молчалива до неприличия.

— Что вам пишет жених, Эльза?

Эльза подняла заплаканные глаза:— О, я очень огорчена! У него свинка.

— Но ведь это пустяки, Эльза.

— Да, для многих всегда пустяки, когда не их ближний болен.

И только.

Впереди простирался пустынный, как Сахара, жаркий летний день. Берлин надоел до тошноты: она могла в прямом и обратном порядке назвать все мраморные кондитерские группы в Тиргартене, все витрины на Лейпцигской улице и все остановки круговой железной дороги...

Дама остановилась у калитки, посмотрела, как у края мостовой промчались мимо, с грохотом, по асфальту, на колесных коньках простоволосые девчонки, и вздохнула. Счастливые. Принять холодную ванну? Это займет час, самое большее час с четвертью. Час одеваться, а потом что? Мужу—хорошо. Целый день занят в клинике. Специализируется у какой-то знаменитости по какой-то брюшине. Как это можно посвятить свою жизнь брюшине? И как он к этому пришел в первый раз? Почему не архитектура, не шоссеиные дороги, не выделка шелковых материй,—почему именно брюшина? Что он делал в детстве? Должно быть, распарывал кошкам животы и зашивал их... Веселое занятие!

Она вспомнила о своей кошке, которую она оставила в спальне, в наказание за разрытый в палисаднике куст пионов, и пошла в комнаты.

В комнатах было очень тихо, очень светло и очень скучно. Лакированная мебель самодовольно блестела, пол был похож на пол каюты немецкого адмирала, ожидающего посещения морского министра. В углу, над голубенькой, в желтых цветочках, плевательницей висел овальный выгнутый картон с поучитель-

ным изречением: «Alles mit Gott<sup>1</sup>». На комоды, подзеркальниках, столах и столиках чопорно белели бездарные дорожки, связанные самой квартирной хозяйкой, ее матерью, бабушкой и прабабушкой...

На легкий скрип шагов из спальни, потягиваясь, вышла небольшая беленькая кошка, почти котенок, зевнула, равнодушно посмотрела на свой хвост, потом на хозяйку и аккуратно уселась посреди блестящего пола гостиной.

Дама, перелистывавшая у стола «Jugend», села в кресло и позвала к себе кошку:

— Кис-кис...

Кошка не двинулась с места.

— Пусинька, глупая... Отчего же ты не идешь ко мне? Я тебя наказала... Но ведь пионы посажены вовсе не для того, чтобы ты зарывала среди них свои гадости. Помирился. Кис-кис... Не хочешь?

Кошка медленно подошла к даме, проделала у ее ног длинный ряд кошачьих китайских церемоний и, как беззвучная пружина, легко вспрыгнула на мягкие теплые колени. Душистая, ласковая рука чуть слышно стала перебирать пальцами у шеи, кошка беспомощно вытянулась, закрыла глаза и заурчала.

Русская дама неподвижно сидела в кресле, смотрела в окно на верхушки пробежавших мимо с хриплым мяуканьем автомобилей и думала. Если бы у нее были деньги, она бы купила маленький гранатовый автомобиль и уехала... Куда? Написала бы на бумажках названия самых прекрасных мест в Европе, смешала их вместе и выгащила любую... Или нет, лучше в Сенегамбию... Какое красивое слово!

Она вспомнила зоологический сад, в котором она была вчера, и невольно улыбнулась. Какие там удивительные львята! Сторож сначала сказал «невозможно» таким тоном, что у нее упало сердце, потом, за марку, дал ей одного подержать. Очаровательно! Мужу она нарочно ничего не сказала,— что он со своей брюшиной понимает в таких вещах? Эльза — тоже тумба:

— Как вы не побоялись?! Ведь он мог откусить вам палец!

Палец... Всовывают же укротители всю голову в пасть взрослому льву и не боятся.

Или рассказать мужу? Может быть, медицина знает какое-нибудь средство, чтобы останавливать рост? Кажется, с пони что-то такое делают... Корм такой или впрыскивание... Вот бы хорошо! Можно было бы купить одного львенка, даже двух и водить их на цепочке, как фоксят, по самым лучшим улицам. К новому светло-сиреневому костюму — это бы удивительно подошло. А львятам... львятам заказала бы ярко-

<sup>1</sup> Всё с Богом (нем.).

зеленые сафьяновые ошейники в серебре... Цепочки—тоже серебряные...

Теперь несколько слов в сторону. Иные сопоставят три-четыре общих признака героини настоящего, несложного, но поучительного эпизода и легкомысленно решат: полная «дама» не знает, что с собой делать, светло-сиреневый костюм, фантазия направлена в сторону оригинальничания и суеты. Стало быть,— двойка с минусом, «с жиру бесится» и все. Но вовсе не «стало быть». Русская дама была балла на два выше такой оценки. Только у нее, как это, к сожалению, нередко бывает, пузыри на поверхности были большие и лопались с треском, а глубина пребывала в состоянии неосвященного и не разбуженного никем и ничем к жизни хаоса, из которого неожиданно для нее самой выплывали совершенно не согласующиеся с общепринятой таблицей умножения мысли, ощущения и поступки.

Итак: дама сидит в кресле, кошка лежит на коленях. В комнате очень тихо, очень светло и очень скучно.

Мысли вообще загадочные создания. Иногда они возникают рядом одна из другой, как пасхальные яйца, иногда почему-то вспомнишь о персидском шахе, а через четверть секунды подумаешь, как, мол, я давно не ел раков и как хорошо было бы теперь съесть их десятка три...

Ученые психологи (особенно из немцев) делают вид, что прекрасно понимают такие вещи, мы же притворяться не будем и осторожно выскажемся только в форме догадки. Мысль о львятах, гуляющих на серебряных цепочках с дамой, должно быть, пробежала до руки, рассеянно гладившей пушистый мех кошки,— от кошки вернулась в голову и разбудила спавшую рядом мысль: разве кошка — не привыкла к своей хозяйке и не бегаёт за ней по целым дням, как собачонка, по всему дому и садику?.. Эта новая мысль притихла, повертелась вокруг самой себя и вдруг спросила: «Если собак водят гулять на цепочках, почему нельзя — кошку?» — «А ежа?» — спросила новая, неизвестно откуда появившаяся мысль. — «И ежа, — если он не будет упираться», — ответила первая. — «А общественный порядок?» — «Ничего ему не сделается от одной кошки». — «А если примут за оригинальничание и станут издеваться?» — «Пусть!»

Так появилась на свет такая, по существу, простая и вместе с тем гениальная идея: повести с собой на цепочке по Лейпцигской улице кошку.

Русской даме пришлось все-таки вынести немалую борьбу с собой. Казалось бы, такой пустяк, однако сердце струсило и заметалось, точно предстояло перейти по проволоке через Ниагару, хитрый рассудок подставлял, словно мягкие коврики, один за другим разумные доводы, по которым все предприятие казалось «идиотским» кривлянием перед самой собой, желанием пройти в оранжевом цилиндре только потому, что никто в нем не ходит.

Но тот главнокомандующий, который сидит в каждом привыкшем думать человеке, решил, что ничего нелепого, по существу, нет, желание искренне, очень трудно исполнить, до других не должно быть дела,— значит, да.

А женский инстинкт помог: русская дама по опыту знала, что не раз бывало так,— главнокомандующий решит, а воля в кусты, поэтому она переделалась в светло-сиреневое платье с быстротой, изумившей даже недоступную изумлению Эльзу, не давая себе опомниться, подхватила на руки беленькую кошку, вышла на улицу и позвала фиакр.

По пути на Лейпцигскую улицу остановила кучера только один раз— у изящного магазина дорожных вещей, чтобы купить своей кошке узенький, ярко-зеленого сафьяна ошейник и светлую никелевую цепочку.

\* \* \*

Ехать было жутко, но решительная женщина кое-как справилась с собой. Средство, конечно, было немного детское: не думать.

Сначала она под жужжание колес стала быстро повторять про себя: «чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно» — все скорей и скорей... Но незаметно Днепр смешался с кошкой и получилась совсем неожиданная комбинация: «еду с кошкой при тихой погоде, на скандал по собственной воле»... Она стала считать до двенадцати, но сбилась и решила — если первый встречный будет мужчина, она вернется домой. Первой встречной, к сожалению, оказалась ожидавшая у молочной лавки хозяйина собака, запряженная в тележку. После собаки встретились три старухи с огромными черными зонтами, после старух девчонка, скакавшая на одной ноге вокруг самой себя, и, наконец, мужчина лет десяти, задумчиво изучавший номер своего дома.

Надо было ехать дальше.

Русская дама вспомнила о Юдифи, когда та выходила из шатра Олоферна с его головой. Той все-таки было легче — ночь, рядом служанка... В крайнем случае голову можно было передать ей или бросить на землю и убежать...

«Если сейчас встречу женщину, вернусь домой». Но первый встречный был несомненный мужчина, прусский офицер, промчавшийся мимо, как заводная игрушка, на непрерывно стреляющей мотоциклетке.

Ужасно... Кошка и не подозревала, какая драма разыгрывается в груди ее хозяйки, в полуаршине от теплых и мягких колен, на которых она лежала. Непривычный ошейник жал шею, взволнованные пальцы слишком туго его стянули, но стоило ли думать об ошейнике? Все вокруг было так интересно, словно люди, деревья, собаки и трамваи нарочно сговорились вести себя так, чтобы кошка ни на одну секунду не приходила в себя от изумления.

Впрочем, о кошачьей психологии — после. Фиакр подкатил к началу Лейпцигской улицы и остановился у Вертгейма.

Русская дама очень долго расплачивалась с извозчиком. Потом взяла кошку на руки, бережно прижала ее к себе, словно та была начинена динамитом, и, машинально шепнув побледневшими губами: «чуден Днепр», стремительно пошла с ней вперед, стараясь держаться как можно ближе к домам. На повороте она вздумала было свернуть в менее людную улицу, чтобы сделать там репетицию, но досада на самое себя за неумение справиться с «чисто ребяческим» волнением и желание довести подвиг до конца победили. Она отдышалась, прошла еще несколько шагов, спустила кошку на тротуар и, крепко зажав в руке цепочку, пошла вперед с таким видом, точно она никогда в жизни без кошки на улицу не выходила...

Бедному животному сначала показалось, что оно попало на тот свет. Исчезли знакомые уютные руки, теплое тело и платье — весь мир превратился в поток незнакомых,двигающихся ног; ни одного обычного предмета: по бокам вырастали, неизвестно откуда, отвратительные таксы и фоксы и, натягивая шнурки, рвались к ней, как осатанелые, с явным желанием прекратить ее скромную кошачью жизнь. О, как это было страшно!

Опередив проклятую цепочку, кошка нашла было спасение под оборкой знакомого платья, — но ноги сердито отшвырнули ее прочь и еще быстрее пошли вперед, и жестокая рука, не давая ей опомниться, опять потащила ее за собой. Тогда она решилась на последнее средство: села на все четыре лапы и, волочась за цепочкой, стала кричать, поворачивая голову то направо, то налево, как кричала бы любая порядочная кошка на ее месте... Все было напрасно. Собрав последние силы, она рванулась в первые встречные ворота — цепочка, почти отрывая голову, оттащила ее в сторону, прямо под чей-то безжалостный каблук... Хвост, хвост!..

Раздался, быть может, впервые на Лейпцигской улице раздражающий сердце визг отчаяния, боли и упрека. Ноги вокруг сомкнулись. Последняя надежда исчезла.

Наверху разыгрались не менее тяжелые события. Господин, отдавивший кошке хвост, освобождаясь от обвинившей вокруг ноги цепочки, очень распространенно извинялся перед дамой, но когда он рассмотрел, что наступил не на собаку, а на кошку, — он остолбенел, успев только крикнуть двум сопровождавшим его пожилым откормленным немкам:

— Кошка!

Немки тоже остолбенели. К ним присоединилась газетчица, которая так толкалась, что ее можно было посчитать за трех, обозревающее Берлин дрезденское семейство в десять голов, несколько фланеров парикмахерского образца, мальчишка, мчавшийся с пустыми кружками в биргалле... Еще и еще. Задние напирали на передних и тоже вставляли свои замечания, хотя еще не знали, в чем дело.

Мгновенно вокруг русской дамы образовался интимный уютный кружок из различного пола и возраста немцев, объединенных двумя разнородными чувствами: безграничным негодованием к дерзкой даме и безграничным состраданием к поруганной кошке.

— Какая извращенность!

— Позвольте, вы уверены, что это кошка?

— Я, сударь, живу на свете пятьдесят два года, что же, я, по-вашему, не могу отличить кошки от собаки?

— Мамаша, мамаша,— ах! Это, верно, укротительница из нового цирка...

— Кто вы такая, сударыня? Как вы смеете мучить несчастное животное?

— По-моему, это сумасшедшая. Посмотрите, какие у нее глаза!

— Ах, осторожнее, осторожнее!

— Возмутительно! Слышите, сударыня? В Германии такие вещи недопустимы!

— Она иностранка?

— Безусловно. Дочь чикагского миллиардера.

— Для чикагских миллиардеров у нас тоже найдутся законы.

— Я ее знаю, она поет в шантане, который около паноптикума. Мисс Кич, здравствуйте, нечего ломаться!

— Да отнимите же у нее, наконец, кошку...

— Полицию, полицию! Вот так всегда... Когда нужна полиция,— она проваливается сквозь землю.

Последнее замечание было, впрочем, несправедливо. Полиция в лице сизо-багрового затянутого шуцмана уже медленно спешила шагом статуи командора к месту.

Оглушенная русская дама еще стойко держалась, но рука, крепко сжимавшая цепочку, судорожно дрожала, щеки пылали то гневом, то стыдом и раскаянием, глаза беспомощно перебегали по толпе,— ни одного человеческого лица, ни одного сочувственного движения. О, ей было еще больней, чем кошке!

Но человеческое лицо наконец нашлось. Незнакомый бритый джентльмен в цилиндре властно раздвинул негодующих зевак, наклонился, поднял кошку и жестом, не допускающим возражений, предложил русской даме руку. Она не противилась.

Знак рукой. Беззвучно подкатил фиакр— и вот уже все позади— и толпа, и шуцман, и жестокая безвыходность, окружавшая ее тупым кольцом еще мгновение назад.

\* \* \*

— Ваш адрес, сударыня?

Русская дама вздрогнула, подумала и еле слышно объяснила. Джентльмен в цилиндре передал ее ответ кучеру.

— Если вы очень расстроены, я могу помолчать, но, если позволите, я бы хотел сказать несколько слов.



— Пожалуйста,—она недовольно пожала плечами.— Расстроена! Станет она из-за этих негодяев расстраиваться... Пусть говорит, все равно ей ничуть не стыдно перед ним,— ведь через четверть часа она его больше никогда в жизни не увидит.

— Вы в первый раз гуляли сегодня с вашей кошкой?

— Да, в первый,— ответ был полон достоинства и непоколебимого сознания исполненного долга.

— Я так и думал,—он внимательно посмотрел на свои перчатки и спросил без тени насмешки в голосе:

— Почему вы не попрактиковались с ней там у себя, в предместье?

— Я не думала, что она будет упираться... — две малодушные слезинки упали на беленькую спинку кошки, но дама взяла себя в руки и, отвернувшись, рассеянно ответила: — В предместье нельзя, там мальчишки.

— Но ведь для вас это, должно быть, безразлично.

Она подозрительно посмотрела на него, но джентльмен в цилиндре совершенно серьезно смотрел в спину кучера,— может быть, даже немного серьезнее, чем это было нужно.

— Безразлично? Не совсем... Они бы устроили кошачий концерт.

— Да, пожалуй... И тогда ваша кошка сошла бы с ума, а вы оглохли.

Дама кивнула головой. Бедная Пусинька! Она о ней совсем забыла... А ведь было мгновение там, на Лейпцигской улице, когда она едва-едва победила в себе позорное желание разжать руку и предоставить свою любимицу всем ужасам одинокой, скитальческой жизни в Берлине. Боже мой, до чего может дойти человек в минуту отчаяния!.. Две крохотные слезинки сверкнули в углах глаз и нависли над кошкой, но раздумали и опять куда-то исчезли.

— Разрешите еще один вопрос?— джентльмен словно нечаянно прикоснулся рукой к ярко-зеленому ошейнику и опять занялся своими перчатками.

— Пожалуйста,— она отодвинулась в угол фиакра и подумала: «Сейчас спросит, замужем ли я и когда мой муж не бывает дома».

— Как это вам пришло в голову?

— Что?

— Кошка.

Она объяснила. Он усмехнулся и, прежде чем она успела обидеться, успокоил ее:

— Я не над вами.

— Мне все равно.

— Конечно. Я просто вспомнил, как я в детстве учил курицу плавать. Но я для этого всегда выбирал такие укромные места у нашего пруда, где никогда никого не было.

Русская дама хотела сделать вид, что не расслышала его слов из-за грохота проезжавшей с железом подводы, но не выдержала и улыбнулась:

— И что же: научили?

— Увы! Она утонула...— он вздохнул и трагически развел руками.— С тех пор я таких опытов больше не производил и вообще пришел к одному заключению...

— К какому?

— Никогда не надо никого заставлять делать то, что противно его природе.

— Вы немец?— спросила она, не скрывая иронического тона вопроса.

— Между прочим, и немец. Но не пруссак,— прибавил он, подчеркивая, и помолчал.— Скажите, как вы думаете, там у вас, в России, ваш опыт вам удался бы?

— Почему вы решили, что я русская?

— Лицо, произношение, история с кошкой...

Она удивилась:

— Да?

— Уверяю вас. Но вы так и не ответили на мой вопрос.

Она подумала и тихо сказала:

— В России? Нет, едва ли...

— Конечно. Их много... И пока они все привыкли гулять с собаками, как они могут позволить кому-нибудь выйти на прогулку с кошкой? Так они относятся, между прочим, и ко всем великим изобретениям.

Русская дама подозрительно покосилась на джентльмена в цилиндре, но тот был совершенно серьезен. Можно даже сказать — торжественно-серьезен.

— Однако великие изобретатели были отважны и шли до конца, не щадя часто... даже своей жизни...

— О, еще бы! Но из-за кошки, я думаю, не стоит. К тому же ей неприятно. Зачем мучить? И потом, я уже сказал...

— Их много,— окончила она, невольно подражая докторальному тону собеседника.

— Конечно. Знаете ли вы, что такое комары?— спросил он вдруг.

— Комары?.. Я вас не понимаю.

— Сейчас. Прошное лето я хотел провести в очень уединенной местности на севере. У меня далеко не слабый характер и вполне здоровые нервы. И вот не выдержал — сбежал...

— Отчего?

— Комары.

— Что вы?— она недоверчиво посмотрела на рослого, широкоплечего немца.

— Увы. Их было слишком много — я уступил. И, право, остался в выигрыше.

«С чем вас и поздравляю»,— равнодушно подумала она и тихонько зевнула.

Кошка сладко спала на коленях. Немец молчал. Вот и ее предместье. Она остановила фиакр за два квартала до своего особняка, тепло поблагодарила своего спасителя, который так и не спросил, «замужем она или нет», быстро взглянула в складное зеркальце на свои заплаканные глаза и, не оглядываясь, торопливо пошла домой.

А джентльмен в цилиндре, возвращаясь один в фиакре на Лейпцигскую улицу, совершенно утратил свой невозмутимо-серьезный вид и всю дорогу улыбался, как мальчишка, которому подарили новые коньки.

<1914>

## МИРЦЛЬ

### I

В ресторане не было ни одного свободного места. Между красными столиками искусно лавировали туго перетянутые кельнерши, подымали над головами гирлянды пивных кружек и мимоходом устало улыбались своим кавалерам. Сизый сигарный дым тянулся расплывающимися волокнами через весь низкий зал к входным дверям. Багровые головы склонялись к кружкам, раскачивались и блаженно ухмылялись, а сквозь все ярко освещенное пространство зала, забираясь в самые пьяные глухие уши и в самые дальние углы, мчалась подмывающая, мерно качающаяся мелодия «Лесной мельницы». Плавно стучали деревянные молоточки, гобой сонно и глухо переливал две-три ноты, повизгивали скрипки, мчалась, как бешеная, гитара, лукавая песня развертывалась все быстрее. Директор капеллы изредка поворачивал воловью шею к жене, жена конфузливо улыбалась, встряхивала головой, и вдруг, точно гигантский голубь начинал ворковать, прекрасный тирольский иодль вплетался в мелодию. Немцы отрывались от пива и сигар, смотрели певиче в рот и от восторга покрывались испариной.

На стене над оркестром неслись куда-то верхом на бочке два грубо нарисованных, совсем не страшных скелета, под ними ярко чернели обвитые лавровой гирляндой готические буквы:

Das Trinken lernt der Mensch zuerst,  
Viel später erst das Essen.  
Drum soller auch als guter Christ,  
Das Trinken nicht vergessen!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Человек учится сначала пить,  
Немного позднее — есть.  
И поэтому, как хороший христианин,  
Он не должен забывать о выпивке (нем.).

Цветные оправленные в олово стекла с толстыми рыцарями на толстых лошадях наглухо скрывали ночь, тишину и пустынную узкую улицу.

За одним из столиков, в глубине зала, против эстрады, сидели двое русских. Оба — студенты местного университета, совершенно чужие и далекие друг другу, они который уже вечер сходились в зале «Белого быка» за одним столиком, заказывали пиво, язык с картофелем и перебрасывались короткими фразами на родном языке.

Один из них, Васич, больше похожий на лейтенанта, чем на студента, не отрываясь, смотрел на оркестр, изредка поднимал кружку, кому-то улыбался и снисходительно журил своего собеседника:

— Что же вы, коллега? Она вас скоро глазами насквозь просверлит, а вы Иосифа Прекрасного изображаете... Вот чудак!

Коллега, сероглазый худенький блондин, по-видимому весь поглощенный веселой мелодией и созерцанием толпы, отлично видел, кто с него глаз не сводит, но совсем не хотел, чтобы это замечали другие.

— Ерунда. Почему вы думаете?

— А на кого же она смотрит? На меня, что ли?

— Возможно... Вы ей букеты посылаете...

— Из букетов каши не сварить.

Васич поманил пальцем кельнершу и передал ей пустую кружку.

«Лесная мельница» неожиданно, но стройно оборвалась. Немцы восторженно затопали, застучали ладонями по столам. Какой-то наголо остриженный толстяк-корпорант влез, подсаживаемый коллегами, на стол и бросил в оркестр свою красную шапку. Директор вытирал лысину платком и дружелюбно раскланивался. Музыканты отложили инструменты к пианино, подняли с пола недопитые кружки и уселись, вытянув ноги и стараясь делать как можно меньше движений.

Девушка, о которой говорили русские студенты, передала свою скрипку соседке, поправила красную розу в волосах и, захватив щиток с эдельвейсами и открытки с изображениями своей капеллы, спустилась, перегнувшись могучим, полным телом, с эстрады в зал.

Мягко переваливаясь, сверкая черными, разбойничьими глазами, сильная и разгоревшаяся от быстрого темпа «Лесной мельницы», шла она между столиками, временами останавливалась и привычным жестом бросала на стол открытки, то резко обрывая нахала, то небрежно улыбаясь шуткам. Полные, но стройные и ровные ноги в белых чулках, как у старинных фарфоровых статуэток, мелькали из-под короткой юбки и уверенно обходили огромные ботинки корпорантов и приказчиков, белый кисейный передник задевал за стулья, вокруг мягкой шеи наивно чернела бархатка, перо над круглой тирольской шляпой воинственно колыhalось. Вся она была похожа на большую девочку-раз-

бойницу, которая обходит гостей, чтобы посмотреть, достаточно ли они напились и не пора ли их уже перерезать.

Васич поднял голову и ждал. Девушка протянула над его головой руку, опустила ее на плечо Мельникову и бросила веселой скороговоркой:

— Добрый вечер, герр Мельников! Что нового? Что же это вы не хотите даже взглянуть на меня? Бойтесь влюбиться?

Мельников покраснел и растерянно взглянул на коллегу. Это было совсем не то, что записывать лекции или переводить с русского реферат для семинара правильными чинными фразами по Гауффу... Ответ должен был быть быстрый, как удар шпаги о шпагу, легко и смело: раз-два! Слава Богу, что хоть понял.

Васич коварно отвел глаза и, щеголяя крепким прибалтийским акцентом, спросил:

— А со мной почему вы не хотите поздороваться, Мирцль? Я целый вечер смотрю вам в глаза...

— Добрый вечер, герр Васич. Вы всем женщинам смотрите в глаза. Что мне в вас?

— Больше не буду, Мирцль.

Васич сделал вид, что подносит к губам край кисейного передника.

— На-на! До утра. Спасибо за цветы.

— Пустяки... Пойдите... Куда же вы?

— Хозяин смотрит. Надо продавать.

Она освободила свой передник и оглянулась.

— Плюньте. На много ли вы продадите...

— Да марки на две. Вы ведь только болтаете, а...

— Немецкий студент щедрый?.. Ха-ха! Ущипнет на марку, купит на пфенниг... Вот, Мирцль...— Васич снял со щитка эдельвейс и, вложив его себе в петлицу, бросил на блюде пять марок.— За потерянное время... А теперь сознайтесь, на кого вы смотрели все время с эстрады: на меня или на герр Мельникова?

— Оставьте, что за свинство, в самом деле,—недовольно пробормотал по-русски Мельников.

— Что он сказал? Герр Мельников, что вы сказали?— быстро спросила Мирцль, серьезно переводя глаза с одного на другого.

— Он сказал, что ему это тоже очень интересно знать...

— Да?.. Правда?! Вы не шутите? Ну, так скажите ему, что о таких вещах молодые студенты не спрашивают. Сам должен знать. А ваши пять марок я передам капелле. Вы довольны, герр Васич?..

Васич внимательно осмотрел свой портсигар и с видом скучающего принца стал рассматривать ближайших соседей.

Мирцль покачалась у стола, собрала свои открытки и, озабоченная молчанием, смущенно улыбнувшись, тронулась было дальше.

— Два слова, Мирцль,—Васич покосился на Мельникова и решительно двинул кружкой по столу.— Когда будете опять обходить зал, подойдите к нам на минутку. У меня к вам просьба.

— Просьба? Карашо,— прибавила она со смехом по-русски и пошла, неторопливо раскачиваясь, к компании кутивших приказчиков, которые уже давно нетерпеливыми, недовольными жёстами подзывали ее к себе.

Васич раскрыл портсигар и протянул его своему собеседнику:

— Угодно?

— Нет, спасибо... Зачем вы вяжетесь к ней?

Он хотел казаться равнодушным, но голос дрожал, а пивная кружка, от которой он долго не отрывал губ, была совершенно пуста.

— Для вас же стараюсь. Сидите, как на государственном экзамене, и изучаете входную дверь. Разве так дела делают?

— Я никаких дел не собираюсь делать...

— Да вы не обижайтесь, чудак вы этакий.

Васич пренебрежительно пожал плечами.

— Она вам нравится, вы ей. Вы не младенец, она не гимназистка. Значит...

— Ничего не значит. О чем вы ее хотите просить?

— Интересуетесь?

Васич подмигнул и свысока усмехнулся.

— Можете и не говорить.

— И не скажу. Ха-ха! Терпите в наказание. А очень интересно,— поддразнил он и щелкнул языком.

Зал гудел. Лица все больше багровели. У коротко остриженных корпорантов от выпитого пива и хриплых выкриков кожа на голове покраснела сквозь желтую щетину волос. Сигарный чад затягивал лампы. Немцы кутили: накупали у шнырявшей между столиками бессонной, похожей на летучую мышь старухи апельсины и розы и бросали их в капеллу знакомым тиролькам. Несколько длинных буршей, качаясь перед самой эстрадой, подымали кружки, бормотали что-то, чокались с герр директором и изо всех сил старались показать остальному обществу, что они ужасно пьяны и готовы на все. Бульдоги выглядывали из-под стульев своих хозяев, ловили на лету подачки и опять равнодушно укладывались,— домой еще не скоро. Какой-то корпорант-фукс в малиновом кепи, улыбаясь, как рыжий в цирке, полез на эстраду, пробрался к турецкому барабану и под поощрительный хохот своей корпорации бахнул кулаком в тугую кожу. Потом смутился и, не зная, что ему дальше делать, глупо раскланялся и сошел к своим.

Мирцль окончила обход и, отбиваясь от тянувшихся к ней нетвердых и назойливых рук, прошла к подмосткам и положила на цитру перед директором блюдечко с выручкой. Директор удивленно взглянул на бумажку в пять марок.

— Русский?

— Да.

— Который?

— Тот, в сером костюме, черный.

— Смотри, Мирцль!

Он шутливо погрозил ей пальцем.

— Ну, вот! Я долговязых не люблю.

— Но!.. Много ли девушке нужно.

Она вздернула головой и прошла на свое место. Хозяин повернулся к зале, выждал несколько мгновений и, встретившись глазами с Васичем, с достоинством поклонился ему. Васич поднял руку и приветливо поболтал ею в воздухе.

Тирольцы допили пиво. Гобоист, серьезный немец, похожий на бухгалтера, загримированного тирольцем, поправил пенсне, сунул в рот свою дудку и вытянул губы. Хозяин положил руки на цитру и кивнул головой. Поплыл сдержанным темпом задорный марш, сначала тихо, потом все отрывистей и громче. Согласно бряцали гитары, негромко, словно поддразнивая, пробивался барабан, нетерпеливо двигались голые коленки мужчин, плечи и ноги отбивали такт, и по всему оркестру перебежала лукавая улыбка — то ли еще будет...

Мирцль вышла вперед, потянувшись, дурашливо нахмурила брови, словно собиралась кинжалом ударить, и, слегка изогнувшись, запела. Сразу стало тихо. Насыщенное ленью и страстью густое контральто из речитативного, грозного шепота развернуло такую широкую, сильную, вольную песню, словно в груди Мирцль, за которую она взялась обеими руками, дна не было. Немцы одурели. Запели ближние столики, потом дальние, и сильный, но крепкий мужской хор, заливая временами и оркестр, и Мирцль, как пьяный вихрь закружился посреди зала. Взлетали бессмысленные заключительные слова высокого припева:

«Bier oder Wein!»<sup>1</sup>

Раскрасневшаяся Мирцль, вся наклонившись вперед, все грознее сдвигала брови и наслаждалась. Прислушивалась, медленно мотала головой и дерзко бросала новый куплет.

Какой-то медного цвета унтер-офицер не выдержал и пронзительно крикнул, как кричат в тирольских горах: «й-о-гу!» Фукс в малиновом кепи влез, бережно поддерживаемый товарищами, на стол и, помахивая двумя пустыми кружками, стал пьяными, расплзающимися движениями дирижировать толпой. Кельнерши, забыв усталость и столпившиеся на прилавке ненаполненные кружки, томно улыбаясь, смотрели на эстраду. Растроганный шестипудовый хозяин учреждения — живой образ немецкого пивного Вакха — достал с полки над стойкой самый большой фиал в три литра и нацедил в него пива для Мирцль.

Васич тоже был захвачен общим подъемом, но не так, как все. Песни он не знал, да и петь с этими мясистыми олухами никогда бы себе не позволил. Кулаки налились железом, глаза, враждебно перебегая с одного немецкого затылка на другой,

<sup>1</sup> «Пиво или вино!» (нем.)

вызывающе фиксировали корпорантов за соседним столом. Но напрасно,— корпоранты, сдвинув шапки и широко раскрыв рты, гудели и ничего не видели перед собой. На Мирцль Васич избегал смотреть. Темное пламя желания жгло нестерпимо, дразнило невозможным и переполняло грудь. Оторвать ее от эстрады, поднять над головой, пронести над всей этой орущей толпой раскутившихся приказчиков и вынести, как добычу!..

Надменно оглядываясь по сторонам, он вдруг увидел себя в зеркале простенка и усмехнулся: широкие плечи, темные смелые глаза, бритое крепкое лицо. «Во всей зале такого лица нет,— неожиданно подумал он и невольно перевел глаза на Мельникова: «Тютька. Что она в нем нашла? Удивительно! Ну, да мы еще посмотрим. Может быть, она так только, дурака валяет, чтобы набить цену... Штука известная...»

Мельников действительно имел в эту минуту несколько комический вид: светлый чуб свисал на глаза, худые плечи поднялись, пальцы тормозили растрепанную бородку, голова восторженно поворачивалась во все стороны, а сияющие серые глаза то щурились от удовольствия, то расширялись и искали сочувствия даже у безразличной ко всему на свете старой продавщицы цветов. Заметив на себе пристальный взгляд Васича, он повернулся к нему и быстро проговорил, боясь пропустить хоть одно движение из того, что творилось вокруг:

— Хорошо, а? Правда ведь хорошо!

— Недурственно.

Васич не совсем естественно зевнул и закурил новую папиросу.

— Ах, вы! Недурственно...

Он с сожалением посмотрел на своего коллегу и опять повернулся всем лицом к Мирцль.

Дурачилась ли она или пробовала свою силу на нем,— не все ли равно! Когда ее то грозные, то сияющие глаза сливались с его глазами, он точно бросался со скалы, давал себе полную волю и отвечал таким горячим, несдержанным взглядом, словно она пела только для него, словно он и она искали друг друга всю жизнь и вот наконец нашли... Это было неосторожно, он знал. А может быть, она просто распелась, не видит его вовсе, смотрит и не видит и улыбается кому-то далекому, кого и в зале нет. Тиролицу какому-нибудь с толстыми икрами, что ли... Все равно. Сначала он еще чувствовал себя в гуще зала, как за ширмой,— светло и шумно, он видит всех, его никто. Потом исчезли горластые немцы, столики с пестро-красными скатертями, скелеты на стене... Перед глазами вырастала новая, большая, ясная красота, опять запел заглохший с самого детства родник простой, буйно-вспененной до дна радости, пафоса жизни, избытка желаний и отваги... Мирцль с каждой минутой становилась все ближе и дороже, глаза смелели, губы повторяли за немцами глупые слова песни и дрожали от внутренней улыбки... Одна только мысль не покидала все время: чтобы



Васич ничего не заметил. Мельников почти совсем повернулся к нему спиной и весь вытянулся к эстраде. Но даже спина выдавала.

«Пожалуй, сейчас полетит»,— подумал Васич, насмешливо рассматривая коллегу.

Песня оборвалась. Опять топали и кричали, Мирцль снова продавала эдельвейсы, но о русских словно забыла. Только перед самым уходом из ресторана, когда ноты и инструменты были уложены, а музыканты натягивали на свои живописные костюмы скучные пальто и накидки, Мирцль вспомнила и подошла к Васичу.

— Какая у вас просьба? Скорей.

— Когда ваш выходной день, Мирцль?— вкрадчиво спросил студент.

— В пятницу. А что?

— Прекрасно.— Васич, подражая немецким корпорантам, с чопорной учтивостью встал и, склонив голову набок, с чопорной учтивостью отчеканил: «Я и мой уважаемый камрад просим вас, фрейлейн Мирцль, сделать нам честь поехать с нами в пятницу провести вечер в Бруннентале. Можно надеяться?»

Мельников удивленно посмотрел на Васича и улыбнулся. Мирцль была озадачена и ответила довольно сурово:

— Герр Васич...

— Фрейлейн Мирцль?

— Одна с молодыми людьми я никогда никуда не езжу.

Васич удивленно поднял брови, подумал и нашелся:

— Гм... Вы можете пригласить фрейлейн Ильзу, она, кажется, тоже по пятницам свободна. Да? И потом, клянусь вашими плечами, у нас самые благородные намерения. Русские студенты...

— С фрейлейн Ильзой дело другое. Хорошо, я спрошу директора. Отчего герр Мельников молчит? Разве он не хочет, чтобы я поехала в Брунненталь?

Она склонилась к Мельникову и шутливо дотронулась эдельвейсом до его лица.

Васич толкнул его под столом.

— Да, да,— пробормотал Мельников и покраснел. Он в это время, затаив дыхание, смотрел на прекрасную открытую шею Мирцль и совсем забыл, где он.— Я тоже... Я тоже прошу, фрейлейн Мирцль. Я буду очень доволен. С удовольствием...

Мирцль между тем осушила его кружку до дна, вытерла пену с губ и показала ему язык.

— О, о! Как он говорит! Совсем как берлинский почтмейстер. Смелости больше, мой милый...

Она, сверкнув глазами, отошла к Ильзе, которая пересчитывала среди своих столиков полученные ею сегодня пфенниги. Пошептала с ней, взяла слово держать все в секрете и направилась к директору.

Васич и Мельников следили. Директор удивленно поднял голову, спросил ее о чем-то. Мирцль сердито ответила, и тот

шутливо потрепал ее по плечу. Наконец, к их полной радости, она повернулась к ним и весело кивнула головой.

— Ура, черт возьми! Ай да директор!— Васич встал из-за стола.— Вы довольны, милостивый государь?

— Доволен. Как это вам пришло в голову?

Он вспомнил гимназического учителя немецкого языка и уныло проклял его и свою лень. Разве не мог бы он обойтись без Васича, если бы не это?..

— Так и пришло. Под лежащий камень, батенька...

— Я думаю, что она вполне честная девушка...

— К сожалению, нисколько в этом не сомневаюсь,— сухо отрезал Васич.— Вы идете?

Они расплатились и вышли. В прихожей столкнулись с пьяным, как дым, корпорантом. Он хотел взвеситься и топтался около площадки автоматических весов, но никак не мог на нее взобраться.

Оба молча посмотрели на него.

— Завтра придете?— спросил Мельников.

— Не знаю. Имею честь...

— До свидания.

Они разошлись в разные стороны. Васич уходил, насвистывая задорный тирольский марш и беспечно ударяя палкой об асфальт, Мельников — молча. Теперь во тьме прохладной ночной улицы он не боялся улыбаться, томное воображение распустилось, как пышный павлиний хвост, а под ногами, на черной мостовой, ярко засияли, дрожа и сливаясь, огненные буквы:

«Пятница — Брунненталь!»

## II

В пятницу вечером, без четверти семь, студенты пришли на вокзал. Мирцль еще не было. Сели у входных дверей и стали ждать. Мельников неясно представлял себе, чего он ожидает от этого вечера, но смутно верил, что будет то, чего никогда не было, и замирал, как воробей перед бурей. В кошельке у него бренчали семнадцать марок. Больше он не взял,— с квартирной хозяйкой фрау Бендер опасно было шутить. Да и эти семнадцать марок он отрывал прямо от сердца: впереди целый месяц без фруктов и мороженого.

«Два билета во втором — две марки сорок,— еще раз принял-ся он пересчитывать про себя.— За Ильзу заплатит Васич. Половина вина — бутылки полторы, две самое большое — пять-шесть марок... Два шницеля — две марки, розы и мороженое, два билета обратно и извозчик — хватит! В крайнем случае можно себе шницеля не заказывать... Скажу, что нет аппетита. Как-нибудь обойдется...» Мельников успокаивался, потом вдруг появилась мысль, что Мирцль может заказать не шницель, а какое-нибудь другое блюдо, подороже, и, кроме шницеля, еще что-нибудь; тогда он холодными, липкими пальцами снова ощупывал в кармане свои марки и замирал в беспокойстве.

Васичу такие низменные расчеты были чужды. Во всех странах света существовали почтовые отделения и телеграфы. Чиновник протягивал из маленького оконца бланк, он небрежно расписывался и получал столько марок, франков или рублей, что их хватало с избытком на все случаи жизни.

Занимало другое: удастся сегодня или нет? Подпаивать, конечно, не стоит,— малоэстетично, да и что с пьяной возьмешь? А так, слегка... Чтобы забыла свою профессиональную честность и перестала ломаться... Коллегу надо будет отшить, он ее, поди, уже в весталки произвел, будет только смотреть ей в рот и от умиления пузыри в стакан пускать. Балда! Если же, на самом деле... гм... у немок все возможно... она отдала счастливому герр Мельникову свое полновесное сердце, надо будет, по крайней мере, их разыграть и сосватать. Непременнейшим образом. Долой сахарин, и да здравствует свободная двадцатичетырехчасовая любовь!

Васич вспомнил о билетах и встал.

— Куда вы? — окликнул его Мельников.

— Сейчас вернусь.

Когда он вернулся, на вокзальных часах пробило семь.

— Не придет, пожалуй, а? — тревожно обратился к нему Мельников и вдруг почувствовал, как отвратительно скучно будет возвращаться с вокзала, если она не придет, и какой пустой вечер будет тогда у него.

Васич уверенно прищурил глаза и свистнул:

— Детские игрушки! Обещала, так придет. Немка. Угощение на улице не валяется.

— Ну что вы, — поморщился Мельников. — Нужно ей ваше угощение... Как вы странно смотрите на вещи.

— Чрезвычайно странно. — Васич встал и направился к дверям. — Вот они идут, не плачьте.

Раскрасневшаяся Мирцль и подслеповатая, вялая и длинная, как старая ящерица, Ильза чинно раскланялись с русскими студентами. Васич взглянул на Мирцль, усмехнулся и с фатовским поклоном сделал рукой пригласительный жест:

— Едем!

— А билеты? — засуетился Мельников.

Васич, пропуская дам вперед, молча показал ему четыре кусочка зеленого картона.

— Зачем же вы платили за всех? — обидчиво шепнул ему в спину Мельников.

— Детские игрушки, ничего не значит.

— Как не значит?

Он хотел еще что-то прибавить, но промолчал и подумал, что на обратном пути надо будет заранее взять билеты для всех. Непременно!

Вошли в вагон. Поезд тронулся. Проплыли станционные постройки, мелькнули огненно-красные кусты вьющихся роз у стенки перед туннелем. Несколько мгновений тьмы и духоты,

поезд выехал на широкий луговой простор, распластавшийся вдоль реки, и в вагоне стало светлей.

Мельников с досадливым недоумением покосился на Мирцль, переглянулся с Васичем и понял, почему тот ухмыляется. И еще досадней стало.

Тирольской девушки больше не было — красивой и задорной девушки, так непохожей на всех, такой красочной и неожиданной среди современных пиджаков и чопорных, плотно обтянутых лифов, набивавших каждый вечер зал «Белого быка». Дешевая соломенная шляпа из универсального магазина, глухой черный шелковый лиф с резко обозначенными краями корсета, из-за которых выбивалась обтянутая тугим шелком дородная грудь. А на груди... это резало глаза больше всего, потому что было похоже на карикатуру,— на груди громадная круглая брошка с портретом кайзера Вильгельма и его бесчисленного семейства. От пляски вагона маки на шляпе тряслись мелкой дрожью, багровое от заката семейство Вильгельма колыхалось на широкой тирольской груди, как на рессорах, пальцы в митенках солидно сжимали поставленный между колен зонтик с коралловой, цвета говядины, ручкой в виде человеческой руки.

Но через несколько минут молодые люди оправились от разочарования. Васич засмотрелся на плотно обтянутый бюст, окинул глазами всю могучую фигуру девушки, и ему вдруг показалось, что в вагоне стало ужасно душно, хотя все рамы были спущены и предзакатный ветер свободно перелетал из окна в окно. Его сосед, низко надвинув на лоб панаму, чтобы закрыть от глаз нелепую шляпку с маками, стал изучать строгое лицо Мирцль. Так близко он никогда ее не видал. Можно было смотреть долго, не боясь, что Мирцль помянут к соседнему столу, можно было смотреть молча,—к счастью, стук колес мешал разговору, да и сама Мирцль сидела так чинно-торжественно, словно она никогда в жизни в «Белом быке» не пела. Мельникову стало смешно: такие горячие, смуглые, румяные щеки, темно-алые, без следа губной помады губы, большие черные глаза,—но щеки были надуты, губы сжаты, глаза сами не знали, как им смотреть, и каждый миг меняли выражение.

«Мирцль, Мирцль, как вы прекрасны!»—шепнул он про себя.

Потом перевел эту фразу на немецкий. Внезапно явилось сознание, что ему не раз придется в этот вечер повторить эти слова... На ухо, для нее одной.

Кельнерша Ильза сидела, как солидный немецкий мешок с провизией,—совершенно неподвижно и безучастно. Вагон встряхивался, и она тряслась. По временам в ней что-то булькало и переливалось,—должно быть, утренний литр пива.

Васич тоже насмотрелся на Мирцль досыта и вспомнил, что создавать настроение в этот вечер должен был главным образом он.

— Уважаемый коллега, не смотрите так на Мирцль, а то от нее ничего не останется! Фрейлейн Мирцль, через пять минут мы приедем... Через восемь—будем пить греческое вино и через десять—будем счастливы, как... хорошо вычищенные ботинки. Bravo, Мирцль, наконец-то вы улыбнулись! Надеюсь, что воспоминание об этой прекрасной остроте заставит вас улыбаться в течение всего сегодняшнего вечера.

— Фрейлейн Мирцль и без ваших острот умеет улыбаться,— проворчал в своем углу Мельников.

— Что, что? Не надо по-русски. Я не понимаю, Ильза не понимает... На сегодня русский язык запрещен! Сию минуту переведите, что вы обо мне сказали...

— Я не о вас...

— Он сказал,— перебил Васич,— что фрейлейн Мирцль улыбается, как ангел.

— Оставьте, Васич! Что вы меня дураком каким-то выставляете...

— Ни Боже мой! Первейший немецкий комплимент. Любую немку пот прошибет...

Васич в упор посмотрел на коллегу и, когда тот опустил глаза, едко подумал:

«То-то. Из брезента вуали не выкроишь!»

— Нельзя по-русски! Герр Васич, слышите—ни слова по-русски, или я сейчас же еду домой...

— Тысяча извинений, высокоуважаемая фрейлейн Мирцль. Больше ни слова, клянусь вашей будущностью. Господа, мы приехали, проснитесь, пожалуйста.

\* \* \*

Поезд остановился. Среди густо заросших темных оград и белых домиков с высокими крышами и затейливыми балкончиками Мирцль сразу пришла в себя. Там, в вагоне, сидело столько народу. Иные, быть может, бывали в «Белом быке» и знали ее. Там она должна была держать себя в обществе молодых людей так, чтобы про нее никто ничего сказать не смел. Здесь дело другое—никого нет, свежий воздух, солнце заходит.

— Бегом!—Она схватила Мельникова за руку, потащила его вперед и крикнула, не оборачиваясь:—Ильза, смотри не сбеги с герр Васичем,—мы одни не найдем домой дороги.

— Найдете...—пустил Васич им вслед и, иронически предлагая руку фрейлейн Ильзе, решил про себя: «Хитрит, черти бы ее ели!.. Нет, уж это, ах, оставьте. До ресторана эту камбалу доведу, а там пусть сидит, как мертвая. Не для меня ли она ее и притащила?»

Прошли мимо крошечного фонтана с бюстом Бисмарка в нише. Уличка пошла в гору. Сады пропали, дома стали уже и выше. За круглой будкой с афишами показалась косая, бурая от

сырости стена, в стене тесный проход, а во всю стену черные с острыми углами буквы:

«Zur Stadt Athen»<sup>1</sup>.

— Сюда! — крикнул Васич.

Компания свернула в узкий проход, обогнула еще одну глухую стену и вышла на маленькую узкую террасу над самой рекой.

\* \* \*

На террасе было почти пусто. Только у лестницы, тесно склонившись друг к другу, сидела немецкая светловолосая чета и солидно доедала яичницу с ветчиной, да в угловой нише, обвитой плющом, молоденькая кельнерша, облокотившись грудью о каменные перила, кричала что-то перевозчику на той стороне реки. Больше никого. Зато над головами топало и кричало целое стадо корпорантов, двигались по цементному полу стулья, долетали хриплые отрывки песен и дружный, как по команде, индюшечий корпорантский хохот.

Кельнерша заметила русских и подошла, привычно играя глазами и теребя передник:

— Добрый вечер. Где это вы пропадали, герр Васич?

Васич ответил сухо, хотя обычно держал себя гораздо любезнее с пухлощекой немкой:

— Был занят. Дайте нам два графина «Резинатвейна» и бутылку «Пелопоннесского». Пока. И карту. Только, пожалуйста, поскорей.

Кельнерша сделала мину, свысока взглянула на приехавших дам и ушла.

Заняли столик у перил, в затененном углу, самом дальнем от входа. Внизу монотонно бежала вода. Река длинной излучиной огибала зеленые холмы и терялась в далеких темных кустах. Вдали на пригорке, над розовыми от заката квадратами полей чернел маленький замок, в стеклах переливалась малиновая бронза заката, над башней летали черные птицы. Река на повороте тоже вся была полна расплавленным металлом, — в середине, едва выбиваясь против течения, шумно взбивал золотую пену маленький колесный пароход. На пароходе черные фигурки, склонившись над бортом, махали фуражками и что-то кричали — должно быть, корпорантам на верхней террасе.

Пароход прошел, и на реке стало тихо. Мельников задумался. Все вокруг напомнило ему старинную сентиментальную немецкую картинку: там, за холмами, темнеют в долине серой массой узкие кровли немецкого городка, на холме, у старой церкви стоит юноша с мешком за плечами... Волосы развеваются, шляпа в протянутой руке, голова обращена назад, а уста горько шепчут:

<sup>1</sup> «К городу Афины» (нем.)

«Adieu, adieu, mein schönes Land!»<sup>1</sup>

Мельникову показалось, что этот юноша — он сам. Ему стало вдруг грустно и жаль себя...

Мирцль дотронулась до его плеча:

— Prosit!<sup>2</sup> Вино простынет, герр Мельников... Пейте. Может быть, вино вас научит говорить со мной по-немецки...

— Я... я с удовольствием...

— Он с удовольствием! — неизвестно чему грубо расхохотался Васич, наливая себе вина.

Он сидел спиной к реке, рядом с Мирцль, зорко следил за всем и чувствовал себя, как хороший бильярдный игрок перед тонким ударом. До заката ему не было решительно никакого дела.

— Чему вы смеетесь? — раздраженно спросил Мельников.

Васич стряхнул за перила пепел и потянулся.

— Весело, дитя мое, вот и смеюсь. Не кота же хоронить мы сюда приехали. Правда, Мирцль? Prosit! Pfu, как она пьет... Как воду Франц-Иосифа...

— Крепко, герр Васич. Я не привыкла.

— Детские игрушки. Привыкайте... Доставим в целости, не разобьетесь. Что будете есть?

— Все.

— Bravo. Фрейлейн! Липтауского сыра, ветчины с горошком... Вам чего, фрейлейн Ильза?

— Шницель, — торопливо ответила проголодавшаяся Ильза.

— С картофелем?

— И с бобами!

Она развернула салфетку и решительно посмотрела на всех.

— Ух, какая жадная! Прекрасно. — Васич подождал, пока кельнерша ушла, наполнил пустой бокал Мирцль, заглянул ей быстро в глаза и весело и настойчиво сказал: — Prosit! Второй бокал вкуснее. Третий — нальете сами. Коллега, да просите же! Вот, ей-богу, суповое мясо... — пробурчал он вскользь скороговоркой и с дурашливым пафосом громко прочел по прейскуранту: — Resinatwein 1890 года, поставляется ко двору местного принца, чтоб он лопнул! Prosit. Чего вы, коллега, все морщитесь?

— Невкусно.

— Наоборот. Чистейшая резина на копировальных чернилах... Очень деликатный напиток. С четвертой рюмки почувствуете... Мирцль, просьба!

— Хотите сделать мне предложение?

— Пока еще нет. Снимите шляпу. Можно?

— Зачем?

— Умоляю. Из-за вашей шляпы я ничего не могу сказать вам на ухо. И потом, без шляпы вы будете больше похожи на себя...

<sup>1</sup> «Прощай, прощай, моя прекрасная страна!» (нем.)

<sup>2</sup> «Ваше здоровье!» (лат.)

Васич взял Мирцль за руку, но та быстро ее отдернула.

— Вы от этого ничего не выиграете, мой милый, а секретов у меня с вами нет. Хорошо, я сняла... Пожалуйста, оставьте в покое мои ноги.

Васич крикнул и зло посмотрел Мирцль в глаза.

— Ловко. Гм... Три копейки! Впрочем, это не я, а герр Мельников.

— Герр Мельников сидит с левой стороны. Да если б он и сидел там, где вы, он бы никогда не решился на это... Правда ведь, герр Мельников?— вызывающе спросила она.

Мельников, который в это время удивлялся, какое маленькое у Мирцль ухо, услышав свою фамилию, очнулся, поднял четвертый бокал «Резината» и сказал:

— Конечно, Мирцль. Пожалуйста, фрейлейн Мирцль... не разговаривайте с ним. Не надо! Лучше выпейте со мной. Да?

— С вами? Сколько хотите. Prosit, лягушечка. Pfiu, какая гадость. Вытрите мне губы...

— Чем?

Мельников смешался и покраснел.

— Ха-ха-ха! Чем? Салфеткой. Какой смешной...

Васич, наливая Мирцль в чистый бокал темно-желтого «лопоннесского» вина, усмехнулся:

— Я ведь вам сказал. Он—несовершеннолетний. Кроме мамки, ни к одной женщине не прикасался.

— Не ваше дело. Герр Васич, оставьте мои ноги в покое!— Мирцль поднялась и сердито ударила ладонью по столу.— Сядьте, пожалуйста, на мое место,—попросила она Мельникова и, когда тот встал, пересела на его стул.

Васич холодно и брезгливо принялся рассматривать электрическую лампочку в нише, потом карту вин. Перевел глаза на Ильзу. Она съела свой шницель, картофель и бобы дочиста—на блюде нечем было поживиться даже и мухе, выпила два бокала вина и теперь плотно сидела на своем стуле, как сытая сова, то открывая, то закрывая глаза,—почти засыпая. Наконец глаза ее совсем сомкнулись.

— Фрейлейн!—крикнул вдруг Васич, перегнувшись к ней через стол.— Две кружки мюнхенского!

Ильза вскочила, широко раскрыла глаза, увидела русского студента и уже тронулась было с места к воображаемому буфету за пивом, но вдруг пришла в себя, опустилась опять на стул и вяло улыбнулась.

Но Мирцль неожиданно рассердилась:

— Герр Васич, это свинство! Фрейлейн Ильза здесь—ваша гостья, а не кельнерша... Вы слышите! Такая же гостья, как если б она была у вас в доме...

Васич не ожидал отпора и несколько смутился:

— Но ведь это шутка, фрейлейн Мирцль, право же, я не хотел...



— К черту! Со своими дамами вы, наверно, так не шутите. Вам смешно, что фрейлейн Ильза устала и что ей хочется спать? А вы попробуйте целую неделю с утра до вечера разносить пиво... разным таким кавалерам, как вы...

— Простите, я совсем не думал.

Васич удивленно и злобно посмотрел на Мирцль.

— Думать надо всегда,— отрезала она, дерзко усмехаясь.— А не умеете думать, так извольте извиниться.

Васич, чувствуя, что вечер проваливается, крепко выругался про себя на родном языке, встал и с оскорбительно изысканной вежливостью обратился к Ильзе:

— Высокоуважаемая фрейлейн Ильза, я очень огорчен, что моя неудачная шутка дала повод заподозрить меня в недостатке глубокого уважения к вам. Прошу вас принять мои искренние извинения...

Фрейлейн Ильза, не совсем понимая, из-за чего горячится Мирцль и чего хочет от нее русский студент, кивнула головой, улыбаясь, налила ему и себе вина и сказала:

— Prosit! Еще порцию бобов.

Все рассмеялись. Мирцль не поняла издевательства и дружелюбно протянула Васичу руку.

— Вот и отлично. Больше не буду сердиться. Это все ваше вино... Чем больше пьешь, тем больше сердисься...

— Не на всех, однако.

Васич, не глядя на нее и раскачиваясь на стуле, упорно смотрел в преискурант.

— На кого же я еще должна сердиться?

Он ничего не ответил и, сдерживаясь, засвистал.

Студенты наверху уходили, топоча и отодвигая с грохотом стулья. Зазвучал нестройный негромкий хор:

«Alle Fische schwimmen...»<sup>1</sup>

Мирцль тихо подхватила. Ее плечо уже давно ласково касалось плеча молчаливого русского студента. Вначале он отодвигался, потом, должно быть, понял, что приятней не отодвигаться и сидеть спокойно. Мирцль улыбнулась. «Герр Васич злится? Пусть. Он ей не отец и не жених. Какое у этого студента теплое плечо. Слышно, как бьется сердце. Должно быть, ему вредно пить... Как жаль, что она ничего не знает по-русски. Ну что ж, можно и не говорить. А ведь очень похоже, что он совсем еще божья коровка... Герр Васич любит смеяться, но, пожалуй, он сказал о нем правду... Вот так воробей! Или там, дома, невеста? Бережет себя? Ха-ха!»

Она засмеялась, придвинулась еще ближе и, доставая графин с вином, ущипнула под столом студента за руку.

Мельников вздрогнул, но не отнял руки. На реке было печально и темно. Внизу все так же монотонно играла вода, но

<sup>1</sup> «Все рыбы плавают» (нем.).

в ночной тишине плеск воды звучал строже и непонятнее. Молодой месяц пробивался мутным пятном над замком. Студенты ушли, и отголоски веселой песни давно пропали в переулках, которые вели к вокзалу. Наверху было тихо. На стене, ярко освещенной электрической лампочкой, сидел перед бочкой одинокий багровый Диоген и тянул из кружки вино. На бочке чернела надпись «Франц Мейер» — имя и фамилия владельца ресторана.

Мельников покосился на Мирцль, вздохнул и беззвучно шепнул: «Мирцль, как вы прекрасны!» Пальцы его, лежавшие на ее руке, дрожали и слиплись, от Мирцль пахло горячим хлебом и еще чем-то терпким и душным. Страшно хотелось протянуть руку и погладить ее по щеке: такая жаркая, должно быть, щека... А новое вино вкуснее, не то что тот глупый «Резинат». Пахнет смолой и медом и... такое густое.

Он долил свой бокал, поднял его, расплескал половину и медленными глотками выпил до дна.

Васич внимательно посмотрел на своего коллегу, потом на Мирцль, перестал барабанить по скатерти, встал и сказал Ильзе:

— Фрейлейн Ильза, пойдемте наверх есть шоколад.

— Шоколад? — оживилась Ильза.

— Да, шоколад. Там есть автомат. До свиданья, господа, здесь душно, мы немного пройдемся.

Он иронически раскланялся, предложил Ильзе руку и поднялся с ней наверх.

Мирцль показала ему язык и, когда он скрылся, откинулась на стуле к перилам и расхохоталась:

— Извините, ваша светлость! Ошиблись. Будете сегодня от злости подушку кусать... Очень нужно. — Она помолчала. — Так...

Мирцль оглянулась по сторонам, медленно провела ладонью по лбу, словно стирая с лица выражение неприязни и насмешки, и вдруг мягким и ласковым движением наклонилась к Мельникову.

— Что же вы все молчите, мой маленький? Очень страшно, да? Такая большая женщина, и никого кругом... Скажите мне что-нибудь. Ну, скорей.

— Мирцль, вы прекрасны, — шепнул он робко, тщательно выговаривая слова.

— О-о-о! Скажите, пожалуйста... Вы тоже прекрасны, мой храбрый воробей. Выучил? Теперь будешь всем немкам говорить?

Мельников не совсем понял и кротко ответил:

— Да.

— Что?!..

Мирцль скрестила на груди руки, сдвинула брови и в упор посмотрела на студента.

Он понял, что ошибся.

— Нет, нет! Пожалуйста, медленнее, Мирцль. Совсем медленно... Я тогда пойму... Шумит... в голове.

— Шумит? У меня тоже. Prosit!— Она налила ему и себе вина, положила ему руку на плечо и низко заглянула в глаза:— Теперь понял? Или еще медленнее надо? Пей! Так. Можно говорить «ты»? Не сердись?

— Да.

— Что?!..

— Нет, Мирць, нет! Боже мой, отчего вы не говорите по-русски?.. Мирць, вы прекрасны, слышите,—и не спрашивайте меня больше ни о чем...

— Может быть, позвать герр Васича?—лукаво спросила Мирць.

— Мирць...

— Хорошо, хорошо, не позову... Как тебя дома зовут?

— Что?

— Как тебя зовут дома? Мать, сестра...

— Имя?—догадался Мельников.—Имя...

Он посмотрел на расплывающееся пятно электрической лампочки и вздохнул.

— Забыл?

— Григорий.

— Крикори...—тихо повторила Мирць.—Устал? Трудно говорить? Ты, верно, не привык пить... Зачем пьешь? Ну, молчи, я сама буду говорить. Ты—милый! Самый милый на свете. Не отворачивайся, не съем... Посмотри мне в глаза. Так.

— Мирць, как вы прекрасны!

— Понравилась тебе? Что же ты так сидишь, как в гостях у епископа? Нет, нет, не пей больше, не надо.

Мирць отодвинула от студента бокал, взяла его тесно под руку, положила ногу на перекладину стола и стала медленно раскачиваться вместе с ним. «Какой странный... Совсем не компания этому Васичу. Ничего не умеет скрыть: глаза горят, смотрит, как на пирожное, а протянуть руку боится. Не курит. В «Белом быке» одна кружка пива целый вечер перед ним стоит. А сегодня расхрабрился. Как бы смеялась Мина и другие там, в хоре, если бы увидели ее сейчас с ним. Пусть... Ах, как жарко».

Она налила себе свободной рукой вина и снова оглянулась вокруг.

— Так... Куда это они ушли... Ты о чем думаешь, а?..

Мельников был пойман врасплох.

— Я думаю...—Он посмотрел в почти незнакомые ласковые черные глаза и решил.—Сказать? Вы не будете сердиться?

— Нет.

— Я думал, что вы, должно быть... многим корпорантам...

— Дальше.

— Говорите «ты»...

Он низко опустил голову и замолчал.

Мирць изумленно обернулась к студенту, резко вырвала свою руку, но ничего не ответила.

— Вот видите, вы сердитесь. Не надо сердиться, Мирцль, не надо...

Мельников взял ее за руку и погладил и, не зная, что делать с ней, осторожно положил ее опять на стол.

— Так! Девушка из хора... Вечером поет песни и играет, ночью говорит корпорантам «ты»... Ха-ха! Я думала, такой маленький русский студент, совсем особенный... А он... Прочь! Ненавижу! — крикнула она, когда Мельников опять хотел взять ее за руку, и резко толкнула его в грудь.

— Мирцль,— печально сказал Мельников.— Не надо... Я спросил потому, что всегда так... Всегда так бывает, Мирцль... Вы мне нравитесь, Мирцль. Очень! Вы милая... Я очень рад... что вы не говорите корпорантам «ты»... Слышишь, Мирцль, я очень рад!

Он исчерпал все свои познания в немецком языке и, чувствуя, что задыхается от усталости и угрызений совести, еще раз взял Мирцль за руку и вдруг ткнулся губами в мокрую горячую ладонь.

Мирцль улыбнулась.

— Ты! Вот смешной воробей... Так, как с тобой, ни с одним студентом еще не говорила. Мало ли как говорят «ты»... Такая работа. Пройдешь по залу—одному улыбнешься, с другим пошутишь. Третий толкнет, скажешь: ты, черт! — Она хитро засмеялась и притянула Мельникова за плечи.— Ты что руку целуешь? Не надо. Я не дочка аптекаря. В губы надо. Боишься? Ах ты! У самого, наверно, есть в России принцесса, и не одна, должно быть, а тоже спрашивает...

— Что?

— Я говорю, у тебя в России, наверно, есть кто-нибудь... Невеста или...

— Нет... Никого нет.

— Ла! Как же это тебя никто не заметил? Тем лучше для меня, ха-ха! А у меня есть. Жених есть, я не скрываю. Скульптор. Делает памятники в Штутгарте на кладбище. Понимаешь? Три года ждать. Такой, как ты,— маленький, и все молчит. Что ты на меня смотришь? Ничего не значит... Ты думаешь, он там, в Штутгарте, сидит все время перед моим портретом и вздыхает. На-на! Знаем мы их. Ты ведь меня не съешь, правда? Что-нибудь и для скульптора останется. Черт!..— Мирцль тяжело встала и прислонилась к столу.— Иди сюда. Скорей. Дай руки... Так... Ты, верно, никогда еще не целовался?..

За спиной Мельникова глухо и мерно шумела вода. Спина прислонилась к каменным перилам, голова запрокинулась назад. Стол, лампочка и потолок медленно закачались и исчезли. Мирцль наклонилась над ним всем своим теплым звериным телом, как огромный вампир, присосалась губами и не отрывалась. Было душно, невыразимо приятно и больно. Пальцы разорвали воротничок, спина поддалась, и он, как Петрушка, беспомощно повис на каменных перилах.

Когда Мельников отдышался и открыл глаза, он увидел прямо над собой две головы: с верхней террасы свесился изнемогающий от хохота и любопытства Васич, а за ним Ильза, необыкновенно довольная и оживленная.

Мельников вскочил, поднял с пола свою шляпу и пошел наверх, едва понимая, что с ним. За ним, слегка покачиваясь и придерживаясь руками за перила,— Мирцль.

### III

В мансарде дома фрау Бендер было пусто и тихо. Хозяйка давно уже убрала собственноручно постель и умывальный стол, перетерла все ножки и ручки у кушетки и кресел, а Мельников, как ушел во время уборки на веранду, так и сидел там взлохмаченный, в ночной сорочке, хотя было уже около двух часов. Лекции опять сегодня пропустил, как и все последние три дня после того вечера. Русская газета лежала в бандероли на комодке, мухи пили холодный нетронутый кофе на столе. Возле чашки лежал смятый большой конверт, с фирмой гостиницы «Серебряный якорь», надписанный не то ребенком, не то взрослым малограмотным человеком: неровные, то недописанные, то со старательно выведенными палочками острые буквы.

На веранде было тихо и прохладно. Высокая шиферная крыша сбоку укрывала от солнца. Старую железную решетку тесно перевил душистый горошек, буйно поднявшийся из низких деревянных зеленых ящиков, цветы были всех тонов от белого до темно-малинового и пахли так сильно и сладко, что над ними целый день стояло жужжанье. Кирпичная стена мансарды дышала сыростью, и старые кирпичи казались темней от тени, которую бросал широкий выступ крыши. К желобам шли веревочки, и по ним тянулся к солнцу темно-зеленый матовый плющ. Вокруг ячейки от железной подпорки для жалюзи неустанно носилась одинокая пчела: то влезала в ячейку и начинала вертеть мохнатым толстым тельцем, как буравом, то улетала вниз, туда, где было развешано под цветущими персиковыми деревьями белье, прилетала с новым цветочным грузом и набивала им свой странный улей,— благо, ячейка всегда была пуста, так как сидевший на веранде человек очень любил солнце и никогда не опускал жалюзи... Вдали за легкой кружевной колокольней с петухом, крестом и громоотводом, за сонными домами с наглухо закрытыми ставнями мягко зеленели, светлее — лугами, темнее — лесами, пологие ближние горы, прозрачно синели дальние, а самые далекие сливались с облаками и пропадали в воздухе. А над всем этим — над колокольней, домами, над ослепительно белым бельем внизу и горами,— весело и нестерпимо ярко сияло солнце, пронизывая все вокруг дрожащими струями света и тепла, сильным янтарным вином радости и жизни.

Мельников качался на стуле, рассматривал сучки на деревянном некрашеном столе и ничего не видел. Перед ним лежал толстый немецко-русский словарь и листочки почтовой бумаги, исписанные тем же неровным детским почерком, что и конверт в комнате на столе. Он только что окончил перевод — переводил все утро, слово за словом. Из знаков были только восклицательные, да изредка точки, готические черточки букв местами сливались вместе в узкий частокол, — и все-таки он понял все. И когда понял, еще острее стало ощущение стыда, нелепости и тупого безобразия, которое все время после того вечера не покидало его.

Минутами это ощущение, нарастая, доходило до того, что, казалось, выхода никакого нет... Надо сейчас же собрать потихоньку вещи, оставить на столе деньги за комнату и уехать куда-нибудь в большой город, где ни одна душа его не знает.

Потом стыд отходил, он переставал вспоминать об отдельных диких подробностях и печально думал о Мирцль — о том, какая она удивительная девушка и какая он в сравнении с ней свинья.

В сущности, то, что произошло, было очень обыкновенно, и если б не два-три лишних бокала, которые ударили в голову, Мирцль вернулась бы в свой «Серебряный якорь», где остановилась их капелла, в самом мирном и благоразумном настроении: рассказала бы, раздеваясь, поджидавшей ее подруге о своих впечатлениях, посмеялась бы над Негг Васичем и крепко заснула, и разве во сне позволила бы себе что-нибудь, что не совсем могло понравиться ее жениху, скульптору из Штутгарта. Мельников тоже не заставил бы почтенную фрау Бендер дрожать от страха и негодования в два часа ночи, потому что ее скромнейший жилец, возвращаясь, так топал на лестнице, точно нес лошадь на плечах, а потом утром спал до двенадцати, и комната стояла неубранной целый день.

Началось это еще в вагоне, после ресторана. Они возвращались с последним ночным поездом. В вагоне никого не было, Васич предательски его бросил и перешел с Ильзой в соседний вагон. Мирцль совсем с ума сошла: садилась на колени, ломала ему пальцы, дула в глаза, когда усталый и взбудораженный Мельников закрывал веки. Когда же он чувствовал, что задыхается, и становился смелее, — Мирцль вскакивала, толкала его в грудь, кричала «Nein!» и сердито говорила что-то по-немецки.

Дальше Мельников вспомнил освещенную луной площадь, темный сквер, темные фиакры, темного шуцмана у фонтана. Мирцль и он посреди площади. Ильза и Васич куда-то исчезли. Она не хочет ни ехать, ни идти, размахивает руками, гневно отдергивает его руку и вдруг хрипло затягивает нелепую песню из своего репертуара, с припевом «Bier oder Wein!»<sup>1</sup>. У фиакров раздается радостный хохот и шелканье бичей, черная фигура шуцмана отделяется от фонтана и приближается к ним медленными зловещими шагами.

<sup>1</sup> «Пиво или вино!» (нем.)

Он берет Мирцль под руку и с ужасом изо всех сил тянет ее с площади в темный переулочок... Потом они долго рука об руку блуждают, покачиваясь, из переулочка в переулочек. Мирцль умолкает и жалуется, что она устала, но фиакров больше не видно...

Ему хочется пить, так хочется, как никогда в жизни, но по дороге нет ни одного фонтана, а назад на площадь он боится идти.

Наконец они — перед «Серебряным якорем». Внизу в ресторане тусклый огонь, — должно быть, ее ждут. Он хочет идти домой, но Мирцль его не пускает и говорит, что в ресторане есть лимонад и что она хочет его угостить. Боже мой, лимонад! Холодный, кислый, шипучий лимонад... Четыре бутылки! Ему страшно хотелось пить, он не устоял и вошел.

Дальше была пропасть. Он помнил все до последней мелочи, хотя, наверно, тогда плохо сознавал, где у него правая рука, где левая... И чем отвратительней и неприятней были эти воспомина-ния, тем упорней мысль к ним возвращалась.

Мирцль вошла решительно и шумно, как в завоеванную крепость, усадила своего притихшего спутника к окну, сняла с него шляпу и громко скомандовала:

— *Limonade und Schokolade!*

Над стойкой горела единственная электрическая лампочка. У вялого хозяина не было никакой охоты возиться со штопором, — должно быть, болели пухлые ноги и хотелось спать. Он что-то недовольно ответил. Мирцль крикнула: «Скорей, черт!» и ударила зонтиком по столу.

Лимонад принесли, но первый же глоток был отравлен. На крик в дверях появилась, исполненная достоинства и гнева, бледно-жирная жена директора капеллы, в длинной ночной кофте и в папильотках, симметрично рассаженных по желтому жидкому руну, — появилась и застыла... За женой директора — полуиспуганные-полуобрадованные подруги Мирцль и на лестнице над ними, совсем как в старинных комических романах, — сам директор, со свечой в руке, без пиджака и жилета, — перегнулся, смотрел и краснел все больше и больше.

И вдруг разразилось. О чем кричал директор, Мельников не помнил. Сжавшись в своем углу и захлебываясь, он наскоро допивал лимонад, с тоской посматривая на далекую выходную дверь. Мирцль встала, скрестив руки, заслонила его своей величественной фигурой и бесстрашно приняла все удары на себя. Директор укорял солидно, неспеша, энергично подымая и опуская руку, словно дирижировал; жена его вытягивала шею, крутила перед собой пальцами, словно выбирая самые ошеломляющие и колючие слова, и пронзительными залпами выбрасывала их в Мирцль.

Мирцль только постукивала каблуками и смотрела куда-то за стойку, но когда под напором директорской жены она качнулась в сторону, открыв суровым глазам разгневанной четы

Мельникова, и когда укоризны с новой силой обрушились уже на него, Мирцль взмахнула, как рапирой, зонтиком и крикнула:

— Довольно! Не смей его трогать.

Повернувшись к Мельникову, она увидела, что он привстал и хочет уйти, усадила его опять и приказала:

— Сиди — ты мой гость! Пей, не бойся.

Мельников сел.

Но немецкому директору и его жене подчиненный человек не смеет сказать «довольно» даже в свой выходной день. Как они кричали! Директор от злости потерял свой бас и стал визжать. Его фрау, наоборот, охрипла и, сердясь еще больше оттого, что не может говорить так быстро, как того требовал момент, закашлялась и стала давиться своими же словами. Мирцль все еще сдерживалась. Находила даже в себе силы ободрять Мельникова, оборачивалась к нему и что-то такое, смеясь, говорила. Но когда директор, дойдя до самых верхних нот, схватил ее за руку и потащил спать, когда фрау директор выкрикнула слово «Штутгарт» и произнесла имя жениха Мирцль, — все пошло к черту.

Мирцль, как бешеная, смахнула рукой на пол лимонад и шоколад, пепельницу, графин с водой и все, что стояло на всем длинном столе. Хозяин ринулся из-за прилавка, как тигр, и схватил Мирцль за руки... Мирцль двинула его в грудь, и он, присев на мгновение на подвернувшийся по пути стул, слетел под стол у самой печки. Подскочивший директор хотел было схватить ее поперек талии, но дешевый крепкий зонтик с треском ожег его по спине и по пальцам. Директор отскочил, зонтик полетел в лампочку, лампочка цокнула и погасла.

Хористки, как испуганные птицы, жалобно кричали в дверях, директорская чета иступленно наскокивала на Мирцль, но она выставила перед собой четыре ножки крепкого тирольского стула и насмешливо свистала. Пламя свечи мрачно металось на стойке от размахивающих рук и разлетающихся во все стороны ночных туалетов.

Вся труппа собралась в комнате. Кто-то поднял с пола шляпу Мельникова, взял его за плечо, что-то вежливо, но внушительно прошептал ему на ухо и вывел его на улицу...

Мельников вспомнил первое чувство радости, когда он очутился уже за дверями, и стыда — едкого, все нараставшего стыда за то, что он не заплатил за лимонад...

\* \* \*

Пчела зажужжала у самого уха. Мельников поднял голову. Странное дело — он совсем забыл, какое у Мирцль лицо. Помнил ее зонтик, брошку, каждое движение сильной большой фигуры, но лицо исчезло. И голос исчез. Он быстро достал из ящика стола открытку со всей тирольской труппой, но и там Мирцль не было: справа из-за труппы выглядывала запачканная типографской



кляксой сердитая голова, тирольский передник и кусок гитары. Тогда он вспомнил о ее письме, но отдельные фразы и слова сплетались и улетали, точно смутные главы полузабытого рассказа. Обращение вспомнил: «Мой милый воробей». Что дальше? Он вздохнул, придвинул к себе крупно исписанные листочки и медленно прочел в последний раз:

«Мой милый воробей!

Надо тебе написать, а то пройдет неделя, и год, и два, и ты, если вспомнишь Мирцль,—вспомнишь только, как она била стаканы, ругалась и топала ногами. Так жалко, мой маленький студент, так жалко! Сегодня вечером я буду петь, как сто соловьев, но тебя не будет, я буду смотреть на ваш столик, и некому будет меня слушать. И так целую неделю, пока мы не уедем отсюда. Каждый вечер буду петь все лучше, но ты не придешь. И не приходи! Светло, все знают, все будут смотреть... Когда я пойду продавать и пройду около тебя, какой-нибудь болван что-нибудь скажет,—и я разорву ему рот до ушей. Свиданье тебе назначить нельзя, за мной следят, как за принцессой, боятся, что я сбегу. Разве с тобой убежишь! Я осталась в хоре, другую бы директор выгнал, но кто так поет, как я, и кто продает столько эдельвейсов? Мирцль возьмут в любой хор, и он останется с носом. Его жена—бешеная свинья—она хотела написать моему жениху, что ты мой любовник. Ха-ха! Ты понимаешь, мой маленький студент, какая она дура! Ты испугался вчера, правда? Я еще тебя стеснялась, а то бы я с ними не так разделалась... Мне тоже попало,—порвали золотую цепочку от часов и новый лиф, кто-то грудь расцарапал. Темно было, а то бы я ему расцарапала! Я поклялась хозяйке, что между нами ничего не было, и она успокоилась, обещала ничего не писать. Хоть бы еще неделю... Жених ничего, он на всю жизнь, а с тобой, как песню поешь. Глаза закроешь и поешь, пока закрыты—хорошо. Хорошо со мной целоваться, воробей? Прощай, будь здоров и помни обо мне. «Прекрасна юность, она не вернется вновь».

Мирцль.

Ты не сердись, я тебя не дразнила, как барышня из цветочно-го магазина. Мне и самой так трудно было тебе говорить «нет». Но я должна быть честной, жених мне верит, а при такой работе, как моя, особенно надо держаться. Писать не надо. Прощай. Что писать? Когда хочется пить, нужна вода.

Васичу скажи, что он не лучше немцев, хотя постоянно их ругает. Такая же свинья. Я ему не кланяюсь».

.....

Образ Мирцль опять выплыл, но было в нем что-то новое: сквозь смелые, насмешливые черты Кармен засквозил нежный облик Татьяны, за ней в глубине колыхался спокойный германский профиль фрау директор. Мельников аккуратно сложил пись-

мо и спрятал его в ящик стола. И кстати: в дверь комнаты давно уже стучались.

— Кто там? Войдите.

— Вы дома, Мельников?

— Дома. Войдите,— ответил он вяло и неохотно.

Вошел Васич, веселый и свежий, бросил на кровать шляпу и, не здороваясь, сел в кресло.

— Ух, устал. Как можно так высоко жить!.. Был у вас два раза, никто не отвечал... Что это вы такой, а?..

— Какой?

— Да так... Впрочем, не буду. Вы на меня сердитесь? Предатель, бросил?

— Нет, уже не сержусь.— Мельников машинально поднял голову.

— Значит, сердились. Напрасно. Я ведь думал, что вы совершеннолетний, да и она не маленькая.

— Конечно, конечно... Скажите,— спросил вдруг равнодушным тоном Мельников,— вы пили ведь раньше эти греческие вина там, в ресторане?

— Да, пил. Что из того?— Васич не понял.

— И знакомы, значит, с этим замечательным «Резинатвейном»?

— Знаком. В чем же дело? Ах, так! Я вас споил. Вас и хрупкую девушку, выпивающую в день по пяти литров пива! И потом, как злодей, скрылся.

Мельников ничего не ответил.

— Комик вы, коллега. Я ведь ушел с Ильзой наверх, когда вы оба были еще как ангелы. Ушел, чтоб вам не мешать.

— Да, конечно.

— И в другой вагон перешел по той же причине.

— Да, конечно.

— То же самое и в городе. Само собой, если бы знал, что там такое сражение разыграется, я бы вас не оставил.

— Да, конечно.

— Ну, это уж глупо!— вспыхнул Васич.— Нянька я ваша, что ли? Есть, кажется, дела, когда третий не нужен...

— Есть,— слово упало мертво и беззвучно.

— Вы особенно не огорчайтесь.— Васич внимательно посмотрел на коллегу.— Я там был, переговорил с хозяином, заплатил за графин и прочую ерунду... На вас никто и не сердится.

— Спасибо. Сколько?— Мельников пошел к комоду за кошельком.

— Успеете, чудак-человек. Разве я к тому?

— А там были?

— Где там?

— В «Белом Быке»?— тихо спросил Мельников.

— Не был. Что ее смущать! Хор скоро уезжает. Да это не беда,— полтора часа езды отсюда.

— Полтора?  
— Хитрите, герр Мельников. Письмо ведь получили. Лучше меня знаете.

— Какое письмо?

— Шоколадное! От нее, конечно, от кого же еще.

— Нет, не получал.

Мельников быстро прикрыл ладонью письмо.

— Да вон конверт под рукой. Я не навязываюсь! Хотя, право, интересно узнать, как такой кентавр пишет.

— Глупо.

— Напротив, совсем не глупо. Толку от вас сегодня, как видно, не добьешься, а я, собственно, пришел сегодня вот с чем... Конечно, очень жаль, что все так случилось, но здесь это не редкость... Через два дня забудут. А вам надевать траур преждевременно. Хор будет петь в Маннгейме, в «Красном петухе». Полтора часа езды. В ресторан ходить вам, само собой, неудобно. Поезжайте за день до ее выходного дня, снимите подальше от ресторана номер, дайте ей знать хоть через тамошнюю цветочницу и... «будьте, как боги».

— Благодарю вас.

— Не на чем. Право, все это очень просто. Исходить печалью, повторяю, и смешно, и преждевременно. Та-та!.. Послушайте, Мельников, позвольте вам по-товарищески один вопрос предложить: может быть, у вас с финансами туго? В таких случаях ведь особенно нужно. Возьмите у меня, есть о чем думать! Детские ведь игрушки. Через месяц-два отдадите... Право же...

— Благодарю вас.— Мельников, как каменный, смотрел в угол и молча ждал, чтобы гость ушел.

— Погодите благодарить. Сколько нужно? Пятьдесят, сто? При себе нет, да я к вечеру принесу.

— Не надо. Очень вам благодарен. Никуда я не поеду.

— Что?!..

— И вообще, прошу вас, не говорите со мной больше об этом. Вообще ни о чем со мной не говорите.

Мельников встал, скомкал конверт, надписанный Мирцль, сунул его в карман и вышел, не глядя на Васича, на балкон.

Васич медленно прошелся по комнате, надел шляпу, дошел до двери, посвистал и сказал:

— Тэк-с.

На балконе было тихо.

— Мельников, вы подумайте! Ведь это колоссальная глупость! Принести денег, а?

Молчание.

— Тэк-с, тэк-с...

Васич вышел, медленно, все еще ожидая ответа, прикрыл за собой дверь и только на лестнице, злобно надавливая на ступени, окончил вслух свою мысль:

— Какой болван! Какой непроходимый болван...

Мельников подождал, пока затихли на лестнице шаги, и вошел в свою комнату. Долго шагал от окна до дверей, печально смотрел на лежавшую на подоконнике щетку, перебирал книги на комодe и наконец пересилил себя: умылся, стараясь не смотреть на себя в зеркало над умывальником, и сел за свои книги.

Сквозь серьезные бессмысленно бегущие немецкие строчки долго еще пробивались живые и волнующие фразы утреннего письма. Но понемногу страницы книги становились знакомее и ближе, письмо куда-то отошло, и только изредка какое-нибудь наивное слово всплывало и наполняло мысли печальным недоумением и смутным стыдом.

Тогда Мельников отрывался на минуту от книги, подымал брови и, ни о чем не думая, смотрел в стенку и ждал, пока боль утихнет...

<1914>

## ИЕРОГЛИФЫ

(НЕ-ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)

Раз в месяц Павел Федорович приходил в тихое отчаяние: письменный стол переполнялся. Над столом, правда, висели крючки для почтовых квитанций, писем, на которые надо было ответить, заметок, «что надо сделать»,— но и крючки не помогали. Они тоже переполнялись и по временам становились похожими на бумажные метелки, которыми рахат-лукумные греки сгоняют на юге мух с плодов. Фарфоровая памятная дощечка, лежавшая на столе, носила на себе следы, по крайней мере, шести наслоений графита, стойки для бумаг не вмещали уже ни одной новой открытки и упорно выжимали из себя растрепанные бумажные углы; из бокала для карандашей торчали самые посторонние бокалу предметы: палочка для набивания папирос, длинные ножницы, кусок багета от расколовшейся год назад рамки, пробирка из-под ванили... Ужасно!

Все лишнее Павел Федорович давно с сердечной болью убрал со стола: люцернского льва, бронзового барона, купленного на аукционе, японское карликовое дерево—и прочие соблазнительные предметы, которые только отвлекали внимание и загружали стол. Но и это не помогало: само собой случалось так, что все вещи, попадавшие на стол, когда они были нужны, так и застревали на нем.

Особенно книги. Это были положительно какие-то ленивые животные. Немецкий словарь Павловского, например, третий месяц лежал на столе, как отдыхающий в иле бегемот, и только изредка передвигался с правого угла в левый. Библия по временам перебиралась на кресло, стоявшее сбоку, но приходил гость

и садился в кресло,—куда ей было деваться? А стол стоял рядом... Еще больше огорчений доставлял энциклопедический словарь — он приходил гораздо чаще, чем уходил, и всегда целой артелью, так что иногда к вечеру бедный любознательный Павел Федорович не мог из-за него добраться до чернильницы. Но наглее всего были газеты. Когда их приносил почтальон, они имели вполне приличный вид — узенькие, плотненькие, перетянутые вокруг талии бандеролью, они умещались даже в боковом кармане,—но стоило развернуть одну-другую, и на столе воцарялся хаос. Развернутые листы комкались и не хотели складываться по швам, вырезанные заметки лезли под руки и смешивались со старыми... Даже корзинка для бумаг не помогала: две, три газеты набивали ее сразу доверху и упрямо сбрасывали на пол все, что ни клали им на голову. Ужасно, ужасно!

В ящиках было не лучше. Павел Федорович был человек разносторонний и, кроме того, крепко цеплялся за свое прошлое, как почти все одинокие взрослые люди. Если бы некоторые письма и разные странные пустяки (итальянские монеты, гимназический герб, кусок восковой свечи и пр.) исчезли из его письменного стола,—он бы почувствовал себя совсем неуютно на земном шаре и в значительной степени утратил бы самое чувство прошлого... Конечно, это было смешно и нелепо,—но что делать? — настоящее Павла Федоровича было несложно, как гвоздь: утром кофе и булка, утренние газеты; работа, обед, работа, вечерние газеты, чай, работа и мертвый сон до следующего утра. Будущее же ему всегда смутно рисовалось в образе веревочного хвостика от колбасы, которую дорезали до самого конца.

В ящиках, конечно, были и необходимые вещи,—например, каталоги книг с тщательными отметками, какие книги надо приобрести в первую очередь, какие во вторую. Но и каталогов этих накопилось гораздо больше, чем было нужно: денег на покупку книг не хватало, а если и случались, то всегда подвертывались какие-нибудь дырявые галоши. Земное побеждало небесное; книги так и оставались отмеченными для покупки, а каталоги продолжали желтеть в ящиках; тем временем выходили новые каталоги, Павел Федорович опять отмечал — и так много лет.

В один из таких приступов отчаяния,—когда стол был переполнен внутри и снаружи, а Павел Федорович с омраченным злобой и тупой беспомощностью лицом уже в двадцатый раз выдвигал с грохотом ящик за ящиком в поисках почтовой бумаги и транспаранта,—в один из таких приступов Павел Федорович встал, прошелся по комнате, снял воротничок и сказал «уф!». Потом мотнул головой и опять присел к столу с железным решением разобрать стол до последней промокашки и выбросить весь «хлам» без всякого сожаления.

Если писать «юмористический рассказ», то все дальнейшее можно было бы разыграть по двум трафаретам. Трафарет номер первый: Павел Федорович в порыве увлечения выбрасывает хлам

и даже приказывает слуге отнести его, во избежание соблазна, на помойку. Затем ночью, охваченный комическим раскаянием, пробирается в одной рубашке с фонарем к помойной яме, разрывает ее и выбирает свои нелепые сувениры из груды картофельной и яичной шелухи. Можно прибавить и дворника, который принимает его за вора, ловит, тащит в участок и т. д.

Трафарет номер второй: Павел Федорович не выбрасывает своего хлама. В таком случае можно очень забавно — «непрерывный смех!» — изобразить борьбу между принятым решением и воспоминаниями, связанными со старым ключом, кусочком сургуча, письмом от веселой вдовы, украшавшей юность, и прочей трухой, засоряющей ящики. Закончить можно так: под утро прислуга вымела холодного Павла Федоровича вместе с засыпавшим его, как Везувий Помпею, хламом, который он разбирал на ковре.

Но, так как рассказ не юмористический, — то придется пожертвовать всеми этими прекрасными подробностями и скромно вышивать по невзрачной канве действительности.

В углу нижнего ящика, под грудой писчей бумаги и дешевых гравюр, Павлу Федоровичу попала в руки неожиданная находка: толстая, так называемая «общая» тетрадь. Наклейки не было, — вместо нее за прорезанной в черной коленкоровой обложке решеткой чернела тщательно нарисованная печатными буквами надпись «Каторжные работы». Павел Федорович улыбнулся и с любопытством взял тетрадь в руки. Как она к нему попала и что в ней? Он раскрыл ее и сразу узнал собственный гимназический почерк, еще расхлябанный, жидкий, но уже со всеми особенностями почерка взрослого человека, державшего тетрадь в руках.

На первой, раскрытой наугад, странице было написано:

«Dum, priusquam, antequam — с изъяснительным наклоном, если придаточное отвечает на вопрос когда, в какое время».

Павел Федорович удивленно откинулся в кресле и стал припоминать. Что бы это могло значить?.. Но в памяти всплыли только изящные серые брюки молодого латиниста из филологического института и его поза, когда он спрашивал обреченную жертву у парты, поставив с изысканной грацией ногу на скамью.

Следующая страница еще больше озадачила, хотя почерк был опять его — Павла Федоровича.

«Пределом называется та постоянная величина, к которой стремится переменная, так что разность между ними всегда остается меньше какой угодно малой величины». И дальше: «Бесконечно малая есть переменная, предел которой равен нулю».

Павел Федорович представил себе бесконечный ряд мух, которые должны были бесконечно уменьшаться справа налево и стремиться к нулю. Но так как разность между двумя соседними мухами оставалась «меньше какой угодно малой величины», то мухи нисколько не уменьшались и были все одинакового роста.

Он плюнул и сердито перевернул несколько страниц.

«К пятнице повторить до Готфрида Бульонского». В этой фразе, напоминавшей шараду на малознакомом языке, только слово «Бульонский» вызвало знакомый гастрономический образ. Буква «Г» лежала тут же на столе. Павел Федорович развернул 17-й полutom энциклопедического словаря и прочел:

«Готфрид Бульонский — герцог Нижней Лотарингии, родился ок. 1060 г., старший сын графа Евстафия II Бульонского и Иды, сестры Готфрида Горбатого, герцога Нижней Лотарингии, которому он и наследовал в управлении государством».

Дальше в таком же роде полтора столбца петита и подпись — Е. Щепкин.

Павел Федорович уныло вздохнул и, охваченный бессознательным любопытством, достал последний полutom, в котором помещены фотографии всех составителей словаря. Е. Щепкин был в самом конце, звали его полностью: проф. Евгений Николаевич Щепкин. Лицо — круглое и добродушное, лоб переходил на лысину, воротничок прямой, стоячий, каких уже никто, кроме пасторов и некоторых профессоров, не носит.

После Готфрида Бульонского в общей тетради замелькал ряд страниц еще более непонятных. Буквы почему-то были латинские, особенно часто повторялись *x*, *y*, *z*. Одни буквы были в круглых скобках, другие, словно в корсете, в фигурных, вверху справа у многих букв стояли крохотные цифры. Кое-где буквы и цифры лежали друг на друге, в два этажа, а между ними черта. Кое-где, как большие и маленькие верблюды, торчали знаки радикалов.

«Алгебра»... — горестно подумал Павел Федорович. — «Алгебра»...

Ему вспомнилось с необычайной остротой то чувство холодного ужаса и обреченности на письменных работах, когда до звонка оставалось полминуты. Часть задачи списана, часть решена, а тощий, как вобла, математик стоит над партой и двумя пальцами тянет к себе тетрадку: «довольно-с, отдохните-с»...

Но значение странных знаков оставалось темным. Не верилось даже, что его пальцы выводили когда-то все эти черточки и завитушки.

Новые раскопки в тетради открыли целые залежи греческих фраз, — кудрявых, с ударениями и придыханиями, — таинственных, как звездная карта.

Ниже была приписка: «в четверг *extemporale!* Повторить *aoristus I passivi* глаголов чистых и немых (чтоб они лопнули!)».

Слова в скобках вызвали сочувственную улыбку, остальное — увы... Напрасно Павел Федорович покорно и кротко повторял про себя:

«*Aoristus I passivi* глаголов чистых и немых». Память не только ничего не подсказывала, но сбила его с толку, неожиданно подсунав давно забытый детский счет:

«Унэ-дери-трикандери, сахар-махар-помадери, аз-баз-трибаз, бес-бедович-кислый квас...»

Вслед за этим опять мелькнул знакомый образ. Маленький, рыжий, всклокоченный «грек» стоял у окна спиной к классу и равнодушным голосом цедил:

«Господа, не списывайте дословно. У кого одинаковые ошибки — кол».

«Дай Бог ему здоровья! — вздохнул Павел Федорович и задумался. — Попадают же и между ними люди...»

Наконец, в конце тетради он, к искреннему своему удовольствию, нашел отрывок, в котором хоть что-нибудь можно было понять. Это был черновик домашнего сочинения «Герои у древних», из которого ясно было видно, что «герой совершает то, на что окружающие совершенно неспособны, — вот главная причина признания его героизма и удивления перед ним».

Одно место заставило даже Павла Федоровича на мгновение полюбоваться смелым полетом своей гимназической мысли:

«Если во время пожара какой-нибудь человек из толпы бросится в огонь и спасет чужую жизнь, мы назовем его героем, если же то же самое совершит пожарный, оценка наша значительно понизится. Чем это объясняется? Тем, что есть профессии, в которых человек как бы обязан всегда быть героем, причем благодаря повторению героизма ему уже никто не удивляется».

Впрочем, все это место пересекала жирная черта, а сбоку стоял унылый вопросительный знак и собственноручная резолюция: «Не на тему. Ослы».

Павел Федорович медленно закрыл тетрадь, откинулся в кресле и закрыл глаза. Было очень досадно. Вспомнились четверти, унижительный торг с латинистом, в коридоре после урока, о тройке с минусом, которая должна была обеспечить тройку в годовом, подсчитывание на бумажке отметок (сколько в среднем?), ответы «на поправку» в конце четвертей, списывание на промокашках греческих экстемпоралей, — весь мутный чад гимназической повинности, мелких обманов и никогда не затихающей напряженности и тревоги.

Особенно ярко всплыла темная жуткая полоса экзаменационных дней — дней «подготовки», конспектов, шпаргалок, часов ожидания, пока очередь дойдет до твоей фамилии, и ужасных минут, словно перед эшафотом, — минут обдумывания своего билета...

Даже теперь, при одном воспоминании, Павел Федорович поймал себя на смутной радостной мысли: слава Богу, у него уже ни одного экзамена в жизни не будет.

Он покосился на общую тетрадь и вздохнул: однако разве сегодня это не был экзамен? И какой зверский провал! Словно его подвели к доске, испещренной ассирийской клинописью — ни звука!

Досада все росла. «Столько лет, столько лет...» Но, может быть, он только забыл, может быть, другие, у кого память лучше и кто хорошо учился, помнят?.. Он встал, подошел к стене и постучал:



- Иван Иванович, вы дома?
- Алло! — раздалось из-за стены.
- Можно вас потревожить?..

Иван Иванович, квартирный хозяин,— служил в банке, разбирался в любом вопросе в течение пяти минут и считал себя вторым после Шопенгауэра умным человеком на свете.

- Здравствуйте. В чем дело?
- Вы хорошо учились в гимназии?
- Серебряная медаль.

— Ого! Присядьте на минуту,— Павел Федорович снял с кресла Библию и переложил ее на стол.— Ответьте мне, пожалуйста, на несколько вопросов, только не перебивайте и не удивляйтесь...

— С удовольствием.— Иван Иванович с недоумением покосился на жильца, но потом вспомнил, что получил с него позавчера за месяц вперед, и успокоился.

- У вас память хорошая?
- *Nec plus ultra.*

— Прекрасно. Скажите,— Павел Федорович незаметно заглянул в тетрадь,— где находится центр тяжести конуса?

Иван Иванович резко повернул голову к жильцу, пожевал губами и изумленно спросил:

- Что это вы, Павел Федорович?

— Ничего. Совершенно здоров-с. Так где центр тяжести конуса?

- Не знаю...

— Так,— Павел Федорович перевернул под столом несколько страниц.— Кто такой Лука Жидята?

- Лука Жидята?

- Да, Лука Жидята. Феодосий Печерский? Илларион?

- Гм... Это что-то такое из словесности.

— Совершенно верно: «что-то такое из словесности». Так. Что вы можете сказать о *perfectum* и *plusquamperfectum medii* глаголов немых с подъемом коренной гласной?

— Не знаю,— вопросительно улыбаясь, ответил квартирный хозяин, смутно догадываясь, в чем дело.

— А, не зна-е-те?— Павел Федорович вошел в свою роль и повысил голос.— Серебряная медаль... Отлично-с! Нарисуйте мне графическое изображение зависимости между временем и скоростью для различного рода движений...

— Извините, у меня болит... голова. Позвольте выйти!— Иван Иванович вскочил и дурашливо поднял руку.

— Выйти? А не угодно ли вам, милостивый государь, предварительно перевести: «Гюмер на-зы-ва-ет Ферсита бе-зо-бразнейшим из гре-ков». Словарь на полке; сроку полчаса. Ну-с!

— Позвольте выйти!— завопил Иван Иванович, но не выдержал и захохотал, как индюк.

Павел Федорович протянул ему общую тетрадь и криво усмехнулся.

— Кол. Садитесь. Смешно, не правда ли? Вот, находку сделал, полюбуйтесь!

Иван Иванович вежливо перелистал тетрадь и пожал плечами.

— Ах, вот что... Чем же тут любоваться? Дело известное.

— Известное, да не очень. Вы вот ни аза не помните.

— Зачем же мне, собственно, помнить?

— А зачем в нас столько лет вгоняли все это?

— Ерунда. Нашли, о чем беспокоиться...

Иван Иванович снисходительно посмотрел на жильца и прищурил глаза.

— Болеют же все корью,—ну и это, как корь. Кроме того, полезно для общего развития.

«Очень ты развит!»—подумал Павел Федорович, но вслух этого не сказал.

— Восемь лет—корь? Хорошо-с... Может быть, брата вашего позвать, может быть, он помнит?

Иван Иванович отрицательно помотал головой.

— Отнюдь. Рецепт напишет с родительным падежом, как полагается, ибо это по его специальности. А насчет остального,—как мы с вами: пас.

— Н-да...

— Да вы плюньте... Вот тоже, есть о чем! Комик... Приходите лучше чай пить,—сегодня баранки, а?—Иван Иванович насмешливо оглядел понурую недовольную фигуру жильца, эластично проплыл через комнату и мягко притворил за собой дверь.

От тетради, конечно, не трудно было отделаться. Дрова только что перегорели, по алым жарким углям перебежали сизые мотыльки: брось хоть лед и тот бы, казалось, вспыхнул. Но Павел Федорович медлил...

Год за годом надо было мужественно бороться со сладким утренним сном, который словно клейстером склеивал веки, глотать, обжигаясь, горячий чай, одним глазом пробегая выветрившихся за ночь из головы «сыновей Калиты» или «брак с Софьей Палеолог и его последствия», другим следя, с замиранием сердца, за минутной стрелкой. Сколько раз он бросал с тоской недоеденный бублик и мчался, как призовая лошадь к столбу, в гимназию, ежась от холода, ощущая за спиной гроыхающий ранец—и в нем то нерешенную задачу, то неоконченный перевод, то еще что-нибудь такое—мучительное, как фальшивый вексель, который не сегодня-завтра предъявят ко взысканию. И вот все, что осталось... Он свернул тетрадь в трубку.

А еще раньше, когда он был совсем маленьким?.. Когда длинное форменное пальто «на рост» заметало пыль и собиралось внизу в толстые подвертывающиеся кверху складки...

Сколько их по всей России мчалось таких же, как он,—маленьких, стриженных, круглоголовых, набитых деепричастиями, избитыми филистимлян, суффиксами, префиксами, четвертым склонением на us и еще черт знает чем... И главное, и главное не опоздать на «Преблагий Господи»!

«Преблагий Господи...» «Как же дальше?» Павел Федорович напряженно посмотрел в потолок, но ничего, кроме окончания молитвы, не вспомнил: «и продолжения учения сего». И сейчас же машинально всплыл вариант этой фразы, который почти все они тогда с огромным упорством и чувством полупшепотом повторяли про себя: «и прекращение учения сего». Веселый вариант!..

«Для общего развития». Черти! Прожили тысячелетия и хорошей школы не удосужились создать... Девяносто взрослых из ста складно письма написать не умеют, говорят и читают, как косноязычные попугаи... Колоса ржи от колоса пшеницы не отличат...

Павел Федорович очнулся. Все это было так понятно, «так старо»... и так, для него по крайней мере, непоправимо.

Угли в печке затянулись пеплом,—надо было спешить. Он присел на корточки, рванул «общую тетрадь» вдоль корешка, бросил две половинки в печь и дунул в растрепанные страницы. Вспыхнул веселый огонь, заметались перед глазами радикалы и греческие вокабулы, мелькнули «герои в древности»,—и широкое светлое пламя разлилось по всей тетради.

Павел Федорович встал, побил для уверенности завихрившийся черный комок кочергой, прикрыл дверцу, умыл руки и пошел пить чай.

## НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ



## ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

(ШУТКА В I БЕЗДЕЙСТВИИ)

Бездействующие лица:

Третейские судьи

1. Дундуков.

2. Гулькин.

3. Анна Петровна.

4. Иван Сидорович.

Тяжущиеся

I

Дундуков. Мода пошла на участки эти. Земли с дамскую сорочку. Домишко вроде подержанного рояльного ящика. Плюнешь с крыльца — ветром соседу на лысину отнесет. Хочешь на дуэль вызывай, хочешь — суд чести устраивай. От тесноты и грызутся.

Гулькин (*смотрит на часы*). Однако, суперарбитра нашего все нет. Полагаю, как он в ночном баре всю ночь на флейте свистит, — не успел еще отоспаться.

Дундуков. Чего же ждать зря? И без акушера рожают.

Гулькин. Неофициально, знаете, выйдет. Вроде супа без ложки.

Дундуков. К концу арбитр наш и подойдет. Ваня! Позовика сюда гг. дуэлянтов этих...

(*Входят Анна Петровна и Иван Сидорович.*)

Гулькин. Садитесь, силь-ву-плэ... Так вот, как полагается по кодексу взаимных обид в неопределенном наклонении, предлагаю вам положить руку на сердце...

Дундуков. Сердце-то слева, а вы руку направо прикладываете.

Гулькин (*перемещая руку*). Юридически разницы не усматриваю. Положи руку на сердце и прочее, предлагаю вам покончить дело миром. Чтоб, как говорится, никаких двусмысленностей между вами не было.

Анна Петровна (*зажимая уши*). Не слышу!

Иван Сидорович. Двусмысленности все равно будут. Уж если добрых знакомых потревожили, соседский срам по переулку размазали, будьте добры, пальмовую ветку спрячьте-с...

Гулькин. Пункт первый: не желают... Может быть, г. Дундуков, *ВЫ* желаете на них силу внушения испытать?

Анна Петровна (*закрывая уши*). Не слышу! Не слышу!

Дундуков. Ну и пес с ней, если не слышит!

Анна Петровна. Со мной?! Пес!

Дундуков. Раз вы не слышите, то я вроде про себя вслух подумал. Что вы со мной задираетесь? Со мной вы судиться пришли или с вашим соседом?..

Гулькин. Видите, как без суперарбитра дело поворачивается?..

Дундуков. Ничего не поворачивается. Объявляю заседание открытым. Прошу встать!

Гулькин. Что же это вы делаете? Зачем вставать?

Дундуков. Ну, пусть сидят... Как вы, Анна Петровна, дамской масти, то и выкладывайте первая обстоятельства вашей междоусобной брани. А вы, Иван Сидорович, пока смойтесь.

Анна Петровна. Протестую. Вы, г. Дундуков, человек юридический, бывший судебный пристав. Как же вы не соображаете, что обстоятельства всегда выгоднее излагать противной стороне в затылок.

Дундуков. Термина такого юридического не помню-с.

Анна Петровна. Не в военно-полевом суде сидим. И так сойдет. Он вам тут последний про меня наплетет-наахает,— все мои предварительные слова и завянут. И симпатии все на него перейдут. Нашли тоже симпатичного!

Гулькин. Просил бы, сударыня, вперед не забежать. Объективно говоря, на основании третейских традиций вы нам оба несимпатичны.

Дундуков (*поправляет*). Бессимпатичны.

Гулькин. Бессимпатичны. Но раз вы оба к нам обратились, оказали максимальное доверие и прочее, то позвольте нам и решить, кто из вас ангел, а кто...

Анна Петровна. Это он ангел? Действительно. Вылитый ангел. Да разве ангел перед дамой в купальном халате ходит расхристанный? Укроп из чужого огорода щиплет? Газету чужую у почтальона перехватывает? Прочтет, складочки заглядит и опять в бандероль. Будто бы и не читал. Плюшкин средиземный!

Иван Сидорович. Не могу выдержать! Ведь вот же бывают в других местах эпидемии, землетрясения разные...

Гулькин. Просил бы не забежать. Иван Сидорович, пожалуйста! А вы, Анна Петровна, посидите в коридоре на стульчике и остыньте. «Руководство по мыловарению» там на полке лежит — развлечетесь. Иван Сидорович, прошу вас.

Иван Сидорович. Что ж, я человек кроткий, я на все согласен.

Анна Петровна. Больно скоро, лебедь мой, согласился... А может, мне первой лучше начать? (*Подозрительно.*) Вы же тут, мужчины, конечно, будете мужскую руку тянуть... Почему ему первому начинать? С какой такой привилегии?

Дундуков. Да Господи! Вам же предлагали. Вы же, Анна Петровна, более или менее буйвола до обморока доведете. Или начинайте, или я пойду к жилету пуговицы пришивать. Ух!

Анна Петровна. Хорошо. Ну а как же я буду знать, что он тут про меня наплетет? Скажет, что я его козу выдаиваю... А я только раз из жалости. Она с тугим выменем зашла ко мне в палисадник. Что ж, думаю, молоко ей в голову бросится... Взяла да и выдоила в кошкино блюдец.

Гулькин. Так и он же тоже не будет знать, что вы про него предварительно наплетете. Перекрестный допрос будет, все и вскроется. Слава Богу, третий год в квартирном бюро служу — и не такие дела разматывали.

Дундуков. Эх, Анна Петровна, зря вы только все предварительные симпатии на противную сторону перетягиваете.

Иван Сидорович. Да знаете... Тарантул!

Анна Петровна (*испуганно*). Ухожу, ухожу... А тарантула вы в протокол занесите! Глист овечий! (*Уходит.*)

Дундуков. Н-да-с. Можно сказать, лесной ландыш... Вали-те, Иван Сидорович. Только более или менее поменьше врите. Папиросочку дайте. Из-за вашего дурацкого дела и папирос купить не успел.

Гулькин. Неудобно, знаете, у одной из сторон папиросочку брать... Дело окончим, тогда и возьмете.

Дундуков. Ну, батенька, стану я ждать. Вы человек некурящий — без темперамента, где же вам понять... (*Берет у Ивана Сидоровича папиросу.*) Вали-те.

Иван Сидорович. У меня застарелый мышечный ревматизм еще с военного времени. Человек я нервный, застенчивый. Позвольте мне в письменной форме. Я даже с покойным тестем, когда насчет приданого объяснялся, все больше в письменной форме.

Дундуков. Хоть в стихах, ангел мой. Вали-те.

Иван Сидорович (*читает*). Имя-отчество Иван Сидорович. Фамилия — Хрущ. Майские такие жуки в России были. Родился по старому стилю 3-го марта 1882 года. Места рождения по причине морского происхождения указать в точности не могу.

Дундуков. Что ж ты, рак, что ли?

Гулькин. Неудобно, знаете, с подсудимым на такой фамильярной ноге...

Иван Сидорович. Это они правильно. Вроде рака. Преждевременно родился на пароходе во время переезда матушки



моей из Херсона в Аккерман по случаю дурной погоды. Об-разования классического: за продажу букинисту из гимназиче-ской библиотеки древних классиков уволен из пятого класса без мундира и пенсии.

Гулькин. Биографию вашу нельзя ли сократить?

Иван Сидорович. О себе поговорить каждому приятно. Перехожу к предмету. 13-го августа сего года, сидя на своем участке близ Тулона, в местности, именуемой «La brebis galeuse», по-русски, извиняюсь, «Паршивая овца»,—я, по причине про-зрачности воздуха и ограниченности моего участка, совершенно явственно расслышал, как соседка моя по участку, Анна Петро-вна Малышева, выразилась про меня... (*Оглядываясь на дверь.*) Очень боюсь, что она подслушивает... Проверьте, пожалуйста, убедительно вас прошу!

Анна Петровна (*за дверью*). Нахал!

Дундуков. Ваня! (*Входит молодой человек.*) Запри-ка ее в моем кабинете, пока он тут кончит. (*Понижая голос.*) Только, будь другом, переписку мою спрячь, а то она имеет обыкновение иностранные марки с конвертов сдирать. Валите дальше.

(*Молодой человек уходит.*)

Иван Сидорович. Выразилась про меня: какой это осел на моем заборе свои письменные принадлежности развесил?

Гулькин. Почему «письменные принадлежности»?

Иван Сидорович. Это она, извините, мужское белье так называет. Я ей и говорю, не вставая с места: во-первых, это не осел развесил, а я; во-вторых, развесил под своей смоковницей, за которую деньги в рассрочку сполна плачены; и, в-третьих, если вы такого деликатного телосложения, можете заткнуть уши и не смотреть. А она на это выразилась,—я тотчас же на веранде в письменной форме все это и записал: «Какой же пес вашу сорочку на мой забор занес? Почему же ваши придаточные предложения перед моим крыльцом валяются? Что про меня прохожие провансальские мужики теперь подумают?»

Гулькин. Виноват, что она под придаточными предложени-ями подразумевала?

Иван Сидорович. Депанданс к белью, извините за выра-жение, носки. И в пояснение к означенным словам сказала, как бы про себя, но, по причине прозрачности южного воздуха и направ-ления ветра, совершенно как бы вслух: «Старый циник!» Тут я, разумеется, вскипел... И напел ей... Ах, циник? Старый циник?! А вы, сударыня, бесплодная смоковница!.. Кой, говорю, шут про вас подумает что-нибудь, хоть целый гусарский гардероб пере-брось вам на крыльцо? И, признаться, погорячился и пересолил... На ногах у вас, матушка, могу сказать, перья растут. Хоть бы купались в стороне... Да-с.

Дундуков (*с интересом*). Здорово! А скажите, Иван Сидо-рович, между нами,—в самом деле перья растут?

Гулькин. Позвольте. Вопрос не академический. Вы, как инстанция решающая, не должны таких вопросов задавать.

Дундуков. Я что ж. Я неофициально. По мне хоть репейник расти, не то что перья...

Иван Сидорович. Нет-с. Это я так, для красоты слога преувеличил. Чтоб ей печенку разбередить. А она на эти слова — хлоп — «Девятым Термидором» в меня ухнула. И так ловко нацелилась, что...

Гулькин. В переплете?

Иван Сидорович. Без переплета-с. Извиняюсь. Томик этот она у меня же и зачитала. А я у знакомого корректора. По беженским обстоятельствам, какие же переплеты? Вопрос, простите, не юридический. К тому же, ежели бы корешком в висок, то, может, вместо третейского суда была бы сплошная панихида. Да-с. Пенсне с меня сбילה, шрам до сих пор держится, вылинял только немного. Листочки веером по всему заливу — фыр! Ползаю я по буеракам, среди кактусов этих средиземных, коленки и прочие вещи ободрал, чуть не плачу. Листочки от меня по всем концам все дальше взлетают. А она меня с забора, на колодец взобравшись, так и поливает.

Дундуков. Кишкой?

Иван Сидорович. Словами то есть. Вот у меня полный прейскурант записан: курдюк бараний, вобла беспартийная, рохля, индюк херсонский, тухлая личность... цыплячий отец...

Гулькин. Почему — цыплячий?

Иван Сидорович. Видите ли... Это я, мопассановский один рассказ прочитавши, ввиду неограниченности свободного летнего времени и для научной пользы и дешевизны, инкубатор у себя под мышками устроил.

Дундуков (с интересом). Высидели?

Иван Сидорович. Выносил то есть. Голодают же люди для спорта по 30 дней. Или, скажем, по 40 сигар выкуривают... единовременно...

Дундуков. Фотографии даже с таких дураков при магнии снимают.

Иван Сидорович. Вот именно. Я тоже, значит, приспособился: карманы себе под мышками кисейные пристроил и выносил... И вдруг, знаете, вместо научной благодарности, — «цыплячий отец». Очень она меня этим прозвищем пронзила! Ну-с, я тоже, само собой, не сдержался... И ахнул в нее...

Гулькин. Мопассаном?

Иван Сидорович. Мопассана, простите, под рукой не оказалось. Шишкой сосновой ахнул. Шишки под Тулоном колоссальные попадают. Вроде пятидюймового снаряда. С таким расчетом, конечно, бросил, чтоб сантиметра три мимо носа ее угодить. Убивать ее преждевременно, да и ответственность во Франции большая. Она, само собой, в азарт. Принадлежности

мои с забора поскидала, ногами потоптала и мне их через забор в лицо. А сама после того, выбрав ровное место с вереском, где помягче, в обморок хлопнулась. Я же ее по человеколюбию противофилоксеровым раствором и отливал.

Гулькин. И помогло? Надо будет себе средство это на всякий случай записать.

Иван Сидорович. Да я не столько для помощи, сколько потому, что жидкости другой под рукой не было. В колодце, между прочим, по случаю засухи даже лягушки околели. Вот-с. Платице у нее, правда, от купоросного раствора голубыми пятнами пошло. Я не отпираюсь. Это я откупить могу-с... И насчет «Термидора», Бог с ним, книга зачитанная, я тоже не настаиваю. Но уж относительно «цыплячьего отца» прошу ей общественное порицание выразить. На весь залив было слышно. А у нас вокруг по участкам люди интеллигентные живут, русские беженцы. Профессора разные, даже евразиец один есть по горловым болезням; справа от нее бывший инспектор полевой артиллерии, напротив композитор тоже один — книгу по подводной ботанике пишет. И все смеются. Чуть цыплята за мной к морю сквозь можжевельник потянутся, только и слышишь: «А вон и цыплячий отец со своей командой!» Невыносимо. Спрячешься в можжевельник и сидишь там, как камень в печени...

Дундуков. Можжевельник, друг мой, вещь важная. Англичане его в джин кладут. Больше ничего не имеете показать?

Иван Сидорович. Ничего.

Дундуков. В таком случае дайте еще папиросочку. Цыплячий отец! А здорово она этикетку эту приклеила.

Иван Сидорович (*обиженно*). Вот видите — даже вы надсмехаетесь.

Дундуков. Ничего, друг, присохнет, как на собаке. Мы и ее взмылим. Ваня! (*Хлопает в ладоши.*) Запри, пожалуйста, в кабинет Ивана Сидоровича и приведи Анну Петровну сюда.

(*Иван Сидорович удаляется.*)

Анна Петровна (*входит*). Во-о-бра-жа-ю, какие он тут лунные сонаты вам распевал. А еще говорят, что женщины преувеличивают...

Гулькин. Вы лучше не воображайте, да расскажите толком всю суть. Лаконически и в пределах снисходительной любви к ближнему.

Анна Петровна (*вспыхивая*). Лаконически?! Он по моим часам четверть часа в меня осиновый кол вбивал, а я чтоб в пределах любви к ближнему! Может, на ручки его взять прикажете? Я ж вам не беззащитная тургеневская девушка, которая не сопротивляется...

Дундуков. Это толстовские не сопротивляются, а тургеневские — наоборот. А кроме того...

Анна Петровна. Мерси. Епархиальное училище первой кончила. Спасибо за урок! Разложил воробья на 12 блюд, думает — философ!

Гулькин. Анна Петровна! Или локализируйте ваше внимание на фактах, или я по невменяемости личности объявляю вам первое предостережение.

Дундуков. Чем в 66 сыграть, сиди тут и расхлебывай бульон ваш эмигрантский... В Библии ж еще сказано: лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть...

Анна Петровна. То кто же тут откормленный бык, спрашивается? Подите в переднюю, посмотрите в зеркало, а потом и намекайте из Библии...

Дундуков. Женщина! Да перестаньте же вы... Этак вы и со мной до третьей инстанции довертетесь... Не рекомендовал бы!.. Считаю до пяти. Если не начнете толком, уйдем всем составом в кинематограф «Роковую мозоль» смотреть. Раз — два — три — четыре...

Анна Петровна. Пять! 13-го августа в 3 часа пополудни лежу я, как тихий ангел, мирно и интеллигентно в гамаке над своей землей, рядом с участком этого самого пирата...

Гулькин. Выражайтесь, пожалуйста, объективно.

Анна Петровна. Я объективно и выражаюсь... Этого самого разбойника. Никого не трогаю. Сосны себе надо мной качаются, можжевельник шипит. Смотрю одним глазом сквозь гамачную дырочку, — я всегда, когда у меня невралгия, спиной кверху лежу, — и вижу, как этот самый бандит...

Гулькин. Я же просил вас объективно выражаться!

Анна Петровна. Могу еще объективнее... Этот самый детоубийца посмотрел в мою сторону и сплюнул. Опять, говорит, сколопендра эта в гамаке пейзаж портит! Ветер в мою сторону, каждое слово, как по беспроволочному телеграфу, доносит... Разумеется, я на такую рецензию, хотя и сказанную в третьем лице на своем участке, в долгу не осталась. Если б, говорю, это было в России в довоенное время, — я б об такого соседа всю швабру изломала!.. «У того, говорю, лопнет глаз, кто не любит нас». У меня, говорю, сколько в Крыму десятин было, столько чтоб тебе фурункулов на затылок!

Гулькин. Почему же именно вы швабру бы об него изломали?

Анна Петровна. Арфу я для него держать стану, что ли? Тоже скажете... А он на ветру стал, халат купальный зубами придерживает, стыд все-таки не весь потерял и прямо мне в профиль: «От швабры, говорит, слышу!» Это я — швабра! Да я у нас в Керчи епархиальное училище с золотой медалью кончила, вице-губернатор в меня влюблен был, только по случаю разрыва сердечной сумки не успел предложение сделать. На всем Крымском полуострове карьера была обеспечена.

Дундуков. Гм...

Анна Петровна. Можете не «гмыкать»! За живую картину «Смерть Клеопатры» на маскараде в Югославии в премию земгорское теплое одеяло получила. Гад он цыплячий!

Гулькин. Ради Бога же, я просил вас неофициально не выражаться.

Анна Петровна. Как умею, сударь. Военной академии не кончила... Гад, говорю, ты цыплячий! Ну, тут он в меня, в одинокую беззащитную женщину «Термидором» и бросил...

Дундуков. Он?! В вас?!

Анна Петровна. Не в вас, конечно. Что же вы хотели, чтобы он роялем в меня бросил?

Гулькин. Без переплета?

Анна Петровна. Без, батюшка. Уже в женщину, так непременно в переплете. Могу сказать объективно. Бросил... Я, само собой, в обморок.

Дундуков. Купоросом он вас все-таки вспрыскивал?

Анна Петровна. Спасибо, что вспомнили. Для насмешки и вспрыскивал. Меня теперь в третьем лице «филоксерой» иначе и не зовут. У меня все тело потом голубыми тюльпанами расцвело, как мебельный кретон, прости Господи. Целый месяц купаться не могла... Лежу, значит, я в обмороке, матине на себе от злости вдребезги так и рву, так и деру. А матине гладью вышито, за крепдешин по тридцать шесть франков метр по случаю у знакомой гадалки плочено. Даром ему это обойдется? А?

Дундуков. Позвольте все-таки. Нам не матине ваше важно, а истина. Ведь это вы же в него «Термидором» бросили... Ведь по заливу листочки он собирал? И вещественное доказательство под глазом у него сидит, а не у вас.

Анна Петровна. Ага! Сговорились. Круговая порука... Браслет с часиками обещал? На правую ручку?

Дундуков. Вы бы, знаете, барыня, того-с, легче на поворотах. Ведь ляпнет же такое, что мужчину бы за этакое слово пишущей машинкой по голове хлопнул.

Гулькин. Объективно, господа, объективно. Вы, как решающая сторона, до окончания дела хлопать ее не можете... Позвольте, Анна Петровна. Не волнуйтесь и хладнокровно припомните: когда Ивана Сидоровича письменные принадлежности на вашем крыльце очутились и он насчет ваших, извините, перьев прошелся,— разве вы в него тогда томиком не ахнули?

Анна Петровна. Галлюцинация какая! Это — вовсе мой купальный костюм и лифчики на его веранду перелетели. Ветер прямо меня из гамака выворачивал...

Дундуков. Вывернешь ее, как же!

Анна Петровна. Заткнулись бы, г. Дундуков! Пробочка на столе лежит. Да-с. А он и взвился, как уж на сковороде: диффамация! Что теперь, мол, провансальские бабы про него скажут?.. Она, говорит, думает, что если участки рядом, так я на ней жениться для округления земли обязан. Я даже позеленела, как кипарис какой-нибудь! Нужен ты мне, как курице бинокль... Осьминог тулонский. Ходит по чужим дачам да навоз для своего салата в ридикюль собирает.

Дундуков. Ух! Крышка у меня на черепе подымается...

Анна Петровна. А вы придержите.

Дундуков (*сердито*). Да кто ж в кого бросал? Чьи к кому принадлежности перелетали? Кто швабра? Кто цыплячий отец? Кто матине драл? Кто платить должен? Откуда куда ветер дул?!

Гулькин. Постойте. Судья вы или не судья? Ведь это мы же должны все точки над *i* поставить, а не она. Кончим дело, тогда и кипятитесь.

Анна Петровна. Воротничок-то, ангел, отстегните. Ишь, красный стал, как лангуст вареный. Кончила я. Пусть письменно с распубликованием на площади в присутствии мэра, почтмейстера, нотариуса, архивариуса и всех беженцев извинится, да забор свой до трех метров сплошь досками забьет, чтоб я и лица его арестантского больше с гамака не видела. Это я ему пейзаж порчу?! Соловьи, можно сказать, на меня в гамаке садятся, все равно как на цветущий куст, а он... И олеандр мой, который его цыплята перепачкали, пусть отмоет! А дорогу я ему к морю мимо моего дома закрываю. Пусть туннель роет!

Дундуков. Будет! Ведь вот подбивали же меня участок по другую от нее сторону купить... Дно бы она из меня вышибла. Ваня! Отомкни там Ивана Сидоровича. Сейчас мы им резолюцию объявим. Будьте благонадежны!

Гулькин. Пошептаться бы предварительно следовало. Я, знаете, еще никакого соломонова решения по данному казусу себе не рисую.

Дундуков. Ну! Соломона еще тревожить ему надо. (*Входит Иван Сидорович.*) Садитесь, Иван Сидорович! Пospали? Нет, говорите? Ведь вот жалость какая с вашими принадлежностями. Как у Овидия говорится: не имела баба хлопот, тай купила порося.

Гулькин. Где же это у Овидия говорится? А еще и классик. Это у нас на Подоле говорится... Гм... Прямо не знаю, как мы с ними тут и развяжемся. Перекрестный допрос затеем, так она ему голову отгрызет...

Иван Сидорович (*уныло*). Заставьте ее, покорнейше вас прошу, в другой залив переехать. Я на все согласен.

Анна Петровна. В другой залив-ив?! Фу-ты, какой генерал-губернатор временного правительства! А как лягушки прыгают, видал?! А? Заливами-проливами распорядиться вздумал. Я им еще про козу вашу не рассказала. Срам!

Деревцо у меня там фиговое на нашей границе выросло. По игре природы — ствол на моей земле, а плоды над его участком. Как по-французски — не знаю, а по-русски — чей ствол, того и плоды. Что ж он придумал?!

Козу свою к стволу сквозь забор привязывает, будто для порядка. А сам на нее из-за угла палкой невидимо замахнется... Коза на дыбки, веревка натянется, фиги так и попадают. А он

и подбирает. Да еще смеется, гусь конопатый: «Это, говорит, я опадки на своей земле собираю». Хорошо?

Иван Сидорович. Вы бы заодно рассказали, как вы моих пчел с ваших цветов метлой гоняете...

Анна Петровна. И расскажу... Если на то пошло, зубы я все вашим пчелам повыдеру. Кухмистерская у меня для них, что ли?.. Обманщик! Голый участок мне подсунул. Сам горой прикрылся, а меня всю под мистраль подсунул. Одуванчик я тебе?!

Иван Сидорович. Зато у вас вид на жительство лучше. Вы же хотите, чтоб и не дуло и чтоб из окна Корсику в трубу видеть. Жирно будет!

Анна Петровна. Шулер малоземельный!.. На плане, как показывал, так и не дуло, а на деле прямо внутренности выворачивает.

Дундуков. Бросьте, женщина. Не то я сердиться по-настоящему начну, плохо будет... Погодите. Как будто в голове у меня форточка раскрылась. Ну да-с! Полномочия даете, так я решение свое с налета, вот так, от широкого сердца вынесу — и баста... Даете? Считаю до пяти. Раз...

Анна Петровна. Чего ж там... Я уже остыла. Даю.

Иван Сидорович. Решайте. Все равно я с ней помириться как-нибудь должен, иначе она у меня, как аппендицит, поперек горла станет.

Гулькин. Прошу без личностей. С своей стороны, объективно рассуждая, дело вроде квартиры в нестроющемся доме, которая сдана двум жильцам сразу... Валите. Пусть я вроде как бы помер. Вход есть, а выхода не вижу.

Дундуков. Бон. По зрелом рассуждении, находясь в здравом уме и твердой памяти, в настоящем деле прямых членовредителей не обнаруживаю. Ни Анна Петровна ни при чем, ни Иван Сидорович. А между тем главный и, можно сказать, единственный членовредитель хотя и предмет одушевленный, но по причине своих свойств неуловим и потому общественному порицанию ни в письменной, ни в устной форме не подлежит. В одну дверь влетит, в другую вылетит.

Гулькин. На кого же вы, однако, намекаете? У нас здесь все-таки не сеанс спиритический, а третейский суд.

Дундуков. Если вы вроде как померли, то и не вмешивайтесь. Все сейчас, как на аптекарских весах, выравнивается. В междоусобный день этот, Анна Петровна, нервы ваши были в порядке?

Анна Петровна. Землю под собой рыла. Матине вокруг меня обвивается, словно я факел погребальный... В ушах скрежет, в очаге черти в чехарду играют. Распласталась я в гамаке, сосны надо мной в волосы друг другу вцепились, рычаг, снизу вереск корежится, внутренности выматывает. По всему дому вурдалаки воют, печень раздуло, на зубах морской пёсок...

Дундуков. Тэк-с. И все это еще при вашем собственноручном деликатном характере. Воображаю... А вы, Иван Сидорович, что скажете?

Иван Сидорович. То же самое. Может, если бы не этот случай меня отвлек, я бы на своей смоковнице в тот же день бы и удавился. Ведь третий день терпел, в голове даже посвистывать стало.

Дундуков. Тэк-с. Стало быть: лицом, ответственным в перелетании с участка на участок письменных принадлежностей с вовлечением провансальских мужиков обоего пола в подозрительные мысли, кто является? Лицом, ответственным за вылетающие из соседских уст слова вплоть до швабры и цыплячьего отца, а также за поступки вплоть до метания друг в друга «Девятым Термидором» и прочими современными романами, кто, спрашиваю я вас, является? А?

Анна Петровна. Ей-богу же, Соломон вы не Соломон, а я и не подозревала, что вы до такой степени человек неглупый.

Дундуков (*повышая голос*). Ответственным лицом кто, спрашиваю я вас, является?..

Все. Мистраль! Мистраль!

Дундуков. Фу... (*Обтирает лицо платком.*) Именно. Значит, русским людям, да еще добрым соседям, поругавшимся на чужбине при таких обстоятельствах, с добавлением в голову летающих предметов без переплета,—судиться между собой по такому поводу столь же зазорно и глупо, как, скажем (*подчеркивает*), судиться лунатикам, вцепившимся в полнолуние друг другу на крыше в волосы. Поэтому, голуби мои, подайте друг другу правую руку, а вы, Иван Сидорович, пользуясь сим случаем, приложите, ведь она ж все-таки более или менее дама—и идите все на балкон чай пить. Я сегодня, кстати, из Риги балык получил.

Гулькин. Балык, конечно, хорошо. Но тем не менее, объективно говоря, решение вышло неофициальное. Дрались, ругались, бросались—и на тебе: чай с балыком!

Дундуков. Что ж вы хотите, чтоб я их на поселение на остров Св. Елены сослал? Так, во-первых, юридически не имею права. А во-вторых, вы думаете, там мистраля нет? Он, подлец, везде дует!

Ваня!.. Пойди, займи у Брусковых полдюжины бумажных салфеток. Скажи, мол, у Дундукова третейский файф-о-клок с балыком, и вас, мол, звали.

Гулькин. Ох, Господи! Как же это мы про Прохорова забыли, про суперарбитра нашего? Решение-то все-таки он бы оформить должен...

Анна Петровна. Вспомнил! В кабинете спит ваш сукин-арбитр. Налоговым листом прикрылся и храпит, как утопленник.



Иван Сидорович. Бог с ним, с арбитром... Анна Петровна! Золото мое бирюзовое! Мириться так мириться: участки наши ровные, домики как сиамские близнецы похожи. Сквозь вас дует, сквозь меня—нет... Так чтобы совесть меня не мучила, будто у вас через меня сквозняк в голове и прочее, давайте обменяемся участками... В два счета!

Дундуков. Ай да Ванечка! Вот это я понимаю.

Анна Петровна. Что-о?! Ме-няться? Да от меня и к колодцу ближе... Да чтоб две мои мимозы к вам перешли?! С крыши у меня—весь залив на подносе, всех дачников вижу: кто кофе пьет, кто ребенка наказывает... Бисмарк какой нашелся! Да и не дует у меня совсем. Важность большая! В жару даже лучше, когда дует. Меньше потеешь, и комаров оттягивает...

Дундуков. Господи, это ж не женщина, а прямо фонтан нефтяной! Чай пить! Прошу встать! Объявляю заседание закрытым.

1927

## МОСКОВСКИЙ СЛУЧАЙ

(РАССКАЗ ОБЫВАТЕЛЯ)

Перед самой войной судьба меня с корнями пересадила из волынского чернозема в санкт-петербургский торф. Еще по старому романсу известно—«судьба играет человеком»,—ничего не попишешь.

Долго не мог привыкнуть. Очень все парадно: дворцы, проспекты, римские тройки на крышах. Нева в гранитном корсете... Слов нет, красота, но сердце зазябло и съежилось. Природа к тому же на любителя—зимой черные дни, летом белые ночи, осень и весна на один салтык, светлой улыбки на небе не увидишь... Не одобряю.

На эмигрантском расстоянии пейзажец, правда, заголубел, солнцем воспоминания насквозь омыт, однако в те давние времена очень я себя неуютно чувствовал в столице. Все о своем Житомире вздыхал: тополя, бульвары, Тетерев в скалах, маевки за рекой в «Зеленой роще»... Провинциал? Что ж!.. Каждому своя смоковница симпатична.

Служил я в Петербурге на Загородном. В Службе сборов Варшавской дороги по отделу местной таксировки. Переборы и недоборы. С утра сидишь, сжав коленки, над грязными накладными, указательным перстом по графам водишь, заблудшие копейки разыскиваешь. А со мной в комнате двадцать три девицы, один я мужчина, не считая тухлого немца Циммермана. Можете себе представить, до чего я женоненавистником стал!

Немец серьезный был—сам курил и газету читал, а мне запрещал. И болтовни этой сорочьей при нем не было. Счеты

кряхтят, перышки шелестят; голову подымеешь, на желтый пар в окне уставившись и весь скорчишься, как райская птица в банке из-под маринованной корюшки.

А чуть Циммерман за дверь,— круглая язва желудка у него была, часто он за дверь бегал,— двадцать три девицы в двадцать три языка начнут шелкать (меня они не стеснялись, словно я евнухом при их счетоводном гареме состоял), как начнут прищелкивать... Господи! И из себя к тому же, как вам сказать, сплошное сухожилие. Цвет лица, как у лежалого бисквита, уши насквозь светятся. Другая и поосновательнее, да все какая-то простоквашная полнота: пером ткнешь, сыворотка прольется.

И на улице,— сколько их мимо в тумане промаячит навстречу. Улица что ли была такая незадачливая, однако, хоть и столица,— далеко им, петербургским килькам, до житомирских лебедей.

\* \* \*

Весной от приятеля письмо из Москвы пришло, от Васеньки Болдырева,— в одном полку, в одной роте вольнооперами были...

Пишет коротко и ясно: «Живу, друг Федор, по-царски. Служу у архитектора Чепцова по чертежной части, сто двадцать пять целковых охватываю. Приезжай, черт, погостить. Стыдно даже — русский человек Москвы не видал. Мать и сестра просят. Заочно тебя в ангелы произвел, смотри — не подведи»...

Это точно — не пью я, не курю, в карты дальше подкидных дураков не развертывался и к женщинам, как выше указано, хладнокровен... Чем не ангел?

Словом, взмыло меня, жаворонком сорвался с причала. Счеты локтем отодвинул, пошел в Личный Состав, доложил: так и так, по домашним обстоятельствам прошу на две недели отпуск, без сохранения содержания, с выпиской мне в Москву и обратно присвоенного мне по должности билета 2-го класса. К концу занятий все было готово. Не успел мне Циммерман палку в колеса вставить, рот раскрыл, а я общий поклон и к двери.

Вечером к Николаевскому вокзалу подъехал,— мгла, мокрый снежок, навозная каша, под штиблет снизу ветер пробирается... Разыскал свой вагон, залег на верхнюю полку падишахом...

Утром проснулся: пейзаж! В стеклах небесный василек, белая тучка над телеграфными проводами висит, вокруг веселая пестрядь, грузные рекламы на столбах, вокзалы шатрами, вдали горит позолота... лязг телег, ширина, солнце. Скатился я мячиком, визави своего на верхней полке бужу: «Вставайте, что ли, к Москве подъезжаем!»

А он лохматую грузинскую голову свесил, осовелыми глазами по вагону повел и под технологической тужуркой перстами скребет:

— Большинство спит!

Должно быть, социал-демократ был. Я портплед кое-как сваял, продрался сквозь вокзальную гущу, на площадь вышел.

— Господи, Твоя воля... Да ведь это я домой приехал!

\* \* \*

Вахлак-извозчик меня по дороге насмешил. Я во все глаза смотрю, словно давнюю детскую книжку с картинками нашел, вспоминаю страницу за страницей, а он с разговорами пристаёт. К кому еду? Да кто такой?

— Англичанин я,— говорю.— По-русски не понимаю.

Старик обиделся, шею в ворот втянул, как черепаха, и замолчал. Потом повернулся, из-под своего бурого цилиндра с пряжкой на меня покосился и пробурчал:

— Чего зря врать-то... Англичанин... У англичанина, брат, лицо вумственное.

Подымались в гору, спускались. Никогда б я в этих, одна в другую впадающих, кривоколенных улочках не разобрался... Лабиринт! А дома! То дом, как дом, а рядом комод, на комод терем с пузатыми бутылками, на тереме гауптвахта. Точно царь Ирод в пьяном виде заказывал... И влипшие среди толстых солидных стен пестрые домовые церковки, и зацветающая черемуха над уездными палисадниками, и разношерстный люд, неторопливый, румяный, ни кокард, ни петличек, а по обличью сразу узнаешь, кто какого сорта, кто чем занимается...

Это тебе не Загородный проспект... А солнце! А ветерок!

Сивцев Вражек... Я по названью думал,—закоулок какой-нибудь, избушки на курьих ножках, а улица—хоть к Невскому пристегни. Болдырев мой жил пресолидно. Дом пятиэтажным слонем, подъезд—хоть баню в нем устраивай. Швейцар вроде генерала Скобелева, с приездом меня поздравил и отправил с портпледом в подъемной шкатулке на пятый этаж, под небеса.

Подъезжаю—дверь настезь. Васька мой—усы, как у брандмайора, отросли,—к чесучовой рубашке меня притиснул, облобызал. За ним в дверях сестра его... Олимпиада Иннокентьевна. Познакомился...

Повели в столовую к мамаше их, сидит за самоваром вся в лиловом, в черной наколочке, щечки добрые, носик добрый, глаза добрые. Короче сказать, как я, в Москву въехавши, сразу ощутил, что домой вернулся, хоть никогда и во сне я Москвы не видал, так и мамаша эта сразу мне родной стала.

А об Олимпиаде Иннокентьевне речь особая. Надо паузу сделать...

\* \* \*

Не люблю я женщин, действительно... В Житомире много случаев было: и хохлушки, и польки, и чистокровные русские. По всем бульварам, по всей реке «шу-шу, шу-шу», сегодня с бата-

льонным адъютантом, завтра с семинаристом, послезавтра с ветеринарным студентом, благо у него воротник литого серебра под драгуна. Уж такого непостоянства женского, как у нас в Житомире, и в Венеции не найдешь (предполагаю, ибо в самой Венеции не довелось быть).

Петербургские, по совокупности климатических условий, может быть, и постояннее. Но игры никакой, одна практичность. На Службе сборов ошибку в накладной поможешь соседке найти, сейчас же она к тебе, как раковина к кораблю, приклеится, внизу в буфете в кандидаты тебя произведут и на законный союз во всех этажах намекают.

Были, правда, у меня кой-какие и private питерские знакомства. Четыре сестры со вдовствующей мамашей интендантского происхождения, у Пяти Углов небо коптели. Одна грусть. Мамаша спать уйдет и мне безбоязненно дочек подкинёт,— знает, что умный человек зря в капкан головой не полезет. Старшая треска-треской, Пшибышевским все козыряла,— по-моему, он и не гений, а просто Заратустра из почтово-телеграфных нищанцев...

Вторая пухла и малокровна, вроде диванной подушки: торчит в углу и ждет, кто на нее облокотится. Третья, упаси Бог... В итальянского шофера в Генуе влюбилась, какую-то с ним идейную беспроволочную любовь крутила, а в дневниках такое про него писала, что я и читать отказался. Меньшая... Даром что подлеток, всех знакомых мужчин по рубрикам разнесла, по пятибалльной системе отметки им вывела и качества все прописала. Про меня выражалась двойственно: «Кисляй Кисляевич, глаза и рост ничего, зачислен в резерв, во вторую линию. Тройка с минусом»... Сама-то... Килька в обмороке, укус пятнадцатилетний, туда же.

Как перейти теперь к Олимпиаде Иннокентьевне? Господи, благослови! Простота-то какая, лучезарность, плавность лебединая, сероглазое мое золото,— вишь, чуть стихами не заговорил. Про дурное-то слов много найдешь, а поди-ка, опиши хрусталь...

Еще в передней я понял, чуть только она на меня глазами повела: вот она, моя Москва, в женском образе и подобию, румяная моя судьба, с которой и бороться не стоит. И пробовать не стал: внутренне руки вверх поднял, хотя наружно и держал себя на строгой уздечке, помятуя, что какой я ей, увалень, партнер?..

Влип сразу. Предрасположение у меня, так сказать, литературное давно было... Ольгу Татьяне всегда предпочитал и Онегина по этой причине большим ротозем считал. По местожительству пусть Татьяна хоть в С.-Петербурге, хоть где угодно холодное свое гнездо вьет, а уж Ольга в Москве, как жемчуг в футляре, как раз на своем месте. Взглянул на московский золотисто-голубой пейзаж, на уют их ленивый и теплый, на походку ее и на брови и сразу это понял...

И вот с первого часа, как приехал, все свое расписание переменял: Румянцевский музей, подъем на Ивана Великого, Кремль да окрестности, «Синюю птицу» у художественников —

все отложил. Куда моя Ольга-Олимпиада, туда и я, как зонтик на кисти подвешенный. И изучал Москву применительно к тому, куда звонкие каблучки поворачивали.

\* \* \*

А поворачивали они... Разве знает голубь в небе, куда ему запримечется плыть через минуту? Вернется с уроков, узкой перчаткой меня по руке хлопнет (перчатки, ей-богу, словно плечико грудного младенца благоухали) и угонит за собой на буксире... И только на втором-третьем перекрестке с хохотом начнем разбираться: куда нас, собственно, вольные ноги несут...

То душегрейку себе дымно-малинового бархата с хорьковой оторочкой отправится по верхним пассажам выбирать, а я решать должен: к лицу ли цвет, хороша ли парча на подкладке... Примерит, — Василиса Мелентьевна, — на душегрейку и не глядишь, что ни наденет, все собой украсит... То отправимся на Трубу карликовых попугаев-неразлучников в подарок племяннице покупать, и опять я консультантом по попугайской красоте. Не знал я до того, что взрослый таксировщик местного сообщения подчас счастливей пригостишки может быть... То в Третьяковку забежим, — за реку сквозь уездное Замоскворечье нырнем, — и начерно обойдем плечо к плечу любимые картины, дальше да дальше — словно знаем, что не раз еще к ним вернемся. А оттуда в случайную пивнушку: Олимпиада Иннокентьевна на шустовский плакат удивленно уставится, пьет свою «Фиалку», лимонад был такой (настой жженого сахара с пачулями), а я трехгорное пиво потягиваю, ракам задумчиво клешни обламываю, с голубого окна глаз не спускаю и думаю: «Господи! Ужели до отъезда всего лишь три дня осталось?!»

Мамаша ничего, не вмешивалась. Даже по-своему положение мне мое при дочери объяснила. «Липа у меня такая, и песок к ней, какой ни попадись, льнет, и кошки ее на всей лестнице обожают, а уж про людей не говорю. Кто к нам ни завернет, уж непременно к ней флигель-адъютантом приклеится. Воробьи даже, поверишь ли, по утрам к ней с балкона в комнату залетают. Хоть и моя дочь, а уж скажу по совести: клад-девушка».

А Липа из другой комнаты смеется, чашками звенит:

— Слыхали? Клад-девушка! Вот только открыть некому...

Так у меня язык к небу и прилип... Молчи, Федор, молчи. Нужен ты ей, как муха в чае. На кого, микроб, глаза подымаешь?..

\* \* \*

В предпоследний вечер, мрачный, как «Остров смерти», шагал я по болдыревской гостиной. Олимпиада Иннокентьевна в столовой чай разливала. Дядя ее пришел, брат мамаша, масто-

донт в купеческом сюртуке, наголове седой бобрин, бородка веером, глаза строгие гвозди,—солиднейшая орясина. Сидел, потел, чай с блюдечка всасывал и молчал. Перстнями поиграет, вздохнет и опять к своему блюду припадет.

Человек навек уезжает, а он тут, как насос, хлюпает... Шагал я по гостинной и со злости обстановку критиковал. Само собой, я не профессор домашней эстетики и до этого вечера даже и не покосился, что у них там по углам наворочено, однако в злости человек легко в критиканство впадает.

Кресла, например... от прежнего купеческого великолепия остались... жабы красного дерева, ни тебе пропорции, ни тебе удобства,—сиденье, как у выездного барского кучера, когда на нем 18 армяков для стиля намотано... Спинка у дивана покатым катком, голову прислонишь, как к могильной плите... Портьеры—шаману сибирскому шубу из такой бы портьеры сшить. Доволен бы остался! А на золоченом пупыристом столике уж совсем африканско-московская штучка... Мамашин вкус. Наполеон гипсовый над кремлевской стеной ручки сложил, штепсель ежели в него сзади вставить, глаза красным пламенем, как у вурдалака, нальются, над кремлевской стеной за матовым стеклом пожарчик розовый вспыхивает. И под сие сооружение мамаша еще граммофон обычно заводит: «Шумел-гудел пожар московский, дым расстилался над землей»... Тьфу!

Ведь вот сидит леший. Дядя, подумаешь. Нужен он здесь, как верблюду арфа. Точно у него после моего отъезда времени не будет чай свои прихлебывать...

Васька Болдырев в пустую гостиную на шаги мои вошел и смеется.

— Ты что, метроном, шагаешь?

— Скучно. Да и дядя твой, извини, подавляет. Экая гора добродетели, замоскворецкий бонза. Пошути-ка при таком...

Васька задернул портьеру и, усмехнувшись, понизил голос:

— Это ты про Савелия Игнатьевича-то? Да ты знаешь ли, что бонза этот раза по три в год новую одалиску себе заводит. Уж дома у него так и знают: не стесняется дядя,—чуть кабинет его сверху тащат и на ломового укладывают, значит, он к новому сюжету перебирается. Без своего кабинета он, чудак, не может, а на что ему там письменный стол, сам Мартын Задека не разгадает. Месяц-другой пройдет, с одалиской своей разругается,—глядишь—кабинет опять во двор въехал, а сам дяденька на коленках покаянно от самых ворот по лестнице вверх ползет. Доползет до тетенькиной спальни и до тех пор не встанет, пока прощенье себе не вымолит. Думаешь, вру? Всей Москве известно... Вот тебе и гора добродетели. Идем в столовую? А он, между прочим, старик добрый и очень тебе пригодиться может.

Последний день неотлучно при Олимпиаде состоял. И в аптеку с ней, и гарус подбирали, и по Тверскому носились — розовый рахат-лукум искали. Час за часом уплывал, живым меня в землю закапывал.

Вечером поднялся домой; подъемная машина, ей-богу, эшафотом показалась... в последний раз подымаюсь. Щелкнул тихонько американский ключ, вошли, слышим в зеленой гостиной потаенные детские голоса, смешок, писк комариный.

Олимпиада Иннокентьевна палец к губам, на меня обернулась, скользнули мы за портьеру, смотрим, что за спектакль такой?

Племянник болдыревский, кадетик, что раз в неделю в отпуск из корпуса приходил, собрал у балконной двери своих знакомцев: швейцарский Мишка, реалистик Лавр с верхней площадки и еще какие-то микроскопические личности жадно усталились сквозь балконную дверь на ярко освещенное во дворе окно против нашего этажа. Оторваться не могут, хихикают. На что бы, вы думали, усталились? Школа во дворе была пластики и художественных танцев, по Далькрозу... Портьеры, черти, не догадались на окна повесить. Собралось десятка два дебелих московских гагар, в кисейных сквозных воскрылиях распластываются над паркетом, руки лебедями, ноги — розовыми балыками, шеи словно пристяжные. Детвора в восторге...

— Ты б, Лаврик, на которой женился?

— На второй справа. Мускулы у нее какие замечательные!

— Мускулы у меня у самого есть... Важность какая. А я бы на розовой женился. У нее, брат, на Тверском бульваре своя кондитерская... Я б целый день из тортов не вылезал...

Олимпиада за портьерой губы кусает, за руку меня щиплет, чтоб я голоса не подал... Темно, душно, от милых волос лесным ландышем и московским ветром тянет, теплая рука меня за рукав тербит. Света я не взвидел, в темноте да с горя и божья коровка осмелеет. Прильнул я губами к пушистой жаркой щеке... Как на это решился, и до сих пор не пойму! И вот подумайте, вместо того, чтобы меня за мою дерзость в балконную дверь выставить, либо локотком в глаза, как полагается в таких случаях, двинуть, — Липа моя, подумайте, повернулась ко мне всем лицом и...

Не приходилось мне ни у одного поэта читать, чтобы за портьерой целовались, однако лучше места и на свете нет.

Понеслись мы в столовую, хохочем, совсем ошалели... Мамашу разбудили, на гарусной подушке у окна, как потухающий самовар, похрапывала.

— Что ж, вещи сложил? — спрашивает.

— Сложил! — отвечает за меня Липа. К матери подбежала, на коленки перед ней стала. — А я их, мамочка, опять разложила...

Старушка так шарады этой и не поняла в тот вечер. А потом Васенька подошел, еще из передней кричит:

— Федор! Дяде ты очень понравился. Звезд, говорит, с неба не хватает, но своя, говорит, лампа у него в голове есть... Просил передать, что в Правлении Московско-Курской дороги у него большие связи; если хочешь, в два счета тебя в Москву переведут.

И опять Липа за меня отвечает:

— Зачем же ему в Москву? В Петербурге на Службе сборов с ним в одной комнате двадцать три барышни сидят. Авось он там, женоненавистник, судьбу свою найдет...

Ведь вот какая злоязычица!

Ну, сами понимаете, что в Москву я в скором времени перевелся, т. е., собственно говоря, в Петербург я только за вещами на два дня слетал.

\* \* \*

Вот и весь мой «случай». Сколько я ни живу, сколько чего ни видал, сколько романов ни читал,—а я свой московский роман самым выдающимся считаю, ей-богу. В два счета свежий ветер всю жизнь мою перевернул, и не раз мне с тех пор кажется, что я точно не на женщине, не на Липе, а на самой Москве женат. А ведь не решился я тогда за портьерой...

В Марселе который год теперь бьемся, прачечную французскую держали, в гавани я верблюдом по разгрузке нанимался—все ничего. Моя маленькая Москва при мне, а в большую Москву... есть такие заповедные слова, и думаешь-то о них с трепетом... в большую Москву дай, Господи, хоть под старость вернуться. Сынишка у нас растет; не в Житомир, не в С.-Петербург—в Москву его с собой повезем, пусть наш старый неоплатный долг выплачивает...

1926  
Париж

## САМОЕ СТРАШНОЕ

Конечно, «страшное» разное бывает. Акула за тобой в море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться... Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно!..

Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня, вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались, ни акул, ни крыс не было... Однако до сих пор,—а уж не такой я и трус,—чуть вспомню,—по спине ртутная змейка побежит. Ужаснешься... и улыбнешься. Рассказать?



Был я тогда «приготовишкой», маленьким стриженным человеком. До сих пор карточка в столе цела: глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится... Учился в белоцерковской гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит:

«Луна спокойно с высоты  
Над Белой Церковью сияет...»

Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек — сад. А между ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали.

Помню перед самыми рождественскими каникулами холод был детский: градусов всего пять-шесть. Выпустили нас, гимназистов, и верзил и маленьких на большой перемене во двор проветриться. В пальто, конечно, чтобы инфлюэнцы не схватить (тогда грипп инфлюэнцей называли).

Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается: ни за что с маленькими собаками играть не хотят, все за большими гоняются... Так и я. Крепость ли снежную шестой-седьмой класс в лоб берет, либо в лапту играют, — я все с ними. Визжать помогаю, мяч подаю, дела не мало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали «Колобок», потому что голова у меня была круглая, а шинель очень толстая, стеганая, вроде подушечки для втыкания булавок.

Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь, — литой черный мяч, руки обожжет. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чертом, галоши на ходу взлетают, — и подаешь кому надо. Опять на свое место станешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая: перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься.

И вот на мою беду, ребром по мячу попало, полетел он низко над головами кривой галкой прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора Созонта Яковлевича (надзиратель у нас такой был, вроде складной лестницы). Что делать?

На свое горе я сторяча и вызвался. Приготовишки очень ведь к героическим поступкам склонны, во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходят... А взрослые балбесы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар стационарный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками и головой в стену уперся, другой на него — вроде римской осадной колонны.

Подхватили меня, под некоторое место хлопнули — ух! — взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис... Снег мягкий, шинель толстая — ничего! И полетел вниз в полной безопасности легким перышком на ватной подкладке.

Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. По полам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю — некогда.

И вдруг из-за всех кустов, словно стадо поросят кипятком ошпарили, визг невообразимый... Справа девочки, слева девочки, сзади девочки... Тысячи девочек, миллионы девочек... Маленькие, средние, большие, самые большие.

А впереди краснощекая, толстая, ватрушка воинственная в капоре, надсаживается — кричит:

— Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!

Съежился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно... Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осинового гнезда выдерусь?! Снег на моем затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьется.

А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голубые глаза — острые, ехидные по всей моей восьмилетней душе ползают... Колют, жалят, в один пестрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один!

И все ближе и ближе... Это тебе не тигр во сне. Не акула в море. Не крыса в погребе...

Тысяча губ раскрываются, перешептываются: шу-шу, шу-шу... Язычки, как жала, высовываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула, и как прыснут все, как покатаются... Воробьи с кустов так и брызнули. А я посередине — один, как мученик на костре.

Стянули они круг теснее. Еще теснее... Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам — помучить... Господи, до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочат, как русалки? Каждая в отдельности ничего, но когда их тысячи, — мышей, например, — что они с епископом Гаттоном сделали?!

Но они ничего. Только еще ближе подобрались. Одна поста-рише наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по голове погладила... Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дернула, — всего меня снегом обкатила. Начинается!

Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходиться начинаю. Мускулы под шинелью натянул. Как сталь! Что ж, думаю... погибать так с треском! Сто девочек на левую руку, сто на правую! Брыкаться-кусаться буду... И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперед боднул.

А они опять как зальются. Словно весь сад битым стеклом посыпали.

И первая, ватрушка воинственная, вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос... Чайник я ей с ручкой, что ли?! Обидно мне стало ужасно... Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на свое место передвинул и издал пронзительный крик.

— Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня му-ча-ют!!!

Да разве их перекричишь... Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл... Так бы я, быть может, и погиб...

Но на мое счастье, вижу издали, словно облако, седая дама плывет — в серой шубке, на голове серебристая парчовая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили... От реверансов снег задымился...

А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень.

Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:

— Вы как сюда, дружок, попали?

Представьте себе — тишина кругом, словно на северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я и не пригото-вишка, а «Капитанская дочка», и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно...

Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороженную голову и опять спрашивает:

— Как вас зовут?

Ну это я кое-как, слава Богу, вспомнил. Но от робости ни с того, ни с сего шепелявить стал:

— Шаша.

Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Не громко, конечно, но все равно же обидно.

Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у пригото-вишки острый!) шипение слышу:

— Шашечка! Промокашечка... Таракашечка...

А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принес.

— Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали?

И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке появляется и басит:

— Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебросили.

Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила:

— Стыдитесь! Большие — маленького подвели. Да и где он тут в снегах-сугробах мяч ваш найдет?

— Да он сам вызвался.

— Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?

И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.

— Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно? Точно зайца на охоте обступили... Слава Богу, не все же здесь маленькие... Могли бы и умней поступить.

Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала.

Довела меня седая дама до калитки. Руку на плечо положила. Сразу мне легче стало...

Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным дверям: да и время было,— колокольчик во всю глотку заливался... Кончилась, значит, большая перемена,— кончились и мои мучения...

На елку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошел.

— Почему?

— Не пойду.

— Да почему же?

— Не пойду, не пойду!

Няня только головой покачала:

— Фу, козел, упрямый... Уж попомни мои слова, сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск.

Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь, что Симбирск — для нее было все едино.

Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила.

И сказала таинственно:

— Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришел, и прислали тебе с елки подарки.

А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул.

1928

Париж

## ИСПАНСКАЯ ЛЕГЕНДА

После нудного конторского дня Беляев, совершив очередной рейс к испанцу-фруктовщику, вернулся домой взволнованный и оторопелый. Бросил на стол пакет с мятой земляникой, схватил географический атлас сына и, разыскав на голубом средиземном просторе Балеарские острова, радостно крикнул в коридор:

— Аничка!  
— Ну что еще? У меня картошка горит!  
— Пусть горит. Закрой газ... Совершенно невероятная история!

Багрово-сизая Аничка хлопнула кухонной дверью и, благоухая сложным ароматом жареного лука и «Cœur de Jeannette», стремительно вошла в столовую.

— Опять на скачках продулся?

— Какие там скачки... (Верная лошадь случайно пришла четвертой, так она забыть второй год не может.) Ты географию помнишь?

Аничка внимательно посмотрела на мужа и вдруг, дернув за угол передника, подошла к нему вплотную.

— А ну-ка, дохни на меня!

— Беляев покорно дохнул. Запах как запах: скверный табак да земляника,— должно быть, по дороге из лавочки пощипал.

— Сядь. Какая география? В чем дело? Женщина ты, прости Господи, или мужчина?

— Не в том дело, Аничка. Прихожу к испанцу, а он из кассы вынул пачечку фотографий и сует мне в нос: родину, говорит, мою видали?

— Ну-с?

— Заливы, проливы, муромские леса... Горы вверх, горы вниз. Есть еще, оказывается, такие Эдемы непроходимые на свете... А мы, как дураки, по карте Франции ползаем. Телеграммы с уплоченными ответами рассылаем да проспекты выписываем. Тоже — коллекционеры...

— Покороче не можешь?

— У тебя, ей-богу, Аничка, кухня всю идеологию съела. Покороче вот что: у него на острове Майорке есть дом, и он к нам очень симпатично относится... Вот и испанец, а душа русская.

— Видно, что симпатично.— Аничка иронически посмотрела на мятые ягоды и строго спросила: — Дальше?

— Дом в три комнаты, кухня, ветряная мельница, колодец, право пользоваться фруктами и виноградом сколько влезет, и за все про все... сто франков в месяц... Что?!..

Жена побледнела и сняла передник.

— Тетя дома? — спросил Беляев.

— Спит.

— Разбуди! Такие случаи раз в жизни бывают. Зимой отоспится.

\* \* \*

Тетя Женя долго не могла понять, в чем дело. Терла заспаные глаза, водила, как слепая, пальцем по Средиземному морю и, наконец, сухо и категорически отказалась:

— Вы как угодно. А я еще с ума не сошла, слава тебе Господи.

— Почему, тетечка? — мягко спросила Аня и злобно отшвырнула под столом теревшуюся об ноги кошку.

— Объясняй тебе еще... Восьмой год в эмиграции, пора бы и без объяснений понимать. От большевиков ушли, от Махно ушли, буду я тебе на склоне лет под бандитские пули соваться!

— Да где же вы, тетя, бандитов нашли? — вежливо спросил Беляев и по беспроволочному телеграфу переглянулся с женой: «вот дура-то пензенская!»

— И искать не надо. Газеты-то читаешь? Романетти или Барнетти этого где подстрелили? На острове твоём... Наполеон еще там родился, одного поля ягода. Ты думаешь, что после Барнетти этого шайка его в монастырь пошла? Снимут в горах часики, в спину ножом пырнут, вот и будешь с дачей... Шакалам на завтрак.

Аничка резко отодвинула от мужа пакет с ягодами, которые он незаметно одну за другой подьедал, взяла с буфета маникюрную пилочку и ткнула в остров Корсику.

— На Корсике, тетя, бандиты, на Корсике. А это остров Майорка. Испанские владения, Балеарские острова.

— Других, мать моя, учи! Что испанцы, что корсиканцы, бандит на бандите. Контрабандой только и живут... Не видала я «Кармен», что ли? Стану я острова твои по фамилиям разбирать! Балеарские?.. У нас под Пензой имение было Балеарских. Шулера да жулики, только и всего.

Беспроволочный телеграф опять заработал: «пылесосом бы тебе, милая, мозги проветрить...»

Но к пылесосу нельзя было прибегать. У тети Жени была твердая, незыблемая база: сорок восемь английских фунтов. И хранила она их не в каком-нибудь Лионском Кредите (что за кредит такой, Господь его ведаёт), а в банке из-под американских консервов, вывезенной из Югославии...

Беляев снял пиджак, опрокинул в рот рюмку с русскими валериановыми каплями и, крепко поглаживая клеенку, стал вбивать в тетину голову слово за словом.

— Клянусь вам, тетя Женя, своей службой и здоровьем жены и сына! Дом расположен в благоустроенной испанской деревне. Против дома пост национальной гвардии. На острове давно нет ни одного контрабандиста. Все по курортам в наемных танцорах служат. Остров, как вы знаете, со всех сторон окружен водой, а вокруг острова днем и ночью плавают броненосцы с прожекторами. В Испании правая диктатура. Вы же читали сами... Все Кармен давно служат стенографистками и машинистками в местных городских управах. Чего же вам бояться, тетя Женя? Ведь сто франков в месяц с виноградником и палисадником.

— А быки? — спросила поколебленная вескими доводами тетя.

— Быков едва хватает на Севилью и Гренаду, зачем же их будут держать на Майорке? И вообще быки—исторический предрассудок, который даже, кажется, запрещен королевским декретом.

Тетя Женя, облегченно вздохнув, посмотрела на свой красный сак и сдалась.

— Что же, куда люди, туда и я. Как ехать-то?

— Да Марселя поездом. А оттуда морем два шага.

— Морем не поеду.

— Как же, тетушка? Ведь остров же...

— А качка?

— Качки в Средиземном море по летнему расписанию никогда не бывает.

— А виза?—в свою очередь спросила жена.

— Пустяки. Муж Нининой портнихи натирает в испанском консульстве полы. Протекция. Все равно с Ниной ехать... Позвони ей, пусть возьмет такси на свой, конечно, счет и приедет столкнуться. Время—деньги, соседи могут узнать, шиш без масла получим...

\* \* \*

Подруга Анички, Нина, с которой еще с весны, в видах экономии и дружбы, сговорились устроиться на даче вместе, русалочьей походкой всплыла в столовую и, томно стаскивая пальчик за пальчиком длинную перчатку с раструбом, защebetала:

— Почему такая таинственность, Аня? Бери такси, по телефону загадочные намеки... В чем дело? Когда мы едем и куда мы, наконец, едем? Я изнемогаю в Париже!..

Она, как всегда ни к селу ни к городу, захохотала: женщины ведь так часто превратно понимают, что им к лицу и что не к лицу.

Беляев начал по порядку: испанец-фруктовщик, симпатичное отношение, русская душа, виноградник-палисадник... Но незаметно для самого себя стал пересахаривать, словно рецензию о собственной книге писал. В доме уже было четыре комнаты, а не три. В саду забил фонтан,—на фотографии, кажется, было что-то вроде фонтана... Овощами тоже можно пользоваться бесплатно. А ведь на острове Майорке лучшие овощи в мире. И какой климат! Испанец говорил, что столетние старики пляшут в горах сарабанду... И правы! Честность финляндская. Положи на крыльцо английский фунт и уйди хоть до вечера, никто пальцем не тронет. Разве что ветер унесет. И какое молоко, и какие яйца... Яйца, кажется, тоже бесплатно.

Нину, впрочем, больше интересовала романтика.

— Боже мой, Майорка... На этом острове, да-да, я припоминаю, жила Жорж Санд с Шопеном. И вдруг мы будем жить в том же самом доме! Вы не знаете, там есть поблизости дамский парикмахер? Ах, как удачно все складывается. Испанские шали

выходят в Париже из моды, но в Испании, извините! Испанское солнце, оранжевая шаль и кресло, в котором сидела Жорж Санд... Аничка, если ты не ревнива, я готова расцеловать за эту идею твоего мужа.

Но Аничка не позволила и деловито заторопила мужа.

— Пока твой испанец не закрыл лавку, поди и расспроси подробно, сколько в доме кроватей, себя не считай, приедешь, привезешь с собой гамак. Какая вообще мебель, есть ли газ? Запиши подробно, чем можно пользоваться, дай задаток и возьми расписку... Можно ли там достать приходящую прислугу, разрешает ли он стирать в фонтане,—впрочем, это его не касается,—что стоит проезд... И план дома возьми, слышишь?

Похожая на старую черепаху консьержка сердито высунула голову из своей клетки: мало этим русским места в своей квартире, надо еще на лестнице вдогонку кричать...

\* \* \*

Беляев вернулся минут через двадцать. Долго копался в передней и на нетерпеливые призывы жены, тети Жени и Нины бормотал в рукав своего пальто что-то невнятное.

Вошел красный, медленно пил воду, которой вообще никогда не пил и рассказывать не торопился. Жена тоже молчала, но иное молчание хуже плети. Надо было сечься, ничего не поделаешь.

— Ты, Аничка, напрасно, того... сгущаешь краски. Комнаты действительно три, но в одной обрушился потолок, а в другой курятник. Не можем же мы запретить испанцам разводить кур. И вообще, почему это эмигранты должны непременно разъезжать по дачам? Поездили, будет... Испанию им подавай, как же! А проезд туда что стоит? А четыре визы? Опять же мебель. Везти с собой только испанскому королю по средствам. Брать напрокат—прокатов никаких не хватит. Испанец сам эмигрант, открыл в Париже лавочку, так я должен к нему с ножом к горлу приставать, почему он там для меня палисандровой мебели не заводит? Нет мебели—и конец. Не могу же в его частную жизнь вторгаться. И совсем не сто франков. С какой стати сто? Меценат он наш, что ли? Ко мне он, конечно, симпатично относится, и если бы я один поехал, с меня бы одного взял сто, а если целая орава—с каждого по сто... И деньги вперед за сезон, потому что франк падает... то есть летит. Виноградом и сельдереем, конечно, пользоваться можно, сколько хочешь за свои деньги. Потому что и палисадник, и виноградник сданы в аренду. Не можем же мы, Аничка, запретить испанскому эмигранту извлекать из своей недвижимой собственности доходы. Комаров действительно много, но старожилы выдерживают. И ветряная мельница есть. А фонтана—нет... У нас ведь тоже нет, почему у него должен быть?



Жена выслушала до конца. Подошла поближе, принялась: странно, ни кальвадосом, ни ромом от него не несет...

И, глядя мимо, как только это женщины умеют делать, обошла мужа и сказала приветливо тете:

— Одевайтесь, тетя Женя, пойдем в ресторан, поедем, а от туда в кинематограф. Ниночка, ты с нами?

— А я? — смущенно спросил Беляев.

— Ты? — Аничка весело хлопнула перчаткой по зонтику.

— Ты сегодня можешь обедать на острове Майорке со своим испанцем.

<1926>

## ЭКОНОМКА

За узорными чугунными воротами — полумрак и прохлада. Липы сплели изогнутые ветки в темно-зеленый туннель, — дождь не пробьет.

Белая, зигзагами вьющаяся стена наглухо отделила усадьбу от пустынного пыльного шоссе, обрамленного тополями, от неоглядных полей, полого спускающихся к станции. Кто бы сказал, что в часе езды — Париж?..

У входа, против домика консьержа — длинный кирпичный флигель. Площадка перед кухней усеяна темными, лопнувшими каштанами, куриным пометом и мелкой упаковочной стружкой.

За ржавым столиком в затрапезном, пропахшем землей и курятником, сером платье сидит грузная, полуседая женщина в очках и тяжело дышит.

Поговорить бы, отвести душу с русским понимающим человеком... Да не с кем. Уж она бы напела! И, как всегда, присела дух перевести, а мысли бегут, выплескиваются, — словно сама с собой говорит, остановиться не может.

\* \* \*

Десять гектаров... Тоже имение называется. В полчаса все обревизуешь, а потом целые сутки сердце кипит.

На птичнике ворота настезь. Известно, чьи это штуки! В бочке — воды нет. Куры, поздрав носы, в кружок собрались, на втулку смотрят. Все углы грязью-пометом позаросли. Индюки драные, худые, словно нищие на паперти, вдоль сетки стоят. Глаза бы не смотрели!

В прачечной маляр-испанец с хохлушкой птичницей разговор в амурном направлении завел. Скажите, пожалуйста, мезальянс какой! А постирушка ждет, цыплята по всем лавкам мокрые носки клюют... Разве ж это порядок? Шуганула его, хахаля, конечно. Жаль только слов настоящих на французском языке нет.

Дров конюх опять не напилит. Вот злыдень, прости Господи. Как теперь пироги печь? Носится на велосипеде, как скаженный, от усадьбы до станции, от станции до местечка. Русский конюх, а, вишь, тоже к французским романам приспособился! Хозяевам очки втирает: у коровы аппендицит, надо ветеринара вызвать...

С овощами — беда. Садовник с придурью, даром что бельгиец. По четным дням пьет, по нечетным жену бьет. На огород никого не пускает: «огород — это я!». Контрабандой с хозяйского огорода к хозяйскому же столу овощи таскать надо... Да и такого насажал, что и цыган есть не станет. Тыква — лешему на третье блюдо. Укроп без запаха, хоть бы на смех чем-нибудь пахнул. Ну как такой в огуречный рассол класть? Артишоки никто не ест. Разве это овощ? Повырастали, как олухи, все в цвет пошли. Деньги людям не жалко! Огурцы басурманской породы какой-то: длинные да кривые, слово кинжалы. А на вкус вроде сырой кобылятины. В рот возьмешь да тихонько в руку сплюнешь, чтобы люди не засмеяли.

\* \* \*

Главное, в большом доме никто делом не интересуется. Девицы теннис за оранжереей завели, прыгают весь день, как оглашенные, бюсты спускают. Похудеть, видите ли, надо!.. И что за игра такая окаянная: словно малые ребята, мячик с лопатки на лопатку перебрасывают. Чем пойти на птичник поинтересоваться, почему индюшка окривела, какие яйца для еды отобрать, какие на высидку, только и знают свой теннис, либо в гостиной под граммофон полы натирают. Танцы! Изогнут в три погибели животы и хребтом вертят, как кошки наскипидаренные... А то сядут в лодку друг против дружки и гребут: одна вперед, другая назад. Кто кого перегребет. Воспитание!

Отец в Париже комиссионную лавку держит. Человек ничего, киевлянин. Баки, как у собаки, глаза шилом. За все лето два пальца дал. Сблаговолит... Полпальца б ему сдачи к носу поднести! В хозяйстве кобылы от жеребца не отличит, а туда же... имение завел. В город поедешь за покупками, явишься с докладом, выслушает, — только ничего кислого ему не докладывай, огорчаться не любит. А приедет в усадьбу — беда. Почему на капусте гусеница? С какой стати лодка течет? Почему скамейки не подкрашены?.. Почему прачка беременна?

Где же это видано, чтобы экономка и за гусеницу, и за лодку, и за прачку отвечала? Бельгиец-садовник хитрюга, чем свет в огороде роз понарежет, длинноухой травой перевьет, фонарь под глазом пудрой присыплет и тащит букет в столовую... Все воскресенье ходит за хозяином следом, как грач за плугом: очки втирает. Тот доволен, губу на локоть и сейчас же бельгийцу на чай двадцать франков. Я, говорит, вами «тре контан»! Подожди до осени, будешь ты тре контан... Маркиз свинячий!

А конюх еще похлеще. В укромном месте в парке хозяина высмотрит и давай про людей наговаривать... Экономка яйца прикапливает, кофе со сливками пьет. Неужели без сливок?! Покупать, что ли?.. За собой бы, лодырь, смотрел! Кто лошадь в водокачке на всю ночь забыл? Кто хозяйское вино бистровщику продал? Все известно... И про портьеры тоже, будьте покойны... На чердаке собрал охапку, свез в Париж, в канареечный цвет перекрасил и своим кралям по всему округу на платья раздарил. Уток сколько, подлец, съел! Чикнет утку в конюшне об колесо, а потом зайвится, глаза, как у лешего, в разные стороны смотрят: «опять, Варвара Ильинишна, коршун утку склевал!..» Вот уж именно... коршун.

С самой мадам тоже толку не много. Распустит пояс и лежит весь день на веранде, как майская ночь или утопленница. Тоска, видите ли, у нее. У других, может, три тоски, да еще камень в печени. Однако ничего, встают до зари, топчутся. Какая же тоска, если хозяйство? Женщина она, слов нет, кроткая: но как же так своим добром не интересоваться? Бог такое, можно сказать, редкое счастье послал... Другие в эмиграции своим горбом чужую стену подпирают, а тут все свое: дом, оранжерея, корова. Ключок русской земли создать можно. Горлинки стонут, груши наливаются, в пруду свои угри — один другого жирней. Смотреть тошно!

Кто человек понимающий и дело это самое обожает, должен по чужим кухням трепаться, глупым капризам потакать, а другой, как крот в пеньюаре, — сидит на веранде, на зеленый благословенный рай смотрит и, сложа ручки, равнодушно зеваает. Скучно им здесь!.. Принцессы свеклосахарные!

\* \* \*

Дожила, нечего сказать. Оттого и сердце кипит, когда всю эту безалаберщину видишь. Чужой хлеб давишься-ешь, да еще улыбайся им с утра до вечера. От этих улыбок, может, и годы свои сократишь.

«Варвара Ильинишна, почему кабачки невкусные?» У садовника спросить надо, мать моя... Переросшие к столу подает. Улыбнешься, да руками разводишь, да на европейский климат сваливаешь... Старшая дочка ихняя никогда головой не кивнет. Дождевой воды ей для волос принесешь, либо душистого горошка пучок, — сквозь зубы буркнет. Догадайся там — либо «спасибо», либо «пошла к черту»... Ученая! Турецкий синтаксис в гамаке весь день перелистывает. А почему куры во вшах, да как огурцы солить, — этому в Сорбоннах не учат?.. Вылупит глазенапы, как сова в очках, и по-английски на мой счет двоюродному брату: «и чего эта кувалда тут околачивается?» Язык чужой, да по выражению все понятно! Будьте покойны... В сорок восемь лет, персик мой, каждая женщина на законном основании расплывается. А вот когда в восемнадцать руки-ноги, как диванные валики, это,

можно сказать, не стоило и в Париж приезжать... А кавалер-то, кузен, жимолость в штанах, туда же с усмешечкой: «вы,—говорит,— Варвара Ильинишна, по руке хорошо гадаете. Погадали бы мне». И лапу свою цыплячью сует. Да у меня, может, на пятке больше линий, чем у тебя на руке! Что ж... Улыбнешься и врешь... Пять минут потом руки дегтярным мылом отмываешь. Богатым услуживаешь, хоть выгода какая, а этот двоюродный... Два воротничка, да подтяжки, да на сберегательной книжке — дырка от бублика. Тьфу!

В кладовую надо идти, а в поясище черти жгуты вьют...

Конюха столуешь, так он, гад, еще и нос воротит. «Каклеты», говорит, пережарены. Да где он, хамло, «каклеты»-то раньше ел?! Рожа — циферблатом, вино пьет до отвалу, еще и выбирай, с маркой ему подай! И молчишь. Садовнику яичек снесешь,— он тут же на манер президент-министра, что поделаешь. Землянику в парке, спину гнешь, собираешь. Принесешь в большой дом, приезжая племянница, кобыла сверхобхватная, и спасибо не скажет: пасть раскроет, всю миску вмиг опростает. Для тебя собирала!.. Смолчишь, улыбнешься ласково, и только за углом,— дом обогнешь, плюнешь с досады...

А уж как жилось дома!.. Домик в Житомире за третьим бульваром — игрушка. Над крышей тополя до неба. Огород русский, православный: закудрявится весь, не уйдешь... Никакой Версаль не сравнится. И не сидела ведь павой, благо, что капитал кое-какой был. Осенью вздохнуть некогда. Капусту рубят-шинкуют, огурцы горой, только бы бочек хватило... Соленья, маринады, повидло... Рецепты такие хозяйственные знала, что самой Молоховец и во сне не снилось!

Конюх свой был. По струнке ходил. Придет в дом, у прито-локи станет, дело свое обскажет и будьте здоровы. Никаких фиников-пряников — и без «каклет» доволен был. А когда бежала, он же первый, милый человек, лепешек на дорогу принес... А сад какой... Господи! Одних яблонь сортов до шестнадцати: розмарин, антоновка, цыганка, золотое семечко...

\* \* \*

— Варвара Ильинишна!

Экономка очнулась и сердито из-под очков покосилась на дорожку.

— Чего, дуся?

Зашуршали кусты. Из большого дома прибежал, щелкая на ходу по веткам хлыстом, младший хозяйский сын, тонконогий веснушчатый мальчуган.

— Папа звонил только что. К ужину из Парижа к нам гости приедут. Восемь человек... Мама просит, чтобы вы что-нибудь придумали поинтереснее... А когда же вы мне маникюр сделаете? Вы же обещали!

Экономка встает, на лице вспыхивают багровые пятна.

Действительно, только ей и недоставало,—слюнявому индюшонку маникюр делать... Ах, ты Господи! Дров не напилили, птичница за жавелевой водой ушла, садовник пьян—в огороде сидит, с тыквой разговаривает, жена садовника пластом третий день лежит после очередной потасовки, конюх краденым одеколоном надушился, укатил за ветеринаром... Вот и воюй без войска. Птицы без воды, корова не доена, печень разыгралась, а тут восемь человек на голову свалились... Лодыри парижские!

Она судорожно выдавливает на лице приветливую улыбку и, запахивая на груди капот, треплет мальчугана по плечу.

— Сейчас, дуся... Сейчас, дуся, приду.

И про себя добавляет уже безо всякой улыбки: «Сказались бы вы все, гром вас побей с гостями вместе!»

1925  
Апрель

## ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Сидели они в бистро — эмигрант-переплетчик Гуськов и эмигрант-кондитер Флипс. Пили свирепую французскую водку кальвадос и беседовали.

Гуськов, небритый и взъерошенный, похожий на прежнюю щетку для чистки ламповых стекол, покосился на обтянутую тусклым свинцом стойку, ткнул пальцем в сторону радужного спектра ликеров и вздохнул.

— Золотые россыпи... На каждой рюмке сто процентов чистых. Книжки только Дон Кихоты отдают в переплет, а пьет каждый. Стало быть, кто-нибудь это пойло и изобретать должен.

— Со времен Ноя изобретено,—компетентно заметил Флипс.

— Консерватизм. Если взять, скажем, кальвадос, смешать с куэнтро, для запаха эвкалипта прибавить, подцветить шафраном да бухнуть для крепости красного перцу — вот тебе и новая марка! Патент взять. Названьице «Мечта негра» или «Нижегородская слеза»... Этикетку с левитановской березкой завинтить. Ты понимаешь? Крез! Пол-Европы обопьется.

Флипс взглянул на дело трезво:

— Кальвадос с куэнтро смешаешь, почем тебе рюмка обойдется? Перец, бутылку и прочее из чистой благотворительности на свой счет ставить будешь? Брось, пожалуйста. Меценат спиртячий...

— Ну, ладно! А что если простую водку баллонами покупать и на черносморозинной почке настаивать? Земляки обомлеют.

— Черносморозинную почку на подоконнике выращивать будешь? Не ерунди. Да и кто тебе в комнате разливать позволит?

А капитал? Чудак Иванович! Бутылок на шесть хватит, сам же с гостями под Новый год разопьешь... Идея в основе единственная: настоящее дело должно не эмигрантов обслуживать, а весь, так сказать, земной шар.

— То есть?

— Например...— Флипс задумался.— Мазь для вызывания роскошных снов! Мне знакомый хиромант объяснил, что если несколько симпатических запахов смешать на свином сале и втирать перед сном, допустим, в затылок или в спинной предпоследний хрящик, то и сон соответствующий приснится. На научном основании. Для богатых можно в фарфоровых баночках, для простых клиентов в простоквашных горшочках. Прейскурант соответствующий тиснем: сны для пожилых, сны для несовершеннолетних. Для дам с высшим образованием... понаучнее. Постоянным подписчикам скидка.

— Отчего же твой хиромант сам этим не займется?

— Ему ни к чему, раз своя профессия есть. А секрет он за сто франков продаст с удовольствием.

Переплетчик скептически свистнул.

— Я тебе и за пятьдесят продам и тоже с удовольствием. Нашел занятие... Да первый француз-клиент, допустим, после твоей мази во сне разведенную жену увидит. Сейчас на тебя донос и в 24 часа на люксембургскую границу, как нежелательного иностранца высадят... Вернее, друг, на американцев компас держать! Нация с золотым обрезом, шагреньевый корешок! Изобрету я, скажем, алкогольный зубной порошок. Вернется мой клиент в Нью-Йорк, из жилетного кармана порошок вынул, зубы почистил, сельтерской запил—и весь день пьян, как каучук... Вот я и Ротшильд. Что-с? «Король алкогольных порошков». Так и на визитной карточке напечатаю.

Кондитер в отместку отнесся сдержанно:

— Мужчина ты, Федор Павлович, сравнительно трезвый, а фантазия у тебя девяностоградусная. Этак можно по-самоедски сушеного мухомора наесться, тоже пьян будешь, нутро вывернет. Не пройдет. Идея, конечно, в том правильная, что раз американцы со всего света в себя монету всосали, из них и высасывать надо... Допустим, откроем мы для них вблизи Мадлен сандуновские бани с висячим мостом через улицу. В передней гипсовая статуя Свободы с лучами в голове и венчиком под мышкой... На шайках русско-американские пословицы: «Грязь — не китовое сало, потер и отстало», «Жук в навозе копается, американец в бане купается...» Банщики так по-американски и чешут... В раздевальной русский бильярд с лузами, на ножках ихние вашингтонские банты. Вышел человек из-под душа, соединенные свои штаты подтяжками подтянул, а мы ему сейчас сухарного квасу...

— Квасу?..— Гуськов насмешливо пососал мокрый ус.— Пятьдесят сантимов ты на своем квасе заработаешь... Бутылочки надо, чтобы над каждым раздевальным диваном с потолка для

приманки на шнурках свешивались! Сода-виски. Бесплатно. С горячего пара его в два счета развезет, а ты его шампанским для охлаждения и окатывай. Мум!! Цыганки чтоб с пением под гитару откупоривали. Вот тогда и расторгнешься... Капиталу только для открытия где возьмешь?

— Найдем. Тысяч семьсот всего для начала потребуется. Тебя в долю возьму. Объявление только напечатай, капиталы к нам сами попрут...

Переpletчик задумался и вспомнил:

— Что ж, объявление можно и в долг напечатать. У меня в газете знакомый корректор есть. Мелкое только дело, брат, американские спины намыливать — полета настоящего не вижу... Читал я во французском журнале для детей технического возраста, будто радио теперь не только звуки издает и распространяет. Может оно, скажем, и фотографию любимой собаки передать, автограф Наполеона или даже фальшивую подпись на векселе. Почему бы ему и алкогольную струю, пущенную, допустим, с Эйфелевой башни в Париже, в распыленном виде в Нью-Йорк не передать?.. А там тайные восприемнички...

— Тьфу, господи! Никакой у тебя, кроме алкоголя, и игры в голове нет.

— Зачем же? — обиженно повернулся к Флипсу переpletчик. — Игра есть! Были мы, скажем, на докладе: «Роль тяжелых танков в будущей мировой войне». На душе у нас тяжесть. Люди мы с тобой мирные. Доехали мы в полночь на номере 123 до своей остановки у рю Дидо. Бистро и аптеки все закрыты. А нам скорая помощь требуется... Вот, значит, я к трамвайным столбам автоматы и приспособлю для таких случаев: полтинничек вбросил, сейчас оттуда и накапает тебе в рот... полрюмочки.

— Придумал! Уволокут твой автомат ночью со столбом вместе... Гарсон! В том же роде еще по одной.

Флипс мечтательно поднял к потолку голубоватые выщепленные глаза. Поднес тонкие ладони к губам и стал покусывать ногти... Дневной кавардак с резкой цукатов, с мелкой сахарной пылью и тошным запахом сладкого теста отошел от него прочь, точно он никогда к нему и близко не прикасался. Разве только тот поэт, кто по гладеньким клавишам польку рубит? Кто знает, что у скоропостижного кондитера-эмигранта в душе в вечерний час копошится?

Под большим никелевым столбом посвистывал сиреневый газ, кипятил кофе.

Флипс прислушался и перевел глаза на грязную потолочную розетку. Иногда ведь в самом, можно сказать, плюгавом предмете источник вдохновения сидит.

— Да-с... Кислый квас... Возьмем хоть газ этот... Свистит и греет. Два дела делает: бесполезное и полезное. Для души и для тела. Изобрел же этот самый Теремин электрический контрабас. И под контральто может, и под белугу. Вот и надо бы все

домашние звуки обработать. Сидишь в ванне: кран тебе под головой «Крейцерову сонату» высвистывает. Варит жена суп с клецками, газ ей для успокоения ноктюрн напевает. Телефон мазурку мурлычет. Радио — похоронный марш задувает. Вода в коридорном депо бежит, тоже что-нибудь гвадалквивирное журчит. Электрическая лампочка в спальней грудному младенцу колыбельную песню нажаривает. А центральное отопление по всей квартире органом гудит, как атлантический прибой... Подумай только: не квартира, а консерватория!

Переpletчик Гуськов энергично дернул себя за чуб, качнулся и хлопнул ладонью по столу:

— Воображаю я, какими тогда все алкоголиками станут! Орган, говоришь, гудит? Гарсон, еще по одной в том же направлении... А я думаю, Флипс, ежели в тебе такой зловредный музыкальный уклон намечается, выходишь ты вроде врага рода человеческого. И следовало бы тебя на всякий случай изолировать... Может, ты будущий Калигула, мировая бестия? А?

\* \* \*

Дверь хлопнула и затряслась, как в желтой лихорадке. Вкатился плотный и жизнерадостный монтер-эмигрант Брудершафт. Фамилия его была другая, но никто ее не помнил. А Брудершафтом его прозвали, потому что он со всеми очень скоро на «ты» переходил.

Начнет спорить, пуговицу оторвет и сразу на «ты».

Подошел он на замшевых ногах валкой походкой к столику, к землякам подсел и пухлые руки потирать стал.

— Ух, холодно! Что вы тут, изобретатели, сосете? Кальвадос? Спасибо, спасибо. Колючую проволоку в уксусе настоять — вкусней будет... Гарсон! Кофе с круассаном.

— Сто лет пожить хочешь? — спросил Гуськов.

— И на девяносто девять согласен. А меня, между прочим, поздравить можете...

Флипс и Гуськов по тону голоса почувствовали, что Брудершафт не врет, и придвинулись теснее.

— Ты что ж, практик, патент на прибор для доения мышц взял?

— А вот и взял!

— На что же именно? — дрогнувшим голосом спросил Флипс.

— Теперь уж не секрет. Взял и крышка. Как в сейфе лежит. Вот она, штучка, пожалуйста.

Он раскрыл портфель, вытащил то, что он называл штучкой, поправил пенсне и тоном гида, развозящего по городу иностранцев, доложил:

— Леди и джентльмены! Не будем вдаваться в подробности. В каждой интеллигентной квартире имеется центральное отопление, при помощи которого жильцы согревают все части



своего организма. Но неуклюжий решетчатый столбик, напоминающий моржовую челюсть, совершенно не вяжется с вашей мебелью в стиле Людовика XX. Что же вам предлагают? Вы видите, леди и джентльмены, алюминевый, вытянутый, как Офелия, поднос с изящными дырками, который, при помощи двух лапок, прикрепляется, вроде летучей мыши, к отопительному столбику. Вокруг подноса переливается роскошная бисерная бахрома цвета, подходящего к крашеным волосам хозяйки дома. Таким образом, столбик при помощи легкого телодвижения превращается в роскошный столик с изящными дырками. Сидя в кресле возле отопления и грея свои мечтательные кости, вы можете дополнительно и совершенно бесплатно на означенном подносе подогревать ваши собственные утренние сухари и иметь постоянно теплую воду для прополаскивания ваших внутренностей...

Брудершафт поперхнулся, прополоскал свои собственные внутренности кофе и перевел дух.

— И дальше? — иронически спросил Гуськов, совершая свой маникюр при помощи вынутой из жилетного кармана зубочистки.

— Очень просто. Выставил эту штуку на выставке изобретений по домашнему хозяйству, запродавал патент одному универсальному дому и даже получил кое-какой аванс. В воскресенье покорнейше прошу ко мне, новорожденный поднос вспрыскивать!..

Флипс холодно рассматривал грязную розетку. Гуськов развел руками:

— Думал я все, что ты Брудершафт, а ты, оказывается, Эдисон! Замечательно. Отчего же тебе дополнительно не изобрести электрические стеганые ватные штаны? Влез в них по самые уши, под мышками бантом перевязался, чтобы не падали, штепсель в себя вставил, а другой конец к трамвайной проволоке прикрепил. И тепло тебе, и по всему городу на роликовых коньках кататься можешь. Эх ты, изобретатель целлулоидный!

Надо сказать правду: ни в молчании Флипса, ни в ехидных словах Гуськова ни капли зависти не было. Просто, знаете: столкнулся пруд с океаном. Где им друг друга понять?..

1927  
Париж

## ИЛЛИНОЙССКИЙ БОГАЧ

Художник Кандыба переменял ориентацию. Пейзажи послал к черту. Мужья домашней эстетикой вообще не заведывают, а знакомые парижские дамы покупают, не торгуясь, кушетки «а ля Рекамье», подграфмофонные столики «рюстик», трехспальные

кровати негоциантского барокко. Но в простенках вешают пяти-франковую дешевку: похожую на лошадь леди, прислонившуюся щекой к похожей на леди лошади; литографскую Венеру, наказывающую розгой купидона; в лучшем случае гипсовую маску Бетховена, которую русский обойщик, обивающий по воскресным дням м-м Рекамье, вымажет бронзовым риполином. Какие уж тут пейзажи...

Кандыба навел справки и решительно перешел к портрету. Выставил, рекламы ради, три бесплатных каллиграфических полотна: маститого антрепренера с мировой скорбью на скулах, знаменитого киноребенка с полным собранием Шекспира на коленях и портрет известной поэтессы, выпущенный им в свет в значительно исправленном и дополненном издании. Заказы пошли густо. Стил Кандыба избрал благоразумный — приятный заказчику. Детей писал под Серова, — тот ведь детей никогда не обижал. Дам по желанию — то под Сорина, с лилейной ручкой лебедью, то под Малявина, в купленном по случаю густо-зеленом платке с махровыми розанами. Мужчин в строгой музейной манере, причем больше всего подчеркивал выражение энергии и воли в подбородке и переливы пуговиц на жилете.

Помимо того, Кандыба разделил заказчиков на две группы. Мелких, торгующихся клиентов писал с «левым» уклоном, за сходством не гнался, лет не убавлял, краски нашлепывал разляписто и торопливо; неторгующуюся клиентуру брал на «правый» крючок: фон давал выигрышный, природные дефекты зализывал и к капризам заказчиков относился с торопливой предупредительностью. Вообще, нашел себя. О художниках, которым подражал, стал отзываться пренебрежительно: «кустари». Из мировых имен, кроме себя, утвердил лишь Рембрандта и почему-то Джотто (очень уж звучное имя!)

Через полгода Кандыба, самодовольно теребя любимую волосатую бородавку на щеке, стоял посреди своей заново отделанной студии и любовался. Телефон проведен, — ишь, блестит, как лакированный жук... Ковер, хоть и марокканская имитация, во весь простенок. По всем углам, носами к стене, начатые портреты... Днем работа, вечерами шумная болтовня в кафе.

Кандыба от мелкой ротондной богемы не отвернулся. Во-первых, гарнир, во-вторых, — даже и гению общество нужно. Но к себе никого не звал: увидят заказчиков, разношают, зачем же? А главное, был он непристойно скуп. После голодной полосы методично накапливал валюту и на вечерние пиршества никогда больше пяти франков на себя не тратил. Хотя сам в гости ходил охотно, и на именины, и в особых случаях, когда собрат вспрыскивал проданную картину. Приходил, пил-ел и нимало не обижался, когда хозяин после десятой рюмки говорил:

- Слушай, Кандыба... Захрюкай.
- Почему же, собственно, я должен хрюкать?
- Да ведь ты же свинья!

Кандыба подошел к зеркалу. За висевшей на зеркале веткой сухого перца в сумерках стекла выплыла квадратная кабанья голова хозяина студии — мутно-табачные глазки, верблюжий войлок волос, погасшая трубка в углу вялого рта. Скучно. Заехать за Мариной и взять ее с собой в кино? Дорого и зря. Непроизводительный расход... Прошлый раз угостил ее грогом и хотел было под столом руку пожать, а она вырвала и говорит: «Бросьте, Кандыба, руки у вас, как у покойника... и вообще не надо...» Который раз у него с женщинами повторяется это «и вообще...».

И вдруг на всю студию веселый звонок телефона. Кандыба щелкнул выключателем и подошел.

— Алло.

— Кандыба?!

— А то кто ж. Кто говорит?

— Болдырев. Кандыба, слушайте, был у вас уже Мишка?

— А почему, собственно, он у меня должен быть? — подозрительно спросил Кандыба.

— Хо! Так вы еще ничего не знаете?! Да об вас же весь Париж говорит, комик вы голландский!

Кандыба насторожился:

— В чем дело? Выставка?..

— Какая там к псу выставка... Так вы ничего не знаете?! От души вас, Кандыба, поздравляю. Ну, там болтают, что вы сухарь, карьерист чугунный и все такое прочее. А я им всегда говорил, что вы человек первоклассный, — вставьте Кандыбу в хорошую рамку, он во как развернется... Вот и вставили, нечего сказать.

Сомневаться было трудно. Стряслось нечто оглушительно-большое и радостное, слишком уж искренний и веселый был у Болдырева голос.

— Да что ж такое, черт?! Слово-то хоть одно вы можете сказать?

— Одно могу. А-ме-ри-ка! Стоп. Больше ни-ни. Сейчас беру такси и еду к вам. Мишка, должно быть, уже выехал...

Что за гиль? Болдырев и такси... Да он и в метро, кажется, только по воскресным дням катается. И почему «Америка»? Он подумал, вспомнил о кое-каких своих сумасбродных надеждах и побледнел. Неужели?!..

Через десять минут в дверь ввалилась вся артель: безработный офортист Болдырев, плакатных дел мастер Мишка, кошачий скульптор Шафгаузен и с ними два безыменных, знакомых по Ротонде персонажа.

Жали руки сердечно и напористо. Целовали в губы, в нос и в бородавку... Хлопали по плечу: «Ай да Кандыба! Надо ему, лешему, фамилию переменить. С Морганом будет в клубе на бильярде играть, неловко с такой фамилией!»

Кандыба растерялся:

— Да в чем же дело, с ума вы, что ли, походили?

И вдруг, как по команде, все смолкли.

Мишка выступил вперед, бережно вынул из конверта с американской маркой газетную вырезку и медленно, сдержанно волнуясь, прочел:

«Чикаго. «Новые русские ведомости». 10 декабря 1925 г.

Скончавшаяся в возрасте 68 лет в городе Спрингфилд, в штате Иллинойс, наша соотечественница Ирина Кливэлэнд, урожденная Кандыба, завещала все свое состояние в 90 тысяч долларов, не считая усадьбы, мелкого инвентаря и завода сушеных фиг, своему племяннику Федору Кандыбе, которого почившая безуспешно разыскивает с 1917 года. В случае нерозыска наследника в течение полугода состояние, по воле покойной, перейдет на улучшение кролиководства в ее родном штате».

Кандыба тяжело сел на стул.

— Она? — спросил участливо Мишка.

— Она. — Кандыба боднул головой. — Я же тебе рассказывал. Я только не знал, что она в Иллинойсе и что у нее... такие средства... Что же это, милые, такое? Что такое, я спрашиваю?!

Он жадно перечел газетную вырезку, конверт, письмо приятеля Мишки, который прислал ему заметку из Чикаго, и вдруг, во все побагровевшее лицо, точно его смазали прованским маслом, залоснился бессмысленной улыбкой.

— Как что? — встрепнулся Мишка. — Завтра Болдырев поедет с тобой в американское консульство, ты же по-английски ни в зуб. Удостоверишь личность, получишь визу — и досвиданс! — поедешь в свой Иллинойс, черт поросячий!.. Ну, а теперь вспрыски. Вспрыски, братчики, нечего дурака валять.

— Какие вспрыски? — тупо спросил еще не пришедший в себя иллинойсский богач.

— Какие?! — подскочил Мишка. — Случай-то твой, плюшкинская твоя душа, вспрыснуть надо или нет? Да и совпадение-то какое: русский ведь сочельник сегодня! А?..

Болдырев, встал, плюнул, напялил свое кургузое пальтишко и постучал по звонкой китайской курильнице трубкой:

— Брось, Мишка! Чего распелся? Нам с миллионером какая же компания? Пусть сам по американским консульствам бегаёт, а я для него не свиной гид. Облупят его переводчики, как яичко, будет рад... Валите ко мне: ром есть, халвы по дороге купим, какого дьявола с ним валандаться!

Но Кандыба очнулся и превзошел себя. Вынул из карельской шкатулки сто франков и заступил Болдыреву дорогу:

— А вот мы сейчас увидим, какой Кандыба Плюшкин! Миша, будь другом, возьми там, что надо...

Мишка переглянулся с Болдыревым и отстранил щедрый дар.

— Ничего не надо... Студню я, что ли, куплю на твои сто франков?

— А сколько еще надо?

— Давай еще сто. Спрашивает! Раз в жизни друзей угощает, которые, можно сказать, как вестники счастья, его бескорыстно поздравить пришли, а он... сто франков!

Кандыба покраснел, отчаянно махнул рукой и сдался.

— Марину позвать? — спросил в дверях Мишка.

— Зови.— Кандыба подсел к Болдыреву и с почтительной предупредительностью стал выпрашивать, как получают американские наследства и с чего надо начинать. Болдырев небрежно объяснил.

Минут через двадцать вернулся Мишка с двумя своими адъютантами, нагруженными до подбородка свертками и бутылками. Сдвинули ломберные столы, накрыли их персидской легкой набойкой и развернули на столах такое фламандское сооружение, которое разве в музее на старом полотне увидишь: коричневый гусь в белых сборчатых штаниках, широкая ослиная колбаса-салами, мандарины, ром, зубровка — словом, на все двести франков,— за такси Мишка дополнительно получил. Прилетела и Марина. Мишка из бистро по телефону ее вызвал. Долго трясла Кандыбину руку, поздравляла, а сама почему-то все губы кусала... Дальше что ж, дальше дело известное.

Жилец под студией, кроткий француз-старичок, поднялся было к Кандыбе справиться, не пожар ли у него, что за грохот такой? Но ему объяснили, что русские художники справляют русский сочельник и потому надо шуметь и что «мосье» Кандыба теперь самый богатый человек в Северной Америке, а пожалуй, и в Южной... Француз ничего не понял, вежливо улыбался, но отведать зубровки согласился, да так и застрял до утра.

Проснулся Кандыба поздно. Долго протирал глаза и ничего не мог понять. Почему у китайского дракона белый носок на голове? Почему из зубровой бутылки зубная щетка торчит? Почему на его котелке слон сидел?.. Но вдруг вспомнил и ахнул. Грузный и взлохмаченный, заплясал в розовом трико по студии, бросился было одеваться и невзначай покосился на зеркало. Что за прокламация на нем висит?

Подошел, да так с задранной сквозь неподатливую фуфайку рукой и застыл. Послание было короткое:

«Спасибо, Кандыба! Сочельник провели очень уютно, в теплой семейной обстановке. Насчет американского наследства будь спокоен: на конкурсе дураков в Ротонде получишь первую премию. Заметку из чикагской русской газеты набрал в Париже знакомый наборщик за 10 франков, которые мы уплатили сообщая и претензий к тебе больше никаких не имеем. А волосатую твою бородавку остригла на предмет сувенира Марина, когда ты в 3 ч. 15 мин. ночи (по парижскому времени) под стол свалился. С иллинойским приветом, любящие тебя кентавры».

Воробей, сквозь широкое окно глазевший на Кандыбу, вдруг шарахнулся в сторону и взлетел: с ума, что ли, сошел жилец? Чего он в розовом трико по комнате, как бешеная лошадь, носится и бутылки ногами лягает?..

<1925>

## ДИСПУТ

В ноябрьский слякотный вечер шестнадцатого года пришел в госпиталь лазаретный батюшка о. Василий. Маленькая русая борода клинышком, глаза, как у пятилетней девочки.

Дождевик в парадной повесил, с часовым у денежного ящика поздоровался (что батюшке по уставу как будто и не полагается) и вприпрыжку по широкой лестнице пошел в коридор.

— Ну, воины, добрый вечер,— давайте читать будем.

И книжечку тоненькую из рюкза вынул.

Сначала, как всегда, граммофон завели: кэк-уок, да прочее, что повеселее, сестрица подсунула, чтобы осеннюю госпитальную скуку развеять. Граммофон, признаться, был дрянный— хрипун и удушенник. Но где ж другой возьмешь.

Приползли из палат в коридор раненые из выздоравливающих, больные-гриппозники, дежурный ординатор на шум вышел,— раненые потеснились. Присел и он на край скамьи, тоже ведь человеку невесело по углам шагать.

А потом— чтение.

Оглядел батюшка добрыми глазами верблюжьи халаты, знакомым лицам улыбнулся и начал:

— Сочинение Николая Васильевича Гоголя. Вий. К ночи бы вам, господа воины, этой страшной истории читать не следовало. Да уж знаю вы, как дети, страшное любите. Или, может, что другое почитать, повеселее, ась?..

— Страшное, батюшка. Просим про страшное. Уж, пожалуйста, почитайте.

— Ну, уж, конечно...

«Как только ударял в Киеве поутру звонкий семинарский колокол»...

Читал о. Василий внятно и завлекательно. Разговор на разные голоса вел, где нужно басом, а в иных местах до бабьего писка подымал. А как дошел до страницы, как Вия в церковь ведут, так таким пронзительным шепотом чеканить стал, да с остановками, чтобы каждое слово проняло,— так иные в окна с опаской посматривать стали. Капли стучат, за стеклами мгла, гул и свист,— уж не Вия ли к ним ведут в 17-й полевой запасный госпиталь? Тьфу, тьфу, сохрани и помилуй!

Долго читал батюшка. Забыли солдаты о своей неласковой судьбе: кому в окоп возвращаться, ждать с часу на час шальной

пули между глаз, кому домой инвалидом со скрюченной ногой добираться. Притихли. Ушли в страшную повесть, с тревожным участием прослушали о горькой доле Хомя Брута, жуть полевая к мокрым стеклам приникла, теснее придвинулись халаты друг к другу на коридорных скамьях.

Кончил батюшка, ухмыльнулся, усталое лицо платком обмахнул и книжку в рукав сунул.

— Прощайте, воины. Поздно уж... Чего насупились? Говорил, что страшное к ночи бы не читать. Да, вот...

Пожал доктору руку, подмигнул ему на солдат и мышшиной побежкой исчез в коридорном сумраке.

\* \* \*

В четвертой палате, где тяжело раненых и больных не полагалось, у стены на койках разлеглась тихая компания и, поглядывая на затененную зеленой тафтой электрическую грушу, вполголоса разговорилаь.

Согнув горбом под теплым одеялом коленки, невидимый ефрейтор Костяшкин, по истории болезни мышечный ревматик, по характеру человек спокойный и обстоятельный, в деловитом раздумье покрутил головой:

— История. Ему бы самую малость удержаться, а он, дурень, смяк. Зрак выпучил, все труды пропали даром. Уж, конечно, сотник бы ему отвалил по обещанию. Может и в эконома к нему бы попал, жил бы, лучше не надо. Баран и есть, стойкости, братцы, в человеке не хватило.

— Тебя не спросил,— сипло отозвался сосед раненый и, раскурив потаенно зажатую в кулаке папироску, озарившую на миг щетинку усов и сердитые глаза, тяжело перевел дух.— Ты, елова голова, того и не понял, что бурсак этот русский настоящий характер в себе обнаружил. Стойкость русскую проявил, а не то чтобы смяк... Нутренний голос ему приказывает: «не гляди, погибнешь, с... сын»... а он наперекор. Наплевать. Хоть погибну, а взгляну, оченно я вашего Вия испужался. А ты про деньги... награждение... Эва, очень он про это думал. Немец, чи, скажем, австриец какой, конечно, до конца бы постарался, свою линию бы довел: и жив бы остался, и панским арендатором бы стал. Ему это первый интерес. Да жену бы себе из Германии выписал, страна вольная, дураков много, живи. А наш хлопец настоящий оказался. Раз, и готово. Сам погиб, да и чертям крышка: ишь головами, как летучие мышши, в церкви позастряли. Тоже вещь не сладкая.

— И чего это он не убег от холуев этих?— задумчиво спросил сидевший в ногах солдатик.— Предчувствие тяжелое имел, чего же тут в самом деле. Как они в корчме перепились, ему бы не пить, а на пол лить. А потом—ходу. С плену бегут, лесами-полями сотни верст отхватывают... Ужели пьяных казаков не

обмануть? Постегали бы его в бурсе, конечно, эка важность, а тем временем чертовку бы эту и зарыли. Жалость какая.

— А ты на войну хотел идти?—спросил, гася о подошву туфли папироску, раненый.

— Кто же хочет...

— Так чего ж ты не спрятался? Коли надо, так и в стогу, брат, разыщут. Да и не очень он боялся. Неохота было эту чертовку отпевать, точно, но долг свой сполнил, он же ее и жизни лишил. Ну и думал: свой грех замолю, может, и ей спасение вымолю. Да вон по-иному вышло. А бежал он так... для очистки совести. Разве так бегут, по-настоящему-то?

Писарь управления военных сообщений фронта, человек образованный, лечившийся в госпитале не от какой-нибудь там чесотки или ревматизма, а от болезни, можно сказать, офицерской,—застарелого ишиаса, давно снисходительно прислушивался к солдатской болтовне и не выдержал:

— Косолапость какая! Господин Гоголь для упражнения в стиле хохлацкое поверье обработал. Фольклор называется, специальная наука по совокупности народной брехни,—а вы и уши поразвесили. Бурсак, как человек высшего развития и даже до философии причастный, на женщине верхом ездить не мог, это во-первых. И бить ее по чем попало, как в вашем сером быту полагается, не стал бы. Это во-вторых. Что касается полета гроба внутри церкви с поднятием до потолка, то это несуразность, ибо как же гроб без пропеллера и бензинодвигателя летать может? А Вий с прочей чепуховиной чистая, можно сказать, беллетристика. Просто бурсак, под влиянием алкоголизма, принятого внутрь для ободрения чувств, впал в галлюцинацию, по причине которой и скончался, как дурак, от разрыва сердечной аорты... Про умершую тоже понимать надо. Может, она в летаргическом сне вставала,—поскрежещет и опять на место. Науке такие случаи доподлинно знакомы. А вы, обломы, и рты пораззевали. Публика.

Вокруг сдержанно покашливали. Ишь, наговорил, черт гладкий. Точно серной кислотой полил. Да и как же так: станет сочинитель мужицкую сказку пересказывать,—чай не баба на печи... Не глупее писаря был.

— А позвольте вас спросить, господин писарь, вы в Господа Бога веруете?—спросил кто-то темный тихим баском из глубины коек.

Солдаты повеселели.

— Вопрос несуразный. Отвечать бы тебе, идолу, не следовало, да уж...

— Соболаговолите...

— Конечно, верую... По долгу службы и присяги и соответственно со Священным Писанием, как на вселенских соборах отцами церкви и святителями установлено.

— Тэк-с. А в дьявола веруете?



— Ты что ж, экзамен мне производишь? Сам слов никаких не знаешь, а произносишь. Да знаешь ли ты, моржова голова, что есть дьявол? Алле-го-ри-я... Только и всего. Понял?

Бас сплюнул, сел на койку и твердо переменял тон.

— Ты, друг, ученых слов не загибай. Кака-така аллегория? Я тебе русским языком спрашиваю: в дьявола ты веруешь? Евангелие читал? Кто Христа на горе искушал? Дьявол. Простому бесу такое дело несподручно, рылом не вышел. Так что ж, тебе этого дьявола надо по штабным спискам провести, да на казенное довольствие зачислить,— без того не поверишь. Далее. Кто в свиней бешеных вонзился, когда они в море поскакали? Бесы. Стало быть, и дьявол есть и подручные его: бесы, лешаки, ведьмы и протчая. Одному дьяволу не управиться, да и по мелким делам ему возжаться не с руки.

— К чему это ты гнешь-то?

— К тому гну, что Вий этот, стало быть, один из его старших чертей.

— Это что же, вроде начальника штаба корпуса?— съзвил писарь.

— Ну уж, если ты иначе понимать не можешь, пусть вроде начальника штаба. Его, вишь, и позвали, когда мелкота с бурсаком не сладила.

— А ты его видал?— пренебрежительно спросил писарь.

— Може и видал. Что к ночи поминать... Да вы-то сами где до войны проживать изволили?— бас вежливо перешел на «вы», очевидно, готовясь к новому подкопу.

— Мы-то? В столице, конечно,— с достоинством ответил писарь.— Народ мы непонимающий, у нас этих чертей да ведьм летающих, можно сказать, и с пьяных глаз не увидишь. Не удостоились.

— В том-то и дело. В городе, друг, нечисти этой, точно— не водится. Да и что в городе черту делать, когда люди там хуже чертей. Там Вия этого и не узнаешь: манджеты нацепил, да орудует себе по коммерческой, либо по адвокатской части. А может, и в писарях околачивается, ты, друг, не обижайся... В деревне же, да еще в стародавней жизни, которую сочинитель этот описывал,— им раздолье, полная, можно сказать, жизнь. Леса, буераки, омуты, народ свежий, непорченный, в нечисть верует, она ему себя и оказывает... Так-то...

В дверь, звеня мензуркой и аптечными склянками, вошла сестра, сняла зеленую тафту с лампы, посмотрела по углам: все на местах. Знает она эти штучки.

— Опять шушукались? Другим спать не даете. Вот скажу завтра главному врачу, чтоб разговорщиков этих по другим палатам распределил.

— Да мы, сестрица, ничего...— хрипло шепнул с койки у прохода, блестя веселыми глазами, солдатик,— поговорили точно... Очень уж занятную вещь о Василии прочитали... А как вы

полагаете, сестрица, между прочим: есть ведьмы или это так, темный народ распространяет?

Сестрица усмехнулась.

— Вот не выпишу тебе завтра порции, тогда и узнаешь. Спи, а то лампу потушу!.. Тоже, умник какой!..

Солдат нырнул под одеяло и притворно захрапел. Кругом рассмеялись. А бас, отчитывавший писаря, зевнул и, обращаясь к сестре, возившейся у аптечного шкафика, сказал:

— Идиет он, сестрица... Как ведьма женского сословия, то неделикатно даже у женщин про них и спрашивать... Спокойной ночи, сестрица.

— Верно, верно,— рассеянно отозвалась сестра, взбалтывая склянку и глядя на нее на свет усталыми, кроткими глазами.

<1925>

## ПАТЕНТОВАННАЯ КРАСКА

В тихом отеле на окраине Парижа сидел в своем номере русский мальчуган Дима и скучал. Настоящее его имя было Вадим, но у шестилетнего человека все ведь маленькое: и башмачки, и курточка, и самое имя. В номере отеля не очень-то развлекаешься. Дима открывал и закрывал краны с горячей и холодной водой, выдвигал и задвигал ящики комода — понюхал завалившийся в комод колбасный хвостик... Неинтересно. Нажал кнопку звонка у дверей. Раз приделана, значит, надо нажать. Но пришла горничная и сказала, что если он еще раз позвонит, то придет пожарный солдат и откусит Диме нос. Странные пожарные в Париже! Подставил он стул к центральному отоплению, сел на него и сразу соскочил. Почему? А вот вы сядьте, так узнаете.

Тетя Маша все не возвращалась. Ушла после обеда по каким-то своим делам в город. Почему у взрослых всегда «дела»? Да еще дела такие несуразные. Прилетела из Марселя с Димой, чтобы закупить в Париже партию дамских нарядов прошлого сезона. В Марселе в бедных кварталах мода всегда отстает на полгода, и для тети Маши то было почему-то выгодно. Хорошо все-таки быть мужчиной: носи себе свою курточку и пиджачок до бесконечности и никакая мода тебя не касается...

Вот и сиди и дожидайся, как скучающий пудель какой-нибудь, которого из Марселя только потому и привезли, что не на кого было там оставить.

И вдруг за окном... О, это очень интересно! Стали в кружок люди, на цыпочки подымаются, друг другу через плечо куда-то заглядывают, а из середины звонкий голос, веселый такой, что-то рассказывает. Натянул Дима свой берет на голову,—швы так и затрещали,—слетел с лестницы леопардовыми прыжками—и на улицу.

Когда мальчик ростом с табурет,—танцевать за спиной взрослых на цыпочках не очень-то весело. Дима нырнул под локоть какой-то полной дамы, наступил ей на туфлю, не успел даже сказать «пardon» и сразу очутился в первом ряду.

Плотный румяный француз, склонясь над походным столиком, грел на керосинке воду и купал в маленьких жестянках какие-то тряпочки. И все говорил, говорил, говорил, точно его завели на целые сутки,—губами, руками, ногами... Даже чуб помогал, прыгал в такт словам и поддакивал: да, да, да!

«Мои краски ничуть не похожи на те бесполезные дрянные порошки, которые вы можете купить в любой лавочке! Выбрасывать франки в Сену никому не воспрещается: Сена не станет от этого богаче, но вы обеднеете! Мои краски красят все: шелк, сукно, гипс, дерево, бумагу, волосы, слоновую кость, меха и даже гусиные перья. Кипятить не надо. Вы высыпаете в теплую воду краску—раз!—и окунаете туда вашу вещь,—два!—через пять минут вы облегченно вздыхаете. Ваша вещь раз навсегда становится красной, как петушиный гребень, зеленой, как морская волна, лиловой, как фиалка, черной, как внутренности негра... Что кому нравится... Если вы хотите сделать любимому существу сюрприз, вы покупаете пакетик—один стоит франк, два—франк шестьдесят пять,—и красите гипсового поросенка или шелковый платочек или брезентовые туфли в любой цвет, как я это делаю на ваших глазах, господа! Вы хотите купить? Нет? Ничего, через две минуты вы купите! Вы хотите купить? Благодарю вас. Два пакета?.. Один. Еще кто? Торопитесь! Завтра я уезжаю в Мадрид, и это последний случай в вашей жизни, когда вы можете запасть такими изумительными красками...»

Дима стоял у самого ящика, нос его почти касался дымящейся кастрюльки. Разноцветные бульоны так вкусно и едко пахли... И вдруг одна его рука вытащила из кармана франк, а другая дернула болтающего человека за пальто (иногда ведь руки действуют раньше головы). А язык сказал робко и почтительно: «Дайте мне пакетик!..»

«Какого, друг мой, цвета?»—«Лилового...»—«Мерси, до свиданья! Видите, господа, даже дети не могут устоять!»

И только на лестнице своего отеля Дима понял, зачем ему эта краска. «Он же сказал, что можно сделать любимому существу сюрприз... Тетя Маша мое любимое существо, я ей и сделаю сюрприз!»

Дима скользнул в свой номер с пакетиком в руке,—вот и развлечение нашлось. А за ним пушистый толстяк, белый отельный кот. Утром он от Димы ломтик ветчины получил,—коты такие услуги ценят и помнят... Запер мальчик поплотнее

дверь, рукава засучил и за работу. На столе лежала тетина вязаная салфеточка, старенькая и вся в рыжих пятнах,— как же ее не покрасить? Тете Маше такой сюрприз и во сне не приснится!

Напустил Дима горячей воды в умывальник, литра два. Всыпал в воду тонкой струйкой порошок, и вода стала лиловая-лиловая, лиловой сирени, прозрачной аметиста. И стал купать салфеточку аккуратно и осторожно, чтоб брызги, не дай Бог, паркета не закапали: ведь отель!

Выкупал, отжал, лиловую воду в трубу сплавил, а чтоб не слышно было, как вода бурчит, стал громко кашлять. Умывальник начисто вымыл. Не салфетка, а фиалковый коврик!.. Разостлал на полу толстую оберточную бумагу, сверху газету, сверху опять бумагу— и разложил, расправил салфеточку,— пусть сохнет. А белый кот кругом ходит, о комод трется, о стул трется, о Димины ноги, и все ближе к салфетке на пружинных лапках подбирается: любопытно, никогда в отеле он таких штук не видал. Носом кислый воздух потянул и вдруг, не успел мальчик ахнуть, прыгнул кот на салфетку, перевернулся на спину и давай валяться и урчать. У котов всякие ведь фантазии бывают...

Дима смеется: пусть, пусть повалется, салфетка скорее просохнет. Но когда кот встал, мальчик чуть со стула не свалился: лиловый кот! Вся спина, как темно-сиреневый куст... Да ведь теперь весь отель сбежится, что будет?! Ведь тетя же просила, чтобы он, не дай Бог, чего не натворил. Разве ж это он натворил? Это кот натворил. Что делать, что теперь делать?!

А в дверь стучат. Это всегда так бывает: чуть несчастье, сейчас тебя тут и накроют... «Сейчас, Господи...» Дима кота под мышку и скорей его в ночной шкафчик, кот лапы растопырил, еле удалось втиснуть. Вошла горничная (Дима лиловые руки за спину, салфетку успел под кровать ногой задвинуть) и спрашивает мальчика: «Наш кот не у вас?»— «Нет... он на улицу гулять пошел. Сегодня такая хорошая погода!» Посмотрела она во все углы— и вышла.

Благородный кот, представьте себе, даже не мяукнул.

Вытащил его Дима, стал газетой вытирать. Куда там! Еще ярче стал, краска и на живот пошла, и вдоль лап, и по ушам: прямо лиловая зебра. Продавец же ручался, что краска прочная, до самой смерти не сойдет. А кот к нему на колени нацеливается прыгнуть...

Заметался Дима, но крепко помнит, что дела так нельзя оставить. Завернул кота в бумагу, нос в коридор высунул—никого. Побежал в конец коридора, кота на пол опустил и скорей к себе. У дверей оглянулся— все в порядке: крашенный кот в чью-то полуоткрытую дверь шмыгнул— жилец, очевидно, на минутку вышел.

Главное сделано. Салфетку с бумагой с черного хода вынес и проезжему молочнику подбросил,— пусть себе кашне сделает.

Вернулся в номер, руки тер-тер и мылом, и тетиним одеколоном, и о каминные кирпичи. Наполовину отмыл. Что ж он врал, что краска не отходит?

Сел у стола и стал тихо-претихо сам с собой в домино играть.

Играет и одним ухом прислушивается: когда же в коридоре сражение начнется? И началось! Хозяйка закричала басом, жилец дискантом, потом горничная, потом хозяйская дочка, потом все жильцы посыпались сверху и снизу.

Нельзя было Диме оставаться в стороне. Выскочил и видит: все у жильца в комнате столпились, на белом одеяле фиалки расцвели — все в пятнах. Любимый кот в старое полотенце завернут, мяучит, ничего не понимает: он ведь один не знал, что он лиловый.

— Кто так посмел над ним надругаться? Вы мне, сударь, и за кота и за одеяло ответите!..

— Я?! — завизжал жилец. — Я?! Он ко мне вошел крашенный, я вам, мадам, не кошачий красильщик... Я у вас третий год живу, ноги моей здесь не будет после ваших слов!..

Другие жильцы заступились, стали на хозяйку кричать, и хозяйка заплакала. Отельные хозяйки плачут редко, но случай был такой особенный.

И все стали свои предположения высказывать: выкрасили ли кота в насмешку или он сам по легкомыслию выкрасился.

А Дима вперед просунулся и вежливо говорит: «Вы, мадам, извините. Я — маленький, но кое-что понимаю. Внизу из аптеки в бак на черной лестнице всякую дрянь выбрасывают, может быть, ваш кот там и перемазался...»

— Ах, какой умный мальчик! Конечно, конечно. Ведь это же анилиновая краска... — и побежала хозяйка аптекарю сцену делать.

Разве Дима соврал? Во-первых, кот сам выкрасился, а во-вторых, мог же он и в баке выкраситься... второй раз.

Убежал опять к себе. Представление было окончено, — и сел в домино доигрывать.

\* \* \*

Тетя Маша вернулась поздно. Все в порядке. Носом только потянула: «Почему это в комнате воздух такой кислый?» — «Это ты утром лимон резала», — сказал Дима. Выпил свою порцию молока и раньше обыкновенного в постель. «Ты что же, Дима, нездоров?» — «Нет, тетечка, просто спать хочется». — «Ну, спи: Бог с тобой!»

Ходит тетя по комнате и все думает, привезла она с собой салфеточку или ей только показалось, что она утром на столе лежала? Не стоит, впрочем, о таких пустяках и думать.

А Дима лежит в постели и соображает: тетя не раз смеялась, что он во сне разговаривает. Вдруг он ночью все и разболтает?

И тихонько-тихонько вытянул из курточки носовой платок и завязал себе рот. Ночью и через нос дышать можно.

# ПОЛНАЯ ВЫКЛАДКА

(ПОДЛИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ)

На воде ноги жидки, а на вине  
жиже того.

(Поговорка)

В кабачке «Мистраль» было шумно, мутно и весело. Спустились с холма в приморское местечко похожие на першеронов, в широченных плисовых штанах, бормские каменщики — народ грузный и спиртуозно-емкий. Немало было и местных рыбаков, врагов рыбьего царства от Тулона до Сен-Рафаэля, пьющих редко, да метко. Забрел кое-кто и из пограничных итальянцев: шоссейные рабочие, темноглазые веселые ребята — они еще на пороге, не хвативши ни одной рюмки, казались в легком подпитии. Такая уж беспечная, птичья порода.

Лукавая, смуглая, словно гранат, хозяйская дочка Жильберта чувствовала себя за стойкой, как на капитанском мостике. Наливала капля в каплю, соразмерно рюмкам и бокалам, аперитивы, вермут и терпкое местное винишко, успокаивала взмахом бровей горланов и улыбалась фонтаном улыбок налево-направо, до самых дальних углов.

Перед стойкой, бережно, словно хрупкий фарфор, поддерживая друг друга, покачивались русский агроном из соседнего залива Арнаутов и застрявший в местечке русский художник Редько. Электрические груши в мутном радужном сиянии дробились в глазах. Аперитивные плакаты корчили рожи и уплывали под потолок. Пестрая галдящая толпа сливалась в ухмыляющуюся многоголовую харю... Порой то та, то другая посторонняя лапа добродушно хлопала русских по плечу, прикасалась рюмкой к рюмке, проливала капли яблочной водки на свинцовую стойку.

Арнаутов и Редько нагрузились до ватерлинии: вермут «Кап Корс», на вермут бессчетные рюмки острозеленого пепермента, а сверху джин. Джин!.. В одном звуке — шестьдесят градусов. Да еще на французский манер — без закуски, в теплой низкой зале, на утренний фундамент, в котором тоже никто рюмок не считал.

Приятели с трудом рассовали по карманам сдачу — (Жильберта не обманет!), — вежливо раскланялись со своими двойниками в туманном зеркале и кое-как продрались сквозь камышовые висюльки сквозной завесы на улицу.

Две луны... Качаются мохнатые звезды. С угла потянуло олеандром и дохлыми креветками. Под ложечкой... морской спрут. Вообще — Кап Корс!

Коренастый художник крепко уперся в землю, привел вихляющего агронома в перпендикулярное к шоссе отношение и вспомнил:

— Полуоборот направо!.. Направление на дом с острой крышей. Только ты, Павлушка, сними в коридоре свои броненосцы...

Пансион у нас семейный, приводить четвероногих можно только на неслышном ходу... А то хочешь я тебя в купальной будке устрою? Кофе сварим со сгущенной... коровой. Я ж почти не совсем не пьяный...

Но у агронома только ноги развинтились, голова еще кое-куда годилась:

— Чтоб я на свое рождение без башмаков по коридору унижался? Ты что ж, дезертирская твоя душа, придумал? В кусты?.. Кофе с молочком?.. Редько! Кто старше по службе?

— Ты.

— Полуоборот нале-во! Направление на пристань... Шагом аррш!.. Лодку мы зря сюда пригнали? Едем ко мне. Я посреди залива при лунном освещении... хором петь буду. Французские законы не воспрещают.

— Брось. Ты и на твердой земле сам себе на язык наступаешь.

— Я-то? Отпусти, хлюст, руку,— посмотрим, кто кого ведет...

Арнаутов рванул руку и, к своему удивлению, тотчас же очутился на крылечке булочной шагах в трех в противоположном направлении.

— Случайность. По причине полнолуния... На воде я зато, как... несгораемый шкаф. Едем.

Характер у агронома был сталелитейный. Редько знал, что теперь его от воды и зубами не оттащишь. Не то перепил, не то недопил. Надо ему разворачиваться дальше... Да почему бы в четыре весла не докатиться до соседнего залива? Море тихенькое. Две луны... Маяк на мысу подмигивает, путь указывает. Даже два маяка как будто... Спокойнее, значит, ехать. И арнаутовский глинтвейн с ромом из-за далеких скал душе светит. А море что ж? Жидкость и больше ничего.

У мостков лодочная цепь долго не давалась в руки, и ключ никак не попадал в замочную скважину. От электрического фонарика тоже помощь небольшая, особенно когда его уронишь в воду, и он со дна светит. Лодка прыгает, вода танцует, под носом луна расплывается. По бокам пьяные яхты чайками покачиваются... Кап-Корс!..

Намотал агроном цепочку на руку, дернул — звено пополам. На четвереньках сползли с мостков в вертлявую лодку. Разобрали весла. Арнаутов смазал лопастью по затылку художника, но где ж там, в темноте, после джина затылки различать. Особенно, если хлопнувший — старше по службе.

Нескладно заплескались по воде весла. Рыбак, даже не из старожилов, по звуку сразу разобрал бы, что гребцы растворившейся в лунной мгле лодки провели вечер в «Мистрале». Но где же это сказано, что по Средиземному морю одни только трезвые кататься должны?..

Морская прохлада, легкий соленый ветерок смывали на мгновение хмель, проясняли глаза, но колыхание лунной дороги, толчки от бестолковой гребли развозили все больше, гнали муть от подложечки к мозгам и обратно.

Берег качался вдали ниточкой фонарей. А может, это и не берег, а борт марсельского парохода? Весла цеплялись ребром за ребро. Гребцы то командовали друг другу, вспоминая «кто старше по службе», то начинали враз, стараясь не зарывать лопасти под самую лодку, как суповые ложки в лапшу. Но что ж стараться, если весла пьяные?

Агроном машинально из всех небесных и земных огней держал направление на маяк и время от времени покрикивал:

— Левым веслом круче!.. Левым... Той рукой, на которой пальца нету... Левоу!!! В Алжир тебя тянет, что ли? Голову оторву!.. Ты чего ж в другую сторону грести стал, сельдь керченская?

— Для перемены кровообращения.

— Я тебе перемену! Художник ты, Степа, говорят, замечательный, а моряк из тебя, как из кактуса зубочистка... Лимончика бы теперь пососать. Ползалива бы за этот фрукт отдал.

Художник в поисках за воображаемым «лимончиком» заглянул под скамью. Весла столкнулись, рукоятки, как крабы в корзинке, сцепились друг с другом... Пролетавшие над лодкой чайки, хотя русского языка они не знали, шарахнулись от словесного дуэта сконфуженно в сторону...

Кое-как, однако, с полдороги отмахали. И когда на повороте к лесистому мыску над лодочными сараями в комнате старого рыбака Фолиаса тускло заблестала далекая знакомая лампа,— гребцы перевели дух, бросили весла и потянулись к папиросам.

Арнаутов сполз со скамьи и вытянулся вдоль дна на сквозной решетке... В голове поплыла звездная карусель. Однако он не сдался. Затянулся, сплюнул за борт и раскрыл пасть:

— «Из-за острова на стержень...»

Пел он «хором» редко, но когда пел, действительно казалось, что на прибрежных скалах ревет целое стадо влюбленных моржей. И в любимой своей песне темное слово «стрезень» всегда заменял более понятным «стержень»...

Редько сидел на корме и взволнованно шарил по карманам.

— Стой, черт, бык иерихонский! Ведь вот какая досада.

— Подтяжки лопнули?

— Хуже...— Художник сердито шлепнул веслом по воде.— Капли я свои сердечные в пансионе забыл... Ведь вот, связался черт с младенцем. Надо было ехать...

Арнаутов оглушительно заржал.

— Какие же тебе, душечка, капли помогут, когда от тебя джином на два километра несет.



— Врач предписал. Даром я, что ли, пятьдесят франков за визит загубил?

— Пить он тебе тоже предписал? Охра ты стоеросовая...

— Капли и джин друг друга... нейтрализуют. Ты человек серый, агроном. Удобрять землю можешь, а в высшую медицину лучше не вдавайся. Спичку лучше дай. Мои подмокли... Что же я теперь, убей меня Бог, без капель делать буду?

Редько, грузно навалившись вбок, потянулся за спичками. В тот же бок завалился и шарящий по дну Арнаутов.

И... с фантастической быстротой высокий медицинский разговор оборвался... словно грузная утка, лодка перевернулась с борта на борт и всплыла килем кверху. Лунная рябь неистово заплясала, и из воды показались две, разделенные лодкой, обалдевшие до неузнаваемости головы.

— Стоишь?! — отплевываясь, прохрипел ошеломленный Арнаутов.

— А ты?..

— Стою.

— Почему же мы стоим? — скользя рукой по лодке, спросил, заикаясь первый раз в жизни, но трезвым голосом Редько. — Ведь до берега, Гос-по-ди, кусок-то какой...

— Болван, шапку сними! — сердито через лодку крикнул агроном.

Испуганный художник послушно сбросил с головы прилипшую кепку.

— Бог спас! На подводной скале стоим... На единственной подводной скале между двумя заливами... Понял? Здесь, брат, средней глубины этажей на двадцать хватит... с гаком.

Художник оторопело перекрестился и застучал зубами.

— Ничего, ничего, Степушка. Не робей, живы будем. Весло перейми... Справа! Да справа же, пес! Кто старше по службе?! Ну вот. Не сходи с места! Голову оторву...

Арнаутов нырнул под лодку и вынырнул рядом с Редько. Подвели вместе руки под борт, рванули... жить захочешь, силы вдвое прибудет — и оторвав борт от воды, перевернули грузную лодку скамьями кверху. В лодке маслянисто колыхалась вода. Выкачивали шапками и всплывшей у кормы жестянкой. Работали молча и быстро, как на пожаре. От вермута, пепермента и джина в голове ни одного градуса не осталось.

Сначала полез в лодку коренастый художник, — Арнаутов по горло в воде придержал вертлявый борт. За художником, отогнав его к другому краю, осторожно балансируя, перенес в лодку ноги, обутые в тяжелые американские ботинки-утюги, и Арнаутов.

Молча взялись за весла. Гребли молча и быстро. Весла плавно ложились одно в одно, с вывертом разворачивались, уходили назад во всю длину до отказа и рвали воду словно на морских гонках... По ногам гулко переливалась черная вода. Маяк уже не двоился и излучал с перебоями на далеком выступе серебряный сноп.

Шапок не надевали до самого берега. И с каждым броском, приближавшим к залитому лунным дымом лесистому мыску, в душах разгоралась неукротимая радость: живы!

\* \* \*

В два часа ночи на русском хуторе за прибрежными соснами вскинулись с лаем собаки, но тотчас же, подобострастно повизгивая, смолкли: пришли свои.

Тетушка Варвара Петровна встрепенулась на своей скрипучей койке, зажгла свечу и прислушалась.

— Брандахлысты пришли. Ну, теперь до зари карнавал пойдет... Не могли, идола, в местечке допить... По всем заливам нелегкая носит...

Но «карнавал» вышел не совсем обычный. В лунное стекло робко постучал справлявший третьи сутки день рождения племянник-агроном и под сурдинку заскулил покорно и ласково:

— Тетя Варя, отомкните... Утонули мы со Степой, честное слово. Прямо к вам из подводного царства верхом на весле доплыли.

Второй брандахлыст заискивающе добавил:

— Пожалуйста, тетя Варя... Блажен, иже и скоты милует.

Варвара Петровна замоталась наскоро в свое одеяло на манер римского сенатора, бросилась к окну и надставила ладони к глазам.

Действительно... утопленники. Со штанов горные потоки, пиджаки и сорочки облипли, волоса словно морские водоросли по циферблатам размазаны...

Что за история?! Ливня, кажись, не было — двор сухой. Где же это они так намокли?

— Переодеться бы нам, тетя Варя... — снова заныл художник. — Добрей вас во всем Варском департаменте женщины нет. А я уж за это завтра портрет ваш в одеяльце, с родинкой на плечике, во весь рост напишу...

— Тьфу, охальник!

Варвара Петровна запахнулась и кинулась к комоду. В комнаты утопленников не пустила, — тряпок не хватит лужи за ними подтирать. Выбросила в окно на веранду две сухих переменки белья, да капот свой с хризантемами — художнику, да старую портьеру, что под рукой нашла, племяннику завернуться. Чем не карнавал?..

Брандахлысты переоделись и сконфуженно вошли в комнату, стараясь не стучать по асфальтовому полу своими американскими копытами. Пыхтя и чертыхаясь, долго развязывали набрякшие на шнурках ботинок узлы и смущенно, точно самим себе не веря, какая беда прошла над головой, — рассказали тете Варе, что с ними стряслось в море.

Тетя Варя только пухлыми ладошками всплескивала, ахала и крестилась... Голоса трезвые, глаза кроткие, испуганные. Как у горлинок после грозы.

— И сильно выпивши были? — недоверчиво спросила она.

— Полная выкладка! — авторитетно доложил племянник. — Сама Жильберта точку поставила. Ни в кредит, ни за наличные. Чего уже больше... Только под водой в себя и пришли.

— Чудо Господне... Ангел-хранитель место выбрал, не иначе, — задумчиво произнесла Варвара Петровна.

— Его или мой? — любознательно обратился к тете Варе Редько.

— Ты что ж, басурман, никак надсмеаешься?

— Я... ничего, тетя Варенька. Уж и спросить нельзя?

— Твой ли ангел, либо его, либо оба вместе — не вашего ума дело. По мне и заботы вы такой не стоите... Достойнейшие люди тонут, младенцы невинные, а захочет Господь — шелудивую овцу из пучины вытянет.

— Спасибо, Варвара Петровна.

— Не на чем, изумруд мой. Вы б теперь оба, по-настоящему, покаяние на себя наложить должны. Совесть-то не одним джином обмывается...

Племянник решительно крикнул.

— Мы, тетя Варя, окончательно теперь пить зарекаемся.

— От Вознесенья до нового поднесенья?

— Будьте покойны. После сбора винограда чуть-чуть, уж это не в счет, чтоб соседи не обижались. А вообще... мухи не обосем.

— Давай Бог. А что ж это дружок твой дрожит? — тетя Варя покосилась на художника.

— Промокли мы, как кефаль. Да потом в мокром платье гребли, вспотели. Каждый дрожать будет.

— Ладно. По рюмке перцовки, так и быть, дам.

— Очень уж промокли... — задумчиво подтвердил художник. — По стаканчику бы следовало.

— А зарок?

— Что ж... Ведь это же не пьянство, а вроде лекарства в предупреждение подводного гриппа.

Тетя Варя рассмеялась, отмерила брандахлыстам по стаканчику и пошла в чуланчик прятать перцовку в потаенное место.

Вернулась и строго сказала:

— Спать пора. Сбрую вашу мокрую я уберу. Ступайте с Богом, не до зари тут с вами файф-о-клоки перцовые распивать.

\* \* \*

В надконюшенной пристройке приятели долго ворочались на певичих пружинных матрацах и вздыхали. На птичьем дворе за скрипела спросонья цесарка. Сквозь качавшиеся сосновые лапы

проплывало в окне бледное облако... Глухо шлепнуло невидимое море. Перцовка теплыми струями пробегала под кожей. Хорошо на твердой земле!

Редько оторвал прилипшую выше локтя ленточку морской водоросли и подумал вслух:

— Да-с. «И в распухнувшее тело раки черные впилась...» А тетя Варя, пожалуй, права. Я бы, например, на месте ангела-хранителя очень и очень подумал—стоило ли спасать такое золото, как мы с тобой.

Агрономический бас сонно и кисло отозвался у противоположной стены:

— Тебя, может быть, и не стоило. А о других попросил бы не выражаться.

1928  
Февраль

## КОЛБАСНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ

(РАССКАЗ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА)

Человек я не суеверный, некогда в эмигрантской жизни таким пустякам предаваться. И, по логике рассуждая, черному коту, либо проезжающему покойнику, либо католическому попу поперек прохожих передвигаться по Парижу приходится. Не на аэропланах же им перелетать.

Тем не менее, с некоторых пор русские объявления за салатом пробегая, стал я задумываться. Печатают же. Не зря Гутенберг свой наборный шрифт изобрел...

*Предсказываю прошедшее, рассказываю настоящее, заглядываю в будущее. Брюнетам скидка. Имеющим свою квартиру—льготные условия платежа. С оккультным приветом, Веранда Брахманутра.*

И личико изображено соответственное.

В скидке я (хотя и бывший брюнет) не нуждаюсь. Подножные франки, слава богу, не перевелись. Перфектум и презенс меня тоже не интересуют. И даром известно: несла наша курица в прошлом золотые яйца; курицу зарезали, яйца разбили, пух по ветру гуляет... А кто ее зарезал, до сих пор на диспутах спорят. Может, интеллигенция, а может, и неграмотные...

Настоящее наше вроде братской могилы. Что в ней зря ковыряться? Но вот будущее, футурум, как выражались древние греки,—вещь заманчивая. Вроде маяка на неизвестном острове. Может, там финики сами в рот падают, может, там вроде собачьей пещеры близ Неаполя: тварь высокого роста выживает, а низкорослая ноги протянет.

Дела разные наворачиваются. Стоит перед тобой как бы эмигрантский столб, а на столбе написано: пойдешь прямо — последний капитал потеряешь, пойдешь вправо — из Франции вышлют, пойдешь влево — компаньон зарежет... Неразменным рублем, однако, тоже не обзавелся. Ждать нельзя. Мысли, сомнения — как быть, с кем посоветоваться? Вдов я, живу в мебелированных, на манер бесплодной смоковницы... Сын один в Африке фельдшером, неграм пива к пупкам ставит; другой в Риге в танцклассе на какой-то собачьей кишке играет. От таких, хоть и по радио, какой же совет.

От французов тоже толку на сантим. «Са-ва, са-ва»... Как, мол, поживаете? А чуть ты ему начнешь про ишиас свой рассказывать или что вчера во сне видел, его и звания не осталось. Так, больше для упражнения в вежливости спрашивают.

Со своими земляками тоже разговор короткий. Каждый, как кот в океане, барахтается в неизвестном направлении. Компас в ломбарде, во рту горькая соль. Станет тебе такой советовать...

Стал я свое довоенное образование перетряхивать. Окончательным интеллигентом сделаться не успел, пришлось в Рязани после отца переплетное дело разворачивать. Кормился — ничего. Тогда книги переплетали, теперь только зачитывают... Прогимназию успел все-таки кончить: векселя и любовные письма писал без ошибки.

Стал я вспоминать. Верили же классические разные личности в ауспиции, по кишкам-внутренностям гадали. Гороскопы тоже астрологи составляли: по планете, проходящей через меридиан дня рождения, все штатские и военные операции предсказывали. А уж пифии совсем вроде гадалок были. Только бесплатно работали и серой от них пахло. Да еще сидели не на четвероногом акажу-кресле, а над пропастью на трех ножках. Разница несущественная. Александр Македонский насчет плана кампаний гадал, Клеопатра, может, на внутренностях любовников в будущее заглядывала... Сам Конан Дойл, мировой автор полного собрания походов, у загробных сыщиков насчет подброшенной младенческой ноги неизвестной национальности мнения спрашивал. Ужели я, Иван Трофимов, рязанский переплетчик, скептические вензеля выводить буду? Глупо.

Взял карту Парижа, разложил на сомье. Улицу разыскал, метро красным карандашом обвел, котелок рукавом навошил, с ботинок мебелированной салфеткой пыль веков смахнул — поехал. Потому подробно все описываю, что случай, действительно, выдающийся...

\* \* \*

По дороге все думаю — правильно ли я к ней, к Брахмапутре, в коричневой тройке, как парикмахер на панихиду, заявлюсь. Может, визитку бы рязанскую надеть (она у меня вроде мумии

Тутанхамона, без износу!). Случай все же торжественный, все равно что судьбе визит наносишь. Да и дама ведь она, пифия-то эта монмартрская. Доктор оккультных наук, почетный член бабелмандебской теософской академии — пес натошак не выговорит... Про хвост ничего не сказано: с хвостом она, как по Гоголю ведьме полагается, или, так сказать, в уровень с модой — отрубила...

Высочил из метровой дырки. Совестно. Будто голый в витрине лежишь, а на грудях этикетка: «Вот старый дурак к гадалке собрался». Идти, не идти? Решил положиться на оккультную арифметику: если первый автомобиль на три делится — перст судьбы, надо идти. Пляжу — из-за угла выкатывает, и сзади, так я и ахнул: 567. Четыре раза, подлец, делится! Не пойдешь — рыбьей костью, чего доброго, в наказание за обедом подавишься...

Поднялся я на третий этаж; лестница тухлой консержкой припахивает. Ткнул я кнопку, дверь как дверь — ничего магнетического.

Отворяет этакая Агаша, домашняя рабыня российского привоза. Глаз голубой, веселый, вся в припухлостях. И румянец естественный — арбуз астраханский в разрезе. Даже отодвинулся я немного. Не затем-с пришел.

— Погадать, батюшка? Пожалуйста в ожидальную, номерок я вам очередной выдам.

— Да там много народу ли?

— Слава богу. Табурет дополнительный из кухни принесла.

— Ну, мать моя, я после зайду. Некогда мне в хвосты гадальные у вас становиться...

Конфузно стало. Не предбанник тут, гром их побей... Буду я себя, солидный человек, ножки под табуретом поджавши, на общий позор выводить.

Рабыня, однако, свое дело знала. Дверь за спиной щелк, сама у меня палку и котелок из рук, словно у грудного младенца, берет, голосок под сурдинку перевела:

— У нас, сударь, многие из мужчин стесняются. Не сомневайтесь. Коридорчиком я вас в столовую проведу. Уж вас там и водолаз не найдет. А если вы мне пять монет на сберегательную книжку пожалуete, я вас промеж двух барынь вне очереди втисну.

Втискивай. Что ж поделаешь, если в пятьдесят пять лет сдуру в гадальную мышеловку влетел.

— Занятие ваше, — спрашивает, — какое?

— Тебе зачем?

— Да так... На капитана одного черноморского очень вы в профиль похожи.

— Гм... У меня, душа моя, и профиля почти нету: разнесло от мебелированной сидячей жизни. Занятие мое в прошлом сухопутное... Переплетное дело в Рязани держал. А теперь к колбасному производству тяготение имею. Впрочем, тебе это ни к чему... Поворачивай пятки.

Вхожу в столовую. Действительно, кроме летающей моли, никого. Да в дальнем углу на мои шаги проснулся на жердочке ревматический попугай, пегий старик. Почесал себя меланхолическим клювом под мышкой и этак отчетливо, барственным баском по-русски на всю столовую хрипло выразился:

— Еще один.

Я от удивления даже пиджак на верхнюю пуговицу застегнул.

— Кто же это,—спрашиваю,—еще один?

А он в ответ без всякого стеснения (разве ж он, дьявол носатый, не на деньги клиентов свои насущные семечки лущит?)—прямо мне в нос традиционно ляпнул:

— Дурррак.

\* \* \*

Впрочем, в дураках я, слава Богу, не оказался. Совсем наоборот. Провела меня Агаша сквозь коридорные Фермопилы, в дверь по телеграфному коду постучалась: мужчина, мол— солидный—с икрой.

Впустили. Сидит в обыкновенной венской качалке этакий кулич необъятный. Щечки—земляничное желе, грудь на пульмановских корсетных рессорах, глаза—две коринки,—ничего мистического. Что ж, может, у нее главная сила внутри скрыта. Как жемчуг в устрице... На столе тоже ни черепов, ни змей в банке. Самая ordinaria бутылка мадеры да халва на блюдечке.

Поздоровалась за руку и завела сразу. Весь свой гадальный преискурант выложила:

— Желаете на картах в две колоды с вариациями? За прошлое десять франков приплаты. Или по-болгарски на кофейнотурецкой гуще? Специально для пожилых особ, которые еще не погасши... Можно и по руке, по разверстой ладони, полная хиромантия души со всеми буграми, линиями и перекрестками за 25 франков. Многие тоже по почерку, как на рентгеновской скелетной фотографии, обнаруживаются. Способ особо научный... Выбирайте.

Я ее сразу и укоротил.

— Если я к вам, как к врачу по внутренним душевным болезням пришел, с какой стати я сам для себя лечение выбирать буду? Банки ли мне наружные ставить, или цитварное семя внутрь принимать? Это, простите, вашу фирму не рекомендует.

Она насупилась, зубами и корсетом скрипнула и говорит:

— Я и без вас знаю, какой способ кому соответствует. Мне только надо было тембр голоса услышать, чтоб фибры ваши сообразить. Голос у вас тихий, но несимпатичный... А гадать я вам по книжной рулетке буду... Покажите, между прочим, вашу руку. Гм... Бугор Юпитера у вас вон как выпячивается. Властолюбие.

— Действительно,— отвечаю,— Каракалла во мне тайный сидит, только наружу выйти не может. Французские законы не позволяют.

Покосилась она на меня вбок, насмешки не поняла, образование не такое...

— Может быть, желаете десять франков доплатить, попугай вам из урны билетик с настоящим вытянет.

— Спасибо, матушка. Он мне в столовой бесплатно уже все изустно сообщил. Прошедшим не интересуюсь: подобно оно одуванчику на могильной плите. А настоящее, пока мы болтаем зря из пустого в порожнее, в прошедшее переливается. Дело мое серьезное, ответственное. Одна нога здесь, другая там, посредине Рубикон. Либо из меня золотой телец выскочит, либо собачий хвост в репейнике. Не томите, матушка, прошу вас покорно.

— Так бы сразу и сказали.

Снимает она с полочки над головой пузастенькую книжечку. Жест франкмасонский сделала, открыла где попало и спрашивает:

— Правая страница или левая? Отвечай сразу, не подумавши, будто кто тебя шилом в бок колет.

— Правая.

— Строка какая?

— Двенадцатая.

— Сверху или снизу?

— Снизу...

Повела она пальцем, нашла и... читает:

Свиную щетинку в кудри не завьешь.

— Скажи на милость! Ведь это ж прямо намек. Валите,— говорю,— дальше.— Опять она раскрыла.

— Страница?

— Правая!

— Строка?

— Семнадцатая!

— Слева?

— Справа!

Около кости мясо слаще...

Так я и взвился. Ясный намек на колбасное производство. Ну, до трех раз... валите, Веранда, как вас по батюшке... Брахмапутровна.

И представьте себе, по третьему разу полное, можно сказать, подтверждение:

Свинья чешется — к теплу, а визжит — к ненастью...

Вот тебе и суеверие! Прямо в мою свиную мишень все три стрелы.

Выпил я воды, паузу сделал — взволновался очень. Что в самом деле за колбасный спиритизм?..

А она сидит, перстами играет, улыбка во весь медальон: что, мол, фирма моя тебе нравится?



— Как же,— говорю,— сударыня, вы так навели, что все мои колбасные мечтания перед вами, как на ладони, вскрылись?

— Кто, милый, каким товаром торгует: один обыкновенными сосисками, другой высшим животным гипнотизмом... Теперь я вам самое существенное за тот же гонорар и предскажу. Недорогую подержанную машину для производства небось ищите?

— Ищу.

— И мастера, который непьющий, из русских?

— Господи! Третью неделю по всем газетам объявление тискаю.

— Помещение тоже, поди, требуется? Бай на девять лет, да на окраине, чтоб колбасные твои ароматы жильцам не мешали?

— Прямо в точку!

— Ну ладно. Открывай смело. Моя рука полевого ветра легче. Какое имя?

— Иван Трофимов.

— В крутом буераке лютые собаки. В лес дорога, на пупке тревога, внутри ярмарка... На море, на взморье, на белой салфетке, в бурой жилетке сидит раб Иван под деревом-лозою, торгует ливерною колбасою... Ступай теперь домой, а вечером наведайся. Насчет непьющей машины, подержанного мастера и всего прочего все тебе точно обскажу...

Устала, бедная, от напряжения фибр — заговариваться стала и глаза прикрыла. Даже серой, могу сказать, запахло... Сунул я ей за ошейник двойную против таксы мзду и на цыпочках вышел. С лестницы от радости козлом скатился... Вот тебе и суеверие!

\* \* \*

Дело мое (тьфу-тьфу!) теперь на мази. Мастер только тогда и пьет, когда я сам запиваю,— надо же хозяина уважить. Машина подержанная попалась прямо как новобрачная. И помещение — ателье первый сорт. Все она — Брахмапутра...

Чайная, ливерная, охотничьи сосиски, полендвица так залпом и расходится. Не то что среди эмигрантов, этих не удивишь — французы народ гастрономический, нарасхват берут. А что процент гороховой муки в чайной колбасе у меня выше нормы, наплюйте тому промеж глаз, кто говорит. Из зависти. Горох — не стрихнин... Хоть розовое масло клади, все равно брехать будут...

Гадалке, конечно, каждое первое и пятнадцатое разного свинства посылаю: она для меня все равно что Муза, все дело направила, нельзя свиньей себя оказать. И Агаше перепадает. Разживусь еще, перетяну ее в свой розничный — кассиршей. Руно ей на голове подстричь, совсем вроде пасхального поросенка, — симпатичная дамочка выйдет.

А книжку, по которой гадалка колбасную мою судьбу мне раскрыла по дружбе я у нее на подержание взял. «Том второй, пословицы русского народа, собранные Далем».

Пробовал было на разные случаи сам себе гадать — фасон не тот. Я о скоропостижной любви, к примеру, загадаю (в 55 лет в Париже только бодрая осень разворачивается, особенно кто при своем деле), а по книжке, бес его знает что выходит:

Будет корова, будет и подоюник.

Или:

У кого голоса нет, тот и петь охоч.

Как будто вроде насмешки. Нет, стало быть, во мне этого самого оккультного перцу. И придется уж, видно, к пифии моей по специальному этому вопросу опять обращаться.

1928

## КУПАЛЬЩИКИ

1.

МУЛ

В конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю половинку двери влетает и вылетает ласточка. У нее над дверью гнездо — пять писклявых ртов, работы до вечера хватит.

Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью. Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота, не хлопались через порог выкатываемые колеса, хозяин не чертыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками шляпка и конусообразный, похожий на кактус, хомут висят на своих колках... Мул хлопает плоским копытом в асфальт — нервничает.

— Купаться так купаться... Чего зря томить? В спину пыль ввела, а почесать нечем...

Знакомая кудлатая голова в шляпе лопухом показывается в солнечном квадрате двери.

— Ну, ты, леший!

Мул улыбается: как старая кокетка, поджимает губу и отпыривает ее ковшиком. «Леший»... Должно быть, это самое ласкательное слово на незнакомом языке.

Он выходит за человеком в дверь. Человек, не оборачиваясь, идет среди сосен, заложив за спину руки. Мул за ним с сосновой кисточкой в зубах, — любимая его закуска на свежем воздухе. Сейчас за поворотом сквозь сосновые лапы мелькнет синезеленая полоса: верхняя краска — небо, нижняя — море. Слов этих мул не знает, но на синее так приятно смотреть после

конюшенной мглы, а в зеленую, прохладную жидкую краску он сейчас окунет бока.

Человек по дороге разделся,—под можжевельник бросил штаны, под старую лодку куртку. В полосатых, болтающихся, как на ходулях, трусиках, костлявый и жилистый, в шляпе шлыком, человек сам стал похож на лешего, но мулу не до него. Вошел, томно подбирая копыта, в зеленое лоно по самое пузо и застыл.

Рука с черпаком нагибается и подымается, окатывает спину. Спина блестит, словно автомобильный кузов, и вздрагивает после каждой порции светлой влаги. Мул опускает в воду морду. Пьет?.. Разве можно средиземную воду пить,—полынь с солью? Куцый и жидкий хвост, похожий на вставленную из озорства затертую метелку, ходит во все стороны: мул наслаждается,—он полощет рот.

Человек швырнул черпак на песок, напялил на мула свою острую шляпу и поплыл к камню, вскидывая граблями руки. Мул, наконец, свободен. Без классного наставника.

Осторожно пробуя копытами дно, он входит в море по самую шею, останавливается, глубоко вздыхает и смотрит. На далекий, расплывающийся в солнечной ряби остров, на выплывающий из-за мыса фрегат, на похожую на розового мула тучу, на чайку, с наглым криком пролетающую взад и вперед мимо морды...

Косится на прозрачную тихую воду: треугольник за треугольником плывут к нему под водой косяки игольчатых светлых рыбок. Проплывают под пузом,—мул повернул голову,—выплывают с другой стороны... Жук! Мул прислушался и застыл. И кто его знает, если бы снять в этот момент его глаз, только один глаз, показать вам и спросить: чей это глаз?—вы бы, пожалуй, ответили: «это глаз поэта, который сочиняет стихотворение в прозе»...

Да. Но из моря выходит человек и слизывает катящиеся с носа на губу соленые капли. Мул огорченно вздыхает, поворачивает под водой свое охлажденное до самой селезенки крепкое тело и покорно идет за человеком на берег.

## 2.

### МОЛОДАЯ СОБАКА

Мальчик и девочка сидят у воды и сохнут. Сквозь закрытые веки мутно дрожит в глазах оранжевая мгла солнца. Сохнуть ли дальше или опять полезть в воду, разбрасывая коленками веселые брызги?

Но за спиной лстывый, осторожный визг. Дети переглядываются и на невидимых шарнирах поворачиваются спиной к морю.

— Хэпи, Хэпи, Хэпи! Иди сюда, душечка.

Но душечка Хэпи, собачий недоросль и комик, не хочет. Он смертельно боится воды. И он до сердцебиения, до судороги в ногах обожает мальчика и девочку.

Закатив глаза и горестно повизгивая, прополз он к ним несколько шагов на брюхе, оставив в песке широкую борозду...

...Дальше не решается. Ни за что на свете! Ведь он знает, чем это может для него кончиться.

— Хэпи, Хэпи, Хэпичка!

Он страдает. Извивается, как грешник на раскаленной сковороде, подобострастно вертит хвостом и скулит:

— Пожалуйста... Умоляю вас... Подойдите лучше вы ко мне! Я оближу ваши руки и пятки, перевернусь через голову два и еще два раза... Отнесу домой в зубах ваши купальные костюмы, хотя соленая вода так противна... только не зовите меня к себе...

Он трет лапой переносицу,—убедительней жеста у него нет,—и смолкает. Шоколадная помесь гиены с таксой, лягаша с кенгуру, он очень некрасив, бедный Хэпи, но преданнее и нежнее сердца вы не найдете от Тулона до Ниццы.

Дети снова переглядываются и встают на невидимых пружинках. Девочка заходит справа, мальчик — слева. Они притворяются, что ищут на песке наперсток, который бабушка потеряла вчера на пляже. Но Хэпи понимает, какой это наперсток... Все круче заворачивают к собаке загорелые детские пятки. Удрать? Но разве Хэпи смеет? Он закрывает лапами глаза и дрожит: жарьте меня, режьте меня, ешьте меня — я покоряюсь...

Гибкие детские пальцы подсовываются под брюхо, песок ведь подрыть нетрудно, и отрывают Хэпи от милой, твердой земли. Несут...

Девочка на ходу поддерживает вытянутые задние собачьи лапы. Хэпи слабо ими подергивает, ведь он не смеет по-настоящему сопротивляться. Все кончено, все погибло. Но благородное сердце стало еще благородней: Хэпи по дороге вскидывает голову и пытается острым языком лизнуть мальчика в глаз, в ухо, в переносицу — куда попадет.

— Хэпи, перестань! Хэпи, кому я говорю...

Видите — даже целоваться в такую минуту запрещают...

Внизу хлопает страшная, необъятная вода, вверху над мордой качается облако.

Дети зашли в воду по грудь и разжали пальцы. Вскипает бело-зеленый пузырь, и сразу с места в карьер Хэпи поворачивает к берегу. Остервенело гребет лапами... Пены, как от колесного парохода! Выпученные глаза впелись в берег, еще шаг, еще полшага...

Под лапами зашипел песок... Хэпи, словно мокрый Петрушка, с визгом вылетает на пляж, брызги — стеклярусом, и мчится, пронзительно скуля, к гигантской сосне.

Под сосной — передышка. Хэпи не желает, чтобы на нем хоть одна капля морской воды осталась: зарывается в песок,

прорывает в нем, раскинув по-тюленьи лапы, траншею и долго валяется за можжевельником на любимой падали, старой бараньей шкурке.

А потом поворачивается к морю и начинает лаять. Не на детей, нет,— разве он смеет? На море.

— Ты зеленая лужа! Гадость, гадость, гадость!

Дети снова сохнут на берегу. На лай Хэпи вскакивают, смеясь, и делают вид, что опять хотят к нему подобраться.

Хэпи не выдерживает: поджимает хвост к животу и галопом мчится к дому сквозь колючие кусты напролом, оглашая залив отчаянной собачьей жалобой:

— Второй раз купаться?! Мучители, терзатели, купатели!

А за спиной подлаивают девочка и мальчик. И до того им вдруг стало весело и смешно, что они, совсем уже во второй раз высохшие, снова бросились в светло-зеленую воду и стали друг друга серебряным морским стеклярусом окатывать.

### 3.

#### МАЛЬЧИК С СЕЛЕЗНЕМ

Самый маленький житель в русской приморской усадьбе — Боб. Очень деловитый, очень хозяйственный, и забот у него больше, чем у министра земледелия. Жаба у ручья пчел лопают,— непорядок. Кошка у колодца лучшую дыню выела — надо поймать и наказать. Не для кошек семена из Риги выписывали... Старый кролик, когда Боб его вчера кормил кочерыжками, отгрыз у бобиной курточки пуговку и проглотил... Что теперь с ним будет? Касторки ему дать, что ли?

Но одна забота даже и во сне Боба мучит. Колодцы пересохли, в цистернах вода на доньшке. Утки на птичьем дворе стучат клювами в сухой, врытый в землю бак и скучают. Перепонки на лапках потрескались... Ведь этак у них чахотка развиться может.

И додумался. Взял старшего селезня и понес под мышкой к морю. А сзади сдобный, ухмыляющийся дедушка в сине-желто-малиновом халате телохранителем поплелся.

Селезень не Хэпи, птица солидная, лапами не дергает. Сидит важно под мышкой и покрякивает: мальчик знакомый, несет — значит, так надо.

У воды Боб птицу на песок спустил, к лапе бечевку привязал, другой конец дедушке в руку сунул:

— Ты, дедушка, не давай утке заплывать... А то она увлечется, до самой Корсики поплывет! Знаем мы их...

Боже мой, до чего утка разволновалась... Крылья вверх, на цыпочках подымается, восклицания какие-то утиные издает... Сколько воды, ах, сколько воды! И вошел селезень в воду, поплыл, бечевку натянул, шейку выгибает — лебедем прикидывается, ныряет, крыльями себя окачивает... Совсем одурела с радости птица.

Дедушка, само собой, свое дело исполняет: ходит по берегу, веревочку подергивает, пасет в море утку.

А Боб сбоку в воде из старой консервной жестянки селезня поливает, как утром человек мула поливал.

Однако скоро понял селезень, что воды много, да нехорошая какая-то вода: жесткая, соленая, в горло попала, не отчихаешься никак... Потянул селезень к берегу. Боб его назад загоняет, а он упирается. Боб кричит, селезень кричит, дедушка кричит... Добрался все-таки селезень до берега. Присел наземь и завял. Зачичканный какой-то стал, словно облезлая галка. Клюв раскрыл, тяжело дышит, крыло по песку волочит. Еще, не дай Бог, в обморок упадет...

И поплелась процессия обратно к дому. Впереди синий Боб с селезнем, оба мокрые, оба дрожат. Сзади сердитый дедушка. А совсем сзади ползком за кустами любопытный Хэпи:

— Что?! Докупались?

<1928>

## БУЙАБЕС

Родители поехали вперед. А дядя Петя отважно взялся везти детскую команду: Гришу, Савву, Надю и Катеньку (восьми, девяти, одиннадцати и двенадцати лет).

Из Парижа до Тулона добрались благополучно. Попутчик по купе третьего класса, толстый негр с седой паклей на голове, так разоспался, что все норовил во сне положить свою ногу Савве на плечо, но Савва не сдался,— пять раз сбрасывал негритянскую ногу и наконец победил... Негр спал с широко разинутым ртом; Гриша хотел было заткнуть ему рот алюминиевым яйцом для заварки чая, однако дядя Петя не позволил и заявил, что это «некультурно».

В Тулоне дядя Петя оплошал. Багаж — уйму пакетов и паке-тиков с дачной рухлядью — по русскому обычаю везли в вагоне, и вот не догадался дядя, переправляясь в Тулоне с большого вокзала на узкоколейный, сесть с детьми в трамвай, а багаж на переднюю площадку впихнуть.

Вместо того взяли извозчика. Лошади — два прилизанных одра в соломенных шляпах, коляска — загляденье — над головами белый балдахин с висюльками, сиденья вязаными салфеточками покрыты... Сесть даже боязно, как бы такой чистоты пыльными штанами не испачкать.

Зато и содрал извозчик: пятнадцать франков за десяти-минутную черепашую рысь! Дядя Петя раньше не сторговался в суматохе и очень был огорчен. Не так ценой, где уж наше не пропадало, сколько свинством. Город такой симпатичный,

на Севастополь даже чуть-чуть похож, а извозчик такой неблагодарный попался.

Не выдержал дядя и сказал:

— В Париже, сударь, шофер за такой конец втрое дешевле берет, а у вас в Тулоне простому извозчику столько платить приходится... Надо же и границу знать.

А извозчик, черноусый морж, обернулся, дерзко дяде подмигнул и ответил:

— В Париже? Хо! Зато у нас есть «буйабес»!

\* \* \*

Слово приятное, что и говорить... Но что оно значит, даже дядя Петя не знал, даром что когда-то ветеринарный институт окончил и имена всех жуков на свете знал.

Надюша решила, что «буйабес» — это, вероятно, тулонская наклонная башня... Почему бы и Тулону не иметь такой башни для туристов? За вход по три франка, а упадет — будут развалины осматривать. Старшая, Катенька, самая умная, высказала догадку, что «буйабес», должно быть, тулонское матросское ругательство; кучер был нахал — это ясно, а в приморских городах кучера ругаются по-матросски.

Гриша и Савва даже поссорились. Гриша уверял всех, что так называется по-провансальски бой быков, — он сам видел на афише, когда извозчик проезжал мимо, — два быка из лошади внутренности выпускают, а сбоку стоит «быкадор» со шпагой и на груди у него надпись «буйабес».

Савва клялся, что никакой афиши не было, и в доказательство щелкнул Гришу кодаком по голове, дядя Петя, конечно, рассердился и заявил, что это некультурно...

Словом, только в провансальском рыбацьем поселке, когда приехали на место, — все разъяснилось. У синего залива старик-рыбак варил на опушке прибрежной рощицы знаменитую провансальскую похлебку из красной рыбы и прочих морских жителей, заправленную... чем только не заправленную! Дачники похваливали, и называлась эта похлебка «буйабес»...

Такое кухмистерское открытие сперва разочаровало детей. Французская уха, эка невидаль, нашел чем извозчик хвастать! Если бы еще мороженое какое-либо особенное из кактусов или китовых сливок — это действительно достопримечательность не хуже пирамиды, а суп из рыбы... кушайте сами.

Однако почему же все едят, не наедятся? Американцы приезжали на зеленом автомобиле, заказали к воскресенью восемь порций, знакомый инженер говорил, что это не блюдо, а «лунная соната»... Может быть, рыбак в этот суп жемчуг кладет для вкуса? Ну нет, разве тогда продашь порцию за четыре франка?

Надо было попробовать... Может быть, действительно, не стоит тогда есть ни китайских орешков, ни леденцов-сосулеч, ни

фисташкового мороженого — только один «буйабес», чтобы потом было о чем в Париже вспоминать... Это тебе не Па-де-Кале с бульоном из прошлогодних костей!

Но отец сказал: «Ни в коем случае». Во-первых, перец вредно влияет на детский организм, — хотя Гриша и божился, что у него организм «мужественный» и что он в доказательство готов проглотить целую чайную ложечку перца даже без облатки. Во-вторых, сказал отец, в «буйабес» кладут каких-то морских тараканов, ежей и головоастиков... Дети пошептались и решили, что головоастики туда-сюда, из любопытства отчего бы не съесть. Но морской еж... Проглотить его дело нелегкое, а что с ним потом делать.

\* \* \*

Внук рыбака, маленький, загорелый, словно его в шоколаде выкупали, Пьер, открыл Наде секрет: никаких головоастиков, никаких морских ежей... Надя Пьеру очень нравилась, — она вышила его дедушке закладку для Библии с надписью на русском языке «рыбак рыбака видит издалека», она остригла по дружбе Пьеру волосы, правда, грядками, «вроде виноградника», как говорил дедушка, — но все-таки остригла... Уши остались целы, а ведь это самое главное.

Пьер открыл Наде секрет, как готовить «буйабес», только взял с нее слово, что когда она вырастет и вздумает стряпать это кушанье для американцев-туристов, то чтоб она не делала этого на их берегу, а то дедушка не выдержит конкуренции и прогорит.

Надя поклялась, и Пьер, сидя верхом на старой опрокинутой лодке, все ей рассказал, как умел.

— В буйабесе главное — красная рыба... Колючая морда, выпученные глаза, — красно-серая чешуя, красные плавники и хвостик. Для навара, чтобы крепче морем пахло, подбавь маленьких крабов, мулей, белых ракушек, креветок, маленьких осьминогов... Дедушка стар, плохо видит, он иногда и морскую звезду в котел бухнет, а раз мне целлулоидного дельфина знакомая девочка подарила, так он и дельфина сварил. Приправа — лавровый лист, шафран, чеснок, перец, лук, соль... Ты девочка, что ж тебе объяснять... Всего восемнадцать специй. Вышей дедушке еще одну закладку, он тебе сам все расскажет. А шафран продают в аптеке, в пакетиках — порошком. На каждого американца — по одному пакету. Полчаса кипит, полчаса через край бежит, полчаса дедушка трубку прочищает. Поняла?

\* \* \*

Надюша поняла. Позвала сестру и братьев, шептались, шептались и дошептались. Родители все говорят — «будьте самостоятельны». Хорошо! Прекрасно! Вот и приготовят «буйабес» сами



и принесут родителям попробовать. Пусть тогда не выдумывают про головастика, и морских ежей, и свинок... и не бранят знаменитого блюда, не попробовавши.

Ковшик красной рыбы и всякую морскую мелочь дал сосед-рыбак,— дети ему не раз помогали сети в лодку укладывать и рыбу разбирать. Среди красной попалась и «тигровая» рыбка—зеленая с оранжевой ленточкой вдоль боков... Чем зеленая хуже красной? Сойдет.

Мальчики вырыли под берегом ямку, выложили ее внутри и оградил вокруг от ветра камнями, а поперек вместо плиты приладили два куска ржавого обруча от старой бочки. Очаг всегда строят мальчики, и пока он не был готов, девочки не имели права подходить ближе двадцати шагов,— такое условие поставил Гриша.

В чем варить? Савва принес было найденную им в водорослях жестянку из-под керосина, но девочки рассердились и посоветовали Савве сделать себе из этой жестянки цилиндр и носить по воскресеньям. К счастью, у сарая для лодок стояло старое ведро и так как на нем не было написано, кому оно принадлежит, то дети решили, что они «нашли» это ведро,— а найденное старое ведро, как известно, приятнее всякой кастрюли.

Катя принесла из аптеки пять пакетиков с шафраном: по полпакетика на детскую порцию и по пакету на родителей и дядю Петю. Чеснок, соль и перец выменяли у соседки рыбака на портрет Лермонтова из хрестоматии, который рыбак немедленно приклеил над койкой между фотографиями своих ближайших родственников.

Чистили рыбу все вместе,— чешуя, впрочем, только вставала под ножом ежиком и шипела, но почти вся оставалась на своем месте. У каждого была своя манера: Гриша срезал у рыб только хвосты. Савва только головы, Надюша—и головы, и хвосты, а Катя отдала строгое распоряжение насчет рыбных внутренностей и сама ушла за пресной водой...

Дети обиделись:

— Принцесса нидерландская! Мы должны кишки чистить, а она на каблучках вертится... Ни за что!

Так рыба с кишками в ведро и полетела. А у ракушек и кишок, слава Богу, нет, сполоснули и в воду...

Пламя лизало ведро, вода забулькала и забурилась по краям буграми. Снимали пену и сторожили ведро все по очереди и, понятно, каждый по очереди подсыпал то перца, то соли, а Гриша, когда остался один, даже горсть китайских орешков подбросил,— пусть и они свой навар дадут...

Каждую минуту пробовали: на «лунную сонату» все еще не было похоже, но не варить же целые сутки. Это, наконец, скучно! Сняли ведро с огня и понесли вчетвером свой дымящийся «буйабес»— угощать родителей и дядю Петю.

Мама оказалась хитрее, чем можно было ожидать.

— Сами сварили? Настоящий «буйабес»? Вот и чудесно... Я сегодня, кстати, из-за головной боли и обеда не готовила... Вы ведь еще не ели, а?

— Нет, мы только пробовали...

Дети переглянулись: мать налила каждому по полной тарелке, налила и себе. Попробовала, закашлялась и похвалила.

— Очень, очень вкусно! Что же вы не едите?

Пришлось есть... Савва потом уверял, что у него в животе точно пороховой склад взорвался... Гриша чуть ракушкой не подавился, а Надя только тем от «буйабеса» и спаслась, что усердно принялась Гришу по спине колотить,—это ведь первое средство, когда кто-нибудь поперхнется.

А дядя Петя пришел, попробовал и сказал:

— Амброзия! По настоящему рецепту в «буйабес» для навару еще парочку резиновых каблучков кладут... В следующий раз, когда будете варить, возьмите у меня в ночном столике.

И трудно было понять, серьезно он это говорил или только так... дразнился.

<1926>

## ЗАМИРИТЕЛЬ

В углу этапного двора, на крыше земляного погреба, густо пробивалась изумрудная весенняя щетина.

Кирпичные стены казарм цвета побуревшей говядины с четырех сторон обрамляли этапный пункт.

Возвращавшийся на фронт с побывки ефрейтор Егор Пафнутьев, развалиясь у насыпи погреба, поправил свалывшийся под головой вещевой мешок и, пустив в чистое васильковое небо густой клуб махорочного дыма, хлопнул по погону валявшегося рядом однополчанина-земляка.

— Не спал я, Федор Иванович, цельную ночь. Такое в голову лезет, что и сказать боюсь. Воюем второй год, народу изничтожена прорва, а толку на грош. Конечно, я не герой, человек кроткий, в разведчики и то не гожусь. Но башкой меня Бог не обидел. Котелок работает! Ужели мозг против кулака ничего не может? Не спал, ворочался и надумал, брат, такое, что первым человеком в России буду, да и Европе нос утру. С тобой мы дружки, человек ты молчаливый, в летах,—должен тебе свое дело открыть... Очень я, брат, встревожен, вещь такую задумал, что только Суворову впору.

Придем мы теперь на позицию. Первым делом—через фельдфебеля ротному докладую: «Ваше высокоблагородие, хочу

способствовать полной победе без пролития крови, представьте меня в штаб армии по секретной важности делу». — «Да что ты, после контузии рехнулся, что ли?» — «Никак нет, в полном сознании. Дозвольте, ваше высокоблагородие, на ухо в полной тайности доложить». И доложу! Ротный аж побелеет!.. Ай да Егор Пафнутьев! В большие люди выйдешь — меня не забудь!

И счас меня ходами сообщения из блиндажа в полковой штаб. Автомобиль по полевому телефону вызван: цоп! Еду в штаб, а там уж волнение. Дежурный генерал меня счас в полевой кабинет.

«Ты — Егор Пафнутьев?» — «Так точно, ваше превосходительство! Дозвольте на ухо доложить». Дежурный генерал аж побелеет: «Ну, Егор Пафнутьев! В большие люди выйдешь — меня, старика, не забудь...» Счас зазвонил в ставку, снесся по особо секретному проводу с кем надо. Оттуда приказ: дать Егору Пафнутьеву, что потребует, ни в чем ему не прекословить.

Вызываю я к себе самолучшего летчика. Хоша я ефрейтор, а он поручик, однако он у меня в полном подчинении. «Ваше благородие, добудьте чем свет немецкий ероплан, веревки английской сажень со сто, бульону французского в бутылочке да германского обмундирования полный комплект на две персоны». — «Слушаю-с! Ероплан, — говорит, — мы русский перекрасим, железный крест с исподу выведем, планки уширим — сойдет...» — «Ну, делайте как знаете... Карта при вас?» — «Так точно, господин ефрейтор!» — «Мертвым петлям, курбетам всяким, спиральному спуску турманом и подъему по прямой линии обучены?» — «Так точно, все могу-с». — «Ну, ладно... Мы, ваше благородие, завтра с вами весь свет замирим и Россию на первое место поставим». — «Рад стараться!..» И портсигар раскрыл: разрешите, мол, предложить папироску? Хлюст!

А дежурный генерал мне все обсказал: солдатский слушок по окопам не зря прошел — парад точно германский назначен супротив нашего фронта. Сам Вильгельм принимать будет, потому фронт наш счас самый главный, всем фронтам голова.

Ладно. Чуть свет в полном секрете садимся с поручиком в ероплан. Начальник штаба нам для теплоты по большой рюмке коньяку вынес, потому сырость, а лететь далеко. Слезу обшлагом старик вытер, платком помахал. Взвились! Мать честная...

Низко лететь невозможно, потому наши батареи перекрестным шрапнельным огнем сшибут, ероплан с виду-то германский. Я поручику команду: «Ваше благородие! Берите еще повыше, облака пробьем, а там, как за дымовой завесой, валите прямо сквозь немецкий фронт, прямо к фольварку, где их парад нынче. Без пяти восемь ровно, чтоб успеть, потому Вильгельм — немец аккуратный, ровно в восемь к войскам выйдет».

Летим, братец, летим. Внизу облака, как студень, колышутся, вверху солнышко... Птички, которые за нами увязались, все к черту поотстали.

Нагнулся поручик к карте, по барометру перчаткой щелкнул: «Здесь,— говорит,— в самый раз. Спускаться?» — «Вали, ваше благородие...» Мать честная!

Стал он кольцами, как ястреб-тетеревятник, кружить, да все ниже, да ближе. Облака прошли, дыра за нами лохматая, словно сапогом перину продрали. И вся, можно сказать, панорама, как на бильярде. Кавалерия, понтонный батальон, пехота поротно в походной колонне. А на пригорке сам Вильгельм: в дальнобойный бинокль весь, сукин кот, как на ладони виден. Усы штыками кверху закручены, шинель вроде нашей николаевской, каска — пикой, ровно хвост у кобеля. Отдельно от других стоит. В том и вся суть!

Ну, немцы ничего. Никакого подозрения не обнаруживают. Свой ероплан спускается, может, с каким донесением секретным в собственные руки.

А я канат в кольца выложил, разматал конец, петлю ружейной смазкой протер, кричу поручику: «Как на пятьдесят сажен подлетим, на самую малость задержись!» Ну, мой поручик знает: котелок работает. В самый раз потрафил, над головой Вильгельма замер... А я — раз! Аркан метнул... Прямо Вильгельма под мышки, зыкнуть он не успел. «Подымай-с!» — кричу... Мать честная!

Дернули мы в поднебесье, едва из-под заду ероплан не ушел... Ах-ах! Заелозили немцы, суета, стрелять нельзя, потому в своего императора попадешь... А он на веревке, как стерлядь, повис, ветром чуть вбок отнесло, шинель парусом вздуло. До-бы-ча!

Взнеслись мы за облака, летчик назад направление держит, в наш штаб армии. Я, значит, полегоньку Вильгельма подтянул, портянки ему фланелевые на бечевке спустил: подложите, мол, под мышки, ваше величество, а то веревка натрет, неудобно вам! А он вверх покосился и меня русским словом по-немецки обложил. Ругайся! Это ничего — облегчает! Подвел я под него трапецию: пусть отдохнет, посидит, хрен с ним, а то не смяк бы совсем, тогда и все дело мое к лешему. Бульону ему французского спустил на шнурке. Пусть питается — тоже ведь вроде человека. Поручик мой обернулся: смеется, черт, — как не радоваться! Такую вещь удрали...

Глянул я вниз. Вижу — Вильгельм изловчился, мундир растегнул, защитного цвета бумажником нам помахивает, знаки подает, по-своему лопочет.

«Ваше благородие, чего ему надоть? Я ихнего длинного разговору не понимаю».

Прислушался мой летчик — вижу, насупился, покраснел.

«Он, стерва, нам два миллиона жертвует, чтобы мы на немецкую сторону его свезли да к нему бы на службу перешли». — «Ах он гад усатый! Да я ему сам три дам. Чтоб русский человек свою родину продал — сроду этого не бывало...»

Втянул наверх бутылочку с бульоном. Коли так, сиди голодный, разговор с тобой в штабе будет.

Подлетаем, стало быть, к штабу. А уж там усмотрели, кто на трапедии сидит. Солдатня выстроилась. Музыка гремит... Слушай на караул! Только мы земли коснулись, подхватили нас, ероплан на руках несут... Егору Пафнутьеву! Ур-р-ра!

Сам командующий с коня слез, в губы меня чмокнул, с себя офицерский Георгий снял — да мне на грудь. Хоть и не по уставу — да уж подвиг больно выдающийся.

Первым долгом я докладую:

«Ваше высокопревосходительство, дозвоьте с Вильгельмом короткий разговор иметь». — «Говори. Ты его добыл, твой и разговор первый». — «Ваше величество, крихти не крихти, дело кончать надо. Сейчас посылай своим телефонограмму: «Долой войну, замирение полное». Обмен пленными немедленно. Насчет контрибуции тебе в ставке полный счет напишут, будешь доволен».

Что же ему делать? Рванул ус, сел на барабан приказ писать. Слезы из-под каски так бисером и текут. А из ставки звонок: «По высочайшему повелению Пафнутьева Егора через все ступени в полные генералы произвести, землей наделить по десятине за версту, сколько он туда летал и обратно, и сверх того золотом два подсумка верхом насыпать». Ловко!

Только отзвонили, по беспроволочному телефону депеша: французский президент шлет на выбор Егору Пафнутьеву портреты двенадцати красавиц. Очень за него замуж желают, потому он и свою страну вызволил, и их отечеству помог, и сам Наполеон перед ним все равно как младший унтер-офицер. Спрашивают только, какой из себя Пафнутьев, насчет цвета волос и протчего.

Ну я, конечно, против своей нации не пошел: вежливо отвечаю, что, мол, красавиц благодарю и в презент им по серебряному самовару посылаю, а насчет волос не их дело, — у меня своя русская обрученная невеста есть, деревни Васькино Боровичского уезда, Новгородской губернии, Авдотья Спиридоновна Мякишева. С тем и отъехали.

Нарядился я, стало быть, в полный генеральский парад, распоряжение дал, чтоб солдат по домам распустили... Подали автомобиль в восемь самолучших лошадиных сил, тебя, друга моего закадычного, впереди с шофером посадил... и покатали мы, брат, в свой уезд... Ух ты!..

— Все?

Федор Иванович, бородатый коренастый дядя, больше похожий на степенного лешего, чем на армейского пехотного рядового, кончил свое художество: на холщовом исподе фуражки чернильным карандашом вывел полк, роту, имя-фамилию, а под ними две винтовки накрест, на манер знака «за отличную стрель-

бу». Надел фуражку на ухо и хлопнул заскорузлой ладонью по траве.

— Ну и шут ты, Пафнутьев, даром что ефрейтор! Голова у тебя генерального штаба, а мозги телячьи... Да рази ротный твой с тобой на ухо шептаться будет? Сичас тебе руки за спину и на испытание на распределительный пункт с фельдшером: проверить, мол, Егора Пафнутьева, точно ли он человек психический, либо так — от фронта отлынивает.

А ежели бы сдуру тебя ротный до дежурного генерала допустил и генерал бы твоей брехне поверил, ни шиша бы у тебя, милый друг, не вышло. Стал бы ты на ероплане со своим поручиком над Вильгельмом кружить, со всех сторон караульные чепелины, отколь ни возьмишь, ероплан твой под микитки и ау, нет больше Егора Пафнутьева!

И уж, если точно такое твое дурацкое счастье, ты б его, Вильгельма, за хлястик, либо подмышку зацепил, он сичас шашку вон, по веревке цокнул,—а ему б снизу брезент растянули, чтоб невредимо спустился, как пух на репейник. И вдогонку тебе вкатили бы полную порцию... как в галку! Ты что ж, полагаешь, что они с места по подвижной цели палить не умеют?..

— Доставай, ваше превосходительство, котелок... Вишь, земляки на обед бегут. А то с твоим автомобилем, да с имением, да с французскими красавицами — и без борща останешься.

<1925—1928>

## СЫРНАЯ ПАСХА

(РАССКАЗ ЭМИГРАНТА)

До войны жили мы с женой на Крестовском. Тот же Петербург, но знакомые, перебравшись к нам весной через горбатый мост по конке откуда-нибудь с Гороховой, все, бывало, удивлялись. Черемуха у нас в саду цвела — прямо не дерево, а Монна Ванна. Райская яблоня бледным румянцем разгоралась... Речка своя была против дачи градоначальника, Крестовка. Пристань, лодчонка. Наберешь знакомых и повезешь их лимонную водку пить под Елагин мост. Вверху копыта гудят, а внизу мы сидим, покачиваемся и закусываем. Соловьи в кустах аккомпанируют. Где уж мне — только Фету впору описать...

Помню, бывало, Пасха поздняя и теплая выпадет, предпасхальные дни один другого краше пойдут. А в доме — флигелек у нас белый в саду стоял — битва русских с кабардинцами! Чухонка Дарья с дворником ковры волокут, друг на друга огрызаются, стулья все вверх ножками на столах, портрет Достоевского на кровати, халат — сам Шерлок Холмс не сыщет.

Придешь из банка, живому человеку посмотреть на живое любопытно: жена с Дарьей замазку с двойных рам сдирают, кислоту и вату с гарусом прочь уносят, суконка по стеклам, как кенарейка, заливаается. Под ватой песок набрякший. Поколупаешь, потрогаешь пальцем — надо же хоть раз в году развлечься. У ног кот, Брандмайором прозывался, выгибается. Тоже ему удовольствие: на свидания теперь не через кухню будет бегать, а прямо из окна в сад. В старой оранжерее у него по вечерам целый гарем собирался...

Жена, конечно, меня за дверь, сердится, словно я всю ее стратегию нарушил:

— Брось, Васюк! Что ты как семилетний... Только мешаешь. Возьми «Речь», поди в сад почитай...

И уйдешь. Хоть эту «Речь» я уж в банке два раза насквозь прочитал, читаю в третий. А то подложишь ее под себя на сырую скамью и на скворешницу смотришь: «Прилетели, милые!» Брандмайор о плечо трется, тоже на скворцов любитесь. Я, так сказать, бескорыстно, а он гастрономическую лирику разводит, урчит.

\* \* \*

О самом главном толком и вспомнить не могу. Потому к этому делу меня и на пушечный выстрел не подпускали...

В кухонной лаборатории жена с Дарьей засядут. Толкут, цедят, месят, лучше и носу не показывай. Иной раз изловчишься, изюму немного стянешь, миндаля. Пожевать ведь сладкого хочется.

Жена сейчас на дыбы:

— Ты что, чучело, жуешь? Покажи, покажи карман! Да уходи ты отсюда, Бога ради. Нечего за кулисы зря соваться. Потерпеть не может, мальчик какой... Возьми свою «Речь» и ступай в сад.

Добрый ведь человек, росту маленького, уютного, глаза — васильки, а как она меня этой «Речью» допекала...

И уж действительно! Вернешься домой с компанией после пасхальной заутрени, посмотришь на стол — голландский пейзаж. Куличи не какие-нибудь кособокие, с головой набекрень, а крепкие, ровные, белой глазурью отливают, пестрым сахарным бисером посыпаны. Барашек с флажками кротко копытце вперед вынес... Анемоны, гиацинты вокруг бутылок цветут — не нарадуешься. И пирамидками — сырны пасхи, заварные, цукатные, — неизбывная гордость моей жены... Не еда, а романс Чайковского, переложенный на сахарно-творожную музыку нежными и милыми женскими руками.

Не чревоугодник я, что зря на себя клепать, но скажу по совести: что краше весеннего пасхального стола? Завтрак, обед, ужин — ежедневная, так сказать, повинность. Хлеб наш насыщенный и больше ничего. Перлового супа хлебнешь, отодвинешь,

в зраках поковыряешь. Ну кисель еще туда-сюда, люблю. А пасхальное пиршество — можно ли сравнить? Краски, благоухание, архитектура... В вымытом окне облака, словно взбитые сливки, проплывают, банка точно и не бывало... Люди все такие кроткие, который скотина — и тот себя сдерживает, улыбка с утра до вечера во все лицо, и стол весь день накрыт... Полюбуешься, походишь, побурчишь, яичко, которое неровно окрашено, облупишь, рюмку шустровского «Спотыкача» опростаешь и медленно сырной пасхой закусишь.

\* \* \*

В эмиграции какая уж жизнь. Ни двойных рам, ни белого флигеля, ни речки Крестовки...

Подходила Пасха. Надо же чем-нибудь эмигрантские будни подцветить, подобие праздника наладить. Работаем мы с женой, как битюги. Франков сто у нас в сгораемой карельской шкатулке накопилось, думаю, хватит.

Говорю жене:

— Как ты, Леночка, полагаешь? Шел я сегодня мимо русской лавки «Малиновый звон», видел в окне плакат — «Принимаются заказы на сырные пасхи, куличи и прочее...» Ты ж сырную пасху обожаешь, не заказать ли?

Как вскинулась моя Елена:

— Ты что ж, Васюк, совсем опустился? Совесть потерял?.. Чтоб я в колониальном вертепе сырную пасху покупала?! Да они вместо творогу известку кладут, на кошачьем молоке замешивают... С ума сошел! Нет, милый, у меня уже все предусмотрено.

Женщина — ничего не поделаешь. Уж если на ее сокровенную романтику грубым сапогом наступишь, душу словами проточит, а не сдастся. Посмотрела на меня глазами раненого оленя и укоризненно отвернулась.

Стыдно мне стало:

— Хорошо, Леночка. Что у тебя там предусмотрено?

— Видишь ли, я по своим белошвейным заказам бегаю, устаю, годы не те, да и работы прерывать не могу. Ну, а у тебя занятие периодическое... (Я, видите ли, на аукционы в зал Друо бегаю, бронзу Людовика Девятнадцатого для перепродажи покупаю.)

— Вот, — говорит, — тебе список. Закупи, что надо. Я тебе полный рецепт дам. Время такое: женщины должны все мужское уметь, мужчины — все женское.

Пошел покупать. Обороты французские все на бумажке выписал.

И сколько для этой сырной пасхи требуется, целая энциклопедия! Сухой творог, сливочное масло лучшее, яйца «из-под кур», густые сливки лучшие, цукаты, миндаль сладкий, ром лучший, ваниль лучшая, сахар в пудре... Кажется, все. Да еще форму



добывал по всему Парижу, наконец в русской книжной лавке, на рю Винэз, по случаю купил.

\* \* \*

Сливочное масло, оказывается, нужно в умывальном тазу до белого каления растирать. Пестик? Искал, искал, нашел в хозяйском чулане старую детскую кеглю — сойдет. Записку развернул, сел за работу.

Первое. Снял пиджак. Два часа творог сквозь решето протирали... Жилет насквозь измазал — спрошу в русской аптеке, чем творог выводят.

Второе. Снял жилет. Масло по умывальному тазу бегаёт, а я за ним с кеглей. Целый час бегал, всю краску с кегли в масло стер... Сойдет! Дышу, как грузовик. Сорочка в масле, глаза, как у загнанного кабана.

Третье. Снял рубашку. Полтора часа месил творог с желтками и сахарной пудрой. Рекомендовал бы это занятие для английских каторжных тюрем!

Четвертое. Снимать с себя больше нечего... Смешал творожную слякоть с маслом и сливками. Опять месил! Перемешивал!.. Кто этот рецепт выдумал, дай ему Бог, чтобы его на том свете так месили...

Вымачивал цукаты в роме и для поддержания сил ром выпил. Не алкоголики же они, эти самые цукаты. Полежали минуту и будет!

Словом, что рассказывать... Сырная пасха вышла такая, что хоть пальчики оближи. Я их действительно и облизал, когда к вечеру работу кончил.

Жена пришла, попробовала и в лоб меня поцеловала:

— Видишь, Васенька! Вот ты мужчина, а с женским делом отлично справился. Не так уж легко женщиной быть, как ты полагал...

Форму вымыла. Стряпню мою в нее выложила, пирамиду перевернула острием в кастрюлю, а сверху на дощечку полный комплект «Архива русской революции» для тяжести положила.

\* \* \*

Одно мне только обидно: приходили знакомые — ели, консержке кусок дали — ела, родственникам послали — ели. И все хвалили жену... Да как хвалили! Такого успеха, думаю, и Шалаяпин никогда не имел. А она все похвалы и восторги с сияющим лицом принимала и хоть бы словом обо мне обмолвилась!.. Справедливо ли это?

Вот подите ж. Двадцать пять лет с женщиной живешь и только на склоне дней по такому, можно сказать, мизерному поводу узнаешь, до чего ее авторское самолюбие заело...

<1925>

## ГРЕЧЕСКИЙ САМОДУР

Прошлой весной Александр Александрович Яблоновский раскрыл как-то свой заветный ящик. Я с любопытством заглянул внутрь: щипцы, зажимы, алюминиевые коробочки, свинцовые пластинки.

— Набор для печатания английских фунтов? — подумал я и прикусил язык. Совсем как будто у Александра Александровича характер для такого занятия неподходящий.

Александр Александрович поднял глаза, паскудную мою мысль перехватил и сурово отрезал:

— Рыболовные принадлежности.

Но кроткое мое раскаяние видя, смягчился и все свои алюминиевые коробочки раскрыл.

— Вот это крючки на кефаль, это на шуку, это на... камбалу.

Крючков с тысячу разложил, в глазах блеск мягкий, будто альбом лимитрофных марок показывает.

До чего, думаю, рыбы интеллигентные стали. Каждая в мутной воде свой крючок находит и сама на себя научным способом руки накладывает.

— А это что за обручальные кольца?

— Это, сударь, чтобы на удилицах суставчики закреплять. Хирургическим шелком их обматывают, а сквозь кольца леску пропускают.

— Зачем?

— Чтоб рыб подтягивать... Другая дура нервничает. Во все стороны дергается, как барыня в чарльстоне. Так вот, чтобы удилица не обломали, и подтягиваешь ее аккуратненько на вертушке сквозь кольца. Пока душу из нее не вымотаешь.

И глаза у него такие зеленые стали, как... у Торквемады. Слава Тебе, Господи, думаю, что я все-таки не рыба, а писатель.

— Вот,—говорит,—друг мой. Едете вы к Средиземному морю. В море вода, а в воде рыба. Человек вы немолодой, симпатичный. Чем летом зря флиртом-спиртом заниматься, приспособили бы себя лучше к рыбной ловле. Сядете себе на утес, под себя против ишиаса «Последние новости» подложите...

— Почему же не «Возрождение»?

— Можно и «Возрождение». Ветерок продувает, чайки мяучат, рыбка клюет... прохожие завидуют. К вечеру у вас, глядишь, на бесплатный буйабес и наберется...

— Не умею я, Александр Александрович.

— Чего ж тут уметь. Не ежа брить. Я вам самоучитель французский подарю. Тут все есть: от кита до устрицы. Полное заочное руководство. Мул и тот поймет.

Намек довольно странный.

— Спасибо. Но как же я сам рыбу с крючка снимать буду?

— А вам повивальная бабка нужна?

— Да нет же. Рыба, скажем, заглатывает крючок до самой диафрагмы... Не Малюта же я Скуратов, чтоб живую тварь тиранить. Морфий ей впрыскивать, что ли?

— Глупости. Без морфия обойдется. Вот вам инструмент. За милую душу любой крючок вытащит.

И подал мне нечто вроде астролябии для лилипутов.

— Откройте рот. Предположим, что вы белуга... Я беру самый большой крючок и сейчас вам продемонстрирую.

Однако я уклонился. Потому что у Александра Александровича глаза совсем светло-зеленые стали.

— Впрочем, постойте... Есть у меня одна золотая снасть. Так рыба сама на нее и лезет. Когда мы в Грецию из Крыма попали, у одного лодочника видал. Но только он, бестия, из авторского самолюбия никому близко не показывал. Пришлось его накачать. Против русской зубровки какой же грек устоит?.. И пока он в летаргическо-зубровном сне под лодкой валялся, мы с прибора копию и сняли. Берите с Богом. «Самодур» называется.

Взял я в руки длинный кусок пробковой коры. На нем крючки с перышками. К концу струны свинцовая груша привязана. Вроде золотой арфы. Ни наживки не надо, ни удилица. Знай разматывай за кормой струну да пальцем поддегивай, словно на цитре играешь. Свинцовая груша вертится-вертится, вальсирует. Перышки мигают, рыба в гипнозе, как одурелая, на крючки скачет... Словом — не снасть, а беспроволочный телеграф с ручкой.

Поблагодарил я сердечно. Теперь, думаю, до самой старости обеспечен. «Самодур» в карман положил, рыбий самоучитель с радости на камине забыл — и домой. Когда, думаю, последние издательства перелопаются, открою средиземный вегетарианский ресторан, — рыба своя. Чего ж стесняться?.. А ресторан так и назову — «Греческий самодур». И в красном углу портрет Александра Александровича Яблоновского повешу в золотой рамке.

\* \* \*

Приехал я к Средиземному морю. В знакомом месте, у лафавьерского лукоморья, в хижине поселился. Хожу мимо камней, руки за спину заложив, наблюдаю. Знакомые русские дачники сидят, словно Будды, ноги поджавши, крючки на удочках в море полощат.

Раз! Полпорции червяка на крючке корчится, сардинка в воде смеется. Два! В таком же роде.

А то и похуже: крючок под камнем заест; снимай с себя ту часть туалета, которую греческие боги не носили, и лезь в воду отцеплять. А в воде либо на морского ежа наступишь, либо на свой же крючок напорешься, — сиди потом на берегу, задравши кочергой ногу, да палец зализывай... В лучшем случае часа за два пучок морской травы Бог пошлет. Пока на матрац наловишь — и лето пройдет.

Хожу я мимо, ухмыляюсь. Наконец не выдержал. Сел рядом и покровительственно по плечам их похлопал:

— Люди вы немолодые, симпатичные. Ветер вас продувает, чайки мячуют, а толку на полсантима. Есть у меня золотая снасть — греческий самодур. В Греции у одного адмирала на ведро рома выменял. Завтра на рассвете выедем в лодке... Рыбой, можно сказать, по горло обложимся. Все окрестные коты внутренностями обожрут! Консервный завод откроем...

Знакомые мои и удить больше не стали... Видят, что оптовик пришел. И зрачки у меня тоже, должно быть, зеленые, как у Торквемады, стали. Сразу видно, что человек с высшим рыбьим образованием.

\* \* \*

На заре выехали. Земляки на веслах. Я на корме с самодуром. Крючков двадцать с перышками, — это ж полморя выловить можно. Три больших ведра взяли, чтоб добычу было в чем нести...

Море вокруг лиловенькое, — пальцы полощешь, будто и не пальцы в воде, а фиалки с ногтями. Рыбкой вокруг так и попахивает. Чайки над нами спиралью вьются, стонут. Неприятно им, конечно: всю рыбу выловим, им-то что есть?

Размотал я струну широкой рукой. Закрутились перышки, струна вглубь натянулась, грузило в палец, как пульс отдает.

Минут пять подергал, думаю — все крючки полны. Господи, благослови. Подтянул. Гребцы рты раскрыли...

Однако... Закрывать пришлось. Рыба средиземная, должно быть, сразу к самодуру не привыкла. Или туше у меня слишком для них резкое? Однако я не смутился. Не богини горшки обжигают...

Второй раз забросил. И третий... И шестой... Гребцы мои профили в разные стороны отворотили. Может, смеются, а может, вода под кормой булькает. Н-да-с!..

Не в рыбе, конечно, дело. Рыба дрянь, в кооперативе хоть вагон купить можно, но репутации своей жалко...

Человек немолодой, симпатичный, непьющий, и вдруг в такую рыбу калошу сесть... Да еще самому и свидетелей пригласить!

Они же меня, чудаки, и утешать вздумали:

— А может, на ваш самодур только в лунную ночь русалки ловятся? Вазелином, может, крючки бы натереть? Морская рыба вазелин любит. В «Одиссее», говорят, нет ли чего про греческий самодур? Древние греки народ дошлый. Может, сначала рыбу в сеть поймать надо, а потом на самодурные крючки по одной насаживать?

Свернул я свою снасть. Желчь под ложечкой так пузырями и вскипает. Опустим меня тогда в море, вода бы кругом на сажень пожелтела... Молчу, как камбала. И только в душе (согрешил, признаться) — милому Александру Александровичу по беспроволочному телеграфу лирический привет послал.

Рыба, что ли, у греческого архипелага сплошная дура? Либо греки рыбе слово знают, заговорное?

\* \* \*

И только к вечеру, при фонаре, сокрушенно укладывая проклятый самодур в коробку, понял я, кажется, что калоша моя оказалась глубже, чем я предполагал:

на каждом крючке, чтоб в смотанном виде пальцев не наколоть, насажен был бузиновый шарик.

А я, значит, так с шариками в воду всю снасть и бухнул...

Александр Александрович Яблоновский, конечно, не догадался, что новобранцу-солдату надо объяснять: когда саблей рубишь, нужно предварительно саблю из ножен вытаскивать.

\* \* \*

Впрочем, Александра Александровича я все-таки огорчить должен. Для реабилитации своей должен сознаться, что я потом раз пять забрасывал самодур — без шариков. По всем правилам высшей рыболовной науки.

Много ли наловил?

Из тысячи вычтите девятьсот, да еще девяносто девять, да еще единицу. Вот столько я и наловил.

<1928>

## ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

Золотая Анна Александровна!

Известный Вам Павел Николаевич Кузовков узнал, что Вы в Париже, и умоляет написать Вам. Сам не может. Сидит у меня на сундуке, нюхает валерьяновую пробку и плачет. Слезы падают на хозяйский ковер — и я в отчаянии...

Чудак, видите ли, завел белку. Жениться эмигрантам берлинские хозяйки не разрешают, но к животным они снисходительны. Причем белка обходилась Кузовкову только в 15 золотых пфеннигов в сутки. Разве на эти деньги жену прокормишь?

Позавчера утром, пользуясь последними осенними ясными днями, белка, нарушив предписанные квартирные условия, вылезла из клетки, отгрызла у гипсового Гинденбурга нос и выскочила за окно.

Оттуда по карнизу жизнерадостным курцгалопом понеслась к соседнему балкону и прыгнула на дремавшую в качалке 70-летнюю фрау Шмальц. Слыхали Вы когда-нибудь, как визжат старые немки? Уличное движение сразу остановилось... Старухина

наколка полетела вниз, а под наколкой—как у голой крысы. Можете себе представить удивление смотревших сверху жильцов?

А белка—хвост трубой, опрокинула вазон с душистым стапушкиным горошком, шмыгнула в угловое окно и, приняв отдохавшего на перине коммерции советника Баумгольца за дубовую колоду, начала танцевать на его животе лесные танцы.

Баумголец проснулся и решил, что он сошел с ума. Но потом одумался, бросил в проклятую белку пивной кружкой и со страха наступил пяткой на слетевшее на пол золотое пенсне... Вы понимаете, чем это пахнет?

Пенсне крякнуло... Белка укусила советника за третью складку на затылке и, разбив по дороге портрет с полным комплектом семейства Вильгельма, понеслась собачьей рысью обратно к Кузовкову.

Теперь представьте себе... Мальчишки под окном визжат: «Русский! Русский! Ферфлюхтер русский!» Торговки потрясают жестянками с порошком для чистки медной посуды и орут басом: «Позор! Позор! Он держит диких зверей!..» И вдобавок идиот сосед, приняв, очевидно, мчавшуюся по карнизу рыжую белку за развевающеся пламя, вызвал пожарную команду...

На заднем плане старуха лежит в обмороке на своем балконе. Пожарные растирают ей виски. Снаружи Баумголец лупит кружкой в дверь. В спальне хозяйка Кузовкова размахивает перед его носом безносым Гинденбургом. На кухне щуцман расстегнул пояс и, пососав карандаш, составляет протокол. А белка как ни в чем не бывало забила в клетку и катает каштан...

Результаты? Щуцман увез белку в карете «скорой помощи» в какой-то собачий крематорий для уничтожения. Угловой провизор с бельмом, который не любит русских, клянется, что белка была бешеная, и подсчитал уже все убытки Баумгольца, если советник взбесится. Вы понимаете, чем это пахнет?!

Хозяйка требует за нос Гинденбурга 10 золотых марок, за поругание квартирной чести 28 марок и за порванную белкой плюшевую фамильную портьеру 34 марки (хотя портьера была порвана еще в прошлом году хозяйкиным пьяным «шацем»—по-вашему «ами»).

У лавочника напротив украли во время суматохи окорок довоенной заготовки. Жена его кричала на всю улицу, что раньше немцы были все честные, что это эмигранты их развратили и что если бы не эмигранты, то не было бы и войны...

Старуху, если выживет, Кузовкову придется взять на пожизненную пенсию—после случая с белкой она трясет головой и никак не может остановиться. Если не выживет—Вы представить себе не можете, золотая Анна Александровна, до чего вздорожали в Берлине надгробные камни и прочие предметы первой необходимости!

С Баумгольцем еще ужаснее! Коммерции советник о деньгах и слышать не хочет и говорит, что дело не в затылке, и не

в разбитой кружке, и даже не в семействе Вильгельма, а в наглом засилии эмигрантов, благодаря которым пиво вздорожало на 10 золотых пфеннигов литр. Меньше 85 марок отступного он не возьмет.

В общем, если Кузовков продаст свою лавочку с радиоаппаратами и патентованными нестигающимися подтяжками, то только-только ликвидирует эту гнусную историю. С квартиры гонят. Строящиеся дома разобраны вперед на 125 лет. И вдобавок он, кажется, попадет в категорию нежелательных иностранцев, возбуждающих одну часть населения против другой (1001 статья), и будет выслан из Германии.

Бедняга до того подавлен, что сегодня утром, приняв осеннюю муху на стене за гвоздик, повесил на нее свои последние золотые часы. Часы, конечно, разбились. А в ресторане, когда хозяин подошел к нему с обычным приветствием «мальцайт», несчастный побледнел и стал извиняться, что он совсем не Мальцайт, а Кузовков...

Что делать? Ради бога напишите, что в Париже. Один Кузовков на прирост парижского населения в два с половиной миллиона человек не повлияет, а здесь он меня замучит.

И хозяйка моя уже косится: потому что он нервничает, ходит по ее коврику, три раза уже садился на ее кресло, на которое даже я не сажусь, и что ужаснее всего — положил окурочек в ее фамильную пепельницу.

Вот сейчас я пишу, а она через замочную скважину смотрит и счет составляет.

Кузовков клянется, что больше белок заводить не будет. Знает древнегреческий язык и украинский. Умеет разбирать пишущие машинки и, если нужно, научится и собирать...

Узнал, что Вы в Париже, и умоляет написать Вам, зная Ваше доброе сердце и прочее. В противном случае угрожает открыть у меня в комнате газ... А Вы знаете, чем это пахнет?!

Попадать из-за этого осла в нежелательные иностранцы я, слава Богу, еще не намерен!

Хотели мы, кроме Вас, обратиться к Лиге наций. Но практикующий здесь харьковский нотариус Мурло взял за совет 15 золотых марок и отсоветовал.

Целую Вашу гуманную мраморную ручку и с трепетом ожидаю ответа.

Иван Лось.

Р. S. Полотерное депо, в котором я работал, лопнуло, потом немножко возродилось, потом окончательно лопнуло и открыло здесь ресторан под названием «Аскольдова могила». Но я не растерялся и затеял свое самостоятельное дело: контору по перепродаже в лимитрофы щетины из берлинских парикмахерских. Заказов еще нет, но у Кузовкова в Нарве большие связи, а ведь в коммерческом деле это самое главное.

<1925—1928>

**ЭМИГРАНТСКИЕ РАССКАЗЫ,  
НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГУ**





## БЕРЛИНСКОЕ РОЖДЕСТВО

Было это бесконечно давно: в тысяча девятьсот двадцать втором году. Снег продавали только в лавках — в пакетиках, на улице ни одной снежинки не было. Я долго выбирал на перекрестке елку подешевле. Втащил на третий этаж, поставил на стол и воткнул в старый тяжелый вазон (вазон нашел на балконе). Не зажигал свечей, не вешал пестрых хлопушек. Открыл дверь в коридор и свистнул. На свист из чулана вприпрыжку прибежала белка, пушистый вертлявый комок. Села на пороге, потянула носом смолистый дух, нервно пискнула и вскочила ко мне на плечо. Я сел в кресло и ждал. Мой маленький друг и приемыш никогда не видал елки, вырос он в клетке, — а я уж догадался, когда зверек попал ко мне, забросить клетку с глупым колесом на антресоли: в чулане все же свободней.

Под елкой стояла тарелка с орехами, на блюде — мандарин, на подносе — каштаны. Все для белки. Она перелетела с плеча на стол, поставила передние лапки на вазон, повела усами — что это такое? — и вспрыгнула на нижнюю ветку. Целый мир, — и какой душистый, темно-зеленый и дремучий! Прижимая белое брюшко к колючей и гибкой ветке, она доползла до кисточки с почками, вылущила их и жадно стала обнюхивать каждую хвоинку... Перебралась выше, жмурилась, внюхивалась в незнакомый чудесный запах. Забиралась все выше и выше и уселась, качая гибкую верхушку, под самым потолком в своей любимой позе, как ее рисуют во всех хрестоматиях всего мира. Она наслаждалась своей маленькой зеленой прародиной. Пусть она ничего о ней не знала, но, быть может, в этот тихий час все лесные голоса, шорохи и шелесты, укачивавшие ее предков, проснулись в ней...

В дверь постучались. Пришел пятилетний Макс, сын прачки. Вежливо шаркнул ножкой... Бог мой, как его раздели! Башмачки блестящие, словно большие лакированные жуки, из пиджачка торчал углом небесный платочек, от светлых расчесанных волосков цвета гогель-могеля исходил терпкий помадный чад.

И глаза у него были праздничные: сияющие, беспечные, доверчивые — настоящие детские глаза.

Он сел рядом, облокотился о стол и тоже стал смотреть на белку.

— Она довольна, господин Черный?

— Да, господин Макс. Она очень довольна. Первая очередь

ее: она маленькая, в чулане ей скучно и тесно — пусть порадует. А потом мы с тобой зажжем свечи, а белку уложим спать.

Мы достали сигарную коробку со старыми почтовыми марками. Макс ничего в них не понимал, но, подражая всей улице — от ночного сторожа до мальчишки-газетчика, — наклеивал их в тетрадку. Не по странам, а по цветам: на одной страничке голубые, на другой — оранжевые... Что ж, может быть, он был прав.

Он жадно выбирал марку за маркой — в пять лет трудно быть дипломатом. Но потом, спохватившись, вежливо дергал меня за рукав и спрашивал:

— Можно еще, господин Черный?

Разве откажешь детским сияющим глазам? Для кого же я и держал в столе этот пестрый бумажный хлам?

И вдруг — трах! Белка в два прыжка слетела с верхушки на плечо и на стол: лестница знакомая.

Как забавно она ест! Быстро-быстро вертит в скрюченных лапках мандарин, отдирает коричневатыми зубами желтую корку, даже все белые жилки и ниточки одну за другой снимает с сочного мяса — и только тогда ест. Макс и марки бросил. Но мандарин уже на столе... Много ли ей надо? Щелкнул орех и опять (не так, как у нас, у людей) быстрые зубы осторожно снимают с ядра темную кожуру... Вот гастроном!..

Я беру ее в ладонь. Белка сжимается в теплый пушок и немигающими лакированными глазками смотрит на знакомое лицо человека, склонившегося над ней: я, вероятно, так же смотрел бы на огромную морду мамонта, если бы он поднял меня хоботом к своим клыкам.

— Вы не бойтесь, господин Черный?

— Нет, господин Макс. Она меня никогда не кусает.

Уношу белку в чулан, — и пока несую, она засыпает под моими пальцами, словно под веткой на родном дереве.

Мы зажигаем свечи: оранжевые глаза переливаются на темной зелени. Пьем какао, едим булку с гусиным салом. Макс вымазался до ушей и сияет... И елка сияет. И звезды над занавеской сияют. Им-то что?

Потом — подарки. Мальчик принес мне смешного глиняного человечка и коробочку с какими-то катышками. Если катышек вставить в зад человечку, чиркнуть спичкой и поднести огонь, то из фигурки лезет длинная вьющаяся колбаска. Не совсем прилично, но мы оба счастливы и хохочем. Я, конечно, более практичный человек и дарю Максиму лиловый шарфик и перчатки: маленькие перчатки величиной с мышь.

Мы оба растроганы, трясем друг друга за руки и рассыпаем в китайских любезностях.

Я, еле касаясь пером струн, играю на мандолине и тихонько подпеваю:

«Ходить сон по улонци,  
В билесенькой кошулонци...»

Под песню эту маленького Гоголя когда-то укачивали в колыбели.

— Это ваш рождественский гимн, господин Черный?

— Приблизительно. Хочешь халвы?

А за стеной солидный хохот, миндальная женская воркотня и иные песни,— поют о мопсах, которые лают, о шущмане, который не лает, и прочие милые глупости. Звенят стаканы. Пусть. Пьют за фатерланд. Пусть...

По коридору грузные шаги. Стук в дверь. В дверь заглядывает семейство моих хозяев, красное, потное и веселое, за ними гости. Все в пестрых бумажных колпачках и шапочках... В руках стаканы, в глазах прочное веселье и благодушие. Мы чокаемся, давим друг другу руки. Что еще надо сделать? Не поцеловать ли хозяйку?..

Уф! Ушли... У Макса слипаются глаза,— перед ним давно уже две елки. Шарф лежит на паркете, перчатки— на тарелке с пряниками. Звезды сияют, но свечи уже догорели.

Руки не попадают в куцее пальтишко, вязаный зеленый колпак напозаает на нос. Я беру мальчика в охапку и несу домой: соседний переулок, третий дом направо— огромный дом-улей, набитый прачками, вагоновожатыми и маленькими Максами. Рождество кончено...

Все это было бесконечно давно: в тысяча девятьсот двадцать втором году в Берлине.

<1924>

## РАКЕТА

(ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ)

Господину Курдюмову в Париже определенно повезло. На случайно застрявшие до войны в одном из лондонских банков фунты купил под Парижем за полцены запущенное именье: старый дом с фронтоном в каменных завитушках, фруктовый сад, окаймленный кирпичной выбеленной стеной, огород с парниками и водокачкой— словом, все, что для жизни надо.

Но жить не стал— жена решительно уперлась. Столько лет мыкались, ужели в дыру засесть, цесарок откармливать и под артишоки землю удобрять? Ни за что! Да и молода она еще была— всего пятьдесят шестой год шел. Только что во вкус новых танцев вошла, лицо и живот подтянула, благо массажистка попалась хоть и дорогая, но искусница сверхъестественная. Бегемотов в Клеопатр переделывала— родная мать не узнает.

Именьице Курдюмов чуть-чуть почистил, декорацию дешевую навел и продал под санаторию для легкого флирта с барышом процентов в двести.

И в других делах не ошибся. Партию американских одеял, послевоенные остатки, за грош скупил, в штатские цвета перекрасил и сбыв в Ковно по хорошей цене. Что там в Ковно понимают! А потом развернулся: стал квартиры в новостроящихся ковчегах скупать и перепродавать с большой пользой для себя и с большим огорчением для нанимателей.

Гордый стал. В метро перестал ездить, перешел на такси и по прейскурантам стал для себя изысканный автомобиль присматривать. На эмигрантскую колонию поглядывал свысока: голь беженская, дел делать не умеет, только под ногами путается и аппетит портит. А на визитных карточках, чтобы окончательно от земляков отгородиться, стал писать, без всякого основания, не «Курдюмов», а «де-Курдюмэн». Впрочем, на последнем настояла жена, потому что раз живут в доме с кариатидами, в великосветской части города, то надо же себя в глазах консьержки не уронить.

\* \* \*

Наступили ясные предпасхальные дни, веселая кулинарная суматоха. По богомольности своей супруги де-Курдюмэн очень любили пышный пасхальный стол, чтобы по меньшей мере на былой буфет первого класса в Казатине походил. Капитал позволял, и новые знакомые все были с икрой: нельзя же как-нибудь.

Но где же дома возиться? Французская кухарка ничего в русских кулинарных делах не смыслила, все больше консоме да соуса, подбитые ветром. Дело наладили проще. Де-Курдюмэн позвонил по телефону в лучший гастрономический «Дар-Валдай», — развелось их по Парижу в двадцать пятом году не меньше, чем в Берлине в двадцатом году издательств.

Заказал молочного поросенка с кашей, запеченный окорок, индейку потяжелее, гору куличей, заварную пасху и прочее, что полагается, полный комплект.

Приехал расторопный человек, с дипломатическим профилем, учтиво пробор набок склонил, как скворец, когда ему подсвистываешь, сдал хозяйке заказ и испарился.

Стол вышел на славу. «Фешемебельный» стол, по выражению знакомого негоцианта, понимающего толк в таких вещах. Между поросенком и индейкой зацвелились тугие, словно подкрахмаленные, гиацинты. Де-Курдюмэн «нильской лилией» в столовой попрыскал, сел в кожаное, обхватившее его, как футляр, кресло и прищурил глаза. Картина!

А супруга, высокая, книзу расширяющаяся китайской пагодой дама, надела на себя переливающееся цветной чешуей, стилия царя Навуходоносора, платье, напомнила мужу, чтобы он к концу пасхальной заутрени не опаздывал, и уехала к знакомым меховщикам. Обещала вместе с ними к крестному ходу приехать, их новый автомобиль обновить.

Де-Курдюмэн сложил на вздувшемся жилете белые ручки. Залюбовался на лиловеющие под люстрой гиацинты, на томившийся в графинах коньяк и зубровку, на улыбающегося, с кудрявой петрушкой в зубах, поросенка,— и вздремнул.

Вздремнул и диву дался: плавно и бесшумно подкатил пасхальный стол к креслу. Поросенок заморгал насмешливо глазами, индейка уткнула в его халат, словно указательный палец, обрубленную лапу, гиацинты угрожающе и строго вытянулись, бутылки с вином скользнули с подставок, придвинулись к краю стола и повернулись к нему этикетками.— И вдруг все — и поросенок, и индейка, и гиацинты, и бутылки хором прошипели внятно и выразительно:

— Свинья!

— Почему?— спросил изумленный Курдюмов.

— Ты!..— запищал поросенок.— Ты, так много болтающий о родине, о любви к ней,— что ты сделал для бездомных, брошенных русских детей? Разве мало их в Париже?

— Ты!— зазвенели гиацинты.— Дал ли ты хоть грош несчастным русским инвалидам, ты, разбогатевший на военных поставках и послевоенных одеялах?

— Ты!— зашипела индейка.— Когда к тебе пришли от твоего землячества просить, чтобы ты от своих избытков помог немного твоим несчастным ближним, оставшимся в России... Помнишь, что ты ответил? «Нищих принципиально не поддерживаю!»

— Ты!— задребезжали бутылки.— Твой племянник в Марселе, выбиваясь из сил, грузит уголь. Жена его больна и еле передвигает ноги. Почему ты, чудовище, не ответил на ее письмо?!

Неизвестно, что еще сказала бы подкатившаяся с другого конца стола пулярка, но в этот момент де-Курдюмэн неловко повернулся. Ручка кресла двинула его под ребро, и он, удивленно вытаращив глаза, проснулся.

— Фу, какая чепуха!— Он посмотрел на часы и заторопился. Опять от жены будет взбучка.

За церковной оградой, в тесной парижской улице, сдержанно гудела выходящая из храма толпа. Де-Курдюмэн разыскал свою закутанную в обезьяний балахон супругу.

— Опоздал?— она блеснула великолепно подведенными пятидесятипятiletними глазами и, склонясь к его уху, тихо прибавила: «Свинья!»

Де-Курдюмэн передернул плечами и съезжился. «Свинья!»— опять это слово. Сон словно наступил невзначай на его скрытую

от всех душевную мозоль... Он обернулся: у выхода из ворот хилый, с землистыми впалыми щеками полковник, монотонно простуженным голосом выкрикивая название, словно упрасывая, продавал газеты. Переступал с ноги на ногу и все пытался тесней запахнуться в узкое, обношенное пальтишко.

На одну секунду в курдюмовской голове, как светлая ракета, взвилась к небу сумасшедшая мысль: а что, если наплевать на супругу и на мнение всех «фешембельных» знакомых и, заплатив за все номера нераспроданной газеты, отвезти этого полковника к себе разговляться, пригреть его, усталого милого русского человека, найти ему работу, ну хоть у себя в конторе...

Но ракета, взлетев до предельной высоты, рассыпалась и гаснущими искрами ниспадала к темной, солидной, не знающей жалости земле.

Де-Курдюмэн повернулся к полковнику, взял у него номер эмигрантской газеты, сунул боком пять франков и буркнул: «Сдачи не надо!»...

Подхватил под руку свое законное, шелестящее шелком сокровище и пошел к лиловому автомобилю меховщиков христоваться.

<1925>

## КЛЕЦ

Итальянское, в синьке настоенное небо, в садах хороводы канареечных мимоз, эвкалипты матовые ланцетные листья, словно зеленые макароны, вниз свесили. Пейзаж... А море — разве про него типографскими знаками расскажешь? Только сладкие местные тенора под тускло-серебряный перебой мандолин могут это море, как любимую девушку, воспеть...

В пансионе средней руки у Сакелари загостилась русская компания: дамы, которым во что бы то ни стало надо было похудеть, покорные мужья, которых, как дорожные чемоданы, за собой жены таскают, да два-три траченных молью холостяка — вялые любезники международного штампа, не то сверхштатные доценты без аудиторий, не то безработные коммивояжеры. Жили тихо, друг в друга не внедрялись. Все события: кого москиты в прошлом году искусили, кто прибавился в весе, кто убавился. К морю пойдут, на изъеденных камнях пофлиртуют без последствий, в Геную на Кампо-Санто съездят на трамвае. Только и развлечений. Да что завтра на обед. Итальянец к русским блюдам принаоровился, все их сюрпризами смешил — варениками с рыбой и борщом из вареного шпината.

Тише всех жил верхний одинокий жилец Шишмарев. В Париже по какому-то юрисконсультскому случаю на год жизни заработал и поехал в укромное Нерви поправляться. Кто с женой, а он с застарелым плевритом.

Но жизнь — свинья. Так было, так есть, так будет...

Однажды утром прикатила из Генуи на скелетных дрожках новая жилища с солидным свиным чемоданом, последнюю комнату против Шишмарева захватила, и пошла прахом мирная шишмаревская жизнь.

Когда, неожиданно вынырнувшая из необъятного лона человечества, новоприезжая дама вышла к столу, облизнула перед зеркалом жирные губы и, вильнув хребтом, села рядом с Шишмаревым, — стол замер. Дамы переглянулись и, обжигаясь супом, судорожно закашлялись, глотая улыбку. Попугай! Да еще самых ядовитых анилиновых красок. На голове крашенная рыжая мерлушка, щеки — дряблые томаты, нос сизым груздем, крохотные глаза цвета перестоявшегося студня фальшивой лаской переливаются. А уж платье, должно быть, разбогатевший свинопас выбирал: лилово-зеленое, — лягушка в обмороке, — с вышитыми золотыми глистами... Голые руки, — ляжки у пожилого немецкого борца, — желто-кирпичной прослойки с жилками.

Мужчины не все сразу разобрались. Черт теперь в дамских нарядах ногу с копытом сломает. Другая на себя абажур нацепит, в гриву летучую мышь воткнет, а может, так и надо...

Характер у приезжей Цецилии Сигизмундовны раскрылся сразу, под стать декорации, во всем попугайском блеске.

— Ах, суп с фрикадельками! Несносно... Во всех пансионах меня этим супом морят. Я еще с детства терпеть не могла фрикаделек... Monsieur Шишмарев, если не ошибаюсь? Передайте мне, пожалуйста, перец. Mercі, вы очень милы. Вы мне покажете после обеда Нерви? Правда?.. Я провела зиму на Капри. Упоительно! Жила в лучшем отеле, смешно же себе отказывать... Но стол... Разве эти шарманщики умеют есть?.. Какое вино вы пьете? Мускат? Фи, оно приторно. Я, впрочем, не пью никакого. Знаете, после тридцати лет (дамы переглянулись) вино действует на сердце. Ах, какая чудесная девочка! Это ваша дочка, madame? Вы не замужем? Простите, удивительное сходство... Здесь нет змей, monsieur Шишмарев? Я ужасно, ужасно боюсь змей! В детстве ко мне в постель заполз уж, я чуть с ума не сошла... Но ведь уж — это безвредно. Я когда-то очень интересовалась естественной историей. Передайте мне, прошу вас, горчицу.

О, как она говорила! Вначале это всех развлекало. Даже пожилой лакей с лицом сенатора остановился у дверей с пустым блюдом, покачал головой и улыбнулся: однако, и голосок... точно Пульчинелла на ярмарке...

Но к десерту все изнемогли. И конечно, по освященной культурой и воспитанием привычке вежливо и торопливо отвечали: «совершенно верно», «благодарю вас», «очень при-



ятно». А в головах складывались совершенно иные обороты. Одна пожилая дама такое про себя сказала о новой жиличке, что и напечатать невозможно.

Шишмарев съежился и, не подымая глаз, молча передавал соседке то перец, то горчицу, то соль. Ему было особенно тяжело. Она повела на него открыто при всех бесстыжую любовую атаку. Закатывала зрачки, гарцевала на стуле, склоняла, поворачиваясь к нему, обсыпанную пудрой шею, встряхивала арбузным бюстом и вообще обращалась с ним как со сдавшейся без боя крепостью.

Ближние вообще безжалостны, а дамы вовсе. Вместо сочувствия — кривые, насмешливые улыбки. Он-то в чем виноват?! Археолог он, что ли? На что ему эта раздраконенная руина?.. Но вежливость смыкала уста, губы, кривясь от злости, покорно говорили «очень приятно» и только рука под столом безжалостно мяла салфетку.

Подали фрукты. Слава Богу, можно встать! Он ловким маневром поискал в кармане спички, сделал вид, что не нашел их — и вышел в коридор. Оттуда без шляпы через сад, замечая следы, нырнул в заросли кактусов и пустился к морю. Легче серны перемахнул с камня на камень, сел у самой воды с таким расчетом, чтобы его сверху не было видно, и успокоился. Сюда не доберется, желваки на ногах лопнут... Вот сколопендра! Нервы ей показывай!..

\* \* \*

Пансион глухо кипел. Поблекло итальянское небо, скисало вино, фрукты за обедом наливались горечью, — некуда было скрыться. Рыжая Цецилия влетала во все двери, присаживалась на все скамьи в саду и у моря, заполняла собой всю столовую и веранду. А за ней тлетворной струей носился запах ее духов «Мечта фараона», сквозь который пробивался ее собственный: невыносимый дух увядшего олеандра.

Ревнивому толстяку, жившему рядом с ее комнатой, она говорила: «Вы отпускаете Анну Петровну одну в Геную? О-го-го! Смо-три-те...»

Больной и некрасивой кроткой учительнице, гревшейся в саду на солнце, она показывала свою слоновью ногу выше подвязки и приставала:

— Нет, вы потрогайте! Один американец говорил мне на Капри, что он таких упругих женщин даже в Мексике не встречал... Да, душечка, я еще могу многим удовольствие доставить! А вы все сохнете? Женщина, мой друг, не должна выпускать оружия из рук! Да, кстати, я хотела вас предупредить: вы так дружны с этой Штерн... Дело не мое, но из участия к вам я вас предупреждаю, — будьте осторожнее... А, простите, идет почтальон. Нигде на земном шаре я не могу укрыться от мужских писем.

Но больше всех, конечно, доставалось Шишмареву. Она разыскивала его верхним чутьем на самой укромной скамье у моря и влипала в скамью.

— Можно? Все читаете?.. Разве жизнь не лучше книг?.. Почему вы опускаете глаза?.. Ах, Бог мой, я и забыла: сегодня вечером я заказала Джованни для нас лодку. Видите, как я о вас забочусь.

И, если кто-либо из пансионских жильцов проходил в это время мимо, она нарочно обрывала свою болтовню и громким шепотом, облизывая глазами Шишмарева, многозначительно говорила:

— Я вам потом скажу...

Начали коситься и на Шишмарева. Хорошо, в самом деле, гусь! Тихоня... Не станет же баба без всякого повода вязаться.

А однажды утром его приятельница, девчурка Надя, под села к нему и ехидно спросила:

— Дядя Миша! Что значит «нет дыма без огня»?

Шишмарев побагровел.

— Почему ты меня об этом спрашиваешь?! Где ты про этот дым слыхала?

— Так. Слыхала.

В этот день он не вышел к обеду и уехал на поезде в Санта-Маргериту. Долго ходил по молу и свирепел. Кроткие люди накаляются медленно, но уж если накалятся...

Переменить пансион? Но — почему?! Из-за какой-то липкой жабы? Жизнь в Нерви у Сакелари так наладилась, — недорого, тихо, — почему он должен бежать? Почему все должны ее выносить и отравляться?.. Старая история: пришла свинья, положила лапы на стол и все вокруг опускают глаза и молчат... Культура? А лапы на стол — тоже культура?!

И вдруг, — словно его солнцем ожгло. Он вспомнил одну далекую студенческую проделку и расхохотался. В самом деле! Почему бы и не попробовать.

Вечером Шишмарев вернулся. К ужину не вышел, вызвал в сад синьору Сакелари и убедительным шепотом сказал:

— Дорогая синьора! Вы меня знаете, плачу аккуратнo и никому не мешаю. Хотите вы, чтобы эта... акула уехала?

Синьора поняла.

— О Мадонна! Еще бы... Но как, но как это сделать? Горничная клянется, что подбросит ей в постель живого омара, если она ей сделает хоть еще одно замечание, повар зеленеет, когда она приходит на кухню нюхать провизию... Жильцы того и гляди из-за нее разбегутся... Я не понимаю вашего языка, но я вижу, какие у всех глаза. Но, синьор, у меня ведь нет настоящего повода.

— Не беспокойтесь. К дьяволу повод! Только прошу вас, что бы она вам обо мне ни говорила, не верьте ни одному слову. Ни одному! И ради Мадонны, не опровергайте ее... Хотя бы она вам сказала, что я по ночам у рыбаков кровь высасываю.

Толстая итальянка удивленно подняла брови.

— Хорошо... Только, пожалуйста, чтобы дело обошлось без полиции.

— О синьора, никакой полиции. Чисто и аккуратно.

Перед сном Шишмарев переговорил с пансионерами на ту же тему, с каждым особо. Все удивились, но обещали ему вести себя так, как он просил: ничему не верить и ничего не опровергать.

\* \* \*

Цецилия Сигизмундовна встала не в духе. Вчера за ужином никто ей толком не сказал, где Шишмарев и что с ним. Все таинственно отмалчивались и шушукались. Уехал? Но вон под верандой сохнет его купальный костюм.

Она наскоро мобилизовалась — подпудрила нос, щеки, декольте, мазнула краской по губам и понеслась к морю.

Ага! Он сидел под башней у воды и мрачно рассматривал опущенные кисти рук.

— Мило! Почему вы вчера исчезли? Почему не ужинали? Хотите бутерброд с салями? Сама приготовила. Видите, как я о вас забочусь. Вы ведь совсем, совсем младенец...

Цецилия придвинулась вплотную и нежно ударила бутербродом Шишмарева по руке.

— Не хотите? Что с вами? На вас лица нет... Больны?

— Хуже.

— Что хуже?! Михаил... Иванович, вы меня пугаете. Несчастье? Письмо какое-нибудь? Я видела, третьего дня почтальон вам принес сиреневый конверт. Разрыв? Не надо, не надо, милый, отчаиваться! Разве нет других женщин? Ласковых, верных... самоотверженных.

Он отодвинулся и угрюмо посмотрел на густонапудренный нос.

— Хуже. Какой там разрыв... В сто раз ху-же!

— Шишмарев, вы разрываете мне сердце. В чем дело?!

— Слушайте. Никто в пансионе не подозревает. Ни-ни. Но вы мой друг, вы должны все знать.

— О да!

— Недели две назад в день вашего приезда случилось нечто... на что я не обратил сначала внимания. Но вчера некоторые обстоятельства заставили меня принять меры... И я убедился, что все погибло!

Боже мой! Ее вдруг осенило: да ведь он, черт возьми, влюблен, конечно, конечно... И в нее, — в кого же больше? Но какой робкий... О, она ему поможет!

— Михаил... Ми-ша! Дайте вашу руку, кролик мой. Почему у вас дрожат пальцы?

Он впился ногтями в ее потную ладонь, вскочил, опять сел и судорожным шепотом отчеканил:

— Вы ничего не понимаете... Меня укусила... бешеная собака...

— Ай! Господи! Он сошел с ума!!

— Не сошел. Меня... в день вашего приезда... укусил на улице... пудель. Не обратил внимания. Ну, укусил, мало ли что. Вчера узнал, что пудель... был... бешеный. Поехал в Геную... сделал прививку. Сказали, что, может быть... поздно. Что вы так смотрите... я ведь еще не кусаюсь. Р-р-р!.. Дайте руку... не могу сам встать...

Но Цецилия Сигизмундовна, взвизгнув не хуже собаки, сама вдруг словно взбесилась. Рысью-рысью через камни, трясая всеми своими опухольями и полушариями, полетела к пансиону, в ужасе оборачиваясь: не бежит ли он, лязгая зубами и свесив покрытый пеной язык, за ней? Нет, не бежит...

В пансионе (дикие люди!) к потрясающей новости отнеслись как-то равнодушно.

Хозяйка озабоченно повернулась к фонтану... Странно, как похож порой плеск воды на человеческий смех! Повернулась и сказала:

— Что вы говорите? Укушен? Но, может быть, Бог даст, он и не взбесится. Прививка, хоть и поздно, сделана... Ничего. Не надо терять надежды.

В диапазоне Цецилии Сигизмундовны внезапно открылись скрытые до сих пор от всех базарные ноты:

— Как?! Вы решаетесь подвергать своих жильцов такой опасности? Вы обязаны, вы должны, я требую... Велите его связать и отправьте на грузовике... в Геную! Он на меня рычал! Он меня укусит... Меня, синьора Сакелари!.. Вы по-ни-ма-е-те?!

Синьора холодно посмотрела на солнечные часы.

— У меня сердце не из антрацита, как у некоторых. Каме-рье, принесите даме стакан воды. Такой прекрасный синьор, так давно у меня живет... Нет! Я вызову врача, пусть больной пока полежит в своей комнате. У нас еще есть время... В прошлом году с одним сапожником произошел такой же случай, и он взбесился только через шесть недель... Вы согласны, господа, подождать?—спросила она окруживших ее жильцов.

— О, конечно! Вы, Цецилия Сигизмундовна, были до сих пор так благосклонны к господину Шишмареву, и вдруг... связать. Кто бесчеловечен и боится только за свою шкуру, тот может...

Ух, как хлопнула дверь в столовой! С кинематографической быстротой в комнате Цецилии полетели в чемодан и в картонки тряпки, шляпки и туалетная дребедень. С кинематографической быстротой был подан и судорожно оплачен счет.

Через семь минут дама сидела уже в экипаже со своим свиным чемоданом: фрески на щеках и под глазами были в самом разрушительном состоянии, бюст дамы и кузов экипажа дрожали... Через десять минут и стука колес уже не было слышно.

Пожилой англичанин, живущий в соседней вилле, ничего понять не мог. Смотрел с балкона сквозь заросли глициний в бинокль и пожимал плечами.

В саду синьоры Сакелари вокруг вернувшегося с моря пансионера столпилось все население пансионата — жильцы, дети, хозяйка, повар, горничная и судомойка... Хлопали в ладоши, схватывались за бока и хохотали так оглушительно, что все голуби с крыши слетели. Стоявший в кругу пансионер тоже хохотал, но вдруг остановился, оскалил пасть, щелкнул зубами и зарычал:

— Р-р-р! Гав-гав-гав!..

Что такое? Взбесились они все там, что ли?

1925 Июль  
Париж

## МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

(НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ)

Почти каждый эмигрант-писатель пережил эту кинематографическую корь. И странно — прививают ее самые близкие люди: сестры, жены и испытанные приятели из «Союза журналистов и писателей»...

— Миша, — говорит сестра писателя, любовно стирая пыль с пишущей машинки, — напиши сценарий.

— Почему ты не предложишь мне написать обзорение для орангутангов?

— Михаил Павлович, — мягко отзывается с дивана приятель, — ты не прав. Обзорения для орангутангов никто не купит. Это очень свежая мысль, но для осуществления ее нужны меценатские средства. А возможности кинематографа беспредельны, как Млечный Путь... «Великий немой» завоевал весь мир! И если он до сих пор не поднялся над уровнем сентиментальных прачек и смешливых консьержек, то в этом виноваты все мы — уклоняющиеся. Конечно, надо начинать с трафарета. Не лезь сразу в Колумбы. А там — раз и готово!

— Почему же ты сам не напишешь? — спрашивал писатель, нервно завинчивая и развинчивая стило.

— Потому что я биржевой обозреватель. Что я напишу? «Приключения французского франка на бразильской бирже»?

— Миша! — Сестра садится рядом. — Подумай об одном. Ты напишешь сценарий. Получишь состояние. Мы уедем в Пиренеи, на испанскую границу, и ты сядешь за большую вещь. Разве ты доволен своими еженедельными кусочками? В одном месте напе-

чатаешь голову, в другом — ноги, а середина так и валяется в черновиках в ящике комода... Разве Толстой написал бы «Войну и мир», если бы он не был обеспечен?

Женщины всегда склонны принимать часть за целое. Ведь вот Гомер (если вообще Гомер существовал) едва ли был «обеспечен»... И однако... Но микроб надежды («большая вещь») уже проник под кожу. Михаил Павлович подымает голову:

— Хорошо. Допустим, что сценарий написан. Кто поручится, что он будет пристроен?

— Я, — спокойно отвечает сестра и смотрит брату прямо в глаза. Даже не покраснела.

— Об этом тебе, Михаил Павлович, беспокоиться не придется, — солидно отзывается с дивана биржевой обозреватель.

Плана у них еще никакого нет — это ясно. Но какой план был у Аттилы, когда он шел завоевывать Европу?

Писатель встает, обматывает шею довоенным кашне и отправляется в ближайшее кино изучать технику. Возвращается домой поздно, мрачный и подавленный, и на расспросы сестры отвечает коротко и четко: «Навоз».

Но женщины всегда дальновиднее: навоз? Тем лучше. Значит, у них нет настоящих сил.

\* \* \*

Многие полагают, что чудес, которыми в таком изобилии насыщена старая Библия, в нашей трамвайной жизни не бывает. Бывают. Надо только шире раскрыть глаза.

Через неделю Михаил Павлович получил от знакомого адвоката пневматичку: «Дорогой коллега! Я состою юрисконсультом во вновь открытом кинообществе «Усть-Сысольск-Парижфильм». Слышал, что вы пишете сценарий. Не зайдете ли переговорить. Жму руку. Третий этаж направо».

Разговор был короткий.

— У вас, Михаил Павлович, есть сценарий? — спросил юрисконсульт, равнодушно покусывая золотой карандашик.

— Пять-шесть, — зевая, ответил Михаил Павлович. (Чего там, в самом деле, стесняться?)

«Эк, ведь врет!» — подумал юрисконсульт и вежливо спросил:

— С собой?

— Зачем же с собой? Показать вам шесть — все равно пять забракуют. Уж я лучше по очереди. Выберу подходящий. Представлю конспект (в голове замелькали темы). — А там...

— Чудесно. Только не откладывайте. У меня уже и так в портфеле 48 конспектов... Конечно, я не сомневаюсь, что ваш...

Еще бы он смел сомневаться!

На обратном пути в метро, между станциями Гренелль и Пасси, бес ее знает откуда, голубой искрой влетела в мозг тема:

«Разочарованный водолаз в сообществе с другими разочарованными водолазами устраивает вблизи Корсики подводную веселую колонию... Подводная рулетка, подводный дансинг... Купаясь в море, молодая леди нырнула в прозрачную глубину и вдруг, открыв глаза...» Плохая тема?

\* \* \*

Фильм-директор, маленький несгораемый шкаф без шеи, был изысканно любезен.

— Очень, очень приятно. «Детство Темы» — это ваше? Замечательная вещь. Серьезно, не ваше? Ну, я очень рад. До сих пор кинематограф был одно, а литература — другое. Теперь, надеюсь, будем идти в ногу. Конспект ваш точка в точку то, что надо. Из 68 проектов, имейте в виду, я подал голос именно за ваш... А обыкновенно я бракую все 100 процентов. Понимаете?..

— Вы курите?.. Об условиях переговорите с Юлием Цезаревичем. Наш юрисконсульт. Знакомы? Ну, хорошо. Он вас сейчас передаст нашему режиссеру... Если у вас есть лишнее «Детство Темы», пришлите, пожалуйста, с надписью, — мой мальчик очень любит с надписью. До свиданья.

В коридоре выяснилось, что никакими Пиренеями и не пахнет. Пиренеи превратились в скромный холмик, на котором можно было отдохнуть месяц-другой... А «большая вещь»... Ну что ж, хоть с места ее сдвинешь.

Режиссер принял автора «Разочарованного водолаза» в пропахшем пустотой и пылью кабинете. Поднял усталые, гениальные глаза — так ведь нелегко нести на плечах мировую известность — и лаконично отчеканил:

— Вы на верном пути. Знакомы с техникой?.. С выделением крупных планов и прочим? Я вам покажу. Вот тут, можете взять с собой, образцовая схема технического сценария... Что? У вас уже готов весь сценарий? Тем лучше. Зайдите через неделю в это время, мы переговорим.

Сдержанно-иронически улыбнулся и проводил автора до дверей.

\* \* \*

Дальше одна за другой закрубились «тайны Мадридского двора». Юрисконсульт категорически заявил, что в сценарии, по его юрисконсультскому мнению, план реальный превалирует над планом фантастическим, а это совершенно недопустимо. Главный бухгалтер держался противоположного мнения и, кроме того, находил, что расходы на подводную постановку превышают среднюю норму. Режиссер требовал перевода всех надписей в действие, а директор, напротив, настаивал на увеличении надписей и энергичной их юморизации.

Компаньон директора находил, что в сценарий надо ввести голландский бытовой элемент, выдержать сценарий до весны, а затем перепродать его в Амстердам...

Михаил Павлович переделал сценарий сначала в одном направлении, затем в другом. Сел было с душевной тошнотой переделывать в третий раз, но, к счастью, на вечеринке вологодского землячества познакомился у буфета с младшим помощником механика «Усть-Сысольск-Париж-фильм».

Младший помощник нежно взял его за локоть и зашептал в ухо:

— Между нами, да? Бросьте! Тетка директора хлопочет о своем зяте, который спекся в издательстве и теперь вроде как безработный. Он сейчас пополам со вторым режиссером «Отцов и детей» пересценаривает. С кораблекрушением в конце: Базаров тонет, а отец на корабельном сундуке спасается... Вообще — промышленность добывающая и обрабатывающая... А кроме того, Сильвия Нильская, как всемирная звезда обоих полушарий, очень обижена, что вы не через нее пробивались, и вашу английскую водолазку играть не согласна. Ей же по сложению, между нами говоря, ниже ватерлинии в купальном костюме сниматься не к лицу... Разрешите, из уважения к печатному слову, чокнуться?

Михаил Павлович чокнулся и рассмеялся.

\* \* \*

Домой пришел веселый. Черновик сценария сжег в камине, руки вымыл, сестру в пробор поцеловал и кротко спросил:

— Больше не будешь?

— Не буду...

В дверь постучал приятель из «Союза журналистов и писателей».

— Михаил Павлович, новость! Пошли этих ослов к черту!.. Черновик у тебя сохранился?

— А что?

— Только что был в новом кинообществе «Соль-Вычегодск-Париж-фильм»... Очень просили тебя показать твой сценарий.

— «Возможности кинематографа безграничны, как Млечный Путь?»

— Ну, конечно... Чего же ты смеешься?

Но Михаил Павлович подошел к приятелю сзади и вместо ответа надел ему на голову футляр из-под пишущей машины.

— Что ты, с ума сошел?! — забубнил из-под футляра испуганный голос.

— Нет, наоборот. Выздоровел.



# ДОРОГОЙ ПОДАРОК

(ЭМИГРАНТСКАЯ БЫЛЬ)

Свет и тепло, как здоровье. Когда они есть, их не замечаешь. Щелкнешь в сумерки выключателем, в комнате уютно и весело. Комната,— маленькая твоя родина,— оживилась знакомыми русскими вещами: на каминной доске сказки Афанасьева, грядка томиков Чехова, берестяная шкатулка с письмами (не деловыми, конечно!) и вечно-радостная гарднеровская пара — ухмыляющийся мастерской с гармошкой и пляшущая слободская мещанка в платочке корабликом и затрапезном ситцевом сарафане. На стенах — пережившие все эмигрантские кораблекрушения мальчик-Пушкин в плаще и в мягкой шиллеровской рубашке, старый добродушный, мужицкого облика барин-Тургенев, угрюмое, железное лицо, — словно предвидевшего нашу беду, Щедрина...

Горит камин... Центральное отопление, пожалуй, и лучше — это все хозяйки знают. Но андерсеновской породе людей камин ближе и милее. Огонь весь на виду. Волнистая оранжевая борода, струясь, улетает в черное жерло. Вспоминаешь русскую печку, смотришь и отдыхаешь...

И если с улицы из январской дождливой, пронизанной ветром мглы забежит знакомый, приятель или, скажем (улыбаться по этому поводу, ей-богу, нелепо), приятельница — теплый и светлый квадрат комнаты отгораживается наглухо от всего мира, и парижский гул за железными ставнями больше волнует дребезжащие на столе стаканы, чем вас.

Трудно себе представить в такую минуту жалкую лучину, косо нависшую над некрашеным столом литовского приграничного дома, мглистый дым, разъедающий усталые глаза, метель за забитым снегом промерзлым окошком и треснувшую печку без дверцы, в которой шипят и слезливо поют осколки бревен из немецких окопов... И однако все это было.

\* \* \*

Было это в 1919 году, в далекие сейчас от нас пещерные века эмигрантской жизни. Бородатый русский Робинзон, полковник, обошел всю усадьбу. Подвинтил обмотанный соломенным жгутом дребезжащий насос, заглянул в теплый сарай, подбросил кроликам, тыкавшимся в проволочную сетку, капустных кочерыжек, разгреб засыпавший на ночь пухлой периной крыльцо снег и на чурбане под окнами сколотил из старого ящика подставку для елки. Елку в рожице за оврагом выбрал такую, что в былые дни и у Гостиного двора не найдешь. Этого добра здесь было вдоволь.

Две девочки-племянницы кубарем слетели с крыльца. Молодое упругое деревце упиралось, растопыривало зеленые лапы,

царапалось в темных сенях тугой верхушкой, но девочки, смеясь и пыхтя, втащили его в избу. Дядя вбил заостренный клином ствол в подставку, и зеленая пирамидка встала до закопченного потолка, вздрагивая и роняя на пол хлопья тающего снега.

— Довольны, мартышки? — улыбаясь, спросила мать — сестра полковника, — раскладывая в устье румяной печи на намаленном железном листе картофельные лепешки.

— Очень. — Старшая обошла вокруг деревца, посмотрела на дядю, мастерившего в углу на лавке новое топорище, и задумалась.

— А что же мы на елку повесим? — озабоченно спросила младшая. — Рябину, правда, мама? Она красная, и елка будет вроде яблоньки.

— На чердаке есть телеграфные ленточки. Немецкие. Мы их раскрутим, сделаем метелочки и развесим... Шрапнели? Тяжело... и гадость. Что же еще? Консервные жестяночки? — старшая ничего больше придумать не могла.

— Кроликов можно повесить, — деловито предложил дядя.

Младшая девочка испуганно покосилась на полковника.

— Они ж будут дрыгать ногами и им будет больно!..

Как можно, в самом деле, предлагать такие вещи?

Но сестра ее успокоила. Дядя на обед и то кроликов жалеет, станет он их на елку вешать, как же! И вдруг, ни с того ни с сего, сказала: «Куриная бородавка».

Это было условное слово. Значит, надо уйти от взрослых и пошептаться. Полковник переглянулся с сестрой — оба сделали вид, что ничего не заметили.

А девочки выскочили в сени, надели тулупчики, выкроенные из старой солдатской шинели, варежки, вязаные попугайские колпачки и побежали, проваливаясь в сугробы, за угол зиявшей разобранной крышей пустой немецкой штабной конюшни.

\* \* \*

— Ну что? — младшая девочка села на печь и степенно сложила на коленях лохматые медвежьи лапки. Уж сестра всегда что-нибудь дельное придумает.

— Ты, Люся, понимаешь, что елка без подарков все равно... все равно что подарки без елки...

Люся пожала плечами.

— Чудачка какая! Ты, значит, ничего не знаешь, а я все уже знаю. Дядя делает мне лыжи, а тебе — не скажу что. Мне мама связала зеленые гамашки. Тебе — сама догадайся. Я сшила для мамы утюжку, чтоб не обжигаться, для тебя — это тебя совсем не касается... Не воображай, пожалуйста! А дяде я сделала бархатную туфельку для часов. Он их всегда на козлиный рог вешает, разве это красиво?

Старшая девочка подрывала валенкой блестящий на солнце сугроб и потянула сестру за рукав: «Главное совсем не твоя туфелька и утюжка. Главное, что у нас совсем нет свечей! И бензин весь вышел, и трубочка стеклянная лопнула, значит, у нас елка будет с лучиной? Очень весело, как же! А потом, ты забыла... Что же это за печка без дверцы? Немцы все дверцы отвинтили — и дядя все ворчит, что это невыносимое свинство. Печка не держит тепла, и мы наконец топим двор... Разве мы эскимосы какие-нибудь? А теперь полюбуйся».

— Рукавицы?.. Ну зачем они дяде, когда у него их две пары или даже три.

— Да я совсем не для дяди сшила. А это видишь?

— Дядины папиросы?!

— Ну, так что же. Всего пять штук. Я тихонько взяла, а потом дяде все объясню, и он ничуть не рассердится. Бери салазки, живо, и поедем на станцию. Отвези их, будто кататься за дом на пруду...

— По-ни-ма-ю! На, а дальше что?

— Дальше ты будешь немцу зубы заговаривать, а я...

О, какая умная старшая сестра! То-то она ночью все ворочалась и ее толкала...

— Сейчас, сейчас! — Девочка помчалась за салазками, с невинным видом медленно провезла их мимо окон и за углом дома припустила во всю прыть.

Ехали бесшумно и быстро. Собственно говоря, не «ехали», а сами везли салазки, не все ли равно. Накатанная снежная тропка ныряла в белый можжевельник, подымалась в гору к одинокой брошенной усадьбе, черневшей над раскатом белых полей. Вот и куст барбариса на повороте и за ним ровные ряды, словно построившихся повзводно, немецких крестов. Девочки общипали красные кисточки: кисленько! — и еще быстрее, как два резвых пуделя, помчались вниз, к станции.

Одинокий, словно игрушечный, паровозик пищал вдалеке и клубил к морозному небу пухлый ватный дымок. Солнце горело на станционных стеклах. В стороне у гряды ржавого хлама солидно шагала закутанный в толстую овчинную шубу немецкий часовой. Под стрельчатым навесом серые солдаты лениво грузили последние поезда, отходившие в Германию.

\* \* \*

Человек, стороживший груды железного и медного хлама, держал винтовку, как ненужную палку, глупым, широким штыком книзу и обрадовался маленьким русским девочкам. Улыбаясь, взял рукавицы. Еще радостнее — папиросы. Да, завтра Рождество. Он знает. Спасибо. А у него для них ничего нет. Свечи? О, с удовольствием...

Он выгрузил из карманов горсть железнодорожных огарков, насыпал их в старую консервную жестянку и дал Люсе. И Люся

стала ему «заговаривать зубы». Все фразы из немецкой хрестоматиигодились! Спросила, сколько у него детей, как их зовут, скучно ли ему без них, какого цвета волосы у его жены!.. Часовой на все ей обстоятельно отвечал, улыбался и сам ее расспрашивал о том о сем, как старый знакомый... Старшая девочка тем временем осторожно рылась за его спиной в старом железе,— Боже мой! как это железо ужасно скрипит!—и вдруг сказала: «Кикс!» Это значило на их языке: готово.

Девочки вежливо простились с часовым, пожелали ему веселых праздников и тронули с места прикрытые мешком салазки... — Стой!..— У них упало сердце... Все пропало!

Часовой подошел к салазкам, сбросил штыком мешок, скинул наземь медные печные дверцы и строго сказал девочкам:

— Эти не годятся. Видите, петли сломаны. Берите вот эти,— и он, порывшись штыком в колючей проволоке и обрезках жести, выудил другие дверцы и показал их девочкам:— Только привяжите покрепче, а то слетят по дороге.

Немец отвернулся, вокруг никого не было — переложил винтовку под мышку и застыл. И когда за спиной скрипнули и резко понеслись вскачь салазки, он ухмыльнулся и покачал головой...

Ишь, бегут, как мыши от кошки.

<1926>

## ЖИТОМИРСКАЯ МАРКИЗА

(СВЯТОЧНАЯ БЫЛЬ)

К Святкам крепкая зима задушила инеем все житомирские сады и бульвары. Низенькие деревянные домики под белыми метлами тополей так уютно сквозь сердечки ставень глазели через дорогу друг на друга оранжевыми огнями. По бульвару, поскрипывая по плотному снегу солидными ботинками, изредка проплывал увалень-приготовишка, за плечом коньки, на тугой бечевке салазки. Щеголь-студент, сверкая бронзовыми с накладными орлами пуговицами, гвардейским шагом проходил по белой горбатой дорожке-обочине — в темном сюртуке — без шинели, по новой киевской моде; воротник иссиня-черный, околыш такой же; царского сукна темно-зеленые брюки натянуты штрипками до отказа, — чем не лосины?

Пройдут — и опять пустыня. Вверху холодные перья облаков, мерзлый блик луны, тускло-голубое морозное сияние; внизу стылый дым ветвей, кусты в глубине садов в легких снежных париках, в прозрачном кружеве инея, и только кое-где за сквозным талисадником пирамиды елок грузны и тяжелы, словно в медвежьи белые ротонды нарядились.

На перекрестке бульвара, в переплете седых ветвей, углубляя тишину, тихо шипел лиловый дуговой фонарь. И снежные бабочки, прорезая светлый круг, падали в мглу легко и беззаботно.

\* \* \*

Из-за угла кургузого памятничка Пушкина выкатил странный караван. Расхлябанные сани, раскатясь по гладкому снегу, круто повернули вдоль бульвара. За ними, нахлестывая похожих на беременных крыс серых клячонок, веселый извозчик направил в крепкую колею широкозадый, обитый ковровой рванью рыдван... А сбоку, легко обгоняя грузных попутчиков, чертом выбрасывая резвые ноги, прозвенел бубенцами под синей раскидистой сеткой пегий конек. Вскинулись на ухабе высокие легкие саночки, Мефистофель-седок, сбросив с одного плеча барашковое пальто, лихо чмокнул, маркиза в трехъярусном пышном парике, сверкнув под фонарем атласною маской, испуганно вцепилась в полость...

За ними раскатился дробный галоп подогретых кнутом лошадемок, визгливый плеск захлебнувшегося колокольчика, хохот и нестройные клики... Все дальше и дальше. И когда все уже смолкло — далекий призывный крик:

— Эй, черти, проехали!

Мефистофель, круто натянув вожжи, сбил резвую рысь на шаг, завернул оглобли и подъехал к крытому освещенному крыльцу, на котором уже топотала и отряхивала снег вся пестрая компания.

Одноэтажный, но просторный, с высокими окнами розоватый дом весь светился изнутри, словно пестрый фонарик. Ставни настезь, за тюлевыми занавесками переливалась оранжевыми глазами высокая елка. Гурьбой ввалились в переднюю. Сбросили на лари так резко не подходившее к пестрым нарядам обыденное верхнее платье, зашущукались перед зеркалом, оправили друг на друге складки, плотней подтянули маски. А вокруг них закопошилось все население дома: добродушные хозяева, гости, няня в ковровом платке — любопытная приземистая старушка, и наследница Настя, восьмилетняя девочка-листочка, как ртуть, вертевшаяся под ногами, подпрыгивая и заглядывая сбоку под маски.

— Покорнейше прошу, господа, елку только что зажгли. Ишь, морозцем-то как от вас попахивает...

Радушный кругленький хозяин калачиком согнул руку и распахнул настезь дверь в зальце: «Прошу... Господин Мефистофель, будьте любезны, поближе к печке. Вам ведь адская температура пользительна. Ась?..»

А Настенька, прыгая жеребенком около матери, улыбающейся тихой дамы в лиловом, пищала ей на ухо:

— Мамуля! Да ты слышишь?.. Всех узнала, положительно всех. Кроме маркизы, мамуля. Ладно, ладно, уж она у меня не отвертится...

Долго ли узнать? Все узнали, даже няня, шаркая с костылем вдоль зальца, опознала маску за маской. Мефистофель, тьфу, черт красный, да и черт-то неправославный,— это городского головы сынок, Савва. Лоботряс, в драгунском Чугуевском полку вольноопределяющимся служит, на побывку приехал; ишь, ноги-то, как у кормилицы. Мордовка, по голосу слышно, кто такая,— студентка медицинская, хозяйская сродственница. И по костюму сразу узнаешь: из Башкирии с кумыса вывезла — шитье коричневое да черное, «занавеска» — передник ракушками и екатерининскими рублями выложена... Китаец в ватной кофте — сын хозяйского приятеля, чаеоторговца Брагина, конечно же. С оконной выставки с китайского идола кофту снял, всему городу она известна. Так всех перебрала няня, каждого вслух назвала и успокоилась. А кого не узнала — Настенька подсказала.

Вот только эта тоненькая. Кто такая, неизвестно. Маркизой ее кличут. Имя чудное. Польское, что ли?

— Не имя, няня! Дамы такие были знатные во Франции, при королях,— объяснила Настенька.

— Дамы? Что ж это у нее на голове наворочено? Другие седой волос чуть появится, прочь вырывают, а эта — подбородок нежный, шейка молодая,— ишь на себя седую копну накрутила. Почему так? И юбка пузырем,— хоть в кошки-мышки под ней играй... Маркиза... Молочница французская, что ли?

— Почему же, Агафьюшка, молочница? Она настоящая дама... — улыбаясь, сказал кругленький хозяин. — Как ваше имя, сударыня, ась?

Маркиза расплылась в широком реверансе, расправила вокруг маски черное кружево и застенчиво закрылась веером.

— Не понимает по-русски. Варюша, спроси-ка ее, ты же в Женеве французский курс прошла.

Медичка Варюша категорически отказалась. И резон выставила основательный:

— И спрашивать не буду. Она у нас, Павел Иванович, глухонемая. Вам же лучше, меньше писку в доме...

— Неправда, неправда! — зашумела Настенька. — Глухонемая?! А я сама слышала, как она в передней чихнула. Если в самом деле не может говорить, пусть на бумаге свое имя напишет.

Гости столпились вокруг молчаливой маркизы, улыбались и гадали: кто такая, в самом деле? Стройна, высока, изящна... На кого-то ужасно похожа... Управляющего акцизами дочка? Но у той на правой руке родимые пятна вроде Большой Медведицы. Не она. Начальника Мариинской гимназии племянница? Рост подходящий, и грация, и застенчивые манеры... Нет, нет. Ту с ряженными не отпустят. И в плечах та чуть-чуть пышнее.

Мефистофель, хлопнувший уже мимоходом в столовой су-харной водки, рябиновой и английской горькой, прожевывая мятный пряник, подошел вразвалку к своей даме и выручил ее:

— Господа, нехорошо, непорядок. По маскарадным законам, если дама желает сохранить инкогнито, настаивать нельзя. Мадам, вашу руку!

Он вывел склонившую лебедем шейку маркизу из расступившегося круга и, подражая движениям конькобежца, заскользил с ней рука в руку по паркету.

Свечи на елке, треща, догорали. Внизу под серебряным картонажным слоном вспыхнула хвоя. Член управы в прическе ежиком, отодвигая туго застегнутый на чреве сюртук, чтоб воском не закапать, потушил пальцами золотистый огонек и наперебой с детьми стал гасить свечи. Верхнюю, склонившуюся у самой звезды набекрень, никто потушить не мог. И вдруг маркиза легким движением носков отделилась от паркета, подпрыгнула, словно одуванчик на ветру, и дунула: свечка погасла.

— Bravo! Удивительно изящна... Да кто же она такая?

Но гадать было некогда. Елку за колючие зеленые волосья оттянули в угол. Лиловая хозяйка села к роялю. В теплом, насыщенном хвоей и воском воздухе зазвенел, засеребрился модный вальс «На волнах». Завертелись легкие пары. Кругленький хозяин, преодолевая одышку, закружил маркизу, смотрел вверх сквозь очки на овальное гладкое плечико и думал:

— Какая, однако, легкость... Надо будет чертового Мефистофеля и Варю после вальса наликерить. Пусть скажут, что за маркиза такая в Житомире объявилась... Ручка-то, ручка-то какая...

\* \* \*

В дверях показался широкоплечий, коренастый человек в чистеньком, свежем вицмундире. Почистил рукав, запачканный карточным мелом, сдул пушинку с бархатного, цвета темного мха воротника, медленно разгладил черные, глянцевиные бакенбарды. Посторонний человек, осмотревши плотную фигуру, зоркие маленькие глаза, крепкие щеки, пушистые баки и прислушавшись к твердым нотам его баска, непременно бы решил: капитан дальнего плавания. Но какие в Житомире капитаны? Откуда им взяться? Не плоскодонной же лодкой на Тетереве управлять...

Господин, притопывавший в дверях ногами, затекшими после двухчасового преферанса, был всего-навсего Спиридон Ильич Баранов, учитель физики в местной женской и мужской гимназиях, прозванный за напористость и непреклонность в ведении занятий «рычагом первой степени».

Окинул глазами танцующих и спросил няню, проходившую мимо по ревизии в столовую:

— Это ж кто, Агафья Ивановна?

— Маркиза... И имени такого в святцах нет. Что смотришь? Без тебя, батюшка, гадали, да никому невдомек... Из Киева, что ли, акушерка, полицмейстеровая свояченица. На святки приехала. Вру, батюшка, вру. Ишь, какой голубь молоденький, где ж ей в повивальных бабках-то быть...

Проковыляла нянюшка, звеня ключами, дальше. Спиридон Ильич усмехнулся. Скажет тоже... Полицмейстерскую свояченицу он в соборе видал, одного балыка в ней пуда два наберется... А эта... цветок полевой, мышиный горошек (кое-что он в ботанике смыслил).

Вообще он был в преотличном настроении. Выиграл рубль семьдесят пять копеек,— целый месяц папиросы ни гроша не будут стоить,— выпил в столовой с брандмайором рюмок пять золотистой польской старки (57 градусов!), закусил рыжиками, душа и выиграла. Та самая душа, которая в классах была застегнута на все пуговицы и расстегивалась в самых редких, не доступных глазам учебного поколения случаях.

— Павел Иванович,— остановил он за рукав захопотавшегося хозяина,— представьте меня, пожалуйста, вон той очаровательной иноземной даме... Что за шарада такая, не знаете?

— Майская ночь, или Утопленница. Ключуло? Старые холостяки-физики, стало быть, тоже, как и прочие грешники, подвержены? Что-с? Пойдем, пойдем! Господь ее знает, что за сюжет. Сидит, как жемчуг в раковине, а раковины никто открыть не может... Ась?

Маркиза страшно смутилась. Раскрыла павлиньим хвостом веер, чело долу, ушки румяной краской налились — и ни слова. Ни полслова. Застыла и дрожащие пальчики к сердцу прижала. Мефистофеля и след простыл... Откуда он, этот ужасный физик, взялся?

А физик тоже хвост павлиньим веером распустил.

— Как ваше имя? Не могу же я, сударыня, называть вас, например, «лейденской банкой»... У всякого предмета должно быть свое имя. И уж, наверно, у такого исключительного предмета и имя исключительное. Стелла? Фелиция? Олимпиада?... Почему же вы молчите, как последняя ученица какая-нибудь? Я, знаете, упорный. Танцевать с вами буду, за ужином рядом сяду, домой сам отвезу... Никакого снисхождения.

Маркиза вздрогнула.

— Непременно отвезу. Во-первых, вы очаровательны, как...

— Как Медуза Горгона,— подсказала присевшая рядом медичка Варенька.

Физик недовольно обернулся. Маркиза умоляюще протянула к Вареньке руки, и добрая медичка решила, что надо как-нибудь физика отвлечь.

— Спиридон Ильич, можно вас на минутку в столовую... Там у нас насчет расширения тел шарада. Помогите, пожалуйста.

— Благодарю вас покорно. У меня тут своя шарада. Почти все вашей.



Варенька пожалала плечами и отошла. Грубиян какой стосеровый!..

А физик опять за свое. Веер у маркизы нежно, но настойчиво отобрал, бакенбарды обе в одну руку сгреб — признак большого волнения — и журчит, воркует... ухаживает.

Хозяйка дома мимо прошла, удивленно улыбнулась, гости переглядываться стали — ого!

Восьмилетняя Настенька к няне подскочила и громко ей на ухо сказала:

— Спиридон Ильич за маркизу замуж выйдет... Вот увидишь!

И опять зазвенел-заструился вальс. Маркиза, бедняжка, облегченно вздохнула: авось кто-либо из своих выручит, закружит в легком танце и уведет от этого черта. Но физик, — кто бы мог подумать! — встал, склонил под прямым углом корпус и щелкнул каблуками:

— Пожалуйте.

Неуклюже покружил, — много лет не танцевал, да и польская старка, признаться, мешала, — подвел смущенную красавицу к креслу, низко поклонился и... ручку при всех поцеловал.

\* \* \*

Позвали ужинать. Физик, как статуя командора, грузно стоял у кресла. Было ясно, что места своего за столом рядом с маркизой он самому попечителю учебного округа не уступит. Впрочем, попечитель был в Киеве, и на этот счет можно было не беспокоиться.

Маркиза, поставив ножку на край кресла, сосредоточенно и неторопливо завязывала развязавшийся на желтой атласной туфельке бант.

И вдруг Настенька, словно гоняясь за бабочкой, пробежала раз-другой мимо, скользнула за высокую спинку кресла и молниеносно сорвала с маркизы маску...

Маркиза выпрямилась и закрыла лицо руками.

Но было поздно. Спиридон Ильич рявкнул на весь зал, так что в столовой было слышно:

— Пафнутьев?! Это что за история?! Почему вы здесь, в таком... неподобающем виде? Так это вы так к больной тетке отпросились?.. Сию же минуту марш домой! Разговаривать с вами я буду завтра. Будете довольны, бу-де-те, друг мой, довольны...

Несчастливая маркиза, — ученик-шестиклассник, живший у физика на квартире, — беспомощно кусала губы, не подымая глаз.

Вокруг фыркали гости, ахала нянюшка, прыгала и заливалась колокольчиком Настенька — «мальчик-маркиза, мужчина в кринолине»!

Быстрыми шажками подошел на выручку добряк-хозяин:

— Бросьте, Спиридон Ильич! Пошутил юноша, развлекся. Разве он знал, что он вас здесь встретит и что вы, хе-хе, ручку у него будете целовать?.. Простите его, дорогой мой. Да он, золото вы мое, мой гость. Я в обиде буду-с, если вы его домой погоните, ей-богу... Ась?

Заступились и гости. И хозяйка дома,—уж ей-то не откажешь. И нянюшка протолкалась: «Да не срами ты его, батюшка. Смотри, совсем со стыда он сгорел, и так ему, чай, в юбке-то этой колокольной совестно...»

А Настенька физика даже в бакенбарды чмокнула:

— Простите его! Не то я сейчас в детскую уйду и до утра плакать буду. Ведь я же с него маску сдернула. Почему я знала, что под маской мужчина... Вы хотите, чтобы меня совесть замутила? Да?

И оглушенный физик махнул рукой и сдался. Экая досада! Каждый день с ним обедает, чай-кофе пьет, а вот не узнал...

— Пафнутьев, на два слова. Надеюсь, что все это останется между нами? Честное слово?

— Честное слово, Спиридон Ильич.

Какое там слово, когда сорок человек видели, завтра по всему Житомиру расплывется...

А нянюшка и опомниться не могла. Посмотрела в спину направляющейся в столовую маркизы и вздохнула:

— Где же глаза мои были? Ведь она, маркиза-то, под лестницу бегала, папироски из-под парика доставала... Как же я не признала-то...

Дамы тоже переменяли о маркизе мнение. Пока она была в маске, они ее из зависти «дылдой в кринолине» прозвали. А посмотрели на смущенного сероглазого юнца и заулыбались: «Какой славный!»

<1926>  
Париж

## В ЛУННУЮ НОЧЬ

По вечерам учительница любила уходить одна к морю. Детей в русской усадьбе укладывали спать рано. Младший мальчик, морщась, пил свое молоко и каждый раз упрашивал учительницу:

— Пожалуйста, Лидия Павловна, один глоточек.

— Пей сам.

— За мое здоровье!..

Так он, хитрец, по крайней мере глотков шесть спаивал ей: за свое здоровье, за здоровье старшего брата Миши, за здоровье дедушки в Лондоне и составителя хрестоматии—Острогорского... За здоровье больной индюшки, которая с утра до вечера

чихала под балконом в своей конурке. И нельзя было обидеть ни дедушку, ни индюшку, ни Острогорского.

Старший Миша пил молоко без фокусов. Длинный и желтоволосый, вытягивался он, как репка, в постели, перебирал тихо на одеяле английские детские журналы со смешными пингвинами и зайцами и тихо спрашивал:

— Опять к морю?

— Да, дружок.

— Мыслить?

Лидия Павловна, улыбаясь, кивала головой.

— Каждый вечер?

Он удивленно пожимал плечами. А впрочем, разве у него нет своих секретов, разве не «мыслит» он сам, вытянувшись в постели и притворно закрыв глаза, чтобы взрослые не приставали: «Не спишь, Миша? Спи! Надо спать...»

Лидия Павловна вставала, пожимала мизинцем левой руки левый мизинец Миши, так они всегда прощались, и уходила к морю.

\* \* \*

В эту пустышную ночь полная, налитая сиянием луна, словно ночное ртутное солнце, заливала тихий залив. В Париже даже не знаешь: луна ли сегодня в небе, либо световая реклама — крем для ботинок «Диана» — маячит вдали над улицей. Кто там в Париже подымает голову к небу? Коты на крышах, пять-шесть чудаков-астрономов да пьяный прохожий на окраине, беспомощно обнимающий уличный фонарь... Остальным ни до луны, ни до неба. И запрятаны они — облака, Млечный Путь, звезды и месяц — где-то там над домами так искусно, что только по календарю знаешь, полнолуние ли сегодня сверху, либо глухая, синяя тьма...

Но здесь у залива... Лидия Павловна сидела на пальмовой, выброшенной морем колоде, поглаживала рукой шершавую, забитую солью кору и смотрела. Отдыхала глубоко, до самого дна души, как много лет уже не отдыхала. Она долго вспоминала, перебирая в памяти год за годом, потерю за потерей, когда она была в последний раз так бездумно и просто счастлива? Пожалуй, перед самой войной, на одной из дальних линий Васильевского острова, у прохладного ночного окна, когда вот так же разливался над сонными крышами лунный разлив, а в голове кувыркалась и высывала язык смешная, школьная радость: «К черту, к черту, к черту! Последний государственный экзамен сдан!..»

Кто знает, быть может, счастье и есть глубокий отдых, больше ничего. Выпрямленные плечи, свободно задумавшиеся, Бог весть о чем, глаза, лунное трепетание на руках.

И еще радовало Лидию Павловну, радовало и смущало, что здесь впервые с нее слетела этикетка — «эмигрантка». В городе

опять сама собой приклеится. Пусть. Но здесь... Чье небо? Чья луна? Чей ветер? Чьи волны, шипящие у ног? Французские или русские? Ничьи — значит, и ее. И в этот час, когда в глубине долины, у подножий холмов вдоль всего побережья каменным сном спали в каменных сараях под широкими пальмами и смоковницами местные фермеры, старухи, мулы и куры, не одна ли она бодрствовала, не ей ли одной сияла лунная дорога... Чья лунная дорога — русская, французская? Ничья.

Учительница встала и обернулась. За спиной вздыхала и приветливо, словно для рукопожатия, протягивала лапу усадебная шершавая дворняга. Собака улыбалась, ей-Богу, улыбалась седой посторонней русской женщине широкой песьей улыбкой и совершенно явно своей несложной мимикой старалась объяснить:

— Я полежу возле вас. Можно? Вы мне симпатичны. Здесь у воды прохладно, а в усадьбе слишком много блох. И у вас такие душистые, теплые руки... Можно?

Лидия Павловна дружески потрепала шелковое отвислое ухо и улыбнулась.

Вот, стало быть, не одной ей не спится в эту ночь. Еще один лунный мечтатель объявился — с хвостом.

Наклонившись к черневшему у ног обгоревшему устью старого костра, русская учительница сгребла палкой в кучу хворост, полусасыпанные песком сосновые сучья, кору и шишки, кусок просмоленного лодочного киля... Длинными сосновыми иглами пересыпала колючий бугор и достала из сумочки спички.

Собака встала, отряхнула с шубы песок и внимательно повернула голову. Сейчас вспыхнет желтоватая метелка — огонь. Заклубится сизая дымная борода. Полетят, стреляя и фыркая, искры. Приезжая женщина сядет у костра и обхватит колени руками... Может, будет, прислонившись к ней головой, смотреть на огонь, сладко зевать и нюхать смолистое, переливающееся тепло.

\* \* \*

Не одну собаку притянул костер и уютный оранжевый круг вокруг трещавшего огня. От темных камней у воды, где полукругом белели в лунной извеске лодочные сараи, отделилась долговязая фигура, длинноногая астролябия в берете.

Собака не тронулась с места. Знает: это гость-француз, приезжий садовник. Живет на соседней ферме. К собакам равнодушен, как, впрочем, и собаки к нему. Длинный, словно складная лестница, которую осенью под персиковые деревья подставляют. Все носится у самого края воды от мыса до виллы на горе. Где ни увидит человека на песке, плюхнется рядом и начинает, тыча рукой в воздух, лопотать, как рубашка на ветру... За пазухой всегда опавшие фиги, которые он по всем дорогам подбирает. Вынет, понюхает и ест. И в волосах колючки, потому что спит на прессованном сене в сарае.

Собака не ошиблась. Двадцатилетний жираф-садовник опустил против учительницы на песок, дружески кивнул ей и стал виллообразными руками подгрести в огонь хворост.

Желтая метелка, треща и дымя, рванулась кверху. И еще светлее и прозрачнее стал лунный полукруг воды и пляжа, чернее и строже стена прибрежных гигантских сосен. Собака недовольно отодвинулась: и так жарко, зачем же еще подбрасывать?

А привлеченный огнем чудак вытянулся на песке, почти сунув пасть в самый костер, и, продолжая позавчерашний разговор, замахал перед носом своей словно вывихнутой лапой.

— Видите, окно над сараем освещено... Это старый морж Фалиас сидит под своей крышей и перелистывает календарь 1920 года, который я ему когда-то подарил. Накожные болезни у канареек и колыбели коронованных особ с картинками. Он до ма. Выбросит за окно удочку, наловит для буйабеса десятков морских ершей и сыт. Сосна перед дверью старше его. И над дверью из морских ракушек выложено: Ф а л и а с. Вы понимаете? А окна вон той виллы темны. Я вам говорил, мадам. Это наша бывшая вилла. Я в ней родился. Понимаете? Родился, рос, играл с братьями. Сосны, море и закат были нашими игрушками. Мы ловили под камнями сколопендр и сажали их в помадные баночки. В садике над морем сложен моими руками грот: брат был Пятницей, я — Робинзоном... Мы шлепали по воде с утра до заката, ловили и высасывали морских ежей, плавали вон до того далекого камня... Здесь моя родина. Вы понимаете, что такое родина, мадам? И вот три года тому назад — я вам рассказывал уже — отец за долги продал наш дом. Продал старому лавочнику в Борме, которому эта вилла так же нужна, как этой собаке цилиндр.

Дворняга у костра недовольно заворчала и отодвинулась.

— На осенние месяцы нашу виллу сдают какому-то голландскому художнику. Я ненавижу его, мадам, я видел его... Красный и глупый. Рисует море, а выходит лимонад. Спит на постели, на которой я родился, а в моем гроте у него склад пустых пивных бутылок... Я приезжаю сюда каждое лето, когда дом еще пуст, на две недели. Проверяю, цело ли наше гнездо. Днем брожу внизу у камней и смотрю на наши слепые окна. По вечерам перелезаю через забор и сижу в нашем садике на скамье, которую смастерил мой отец. Столб с солнечными часами покривился. Я его выровнял. Мимозу, надломленную ветром, перевязал... И вот видите, как я одет? Как огородное чучело. Я не пью даже сидра, не курю. Каждая папироса — лишний гвоздь в нашем заборе. Служу в садоводстве под Парижем, я вам рассказывал. Работаю, как мул... И каждое су откладываю. Год, два, четыре... Наш дом вернется к нам! Как вы думаете? Ведь лавочник продаст его мне опять? Зачем он ему? Я знаю, цены на землю растут... Вы думаете, что мне не угнаться? Но ведь лавочник очень приличный человек и не будет меня душить. Борм глухой городишко, там еще не все люди стали собаками... Как вы думаете, мадам?

Собака, внимательно слушавшая молодого садовника, иронически вскинула ухо.

Лидия Павловна смотрела на огонь и, слушая странные излияния лежавшего у костра человека, сочувственно покачивала головой. Утешала его: конечно, лавочник охотно продаст виллу сыну бывшего владельца. Пожалуй, и согласится, чтобы платили по частям... Жизнь вся впереди, родина — цветущий сад, большая родина — Франция, и маленькая — Прованс...

Утешала и ухмылялась своим русским, затаенным мыслям, которые давно уже привыкла от всех прятать.

Юноша-жираф умолк. Сел на корточки. Перебрасывал в руках ярко тлеющие угольки... Потом встал, забросал песком догорающий костер, кивнул головой и, широко шагая, растворился вдали в лунном молоке.

Лидия Павловна сквозь колючий вереск и заросли можжевельника пошла к усадьбе. За ней шаг в шаг, преданно следуя по пятам, собака.

Сверкнули в соснах извилистые колеи ведущей к дому дороги... Чудак этот ей жаловался. Ей! Перелетной бездомной птице, залетевшей в его землю с русского пожарища... Что ж. Как могла, она его утешила.

Она бодро встряхнулась. Не надо, не надо. Луна, море, тишина. И глубокий до самого дна души отдых. Больше ничего.

На асфальтовой террасе у дома голубели широкие лунные холсты. Из крана звонко шлепала вода. Жирная жаба, ловившая под краном холодные капли, испуганно карабкаясь вдоль стены, изо всех сил заспешила к углу дома во тьму лохматой герани. Она испугалась Лидии Павловны. Совсем напрасно испугалась, потому что учительница, наполнив блюдце водой, сама его отнесла к углу дома, чтобы безобразная ночная тварь напилась и успокоилась.

Бесшумно скользя с блюдцем под окном детской комнаты, Лидия Павловна услышала, как старший ученик тихо-тихо окликнул ее по имени.

— Ты что же это, Миша, до сих пор не спишь?

— Не сплю. Что вы делаете?

— Жабе пить несю.

— Хорошо у моря?

— Чудесно.

— Жираф опять жаловался?

— Жаловался. Говори тише, а то брата разбудишь.

— Разбудишь, как же! Его хоть зубной щеткой под мышками щекочи...

Из окна вдруг высунулась худая детская лапка и лукаво-ласково дернула учительницу за плечо.

— Ай!

— Испугались?

Но собака толкнула сзади Лидию Павловну мордой под коленку. Будет! Что же это такое? Ведь спать пора. Ведь

она, собака, должна учительницу до верхнего белого дома проводить.

И голоса смолкли. Никого не было на веранде. Если не считать звеневших над глицинией комаров да двух жаб, вылезших из-под герани к блюдцу с водой.

<1928>

## ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА В МЕДОН И ОБРАТНО

Ссориться начали еще в Париже в своей квартире с видом на шестиэтажную дворовую шахту. Сидор Петрович имел все основания сердиться: по рассеянности и в спешке пришел к жилету запасную поговицу от зимнего пальто и, гневно вертясь вокруг самого себя, тщетно пытался насадить на нее петлю жилета. Впрочем, фундамент злости был более глубокий и прочный... И говорил он во время своего странного занятия, точно продолжая давний монолог с самим собой.

Вера Ильинична, застарелая подруга жизни, явно и подчеркнуто его не слушала, заткнув уши двумя оттопыренными указательными пальцами. Для точности следует добавить, что пальцы ее не плотно примыкали к ушам.

— Париж! Скажите на милость... Париж ей нужен, мировой центр для переваривания ежедневной овсянки... Как крысы в трюме живем. Пароход роскошный, кто-то там наверху пляшет, из шампанского ванны принимает. Да нам-то что с того, я вас спрашиваю? Коврика постельного за окошко вывесить нельзя... Домашних зверей, за исключением хладнокровной черепахи, держать не позволяют. Эгатите! Даже не известно, млекопитающее она или гад подземный. В Медоне, матушка, хоть страуса в квартире держи, никто слова не скажет. Выпустил его в огород, на крыше плющ пощиплет,—красота... А черепаха ваша—пресс-папье ползучее, утюг с хвостом... Тьфу! Где ножницы, Вера?!

Вера, не отнимая пальцев от ушей, показала глазами на камин. Сидор Петрович отчекрыжил пуговицу с мясом, прищипил петлю английской булавкой и вздохнул свободно.

— Опять же пейзаж. Тут у тебя перед глазами стенная плесень да ордюрные баки во дворе,—а там... ливанский кедр, и сквозь него Млечный Путь по ночам переливается. Голуби медонские в окно залетают.

— Ты видел?—не выдержала Вера Ильинична.— Пила несчастная!

— Старожилы рассказывают. А тут... моль к тебе залетит... Целуйся с ней! Воздух каменноугольный, солнце в шесть утра по потолку поползает и кончено. В это время порядочные люди спят. Господи! Чихнешь громко, нижние жильцы ядовитые слова

произносят. Трамвай на углу прогремит,— будто у тебя в спальне носорог пьяный на задних лапках прошелся. А в Медоне...

— Брось! Ты мужчина. Твое дело средства добывать, а не местожительством заниматься. Президент республики Парижем доволен, Ротшильд доволен, Сидор Петрович Костяшкин из Пензы в Париж ворвался—пейзаж ему не нравится... Галстук наизнанку зачем напялил? Евразиец несчастный! Готов?

— Сейчас. Не венчаться едем. Спешить некуда... Лук зеленый в ящике из-под макарон на окошке выросил—и то запретили. Вода, видите ли, вниз на подоконник капает. Не вверх же ей капать. Республика, нечего сказать. Эгалите, фратерните и карт-д'идантите... А в Медоне хоть подсолнечники на крыше разводи... Жизнь уездная, кто тебе помешает... У Забугиных чего только нет: тут тебе и беседочка, и грядка с артишоками, сами удобряют, сами поливают. Экономия какая! И петух ручной, и столик складной... С чердака в подзорную трубу лунные кратеры видно... Сам себе консьерж, сам себе агроном, сам себе астроном... Черную редьку в городе по всем базарам разыскивай, а там хоть купайся в своей черной редьке!

Вера Ильинична свирепо передернула плечиками,— опять до черной редьки дошел. Нежными, русалочьими глазами покосилась на себя в зеркало, двумя уверенными ударами карандаша подчеркнула губы (спелые вишни на раскрашенном печеном яблоке)—и молча пошла к дверям.

\* \* \*

На улице заспорили: куда именно ехать? В Медон-Монпарнас? В Медон-Валь-Флери? Или на пароходе в Ба-Медон?

Посмотрели на бумажку, в план, который им Забугин нарисовал. Но карандаш в уголке под потными пальцами стерся; слово как будто трехэтажное—Медон-Валь-Флери, иначе и быть не может...

И в поезде электрической дороги до самого Медона Сидор Петрович опять бубнил-бубнил, слава Богу, колесная стукотня заглушала бурчание. Но Вера Ильинична после многолетней практики по губам понимала, в чем дело, и кипела невыразимо: вот-вот распаяется... К счастью, в углу сидел еще хорошо сохранившийся француз, в котелке набекрень и, очевидно, по близорукости посылал Вере Ильиничне беспроволочные телеграммы. Хоть это отвлекало...

С адресом тоже вышла катавасия, которая по русскому меню в России называлась «чепухой на постном масле». Название улицы тоже полустерлось. Не то проспект генерала Буланже, не то Бычачий переулок. Да еще было записано, как эта улица раньше называлась—по медонскому обычаю у каждой улицы была еще вторая фамилия—девичья. «Улица генерала Буланже», уроденная, скажем, «Св. Анны». Иначе ищи ветра в поле.



Искали долго и упорно. Наверно Колумб меньше трудов положил, когда свою Америку открывал. Мясник послал их в Медон-Монпарнас... Шли вниз, тяжело подымались у железно-дорожной гигантской арки в гору, ссорились и мирились, бросались по указанию всех встречных старух и детей в разные стороны, но Буланже и Бычачий переулок как в воду канули.

Вернулись обратно. Шли на расстоянии четырех метров друг от друга, кильватерной колонной, потому что презирали друг друга до тошноты под ложечкой.

У пятого поворота Сидор Петрович взглянул в окно мелочной лавки и ахнул. Забугин ему как-то говорил, что их лавочница столь непомерна в объеме, что едва уместается в витрине: точно такая и красовалась в стекле.

Вошли, долго описывали приметы Забугиных: русские, блондины с проседью, муж ниже, жена продолговатее, сын восемнадцати лет еще продолговатее, пьют только красное вино марки Пти-Кло. Лавочница вышла на крыльцо и, светясь на солнце, как большой белый маяк, стала медленно поворачиваться вокруг своей оси.

— Прямо, все прямо. Вторая улица направо. Третий переулок налево, первый пролом вниз. Серый дом с вывернутым фонарем у подъезда. Грузовик вывернул прошлой осенью. Название улицы?.. Дощечку, должно быть, мальчишки отодрали. Да и без дощечки ясно,—красное Пти-Кло берут всегда только эти. У месье тропический шлем на голове? Третий год собирается в Африку? Никаких сомнений! До свидания. Мерси... Тысяча извинений. Не стоит благодарности. Все прямо!

Сидор Петрович, как всегда поступают мужчины в таких случаях, дезертировал первый, предоставив жене поставить вежливую точку тогда, когда это окажется возможным.

\* \* \*

Обедали в палисаднике на открытом воздухе. В круглой беседке можно было бы пристроить разве двух-трех обедающих лилипутов, не больше. Перевернутая сарайная дверь на козлах конфузливо изображала стол. Бумажные салфетки для прочности были приплюснуты симпатичными, гладкими от частого употребления, камнями. Ветер перелистывал в чашке бурые листья салата...

Ели кротко и тихо быстростынувший перловый суп. Осы нагло и жадно лезли в тарелки, но хозяйка успокоила, что если не пугаться и не махать ложками, она, может быть, и не укусит.

Квартирку осмотрели перед обедом. Сидор Петрович, чтобы не встречаться глазами с ехидным взглядом жены, сосредоточенно смотрел на жестянку из-под керосина, в которой потягивался чахоточный шершавый котенок... Чего же это Забугин расписывал, точно ему по франку за строчку платили?..

Перед окнами квартирки, вместо ливанского кедра и Млечного Пути, громоздился костлявый забор с рекламой — толстяк, обмотанный автомобильными шинами, стоял на раскоряченных ногах и предлагал русским жильцам днем и ночью дурацкие шины.

Комнаты тоже были очень симпатичные: вроде ящиков из-под яиц, оклеенных полосатыми кишками... Гигиенический ажурный департамент помещался во дворе под кроликом, ванна — в Париже у знакомых по Новороссийску, которые раз в месяц уезжали в Гренобль и угощали Забугиных в этот день ванной... Освещение — солнечное, лунное, звездное, керосиновое, лампадное, — всякое, кроме электрического. Газ был, но не у них, а в прачечной напротив, отчего Забугиным было, впрочем, ни тепло, ни холодно. Вода где-то рядом. Не то в Версале, не то в Тулузе. Но зато огород... Величиной с небольшой бильярд, он был весь как на ладони, красовался у забора. По грядкам ходил ручной облезлый петух и поклевывал дощечки с заманчивыми надписями: «Бобы королевские», «Лук Шарлотта», «Артишоки Царица Весны» и прочее в таком роде. Кроме дощечек ничего не было, потому что петух был упорный и не любил, когда что-нибудь вылезало из земли без надобности.

Из живности, кроме петуха, обзавелись еще меланхолическим кроликом неизвестного пола. Когда его подсаживали к булочниковой самке, он кусал самку, подсаживали к самцу — он кусал самца. Ползали еще вдоль забора над кустом захиревшей черной смородины улитки, но улитки, собственно говоря, не живность. Причем они были, очевидно, несъедобного сорта, так как даже петух их не ел.

\* \* \*

Допивали холодный кофе и крутили хлебные шарики. Гости сосредоточенно молчали. Хозяин вежливо подливал настойку, по вкусу напоминавшую медный купорос, настоянный на колючей проволоке, и после каждой рюмки нюхал корочку черного хлеба...

Хозяйка медленно и сочно декламировала. С застарелой горечью и тоже в форме монолога, потому что сам Забугин нюхал свою корочку, молчал и только икал, как испорченный пылесос.

— Нравится? Обольстительная местность... Чуть дождь, хлюпаешь через улицу, как фараон через Красное море... В Париж на именины поедешь, с десяти часов словно на терке сидишь: ах, ах, как бы последний поезд не прозевать! В половине одиннадцатого только самый эмигрантский разговор и разгорается... Зимой в квартире Северный полюс, летом — Сахара. Голуби визитные карточки на всех подушках оставляют. Гули-гули! Если ты Франциск Ассизский, так нечего было и жениться... Фонарь перед домом седьмой месяц валяется. Я уж его, проклятого, мешком с сеном обвязала, чтобы легче было коленкой в темноте стучаться. Плиту бракованным коксом топим, вонь, как в Донецком

бассейне. В ноздрях копоть, в ушах сажа... На зубах угольная пыль. С грядки в дом, чуть слякоть, по десяти кило грязи на каждой ноге приносишь. Котенок и тот не выдерживает: видали, какой зачичканный... На плиту с холоду прыгнул, все пятки опалил. Развлечения? Два раза в году в зал «Панорама» на детские утренники сходишь, «Ворону и лисицу послушаешь», да в антракте довоенным бисквитом лимонад закусишь. Братская могила! Уж вы, Вера Ильинична, который месяц вас прошу... Неужели ж мы такие зачумленные, что для нас во всем Париже двух комнат с кухней не найдется?

— А как же ваш султан? — улыбнулась Вера Ильинична и показала глазами на Забугина.

— Он-то?! — изумленно вскинула брови хозяйка, словно говорила об устрице, а не о совершеннолетнем лысом мужчине.

— Он-то?! При всех скажу: или я, или Медон! Ты что корочку нюхаешь? Пейзаж тебе нужен? Душистый горошек под носом? Бокон у меня пророс горошек-то твой! Чумичка я, что ли, лампы заправлять, за водой вверх-вниз к соседям бегать... Женился бы, сударь, на верблюде да и доил бы его под черной смородиной... Тьфу, ирод, девятую рюмку высасывает.

— Восьмую, — деловито поправил Забугин, рассеянно разминая в руках упавшую с чашкой бузины на стол гусеницу.

Забугина шумно встала из-за стола и взяла под руку Веру Ильиничну.

— Пойдемте, родная, к мосту. У меня насчет Парижа есть один чудесный план... Пусть они, пейзажисты наши, в водочную молчанку сами играют.

И ушли. И зашушукали... И обе расцвели, как два союзных главнокомандующих, которым без боя сдались две неприятельских крепости.

\* \* \*

По дороге в Париж Сидор Петрович вел себя позорно. Сочувственно и не без патриотической гордости отзывался о мировой столице. Похвалил даже черепаху: «Собака же может, если, например, дог, обгрызть хозяйский буфет или пальцы, а черепашка сидит себе в ночной туфле и даже не пикнет. А что из окна ордюрные баки видны и сырая стена — это ничего. Можно Шекспира почитать или к Крутиковым через дорогу пойти в бб поиграть, вот и отошел душой. В Лувр за семь лет не собрались, а на восьмой — захотим и пойдем... Париж же все-таки, Веруша, а не какой-нибудь Медон-Шваль-Флери... Правда, Веруся?» — И икнул, словно печать поставил.

Веруся молчала и только глазами поблескивала. Станет ли буксирный пароход разговаривать с обмызганной лодкой, которая за ней на веревке тащится?..

## ТАБАЧНЫЙ ПАТРИОТ

В воскресный день в медонском лесу под Парижем сидели двое: пожилой корректор Бабков в костюмчике хотя и не новом, но измятом настолько, точно Бабков провалился на прошлой неделе во чреве китовом три дня и три ночи; рядом с ним отдыхал, прислонясь к липовому стволу, сосед его по парижской квартире, франговатый шофер Рыбников, человек еще молодой, хотя и одутловатый. Разговаривали,—вернее, спорили, потому что какой же это русский разговор без спора. И уж точно можно сказать, что ни под одной липой, ни в одном лесу на всем земном шаре разговора такого никто, кроме них, не вел.

Корректор отсыпал в бумажку порцию французского жесткого и черного табаку-горлодера, свернул папироску и со знанием дела провел в обе стороны языком по краям бумаги. Затянулся и привычно сморщился, точно застарелый камень в почке у него шевельнулся.

— Конечно, курить и кактус можно. Абы дым был. Так это же и из паровоза дым валит... Бесплатно. Нет, друг,—против старых русских табаков и курева на свете не сыщешь. Забыли-с? Довольно стыдно даже. За десять лет все русские ароматы в трубу забвения вылетели...

Шофер покосился на нараставший на сигаре пепел, и не поворачивая головы, усмехнулся.

— Махорка, например? Надышался на войне, спасибо. Особо на этапных пунктах под аккомпанемент разопрелых портянок и удушливых газов солдатского производства. Ароматы...

— Зря хаять изволите. В казарменных бараках и ландыш завянет. А у купальни летом, после рыбной ловли, пока кулеш варится, наша махорка за себя постоит. У рыбаков не раз одалживался, когда папироски свои прикончишь. Остро, крепко, горькой черешней припахивает. Мысль очищает.

— Махорка-то?

— Она самая. Вам угодно в воспоминаниях ее с распрелыми портянками смешивать, а я у русской реки ее помню, под вербным наметом, под заречную песню косцов, под лай Жучки этой, которая вокруг нашего кулеша носилась...

— Что ж, в хорошем гарнире и гвоздь съешь. Я вам про махорку, а вы мне про Жучку с пением. Шаляпин бы за рекой пел, еще бы слаще ваша махорка вам показалась.

Корректор посмотрел на шелковый платочек, пестрым попугаем торчащий из кармана соседа, и укоризненно покачал головой.

— Придираетесь вы, джентльмен. Не об одной махорке речь. Папиросы русские, положи руку на сердце, извольте-ка вспомнить. От второго класса гимназии до студенческих лет... Ужели фимиами русский весь дочиста выветрился?

Шофер пожал плечами.

— Я на сигары перешел. На долгих ночных стоянках сигара удобнее: тяни ее хоть целый час, на ветру не гаснет. А аромат европейский, солидный. Ключешь носом перед ночным баром, к рулю приткнувшись, и кажется тебе, что сидишь ты в кожаном кресле, в своем кабинете, вроде плантатора: сигара в зубах, из угла в угол ее во рту перекатываешь, банкиром от тебя пахнет...

— Полагаю, что банкиры маркой повыше пахнут... Не люблю сигар, признаться. Допустим,— итальянские эти, тосканские. Видом они с обезьяний сушеный хвост. Запалишь,— мухи, комары под потолок уходят, истерика с ними делается, до того смрадно. Жженое перо да резиновый каблук в трубку крошишь, не хуже будет... Есть, само собой, сорта и получше. Однако, к хорошему сорту и костюм хороший нужен. А то будешь ты выглядеть, как водовоз в цилиндре. И манеры нужны этакие, королевские, будто ты сам себя на серебряном блюде носишь. К русскому характеру не подходит. Немецкие тоже куривал. «Регалия Лопублеттер» — для простого народа. Темперамента никакого, даже дым белый, будто олений мох куришь.

— На вас не угодишь...— Шофер пыхнул своей сигарой и пустил к липовым ветвям волнистое голубенькое кольцо.

— Дешевый сорт везде дрянь. Хорошую сигару мулатка на голой коленке вертит из отборного листа.

— Ну и пес с ней, с коленкой. У нас такого разврата не было...

— Не нравятся сигары, папиросы курите. Мало ли сортов во Франции?

— Это казенные ихние Марилан — желтый, либо голубой? Спасибо. Чертям их в аду курить, чтобы горло на сквозняке прожигало. Досадно даже: нация тонкая, а курево будто для каторжных ссыльно-поселенцев. Пробовал было и английский табак — «Король Альберт» в красной жестяной коробке. Накуришься и сидишь потом очумелый, будто мамалыги с имбирем наелся: мед не мед, опий не опий... Русский табак... Вспомните умиленно, глаза закрывши. Волокно-то какое было! Лен канаречный! Волос райский... Пальцами перебираешь, носом потянешь — шербет. К столу под вечер сядешь, — самовар весь в медалях, попискивает, — засыпает, — возьмешь коробку гильз Катюка, бумажка насквозь светится... Набьешь с сотню, не спеша, «Мелкой крошкой» либо «Смесью любительской»... Излишнюю бороду с папирос сострижешь — затынешься... Мед гречишный! Забыли-с?

Шофер сочувственно вздохнул в ответ и с сердцем швырнул сигарный окурочок в кусты.

Корректор мысленно еще раз затынулся «Мелкой крошкой».

— И готовые папиросы недурственные были. Не в бумажных обертках, будто серого мыла на пятак. В картонных ладных коробочках, — картону нам жаль, что ли? А названия: «Сенатор-

ские», «Слава», «Нева». Звук какой!.. Для дворников свой сорт был, «Добрый молодец»,—найди-ка здесь такой... Или, скажем, ты студент, голубой просаленный околыш,—есть и для тебя соответствующий аромат, чтобы в голове перед экзаменом светлей стало. А цена? Здесь помножь на три — и то не выскочишь.

— Зато здесь набивка на всю гильзу.

— На кой она шут! Дымом забьет, не протянешь. Пополам ее, что ли, резать, как Плюшкины местные, для экономии? Половину сосет, половина за ухом на после обеда... Тьфу! По нашему характеру набивка короткая куда слаще. Затянулся раз пять, из угла в угол походил, мундштук зубами погрыз,—кури другую. Не особняки на папиросной экономии строить...

Корректор перевернулся на другой бок и, раздвигая ветви ежевики, осмотрел проходящий мимо взвод тонконогих парижанок, с кошачьими ужимками пробирававшихся в глубь леса.

— Да... Кассирша у нас была одна на Крещатике в табачной лавке... Найди-ка здесь такую.

— Это вы, простите, из другой уже оперы.

— Из той же самой, золотой мой. Все у нас в России было добротнее! И табак, и леса, и реки, и водка, и...

— И кассирши?

— И женщины, многоуважаемый. Вы это не хуже меня должны помнить... Кассирша, говорю, была табачная. Румянец натуральный — мальва! Голубой приворот в глазах. Улыбнется — вроде «Дюбека лимонного», высший сорт. Вечером из лавки медленно выйдет, походки такой и в Сицилии нет... Этак мимоходом без всякого старания на всю жизнь ушибет... А здесь, в Европе... Вон прошла компания, видали? Мышиный горошек на цыплиных ножках. Слов нет, изящны, гарнитуру много,—провизии ни на грош. Идет вот такое раскрашенное междометие. Разлет линии весь на виду, ножки циркулем... В любом трамвае, если у тебя пальто стоящее, перемигнись с ней, даже не зардеется, будто воинскую повинность отбывает. Впрочем, как ей под косметикой и зардеться. И все палят, все курят свои «Марилан». Дух от них, как от прокуренного боцмана... Пришел с такой в кафе или в кино, а она тебя, как из асфальтовой жаровни, дымом в глаза, в ноздри, в рот...

— Кассирша не курила?

— Зачем ей курить, когда она вся как лесная яблоня на заре была.

— Ого! Что же вы, папаша, на яблоне не женились? Папиросы бы она вам набивала.

— Недостойн был, сударь. Что пустое болтать... А вспомнилось по такому случаю: коробок папирос советских на днях мне француз один знакомый подарил... С серпом-молотом, с «пролетариями всех стран». Черт, думаю, с ними, с этикеткой их ослиной, у них и на ваксе пролетарии соединяются. Плотну «дыма отечества», табак ведь под русским солнцем вызревал.

— И что же, хорош?

— Дрянь первоклассная! Бумага груба — грязь с желтизной, начинка трухлявая, запах вроде выдохшегося далматского порошка. Даже горько мне стало. Каждая страна чем-либо славится. Во Франции табак плох — вино хорошее, вежливость отменная, в Германии — пиво, в Италии — макароны и песни. А у нас все было чудесно и все псу под хвост, насмарку пошло. Разве в замордованной стране такую душистую папиросу сфабриковать могут? Сатрапы-то их, поди, египетские сорта выписывают? А быдло, благодарное население, любой навоз скурит. Бросил я коробок с пролетариями в помойный бак, у окна посидел, от волнения две подряд французские папиросы высосал. И в иноземном дыму все передо мной всплыло, о чем я сегодня вам докладывать изволил. И кассирша, и «Мелкая крошка», и прочее такое... С какой стороны о России говорить ни начнешь — хоть с табачной — нет конца-краю словам, — не нахвалишься, не заплачешься...

Пожилой человек встал, стряхнул с коленей песок, посмотрел на закат и добавил:

— Так-то, дорогой мой. А между прочим, нам и домой пора; ишь, господа флиртующие из-под кустов выползать стали.

1928 Ноябрь  
Париж

## ФИЗИКА КРАЕВИЧА

Начальница Н-ской мариинской гимназии сидела у себя в кабинете и поправляла немецкие тетрадки. Если считать кабинет рамкой, а начальницу гимназии картинкой, то картинка и рамка чрезвычайно подходили друг к другу. Блеклые обои, блеклая обивка мягких уютных пуфов и диванчика — такое же блеклое, полное лицо начальницы, такая же мягкая уютная фигура, заполнявшая кресло. Кружевные, цвета слоновой кости салфеточки на стареньких столиках с витыми ножками и такая же наволочка на старенькой голове... А пушистые, взбитые седые волосы так похожи были на лежавший между двойной рамой окна пухлый валик ваты. Правда, вата была пересыпана зеленым и алым гарусом, а серебристый ободок волос ничем не был пересыпан...

Над письменным столом на стене в овальных, либо округленных по углам, черного дерева рамочках висела домашняя летопись-иконостас, бесконечная родня. Мужчины, даже отставные военные с поперечными погончиками и в белых штанах, — все почему-то походили, кто на Герцена в молодости, кто на Майкова, кто на Гаршина. Хотя никто из них кроме приказов по полку, докладных записок и трафаретных старомодных любовных писем ничего не сочинял. Женщины в длинных юбках пагодами, с лебедиными шеями в детских воротничках, с уложенными

на голове короной косами, с мягкими, обращенными в неземное глазами,— смутно напоминали иллюстрации к ненаписанным тургеневским рассказам. Но, впрочем, все они, и женщины и мужчины, даже плотный и безбородый морской врач с треуголкой под мышкой, даже трехлетний голый философ, сосавший в рамке на подушечке собственный кулачок,— каждый определенно какой-нибудь чертой были похожи на поправлявшую немецкие тетрадки начальницу гимназии. Мягким спокойствием, добротой, округленностью лица и какой-то общей уютностью, что ли, всей фигуры, которая никуда не торопится, с места зря не сорвется, и очень скупа на всякую жестикуляцию.

В окне сквозь полуспущенную штору еще ясно синел отходящий зимний день, но над столом уже разливала янтарный свет граненая керосиновая лампа на малахитовой в желобках колонке под светло-синим стеклянным полушарием. Высокая, до потолка, кафельная печь, мерцающая белой эмалью изразцов, ровно излучала тепло. По карнизу, опоясавшему ее, выстроились детским интернатом вазончики с крошечными кактусами и агавами. Мохнатые зеленые бородавки — они любили тепло, а здесь на груди кафельной печки — температура была почти итальянская... На подоконнике, прижавшись в угол, тянулось кверху излюбленное всеми начальницами «восковое дерево», темные, словно клеенчатые листья в гроздьях мелких беловато-восковых звездочек-цветов.

Недобрая работа — вылавливание ошибок — мало радовала добрую начальницу. Безо всякого злорадства, с огорчением и вздохом она слабой-слабой красной чертой, словно извиняя и оправдывая, подчеркивала искалеченные немецкие слова. Полуошибки снисходительно пропускала... Отметки ставила щедро, и, когда перед ее глазами всплывал порой на странице тетрадки обиженный профиль нерадивой гимназистки, она прибавляла к баллу плюс. Но потом вспоминала о долге воспитательницы и острым тоненьким почерком приписывала сбоку: «Могло быть и лучше».

За спиной вдруг дрогнула половица. Она повернула голову: старший внук Васенька, стараясь не шуметь, проходил за спиной в гостиную.

- Добрый вечер, бабушка!
- Ты что же, Васенька, все дома да дома?
- Никуда не хочется. Читать буду.

Скрылся за портьерой. Такой же тихий и неторопливый, как бабушка, бабушкины мягкие серые глаза, крепкий и сильный, в плотно сидящей гимназической курточке с острым верхним углом. Острые манжеты, высокий воротничок, велосипедный брелок-колесико с меркурьевыми крылышками, брюки на штрипках... Прифрантиться любит, это у него наследственное. И тихоня тоже, должно быть, по семейной традиции: семиклассник, молод, здоров,— чем пойти к приятелям,— сидит дома, как монашек в келье... Бабушка вытерла замшевой розеткой перо, окунувшееся



по ошибке в черные чернила, и придвинула к себе красный пузырек поближе.

\* \* \*

Васенька присел в гостиной на диванчик у дверей, выходящих в рекреационный зал. Пять минут придется для вида высидеть. Сбоку на стене пейзаж из резной пробки. Знакомо-презнакомо: замок, речка вроде гофрированных волос, лодочка с рыцарем и кудрявая пенка прибрежных кустов. На столике под полуприкрученной лампой все тот же забавный кружок «плато» из лакированной ореховой скорлупы, коричневой фасоли и фисташек. Он откинул тяжелый красно-золотой переплет «Живописной России». Мордва-черемисы, очень приятно! Прочитал добросовестно с полстраницы, будто рыбьего жира наглотался,— бесшумно привстал, бесшумно описал по ковру восьмерку и артистически бесшумно нажал на ручку двери...

В зале не было ни души. Сторожа уже закончили уборку: только сизая дымка пыли сквозной пеленой висела в зале. И хотя форточки были открыты в морозную синюю улицу, и хотя брызгали со всех сторон сосновой эссенцией, в воздухе все еще стоял душный запах шерстяных юбок, бутербродов, помады и учебников.

Гимназист быстро-быстро, подражая движениям конькобежца, заскользил по паркету. Размял ноги. И в ритм плавным раскачиваниям запел под сурдинку баркаролу, завезенную в их губернский город заезжим баритоном. Весь город, даже аптекарский мужик с Соборной площади, высвистывал-распевал ее второй месяц.

Что же, дева молодая,  
Молви, куда нам плыть!  
Ветер, парус взвивая,  
Челн мой давно кружит...

В последнем слове гласная «и» так плавно переливалась на двух нотах, точно и впрямь под ногами челнок качался и ветер дул в грудь, копной взметая над головой волосы...

И Васенька вспомнил, что внизу сторожа еще убирают учительскую и раздевальную, что через комнату рядом бабушка и... что главное еще не сделано. И стал петь про себя: беззвучная мелодия еще порою горячей гонит румянец к щекам, обдавая семиклассное сердце крутым кипятком. Ни на верхней площадке лестницы, ни в первом коридоре тоже никого не было. Он пересек большой померкший зал с темневшими на полу во весь рост царскими портретами на подставках и скользнул во второй сумрачный, пустынный коридор. По бокам были распахнуты двери в старшие классы. Где-то тикали стенные часы. А может быть, и сердце? Он оглянулся и нырнул в знакомый класс.

Дубовые парты, как в костеле, четко чернели тремя правильными рядами. Высокая кафедра на платформе, словно строгая

классная дама, молча оглядывала класс. У доски висела влажная, издерганная взволнованными пальцами губка. На стене — неясное пятно: не то «Полтавский бой», не то таблица самоцветных камней Урала...

Васенька склонился над предпоследней партой у окна и пощупал пальцами: есть! На исподе парты кнопкой была приколота записка. Не глядя, сунул ее в карман. Остановился у седьмой парты, потом искал в среднем ряду. Всюду откалывал добычу и, торопясь, скользил бесшумно дальше. Кое-где вынимал из-за пазухи другие письма, подносил к глазам, щупал (не дай Бог ошибешься!) и прикалывал их к известным ему партам. Причем в парту клал каштан — условный знак: «вам есть письмо, потрудитесь пошарить снизу»...

Потом он нырнул через коридор в противоположную дверь, в «параллельный» класс. И там так же аккуратно и добросовестно получил и сдал почту, безошибочно ориентируясь, как ковбой в прериях, в одинаковых партах среди быстро сгущающихся сумерек.

Надо сразу оговориться, — поведение Васеньки было совершенно бескорыстно. Письма были не к нему и не от него, — среди многочисленных его предков оптовиков донжуанов не водилось, в этом смысле наследственность его была безупречна. Просто по исключительно удобной топографии бабушкиной квартиры и по дружбе он помогал знакомым гимназисткам и гимназистам в той вечно юной игре, которая, как неизбежная корь, повышает в свое время температуру у каждого (у каждой) из нас.

Прижимая вздувшуюся у борта куртки пачку писем и напевая все ту же баркаролу (теперь петь можно было громче), семиклассник у верхней площадки лестницы круто остановился и прикусил язык. Нина! Нина Снесарева, синеглазый серафим в коричневой юбке, единственная из гимназисток, к парте которой так подчас тянуло его приколоть свое собственноручное письмо, — но, увы, не хватало ни слов, ни смелости... Она здесь, в такой час... Что случилось?

И в ответ на немой вопрос, чтоб он, чего доброго, не подумал, что она ради него пришла, она тихо сказала:

— Забыла в парте Краевича. Завтра урок.

— Сейчас! Подождите меня здесь...

Через три минуты, тяжело дыша, он стоял перед ней с физикой, в позе готового склониться к ногам владыки раба (предпоследняя строфа стихотворения «Анчар»).

— Вот.

Физика, впрочем, не перешла сразу в руки Снесаревой: гимназист нерешительно удерживал учебник в своих руках, гимназистка нерешительно тянула его к себе, — очевидно, оба не торопились расстаться.

— Нина Васильевна?

— Да?

— Мне надо с вами объясниться...

— Да...

— Тогда на именинах у Даниловских я вас не пригласил на вальс... не потому, что я скотина... а потому, что вы сами... меня мучали.

— Не понимаю.

— Нам надо объясниться. Но я не могу прийти к вам, потому что у вас тысяча и одна тетка.

— Да...

— В монастырский сад повадился каждый вечер ходить наш директор... Здесь ужасно неудобно... Никита из швейцарской каждую минуту может подняться—в зале ведь форточки не закрыты. Бабушка каждую минуту может выйти из гостиной. Нина Васильевна! Ради Бога, Ниночка... Я придумал. Пойдемте на пять минут в физический кабинет. Там уютно... и никого нет.

— Да...

Не всегда Ева соблазняет Адама. Бывают такие исключительные случаи, когда и Адам соблазняет Еву...

Что ж, раз уж пришла в гимназию за Краевичем, а тут можно заодно распутать, хотя бы и в физическом кабинете, узел старых размолвок и недомолвок,—глупо, вздернув нос, фыркнуть и уйти. Васенькина гордость, очевидно, лопнула. Значит, можно его временно простить, хотя он ничуть не виноват: ведь она же сама на этих именинах обставила себя, как царица Тамара, двумя пехотными юнкерами, драгунами-вольноопределяющимися и киевским студентом. Нарочно! Чтобы доказать ему, что она не очень в капризных семиклассниках нуждается...

Под аккомпанемент этих мыслей она, затаив дыхание, как загнипнотизированная, прошуршала за ним неземными шагами по паркету до дверей физического кабинета.

Васенька легче ветра приоткрыл толчком дверь, пропустил вперед Нину и, балансируя на носках, вошел в большую, уставленную шкафами с приборами комнату. Плотно прикрыл за собою дверь. Тишина... Внизу глухо кашлянул Никита, в зале деловитым баском отозвалось эхо.

Они уселись по-приятельски рядом на широком черном столе—и в то же мгновенье, схватив друг друга за руки, как вспугнутые воробьи, соскочили на пол. Из простенка за шкафом шевельнулись и застыли на фоне морозного окна—два силуэта.

— Господи помилуй! Классная дама Ниночкиного класса, Анна Ивановна и... учитель пения Дробыш-Збановский... Хризантема с луком!

\* \* \*

Разговор был короткий. Учитель пения крикнул, будто рюмкой перцовки поперхнулся, провел обшлагом вицмундира по толстым усам и, подойдя вокруг стола к Васеньке, обратился

к нему с не совсем подходящим по обстоятельствам дела вопросом:

— Как поживаете, вьюноша?..

И, не дожидаясь ответа, последовал к дверям. В дверях, чтобы подчеркнуть свою независимость и показать, что в физический кабинет его занесло по совершенно неотложному делу (камертон свой, должно быть, там забыл), он не спеша вынул портсигар, закурил и вразвалку пошел вдоль зала к лестнице, плотно придавливая шашки паркета.

Но Анна Ивановна своей роли не выдержала. В шкафу, к которому она прикоснулась, нервно задрезжало какое-то стеклянное сооружение. Разливающегося зарева на плотных щеках, ушах и шее в полумгле видно не было, но короткое взволнованное дыхание походило на приближающийся самум... Ей бы, конечно, надо было если не закурить, то хоть спросить Ниночку обволакивающим голосом старой подруги:

— Кстати, Ниночка, у кого ваша мама себе ротонду шила?

В крайнем случае, можно было промолчать и разойтись, как облака расходятся в вечернем небе—каждое своей дорогой. Но вместо того классная дама, словно индюшка на утенка, зашипела, налетела на гимназистку, хотя та и без того в позе умирающего лебеденка беспомощно прислонилась к столу.

— Вам что здесь нужно, госпожа Снесарева?! В такой час?! В стенах гимназии! Не-слы-ханно!! Что?!

Гимназист, как опытный стрелочник, перед самым носом летящего на всех парах не на тот путь поезда, круто перевел стрелку. Быстро наклонился к Ниночке, взял ее за локоть, встряхнул и слегка подтолкнул к дверям...

Трепетные шаги смолкли. Обморок в физическом кабинете со всеми своими бездонными последствиями,—слава Богу, прошел над головой, не разрядился. Наедине справиться с Анной Ивановной было совсем уже не трудно.

— Виновата не госпожа Снесарева, виноват я, милая Анна Ивановна. И то только в том, что был вежлив. Нина Васильевна забыла в физическом кабинете Краевича,—и вот он у меня в руках, видите? А я в зале ловил нашего кота, чтобы он в форточку не выпрыгнул... Вы знаете, как бабушка его любит? И так как у меня были спички, я и предложил вашей ученице проводить ее в физический кабинет и посветить ей... Посветить не успел, а остальное вам и *господину Дробыш-Збановскому* (подчеркнул он) известно.

Что скажешь? Гимназист, разумеется, говорил правду. Разве таким тоном лгут? Да и упоминание рядом с ее именем фамилии учителя пеня по многим соображениям не было классной даме приятно.

Васенька, впрочем, это и сам понимал и прибавил, пропуская Анну Ивановну мимо себя в зал:

— Все это, конечно, останется между нами... У меня, кстати, есть для вас чудесный альбом болгарских народных узоров. Вы ведь интересуетесь рукоделием. Да?

Дверь из гостиной скрипнула и мягкий бабушкин голос спросил:

— С кем это, Васенька, ты там разговариваешь?

— С Анной Ивановной, бабушка. Она забыла в физическом кабинете Краевича, и я посветил.

Бабушка поздоровалась.

— Добрый вечер, Анна Ивановна. А у меня и чай на столе. Не зайдете ли?

— Добрый вечер... Спасибо... Голова болит ужасно. Простите, пожалуйста, не могу...

Васенька, не жалея спичек, жег их одну за другой до самой швейцарской, в позе пажа подчеркнуто любезно освещая классной даме дорогу. Простились молча. Оба с трудом сохраняли светское выражение лица: она — потому что буквально задыхалась от злости, он — с трудом сдерживая душивший его смех.

\* \* \*

В столовой клокотал самовар, — пузатый заварной чайничек, белый с розаном, окруженный облаками пара, нетерпеливо позвякивал над конфоркой крышечкой: «Неужели дадут перестояться?» Бабушка щедро наполняла хрустальное голубое блюдечко рябиновым вареньем, — любимым Васенькиным.

Гимназист вернулся и, кусая губы, сел в тени, полузаслонясь от бабушки самоваром.

— Так никуда и не пойдешь?

— Никуда, бабушка. Мне и с вами хорошо...

Начальница гимназии ласково покачала головой. Вот бы хоть иным юлам-гимназисткам, непоседам, вертушкам, пример с него брать.

А он за самоваром раскрыл физику Краевича, — так она сегодня и не попала на книжную полку к своей хозяйке. Стал перелистывать, затаив дыхание, — точно часть души Нины Снесаревой в его руках осталась. И в главе о теплоте нечаянно наткнулся на промокашку, вдоль которой синим карандашом отчетливо были выведены буквы:

*с-х-в-В*

Вспыхнул до слез! Да и как не вспыхнуть, если в его вдохновенной расшифровке буквы эти совершенно ясно означали:

*«Смертельно хочу видеть Васю»...*

К взрослому человеку пришла в гости знакомая маленькая девочка,— на весь день! С почтительной радостью стянул он с нее шершавое пальтишко, размотал шарф и, как кожу с банана, снял рыжие гамашки.

На звонок примчался в переднюю озорной фокс, с разгону толкнул девочку передними лапами, схватил девочкину гамашу и так яростно стал ее теребить, точно у него на свете злее врага не было.

— Отдай! — строго приказал хозяин. — Сейчас же отдай, негодная собака!.. Разве так встречают гостей?

Но негодная собака прекрасно понимала, что человек хочет быть строгим, но не умеет. И помчалась в столовую с гамашей и заставила человека и девочку бежать за собой вокруг стола, пока все не утомились и не плюхнулись на диван, высунув языки, словно они втроем только через Ла-Манш переплыли.

— Я вам завидую! — сказала девочка, прижимая нос к горячему собачьему боку.

— Почему, дружок?

— У вас есть живая собака... Она с вами живет всю жизнь?

— Только год. Год назад она даже стоять не умела на паркете. Лапы расплзались во все стороны.

— Ее мама была пудель?

— Нет. Мама ее фокс, и она фокс.

— Почему же она такая барашковая?

— Такая порода. Иглошерстый фокс.

— Она мальчик?

— Девочка.

— Ничего не понимаю: косматая — и фокс, бородатая — и девочка... Вы, верно, сами не знаете.

Человек виновато вздохнул и пошел к буфету доставать сладости. Ели липкие финики, тянучки и холодные душистые мандарины. Девочка, впрочем, больше кормила фокса. Она была уже давно мама, — и у нее было три дочки — куклы, и она знала, как надо обращаться с годовалой собачкой. Вынимала из фиников и мандаринов косточки, сдирала с тянучек восковую бумажку и по крошечным кусочкам совала фоксу сласти в пасть. А он, бандит, чуть с пальцами их не отрывал.

Наелся, перевернулся на спину, вытянул лапы кверху, оскалил зубы и застыл. Хорошо жить на Божьем свете...

— Он улыбается, да? Я вам завидую!

Кто-то маленький тихо постучался во входную дверь, очевидно, не мог дотянуться до звонка.

Фокс леопардом слетел с дивана и с оглушительным лаем ринулся к двери... О! О! Он ей покажет, он знает, кто это стучится... Это консьержкина девчонка, которая по

утрам просовывает под дверь газеты и дразнит его до иступления!..

Но хозяин сунул фокса головой книзу подмышку, бросил в столовую и захлопнул за ним дверь. «Нечего, нечего лапами скрести,— не страшно! Не умеешь себя прилично вести, сиди в карцере».

Пришла Жильберта — тихенькая консьержкина дочка с раскосыми глазками и школьной медалью на фартучке — за отличное поведение. Русский жилец просил ее прийти поиграть с русской девочкой. Принесла с собой все свое семейство: замшевую грязную даму в вязаных штанах, трехногого ослика (которого фокс особенно ненавидел) и целый десяток целлулоидных детей ростом от стакана до наперстка. Русская девочка тоже принесла с собой в корзиночке своих дочек — одноглазую мулатку Дэзи, румяную чешку Вушу и желтую, как шафран, любимую японку Линь.

Пошли в дальнюю комнату (жилицы не было дома) играть. Тихенькая Жильберта улучила минутку, — хозяина нет, ушел на кухню, — и, вернувшись на цыпочках к столовой двери, сунула под дверь угол своего фартука и подергала его во все стороны.

За дверью, точно дюжина фоксов зарычала, давясь от злости. Задребезжали стекла, отозвалась на стене мандолина... Хозяин выскочил из кухни: ничего нет. Что такое? «Ты что, негодный пес, с ума сошел? Скандалист! Цыц! Цыц, тебе говорят!..»

Бедный фокс покорно приник к ногам, завилял лохматым обрубком и, укоризненно вздыхая, поднял на человека умные глаза. Как тяжело быть немым, как горько не уметь объяснить, что ты не виноват, что даже человек начинает лаять и бросаться на дверь, если его станут дразнить продетым под дверь углом фартука...

Хозяин сидит на кухне на газетном листе в полосатом переднике и красит шкафик. Это чудесное, самое спокойное в мире занятие. Краска пахнет смолой и скипидаром, как палуба океанского парохода. Можно выбрать из прошлого самую счастливую неделю, самый веселый день — и вспоминать минуту за минутой, будто медленно, ложечкой за ложечкой, фисташковое мороженое ешь. Пролетит мимо губ моль, — можно подуть ей вслед. Сведет лопатку, — можно во все стороны покрутить плечом. Но если фокс каким-то чудом умудрится открыть из столовой дверь и примчится на кухню, тут уж ничего не поделаешь... В одной руке кисть, в другой баночка с краской, ноги поджаты. Чем его отгонишь? А он, злодей, за все человеческие несправедливости, за все обиды, норовит подскочить к самому носу человека и лизнуть его в губы...

Только на кусок сахара и удается заманить собаку снова в карцер.

А в дальней комнате французская тихая болтовня. Две чужие девочки в полчаса подружились так, как взрослые дамы и за год

не подружатся. Мало ли общего: кукольные детские болезни, пирог из золы с изюмом на «Саламандре» печь надо, ослика причесать и блох из него выловить... А потом еще одна таинственная забота: прибежали на кухню, выпросили клочок старой занавески. «Зачем?» Потрясли головами и назад. Когда эти взрослые научатся не спрашивать о том, что их не касается?..

Впрочем, через пять минут все и открылось. Девочки, торжественно шагая одна за другой, принесли на кухню мулатку и чешку в белых платьичах, в кружевных вуалях, стали рядом перед человеком в переднике и попросили, чтобы он благословил их детей.

— Женятся они друг на дружке? — спросил он удивленно.

— Да нет же! Какой вы странный... У них первая комюньон, — строго ответила русская девочка. — И вы должны их благословить.

Взрослый человек положил на газету кисть, поставил на пол банку с краской и, как умел, исполнил просьбу детей. Скрестил над кукольными головами руки и сказал:

— Благословляю и поздравляю! Слушайте ваших мам и, когда переходите через улицу, старайтесь не попасть под автомобиль.

Консьержкина девочка собрала свое семейство в коробку и ушла к себе обедать. Русская девочка снова сидит на диване, прижавшись к теплому собачьему телу. Фокс не злопамятен, он уже забыл о своей обиде, лижет свою лапу, а попутно и розовое девочкино коленце, точно это тоже его пятая лапа.

Взрослый человек хитрит. Он только что рассказал девочке четыре сказки — «о таракане, который заблудился в латинском словаре», — остальных названий он уже не помнит... Больше рассказывать ему нечего. И он, потягиваясь в кресле, говорит девочке:

— Баста. Теперь ты мне расскажешь сказку.

— Я не умею.

— Очень даже умеешь. Уж я по глазам вижу.

— Не умею и не умею! О чем я вам рассказывать буду?

— Об ангелах. Как они живут, что делают?

Девочка задумалась, сложила у собаки лапки накрест и ровным голосом начала:

— Они живут у Бога. И Бог им позволяет кушать все, что они хотят — изюм, фиги, финики, кроме одной яблони, на которой ядовитые яблоки. Они никогда не спят, всегда спокойны, не дерутся, не ругаются... Ночи там не бывает, всегда светло и тепло. Школ тоже нет. Бог учит их петь святые песни. Он играет на белых балалайках из слоновой кости, струны золотые. Они носят белые платья и коронки из цветов. Дальше я не знаю...

— Кто же им шьет платье?

— Никто не шьет. Бог проведет руками вот так — и платье готово. Они никогда не устают. Играют в хороводы, в прятки,



в мячики,—прячутся в облака. Когда ангелы ведут себя плохо, с них снимают крылья, и они летят в ад. На всю жизнь, пока не исправятся...

Девочка остановилась и запела:

— Дальше я ни-че-го не зна-ю!

Фокс соскочил с дивана и залаял на человека: «Ты чего пристал к девочке? Сочинительница она, что ли? Иди лучше на кухню... Слышишь — чайник кипит...»

Хозяин встал с кресла, по дороге погладил по голове девочку и фокса и пошел на кухню хозяйничать...

А девочка обняла собаку, расправила ей взъерошенную шерсть и тихо ей на ухо сказала:

— Когда у тебя будут дети, ты должна первого, самого первого подарить мне! Слышишь?

И фокс в ответ, совершенно сознательно, подмигнул ей правым глазом: «Ладно-ладно,— пусть только выдадут замуж, а уж за мной дело не станет...»

<1929>

## ПТИЧИЙ ДЕНЬ

У прикованной к двум беженским тачкам четы Звонаревых была мечта. Не какая-нибудь мотыльково-переливчатая мечта, которая в наши дни даже молодых поэтов из стихообделочного цеха не удовлетворяет. Мечта — крепкая, прочная, приближающаяся к воплощению шаг за шагом с каждым пятифранковым билетом, опущенным в сберегательное чрево банки из-под какао.

Он был ночной шофер — развозил празднующихся южноамериканцев по теплым парижским местам. Навстречу летели фонари пустынных набережных, карусели и световые рекламы на площадях. Весь, точно механический глаз и сердце мотора, напряженно смотрел он перед собой, чертом, на сантиметр от панели, влетал в ночную мглу переулков, ревел гудком на перекрестках... Быстрая езда, как вырвавшееся сочное, русское слово, как крепкая папироса — успокаивала и освежала, гнала прочь дремоту и нешоферские, посторонние мысли. Но на стоянках, в минуты антрактов, он стоял, прислонясь к тусклой стойке, перед багровым, похожим на банщицу ресторатором и думал о своем, потягивая скверный, теплый кофе. Ни грога, ни кальвадоса он давно уже не пил: каждый сэкономленный франк шел на «мечту». И не раз гул отъезжавшего такси казался ему морским прибоем, лампочка над грязно-сизой стеной — пылающим в лазури солнцем, а безбровый вялый ресторатор — добрым рыбаком, молчаливым и уютным собутыльником.

Жена сидела в тесной мебелированной комнатушке возле Порт-д-Орлеан и по целым дням пришивала бархатным собачкам глаза и уши. Эти, похожие на недоносков, уродцы заполняли все стулья, стол, валялись на кровати в ногах отдохавшего от обеда мужа, амфитеатром громоздились на узком диванчике. У всех были идиотские косые, круглые глаза,— так что глядя на них, невольно каждый испытывал чувство сердечной тошноты и сам начинал сводить глаза к носу. У всех одно ухо торчало штыком кверху, другое висело вареником... Но они давали хлеб, и их приходилось терпеть.

Сосед по номеру, русский карапуз Борька, который иногда забегал поразвлечься, неизменно здоровался по-своему с хозяйской комнаты и с собачками:

— Бонжур, тетя Поля... Здорово, шукины дети!

И только он мог часами этими «шукиными детьми» забавляться: натравливал их друг на дружку, сам рычал, сам и огрызался, строил их на полу повзводно и, стараясь не шуметь, укладывал их спать вокруг головы с боков похрапывающего на постели шофера.

Но бедной тете Поле они осточертели до того, что она всегда поворачивалась в один угол, разгроможденный от собачек, чтобы их не видеть во время работы. А очередное безухое и безглазое чучело, лежавшее у нее на коленях, прикрывала до головы носовым платком... Никакого подобия уюта нельзя было наладить с этими тварями,— даже на тарелке с хлебом, раскинув лапы, валялся раскосый бульдожка, которого больше некуда было приткнуть.

Помогала «мечта». Каждый пришитый глаз и ухо приближали к ней. И шофер и жена его, сближаясь перед ежедневной разлукой головами над картой южного побережья Франции, знали, что еще пять-шесть недель — и они напьются живой воды досыта, наберут новых сил еще на тысячи ночных рейсов и бархатных собачек.

А тут, кстати, на «марше-о-плюс» купили они за грош обрывок американской походной палатки. Почистили, перекроили ее дома по образцу, который нашли во французском бойскаутском журнале, приладили бамбуковые палки... Даже репетицию устроили: расставили на полу двускатный навес, заползли под него, как две веселые большие собаки, и хохотали до слез, когда навес завалился на них, царапая шершавым брезентом щеки и руки. Ничего... На земле заваливаться не будет,— в паркет ведь палок не воткнешь. И места предостаточно!

Странная штука: когда человек увлечется какой-нибудь «мечтой», он и ящик из-под рояля готов принять за чудесную мебелированную комнату, если ящик становится частью его детской игры.

Приятель их, бродячий фотограф, обрыскавший все средиземные лукоморья, клялся святой Агатой и своей головой, что он, по его выражению, видел, как два англичанина жили там

у залива под Бормом вот точно в такой же крохотусенькой палатке. И как роскошно жили! Даже ноги наружу не торчали, когда у них ночевал третий гость из соседнего курорта... Природа сверхъестественная: Крым, плюс Урал, плюс Кавказ. Даже Алтаем припахивает. И в доказательство показывал фотографии величиной с почтовую марку.

— А экономия какая: ни гроша не надо платить за отель. Значит, можно обедать виноградом, купить гамаки, взять напрокат лодку, а может быть, и козу? Козу, впрочем, решили не брать, потому что она, пожалуй, начнет ночью бодать палатку, — чего хорошего? Да и доить ее — наплачешься.

И главное — ни пансиона, ни чертовой хозяйки... Глотай всякую гадость, смотри на ее бюст и еще уважай ее неизвестно за что. Спасибо! Ни прислуги, ни полсотни новых соседей, торчащих из всех углов, вроде вот этих собачек, ни беженских разговоров на веранде, под верандой, на берегу и в море. Жизнь на полной воле по старинному рецепту Адама, Евы, Диогена, Робинзона и прочих, понимающих в этом толк людей...

И настал день. Пришли долгожданные ярлыки на удешевленные билеты. Все тот же приятель-фотограф научил, — он все необыкновенное умел доставать, даже удешевленные билеты и сибирскую наливку из облепихи. Сдали такси, сдали всех удешевленных собачек (всех до одной!), разложили на столе и на кровати складную сковородку, складные ножи и вилки, складные стаканчики, складную удочку, складные табуреточки, — все в бойскаутском магазине достали. Потом все упаковали и поехали на Лионский вокзал.

\* \* \*

Лодочник, лениво шлепая по воде веслами, подвез Звонаревых к тихой бухточке за лесистым мысом. Спрыгнул в воду и подтянул лодку к берегу, — мелкие, игольчатые рыбки так и брызнули во все стороны от возмутивших светлое лоно грубых босых ног. На песке выросли пирамидкой чемоданы, тючок с палаткой, ящик с посудой и провизией. Приезжие расплатились с лодочником, дружелюбно попрощались с ним и остались одни. На камне любопытная ящерица, в воде успокоившаяся рыба мелюзга, над головой с истерическим всхлипыванием взволнованно кружит чайка.

Еще у железнодорожной конечной станции, после долгой ночной тряски в вагоне, стоя под наметом струистой, сквозной зелени перечного дерева, в обществе подтянувшегося к ним с тележкой ласкового ослика, почувствовали они себя, как зайцы, которых в тесной клетке подвезли к опушке огромного незнакомого леса и настезь раскрыли дверцу.

А по дороге, в лодке, когда медленно разворачивались терракотовые глубокие складки сбежавших к воде оврагов, поросших

поверху дроком и ежевикой, когда вода у лодки так блаженно синела и набегала с журчаньем на опущенную в воду ладонь,— они, муж и жена, только переглянулись. Да. Значит, несмотря ни на что, первозданное убежище еще живо, цветет и может приютить под бесплатной бирюзовой крышей и птицу, и ящерицу, а если они того стоят—и двух русских беженцев.

Долго и молча выбирали место. И, не сговариваясь, оба остановились среди уютной ложбинки у гигантской зонтичной сосны. Здесь. Стребли в сторону шишки и хвост, расчистили площадку. Точно давно-давно, бесконечно давно, они уже эту работу не раз проделывали...

Звонарев осмотрелся: за камнем торчал углом к небу выброшенный морем ящик. Стол! В камышах желтела обглоданная ветром и водой пальмовая колода. Скамейка! А для очага и искать не надо было,—у самых ног валялись розоватые, зубчатые плиты. Выбирай и строй.

Ящерица долго смотрела, поставив лапки на обгорелый пень. Не было никого и вдруг—люди. Подкатили к сосне, вбирая голову в плечи и пыхтя, колоду, долго рыли ножами песок, прилаживали камни, клали поперек ржавые железки... Обмели ящик веткой можжевельника. А потом раскинули легкий, вздувающийся на ветру домик, подвязали под сосной две колыхающиеся сетки и разложили вокруг на песке такие забавные блестящие штуки, что так и тянуло лизнуть каждую язычком.

Работали в тишине и так серьезно, что пробегающий откуда-то с горы шершавый бродячий пес даже не залаял на новых постояльцев. Удивленно всмотрелся и побежал вдоль пляжа у самой воды по своим таинственным бродяжьим делам.

Так серьезно и тихо только дети и муравьи строят из песка и земли свои удивительные крепости и жилища. Должно быть, у этих взрослых людей, ночного шофера и жены его, пришивальщицы искусственных собачьих глаз и ушей, не все детское было изжито и засыпано трухой городских будней и забот.

Каждое движение было соразмерно, ладно и точно. Ориентировались сразу не хуже местных жуков и птиц,—будто всю жизнь жили так, на австралийский лад, под деревьями, среди камней, у плещущей воды,—кочуя с места на место.

Зато и «дом» вышел лучше не надо. Перед лазом в палатку примостились два пестрых, как жаба, гладыша. По бокам столаящика, словно солдатики на часах, стояли складные табуретки, а по другую сторону лежала солидная искрящаяся солью колода. И на столе, это уже женские руки постарались, в ржавой из-под горошка банке (тоже море выбросило) пушился чудесным веером пучок прибрежных лилий. Стрекозы садились на гамаки, кружились над ними, не понимали—что за сетки такие? Для чего?

Из заброшенного колодца у дальней развалившейся крепостцы,—лодочник им этот колодец указал,—муж, глава нового

поселка, на самодельном коромысле, сосновой палке, медленно покачиваясь, принес в двух жестянках чудесную студеною воду. И по дороге обобрал и принес за пазухой охапку медовых фиг.

Сами лезли в руки, а дерево у колодца было ничье, стало быть, и их, беженцев Звонаревых.

За своим столом лакомились прекрасным даром старого дерева, отдыхали. Вокруг жующих ртов кружились осы. Странные осы,— не кусались, набрасывались на падающие на стол крошки плодов, сосали липкий сладкий сок, вздрагивали тигровым брюшком. Потом пили— и люди, и осы. Острая ледяная вода была лучше всего, что пили в Париже... Будто из глубоких корней деревьев и кустов, из слежавшихся песков, солей и глины вынесло наружу всю свежесть, всю силу земных соков. Теперь приезжие были спокойны: вода есть, значит, все есть. Оазис их будет процветать, и не придется через гору ходить к фермерам, кланяться по кувшину, таскать на плече, экономить чудесную влагу. Благословенны давно истлевшие руки, вырывшие когда-то этот колодец...

Напились и, повернувшись к морю, долго смотрели на невиданную с самого Крыма ширь... Но в Крыму под ногами горела земля, глаза не видели ни моря, ни неба. А здесь архангельскими крыльями ширились облака, сонно гудел взмывающий к солнцу аэроплан, неоглядная ширь синела, трепетала, ярко зеленела у скал подводными травами, как в первые дни мироздания, когда Господь положил кисти и сам засмотрелся на свое творенье.

«Быть может, этот переливающийся простор, облака, тихий шуршащий песок— и есть родина? Недаром моряки, вечные беженцы, любят ее больше суши...»

Так подумал ночной шофер и тотчас забыл, о чем он думал. Смотрел, слушал, дышал и гладил исколотые иглой пальцы сидевшей бок о бок женщины. Она такая близкая, привычная в городе, казалась ему сегодня сродни этим невиданным скалам, гигантским соснам, бесшумно перелетающим в кустах сорокам. Тепло розовело ухо, просвечивало насквозь солнцем и алой жизнью, русые нити волос перебирал ветер, и вся она была тиха и спокойна, как птица, наконец нашедшая свое гнездо. Даже глаза у нее позеленели,— кусты что ли бросили тень? И улыбалась она по-иному: бездумно и блаженно. А он в городе за ночной гоньбой по городу и дневной спячкой даже не замечал ее часто, как обои в номере.

И цветы, сухие прибрежные лилии, на которые она тихонько дула, тоже были ей, несомненно, сродни,— хоть им, цветам, не надо было возвращаться через три недели в Париж пришивать собакам глаза... Впрочем, об этом не стоило и думать.

Пошли купаться. Рыбы, конечно, даже и не подозревали, до чего хорошо окунуться в расцвеченную павлиньими красками воду, до чего радостно плыть, переворачиваться, нырять, с силой разрезать телом теплый, морской хрусталь. Рыбы всю жизнь

в воде. Только когда десять лет не видишь моря и приезжаешь к нему с визитом на три недели, понимаешь, какое оно, это море...

Бегали по пляжу взапуски. На крупном песке так четко печатались легкие следы, так ново и весело было свободным пяткам и пальцам взбивать у самого берега брызги, вдавливать в песок влажный гравий, прыгать через скользкие валуны... И на свои тела смотрели они, играющие в воде люди, удивленно, словно и не их это были тела. В шоферских крагах, в жесткой фуражке и в пальто-балахоне, а она в вечном старом переднике и бумазейном халате (не для собак же рядиться), они сами не знали своей силы, своей молодости и красоты. Оба всегда сидели,— он за рулем, она за своими чучелами. Оба почти забыли, что можно плескаться в море, как в детстве в цинковой ванне, бросать через плечо камни, мчаться бесцельно вперед не хуже гончих собак.

Долго лежали они на солнце и всей кожей вбирали в себя мягкие уколы лучей. Они лежали носами в песок, прислонившись лбами к скрещенным ладоням. Даже чайки перестали волноваться,— пусть лежат. И только изредка касались друг друга пяткой, словно спрашивали:

— Хорошо?

— Еще бы!..

Потом долго играли в очаг.

Огонь в городе скован, мертв: холодно сияет в электрических грушах, в цветных трубочках реклам, тускло мерцает сквозь слюдяное оконце комнатной печурки. На перекрестках в жаровнях сладко чадит пригоревшими каштанами и не вырвется, не блеснет весело в глаза и лишь багрово мигает в опоясавшие жаровню дырки. А пожары... В Париже пожарные не позволят ни одной искре на улице вырваться.

Как радостно и буйно взвивается у моря огонь!

Жена сидела, скрестив ноги, на песке, подбрасывала в огонь шишки, обломки весла и с треском ломавшиеся на колене куски камыша. А в котелке ворчала вода. Алюминиевые бока покрывались глянцевитой сажой, рыжие языки заглядывали в котелок, сквозной янтарный дым столбом улетал ввысь... Звонарев рыскал кругом, приносил с моря утыканные гвоздями доски, куски просмоленной пробки, ожесточенно вырывал из песка лопасти пальмовых ветвей. Стянул добычу веревкой и, яростно посвистывая, приволок груз к очагу.

Сел на песок и затянул первобытно-монотонную волюнку, как кот, которого щекочут за ухом, как урчал, должно быть, первый человек, которому удалось разжечь первый костер. Песня пришла сама: шипел за спиной струящийся с дюн песок, поскрипывала сосна, ворчала вода на очаге, мурлыкал человек...

Чай отзывал копотью и носовыми платками, которые путешествовали в кастрюле из Парижа на юг. Нанесло в него и песку

и хлопьев пепла, но вкусен он был необычайно, потому что среди прибрежных декораций под алыми мальвами заката чай, приготовленный на своем очаге,— всегда бесподобен. И русская чайная колбаса, поджаренная на прутиках на живом огне, стала уже не едой, не закуской, но превратилась в самую высокопробную лирику.

А закат действительно развернулся от края до края. Раскаленные рубиновые пряди переливались в вишневые, в дымчато-персиковые,— вздыбленные гривы румяных облаков завивались в малиновые страусовые перья...

Сквозь срезанное стекло, торчащее перед рулем такси в Париже, сквозь покрытое высохшими струйками пыли окно в отеле — никогда они такого неба не видели. Раздраженные аперитивными плакатами грязные, косые стены и рядом какое-то небо. Какое? Даже в памяти не осталось.

По невозмутимо тихой воде медленно расплывался призрачно аметистовый остров. Звонарев встал. Там, на гряде щебня в разрушенной крепостце у колодца он видел старую дверь. Встряхнулся и пошел: здесь, в пустыне такой находке цены не было...

Приволок с наслаждением, напрягая руки и ноги, положил дверь плашмя в палатке на четыре камня. Наломал за дюнами тонкого камыша, собрал груды сухих морских водорослей (невидимый Робинзон за них Богу молился!) и настлал на досках. Бросил сверху старое константинопольское одеяло,— хоть королеве спать.

Жена давно уже потягивалась и зевала.

Огненные вихри в очаге двоились и троились в глазах. И немудрено: день пути, лодка, возня и тысяча зеленых чудес... Как не устать.

На вещевой заплечный мешок, туго набитый водорослями, пришила она душистый носовой платок, согнувшись, вползла в шатер, долго обминала постель, уютно укладываясь, как кошка, наконец затихла и детским сонным голосом спросила:

— А ты?

— Я не хочу спать. Буду тебя сторожить...

Сторожить было незачем,— ни пиратов, ни тигров на этом побережье не водилось. Но доисторические родственники шофера охраняли ведь по ночам свое логово. И, вероятно, в такой же позе: обхватив руками колени, с толстым суком под мышкой.

Ночному шоферу не хотелось спать, да и по своей профессии стал он чем-то вроде летучей мыши. А небо и ночь развертывали новую чудесную страницу: над потемневшей водой искристой россыпью загорелись звезды, облачным полотенцем протянулся Млечный Путь, залучился вдаль красно-белой сменой маяк, желтой ниточкой огней протянулся из-за мыса пароход. Застучали в невидимом море моторы рыбацких лодок, проплывавших на ночь к островам. Вверху с утеса жалобно пискнула совка.

Он оглянулся на палатку. Спит.

За спиной опять заструился-засвистел песок, и в сухом мерном шипении Звонарев ясно расслышал дружелюбные тихие слова:

— Чудак, чудак! Ты там жил с женой годы — и не привык. А здесь ты день — и как дома. Три недели пролетят, как летний ливень... И что ж? Опять собачьи глаза и уши, опять ночная тряска у руля? Чудак, чудак! А что, если бы ты взял самую большую банку из-под какао и стал опять копить-копить... Не так уж много надо. И взял бы напрокат моторную лодку здесь на юге, возил бы разных брандахлыстов по заливам? И построил бы вот на этом же самом зеленом месте не брезентовый, цыганский шалаш, а жильё попрочнее... Что?

Он встал, пожал плечами и всмотрелся. Перед ним вдали у куста лежал бродячий пес и всматривался в потухающий отблеск очага. Люди были симпатичные, это ясно, и кожа чайной колбасы так приманчиво пахла!

Человек свистнул. Пес сделал шаг вперед, взвизгнул и исчез в темноте. Еще не решился. Завтра, конечно, он прибежит опять и подойдет поближе.

1929

Париж

## НАСТОЯЩИЙ БУЙАБЕС

— Буйабес, говорите? В классическом кулинарном стиле изложить не штука: на шесть персон кило отборной красной рыбы да два живых лангуста, да разных специй — шафран-майоран, перцу по вкусу... и прочее, что полагается по расписанию... Залить водой и маслом по край рыбы, закрыть крышкой и на медленный огонь, пока вилка в картошку не войдет. Все равно ничего не поймете... Вечер у нас осенний, пустой. На ферме я с мулом намолчался. Сестра в отлучке, на куриную выставку в соседний департамент укатила. Позвольте поэтому изложить пространно. Тогда для вас, свежего человека, буйабес этот в настоящем свете заиграет.

В прошлое лето жили у нас на ферме земляки-дачники. Столовались они по-цыгански. Мне с сестрой не с руки эмигрантскую кухмистерскую устраивать, — пользы ни на грош, а копоты и капризов не оберешься. Да и жильцам выгоднее на своих спиртовках насыщенные баклажаны варьировать: баклажаны с томатами, томаты с баклажанами, а в прослойку икра из того же фрукта. Один шофер даже в сметане их кусочками обжаривал — иллюзия груздей будто бы получалась. Фантазия у него была, дай Бог самому Форду. А в предупреждение подагры и для



бодрости организма обжирались все модным у нас продуктом — сырым чесноком. До того наедались, что к иной симпатичной даме без пульверизатора даже на воздухе не подойдешь... Уж, по-моему, будь ты с подагрой, только без запаху этого оглушающего.

Жила у нас, в числе прочих, молодая чета. Он скоропостижный наборщик-эмигрант. Божья коровка, ростом с Петра Великого; она просто так, сюжет в светлых локонах, украшение пейзажа. Осточертел им баклажанный рацион; три дня кофе без масла и молока пили, экономию нагнали и пошли в соседний городок сверхпрограммный буйабес есть. Нельзя же, в Провансе живут, с бытом хоть по гастрономической линии познакомиться надо.

Сидим мы у фермы на скамейке. Закат, предвечерняя тишина, цикады последние рулады выводят. Смотрим, спускается наша блондинка этак пренебрежительно с холма и еще издали заржавленным флюгером докладывает:

— Мерзость!

А наборщик ее сзади, как Эолова арфа, в октаву ниже:

— Форменная мерзость...

Вот, видите ли... Посторонняя дама одним взмахом языка старинную репутацию национального местного блюда похерила — и точка; в глазах злой апломб — спорить в таких случаях бесполезно. Если женщина уперлась, то у нее и верблюды страусовые яйца кладет. Аксиома...

Уселась, обмахнула пылающее личико сумкой с баклажанами, наборщику своему глазами знак препинания сделала, чтобы монолога не перебивал, и изложила:

— Спасибо! Сыты по горло... По семи франков содрали за одно название. Рыжий бульон на рыбьих костях, с прошлогодней бульбой, — буйабес! Голодный шакал даром есть не станет. Дважды семь — четырнадцать. Да за вино — танин с анилином — пять. При такой бурде еще за салфетки вытравили по франку. Утерлись... Уж лучше за эти деньги целую неделю баклажанную икру сосать: хоть бы хвост лангустовский для аромата положили, свиньи — чешуей всю дорогу плевались... Буйабес, буйабес! По-моему, рыба болтушка для летних дураков по особой таксе...

И взгляд, приправленный анчаром, в мою сторону. Долго пылала... Наборщик совсем притих: в буйабес этот он ее, главным образом, и вогнал, человек был робкий, но не без воображения... Сидит на скамье и пальцы под мышками давит — знает, что буйабесом этим она ему при закрытых дверях голову до корней волос намылит. Спрашиваю осторожно с кротким сочувствием:

— Вы, Прасковья Львовна, у кого же буйабес заказывали?

А она, как бульдог, которому на переносицу наступили, даже миловидность свою сразу потеряла:

— У кого! У кого!! Не в аптеке, конечно. У сестер Кранц заказывала... Легче мне от этого, что ли?

Улыбнулся я внутренне. Две эльзасские готические девицы в городке у нас застряли рикшетом, ресторан миниатюрный открыли для продления дней... Само собой, буйабес у них выходил вроде габерсупа с ромашкой. Да еще за семь франков какого они лангуста туда положить могут? Разве что подержанного, который под пароходный винт сдуру попал. Сестры Кранц... Так ведь это все равно, что приезжего, скажем, англичанина в былые годы в Петербурге кулебякой в греческой кухмистерской угощать. Или «Евгения Онегина» в мордовском переводе прочитывать... Наружно ничего не высказал — баба кипит, того и гляди ошпарит, часть мужниной порции на меня выплеснет. А я, знаете, дрызг с разлитием по всей ферме желчи не терплю. Промолчал. Но сам закипать начал... Опять такое блюдо! Хотя я и русский — «дубовый листок оторвался от ветки родимой» — однако живу здесь шестой год, дурного не видел, — зачем же чужое историческое меню дегтем мазать? Чудесно. Дай, думаю, я тебя поддоброму ущемлю. Переговорил с сестрой. Решили мы назавтра генерал-губернаторский буйабес построить, Прасковью Львовну к стенке прижать и полное опровержение при всех в горячем виде на стол подать.

\* \* \*

— Буйабес, говорите! По моей прикладной философии любое хорошее блюдо, как хорошая книга. Дайте вы среднему оболтусу «Войну и мир», он ее сразу в качестве романа Вербицкой и заглотает. Нет у него соответствующей мембраны для Толстого... Декорации тоже немало значат. Извольте припомнить: любая книжка, когда в приемной у дантиста перелистываешь, блекнет... А летом на стогу, под аккомпанемент ветра и шмелей, каждая строка медленно под кожу входит. Или, к примеру, гимназические маевки. Помните? Холодную котлету ешь, апельсином с кожей закусываешь и чувствуешь себя по меньшей мере Буцефалом на подножном корму. Не в молодости одной дело, — принесите тому же гимназисту ту же котлету в карцер, она ему жеваным корешком тригонометрии покажется...

Дачники нам попались, слава Богу, премилые, народ чуткий, не пресыщенный, эмигрантские баклажаны в прямом и переносном смысле только по нужде героически ели, но вкуса к вещам не утратили. Да и на отдыхе, в антракте между городскими каторжными работами, у любой живой души лебединые не лебединые, а кое-какие крылья несомненно отрастают. И пейзаж уже, как видите, лучше всякого гарнира. У стола, в кругу пробковых дубов, каждую крошку с клеенки вдумчиво подберешь... И воздух у нас — скипидар с морской солью, и небеса обломовские, и холмы этакие задушевные. Все это я в буйабесном смысле учел. Не повар же я в самом деле, чтобы из одного кулинарного самолюбия в рыбьих кишках копать.

Добыл я у знакомого рыбака с полведра красной рыбы, по-местному «рассказ» называется,—морские пучеглазые ерши, в придачу взял морского жирного угря да пяток живых лангуст... Принес потаенно в кухню, дверь на крючок. Стали мы с сестрой стряпать. Рецепт вас интересует? Не в нем одно дело... Вот видите муха на «русский песенник» села — и никаких музыкальных результатов... Впрочем, я и сам вроде буйабесного подмастерья при сестре состоял.

Представьте себе теперь такой провансальский пейзаж: осы — трубой, под столом кошка внутренности хрюпает, в бороде чешуя, под ногами рыбы пузыри трещат, а на столе, над кастрюлей лангустовые усы торчат, остроперая красная рыба, томаты, лук,—в шафранном настое золотятся... Водрузили мы кастрюлю на очажок, на древесные алые угли, чтобы ровный жар по всему дну тюльпанами растекался. Сам я тоже температурой обливаюсь,—и жара, и честолюбие. Открыл окно и гаркнул:

— Господа! Накрывайте большой стол. Под дубами... Баклажаны на сегодня отменяются.

В семь голосов со всех сторон донеслось:

— По-че-му?

— А потому!

Захлопнул окно и стал дожидаться, пока в картошку вилка беспрекословно войдет. Дождался. Обмотал ручку кастрюли старым шарфом,—эту кулинарную тонкость я уж без Молоховец сам постиг,—дверь ногой распахнул и с триумфальным видом тащу нашу стряпню к дубам,—пар колечком, ароматы по всей окрестности...

Кают-компания наша с ложками над пустыми тарелками сидит, недоуменно переглядывается. Вдруг повели носами, учили:

— Буйабес, буйабес!

Только Прасковья Львовна достоинства своего не уронила: губки на замок и иронически локон на пальчик навивает. Ей-то ведь известно, что это за «мерзость» такая...

\* \* \*

— Могу сказать, что был успех... Сестра даже покраснелась, убежала из-за стола, когда все вопить стали, автора выкликать. А Прасковья Львовна расцвела, честно обе властные ручки сложила и одним словом свою скороспелую критику перечеркнула:

— Шербет!

И наборщик ее, конечно, как законное эхо подтвердить изволил:

— Форменный шербет...

В каждом из нас, друг мой, несмотря на все наши незажи-вшие болячки, ей-богу, еще по полгимназиста сидит. Случай только нужен, чтобы его в себе обнаружить... И вот, подите,

кастрюля с чужим провансальским блюдом всех нас расшевелила. Андерсен, пожалуй, случая такого не предвидел. Беспечный вечер, звезды — рукой подать, небо у нас широкое, открытое... Ясные улыбки... Любовь к ближним такую при дележке лангуст обнаружили, что шейка за шейкой в чужую тарелку перелетали. А Прасковье Львовне целого дали, чтобы о сестрах Кранц и следа в ее душе не осталось.

Голоса у всех открылись. Другой и не подозревал, что он басить может, — и даже довольно громко, — а тут к другим пристегнулся и загудел. Одну песню, хоть и не в унисон, очень даже ладно спели — «Среди лесов дремучих разбойнички идут». Не может же тихий русский интеллигент на любой пирушке без разбойничьей песни обойтись. До того ладно вышло, что французы на соседней ферме аплодировать стали, ветром до них донесло...

А профессор бактериологии, кротчайший, милый человек, — один из жильцов наших, — тихим говорком, да с таким непередаваемо-русопетским выражением такие орловские частушки печатать стал, что его, беднягу, качать собрались. Уж я заступился... Вот до чего иногда буйабес доводит.

И нельзя сказать, чтобы много пили. Кое-какое винишко собственного удельного ведомства у меня нашлось. Однако никакого скифства: лишь бы надраться и друг на дружку свою душевную плевательницу опрокинуть. Ничуть.

Анекдоты какие-то чепуховые в благопристойных редакциях из далекой памяти на свет Божий выплыли: «Почему флейта неблагодарный инструмент?», «Как Колумб Америку открывал» и прочее такое... И как по-детски смеялись. Сестра моя, человек нелюдимый, застенчивый, даже ногами затопала. А солидный человек, шофер, который целый месяц с английским самоучителем в можжевельник уединялся, — ни с того ни с сего коровой стал мычать. До того похоже, будто он и впрямь всю жизнь молоко давал... Душевный протест иногда, сударь, в самой неожиданной форме прорывается.

И, заметьте, — никакого повода. Татьяна, скажем, день, когда в установленное число люди всякого калибра традиционно намокают, первый куплет «Гаудеамуса» поют, а дальше и слов не знают, — мычат по-латыни и улыбаются... Либо обед бывших сослуживцев Тамбовской контрольной палаты — на воспоминаниях одних весь вечер взмыливают, никакого им и буйабеса не надо. Или просто новоселье: из мебелирашек решил человек самоубийственным порядком в квартиру без мебели голову всунуть, как же такой случай не вспрыснуть... Все это особь статья. На именинах и майский жук пляшет. У нас же, можно сказать, одно чистое вдохновение всех от земли приподняло. Живем на свете, еще барахтаемся... Вот и повод. Локтем друг друга почувствовали, русский остров в междупланетной Сахаре на три часа соорудили, а провансальская эта уха только цементом послужила.

Насмеялись мы вволю... Притихли. Пение развинтилось, потому что веселых русских песен горсть, а сбоку всегда какое-нибудь застольно-анатомическое заструится: «Умрешь — похоронят, как не жил на свете... Сгинешь — не встанешь» — и тому подобное. Очень освежающий сюжет. Либо «не осенним мелким дождичком» начнут вино заливать — сразу под ложечкой серная кислота. Наборщик даже по этому поводу слово сказал:

— Друзья мои, я не оратор... Профессия моя молчаливая, пресная, однако мысли кое-какие у меня еще остались... Жена подтвердить может...

— Докажи, — кричат, — докажи, Костя! Что ты на жену сылаешься? Она тебя всегда покроет.

— И докажу, — говорит. — Во-первых, буйабес форменное гениальное блюдо. Язык горит, сердце горит и вообще хочется что-нибудь необыкновенное сделать.

— А ты сделай!

— И сделаю.

Схватил чужак три тарелки, рыбы кости наземь стряхнул и стал над нашими головами жонглировать. Мы так в сторону и шарахнулись... И ничего, ни одна голова не пострадала, а тарелки все мягким полукругом на траву легли. Слава Богу, жестяные были, не разбились. Принялся он, было, за вилки, но тут я догадался, схватил большой ватный колпак с петухом — чайник мы им прикрывали — и ему на голову. Подержали минуту, он и хрипеть стал. Сбросил он колпак, отдышался и ложечкой по кастрюле постучал.

— Попросил бы оратора таким способом не прерывать... О чем это я начал? Да. К черту, не осенние, мелкие дождички. Французы, когда буйабес едят, кота не хоронят. И нам пора пластинку эту в архив сдать... И вообще, этот добрый ваш молодец, который «слезы льет горькие на свой бархатный кафтан», — форменный дурак. Одет щеголем, рожа, как лангуст, красная, — и вот, извольте видеть, нализался и ревет... Подчеркиваю курсивом: *попросил бы таких песен не петь!* Он, балда, при полном благополучии в бархатном кафтане слезами обливается, а мы в старых люстриновых пиджаках не сдаемся... Да здравствуют морские ерши, наша многоуважаемая хозяйка, пробковые дубы, керосиновая лампа, моя жена и все здесь присутствующие в алфавитном порядке. Ура!!!

А ведь выпил всего только в ползаряда, а какой фонтан в себе обнаружил... Пошумели мы, дали оратору голову морского угря в награду, а посуду всю от него отстранили, чтобы опять жонглировать не стал. Прасковья Львовна очки надела, глаза добрые, пятилетние, губки — две ласковые пиявки — открыла и стала из угриной головы мягкое выбирать, чтобы наборщик ее костью не подавился...

Разбился наш сумасшедший галдеж на тихие ручьи. Сосед соседу биографию свою рассказывает, случаи разные задушевные

вспоминает. А ведь до того даже на пляже друг от друга на версту с термосами уходили, ямы себе какие-то индивидуальные рыли и загорали в одиночку... Тишина, сверчки. Дамы тарелки из чайника моют, мужчины вытирают. Сестра моя, было, запротестовала, но ничего не вышло: отнесли ее в камышовом кресле под сосну — сиди и отдыхай. И звезды провансальские, поверите ли, совсем-совсем к нам низко спустились — зацепи ложечкой и клади в чай вместо варенья.

Спать расходились нехотя, на крыльце потоптались, и у каждого в глазах простое и столь редкое в нашем пекле слово светилось: «Хорошо!»

\* \* \*

А поздно ночью, когда я, бессонный, из дому к круглому столу помолчать присел, — смотрю, бредет ко мне большой призрак в купальном халате — профессор бактериологии. Сел рядом. Заглянули в кастрюлю на буйабесное рыбье кладбище, пожевали остатки, и под холодный крепкий чай завязалась у нас беседа, ночной русский разговор. О чем? Да вот так, — в четыре руки по всему мирозданию клавиши перебирали. Утром, обыкновенно, ни одного словесного узора не вспомнишь: аромат густой, а в бутылке пусто. Ключок один, однако, в памяти застрял...

— Как вы полагаете, друг мой, — спросил мой профессор, — когда человек самим собой бывает — в будни, когда он свой ежедневный жернов вертит, или вот в такие внепрограммные вечера, когда он ни с того ни с сего из весьма совершеннолетнего быта опять в приготовительный класс попадает?

— Не все, — отвечаю, — попадают. Международный, например, человек и в автокаре сидит, как в своем страховом бюро, и на вершине горы, смею думать, разбойничьих песен петь не будет и тарелками жонглировать не станет даже в кругу своих соотечественников.

— Я, — говорит, — вас о международном человеке не спрашиваю. Что это у вас за манера вместо прямого ответа переводить стрелку на совершенно неживописный путь.

— Что ж, можно, — отвечаю, — и узкоколейным ограничиться. Эмигрантско-русским, что ли... Что, собственно говоря, значит «быть самим собой»? Характеры у всех нас порастряслись: иной, пожалуй, и сам сейчас не знает, какой такой у него характер. В тесноте да в пресноте не-своей работы, в унылой нашей фантастике, когда будущее у тебя вроде серой воронки с кукишем на дне — когда по нужде, в чужом быту сам себя все время на строгой уздечке держишь, герметически закупориваешься — характер свой в искаленном виде только в домашнем кругу порой и открываешь. В воркотне, в бурчании, в едком кипении по всякому сантиметру поводу. Либо просто уйдет человек в молчание, как в черный колодезь. Каково близким, которые в таких

случаях за всякую постороннюю царапину отдуваться должны, этакое Вия изо дня в день выносить,— посудите сами...

— А сегодняшний,— говорит,— случай?

— Случай простой. Когда чижей из маленькой клетки хоть на час в большую посадят, они, естественно, этому радуются.

— И мычат?

— И свистят,— отвечаю с некоторой досадой.— Позвольте уж,— говорю,— профессор, перейти по-русскому обычаю на личности. Вы среди нас благородное исключение. Бытовая сущность эмиграции в том, что бывшему агроному, скажем, приходится в лучшем случае уроки модных танцев преподавать. А вы, да хранит вас Господь, как работали по своему любимому цеху, так и продолжаете свои бактерии на питательных бульонах разводить. Когда же вы, милый профессор, «бываете самим собой» — у себя в лаборатории или вот в те минуты, когда вы сегодня столь неожиданно и столь чудесно орловские частушки изобразили?

Профессор мой усмехнулся, почесал рыбьей костью за ухом и медленно, словно сам себе, ответил:

— А черт его знает.

Ответ действительно вполне научный. Пожали мы друг другу руки и разошлись. Я к кроликам, потому что уже светать стало, а мой собеседник к себе в комнату — досыпать. Сим тихим аккордом разрешите закончить. А если вас уж так буйабесный рецепт занимает — вернется сестра и все вам на бумажке подробно выпишет. Авось и вас в соответствующей постановке этот «форменный шербет» когда-нибудь порадует.

<1929>

## ПТИЧКА

В быту нашем веселых историй и с воробьиный клюв не наберешь. Вот когда соберетесь как-нибудь в приятельской компании, попробуйте такой опыт сделать: пусть каждый попытается вспомнить и рассказать о чем-нибудь забавном и веселом, что он за все годы эмигрантских перелетов сам пережил или краем уха слышал. Один вспомнит, как ему добрый дядя из Риги свой старый английский костюм для перелицовки прислал. И как парижский портной из Кишинева, вздев на нос окуляры, честно осмотрел тройку во всех интимных подробностях, без всякой иронии краткий диагноз поставил: «уже перелицовано». Другой расскажет, как он, родившись в Одессе, должен был в Вильне, при помощи двух бескорыстных лжесвидетелей, заново родиться в Ковно, иначе вместо нужной ему визы он получил бы некоторый символический предмет с маслом. Третий... третий позовет своего семилетнего Грегуара и для увеселения гостей спросит:

— А какую ты русскую песню знаешь?

И Грегуар, став в лезгинскую позу, с чистейшим медонско-боярским акцентом пропищит:

А мы просто сеяли-сеяли,  
А мы просто вытопчем-вытопчем...

Как видите, чрезвычайно веселые истории.

Если же в кои веки действительно с человеком какая-то забавная штука случится, то ближайшие родственники уж непременно ее в сюжет для театра Гиньоль обернут. И старая, не такая уж плохая пропорция — «бочка меду и ложка дегтю» — неизбежно в «бочку дегтя и ложку меда» превратится.

\* \* \*

Записываю стенографически точно. Глеб Ильич Немешаев жил с женой на окраине Парижа в одном из самых скромных и порядочных районов. По причине сердечных перебоев и дешевизны жил внизу, в ре-де-шоссе. В центре квартиры торчал крохотный внутренний дворик, — каменная шахта во все этажи, в которую верхняя прислуга по утрам выколачивала пыль из постельных ковриков.

Теперь о нравственных качествах Глеба Ильича: скромность его и застенчивость были известны не только в доме, но и всем окрестным привратницам и лавочницам. На рынок ходил он, кротко помахивая мешком, на распаренных прачек в витринах не засматривался, а в дурную погоду, когда легкомысленный ветер укорачивал и без того куцые платица вылетающих из подъездов жилищ, он всегда смотрел сосредоточенно себе под ноги, подбирая в уме нерешенное слово утренней крестословицы.

Во втором этаже жила краснощекая бретонка-горничная. Тоже очень достойная и скромная девушка, — и в доме все это знали, и все соседние привратницы и привратники могли подтвердить. Только один Глеб Ильич о ней ничего не знал. Жил он в большом парижском доме, как в таинственном ковчеге: кто над головой живет — детоубийца или бухгалтер с серафимской душой, — его это не касалось. Но благодаря дворику горизонты Немешаева несколько шире стали.

Как-то сидел он у окна и покрывал лаком свои продажные табакерки с павлином в кокошнике. Задумался, засмотрелся на обои, — обои тоже скромные были: мотыльки верхом на улитках к потолку подымались. В квартире затишье: моль на гитаре в спальне сядет — и то слышно. Жена в американские отели ушла парчовые сумочки продавать, жильцы в бюро, на службе. Сверху, из дворика донеслась было бретонская песенка: «Вставайте в небе звезды, раскройте глаза, золотые, укажите путь кораблям...»

И вдруг все оборвалось. Восклицание, пауза и через минуту робкий звонок.



Либо благотворительная монахиня, либо агент-декламатор с пылесосом (за газ и электричество уже было заплачено). Глеб Ильич перевел глаза на соседнюю полосу обоев. Однако второй звонок был настойчивее...

Открыл. В дверях стояла взволнованная служанка-бретонка и что-то такое в неопределенном наклонении лопотала. Еще подивился Глеб Ильич: с одной стороны француженка, а с другой — форменная Матрешка... Коренастая, фигура — кувалдой, на ногах толстые шерстяные чулки — вот только в передник не высморкалась. Пролопотала — господин стоит, ежится и только халат к груди прижимает. Всплеснула девушка нетерпеливо руками, нырнула у него под мышкой в коридор, а оттуда прямо во дворик. Бросилась в угол, руки растопырила и трепыхающийся комочек в пыльной нише ловить стала. Глеб Ильич облегченно вздохнул — понял: чистила она, должно быть, у окна клетку, дверцу распахнула, а комнатная пичужка воспользовалась, выпорхнула и вниз слетела. Оживился он, подобрал полы халата, раскрыл ладони лодочками и тоже помогать стал. «Пик-пик-пик! Да не бойся ты, дурында!..» А птичка в смертельном испуге (страус и тот испугается) промеж них в коридор. Он за ней. Она дальше. Глеб Ильич выключателем щелкнул, на халат уже внимания не обращает. Заметалась птичка и дальше — в спальню, прямо под кровать — от двух бортов в угол, как на бильярдном языке выражаются...

Всякое дело, большое или маленькое, нельзя на полдороге бросать. Бретонка втиснулась под кровать, только черные шерстяные чулки в лакированных копытцах наружу торчат, дергаются. Как кроличьи лапки из пасти удава. Обои скромные. На камине часы тикают. Записываю стенографически точно. Глеб Ильич, святая душа, распростерся на полу рядом — помочь ведь ближнему, хоть он и иностранный подданный, надо. Втянул плечи под край борта и карманным электрическим фонариком окрестности стал освещать. «Не там, не там. Гоните же на меня, силь ву пле! Тьфу, черт, в правый угол, мадемуазель!.. В правый».

Охотничье чувство в нем проснулось — в Болхове он у себя когда-то не последним охотником считался. Ловят, стучаются лбами, чихают, под кроватью пыли еще с довоенного времени набралось. У несчастной пичужки от страха такое сердцебиение сделалось, что она клюв настежь, крылышки по паркету, того и гляди в птичий обморок упадет. Электрический прожектор глаза слепит и двадцать растопыренных пальцев во все стороны шевелятся, смыкаются, — вот-вот в горсть зажмут...

И вот, в самый разгар охоты, когда они так уютно на птичку облаву вели, — над головой шаги. Пауза — и резкая фиоритура с ударением на каждом слове:

— Это что значит?!

Жена, оказывается, вернулась, американским ключом дверь открыла. В коридоре свет, из спальни охотничьи возгласы доносятся, из-под кровати четыре ноги, как клешни, торчат: две

знакомые, две незнакомые... Надо ведь в ее положение войти тоже.

А за женой сзади жилица, застарелый укус в розовой шляпке — бюро у них по случаю порчи электричества раньше закрылось. Стоит, тонкие губы облизывает и на паркетный пейзаж в лорнет смотрит.

Служанка-бретонка в это мгновенье изловчилась, добралась до своей птички, в кулак ее зажала. Вылезла из-под кровати, сказала, как полагается, «мерси месье дам» и, пророкотав по коридору каблучками, хлопнула входной дверью.

А Глеб Ильич, смахивая с себя пыль и довоенную паутину, только было собрался весело и простосердечно рассказать о своей неожиданной охоте, — но жена, не сводя каменного взгляда с переносицы Глеба Ильича, острым шепотом повторила:

— Что же это значит?

— Птичка... — начал было жизнерадостно Глеб Ильич.

— Птичка? — отозвалась захлебнувшимся эхом жена. Сколько иногда можно накачать удушливого газа в одно маленькое, невинное слово, — ни один военный химик представить себе не может.

И вот ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, бедный Глеб Ильич стал багроветь... Как закатное перистое облако над заливом, как шиповник облитый первыми лучами рассвета, как раздуваемая ветром бенгальская спичка, как хамелеон, свалившийся с ветки на красный ковер...

И жилица с наслаждением впивая недобросовестными глазами эти розово-кораллово-ало-багровые переливы, покачиваясь на ехидных бедрах, у дверей, вдруг свою начитанность обнаружила и прошелестела, ни к кому не обращаясь, как в пьесах пишут — «в сторону»:

— Да. Птичка. У Достоевского рассказ такой, между прочим, есть: «Чужая служанка и муж под кроватью».

Достоевского даже, ехидна, подтасовала. Рассказ ведь все-таки не совсем так называется.

\* \* \*

Расскажите про такой случай мужчине, он, конечно, Глебу Ильичу сразу полное доверие окажет. Мужчины народ прямой, доверчивый. Посмотрят главному действующему лицу в глаза, увидят — выражение ясное, детское — зачем же из птички слона делать. Но женщины... Вот об заклад побиться можно: девяносто пять процентов прочтут и ухмыльнутся: «Птичка... Расскажите, сударь, моей бабушке. А почему ваш Глеб Ильич ни с того ни с сего краснеть стал?»

Да невольно же покраснеешь, когда тебе с каменным прокурорским недоверием в невинные детские глаза смотрят.

<1929>

## КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ

В часе езды к северу от Парижа — глушь, провинция. Городок у перекрестка шоссеиных дорог спит: Ставни плотно прильнули к окнам. На единственной улице, вьющейся вдоль шоссе, тьма и ветер. Только в окне колониальной лавки тускло золотится свет, — толстяк-лавочник зевает и подсчитывает выручку.

Вбок за пустырем, поросшим увядшим бурьяном, тянется старая щербатая стена, отделяющая двухэтажное «шато» от глухой дороги и мокрых полей. Сквозь выгнутые копыя ворот видна в глубине резная уютная дверь подъезда, над подъездом — балкон на двух витых колонках. Нижние окна освещены, за полупрозрачными шторками движутся силуэты, звенит женский смех. Русский раскатистый бас крикает и высокая фигура — на голову выше шторы — делает широкий пригласительный жест.

— Попросил бы садиться! Попарно, господа, попарно! Кто с кем пуговицу крутит?..

Владелец «шато» — попросту говоря, купленного по дешевке заброшенного барского особняка с огородом, штабс-ротмистр Ломшаков справляет день рожденья: сорок шесть лет — предзакатный возраст. Гости наехали из Парижа все больше шоферы из эмигрантского офицерства, вон их три машины чернеют под фонарем в раскрытой пасти сарая. Со двора, впрочем, голоса гудят глухо, сквозь запотевшие стекла смутно мелькают за шторками, точно смытые рыжим ламповым светом, лица. Но внутри картина отчетливее, краски яркие, румянцы щек и свекла винегрета горят пожаром, и голоса, промытые первыми рюмками кальвадоса, звучат свежее и выразительнее.

\* \* \*

Ломшаков живописен. Сидит верхом на стуле, словно на своей эскадронной кобыле. Зад в такт жестам ходит вверх и вниз, бурые галифе подшиты замшей, левая рука на отлете расправляет бакенбарду, правая орудует графином.

— Ковальский, ихтиозавр, очередь пропустил! Счетчик, брат, смазан, нечего дурака валять... Ольга Платоновна, бриллиант, выберите для него огурец, который помужественнее... Заметано!

Символически чокался глазами с остальными, с остервенением глотал рюмку, будто серной кислотой давился, и закусывал бакенбардой: пожует кончик и вытолкнет языком.

— Господин капитан. Вот черт, анафема!.. Да оторвись ты от дамы, полип несчастный! За тобой в углу второй графин. Гони сюда! Заметано!..

Длинная волосатая рука подливала направо и налево, а волчьи зоркие глазки следили, чтобы все шло по чину, чтобы

никто не отставал, полувысосанных рюмок на стол не ставил и на легкое виноградное не переходил. Дамы—дело другое, пусть хоть липовый цвет сосут,—емкость у них детская, чуть что головка виснет. Впрочем, иные не хуже мужей опрокидывали: дорога была дальняя, холодная, в автомобилях все дамские внутренности замерзли.

В тени под часами сидела над пустым бокалом Ломшакова — Мэри Георгиевна — сероглазая тусклая англичанка, похожая на органиста, который одной тапиокой питался. Серые локоны, будто вязаная бахрома из шерсти, чинно висели над ушами. Увядшее личико было подобрано и спокойно.

Какой мягкий и хороший этот русский язык!.. Слов она не понимала, но, должно быть, слова были все братские, задушевные: «чучело короховое», «Казерог Твердопупович», «мордальон»... Надо будет в словаре посмотреть. И как приветливо улыбались лица в ответ на эти слова. Дамы тоже были пресимпатичные. Чокались, правда, слишком часто и пробками в своих визави бросали. Но, может быть, это русский обычай и в дни рождения иначе нельзя?..

По-французски Мэри Георгиевна тоже не говорила, но к ней и без разговора сразу все привыкли,—сидит, молчит, улыбается и расчудесно. И ее же, хозяйку, угощали: «Сделать вам, родненькая, бутерброд с печенкой?» — «А это балычок. Угодно?» А когда она кетовую икру за варенье приняла и хотела ее в чай бухнуть,— сразу к ней десять рук потянулись: «Ради Бога!» Задушевные люди... Вот только кальвадоса не могли заставить ее выпить. Разве станет квакерша-англичанка грешный брандахлыст пить. Ни-ни!

Детскими сорокадвухлетними глазами смотрела она по сторонам,— шумят, едят, чокаются. В буром табачном дыму расплывались пестрые закуски, носы и подбородки. Плотный мистер Шаповаленко, перегнувшись через стол и весь побагровев, поцеловал Ольгу Платоновну в самое плечо, чтобы не сказать больше. Тоже, должно быть, русский обычай... Квакерша задумалась: как часто у них бывают дни рождения? Чуть только муж в Париж закатится,— все у него чье-нибудь рождение. Потом именины, потом крестины. Два дня «преподобную Запеканку» праздновал,— драгунский будто праздник. А недавно новоселье справляли, когда она этот дом с огородом по случаю для мужа купила. «Вспрыскивали», как перевел ей муж... Тоже задушевный обычай! Только вот в столовой пятно на обоях осталось: из африканского лука в бутылку с мадерой стреляли, бутылка и разлетелась.

Мэри Георгиевна прижала узкие, шафренные ладошки к вискам,— опять мигрень,— и тихим призраком поднялась к себе в спальню. Пусть веселятся,— славный народ. Сверху еще приятнее прислушиваться: голоса гудят так глухо и дремотно, словно пчелы над цветущей липой. Ба-ла-лай-ка попискивает. И кильками не пахнет... И окурок из соуса провансаля перед глазами не

торчит. Муж ее Вольдемар, такой рассеянный: чуть рождение или новоселье, всегда окурки не туда кладет, куда надо...

Никто сначала и не заметил, что англичанка ушла. А потом, когда заметили,— точно общий корсет на спине у всех расстегнули: свободно вздохнули: милый она человек, можно сказать, без пяти минут ангел... Но простым смертным, веселым и грешным, особенно когда они день рождения справляют, всегда ведь в присутствии ангела чуть-чуть стеснительно. Даму в плечо или куда-нибудь выше ватерлинии поцелуешь (а почему бы, черт возьми, не поцеловать?),— глазами с ангелом встретишься, и сразу, точно тебе кнопкой ухо к стене пришили. И вообще...

\* \* \*

К двум часам ночи выдули все, что можно было выдуть. Только керосин и уксус на кухне остались. Но ничего, держались стойко. Никто к ножкам стола не сполз. Наоборот: части туловищ над столом держали себя особенно осанисто и прямо,— вот, мол, выпито... а гусиную лапу в чужой рот не положу! Будьте покойны! Только в речах легкая заминка появилась. Выстрелит в середине слова икота, глаза удивленно вытаращатся, и вторая половина слова естественно с некоторой благородной оттяжкой выползет. Сам Ломшаков даже как будто трезвее стал. Упер руки в бока и, посасывая бакенбарды, сосредоточенно думал: «Нет ли еще чего-нибудь жидкого в доме?..» Упорно думал. Польшка-служанка, шустрый обрубок с красными локтями, уволокла на кухню обглоданный скелет гуся, покосилась на хозяина и так в гуся носом и фукнула. Смешливая была девчонка! Ломшаков только зыкнул ей вслед,— и ноги в шлепанцах, запнувшись о порог, молниеносно нырнули в коридорную мглу.

Вспомнил! Да ведь там в гостиной, за инкубатором, полбутылки горчишного спирта стоит, жена им в сырую погоду пятки натирает. Вещь преполезная: спирт, горчица — не синильная же кислота! Встал, надул щеки, поборол отрыжку — уф! — и пошел за свечой в соседнюю комнату. На окне, кстати, и малиновый сироп стоял. Ротмистр смешал в бутылке обе специи, посмотрел на свет: Неаполитанский залив! — и, высоко подняв сокровище, как на ходулях, ринулся к гостям.

— Смирно! Равнение на бутылку!.. Есть, черти! Венгерский ликер. «Дунайский шомпол!»! Сорок... восьмого года! Непьющих попросил бы поднять руку. Единогласно!..

Но когда со всех сторон к «Дунайскому шомполу» потянулись липкие рюмки, дамы запротестовали. «Свинство! Все высосали, как пылесосы какие-нибудь. И ликер им же отдай... Нельзя же такую чудесную штуку с кильками пить. Кофе! Требуем кофе!»

Бутылку, пока кофе не будет подан, выхватили из цепких штабс-ротмистровых лап и сдали на хранение надежной Ольге Платоновне.

А ротмистр Шаповаленко, душа общества и испытанный гастроном, выдрался из своего просиженного кресла, снял для чего-то галстук и, помахивая мокрой салфеткой, пошел в кухню. Кофе, настоящий кофе по-турецки, только он один и умел готовить...

\* \* \*

Шаповаленко выставил любопытствующий элемент из кухни в два счета. Смешливую девчонку отправил в чулан спать: рабынь-помощниц в таком деле не требуется. Достал из пыльной ниши в стене банку с молотым кофе. Понюхал,— определенно кальвадосом пахнет. Впрочем, если бы он и чайную розу понюхал, результат был бы тот же... Цикорий кладут по-турецки или не по-ла-га-ется? Ведь вот дичь какая: забыл! Посмотрел вопросительно на банку с водой, но бочка ничего не ответила и ухмыльнулась. Ско-ти-на! Что ж, можно и с цикорием. Сунулся к жестянкам, но почему-то ни одна не открывалась... Ага! Не с той стороны открываются. В одной что-то похожее на цикорий темнело: гвоздичные головки. Шаповаленко, доверчивая душа, в подробности не входил, высыпал горсть гвоздик в кофе, ухнул туда же стакан сахарного песка. Снял с крючка пробочник, все перемешал. Залил водой и поставил кастрюлю на плиту.

Однако же плита чуть-чуть тепленькая. Плечо Ольги Платоновны раз в двадцать пять горячей было. Он присел на корточки и дунул: змейкой перебежали искры, пепел полетел в рот. Тьфу!

А может, это не плита? Нет, плита: направо сломанная фисгармония, налево шкафчик с посудой. Плита! Наковырлял лопаткой угля, сломал на колене метлу — растопки. Свернул винтом газету и поджег. Ураганом взвился огонь, потрещал и... потух. Только одна жалкая щепочка стыдливо разгорелась, но разве на ней, подлой, вскипятишь кофе по-турецки?

Из столовой долетали каннибальские бурные крики: «Кофе! Кофе! Пять минут сроку! Долой Шаповаленко! Позор!!!» Он злобно пошарил глазами на кухне. Вот!.. В углу тускло блестела жестянка с керосином. Шаповаленко широко распахнул дверцу топки, налил в глиняную миску керосину, — чего его жалеть, не малага! Выплеснул в плиту — бах! — и точно его в грудь огненной оглоблей двинули, — отлетел на середину кухни и свалился на пол...

Вверху в трубе ахнуло, и рванулось бешеное пламя. В столовой гости и штабс-ротмистр повскакали с мест... С лестницы, волоча за собой полосатое одеяло, с чалмой из мокрого полотенца на голове, влетела в столовую треххаршинная англичанка и, трясясь от ужаса, всплеснула руками:

— Дом лопнуль!

И ведь дьяволы какие. Чем успокоить даму, посочувствовать ей в таком несчастье, все так и покатались... Ведь нашла же

русское слово, да еще какое: «лопнуть» с мягким знаком закатила!.. Потом опомнились и гурьбой бросились в кухню.

Шаповаленко не было... Вместо него с пола встал, идиотски улыбаясь... негр. Провел ладонью по щекам — все цело. Глаза тоже на месте, — очки, слава тебе, Господи, спасли. Показал на кастрюлю валявшуюся, на ржавшее, как пьяный жеребец, в плите пламя и светским плавным жестом плавно отвел ладонь:

— Кофе... Прошу покорно! По-гу-рец-ки!

— Да ты не обгорел ли? — бросился к нему Ломшаков. — Где провансальское масло? Морду тебе смажем...

— Не надо! Пламя же сразу в нутро и ушло. Вот только кастрюлю, сволочь, на пол сбросило. Вся стряпня пропала... А вы без меня, милые, ликер не выдули?

— Цел, цел! Да ты, пистолет, на себя в зеркало посмотри! Швабра ты африканская!

И поволокли душу общества в столовую «Дунайский шомпол» пить. Может, он еще вкуснее без кофе. Чем килька не закуса?

\* \* \*

Из двери чулана высунулась взъерошенная, оторопелая голова польской девчонки. Посмотрела на кастрюлю, на черное кофейное пятно на полу, на обломок метлы, на гудящую, накалившуюся плиту. Реветь или смеяться?

А квакерша, всеми забытая, зябко запахнувшись в свое одеяло, медленно подымалась в раздумье по лестнице. Живую картину они на кухне ставили? Или обычай у них такой вот так кофе варить... по-русски.

<1930>

Париж

## КАПИТАН БОПП

(СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ)

Павел Баранов задумчиво раскрывал и закрывал свой бумажник. Затрепанные бумажки, дававшие право на кров и обед, были на исходе. Три обломовские недели в «Доме отдыха» под Ниццей пронеслись легкой каруселью: послеобеденная болтовня на одеяле под каменными дубами, брызги звезд над террасой, сливающиеся с приморскими огнями, мандолина и русские песни вполголоса, милый «лунный флирт»... Русский дом-ковчег нес его бережно над холмами, попутчики в три дня сходились ближе, чем там, в Париже, в три года. Увы! Точно ветер календарь перели-

стал... Небывалая полнота отдыха, первого за все эмигрантские годы, только смутила и выбила из седла. Марево. Мираж русской усадьбы на закатных облаках. А дальше? За борт и вплавь до первого голого берега. И вновь, как на войне, на разведках в глухом лесу, он весь подтянулся. Неверный шаг — и прощайте, милостивый государь, Павел Петрович Баранов.

В последний раз пообедал за общим столом, — лиц не видел, слов не слышал. Вышел, отмахнулся от разговоров, — пассажиру, собирающему свои вещи и мысли, не до того, — и долго трепал за ушами раскинувшегося под олеандром санаторного барбоса, думая о том же: куда?

Он выскользнул за ограду. Блекло-розовые стены домов. На пустынном раскаленном шоссе серая пудра пыли. Пойти, что ли, вправо, к перелеску у дороги? И свернул налево, вверх к итальянскому кабачку, чтобы там без помехи наметить куда и зачем. Часы плывут, а ведь завтра утром надо будет застелить свою утреннюю койку у стены и уступить свое теплое место другому — неизвестному. И вот, — знакомая всем нам игра, — когда он почему-то повернул влево, а не вправо, эмигрантская рулетка начала работать на него.

В кабачке было прохладно и тихо. За стойкой лукаво-глазая дочь хозяина, Мария, принцесса, забавлявшаяся игрой в лавку, — встряхивала в банке слипшиеся леденцы. Котенок играл на полу обрывком ленты, — вчера танцевали, ему досталась игрушка. За открытым окном ворчали на жаровне сардины. У ограды шелестел на сквозняке бамбук. Дом... Прочный чужой дом.

Раздвинув шипящую камышовую завесу, в дверях показался брат хозяйки, плотный подрядчик, старик Монганари. Посмотрел на Баранова, расправил свои седые ватные усы и, приветливо улыбаясь, подошел к его столику:

— Не помешаю?

— Ничуть. Мария, пожалуйста, еще стакан. Вы позволите?

Они как-то на днях вечером познакомились. Разные пути, разные души. Разговорились в палисаднике, чокнулись. Русский и итальянец в свободную минуту, под широким южным небом, не будут за одним столиком сидеть друг против друга сычами. Баранов вспомнил все полузабытые итальянские слова, и тема подвернулась чудесная — Рим... Разве можно, вспоминая о Риме, вяло размазывать капли вина по клеенке и цедить первые попавшиеся фразы?

Поэтому Монганари, встретясь теперь второй раз с русским, так дружески улыбнулся, подошел к нему и сел бок о бок.

— Долго еще поживете в вашей санатории?

— Завтра уезжаю...

— Отдохнули... Опять в Париж?

Баранов посмотрел на котенка, потом на свою раскрытую ладонь и нахмурился.



— В Париж не в Париж, а куда-нибудь надо. С земного шара не соскочишь.

Коренастый подрядчик разбирался не только в кирпичках и черепице. Он слегка прикоснулся к рукаву своего собеседника и просто и открыто спросил:

— Вы, синьор Баранов, по какой специальности работали в Париже?

— По эмигрантскому цеху. Что подвернется.

— А все-таки? Прохожий человек иногда тот самый, кого за морем ищут.

Он ухмыльнулся и мигнул бровью Марии: еще вина.

— Не ту бутылку, ящерица. Повыше, на верхней полке. С зеленым ярлыком. Трактирщица тоже...

Когда Баранов объяснил, что он в окрестностях Парижа в новых домах окна-двери красил, потолки белил да штукатурить приходилось, пока работа подвертывалась,— итальянец расхохотался и уже всей ладонью хлопнул его по рукаву.

— Вот! Как в муху на сто шагов попал. Ваше здоровье, синьор Баранов. О маршруте своем можете не думать. Сен-Тропец, два часа езды отсюда. Там я виллу спешно отделать должен и гараж заказать. А рабочих рук...

Он покачал растопыренными пальцами над стаканом,— подкрасил жестом оборванные слова.

Баранов вздохнул всей грудью, словно выплыл на поверхность и за корму чужой лодки ухватился. Сто чертей! Не надо думать, искать, клянчить, лезть в первое попавшееся ядро. И на юге останется... Выскочить хоть на время из парижского котла. Он посмотрел за окно, выходящее в воздух,— словно оконце аэропланной каюты: солнце и море. А там видно будет.

— Погодите, синьор Монганари. Все это чудесно. Но вы тут на горе виллу достраиваете. Вам бы меня на испытание взять, хоть на неделю. А вдруг я, как козел в упряжке, окажусь... Что?

Старик недовольно поморщился и покрутил круглой, кудлатой головой. Укусные слова.

— Мне, дорогой мой, пятьдесят восьмой год. И глаз у меня верный. Ремесло такое... Себя не обижу. Молодая коза съест соль, а старая — соль и мешок. Руки у вас рабочие, глаза честные. Баста. Ваше здоровье, синьор Баранов.

\* \* \*

Прошло около двух месяцев. На окраине Сен-Тропец у моря кипела муравьиная работа. Вилла и гараж были отделаны и сданы. Строили пансион, просторное двухэтажное жилье для гостей, наезжавших к синему лукоморью за теплом и детской беспечной жизнью. Баранов давно уже овладел своим веселым ремеслом. Научился ровнять по шнуру ряды кирпичей — похожая на игрушку, легкая, обрамленная трубка с пузырьком в столбике воды

стала для него так же привычна, как карманные часы. Ровно и круто замешивал цемент с гравием и песком, ловко устилал цветными плитками полы, перекрывал легкими рейками потолки. Шаг за шагом провел весь каменщицкий искус,—стал заправским «масоном». И радовало, и тешило его, что вот от кромки фундамента до трубы под покатою кровлей человек все своими руками выводит, оживляет пустыри, строит, утверждает жизнь. После черных лет войны и революции у него было застарелое отвращение к разрушению, а тут он сам, как муравей на известке, гонит к небу ряд за рядом прочные, стройные стены. С рабочими-итальянцами ладил, но жил по-своему, в стороне. И не уставал радоваться, когда, сидя верхом на балке, видел, подымая вспотевшую голову, голубой и зеленый простор по сторонам. Море и берег.

Временами наезжал Монганари. Проводил целые дни на постройке. Помалкивал, присматривался. И однажды за стаканом вермута в прохладном погребеке сказал, что дело расширяется, ему за всем не угнаться и новую постройку поручит он вести ему, Баранову, потому что он «человек настоящий». Сразу он это понял... И опять с толком и вкусом поговорили о Риме.

Жил Баранов в самом Сен-Тропец. Снимал комнатку у старой, высохшей, как олива, итальянки. В свободные часы слонялся по городку, глазел, как старухи вяжут на низких стульях у порогов бесконечные шарфы; заходил в прохладные пустые церкви, как в антикварные лавки,—чужое... Бродил по крошечному порту, но веселая привольная жизнь на иностранных судах гнала его прочь. Под каждым пестрым флагом осколок своей страны. Смеются матросы, возятся, как дети, с собакой... Он уходил к пустынному молу, слушал, как плещет о гранитные кубы неугомонная вода, он все думал о своем—русском, о чем во всем городке только он один и думал.

Однажды вечером в запавшем нижнем ящике комода сделал находку: даже не поверил, поднес к окну и широко раскрыл глаза. Ключок томика Жуковского... Как он попал сюда?

Хозяйка пожевала губами и вспомнила, должно быть, оставил русский жилец—врач, который жил у нее еще до войны...

Баранов давно уже не видел ни одной русской книги. Раскрыл пожелтевшие страницы—«Капитан Бопп». С гимназических лет не читал, забыл начисто. С первых же плавных строк:

На корабле купеческом «Медуза»,  
Который плыл из Лондона в Бостон...—

весь ушел в старинную поэму. Не слышал, как внизу у набережной граммофон скрежещет танго, не видел ночной мохнатой бабочки, выходящей у самой его головы, вокруг электрической груши.

Прочел и, как каменный, уставился в черное окно. Темной, замурованной каютой показалась ему его узкая комната. Внизу

о панель шуршат шаги прохожих,— и все идут к себе, к своим — мимо... Поговорить — с умывальником в углу? Перечитать вслух — хозяйскому коту? Или разве пойти в угловое кафе, прочесть веселым румяным матросам — примут тебя за пьяного китайца. Странно... Бывший таможенный чиновник и сегодняшней каменщик Баранов никогда никого не тиранил, не мучил, как Бопп, которого «весь экипаж смертельно ненавидел». Но темная судьба выдуманного капитана вдруг стала ему такой близкой, своей, будто он час за часом пережил с ним его угрюмую, мутную жизнь. Все свое, незабываемое — фронт, развал, заушения, бегство, — странно сплелось со страницами поэмы. Вот только к тому пришел в трудную минуту мальчик-юнга...

Баранов посмотрел на закрытую дверь, на одинокую чашку на столе. И так неудержимо потянуло его к людям, понимающим вот этот чудесный русский язык, развернувшийся перед ним, словно северное сияние, в повести старого поэта. Потянуло к людям, которым кровно-близко все, что за эти годы скопилось, закупорено в замороженной голове, как в железной клетке.

— Сен-Тропец... Милостивый государь, Павел Петрович Баранов... Сен-Тропец... А дальше?

Он бережно положил книжку на комод, не раздеваясь, бухнулся на койку и погасил свет.

Но не мог уснуть. Вставал, пил воду, шагал босыми ногами, чтобы не разбудить хозяйку, вдоль комнаты и, как родной душе, обрадовался рассвету, когда он наконец янтарно-розовой слюдой засквозил в окне.

\* \* \*

Однажды утром Баранов не пошел на работу. Еще ночью он просыпался от озноба, натягивал на глаза одеяло, укрывался старым, мохнатым пальто. Только под утро заснул чугунным сном. Проснулся и долго не мог понять, где он. Голова глубоко ушла в подушку, отяжелела. Умывальник качался на тонких ножках. На языке медно-кислая корка. Все кости лица точно разбухали и росли, особенно челюсть... Отвратительное, знакомое еще с детства чувство. И жаркая лапа сжимала легкие, мешала дышать. Болен. Попробовал сбросить с себя тупую слабость, привстал и сразу обвис, уронил затылок в подушку. И все вокруг поплыло, опрокинулось: облако в окне, зеркало, потолок...

Он собрался с силами и постучал палкой в стену. Добрая хозяйка приплелась, заохала, и когда Баранов опять попытался встать, — нельзя же валяться, надо идти на работу, — она его не пустила. Хворать всякий имеет право, даже каменщик. А записку пусть он напишет, внучка отнесет на постройку. Пустяки.

Натерла ему грудь скипидаром, вытерла лицо мокрым полотенцем, напоила липовым цветом. Совсем как няня когда-то, когда он был приголовишкой.

Он притих, закрыл глаза — вдруг от тмени до пят стал дрожать мелкой, липкой дрожью. Кто-то тихо, — не он ли сам? — шепнул только одно слово: больница. Ни за что! Перед ним развернулся бесконечный ряд коек, и он сам в углу, лицом к стене, свернувшийся под простыней, как тюк, бормочет какие-то лихорадочные слова. Бредит... Над головой жестянка с номером. Слов его никто не понимает. Мимо проходят бесшумные сиделки в белом, склоняются к другим. Он один в стороне, точно заставленный невидимой ширмой. Ни за что! Все это пустяки, продуло на постройке. Простая простуда, завтра и следа не останется.

И опять на комод зашуршали страницы, и кто-то, — не он ли сам? — сказал внятно и сурово:

— Капитан Бопп...

Баранов вздохнул, сжал руки и, обращаясь к Кому-то Незримому, Кто сиял сквозь облако в зеркале, по-детски покорно зашептал:

— Я не виноват. Я не виноват. Ты меня пощади только на этот раз, и Ты увидишь, каким я стану... Я совсем-совсем кроткий, и я Тебя не забыл. Только мне очень трудно было последние годы думать о Тебе. Ты так много у меня отнял. Прости. И пошли мне кого-нибудь, кто бы меня понял. Я буду таким, как Ты хочешь. Я Тебе обещаю...

Он сказал все, что мог. Дрожь прошла. Облако в зеркале блеснуло и растаяло. Черный хозяйский кот приоткрыл дверь, потянулся и прыгнул в ноги к жильцу. Заурчал, согрел теплой шубой окоченевшие ступни, и под сонное урчанье зверя Баранов тихо уснул.

Перед закатом хозяйка тихо скрипнула дверью. Жилец открыл мутные глаза, узнал ее и хрипло сказал:

— Не надо.

— Что не надо, синьор Баранов?

— Не надо в больницу...

— Что вы, что вы! Какая там больница. Я к вам с хорошими вестями, а вы Бог знает что говорите. Моя племянница еще вчера мне рассказывала: в том отеле, где она служит, остановилась старая американка и при ней компаньонка, русская синьора. Она была там, вызвала ее в коридор, рассказала про вас. Она сейчас придет. Вот приберу только немного...

Старуха оправила одеяло, повесила на стену под простыню разбросанное платье и приоткрыла дверь, чтобы освежить воздух.

Звонок. Итальянка засуетилась, сунула в комод пыльную тряпку и пошла отворять.

Легкие шаги. Шепот. На пороге остановилась молодая незнакомая женщина. Простое кремовое платье, соломенный колпачок. Лицо точно в дыму. Хозяйка зажгла лампу.

— Можно? Лежите, лежите...

Она подошла к кровати, придвинула стул, села.

Русские слова, русский голос, русское лицо.

Баранов попытался улыбнуться. Ничего не вышло. И вновь повторил те же слова, которыми встретил хозяйку:

— Не надо в больницу...

Женщина сняла перчатки и колпачок и отвела рукой светлую набежавшую прядь.

— Зачем же в больницу? Вы не волнуйтесь. Я когда-то была сестрой и кое-что понимаю. Ответить вам не трудно?

Баранов покорно улыбнулся. Волной нахлынул жар, и он как-то сразу успокоился. Теперь не страшно: эти две женщины — хозяйка и особенно новая, крепкая, загорелая, с серьезными серыми глазами, все сделают, что надо. От одного термометра, который блеснул в ее маленьких руках, ему словно легче стало.

Она стала спрашивать: «Трудно дышать? Колет при вздохе?.. Вздохните еще раз... Завтра утром приведу врача. А пока я вам банки поставлю. На всякий случай...»

Хозяйка увидела в раскрытой картонке набор банок, облегченно вздохнула и вышла.

Баранов доверчиво следил за неспешными движениями незнакомки. Жар сладостно разливался по всему телу. Сильная мягкая рука помогла ему перевернуться на спину. Тихо звякнули банки. В ушах зазвенели странные слова все из той же книжки, найденной в ящике комода:

«Непримиримая его душа

Смягчилась, и в глазах его, дотоле

Свирепо мрачных, выступили слезы...»

Он закусил губы и притих.

\* \* \*

Русская женщина не ошиблась. Доктор, маленький, жизнерадостный француз, осмотревший на утро Баранова, так легко и просто сказал: «Воспаление легких» — точно одно удовольствие хворать такой милой и приятной болезнью. Заходил еще два два, присаживался на кровать, шутил, выслушивал: вежливые, живые глазки блестели за пенсне, сливались с обоями, тонули в зеркале. Докторская рука ободряюще проводила по одеялу. Сбоку стояла, — эмигрантская рулетка ее в эту комнату привела, — Вера Павловна и внимательно вслушивалась. А потом, когда француз уходил, неслышно хлопотала у умывальника, оправляла подушку, пеленала компрессом спину и грудь и, незримая, затихала у окна. И так не бывало радостно было Баранову закрывать глаза, погружаться в теплую, мутную дремоту

и знать, что рядом дышит — кто? Он еще не знал кто, но засыпал спокойно и доверчиво, как когда-то в занесенном мглою лет детстве.

И вот, когда потянулись легкие, тихие дни выздоровления, Баранов заволновался: что там, на окраине Сен-Тропеца? Не забыли ли о нем, как о сломанной гайке, помнит ли его еще Монганари? Мало ли вокруг наемных рук, — приходят и уходят... Всего не сказал, но ведь так хрупка и неустойчива каждая беженская удача, каждый наладившийся кусок жизни, что и без слов поймешь чужую тревогу. Но Вера Павловна и об этом успела подумать: она виделась с Монганари. Старик просил передать, чтобы Баранов не торопился выходить, чтобы он поправился... И таскать кирпичи, и стоять на сквозняке ему больше не придется, так как новую постройку он будет вести сам, — старику некогда.

Что еще говорил ей Монганари, — она не рассказала. Не рассказала, как понравилась ему ее итальянская речь, как, спрашивая о Баранове, он внимательно к ней присматривался, как вдруг хитро, по-стариковски, улыбнулся в свои ватные усы и как она покраснела...

Чужие друг другу люди — у каждого за плечами лежала своя пестрая, особая жизнь — они в несколько вечеров разговорились и познакомились, как знакомятся путники в поезде на степной станции во время заносов, когда весь мир отрезан, когда нет ни «дел», ни привычной сумасшедшей гонки. И каждое слово о прошлом, о Киеве, — они оказались земляками, — вызывало торопливое встречное слово, радость воспоминаний о том отсыявшем и неувядаемом, что каждый прячет про себя. Чьи глаза видели в Сен-Тропеце простенький круг дачной жизни в Пуше-Водице, беспечную суету Крещатика, разливы Днепра?

Кому здесь были своими русские гимназические годы в теплом, южном городе, хоры, маевки, стены Выдубецкого монастыря, коралловые кисти барбариса в палисаднике?.. И кто в Сен-Тропеце, кроме них, пережил час за часом, день за днем черные железные годы русской беды?

Но не только это. Они были вдвойне земляками. Редкая удача свела под одну крышу двух людей, каждый из которых с радостным удивлением узнавал в другом самого себя: свою жажду, свои глаза, свою робинзонскую оторванность и угловатость, — остатки надежды — не растеряться, не распылить себя в придорожную пыль. Болезнь помогла. Больной свободнее думает, вслух, а сидящий у изголовья щедрее и проще, чем там, за окном — в жестокой суматохе и настороженности.

Как-то вечером, когда Вера Павловна пришла от своей американки, Баранов, застенчиво теребя руками одеяло, наконец решился и попросил:

— Там, на комодe, лежит книжка... Если вам не трудно... почитайте мне вслух...

— Что же вам прочесть?

— «Капитана Боппа».

Она подсела к лампе. Баранов закрыл глаза. Так он и думал... Как просто и плавно заструились знакомые строки. Буквы и слова были только черными нотными знаками,—ее светлый голос освободил поэму из книжного плена, напоил теплом, недоуменной жалостью и округленной глубиной. Старуха за стеной прислушалась: по-итальянски, что ли, читает русская синьора?

Уже со второй страницы она поняла, почему он просил ей прочесть вслух «Капитана Боппа». И, смутясь, стала по-ученически старательно произносить слова. Трудные были слова, и их надо было читать совсем-совсем равнодушно:

«...он молча б

Покинул свет, озлобленный, ни с кем  
Непримиренный, если б милый голос  
Ребенка, посланного Богом, вдруг  
Его не пробудил...»

Баранов, прислонясь к жесткой подушке, смотрел на нее, не отрываясь, и ждал: остановится ли, посмотрит ли на него?

Строки стали прерываться, она ближе подняла книгу к лицу, точно ширмой хотела заслониться и наконец умолкла.

— Ваш конец, слава Богу, лучше,— тихо сказала она.— Этот несчастный капитан, кажется, умер... Да?

— Да, мой конец лучше,— медленно ответил Баранов. Ему сразу стало трудно дышать.— И он может стать еще лучше, если... Если мой юнга не исчезнет так же неожиданно, как он появился...

Он сам удивился своей внезапной храбрости. Но ведь в самом деле,—он даже вздрогнул при этой мысли, ведь он почти здоров. Завтра-послезавтра за ней закроется дверь, а потом—за углом у отеля прорычит гудок автомобиля ее американки,—и...

Вера Павловна ничего не ответила. Закрыла книгу, отнесла ее на комод и, не оборачиваясь, стала приводить в порядок склянки. Очень долго она это делала.

— Дайте мне, пожалуйста, чаю,— глухо попросил Баранов.

И когда она подошла с чашкой, он поставил чашку на коврик, придержал маленькую руку и тихо-тихо стал ее притягивать к себе. Рука дрогнула, стала сопротивляться—чуть-чуть. И вдруг ослабела. И тогда Баранов бережно поцеловал теплую ладонь. Потом каждый палец отдельно: и сам не знал, который из них ему роднее и ближе.

Больше о капитане Боппе в этот вечер не говорили.

## СВАДЬБА ПОД КАЛАНЧОЙ

Последняя четверть сошла благополучно: по русскому — 5, по истории — 5, по остальным без гениальных успехов, но гладко. В итоге — по средней арифметической раскладке Васенька попал, по выражению классного наставника-грека, в число незаслуженно блаженных лодырей и без экзаменов перевелся в восьмой класс. Учебники и тетрадки убрал до осени в шкаф, — «спи, милый прах, до радостного утра», точно никогда и не прикасался к ним. И самое слово «восьмиклассник» еще не укладывалось в голове: последний год, а там... Задумчиво щелкал себя по манжетке и ухмылялся. До отъезда с бабушкой к дяде в именище в Подольскую губернию еще дней десять осталось, — таких пустых и бездельных, точно его, Васеньку, совсем из жизни выбросили и куда-то на хранение сдали.

Нина Снесарева, любимое сокровище, укатила со своими на дачу в Коростышево. Даже тоска по ней не заполняла дней, в памяти облаком расплылся нежный, русский, синеглазый одуванчик. Кофейное платьице, аромат гимназических духов «свежее сено»... Только голоса ее, к стыду своему, отчетливо вспомнить не мог... Чувства на сто лет хватит, а вот поди ж ты, никаких особых страданий пока не обнаружилось. Да и переписка какая-то неладная завязалась. Сам он придумал на всякий случай такой громоотвод — писал ей будто от лица подруги. И маскарад этот всех самых теплых и огнедышащих слов его лишил, а уж он ли, пятерочник-словесник, писать не умел...

Бабушку видел редко. В женской гимназии шли последние выпускные экзамены, начальница волновалась едва ли не больше своей паствы. Даже к обеду не всегда приходила. Прощумит тугим синим шелковым платьем, поцелует Васеньку в лоб — и в зал. Щеки малиновые и в добрых глазах забота и священный ужас.

Восьмиклассник подошел к окну: прогремел пароконный извозчик, повез в присутствии начальника акцизных сборов... Баки, как у собаки. Кошка сидит у трубы и зевает... Дурында! Самая свободная тварь в мире, а туда же, мировую скорбь разводит. Пирамидальный тополь над крышей аптекаря весь заструился на майском ветру молодой, еще рыжеватой листвой. Куда пойти? Ах, Нина, Ниненок, — кто эти дачи выдумал?..

Взял было гири, вскинул над головой тяжелые ядра и вдруг, услышав за спиной знакомый голос, прокатил их по дорожке в угол и обернулся.

— Ты дома, Васька?

На фоне малиновой портьеры в широченных шароварах и плотной сахарно-белой гимнастике красовался знакомый вольноопределяющийся Павлушка Минченко. Толстяк, здоровяк, силач, — взглянешь, сама рука тянется по спине его похлопать.



Приятели за рост и дородство, за добродушный нрав давно его прозвали, хоть он служил в армейском полку, «гвардейской кормилицей».

Сел на стол,—дубовые доски хряснули,—полюбовался на свои лакированные голенища, а потом одним взглядом окинул Васеньку и коротко поставил диагноз:

— Киснешь?

— Приблизительно.

— Тем лучше. Стало быть, пойдешь?

— Куда?

Минченко покосился на свой алый погон, отороченный шелковым пестрым жгутом, посмотрел на портьеру и понизил голос.

— Ты, Василиса, только в обморок не падай. Против нас, как тебе известно, пожарная команда.

— Десять лет известно. Дальше?

— Так вот. Сегодня старый конюх свадьбу справляет.

— Передай ему от меня воздушный поцелуй...

— Не перебивай. Столы по всему двору расставлены, брендмайор бочку пива пожертвовал. Танцы будут, двух гармонистов заарендовали. Пойдем, что ли? Ей-богу, весело будет...

Васенька спрыгнул с подоконника, подошел к приятелю, вынул часы и взял его за кисть.

— Пульс в порядке. Странно. Ты что же, полковник, в посаженные матери приглашен?

— Брось, чудак. Денщика нашего звали, он со всей командой в дружбе. Вместе и пойдем. Какие там еще приглашения... С золотым обрезом, что ли?

Гимназист посмотрел на свой книжный шкаф, скучно. На спинку кресла в виде резной дуги с деревянными рукавицами по бокам,—скучно. А в самом деле, идея гениальная. Только, только...

— Да ведь мы, как неприкаянные, там болтаться будем. Посторонний элемент, интеллигентные моллюски. Неуютная, Павел, позиция.

— Я тебя в своем виде и не зову. Очень ты им, без пяти минут Спиноза, нужен. Пойдем к нам, Сережка нам солдатское обмундирование из цейхгауза притащит. С ним и заявимся,—земляками из нестройевой роты... Живо, а то без нас и пиво все выдуют и пейзажа главного не захватим.

Васенька нырнул под стол, достал завалившийся пояс, затянулся, надвинул на лоб тугую летнюю фуражку и ногой отбросил вбок портьеру.

— Ах, да, погоди... Ступай вниз, я тебя сейчас догоню.

Вернулся к столу и набросал красным карандашом на куске картона: «Бабушка, золотая! Иду обедать к Минченко... Целую. Кисель оставь на вечер. Вася».

Приколол записку к столовой висячей лампе и через две ступеньки побежал догонять приятеля. Честное слово, гениальная идея!

Денщик Сережка был очень польщен поручением барчуков. Батальонный командир еще с утра уехал на стрельбище,—помехи никакой. Ефрейтор в цейхгаузе был свой человек, земляк, да и для сына батальонного отчего же одолжение не сделать. Вернулся Сережка с целым ворохом сплюснутых фуражек, новых слежавшихся штанов мшисто-махорочного цвета и с гирляндой тяжелых, как утюги, сапог с квадратными срезанными носками. Обрядиться надо было как следует,—горничные да кухарки-бестии—чуть что не так, сейчас разноухают.

На Минченко все было коротко и тесно. Кое-как подпорол внизу по швам раструбы штанов, влез в тугое сукно. Сапоги все перешвырял—мука. Один насилу напялил, прихлопнул каблуком,—нога, как в колодке. Еле-еле денщик, упираясь головой в валик дивана, стянул, да Васенька, спасибо, помог,—сзади под мышками попридержал. Пришлось надеть старенькие, отцовские. Хоть стоптанные, зато по мерке, плясать можно... С Васенькой хлопот было меньше. Забили в носки сапог по клочку газетной бумаги, сойдет. А когда он встал и напялил на лоб плоскую, как тарелка, армейскую фуражку с козырьком зонтиком, денщик прыснул, впрочем, вежливо, отвернувшись в угол.

— Как есть новобранцем заделались. Дозвольте гимнастерку в грудях расправить. В аккурат. Погончик у вас загнутый...

Помог стянуть пояс с лиловой железной бляшкой, оправил своего панича, а уж потом принялся за себя. Ему, бестии, и пофорсить было можно: сапожки кеглями на светлых подковках, лакированный пояс, писарского фасона фуражка, человек свой,—никакого маскарада не надо. И на переодевшихся барчуков сразу стал поглядывать свободными глазами, даже чуть-чуть покровительственно.

Сошли с крыльца, обернулись направо-налево: ни одного офицера. Да и пожарная команда была в двух шагах наискосок. Сквозь распахнутые ворота гудела степенная толпа, пестрели студенческие фуражки пожарных, павлиньи глазастые шали на плечах баб, расстегнутые чуйки, ярким цветком мелькнул горбунгармонист в канареичной рубаше с ремнем через плечо. Вверху над розовой каланчой, перегнувшись над перилами, смотрел вниз дежурный пожарный,—с завистью, должно быть, смотрел, бедняга.

Васенька ввинтился в толпу, никто ни его, ни Минченко и не заметил. Опасливо осмотрелся: слава Богу, из прислуги городских знакомых—никого. Потолкался у длинного стола на козлах,—некоторые, постарше, уже слегка посоловели: жесты в одну сторону, слова в другую, у женщин лица переливаются красной медью, блаженные улыбки вспыхивают и гаснут,—а может, не

улыбнуться надо, а обидеться... Отец молодой, кургузый слободской мещанин с подсолнечной шелухой на крутой сивой бороде, слонялся среди гостей с бутылкой, все нацеливался — с кем бы выпить. Распахнутые полы толстого кафтана обвисли, как слоновьи уши. Мокрый седой войлок на лбу слипся. Приметил Васеньку, вытянулся, и приложил растопыренную пятерню к картузу.

— Господину юнкерю! Выпьешь?

— Я, дедушка, не юнкер. Рядовой нестроевой роты, Куроцапов. Честь имею вас поздравить.

— Не юнкер... А лицо у тебя, брат, умственное. Куроцапов, говоришь, фамилия паршивая... Выпьем?

Вцепился в гимнастерку и потянул к столу. Чокнулись, выпили, поцеловались в обнимку... Теплая водка обожгла глотку. Васенька закусил зверски соленой тараньей икрой и нырнул от старичка за спину трехобхватной бабы. Тот и не заметил, качнулся, надул щеки, вогнал икоту внутрь, взболтнул остатки водки и поплелся искать новую жертву.

Гармонисты — горбун и второй с восковым скопческим личиком — растянули мехи — пауза — вскинули локти и грянули польку. И так подмывающе всхрюкивали высокие лады, так лихо рипели баски, переходя на новое колено, так весело прищелкивали-звётели колокольчики, что ноги сами вскидывались. Иной тугоусый пожарный, степенный дядя, потопчетса сам с собой, обхватит первую попавшуюся талию и давай ее вертеть до банного поту. На Васеньку сбоку все посматривала крепкая веселая горняшка в малороссийской плахте шашками и расписных рукавах пузырями. Озорница, должно быть: в кофейных глазах шалая улыбка, рот вишенькой, голову все к правому плечу исподтишка клонила.

Васенька осмелился и щелкнул своими армейскими копытами.

— Угодно?

И хотя сапоги были чертовски тяжелы и хотя горели пятки и пальцы — крутил он ее четко и круто. Так вокруг себя и завивал.

— Ох, будет! Какие вы прыткие...

Васенька затормозил и, тяжело дыша, взял даму под руку и вывел из круга... О чем с ней говорить? Ишь, колобок какой круглолицый!.. В глазах кружились золотые перья облаков, качались далекие липы над сараем...

— Какие у вас цветы в волосах, — сам, впрочем, видел — желтая акация, — но надо же с чего-нибудь начать.

— А вам на что? Подсолнечники!

— Ишь вы какая насмешница. Дайте мне веточку.

— Вот еще... Цветок из волос дать — сердце потерять. Будто не знаете?

Впрочем, тут же остановилась, вынула из тугих кудряшек кисточку, перекусила стебель и жеманно подала Васеньке.

— Хотите, пойдём на конюшню лошадей посмотреть? — ласково предложил он.

Пошли, взявшись за руки и покачиваясь, точно и век были знакомы. Широкозадые вороные жеребцы, пофыркивая, хрустели овсом, гремели цепями, лоснились крупами... Солнечный мутный луч сбоку прорезал полутьму, закружил в тишине пылинки... Васенька порылся в кармане, вынул горсть мятных пряников, — Сережка его снабдил, — и протянул хохлушке. Та подошла поближе к стойлу, рослый конь повернул голову, покосился опаловым зрачком.

— Чего смотришь?.. Пряничков тебе принесла. Дурачок.

Тёплые губы потянулись к ладони, наежились и осторожно подобрали лакомство.

А Васенька — бывают же такие произвольные движения — наклонился, в горле у него пересохло, глазам стало невмочь жарко, — и вдруг ни с того ни с сего прикоснулся губами к прохладной щеке соседки.

— Скусно? — весело спросил Сережка, точно Петрушка из-за ширмы, вдруг появившийся из-за конюшенных ворот.

— Озорники какие! — взвизгнула хохлушка и стремглав бросилась в толпу.

А пристыженный гимназист вышел на свет. Колотилось сердце, горели уши. Черт его знает, что такое! И голос Нины — вдруг он его вспомнил — так отчетливо-надменно зазвенел в ушах:

— С горничными целуетесь? Донжуан пожарный... Вот и уважай себя после этого... — Он ушел в сторону, к калитке, тихо ее распахнул и медленно пошел по дорожке вдоль лохматых шапок крыжовника.

В вишнях свистела иволга. Солнечные пятна, точно мех пантеры, дробились на песке. У беседки за поворотом под отдаленный плеск гармоники отплясывала странная пара: младшие детишки брандмайора, брат и сестра. На свадьбу их не пустили, — неприлично, и они здесь, в зеленом закоулке, подражая взрослым, отплясывали какую-то каннибальскую польку. А потом, наплясавшись досыта, свалились в траву и, звонко заливаясь, стали щипать друг дружку...

Васенька осторожно обогнул полянку и расстегнул ворот. На душе легче стало. Умылся в углу у кухни, под краном. Долго пил, фыркая, как лошадь, беззаботно передернул плечами и пошел на знакомый голос: в калитке стоял Минченко и звал пить пиво.

\* \* \*

У стены на высокой перекладине пожарной трапедии сидели, как ласточки на телеграфной проволоке, какие-то забжавшие с улицы мальчишки и грызли подсолнухи. Бесплат-

ная галерка. Хохотали, подталкивая друг дружку: уж больно смешно там внизу гость-мастеровой валял дурака. Напялил картуз козырьком на затылок и тянул к себе упиравшуюся, багровую, как свекла, веселую стряпуху. Не выдержав толчка, отлетел, вскинув углом руки, в сторону и грузно сел — в третий раз — на отяжелевший зад. Осторожно, как кот по луже, задирая ноги, подобрался к трапедии, попробовал было вскарабкаться к ребятам по узловатой веревке, обвис и тьюфяком скатился вниз. Огрызок яблока шлепнулся о картуз, мастеровой только головой мотнул. Умогнулся, прижался плечом к лестнице и блаженно закрыл глаза: ублагодворился...

Сережка-денщик где-то раздобыл балалайку. Гоголем похаживал по двору, — и откуда у него этакая развинченно-галантерейная походочка взялась... Пощипывал струны — сыграть, что ли? Подошел к девицам, отдохавшим пестрым кольцом вдоль сарая, пробежал глазами, выбрал и отставил каблук. Девыцы ухмылялись и перешептывались.

— «Барыню», Сергей Иванович! — пискливо попросила коротышка в накрахмаленной шафранной юбке.

— Рад стараться. — Сережка стал в позицию и занес ковшиком ладошь. Брызнул легкий, ернический, балалаечный говорок. Второе колено звончей, третье еще круче.

И вдруг, встретившись глазами с высокой, задорной кралей, — кисель с молоком! — перекинувшей через плечо темно-русую толстую косу, — отчеканил:

— Дуня, яблочко, Жар-Птица,  
Агроматная коса —  
Разрешите в вас влюбиться  
На коротких полчаса...

Девыцы прыснули, выталкивая вперед упиравшуюся Дуню, но та, сконфуженная и польщенная, выскользнула выюном и скрылась в задних рядах. «Тьфу, окаянный!»...

А Сережка небрежно покосился на каблук и наметил вторую — соседскую белошвейку Таню, забежавшую на пожарный двор посмотреть свадьбу, потолкаться.

— Как на лавочке у бани  
Тайно жал я ножку Тане, —  
Я такие тайности  
Люблю до чрезвычайности...

Васенька, толкаясь в толпе, поднял голову: чего они там заливаются? Сережка донжуанничает... Соперник. Он все еще не мог себе простить своей глупой вспышки в конюшне. Значит, так со всякой, — ни с того ни с сего. И, как с ним не раз бывало в «честные» минуты, стал сравнивать: а если бы Нина вот так же какого-нибудь смазливого солдата поцеловала? Даже вздрогнул от негодования. Нина! Но почему же, разве это не одно и то же?

Гимназическая строгая совесть говорила: «Конечно, какая же разница»... Но веселая, озорная беспечность молодости смеялась: тоже сравнил. Поцеловал, точно в пруд окунулся, больше ничего. Не деготь, не пристанет.

А его хохлушка и думать о нем забыла. Стояла с белобрысым, как желток, безусым пожарным в дверях сарая, у насоса, и, охорашиваясь, примеряла блестящую медную каску. Странно: ее смазливое хохлацкое личико сразу стало строже и выразительнее. Диана не Диана, а, право, за одну из младших богинь бы сошла... Васенька оглянулся. Чего это все к забору потянулись? Не драка ли?

У пыльного забора, под березкой, сидел на земле Минченко, против него сивый, крепкий, как тумба, пожарный. Долго усаживались поплотней. Подошва к подошве пригнали пятки, упершись кулак к кулаку, схватились руками за круглую палку от метлы. Пробуя друг друга, резко рванули,—ни с места. И медленно, вливая всю силу в кисти и в тугие пятки, стали друг друга перетягивать.

Над ними сгрудился народ. Силы вокруг бродило немало, не всю ее и хмель спеленал. Ни у одного вот так же, как у сидевших на земле, сжимались, наливаясь кровью, кулаки и пружинили ноги.

— Ужель, Савельич, солдату поддашься?—просипела чья-то ошалевшая, кудлатая голова, просовываясь в круг.

— Зачем, черт, поперек говоришь?

И опять тишина. Затылки у противников потемнели, точно под банками натянулись. Ни с места.

— Врешь...—хрипло крикнул пожарный, надавая из последних сил.—Врешь...

Вот-вот лопнут. Но палка не выдержала, хрястнула, борцы повалились вправо и влево, толпа зареготала, задвигалась.

Минченко, отдуваясь, встал, поднял с земли бутылку сладкой смородиной. «Ну что ж, Савельич, ничья, пополам разопьем»...

Пожарный, улыбаясь, подтягивал шаровары.

Надвинувшиеся чуйки и пожарные хлопали Минченко по спине, ощупывали мускулы и гоготали: «Здоровый, бугай!»

Васенька вздохнул: ведь вот — как он с ними умеет — совсем свой. Болтает, пьет — забавляется.

— А, Василиса?— обернулся к нему Минченко.— Жарко?

— Ноги все оттопал. Броненосцы эти казенные, орудие пытки какое-то. Дьявол бы их взял!

— А ты Сережины надень. Что ж ты, чудак, молчал? У него вторая пара есть, как раз подойдут... Се-ре-жа!

Васенька пошел с денщиком и через пять минут вернулся бодрый и сияющий: от угрызений совести и следа не осталось. Потому что неразношенные армейские сапоги пуще всякой совести человека замучить могут.

Гармонисты сидели у края стола. Навалились на еду настоящего, по-деловому. Им свадьба — трудовой день, нынче густо, завтра пусто, — наедались впрок. И пили немало, но с выбором: выморозки — сладкое местное вяленое вино, водку на красных стручках, похожую на сургучную наливку-мадеру. К пиву не прикасались. Немецкий квас дешевка, хвосты им у лошадей подмывать... Но не хмелели ничуть, — ели уж очень густо. Только крикали да обтирали о скатерть мокрые рты. Гармонии, похожие на кубастые шкатулки, стояли сбоку на лавке, — блестели медными резными углами, перламутровыми пуговками ладов, солидным лаком, шляпками колокольчиков.

Васенька присел рядом. Выждал, пока горбун дожевал кусок жирной полендвичи, и спросил:

— А что, трудно на гармонии играть?

Гармонист вытер сальные руки о хлеб и небрежно отвел:

— Талант нужен. У кого телячьи уши, не научится...

Но, покосившись на почтительно слушавшего молодого солдата, смягчился:

— Такты надо во-как держать. Не забегать, не замечывать. А то, брат, клейстер... Опять же механизм в суставах. Чтобы каждый палец сам собой, как ветер дышит, на свой клавиш ложился. Как у вас, скажем, по церемониальному маршу, — один дурак не с той ноги хватит, вся шеренга к чертовой матери... А ты что же, антиресуешься?

— Инструмент приятный, — вежливо польстил Васенька. — Я вот тоже на балалайке немного играю.

— Сравнил тоже козу с лебедью. Что ж ты на ней, на трех струнах сделать можешь? Трень-брень, хрюшки-вьюшки... Шмель пролетающий загудит, ее и не слышно. А гармонь — гром, блеск, одурение...

Он слегка тронул свою кубышку, полукругом растягивая мехи.

— Вальц! — заверещала, подбегая, косолапая рябая красавица в накрахмаленной юбке. — Что ж вы, Терентий Сидорович, целый час все закусываете...

Горбун перемигнулся с подручным, согласно тронулись локти, и звонкий подрагивающий мотив печально заструился над мощным пыльным двором.

Васенька вслушался. Господи, да этот вальс ведь бабушка часто по вечерам мурлычет, когда она в хорошем настроении:

Я видел березку,  
Склонилась она...

Грузно завертелись, перебрасывая тело с ноги на ногу, пары. Танцевали серьезно, будто ответственную работу исполняли. Широкие лапы пожарных лежали на крепких плечах по-воробыному подсакивающих барышень. Густой дух ситца, помады и пота,— неизбежный слободской аккомпанемент,— поплыл над головами. Порой из-под каблука кавалера вылетала короткая искра: это подкова чиркала о камень. Минченко добросовестно крутил курносую коротышку-горничную, уткнувшуюся носом в его бляху... Сережка, пес этакий, вертел сразу двоих, перебрасываясь рыбкой от одной к другой...

Пожилая прачка стояла рядом с Васенькой, втиснув руки в рыхлые бока. Ясно, что прачка— пальцы размытые добела и жавелевой водой так от нее и разило. Никто ее не пригласил покрутиться, она цокала языком, покачивалась на месте— очень уж пронял пронзительно-роскошный мотив.

— Угодно?— изогнувшись, как пристяжная, поклонился гимназист.

Прачка очнулась, шлепнула белую руку на его плечо, поймала такт и дернулась. «Однако, жернов»,— подумал Васенька, с трудом ее поворачивая, словно наматывая бабу вокруг себя. Круг, еще круг, а она не отлипает, щеки, как мальва, черт с младенцем связался. Ему казалось, что он в квашню с тестом попал, до того она вся была пухлая и сырая...

— Устал, сынок?— шепнула она, лукаво поблескивая рыбьими глазками.— Поверти, не растаешь...

— Ни-че-го!— отдуваясь, буркнул гимназист. Весело ему было и смешно...

И скинув случайно голову, обомлел. Из окна второго этажа брандмайорской квартиры смотрела на него во все глаза племянница брандмайора Наташа Лаптева... Взяла бинокль, зовет по-друг...

Как бильярдный шар от борта в угол,— отлетел Васенька от оторопелой прачки,— и ходу... За ворота. Ветер слизнул фуражку... Пес с ней. Офицер, вынырнувший из-за угла, орет вдогонку, размахивая стэком:

— Чести почему не отдал? Какой роты? Стой, тах-тах, тарарах.

Какая там к бесу честь! Что теперь будет, что теперь будет? Из всех окрестных окон, из каждого палисадника на него смотрело строгое личико Нины и прямо пылало пламенем презрения и гнева...

Косой мельницей перелетел через забор и скрылся за защищившими кустами в саду Минченко.

<1930>



Какие-то люди звонили.  
Какие-то люди входили...

В эмигрантской практике художника Брагина это был приблизительно двадцать пятый случай. Если рассказывать о всех, пришлось бы писать на эту тему полное собрание сочинений. Громоздкая и неблагодарная задача... Но, как выразился один виленский часовщик: для того, чтобы проверить свои часы, нет надобности жениться на вдове часового фабриканта. Тем более что и один последний случай в достаточной мере освещает все изысканные качества тех размашистых натур, которые, высосав из своих пальцев все, что можно, дают их потом обсасывать своим ближним.

\* \* \*

Письмо было чрезвычайно благовоспитанное: сверху «милостивый государь», внизу «примите уверение» со всеми онёрами. Почерк — готический. Бумага с матовыми лилиями. Конверт на тигровой подкладке. Но, как в кулебяке, так и в деловом письме, самое главное — содержание. Неизвестный господин затевал новое «чрезвычайно продуктивное дело» и льстил себя надеждой, что художник Брагин войдет с ним в тесный контакт по декоративной части, — подробности при личном свидании.

Когда у человека безработный месяц (вернее — полугодие), скептическое направление его ума гаснет и он становится доверчив, как ручная лань. Брагин ответил в то же утро, разложил в деловом беспорядке свои кисти и картоны и целый час рассматривал крепкие заостренные буквы письма: характер, несомненно, твердый, — торговаться будет, но и платить будет.

В назначенный час, секунда в секунду, — аккуратность — добродетель деловых людей — в мастерскую вошел, изысканно держа котелок в согнутой руке, джентльмен средних лет. В серых глазах сдержанное до хрупкости уважение к самому себе. Пепельные волосы бобриком. Мерно покачивающийся стан. В левой руке сигарного тона перчатки. Галстук цвета загорелой девушки средних лет. Ничего не рассматривал. Никаких улыбок... Все очень благоприятные признаки.

Сел в кресло и приподнял, в предупреждение всяких вопросов, руку.

— Прежде всего, так как мы с вами не имели удовольствия встречаться, позвольте вам предъявить несколько документальных данных о себе...

Господин выудил из бокового кармана кожаный альбомчик и усталым от собственной известности жестом протянул его Брагину: вот.

Отзывы французских и немецких газет, фотографии, программки... Шрифт заметок был, большею частью, бисерный — петит, но все-таки по отзывам можно было несомненно установить, что директор кабаре «Задумчивый Карась» был почти так же знаменит, как Шекспир, Шаляпин или Жозефина Бекер. Даже странным казалось, почему по ту сторону окна, на улице, не волновалась толпа, нетерпеливо поджидающая, когда эта мировая личность выйдет из подъезда дома, в котором жил никому не известный Брагин. Где его лимузин, в который с ревом впрягутся поклонницы? Должно быть, стоит за углом.

Фотографии были не менее ослепительные. Господин директор на эстраде в костюме гладиатора, окруженный бордюром из живых хризантем, протягивающих к нему трепетно-покорные руки. Господин директор в своем кабинете вдохновенно диктует своей дактило — не отзыв ли о самом себе? Господин директор под руку со своим сенбернардом, который держит в зубах плакат с надписью: Задумчивый Карась. Билеты все распроданы. Господин директор кормит голубей, господин директор играет на арфе...

Гвозди программок были более скромны: все больше варианты трижды подогретых дежурных блюд, чужие окурки, к которым каждый кабаретный изобретатель пришиливал свой ярлык и заявлял патент.

Брагин перелистал альбомчик и вежливо вернул его директору.

— Теперь вы знаете, с кем вы имеете дело. Но все это чушь, гиль, детские игрушки (вероятно, таким же тоном Гёте говорит в минуты усталости о второй части «Фауста»). — Мир переутомлен, мир оглушен, мир зевает — я решил учесть это обстоятельство в деловом смысле. Если вы принципиально согласны со мной работать, я в немногих выпуклых словах — совершенно конфиденциально (он понизил голос), — нарисую вам свой план.

Брагин заглянул в пустую жестянку из-под сардин и утвердительно кивнул головой. «Принципиально» он даже с бешеной собакой готов был теперь работать.

Господин директор не обладал даром чтения чужих мыслей и поэтому с изысканной любезностью продолжал:

— Мне известны ваши работы. Сдержанность. Тихие краски. Переходы на тормозах. Топаз, опал, лунный камень... Корректно, как потухающий камин, и абсолютно спокойно. Поэтому я и решил к вам обратиться. Именно к вам. Подчеркиваю.

Художник без всякой надобности высморкался, посмотрел в платок и свернул его жгутом. Когда говорили о нем, он всегда по застенчивости употреблял не те жесты, к которым прибегают опытные деловые люди.

— Я решил взять быка за рога. Мир скрежещет. Нервы обнажены. Самоубийства растут. Акции падают. Вывод ясен: масла на волны! Теперь закройте глаза и представьте себе...

В столице мира, на перекрестке гремящих бульваров, переливаются манящие слова из палевых лампочек: *Ти-хо-е Ка-ба-ре*. Следуйте за мной... Бесшумная дверь. Ступени обиты блеклой змеиной кожей. Пневматические перила. Подвал. Ни одного звука сверху... У низких столиков крытые лебяжьим пухом тахты для возлежания. Пружины на подшипниках. На стенах и потолке тихие фрески: лунные хороводы, свадьба крабов, павильон тишины. Беззвучный вентилятор распыляет надушенные матовой резедой снежинки. Коктейли по особым рецептам: вызывающие тихое опьянение, понижающие голоса, обволакивающие эмоции скандалов матовым забытьем... Ножки столов и гарсонов излучают опаловые лучи. Сонно поющий фонтан орошает радужными брызгами мой тускло-серебряный бюст. Меню?.. Шашлык из колибри, мороженое из одуванчиков... Безмолвие. Склоненные на руку головы. Флирт под сурдинку. Астральные поцелуи. На эстраде... Но это уже по моей части. Пока — железная тайна. До подписания контракта даже вам не могу доверить. Эти сволочи конкуренты сейчас же сопрут.

Брагин сочувственно хмыкнул.

— Теперь о вашей роли лично. Какие возможности! К вашим услугам стены, воздух, ткани хитонов, потолок — творите, излучайтесь... Опал, хризопраз, лунный камень... Тихие краски переливаются в тихие звуки — в тихое меню — в тихие напитки. И какие коммерческие перспективы!

Он перевел дух, возбужденно облизнул губы и перешел к главному.

— Раз я ставлю на карту свое имя — никакой халтуры. Париж — не Жмеринка. Деньги обеспечены. С пустячками только колбасный ларек открывать можно. Мой лозунг: тишина и... ширина. Подвал так подвал, место так место. Смешно экономить на нитках. Обдумайте ваши требования. Мы будем работать, как душа и тело. Иду широко навстречу. Хотите выговорить в контракте какие-нибудь надбавки — не стесняйтесь. Раз человек заинтересован материально, он легче отдается морально. Подумайте. Если у вас есть свои идеи — валите. От столкновения голов рождается истина. Через три дня зайду, а пока лечу... Миллион дел — помещение, анонсы, черт, дьявол... Честь имею кланяться.

Он встал, повернулся на бесшумных подошвах и, держа котелок на отлете, с бережным уважением к самому себе, направился матовыми шагами к дверям.

Ошеломленный художник долго сидел на табуретке и прикидывал: восемьсот франков в месяц? Дурак! Тысячу? Идиот!! Тысячу двести? Болван!!! Так и не остановился ни на чем.

\* \* \*

Три дня Брагин ломал себе голову. Не покрыть ли занавес закрытыми глазами, мерцающими сквозь лунные облака... Сделал набросок — порвал. Или шесть нимф, кормящих грудью

маленьких фавнов, и у каждого на спинке по одной букве: *т-и-ш-и-н-а*. Сделал набросок. Отложил. По ночам просыпался, хватался за блокнот и записывал: «Октябрьский танец кленовых листьев — тюль лимонный, апельсиновый и брусничный; по бокам два толстых ветра: костюм паши и костюм мандарина; все тона под сурдинку». Эстрадные номера его, собственно говоря, не касались, но что делать, если человек разошелся... «Расписные чаши для мыльных пузырей — бесшумная забава после коктейлей». «Просить тысячу четыреста».

Бедняга стал курить вдвое больше, никуда не выходил и даже перестал бриться. «Отдавался морально», — ничего не поделаешь.

Через три дня господин директор пришел опять, опоздав только на полчаса. Когда человек разворачивает гениальное дело — полчаса в счет не идут.

На этот раз он свел лирическую часть беседы до минимума, зато деловая сторона была разработана более обстоятельно и четко.

— Грабиловка ваш Париж. Вчера осматривал уже третий паршивый подвальный театрик. Место дрянь. Цены... Уши дыбом! Программы — концессия, вешалка — концессия; буфет — концессия! Что ж я на дармоедов работать буду? Вам наплевать — чем вы рискуете. А я ставлю на карту свое имя, — он щелкнул пальцем по альбомчику, — и свои кровные франки...

Брагин молчал и машинально рисовал на уголке картона опаловый кукиш. Пожалуй, чашу для мыльных пузырей придется теперь для себя расписывать. Знаменитый предприниматель должен был, собственно говоря, натянуть свои элегантные перчатки и уйти... «К псу под хвост», — как лаконически формулировал про себя художник. Но из господина директора, очевидно, еще не вся пена вышла.

— Впрочем, это не значит, что я отступаю. Черта с два! Завтра я еще осмотрю подвал около Итали. Из-под склада соленых огурцов освобождается. Отделаю, как будуарчик. Бочки из-под рассола интимно расставить можно. По стенам — бумеранги. По случаю за грош предлагают. На бумажных салфетках — мои фотографии... Буфет в виде Эйфелевой башни: в одной ноге — пиво, в другой — зубровка... и так далее. Наплевать. Халтурить не собираюсь, тут тебе не Новоград-Волынский, но и каждый шаг провентилировать нужно. Кретон на обивку табуреток почему у вас в Париже, знаете? Самый собачий — пять франков за метр. Что-с? А сколько метров надо — вы знаете? Голова лопается. А краски, занавес, побелка. Ротшильд я вам, что ли? Раз вместе работаем, все вместе и провентилировать нужно. Мои деньги и имя — ваш труд. Для вас, собственно, тоже выгоднее на одних процентах работать... Жалованье! Я бы сам хотел, чтобы мне кто-нибудь платил жалованье.

У художника Брагина было такое чугунное выражение лица, что даже господин директор понял. Он встал, сдунул с рукава пушинку и с достоинством покосился на свои готические брюки.

— Я стреляный. Лондон горит, Нью-Йорк трещит, Берлин задыхается. Такое тебе «Тихое кабаре» пропишут, что в одних запонках останешься. Мой девиз: все для средней публики!.. О ней все забыли, а она, как пеликан,— всех кормит. Я упорный. Вот если за огуречный подвал уступят, тогда и поговорим детально. Честь имею. До субботы—тогда все и оформим. Бумеранги, как, по-вашему, лучше—позолотить или посеребрить?

Брагин прикрыл за господином директором дверь. Курил, дергал левой щекой и думал, как темна и извилиста душа неизвестного трамвайного пассажира, когда он вдруг, ворвавшись в комнату, сядет тебе на голову. А впрочем... Бес его знает. Ведь вот и фотографии у него, и наклейки, авось и в Париже как-нибудь развернется...

\* \* \*

Брагин не совсем был уверен, что дорогой гость придет и в субботу. Однако пришел. И сразу можно было понять по игривому покачиванию котелка в откинутой руке, по весело дергающимся в полотерном темпе гетрам, что все обстоит как нельзя лучше.

— Здравствуйте, здравствуйте... Поздравьте, дорогой мой, дело в шляпе. Даже, если смею так выразиться,—в цилиндре. Получил весьма уютное предложение в Страсбург. Подвал при первоклассной пивной. Помещеньице—их, украшеньица—их, подъемные и прогонные... Нэк плюс ультра<sup>1</sup>. Комплект подобрал на ходу. «Дешевле гробов»,—по выражению одного прибалтийского барона. Номера—битые. «Хор... сестер Зайцевых». «Оловянные матросики». «Эмигрантская Катенька»... Класс. Ну, там еще кое-что, секрет изобретателя. Куплеты некоторые спешно заказал беженке одной перевести. Двадцать пять франков! Нож к горлу... Костюмы и декорации с прошлых поездок. Кое-что на месте, в Страсбурге, подмалюем, перевернем. Мах-мадера. Чего вы, дорогой, морщитесь? Мигрень? Женская, так сказать, болезнь. Я к вам, собственно, рикошетом, вот по какому миниатюрному делу. Нет ли у вас среди ненужных, брошенных рисуночков, в этюдах, что ли, в альбомчиках—отработанный, так сказать, пар—кое-каких сюжетов для программ? Буфет и вешалка—от пивной, программы—мои. Нет-с? Очень скорблю. Воздуху у вас в мастерской сколько. Опал, лунный камень... Когда-нибудь, Бог даст, еще что-нибудь соорудим вместе... Честь имею. Очень рад был познакомиться.

<sup>1</sup> Самый лучший, дальше некуда (*лат.*).

Он поднял плечи; перевернул вокруг пальца котелок и, как паршивая моль, сгинул из освещенного квадрата дверей во мгле лестницы. На этот раз, надо полагать, навсегда.

\* \* \*

Художник лежал, согнув колени, на продавленной тахте и сплевывал на валяющийся в углу картон с шестью нимфами. Лампочка свисала с потолка, освещала растрепанные волосы и колочие злые глаза. На груди медленно подымалась и опускалась Библия. В такие серно-кислые минуты старая мудрая книга не раз ему помогала. Он наугад раскрыл ее, провел пальцем по левой странице, остановился на левой полосе и прочел: *Подобно пронесшемуся ветру, нечестивый не существует больше...*

— Аминь,— покорно сказал Брагин и отшвырнул ногой картон с нимфами в темный угол.

1930

Париж

## «ЛЮДОВИК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ»

(РАССКАЗ КРОТКОГО ЧЕЛОВЕКА)

Я, милуша, никого не осуждаю. У иного, скажем, сплошное духовное неудовлетворение, а он и на сорок пятом году картинки по шоколадным сериям собирать начинает. В альбомчики наклеивает, трясется, близко тебя не подпустит, чтобы ты, не дай Бог, сальным пальцем угла не замуслил. Названия такие приманчивые, по-простому сказать,—гады, пресмыкающаяся мразь, а по-ученому — «рептилии». Да еще сбоку под какой-нибудь хвостатой канальей по латыни выведено: «игуана туберкулата». Самый обыкновенный розовый какаду, от которого всякие попугайские болезни происходят, и он по паспорту на картинке прописан: «какатуа розейкапилла». Звук-то какой!

Шоколаду такой человек съедает столько, что и душа не принимает,—картинки ведь для того и приспособлены, чтобы шоколадных таких дураков привлекать. Ну, что ж, такое занятие даже полезно,—высокие качества в человеке обнаруживает. И в долг ему можно франков до пятидесяти поверить, и у него самого при случае перехватить. Меняются они друг с другом двойниками: рептилию на птичку, горного барана на морскую корову... Не пьют,—наблюдать не приходилось,—не сплетничают, вся у них внутренность в картинки уходит. Я не осуждаю. Дай Бог каждому...

Один мой приятель автографы тоже собирает. Всегда у него в боковом кармане этакая парусиновая книжечка. Вроде стельки. Чуть какого-нибудь поэта начинающего встретит, либо корреспондента, сейчас же познакомится и так в него и вопьется. И перышко у него походное наготове и промокашка, кто же откажет... Конечно, с налету гениальную мысль завинтить не каждый и из них может, обдумать надо. Однако пишут. «Если бы Байрон жил в 1930 году и был русским эмигрантом, он бы не был Байроном. Алексей Прохоров». Афоризм называется. «Байрон,— говорю я приятелю,— Байроном, да тебе-то что в этом?» Он на меня только искоса, как на дверную ручку, взглянул и сразу срезался: «А почему ты, балда, знаешь? Может, автографу этому через семьдесят лет и цены не будет... Авторы многие при жизни без штанов, можно сказать, ходили,— что ж с того. Читал ты, какие деньги за знаменитые автографы впоследствии на аукционах отваливают?»

Что же, действительно, может, при долговечности он и зарабатывает... Я не осуждаю.

Есть и у меня свой пункт. Не то чтобы редкий, но широкий пункт, настоящий. И выгоду иметь можно, и для души полет. И моцион и развлечение. Конечно, вы и сами догадываетесь, да я и не скрываю. На марше-о-пюс гоняю каждое воскресенье. На петербургский язык перевести — Александровский рынок, только дистанция пошире. Езжу с толком, не как иной оголтелый: знаний на франк, капиталу пять франков, а фантазии на тысячу. Навыки кое-какие выработал, могу даже с соотечественниками поделиться,— все равно главных секретов не открою.

Первое: езжу не на метро, чтобы себе подземной спертостью воскресного настроения не повредить, а по окружной нормальной дороге. Если от Пасси, то пересадка на Перер, а там катишь до самого Клинанкура. В третьем классе, а на мягком сидишь,—мягкому на мягком всегда приятно. Ветку зеленую в окне увидишь, облачко заглянет, все-таки и я же человек. Да и с рынка, если большой предмет попадет, везти куда просторнее.

Второе: как заблудший пудель, не кидайся в суету-гущу, а сначала по наружной линии по правой стороне пройдишь медленной стопой. Там самые стоящие антики и попадают.

Третье (а, может, оно и первое): еще дома обдумай, а в вагоне проверь, чего ты ищешь,—гамак тебе подержанный нужен, либо бандаж против грыжи. А то так, язык вывалив, и будешь метаться от графинов без пробок к дамским седлам, пока не очумеешь. Либо уж просто вали без мыслей,—десять, мол, франков на что попало псу под хвост выкину, наплевать... Это тоже интерес придает,—бескорыстная дань сердцу.

Четвертое: всегда с собой складную вилку-ложку беру и бумажную салфетку (с голубой каемкой). Потому что, как слюна голодная одолевает начнет, сейчас же там на рынке в какой-

нибудь отечественной обжорке и пристанешь. А там вилки черные, олово открытой атмосферы не переносит, и вместо салфетки об соседа разве руки вытрешь. Другой, если заметит, и обидеться может...

Пятое: веревочки с собой про запас беру и газеты, только французские, чтобы национальность не выдавать. Потому произношение с твердым знаком и у азиатов бывает, а русские обожают вещи руками трогать и потом не покупать. Французы этого не любят.

\* \* \*

Вот так я в прошлое воскресенье и разлетелся. Прохожу по наружной линии таким тамбовским барином, подметка у меня хлопает, на камень напоролся. Зашел тут же к летучему сапожнику, он мне на франк гвоздей набил, так сразу душа и расцвела, как каштан перед мелочной лавочкой... Не приведи Бог, как такая презренная малость — подметка человеку досадить может. Иду присматриваюсь. Задание твердое: хотел на камин вазу-рококо какую-нибудь раздобыть. Дешевый цветок в роскошную вазу воткнешь — очень это комнату оживляет.

Вижу, стоит передо мной соловей-разбойник дамского полу в усах, на голове три тюлевых шляпки второй половины девятнадцатого века, сверху куполом котелок, рожа кирпичная, бока окороками, будто их автомобильным насосом накачали. Сообразил я — лицо сырое, гора перед ней навалена — всякой твари по паре, — у такой легче всего купить. Кусок могильного памятника резной работы из-под линолеума торчит... Мне ни к чему, предмет громоздкий, преждевременный, — шарю глазами, нет ли более подходящих сюжетов.

И, представьте себе, за старой шиной стоит на земле на мое эмигрантское счастье неземное сокровище: фарфоровые каминные часики... Пастушок с пастушкой перемигиваются, юбочка у нее подобрана, а он, пес, ножкой этак в сторону намекает... Ну, чисто Людовик Девятнадцатый... Так меня и взмыло.

Само собой, перебрал прохладно то да другое, почем, мол, дырявый термос, да германский штык. А потом и часы поковырял. Зад у пастушки, вижу, подбит... Про себя думаю: фарфоровая дама и без этой подробности обойдется, гипсом залью, да эмалевой краской капну. А ей, бабе усатой, в нос: дефект! Торговался, как скаженный. За тридцать пять франков, уходил — возвращался, еле выудил. Часы, вижу, не ходят, да что ж, это простые ходить обязаны, а в этом стиле и без ходу сойдет.

Завернул предмет в газету, больше и смотреть ничего не стал. Да и из бюджета сразу выскочил. Теплота из меня от этой покупки так и излучается. Бережно понес, будто соловьиное яйцо по жердочке. Еще, помню, француженку подразнил:

— А штучка-то старинная... Хорошая, мадам, штучка!



Обиделась она даже: «Какая же старинная? Вещь почти новая, сударь...»

Сырая баба, где ей в Людовиках разбираться. Иду, селезенка у меня играет: и весна, и удача... Жена, думаю, если и разругается, за сто франков любой с руками оторвет с реставрированным задом. Это тебе не автограф... Не гад латинский.

Прошел цыганскими закоулками к своей столовке, — русско-еврейская ресторация у меня на примете была под навесом. Подсел к посетителю, вижу — по обличью земляк, — на блюде дует, тушеную морковку ест, селедкой закусывает. Сразу все три удовольствия. Из охотников тоже: рядом на скамейке пакетик в газете. Понимаем. Поболтали, как водится: что, мол, с Индией будет, то да се. О покупках ни-ни. Не принято это на блошином рынке, да и каждый свою усатую бабу для себя впрок бережет; что же ее каждому прохожему подбрасывать.

Ем, обжигаюсь, домой тороплюсь, — уж, наверно, жена ахнет, она у меня со вкусом, керченскую прогимназию с серебряной медалью кончила... Хочу рассчитаться, а тут, как назло, хозяйка на старый мотоциклет села, какому-то рабочему-покупателю показывать. Мотор под ней на холостом ходу гудит, шея и все прочее трясется, груз тоже немалый... Слезла, сунул я ей, что следовало, корж с маком для жены прихватил, пакет под мышку и ходу.

\* \* \*

Еду домой, в вагоне пусто. Народ на рынке только в самый раж вошел, другие до вечера бродят, пока какую-нибудь дефективную гайку к своей кофейной мельнице не подберут. А у меня чистая эстетика, радость глазам. Где ее в серой жизни увидишь? Обои хозяйские — кишки в сметане, — мебель с выкрутасами, стилия царя Навуходносора, когда он ума лишился и траву стал есть. Черт его знает, до чего у этих хозяек склонность этаких сосновых верблюдов под красное дерево по всем углам тыкать... Прижимаю свой предмет, — то-то камин заиграет... Пальцами сквозь газету любовно прошупываю: вот она дамская головка, а с другого края выпуклость, — пастушок в любовной позиции пребывает.

Приехал домой, первым делом жене корж с маком, внимание в домашнем быту прежде всего.

— Опять бокал без ножки купил? — спрашивает.

— А вот ты полюбуйся! Только осторожнее разворачивай.

Сунул ей пакет в руки, а сам, чтоб эффекту не мешать, отошел в умывальное стойлище дезинфекцию лица произвести.

Развернула она, молчит.

— На марку, — говорю, с исподу посмотри. Две синих кильца накрест. Плохо?

— Целоваться мне с твоей маркой что ли? И так квартира вся хламом завалена... Младенец лысый.

— При чем тут,— отвечаю,— моя прическа? И почему же хлам?— Даже губы у меня от обиды пухнуть стали.— Для твоего же удовольствия купил. Сама жаловалась, что на камин поставить нечего...

— Чтоб я такую дрянь на камине держала?

— Дрянь?! Понимаете?.. В глазах у меня марсельское мыло и слезы, схватил я пальто, в боковой карман вместо рукава рукой тычу и к дверям.

— Спасибо, матушка, за воскресную ласку. Ноги моей здесь... до самого вечера не будет.

А она в затылок:

— И без твоей ноги обойдусь. Покупку свою с собой прихвати, авось такого же сумасшедшего на улице встретишь, подаришь.

И мне вдогонку фарфоровыми часами — хлоп! Так и хрустнули. Обернулся я, рот раскрыл, воздуху не хватает... Посмотрел под ноги... и опустился на табуретку, на электрический стул.

Жены народ известно какой: то словами тебя, как утюгом по голове, то валерьянку в нос суют. И у самой слезы — покрупней моих, так жемчугом японским и катятся.

— Что ты, Володя, Господь с тобой... Из-за чего ссориться? Ну, купил, я не спорю, чего только мужчины, когда они одни беспризорными бродят, не покупают. Снимай-ка пальто, у меня и кофе готов, и пирожки дошли.

Вижу, действительно ссориться не из-за чего: вместо Людовика Девятнадцатого на полу... заржавленные детские коньки валяются. Каминное, так сказать, украшение. Потрогал ногой. Звякнуло. Галлюцинация звуков не издает.

Встряхнулся я, сообразил: это ж я вместо своего пакет земляка прихватил,— очень уж похожи были, а ему именной подарок сделал! Что ж, хоть русскому в руки попадет, Христос с ним...

А жене этак ласково объяснил, даже на улыбку сил хватило:

— Ты уж, Катюша, меня извини. Пошутил я насчет каминного довольно топорно. Я же не Белинский, построчной платы с тебя не требую... А коньки действительно дрянь,— и детские, и климат в Париже неподходящий. Зато дешево: два франка! Другие в Монте-Карло больше спускают. Я их, дружок, керосином отмою и племяннику на Рождество в Прагу пошлю. У них там, говорят, зимой окрестности по Реомюру замерзают...

И локоть у нее же, обидчицы, поцеловал. Локоть у нее ничего, дай Бог каждой... О прочем умолчал. Потому у меня система такая: раз муж расстроился, сам себе в кашу наплевал,— переживай один, незачем близкому человеку единственную печенку портить... Всегда так, сударь, поступаю и другим советую.

# ЧЕЛОВЕК С ЗАВЯЗАННЫМИ УШАМИ

(РАССКАЗ ОФИЦЕРА)

Русский полковник посмотрел на лежавший на столе томик рассказов Эдгара По и усмехнулся:

— Ужасов с три короба наворочено... Другая старая дева всю ночь ворочаться будет, не уснет. То ее будут в подвале живьем замуравывать, то стальным маятником сердце перепиливать. Театр Гиньоль, пять франков за вход, нижние чины и дети платят половину. А между тем милая наша жизнь, с четырнадцатого года начиная, такие полотна разворачивала, что никакому Эдгару По,—даром что он себя наркотиками подстегивал,—не угнаться... Война хороша, а революция и того хуже.

— Вот здесь, среди нас, разные личности пребывают. Иные, помоложе, только по краю прошлись, в самом котле не кипели. Порой сам себе удивляешься: как шкура выдержала, как сердце не озверело, как в добрые будни опять вошел не на четвереньках, а на двух ногах, как человеку полагается. И не в ужасах, разумеется, дело, будь они трижды прокляты, а в том вечно волнующем вопросе, о котором много лет назад еще Короленко писал: каким образом средний, обыкновенный человек,—скажем, солдат Рябошапка,—милый и сердечный человек, а порой и самоотверженный герой не хуже любого спартанца, вдруг превращается в бешеную свинью...

Так вот, если угодно, позвольте для иллюстрации привести некоторый эпизод, в котором я был главным действующим лицом... Выскочил я, правда, благополучно, как рыба, которой удалось через сеть перелететь,—и вот сижу с вами, разговариваю, пью чай. А сколько иных-прочих в неволе застряли, одному Господу Богу известно...

— Было это осенью семнадцатого года, в самую карусель между двумя жерновами: война—революция. Впрочем, первый жернов тогда еще еле двигался, а второй уже стал молотить вовсю. Полк наш только что сменился с позиции. Как сменился—и вспоминать не стоит,—пожалуй, одна прореха на нашем участке осталась. Расположились мы на расплзающейся грязию на этапном пункте в каком-то эстонском городишке. Власти у меня никакой,—вроде безрукого капельмейстера в волчьей стае. Солдатня вся чужая. Пополнение за пополнением. Свои все либо перебиты, либо ушли. А кто и остался—зубы оскалил, точно это я, подполковник Каблуков, и войну объявил, и кончать ее не желаю... Заправлял всем полковой комитет, а я при нем подневольным консультантом состоял по строевой и хозяйственной части. Не отпускали. Манера такая тогда была: мозги свои нам отдай, а сам сократись до макового зерна. Чем мог, я им, комитетчикам, помогал,—ведь русский корабль ко дну шел,

какое уж тут самолюбие. И сам комитет, власть получив, подтянулся, и кое-как линию выпрямить хотел. Ничего, разумеется, не вышло: поджечь — всякий дурак сможет, а потушить — попробуй... Так и осталось у меня в памяти до последнего часа серая эта тогдашняя расхлябанность: рев, митинги, казармы и двор вроде всеобщего отхожего места в доме сумасшедших... И все порасстегнуто: хлястики, уши на папахах, крючки, погоны, глотки... Даже до сих пор тошнит, чуть вспомнишь.

Понял я твердо — надо какое-либо решение принимать, если не хочешь для каждого бесноватого холуя в ватных штанах плевательницей быть. Другой, черт, даже и на позициях не успел побывать, а уж он, изволите видеть, жертва мировой войны, и ты из него, как вурдалак, всю кровь высосал... Кругом расправы пошли одна другой подлее и бессмысленнее. Офицер? Будь ты хоть святого Себастиана невиннее, с ног долой и каблуками по черепу. А уж там, в свое время, история разберет, в какой процент законных жертв революции ты попал и на каком основании...

— Что ж делать? Стреляться?.. В Орле меня жена да дети ждали. Ужели их в самый шквал бросить? Да и гордость на дыбы встала: не все место под солнцем им принадлежит, — авось и для меня останется. Долг свой до конца исполнил, лямку дотянул, а в этой дрызготне ни мозгам, ни совести делать нечего. Переговорил я с некоторыми из комитетчиков: так и так, нужен я вам теперь, как гвоздь в печени. Грузовик кверху колесами в канаве лежит... Руль на крыше... Желаю вам полного успеха, а меня увольте... Народ был неглупый, кой-кто из писарей наших да из вольноопределяющихся. Тоже и им несладко было, и сердца еще не потеряли. — «Ладно. На завтра назначим комиссию... В самом деле, уходите, господин полковник, от греха подальше...»

— Честь честью освидетельствовался. Не обошлось без курьеза... Полковой врач мне «невроз сердца» придумал, год отпуска, лучше и быть не может. А у нас в комитете был такой гнусавый солдат, вроде пугачевского адъютанта, из самых раскаленных. Никому не доверял, во все сам лапами совался... Подошел он ко мне после врача... С ПРАВОЙ СТОРОНЫ груди сердце выслушал и каракулю свою, сопя, под листом вывел. Революционно-сердечный контроль, так сказать. Выскочил я из капкана, в два счета маскарад свой dokonчил: выменял полушубок на солдатскую овчину, сапоги на валенки, папаху с ушами на лоб надвинул, — сам бес не разберет, какой ты масти, какого звания. Свидетельство свое в тулуп зашил. Чемодан с бельем врачу подарил, авось у врача не сразу скрадут... И вбуравился в солдатскую гущу, себя потерял, выражение глаз даже переменял, — тьфу, мерзость какая! Узелок на плече, хлеб под мышкой. Так и дошагал таким кашеваром свободно-собачьего батальона до станции... Позвольте, господа, чай допью. Очень уж на душе смрадно стало...

— Да... На станции—столпотворение. Как стадо баранов в загоне, то в одну сторону метнутся, то в другую... Комендант голос потерял, мечется, словно загнанная крыса. Машинистов прикладами в шею толкают— гони состав за составом, хоть сам в топку ложись, «попили нашей кровушки»! Прут сплошной воблой, на подножках, на буферах раскоряченные висельники, в воздухе мат, свист, смрад, рычание... Как в подвижном зверинце... Сестры какие-то милосердные в эту кашу попали,— лучше и не вспоминать...

— Стиснул я зубы, потолкался, план кампании обдумал. В полуверсте на запасных путях поезд теплушечный стоял, пары разводил. Поговорил я с машинистом, покурили. Узнал, что через час тронемся незаметным порядком, к вокзалу все равно не подкатит. И хоть теплушки еще с раннего утра были солдатней вплотную набиты, однако протиснуться кое-как можно было. Не в Монте-Карло ведь едешь... Посмотрел на меня машинист внимательно и посоветовал: «А не лучше ли вам на крыше будет? Вакансии еще не все заняты? Полагаю, что там много спокойнее». Понял я его, конечно. Поблагодарил. Тихим манером на средний вагон взгромоздился, бечевкой себя к вентилятору прикрутил,— морозов еще настоящих не было, однако крыша покатая и легкой ледяной глазурью покрылась... Запахнул я тулуп, небо надо мной васильковое, тихое, отрезал краюшку, прикусил, на душе как-то покойнее стало. Дай Бог машинисту здоровья!..

— Тронулись мы без свистков, без сигналов. Кой-какие отстававшие за нами вприпрыжку к вагонам бросились. Однако психология тогда была массовая, упрощенная, ни одному Лас-салу, думаю, она и не снилась: кто в вагоне— тот пан, господствующий, так сказать, класс... А кто в наружную дверь на ходу карабкается, того валенкой в зубы... Подвигаемся мы потихоньку, смотрю, поверх крыш тоже всякие пассажиры разместились. Индивидуалисты, так сказать. Отъехали мы верст с пять. Остановка в поле: лошадь дохлая на путях лежала... Тем временем здоровенный солдат, шагавший вдоль дороги в неизвестном направлении, свернул наперерез,— обрадовался случаю,— и прямо к моему вагону. Внизу галдеж, братские диалоги с поминанием родителей обеих сторон. Не пустили... Плянул он вверх, на скобу встал и на крышу. Я же ему и руку помощи протянул. Перевалил он брюхо, сундучок зубами за ремень придержал,— влез. Поехали.

— Представьте вы себе теперь такую акварель. Сидит против меня этакий хмурый, рябой печенег. Вдоль головы по ушам грязная тряпка обмотана, сукровица проступает. Смазал его кто-нибудь в драке, что ли. Глаза, как у бурятской каменной бабы,— всматривается в меня, не мигает. За плечом винтовка,

для хозяйственной надобности в деревню прихватил. Поперек рваной шинели офицерский ремень. Сидит и молчит. А росту такого, что другой средний солдат и стоя с ним только-только сравняется. Дал ему папироску. Головой не кивнул, взял, как чугунный; и в пасть. Попутчик, нечего сказать, веселый. И все меня исподлобья осматривает, безбровыми складками шевелит... Спросил его, какой части, молчит. Не слышит, что ли?.. А поезд тем временем все бойче да бойче разворачивается, внизу песни орут, вроде контрабасной рапсодии,—будто шваброй по контрабасу водят... Кто-то в задней теплушке сорвался: распластался под откосом, руки крестом... Гремим дальше. Где уж на такие подробности внимание обращать. И вдруг мой идол ноги скрестил, vareжкой по крыше хлопнул, папаху на затылок остервенело передвинул и начал:

— Ахвицер? Втикаешь, сволочь?.. Думаешь, тулуп надел, так и концы в воду? Солдатская власть не пондравилась?.. А солдат по зубам дуть ндравилось?.. Денщик тебе лаковые сапожки чистил, растак твою душу! Другие воюй, а ты по тылам солдат суду предавать... За неотдание чести, растак твое сердце! Я тебя сразу узнал. Погоди, хлюст, до станции доедем, там тебе до победного конца покажут... Денежный ящик, небось, вскрыл, солдатскую кровь продал. Домой захотелось? На парадный диван? Сладкие чаи распивать... Погоди, сволочь, доедем, будешь сыт!

— Вот и сейчас у меня сердце, как бешеное, прыгает, когда вспомню про эти минуты... Вы понимаете... Отвечать? Оправдываться?.. Уши у него завязаны, слова не дойдут. Да если бы и дошли, разве можно гиену убедить?.. За кого он меня принял, не знаю. Вернее всего, ни за кого. Просто был он налит злостью и темнотой до самых глаз. Просто я попался ему на пути, и он с зоркостью зверя угадал, что я «ахвицер». Для таких тогда больше и не надо было. Знает ли он, что я трижды был ранен и трижды по своей воле на фронт возвращался? Что я со своими солдатами всю тяготу этой проклятой войны нес до последнего часа, пока они меня сами же не столкнули в сторону... Что каждая их рана была и моей раной, что делился с ними последним грошом. Да что говорить... Понял я только, что передо мною на крыше вагона, в образе этого здоровенного печенег с каменными глазами сидит сама Смерть. Тысячу раз проходила она над головой на фронте и не коснулась. А вот тут, когда вырвался из-под обвала, когда завтра-послезавтра родной Орел, и жена, и дети,—вместо того через час узловая заплеванная станция и... самосуд... Вы знаете, как в русских деревнях конокрадов бьют?.. Не смерть страшила, за годы войны каждый день была она в обиходе, никто не отказывался. Но под брань и вой этой хриплой гориллы, которая иступленно будет орать, что «он тебя знает», что ты «денежный ящик вскрыл» и солдат тиранил,—мотаться под прикладами *русских* солдат, стонать под их

каблуками и потом где-нибудь у нужника застыть окровавленной тушей... О Господи!

— Подобрался я весь, как стальная пружина. Спрыгнуть с вагона? Но даже если и не переломаешь рук и ног, моя судьба в образе рябого солдата с завязанными ушами меня с крыши вагона из винтовки прикончит. Ухлопать его? Но и наган, и шашку давно у меня отобрали — зачем «ахвицеру», отстраненному от командования, оружие... А поезд летит-гремит, и с каждой шпалой узловая станция все ближе и ближе. Не знаю, приходилось ли господину Эдгару По такие минуты переживать...

— Да. Ослабла моя пружина. Опустился я как-то весь, как осужденный, когда его под мышки на эшафот волокут... И вдруг... свист! Над всеми крышами — сплошной свист. Поднял я голову, вижу, подбегает поезд к мосту: сквозные железные квадратные балки над рекой повисли... Это, значит, верхние пассажиры свистом друг другу сигнал подавали, чтобы ложились все плашмя на крышах, чтобы не задело. Взглянул я на своего попутчика, вижу, сидит он спиной к мосту, свиста не слышит, моста не видит. Уставился на меня и бурчит что-то свое, похабное. Вздрыгнул я. И сам не знаю, как меня угораздило, полез я в карман, вытянул фляжку с водкой и сую своему попутчику — пей!.. Схватил он флягу, думать и секунды не стал, вытянулся на коленях, запрокинул голову и стал пить. А я в тот же момент ничком на крышу лег, да и время было: передняя балка в десяти шагах чернела...

— И когда я по звуку колес понял, что мост мы проехали, поднял я голову: на крыше, кроме меня, никого не было. Фляжка только каким-то чудом уцелела... До сих пор цела, — память ведь, в некотором роде...

\* \* \*

Полковник вытер холодный пот платком.

— Вот и весь мой эпизод. Выводы делайте, какие вам угодно. А я выскочил. Сижу с вами, пью чай, и какое-то место под солнцем пока что занимаю...

<1930>

## ФОКС-ВОРИШКА

Каждый раз, когда спускаешься к колодцу мимо радостно-изумрудных косматых лоз за водой, фокс Микки появляется из-за дома и идет за мной по пятам с таким видом, будто он получает за это жалованье.

Трудно понять собачью душу... Что за охота в жару глотать рыжую пыль, подымающуюся из-под веревочных подошв человека. На тропинке ничего интересного: вялые муравьи и щербатые, надоедливые камни. Стоило ли выползать из-под тенистого дуба, под которым снятся такие сладкие собачьи сны...

Или он так влюблен в своего хозяина, что, услышав звон ведра, повинуется зову сердца и тянется к моим выгоревшим штанам, как мотыльки к горящей свече? Едва ли. Ведь когда сидишь на краю холма, где со всех сторон обдувает жаркую спину прохлада, его, черта, ты не дозовешься. Сидит в кустах, и, несмотря на свою аристократическую породу, облизывает, как самый простой собачий сын, коробочку из-под сыра... Какая уж там любовь?

Сегодня я наконец понял, в чем дело. Когда я поравнялся с толстой почтенной смоковницей и обернулся,—белая собачья спина исчезла. Я индивидуалист и в чужие дела вмешиваться не люблю. Быть может, собаке захотелось почесаться в тени вырезанных виноградных листьев,—ведь это гораздо приятнее, чем задирать лапу смычком выше головы на прибитой голой тропинке, с которой блоха опять же на собачью спину и прыгнет...

Но, возвращаясь с полным ведром, я остановился: белое пятно застыло в зеленом туннеле под лозой, потом продвинулось дальше. Опять застыло. Густые листья вздрогнули и зашипели. Свиданье? Но второго пятна—ни желтого, ни белого рядом не было. Странно. Я беззвучно опустил ведро на землю и прокрался ближе. Боже мой! Мой эмигрантский фокс, мой честный интеллигентный пес нагло нарушал добрые провансальские нравы: переходил от лозы к лозе, выбирал самые спелые гроздья и ел чужой виноград...

— Микки!—крикнул я возмущенно.—Что ты делаешь, Микки?! Разве ты хочешь, чтобы я тебя отправил в колонию малолетних преступников?..

Микки вздрогнул и исчез, будто в преисподнюю провалился. Через минуту он появился с другой стороны дорожки из зарослей сухих колючек. Посмотрел на дикую грушу—зевнул, потом на меня: «Ах, вот ты где»... и, прикинувшись наивным простачком, сбил с морды приставший к бороде сухой виноградный лист. Он нагло лгал всей своей позой, невинными детскими глазами, беспечно играющим обрубок хвоста.

— В чем дело, хозяин? Я был в колючках по своим маленьким гигиеническим делам... Почему ты поставил ведро на землю? Тебя наверху давно ждут... Ведь нельзя ставить на огонь пустой чайник. Дай-ка, дай-ка веревку, я потяну, и тебе легче будет нести ведро в гору.

Но я вытаскиваю из зубов Микки веревку, опускаюсь на камень и со всей строгостью, которую мне удалось из себя выдавить, говорю:



— Какой срам, Микки! Ты когда-нибудь видел, чтобы я срывал у дороги чужой виноград или фиги? Или надевал сохнувший на заборе чужой купальный костюм?.. Как ты смел? Разве во время обеда я не отдаю тебе самые сочные ягоды? Ты не собака, ты свинья, и я до самого ужина не буду с тобой разговаривать...

Увы. Должно быть, строгие ноты моего голоса не были убедительны. Микки нехотя переворачивается на спину, нехотя поднимает вверх лапы,—это ему заменяет белый флаг,—и скулит. Но ни тени раскаяния я в его голосе не слышу. За два года совместной жизни мы хорошо научились понимать друг друга, и мне совсем нетрудно перевести его жалобу с собачьего языка на русский.

— Отчего ты такой симпатичный и такой несправедливый? Я ведь один из дому в виноградник не бегаю. Только с тобой. Ты идешь за водой, а я пасусь. Почему сороки клюют виноград? И осы его едят? Почему вчерашняя гостья, от которой пахнет желтыми папиросами, отщипнула самую толстую виноградину, а ты видел и промолчал? И коза сегодня натянула веревку и слопала целую кисть вместе с листьями и букашками?.. У ферм я никогда не трогаю, прохожу мимо, даже стараюсь не смотреть... А здесь на холме — виноград общий. Можно мне перевернуться и стать на лапы?

Что поделаешь?.. Пусть уж переворачивается. Мы мирно поднимаемся рядом к дому. Когда я отстаю, чтобы хорошенько обсудить отвратительный собачий поступок, Микки останавливается на пригорке и снисходительно меня дожидается, иронически вскинув ухо. Он молчит, но его молчание я научился понимать:

— Иди, иди... Тоже строгий... Даже не шлепнул. Вот я полакомился, к самому мускату пробрался. И ничего ты со мной не поделаешь. Не то что виноград, и утенка слопая, если он сюда на ничейный холм с фермы приковыляет... Потому что я дикий охотничий фокс, и мне скучно всегда тебя, комнатного человека, слушаться... Понял?

1930

*La Favière*

## МОРСКАЯ ПОДУШКА

Море порой приносит нам прекрасные дары. То выбросит доску, из которой можно смастерить за домом для всего населения нашей дачки уютную скамейку; то прочный ящик из-под рома,—вон он стоит у кровати, покорно исполняя обязанности ночного столика. На днях утром мы получили совсем необыкновенный подарок: к берегу пригнало большую квадратную подушку... Сначала мы даже не поняли, что это за штука. Вся

пестрая, как букет из разноцветных мальв, лоснясь всеми вздутыми водой стегаными квадратиками, она была похожа на детскую перинку для маленького моржонка. Или, если вам угодно, плавательный прибор для Гаргантюа... На пляже никого не было... Быть может, кто-нибудь из соседей забыл это сокровище на воде. Но все наши соседи люди нормальные. Кто и для чего притащит огромную пеструю подушку и бросит ее в море? С таким же успехом можно учиться плавать и на письменном столе, однако, слава Богу, никто еще этой симпатичной мебели на берег не приволакивал.

Мальчики,— самое загадочное племя в мире,— честно выдумали, что они давно уже видели подушку в волнах. Младший мальчик даже видел ее за мысом, далеко от берега в открытом море,— решил, что это наша толстая итальянская лавочница, поздоровался с ней, но она ему почему-то не ответила. Глаза у него возбужденно блестели, жесты были исполнены пафоса и подкупающе искренни. Когда несовершеннолетний человек так симпатично врет,— невольно увлекаешься сам и веришь. Тем более что все мы, не стовариваясь, сразу по беспроволочному телеграфу обменялись одной фразой: «А ведь подушка-то теперь наша».

Втроем вытащили мы грузное сокровище на песок. Подушка была так тяжела, словно ее налили ртутью. Мы долго ее мучили: бросались на нее животом, били пятками, скручивали в бараний рог, пока она немножко не похудела и не стала тихонько шипеть. У подушки тоже, очевидно, были нервы.

Младший мальчик, захлебываясь от радости, вытер мокрыми трусиками ноги и лицо и стал думать вслух:

— Во-первых, случилось несчастье... Аэроплан накренился, сиденье выскользнуло из-под пилота и шлепнулось в море. Он теперь сидит на голой сквозной решетке. Совершенно ясно.

И он плюхнулся на подушку с такой силой, что у меня дрогнуло сердце.

— Совершенно неясно,— поправил я мальчика.— Когда говорят «во-первых», надо что-нибудь сказать и «во-вторых».

Но он сказал все, и смешно было требовать, чтобы вдохновенное слово изливалось себя по пунктам.

Старший мальчик расковырял угол подушки, вытащил оттуда клочок мокрой дряни, понюхал и вдумчиво определил:

— Черная шерсть. Подушка стоит не меньше сорока пяти франков.

Романтический уклон был ему совершенно чужд. Но прейскурант меня интересовал мало, и мои мысли завивались в варьяции, которые младший мальчик не досказал «во-вторых».

Свежий ветер. Моторная красного дерева лодка. На корме, хрупко облокотясь о стеганую пеструю подушку, сидит какая-нибудь мисс-Кис, романтическая спаржа со светло-сиреневыми глазами... Пузатый штофик с джином, граненая рюмка столбиком. Девятая рюмка. Темно-фиолетовые глаза... Девятый вал...

Толчок! Мисс-Кис летит от двух бортов в середину в объятья коренастого механика, подушка—в море... До подушки ли ей и ему, да хранит их Господь на море и на суше...

Мы встаем. Как дотащить бесценный груз до нашего холма? Младший мальчик великодушно снимает со штанов ремень. Перетягивает подушку поперек талии,—фигура у нее все-таки не совсем модная, но что поделаешь. Пропедем сквозь нее весло и, восторженно задирая ноги, тащим. Дачники на пригорке останавливаются. Всматриваются. Кого это там внизу волокут: утопленницу или свежеебодранного барана?.. И почему младший мальчик все время левой рукой подтягивает штаны?..

Пятый день сохнет наше сокровище, то на циновке, то на раскладном кресле. Переволакиваем его с места на место по солнцу. Кретон слинял, покрылся ржавыми пятнами и напоминает цвет лица подагрической дамы, которую вы невзначай застали врасплох до утренней реставрации. Ужаснее всего то, что днем подушка высыхает, а к вечеру преет и обливается потом: внутренний сок выступает наружу и, должно быть, начал бродить. Потому что подушка издает странный и не совсем приятный запах разложившейся русалки.

Мальчики давно в ней разочаровались, проходят мимо, будто это не чудесная подушка, упавшая с аэроплана, а старый сморщенный бурдюк. Да и по форме своей на что она пригодна: для кресла велика, для тюфяка мала... Седло для верблюда из нее вышло бы неплохое, но где взять верблюда? Пробовали мы бросать ее, импровизируя олимпийские игры, друг другу на голову,—тяжело и неудобно.

Утешение только одно: мальчики с соседней дачи купили на каком-то казенном аукционе за три франка огромный пропеллер, привезли его на лодке в наш залив, приволокли, пыхтя, на веранду. И вот третий месяц лежит у них поперек веранды гигантский, несуразный предмет. Родители в отчаянье,—пропеллер им нужен, как корове пишущая машинка... Мальчики давно к своей покупке остыли, но выбрасывать ее не позволяют.

А нам что ж... Пусть еще дня два наша подушка повоняет,—снесем вниз и бросим в море. Авось в соседнем заливе кому-нибудь она такое же удовольствие доставит.

1930  
*La Favière*

## КОМАРИНЫЕ МОЩИ

Иван Петрович проводил глазами сверкнувший в зеркале острый профиль жены, посмотрел на ее стрекозиные ноги и вздохнул.

Дверь в передней хлопнула. Ушла...

Налил в стакан приехавшему из Нарвы земляку пива и ласково взял его за рукав.

Ему давно не хватало терпеливого слушателя, старомодного честного провинциала, который бы его до конца понял и посочувствовал.

Русские парижане, черти, обтрепались,—ты перед ними душу до самой печени обнажишь, а они тебе посоветуют нафталином самого себя пересыпать и в ломбард на хранение сдать...

Подметки последние донашивают, а туда же, перед модой до земли шапки снимают.

Самогипноз бараний...

\* \* \*

— Вот вы мою Наташу по Нарве еще помните... Цветок полевой, кровь с кефиром. Прохожие себе по улицам шеи сворачивали, до того у нее линии натуральные были.

Плечики, щечки и тому подобное. Виолончель...

Хоть садись да пиши с нее плакат для голландского какао.

От первозданной Евы до пушкинской, скажем, Ольги традиция эта крепко держалась: мужчина — Онегин ли, Демон, Печорин — весь в мускулах шел, потому что мужчина повелевать должен. А женщина, благодарение Создателю, — плавный лебедь, воздушный пирог, персик наливной, — не то, чтобы кость у нее из всех углов выпирала.

Рубенс, скажем, или наш Кустодиев, либо древнегреческий какой-нибудь нормальный скульптор — все это дело одинаково понимали. Венера так Венера, баба так баба, нечего ее в циркуль вытягивать, шербет на уксус перегонять. Только для одной Дианы исключение и допускалось, потому что ей для охоты одни сухожилия требовались.

\* \* \*

— Или, допустим, как в русской песне «Круглолица-белолица», «яблочко наливное», «разлапушка». Слова-то какие круглые были.

Народный вкус здоровый: баба жнет, она же и рожает. Кощеев бессмертных в хозяйстве не требовалось.

И плясали тогда не хуже теперешних, вес не мешал.

Не то что медведицей, легче одуванчика иная выходку сделает.

«Перед мальчиками хожу пальчиками, перед старыми людьми хожу белыми грудьми»... Действительный статский советник и тот не выдержит.

— Или, к примеру, возьмем здоровый старый турецкий вкус.

В старых гаремах я не бывал, однако по открыткам и по Пьеру Лоти понятие себе составил. Усладу туда со всего света собирали. Туркам вина нельзя, поэтому они на пластику и набрасывались. Купола круглые, лунный серп круглый, ну и женщины соответственно тому. Зря им ходить не позволялось, чтобы плавность не теряли. Рахат-лукум внутрь, розовое масло снаружи. Красота...

Разлягутся вокруг фонтана — волна к волне льнет, волной погоняет. Дежурный евнух только нашатырный спирт от волнения нюхает... Аллах тебя задави!

Опять и царь Соломон, человек вкуса отборного, в «Песне Песней» довольно явственно указывает: «округления бедер твоих, как ожерелье, сделанное руками художника». Стало быть, против пластики и он не ополчался. А уж на что мудрый был...

— А теперь... Видали, что моя Наташа, на других глядя, над собой сделала? Начала гурией, кончила фурией...

— Для чего, — спрашиваю я ее, — ты себя так обточила? Смотреть даже неуютно. Трагические глаза в спинной хребет вставила, — думаешь, мир удивишь...

— А ты, — говорит, — пещерный человек, и не смотри. Поезжай в Лапландию, женись на тюленихе...

Ах ты Господи! Да есть все-таки приятная середина между комариными мощами и тюленихой. Крайности-то зачем?

И отвечать не хочет. Посмотрит мимо носа, будто ты и не муж, а плевательница облупленная — и точка.

Подкатился я как-то к ней в добрую минуту: ну скажи, Ната, ниточка ты моя, для кого это ты себя в гвоздь заостряешь? Не для меня же, надеюсь. Вкусы мои тебе с детства известны. А ежели, не дай Бог, для других, — то где же такие козлы противоестественные, чтобы на твое плоскогорье любоваться стали?

Сузила она только глаза, как пантера перед прыжком... Два часа я потом у нее же, дурак, перед закрытой дверью в коридор прощенья просил. На Шаляпина сто франков дал — простила.

— А сколько терпит?

Святой Себастьян не страдал столько. Appetit у нее старинный, нарвский.

И что ж... Утром корочку поджаренную пососет, в обед два лимона выжмет, вечером простоквашей с болгарскими бациллами рот прополощет.

Ночью невзначай проснешься, выключателем щелкнешь: лежит она рядом, в потолок смотрит, губы дрожат, глаза сухие, голодные... Как у вурдалака.

Даже подвинешься к краю — как бы зубами не впилась.

— А в чем дело? Хлеб толстит, картофель распирает, мясо разносит, молоко развозит...

Расписание у них на каждый продукт есть.

Да еще раз в неделю полную голодовку объявляет, для легкости походки. Ну, само собой, чуть голодный день — меня же и грызет с утра до ночи от раздражения.

А потом — то солнечное сплетение у нее под ложечку подкачивается, то симпатичный нерв перекрутится, то несварение желудка...

Будет он; дурак, варить, ежели ему, кроме лимонного сока да массажа, никакого удовольствия не доставляют. Опять же малокровие. Красные шарики с голодухи белые жрут, одна пресная сыворотка остается.

Головокружения пошли. Словом — полный преискурант. Паркет, говорит, под ней качается. Вполне логично: ежели женщина себя третий год в Тутанхамона превращает, не то что паркет, мостовая под тобой закачается.

\* \* \*

— Врачу говорю, который жену пользует:

— Хоть бы вы, ангел мой, повлияли. Тает ведь женщина без всякой надобности, скоро один фитиль останется.

Пожал плечами, даром что приятель.

Станет он тебе влиять, ежели с этих несварений да головокружений ему в сберегательную кассу капает...

У самого, небось, жена из немок, кругленькая, смотреть даже досадно. Рыбьим жиром ее, поди, откармливает. Жулик паршивый!

\* \* \*

— Дочка даже, тринадцатилетняя килька, туда же. Линию себе выравнивает... Всей провизии в ней на франк, какая там еще линия!

— Ты, говорю, чучело, растешь — тебе питаться во как надо. Я в твоём возрасте даже сырые вареники на кухне крад, до того жадный был.

Фыркнет, скажет что-нибудь французско-лицейское, чего ни в одном словаре нет, и отвернется.

— На кого, комариные мощи, фыркаешь? На отца?

Мать за нее: не вмешивайтесь, пожалуйста. Я свою дочь не в кормилицы готовлю...

Кулебякой обломовской меня обзовет, маникюрную коробку возьмет и к окну королевой сядет — под говядину ногти себе разделывать. Нос да ключица — весь силуэт...

— На что уж тетка, почтенная, сырая женщина, против нас живет, паутинными дамскими принадлежностями в разнос торгуется,— и та тоже за ними тянется.

Если уж наследственность располагающая и женщина в закатный возраст входит, само собой бока выпирают. В сейф их не сдашь. Природа.

А она — франков лишних на массажистку нет — сама себя рубцами резиновыми тиранил, в эластичные пояса до самого подбородка засупонила... Монна Ванна из Аккермана.

А вместо приличной пищи сырую морковную шелуху ест: хлебчики себе какие-то специальные в подагрической лавке покупает: без муки, без дрожжей, вроде облаток на лунном масле.

Только и слышишь: сантиметра три, слава Богу, за неделю спустила... Это трудовые-то сантиметры, которые в поте лица...

Складки-то у нее телесные без начинки вокруг шеи и обвисли: подбородок пустой, как у малороссийского вола, болтается: хоть не смотри... Для кого старается? Инвалид столетний и тот отвернется.

— И все на весы.

Чуть всей компанией в метро ввалимся, тотчас же в автоматную дырку тетка монетку бросит — и хлоп на весы инвентарь свой проверять. За ней жена, за женой дочка.

На одно колебание стрелка меньше потянет, так от радости и завьются... Живого тела сбавили. Стоило ради этого границу переходить.

Через год, поди, у эпистерки на весах взвешиваться будут: кило в полтора останется на каждую — не больше.

— А главный вопрос — я-то из-за чего страдаю? Доход у меня кое-какой есть, — в Саль Друо Людовиков 20-х скупаю, перепродаю. Кручусь, кручусь, как козел на ярмарке.

Кулебяку-то я свою насущную заслужил?

Придешь домой, носом потянешь: прежде хоть обедом пахло, а теперь одной голой пудрой...

Ради их эгоизма и я, извольте видеть, в факира превращаться должен. Вредно, мол, мне. В моем, мол, возрасте одной магнизией питаться нужно. Устрица я, что ли? Да и какой мой возраст? В сорок восемь лет человек только в аппетит входит,

вкус настоящий получает. Древние римляне во как в моем возрасте ели...

По ночам даже пельмени снятся, гуси с кашей мимо носа летают. Только одного за лапку поймал, ан тут и проснешься... Сунешься босой к буфету, а там только граммофонные пластинки да банка с магнезией, чтоб она сдохла!..

Конечно, я их голодающую женскую психологию понимаю: начни я в тесной квартире колбасу есть,—от одного запаха проснутся, душа у них захлебнется.

Не тиран я, чтобы близких людей мучить.

Ну, конечно, днем между делом в русской лавочке пирожков холодныххватишь и на мокрой скамейке съешь, как незаконнорожденный. Горько.

Стал я в рестораны ходить. Порции воробьиные, цены страусовые. Вместо домашнего уюта челюсти посторонние вокруг тебя жуют, торопятся, косточки прошлогодние обсасывают... Чокнуться даже не с кем, до того неприятные профили.

И на языке потом до самого вечера налет этакий жирный, будто ты лапландскую бабу вдоль спины лизал.

\* \* \*

— Да-с. Мода. Кто и когда ее распустил,—спроси вдову неизвестного солдата... Я понимаю: ну, сезон, ну два, но зачем же до бесконечности? На то она и мода, чтобы ее контрмодой перешибить... На длинные платья перешли, почему бы на полную не перекинуться?

И слышать не хочет. Никогда, мол, назад к першеронам возврата не будет. У женщин, говорят, только теперь крылья и выросли... Грации, говорят, своей быстроходной мы теперь ни на какой рубенсовский балык не променяем...

А я так полагаю: ежели бы завтра шутники какие пропечатали, что модно щипцы для завивки в ноздре носить,—все дамы так оптом носы бы и продырявили. Уж мой-то первые, будьте покойны-с.

\* \* \*

— И опять: почему портные, дураки, ее не отменяют? Сговорились бы с фабрикантами — модный манифест опубликовали,—и готово.

Ведь на полную даму и материи не в пример больше идет и за шитье прикинуть можно: обтянуть кресло или диван — цена разная. Да и фермерам и лавочникам, посудите, какая прибыль, ежели полноселения, вся женская часть после голодухи на натуральные продукты набросится!..

Я уж и то прикидывал: не через женский ли этот недоед и весь мировой кризис колом встал? Как вы полагаете?



— Вот и подумываю... А не перебраться ли мне со своим домашним табором на Нарву? Парижскую колбасную открою, либо эстонский рюстик в Париж экспортировать начну...

Авось хоть там, в глуши, по-человечески живут, по-старому распустия пояса. Дамы так дамы, на сантиметры себя не разменивают.

Ухмыляетесь? И до Нарвы, стало быть, докатилось? Нда-с...

Поди на Северном полюсе бабы-самоедки теперь сквозь обручальное кольцо туда и обратно пролезают. Мода. Ну, ладно...

Что же пива не пьете? Будьте здоровы! Как говорится — мертвому ямка, а живому мамка. Разбередил я себя только, лучше и не ковырять.

<1931>

## КОЗЬЯ ФЕРМА

Кривоногий и сморщенный, похожий на обрубок пробкового дуба, он ничего не знает о том, что делается на свете. Как телеграфные столбы вдоль высохшего русла ручья, давно уже одинаковы для него годы, — ливень сменяет жару, луна прибывает и убывает, — какая цифра прибита в каждом году, не все ли равно. Днем сидит он на камне, укрытый от ветра в ложбинке между лесными холмами, и даже не смотрит на хозяйских коз. Черный молчаливый пес, остроухий и крепкий, сам знает свое дело. Если какая-нибудь резвая дура отобьется в сторону, завернет к порослям мимозы, — пес зайдет сбоку и отгонит ее на место, но работник не тронется со своего камня.

Вверху стрекочет, оставляя за собой дорожку тонкого дыма, гидроплан, далеко в море прополз черной гусеницей пароход, ветер шуршит брошенной проезжим купцом газетой. Что старику гидроплан, плавучий далекий дом, газета? Он даже не курит, — а это ли не старческая утеха, — и все думает... Пожалуй, и не думает, а просто шурит глаза, быстро, как ящерица, шевелит языком и греется. И если невзначай близко к нему подлетит пчела, примет его сизые парусиновые штаны за куст вереска, — сейчас же улетит прочь, — так крепко пропах человек чесноком и козьим молоком.

Перед закатом, плетясь позади стада, словно скрюченный ревматизмом гном, он возвращается на ферму. Козы сами знают дорогу: внизу за тропинкой куб, слепленный из дикого камня и глины, и перед ним две темные метлы — кипарисы.

В загородке перед хлевом толпятся пестрые рогатые твари. Вымя расперто, стеклянные глаза изумленно повернулись к зака-

ту. Старик оживает: хватает цепкой рукой ближайшую поперек спины, коза гнется, шатается. Шлепок вбок, пинок под брюхо, и вот — тугое вымя под ведром. Тонкий звон струи зажурчал о дно... Боже мой, как старик ругается! «Стой, потаскушка!.. Паршивая жаба!.. Вонючий мешок!..» Не со зла, конечно, — брань просто аккомпанемент к работе. Покорная тварь, широко растопырив ноги, качается, старается устоять на месте... Уж он выдоит, капли не оставит, — не таковский.

Тихая и бескровная старушка-хозяйка в бессменном черном чехле только поглядывает искоса со своего табурета вылинявшими кроткими глазками: как бы сосков не оторвал, ведь вот характер какой у человека... Но молчит, с ним не поговоришь.

С соседней фермы приходит с бутылкой в сетке загостившаяся на юге русская художница, маленькая, худенькая — светлая душа в орловском платочке на голове. Всему удивляется, все ей ново и радостно: закат, козы, ленты перечного дерева, даже корявые пальцы старика и шершавый его голос. Сквозь жерди загородки к ней тянутся любопытные острые морды. Художница ласково здоровается с хозяйкой, с козами, со скрюченным работником. Но хозяйка и козы отвечают, а работник еще ожесточеннее пинает свежую, переполненную молоком рыжую козу: «Чума бы тебя взяла!» К козе ли это относится, к русской ли художнице — кто знает.

Но маленькая женщина с сеткой улыбается. Она все-таки победу над стариком одержала. И немалую. Он не дает пришлым людям молока... Если даже остается, — когда цинковые кадочки наполнены и готовы к отправке, — не дает, и конец. Не то что хозяйка, сам дьявол не заставит его, если он упрется... А вот художнице, с которой он даже здороваться не хочет, оставляет каждый день литр.

Она покорно садится рядом с хозяйкой на эвкалиптовый пенёк и ждет. И вдруг видит, в первый раз видит: старик смачивает свои черные, ужасные пальцы в ведре с молоком, — чтобы легче доить было, — и принимается за рыжую козу. О Господи! Только что он ожесточенно скреб этими пальцами за пазухой, правда, вытер их о штаны... спасибо. Должно быть, на остреньком милом лице так по-детски ясно было написано: «да как же я теперь буду это молоко пить?» — что хозяйка положила свое красное вязанье на колени и добродушно успокоила:

— Ничего, сударыня, ничего. У нас все молоко пропускается через фильтр. Вон на заборе висит, видите...

Художница посмотрела, раскрыла было рот, закрыла и торопливо отвела глаза. На заборе вяло болтается на ветру грязный, выпачканный по краям навозом мешок... Года два об него, должно быть, ноги вытирали, пока он не стал называться «фильтром».

И вдруг ей стало так неудержимо весело, что она уткнула лисье личико в сетку, чтобы, не дай Бог, не фыркнуть хозяйке

прямо в нос... И сквозь подавленную спазму смеха почувствовала, как у нее где-то под ложечкой повернулись утренние баклажаны в томатном соусе и медленно потянулись к горлу, как это бывает во время качки.

Уф... Прошло. Только этого не доставало... А минут через пять она сидела за сосновой рощицей, на краю рва, и поила из своей войлочной шляпы фильтрованным козьим молоком захлебывающегося от жадности бродягу-пса, на которого она наткнулась на перекрестке.

Должно быть, с той поры, как была создана первая коза, никто на свете никогда такой штуки не видал.

1930

## ОТБОРНЫЕ ДЫНИ

Кордебалетный подросток, русская коза-дереза Вава Журавлева, несмотря на свои пятнадцать лет, до того любила сладкое, что даже сахар из сахарницы,— когда никого нет на веранде, выудит и сгрызет в натуральном виде. У нее осенние каникулы, три летние свободные недели перед поездкой со всем балетным табором не то в Голландию, не то в Гренландию... А уж три свободные недели где и провести, как не в Провансе у дяди, на крошечной ферме... И ногам отдых и рукам веселая работа: сбор винограда, щенка понянчить можно, шишки в бору собирать.

Но сладкого в Провансе не так уж много. Виноград надоел, даже волосы им пропахли, терпкий винный дух над всей долиной повис. Варенье из ежевики... Бррр! Бумагу для мух им смазывать. Фиги приторны, светлые, темные ли, объешься и вспомнить противно: будто мармелад из слабительной каши с песком. Лучше уж чистый сахар. И поздние персики какие-то бездарные,— щеки толстые, а укусишь — резиновый мячик. Ни соку, ни сладости.

Дыня, конечно, райский фрукт. Фрукт ли? Ну как же сказать,— не овощ ведь? Хотя провансальские дыни, правда, больше на овощ похожи. По французскому положению едят их перед обедом с солью и перцем. Наружность изумительная, аромат — ваниль с сигарой. А взрежешь, тыква тыквой, прямо злость берет. Приготовишься к полному удовольствию, прикусишь мякоть... и осторожно, чтобы тетка не заметила, в бумажную салфетку сплюнешь. Дыня!

И вот тетя как-то сказала, что за перевалом на старой ферме, там, где над дорогой гранатные деревья,— чудесные дыни. Вава достала из-под подушки свой крохотный бисерный кошелек, пересчитала франки, хватит, и, никому не сказав ни слова, пошла. Угостит всех, а то они тут, в Провансе, совсем вкус потеряли.

На буром боярышнике краснели крепкие ягоды. Мимо Вавы проплыл на разбитом грузовичке молодой краснощекий мясник... Берет вареником, глаза блестят, усы блестят, нос блестит. Подумаешь, тореадор какой... Нахал! Еще оборачивается. Но ведь и она тоже обернулась. Ерунда... С мясником она, слава Богу, не флиртует. Обогнула свежий хоровод сосенок, поднялась на горку,— вот и гранаты. Какие тугие луковицы сидят в мелкой листве, за ними, словно крепость, старые провансальские службы и в глубине такой милуша-дом: фисташковые ставни, матово-розовые стены, веранда в тени темных кургузых шелковиц... И на столе неизменная кошка.

Собаки? Но какая же провансальская собака укусит входящего в усадьбу человека... Не то что Ваву, почтальона и то не укусит. Полаяли для порядка и завияли у маленьких незнакомых ног хвостом: «Нам скучно. Мы очень-очень вам рады...»

Навстречу Ваве поднялся дремавший у колодца в камышовом кресле грузный и крепкий старик и так хорошо улыбнулся, будто он четырнадцать лет назад Ваву на руках носил. Какой толстяк! Совсем как душа Хлеба в «Синей Птице». Пожалуй, еще толще. Как только его камышовое кресло выдерживает.

Старик вежливо подтянул свои огромные светло-небесного цвета штаны и, лениво поглаживая толстые ватные усы, ждал. Вава быстро и толково объяснила. Она гостит у дяди, вон там. Тетя ей сказала, что на ферме, где гранатные деревья, можно достать настоящую дыню. Сладкую, потому что русские едят дыню на десерт. Так вот, пожалуйста,— Вава просит выбрать самую-самую сладкую...

Толстяк, все добродушнее ухмыляясь, выслушал балерину,— с таким же видом выслушал бы он залетевшего в усадьбу болтливого попугая. Прикрикнул на пристающих к гостье с телячьими нежностями собак и повел ее в сарай.

В солнечной полумгле золотились груды желтого перца, отсвечивали слоновой костью гирлянды чеснока, и вдоль стены, на широких лавках зеленели овальные дыни.

— Нет, нет, не эта. Эти для французов.

Он нагнулся к стоящей у ног корзине, поднял круглую янтарную дыню в продольных дольках с бородавками и сжал ее в мягких руках.

— Сладкая? — недоверчиво спросила Вава.

— Как мускат. А вы еще и эту возьмите. Дыня не утка, можно съесть и две.

Вава подумала, потрогала в бисерном кошельке свои монетки и выбрала сама третью дыню. Самую крупную.

— Сколько вам за все три?

Толстяк опять, не спеша, подтянул свои штаны и улыбнулся во весь рот:

— Ничего. Кланяйтесь, пожалуйста, вашей тетушке. Семена пусть сохранит,— сорт первоклассный.

Бедная Вава чуть с дынями на землю не села.

— Как ничего? Но ведь тетя говорила, что на ферме за гранатными деревьями...

— Совершенно верно. Но это мой сосед продает, по ту сторону дороги, чуть подальше. Да вы, барышня, не волнуйтесь. Там тоже гранатные деревья... А я не продаю. Да вы, барышня, не волнуйтесь. Неужели старый человек не может своей доброй соседке через ее милую племянницу послать несколько дынь. Надеюсь, что вы теперь убедитесь, что у нас в Провансе сладкие дыни растут...

Что ей было делать? Пробормотала что-то такое нелепое старику, даже собак не погладила, и — бегом домой. И глаза у нее были такие растерянные, будто у нее в сумке не дыни, а бомбы лежат.

Куриная слепота. Это она к здешнему богачу Дюбуа влетела, совершенно ясно... «Пожалуйста, самую сладкую, русские едят дыни на десерт...» И еще третью, самую крупную, величиной с арбуз, сама прихватила...

Что теперь тетя скажет? Вава свернула в лесок и, разогревшись от быстрой ходьбы и конфуза, присела на пень, чтобы собраться с мыслями и перевести дух. Сердце стучало — срам-срам-срам... Попрошайка несчастная... В голове отчетливо звенело: «Ду-рын-да». Но вавиным пальцам не до сердца, не до головы было. Пальцы торопливо достали из сумочки шпильку, вспороли в одной из дынь треугольник и поднесли ко рту ароматный, сочный ломтик.

Вава даже застонала от удовольствия. Да... Вот это так дыня... Если шербет положить на ананас, и то — никакого сравнения...

1930

## МЕЛКОЗЕМЕЛЬНЫЙ ГРИПП

Есть, конечно, помешательства неопасные. Собирает человек марки, какой тут риск. Купит в год франков на двадцать, — серию какую-нибудь юбилейную. Специально для таких фанатиков выпускают... А главная коммерция в обмене — с такими же блаженными. Да в знакомой конторе иностранные конверты, Христа ради, выпрашиваешь.

Сидит такой собиратель вечером за столом и, вместо пасьянса, сокровища свои раскладывает. В лупу зубчики проверяет, пинцетом запасные уники со страницы на страницу переволакивает... Гость у него под носом все бублики съест, в холодном чае муха за мухой ванную берет, а он и не замечает. Лицо у него такое вдохновенное, будто он продолжение «Египетских ночей» обдумывает.

Марки — это ничего. А я вот напоролся гуще...

Приходит ко мне приятель, Сергей Дроздов — хороший человек, чтоб он сгорел без страховки. И конечно, с места в карьер интимный разговор.

— Что же, Василий Созонтович, ты все еще свое коптильное заведение держишь?

— Какое заведение?

— Небо,— говорит,— все еще коптишь?

Отвечаю ему логично:

— Если ты опять про давешнее, лучше уйди. Вот на метро франк пятнадцать сантимов,— в первом классе поедешь...

Европейцу скажи — либо уйдет, либо пластинку переменит, ну а свой по тому же месту да той же наждачной бумагой. Либо еще номером крупней возьмет.

— Удивляюсь,— говорит,— тебе, Вася. Чудом у тебя какие-то допотопные доллары сохранились, а ты их, как нищая тряпичница, в тюфяке просаливаешь.

Молчу. Человек воспитанный сразу бы по глазам понял, что я его мысленно свиньей обозвал, а этому хоть бы что.

— Странная у тебя, Вася, мания величия. Все население — ослы, а ты один Спиноза... А вдруг наоборот? Как бы тогда не прогадал.

Варенье я ему подвинул. Молчу. Средство старое: какой угодно фонтан заткнет.

Однако он выносливый.

— Ну, ладно. Только ты меня не перебивай... Вокруг Парижа на сто километров все клочки расхватаны. Фотографы, рабочие, астрономы, кокетки, блондины, брюнетки — все покупают. И только ты, Эльбрус какой, даже не почешешься. Не идиоты же все? С высшим образованием среди них есть некоторые... А в чем гвоздь? Земля пить-есть не просит, а цена растет да растет, как сало на кабане. Понял? Бриллианты падают, марганцевое кали за полцены даром отдают, а земля, брат, пухнет... Конечно, если ты на свои остатки в месопотамском банке полтора процента получаешь,— ты либо дурак, либо самоубийца. Даже, скорее, первое. А потом — банки лопаются, а земля... наоборот. Не поливаешь, не удобряешь, глядь — у тебя через четыре года каждый франк золотым пухом оброс. Ты меня не перебивай, пожалуйста.

Придвинул я ему финики. Молчу, как марганцевое кали...

— Словом, ты, Василий Созонтович, не невинная белолшвейка, и я тебя не соблазняя. Скажу в двух словах. Завтра утром заеду за тобой со знакомым шофером. Он там в одной дробительно-земельной компании на процентах работает. Человек бескорыстный. Посмотрим на это просто, как на пикник. Свезут нас в оба конца даром, подышим воздухом, вид у тебя, в самом деле, одутловатый... Легким завтраком даже угощают! — и тоже ни сантима. Чудаки какие-то. Поедем, Вася. Я же тебя с третьего класса знаю. Другому бы и не предложил. В жизни-то даром

только по шее бьют, а тут тебе и бензин, и завтрак, и букет полевой нарвем бесплатно...

Ну, тут жена за стеной услышала. Полгубы не докрасила, стремительно в дверь вошла и сразу руль в свои руки взяла.

— Нашли с кем разговаривать... Он даже пока на мне женился, два года раскачивался. Раз даром—о чем говорить... У нас сын в Гренобле курс кончает. Внуки могут пойти, теперь это в два счета делается. Надо и об них подумать. А потом за горло нас никто не берет, подышим воздухом, а там видно будет.

И сразу они с Сергеем Дроздовым сочувственные глаза друг другу сделали, а я так, между прочим,—вроде неодушевленной подробности... Молчал и финики передвигал. Ничего не помогло.

\* \* \*

Утром приезжает Дроздов со своим шоферским Мефистофелем. Глаза, действительно, бескорыстные. Об земле ни полслова, все больше на погоду напирает. Сели, покатили. Вынеслись за Порт-Версаль; пока до полей не дорвались, приятель индифферентный разговор вел. Все, мол, горит: рестораны горят, марганцевое кали за полщены даром...

А чуть зелень пошла, аэропланнный плац слева промелькнул,—вытащил Сергей из-под себя проспекты, разложил на коленях. Чистая лирика. На обложке жимолость в цвету, уютные пале зеленью перевиты. В соломенном кресле у крыльца господин сидит, рожа довольная, дым колечками пускает. Купил, собачий сын, участок. А над головой птичка на ветке заливается. Ох уж, птичка эта... Думаю, что и она на процентах в компании этой работала, с чего же ей даром-то петь.

И текст соответствующий. Внес триста франков и пошвыстывай. Рассрочка на сто лет. Непрерывная вода, электричество, лесной озон, полевой кислород, тротуары с пяти сторон, грибы круглый год, поезда каждую минуту так вот и бегают. Вот только насчет ананасов ничего не было. Должно быть, по оплошности пропустили...

И план во всем размахе. Тут тебе и рынок, тут тебе и крематорий, тут тебе и обсерватория. Все в центре для удобства жителей. И улицы радиусами во все стороны, будто солнечные лучи на «Гадании Соломона». И все номерки, номерки, заштрихованные квадратики: расхватанные участки. Только десять белых... К завтрашнему утру и этих не останется, потому население так и рвется.

Вздыхнул я, на жену посмотрел. Вижу—озон в ней заиграл, да и у меня сердце дрогнуло. Вся Франция валом валит, а я один эмигрантский консерватизм разводить буду? Женам и то изменяют при случае, а я к месопотамскому банку любовь до гроба сохранять должен? Сам себя в обратном направлении раскручивать стал: с дураками это часто бывает.

А главное Дроздов к концу приберег—на этом углу Попов купил, на другом Чебурыкин, у Садиленко три участка, артель

казаков целых пять отхватила — шале в кубанском стиле с подрядов строить будут... Цены французские пособьют, в люди выйдут. Это тебе не марки собирать.

Летим дальше. Вокруг — благодать. Когда выбирать участок vezут — всегда погода хорошая... С боков шоссе тополя почками машут: «Купи, купи! У тебя сын в Гренобле, да и сам еще во как поживешь...» Горизонт симпатичный, лучше и Айвазовский не нарисует. Кусты разные весенними листиками подмигивают. Из перелеска золотой фазан с супругой выскочил, хвост кометой — и вдоль межи побежал... Думаю, что и он в этой компании был на службе.

А Дроздов меня все в бок. Видишь, мол. Будто он всей постановкой заведовал и специально для меня горизонт за лесом раскрыл. Шофер — ни гу-гу. Натасканный. Знай ревет, да на нас искоса, как на карпов в садке, поглядывает.

\* \* \*

Приехали. Пейзаж, действительно, классический. Справа казенный лес, слева какого-то местного Канитферштана. Сосновой эссенцией так тебя всего и окуривает... Участки во все концы белыми лучами огорожены, будто клетки для жирафов. Кое-где березки да дубки на весеннем солнышке потягиваются. Два-три электрических столба, действительно, на земле лежат. Без обману. И вместо тротуара под ногами этак симпатично мокрый песок шипит: «Купи участок... Бриллианты падают, сахарный песок горит, а земля-матушка, она не выдаст...»

Контора на отлете: рекламный домик в помпейско-абажурном стиле. Дворик, заборик, часовая будка для домашних надобностей в стороне уютным плющом перевита... Птички вот только над крыльцом не оказалось. Должно быть, в перерыв между двадцатью и двумя, в лес отдохнуть улетела. Завтрак тоже не предложили — поздно приехали. Да и не всех же угощать: другой и поест, и на чужом бензине воздухом на даровщину подышет, — а участок не купит...

Пошли мы смотреть. Осатанели мы тут, признаться. Даже характер свой интеллигентный потеряли... Дроздов к угловому свободному участку бросился: «Это, — говорит, — мой».

— Почему твой? — Молчать при таком деле не приходилось. И без того намолчался.

— Две березки да три дубка, да фасад на юг — так и твой? А мне что же обглодки твои брать?

Жена тоже лорнет вскинула, так он, Дроздов, и прищиплился.

— Почему же обглодки? Выбирай этот через дорогу. Там две осины. И яма посередине, вот тебе и фундамент бесплатный.

— Спасибо за угощение. Приятеля в товарный вагон, а сам в международный... Кушай сам свою осину, а яма еще неизвестно кому раньше пригодится.



Жена голову вбок повернула,—есть у нее такая манера классическая, как у Комиссаржевской,—и к автомобилю... Не о чем, мол, больше с таким господином и разговаривать.

Струсил Дроздов, побледнел.

На, на! Бери мой, есть о чем толковать. Если бы я первый с осиной выбрал, все равно бы ты и на мой кусок бросился. Ешь! Пусть моя чечевичная похлебка тебе впрок пойдет...

А сам этак пристально посмотрел на березку и на мой галстук... Намек ясный. Да что же, когда человек в азарте, стоит ли обижаться.

Выбрали. А как стали другие свободные номера осматривать, совсем мы очумели. Жениться, право, легче, чем в таком деле выбор окончательный сделать. Там рынок чуть поближе, там каштан в полтора обхвата,—поди-ка, доживи, пока такой новый на лысом участке вырастет. А третий, голубчик, на две улицы выкатился,—угловой. Может, оно и хорошо на проходящих с балкона смотреть, а может, оно и плохо—свою интимную внутренность посторонним людям показывать...

Бились, бились, друг с друга глаз не спускали. У меня, конечно, большинство: я с женой. Чуть Дроздов окончательно нацелится, мы его с двух сторон так подметками сдували... Прямо в голове зеленые шары завертелись. Да и есть хочется. С азарта, да с присосновой эссенции аппетит, как каторжный, разыгрывается.

А шофер этой минуты только и ждал. Солидно нас в два слова пристроил. Нашел два участка-близнеца рядом. В каждом по три дерева, в каждом по яме, оба на юг. Даже в каждом, помню, по вороне сидело. Вздохнули мы облегченно, полюбовались... Будто мы тут под кустами и родились, и до того нам эти кусточки родными показались. Спросили еще насчет станции, шофер нас утешил,—вон там, за лесом. Действительно, в отдалении что-то такое пискнуло: не то паровоз, не то лягушка влюбленная...

На обратном пути все до тонкости обсудили. Риску ни на грош. В случае чего в любой день перепродать с припеком можно: оторвут с руками... Хотя какой же олух такое золотое дно перепродавать станет? Пока до настоящей постройки дойдет, по временному павильону соорудить можно,—он потом под кроликов, либо под гостей отойдет. У Сережки под собой и прейскурант нашелся: железобетонные коробки, по фасаду розы кубарем вьются, на крыше для завершения дуля-рококо, на дуле все та же птичка...

Каждое воскресенье, чем в Париже унылыми уродами сидеть, можно будет тут в своих павильонах лесные шепоты слушать, запеканку брынзой закусывать, румянцы естественные нагуливать. Семена из Риги выпишем, пчел из Режицы, удобрения из Ревеля... Зажмурился я,—так вокруг довоенным укропом и запахло...

И симпатичных знакомых — Лунева да Грымло-Опацких, непременно подбить надо рядом с нами осесть. А то какой-нибудь иностранный парикмахер вклеится, начнет через забор волосья чужие швырять — жизнь проклянешь...

Потряс я Сережке по-братски руку: «Ну вот, спасибо! Лежалый камень с места сдвинул». В пригородном бистро весенние слова друг другу говорили. С шофером чмокались. Только он равнодушный какой-то стал, — часто ему, должно быть, с нашим братом дело иметь приходилось... Пить пил и все по столу пальцем барабанил. Жена моя — женщина, могу сказать, еще цветущая, даже плечиками, помнится, передернула.

\* \* \*

Раскачали и знакомых. Такого рода тихие помешательства всегда ведь кругами расходятся. Пожалуй, подсознательное такое чувство есть: уж если в лужу садишься, попутчиков ищешь, чтобы уютнее было. Дедка за бабу, внучка за Жучку и так далее... Вот только насчет репки слабо вышло.

Лунева я на себя взял, — огнеупорный человек был, вроде меня. Ну я его тем же методом и обработал: «Рестораны горят, марганцевое кали за полцены даром... Ужели все население ослы, а вы один Спиноза? Земля пить-есть не просит...» и тому подобное. Ездил с ним, потел с ним, выбирал, в раж вошел. И опять, представьте себе, фазан выбегал на межу, — все как по расписанию...

И вот-с! Прошел год с лишним. Двенадцать месяцев по триста франков, как фанатик, вносил. Курить бросил, в насущном стакане себе отказал. Жена самоотверженно на компоте экономию загоняла, шляпки модной себя лишила, — к варенику прошлогоднему новое ухо только пришила... И Лунев вносил, и Грымло-Опацкие. Не пили, не курили. По ночам меня, поди, который уж месяц проклинают. Но что меня хоть отчасти в этой симпатичной истории утешает: ведь и Дроздов вносил. Вносил, дьявол, вносил, собака, — и вот только теперь, вместе со всеми, бросил...

Компания, конечно, себе руки потирает: законный процент ежегодных идиотов мы все-таки значительно повысили.

А теперь позвольте для пользы ближних перечень разочарований привести. Столбы телеграфные лежат на том же месте. Почему бы им и не лежать, если их никто не подымает... Тротуары, оказывается, каждый за свой счет вдоль своего места вести должен — идеалистов таких пока не нашлось. Трубы водопроводные в земле преют, а к своему участку проводи сам... Зачем же мне там, спрашивается, вода, если временного павильона строить не позволяют, а надо сразу приличное шато в общую

линию гнать? Петергофские фонтаны на голой земле пусть меценаты устраивают...

Деревья по соседству все повырублены — французы лирикой не занимаются, — ему место для гаражу нужно, да для куриных клеток, да чтобы было куда цветную капусту воткнуть. Беловежскую пушу пускай русские эмигранты на своих четырехстах метрах консервируют...

Словом, стал у нас вокруг пейзаж вроде караимского кладбища. Да еще частный лес Канитферштана этого колючей проволокой заплели, чтобы дачники, мол, не шлялись. Рынка и в помине нет. Какой рынок, если никто не строится, все на повышение квадратных метров играют... Станция, действительно, сбоку за лесом торчит, но поезда, все больше товарные, кое-когда проползают. А пассажирских дождись-ка в поле под голой платформой. Три раза «Войну и мир» прочтешь, пока состав подойдет...

Ах, Дроздов, Дроздов! Ведь вот судьба какая, — не сидел бы я с ним на одной парте в третьем классе, может, ничего и не было. Знал бы заранее, в другую гимназию перевелся.

И сырость пошла. Первое-то время она кустами была задекорирована. А как повырубили, да ям для фундаментов нарыли, а потом за отсутствием пороха так и бросили, — она, матушка, и проступила...

У жены сквозной ревматизм, она сырость по беспроводному телеграфу за пять километров воспринимает. А тут у себя, на своей земле, ад за свои же деньги — сплошной супчик... Ну, конечно, отчего же не переуступить, да еще с наваром. «Оторвут с руками!» Оторвали, действительно.

Кому ни скажешь: либо у него кризис, либо в продуктовую лавку остатки вложил, либо просто человек умный. Посмотрит в лоб, усмехнется: «Если у вас точно такая Кашмирская долина, зачем же вы ее продаете? Выдержите еще лет с двадцать, авось у вас нефтяной источник забьет».

Уговорил одного, повез на собственный счет, жена даже пирожков домашних штук десять для поднятия пропаганды дала... В ноябре дело было. Посмотрел он вокруг, из такси не вылезая, — ботишков ведь теперь не носят... «Симпатичное, — говорит, — место. А вы бы попробовали здесь клюквенную плантацию развести. Я бы у вас весь урожай купил». С тем и вернулись. Голые тополя по дороге ветками машут: «Дурак, дурак!» Что им ответишь?

И жена каждое утро по ложечке серной кислоты в кофе подливает. «Зачем три куска сахару кладешь? Тебе теперь совсем без сахару пить надо, пока взносы свои загубленные не покроешь. Помещик болотный!»

— Да ведь ты же сама выбирала...

— Я?! Ну, знаете...

Почему это, если мужчина густо соврет, всегда у него напряжение в лице, а у женщины одно святое сияние? Она не выбирала,

она в это время в Мексиканском заливе с королевской селедкой в четыре руки марш-фюнебр играла... Да-с!

Сахарницу в буфет замкнет и на кухню испанской королевой проследует. Поругаться даже не с кем.

Дроздов, конечно, и не показывается. Поди тоже на меня всех мелкоземельных собак вешает. Показался бы он... С третьего этажа на трамвайный провод,— разговор короткий. Французский суд в таких случаях всегда снисхождение сделает.

\* \* \*

Сижу дома. Альбом свой старый с марками из комода вытащил. Каталог прошлогодний по случаю в русской парикмахерской купил. Перелистываю. Лупу платочком протираю, с пинцетов ржавчину соскоблил. Работаю... Риск небольшой.

Вспомнил как-то, что у Лунева дубликаты интересные есть. К телефону подошел,— не приедет ли со своими тетрабочками меняться? Что же вечером больше делать? И только за трубку взялся, горечь так к сердцу и подступила. Не приедет он к тебе, Василий Созонтович. Ау! Хоть всю серию папской области ему в обмен предложи — не приедет... Потому что для Дроздова хоть оправдание есть: в третьем классе гимназии он с тобой на одной парте сидел. А Лунев человек посторонний. Его-то за что ты в эту ружетку болотную вкатил?..

Повесил я тихо трубку, лупу к сердцу прижал. Перед глазами господин в плетеном кресле около шале сидит, дым колечками иронически пускает. И птичка над ним заливается. Эх, милая... Выдать бы тебя замуж за Дроздова, хорошая бы из вас пара вышла.

1931

## БУБА

Вот так, в метро, никому не расскажешь. Потому что свое, кровное. В своей семье посторонний третейский судья не требуется.

Но на первой зеленой подстилке, когда в воскресенье с приятелем, с закуской и зубровкой, занесет тебя весенний ветер в Медонский лес,— бес откровенности толкнет человека под ребро — и покатишься... Хоть без зубровки, конечно, никакой бес ничего не сделает.

И вообще, г. Глушков разговаривал как бы сам с собой. В своем случае разбирался и в таких же соседских. А кому он жаловался — приятелю ли, лежавшему рядом, очками кверху, с травинкой во рту, пожилому ли каштану, подымавшему над

головой толстые почки, либо пустой бутылке из-под зубровки, блестящей у канавки,—г. Глушков об этом не думал. Подводил итог, а в паузах морщился, как бы сплевывая с языка душевную полынь.

\* \* \*

— Буба она называется, племянница моя. Хотя мы с женой, оба бесплодные смоковницы, имели все основания, взрастив сей парижско-русский продукт, считать ее своей дочкой... Буба... Почему она себе такую попугайскую кличку пришила, не могу понять. По метрике она Любовь. Люба, Любаша — сочное православное имя. Должно быть, для афиши. Когда она в балетные звезды выйдет, круче в нос ударит... Ну, уж назовись Лианой, Вербеной... Покудрявее. Нет-с, Буба. Игры фантазии на три копейки. Какой-нибудь португальский брандахлыст, что с ней фокстротные вензеля выводит, языком щелкнул: «Буба! Ком сэ жоли» — и кончено. А мнение дяди — коту под стол, да ножкой в угол, подальше...

\* \* \*

Лет до четырнадцати был у нее свой рисунок, даже лицей не перемолол. Русская пышка, ласковый зверек. Варенье обожала, дядю с теткой любила, все как по детской простоте полагается. Одевали мы ее чистенько. Перед зеркалом скорым петушком попрыгает, каждому бантику улыбнется. В облизанную стильность ее не бросало, что к личику, то и модно. Щечки в ямках, ногти в заусенцах, душа — розовый ситчик. Русская девочка и больше ничего. А с пятнадцати лет пошло...

Проболтался я как-то месяца два по делам в Гренобле. Вернулся, так и присел: разменяло себя мое русское золото на конфетную бумажку. Темные волоски будто корова языком склеила, головка мертвым яичком, ямки черт унес, в глазах этакая манекенная стертость. И платьице новое с воображением — внизу тюльпан, вверху лысая рюмка. В кутюрных преискурантах видали? Лицо, так сказать, второстепенная подробность к модному покрою... Мизинчики на отлете, поворот плеча в брезгливую покатошь,—то ли горничная, то ли герцогиня Дармштадтская,—все на один лад, как солдатки из картона... Это в пятнадцать-то лет по такому компасу равняться?

Бросился я к жене: как же это ты, слабохарактерная женщина, таким вещам потакаешь?

А что ж, говорит, делать. Девочки — обезьянки. Парижский воздух... Тут иная каплюшка в четыре года в Люксембургском саду таким дамским лилипутом выступает, что и сама не знаешь — ахать или плевать. А Любе в Европе жить, пусть уж

мимикрию эту безболезненно себе прививает. Ей же потом легче будет.

Нашел я союзника, действительно.

\* \* \*

Вижу я во внутреннем департаменте червоточина обнаружилась. «Записки охотника» в ванной в углу валяются. Еще слава Богу, что в ванной... Журнальчики, смотрю, у нее появились парижские: кинематографические. Антиной на всех страницах зрочками вращают, мировых звезд к пиджакам прижимают. Пробы блестят, зубы переливаются и опять же, как пожарные солдаты, все на один салтык. Только по подписи и узнаешь, кто какого пола. Духовная пища-с!

Развернул я как-то вечером «Соборян», стал ей вслух отрывок читать. Пять минут вытерпела, потом, вижу, стала зевки, как устрицы, глотать, ножкой о ножку бьет.

— Что ж, скучно, тебе, Люба? Ты не стесняйся.

— Вы,—говорит,—дядя, дусик, не сердитесь. Мы сегодня всей своей компанией в синема идем. «Семьсот поцелуев в минуту» смотреть. А археологию эту я, так и быть, на досуге как-нибудь потом перелистаю.

— Спасибо за одолжение. Что ж, и Татьяна пушкинская тоже по-твоему археология?

— Нет,—говорит.— Большой диферанс! Татьяна ваша сама мужчинам на шею вешалась и даже в письменной форме. А как у нее с премьером роман не вышел, она за старого богатого маршала замуж и выскочила. И еще неизвестно, как бы она в Париже развернулась, если бы к нам сюда в эмиграцию попала... Татьяну,—говорит,—вы уж лучше из козырей ваших выкиньте.

Так я и крикнул. Ведь этак, если все классические типы к эмиграции примерять, что ж это будет?.. С женой даже посоветоваться хотел. Да эта уж... Не поймет.

\* \* \*

А потом вот и пошло балетное это икроверчение. В студию какую-то раздевально-пластическую записалась. Науки забросила,—по физике еле ползает. В котором, говорю, году Расин родился? А она мне еще и дерзит: посмотрите в «Ларуссе», если вам приспичило. Сами по-французски дальше молочной ни слова...

Мне, говорю, ни к чему, у меня своих русских мыслей в голове не уложишь. А ты-то как без образования на одних пуантах в свет выпрыгнешь?..

Хочет... По-французски она, правда, здорово чешет,—иной природный француз не поймет, что она с подругами

лопочет... Но багаж-то духовный какой-нибудь нужен? Как же на одном голом трико без багажа?

Жена, разумеется, и тут поперек. За что Бубу, мол, мучишь?.. Теперь все девочки через балет в мировую карьеру выходят. Ты что ж, ее в приходские учительницы готовишь? Опоздал, милый. В Европе жить, по-европейски и выть.

И вот-с еще и у себя в квартире терпеть должен. Мало ей студии. В пачки свои дома вырядится,—совсем стрекоза в папиросных бумажках,—и по всему паркету драже свое под граммофон выводит. Посмотришь из-за газеты, сердце так и закипит... Личико—марципан с вишней, интеллигентности ни на полсантима, одной ножкой над головой вертит, другой себя под мышкой подстегивает. Да еще меня, Господи помилуй, подставкой быть заставляет...

\* \* \*

Собираются у нее подружки всякие востроносенькие, кавалеры—полетки из полотеров. Пожалуйста. Милости просим! Пусть уж лучше дома флиртуют, чем по неизвестным ротондам зеленую слизь сквозь соломинку сосать...

Да и флирта-то никакого нет. Тысячелетиями занятие это держалось, а они вот прекратили. Раздеться не успеют, заведут граммофонного козла и трясутся. Оршаду попьют, отдышаться не успеют и опять под гобойный гнус плечиками трясут до упаду... Чистая маслобойка. И выражение у всех, будто воинскую повинность отбывают.

Присядешь к ним, когда уже совсем упарятся. Поговорить хочется, ведь не ихтиозавр же я, не зубр беловежский. Ни черта не выходит. То ли я к ним ключ потерял, то ли и ключа никакого нет. Лупят что-то свое французское, по глазам вижу—не разговор, а семечки. А Буба губы сожмет и все бровью на дверь показывает: ушли бы, мол, дядя,—и без вас мебели много...

Только тогда сердце и отогреешь, когда они, как дети, порой играть начнут: сядут все на пол, друг за дружкой... руками гребут и хохочат... Какие уж тут, думаю, «Соборяне», хоть искры-то детские в них, слава Богу, не погасли...

\* \* \*

А время летит. Не успели обои в столовой сменить, как ей шестнадцать стукнуло.

Говорю ей как-то в тихую минуту:

— Что ж, Люба, мечты наши старые? Уставать стал, как самовар несменяемый который год киплю. Мечтал с тобой, помнишь, ферму миниатюрную под Тулузой присмотреть... Переехали бы вдвоем с теткой—райские цветы разводить. Во Франции на цветы спрос, как на картошку. И лирика и польза...

Угомонилась бы ты, в зеленую жизнь бы вошла. А там какие-нибудь скорострельные агрономические курсы окончишь, хозяйство бы свое чудесно вела... Что ж, Люба, так уж точку и ставить ради прыжков твоих резиновых? Я ж понимаю, другие ради хлеба завтрашнего ноги себе выламывают, а тебе-то за чем?..

Встала она на носок, вокруг себя трижды спираль обернула, на пол воздушным шаром осела,— головка, как факирская кобра, покачивается,— и прошипела:

— Коров доить? Мне?! Бубе Птифру?.. Комик вы, дядя...

И журналчик какой-то паршивенький из-за пазушки вынула, мне протягивает. Сняли ее там, видите ли... На пензенском вечере за пластику она почетное звание получила: королевой пензенского землячества избрали. Шутка ли: карьера какая...

Ну, понял я окончательно: кто этого яда хлебнул, какая уж там ферма. Пусть сам бабельмандебский раджа белых слонов пришлет — и то не поедет.

С той поры и не заикаюсь. А то, не дай Бог, и жена за ней, в пачки нарядившись, начнет паркет натирать. Ничего. Придет мое время... Вот когда тебя балетная поденщина подшибет, когда из пензенских королев в сто двадцать девятый мюзик-холльный сорт попадешь, тогда о дяде и вспомнишь...

Басня-то «Стрекоза и Муравей» недаром написана. Только дядя-то, пожалуй, помягче муравья окажется, когда к нему взамен Бубы Птифру — родная племянница Люба Глушкова соблаговолит личико свое повернуть...

<1931>

## АФРИКАНСКИЕ ВЕЩИ

С гар д-Орсе привезли на грузовике четыре тяжелых, окovaných железом ящика. Похожие на першеронов носильщики вдвинули с улицы через окно в широкую комнату, в которой поселился приехавший из Африки с семьей в отпуск русский доктор.

Носильщики получили щедрюю мзду, добродушно трянули картузами и исчезли. Коренастый маленький доктор влез в женин передник, карманы очутились сзади, — но не на бал ведь идти, начхать! Завязал тесемки под мышкой бантом, вздохнул и склонился над ящиками. Распакуй-ка их — негры так гвозди загнали, что хоть динамитом взрывай...

Из дальней комнаты приплелся на грохот оторвавшийся от «Архива русской революции» квартирный хозяин. Не каждый день африканские ящики распаковывают, шутка ли сказать. Присел сбоку и стал гостеприимно давать советы.



- Кинжал у меня есть кавказский. Принести?
- Не годится,— коротко буркнул доктор.
- А если его вбить утюгом под доску и потом приподнять?
- Кишка тонка. Лопнет.
- Но ведь рычаг?
- Лопнет.
- Кочерга тоже лопнет?
- Согнется. Вы бы еще штопор предложили.
- Гм...

Хозяин задумался и, как часто бывает, только в третий раз дошел до настоящего решения.

- У консьержки есть клещи. Я сейчас принесу.

Клещи действительногодились. Железные обручи скрежетали и вздувались, гвозди с тихим шипением вылезали из гнезд и, согнувшись в три погибели, падали на пол. Здоровый был доктор, дай Бог каждому.

А когда он упарился и сел на карту Африки, чтобы отдохнуть и просохнуть, квартирный хозяин внес свою долю в это трудное дело, прищемил себе клещами пальцы, продрал железом полу пиджака, сконфуженно улыбнулся и успокоился.

«Кадровый интеллигент,— подумал доктор.— Вот и ходи теперь с дыркой, пока жена не починит...»

Доктор покурил и опять, потрескивая штанами, яростно запыхтел над досками. Крышка за крышкой завернулась и слетела на пол. В первом ящике были шкуры: леопарды, циветты, выдры... Пересыпанные камфарой и нафталином и излучая собственный запах, они так симпатично воняли, что квартирный хозяин от удовольствия даже глаза зажмурил.

— Сами застрелили?— нежно спросил он, дотрагиваясь до какой-то рыжей твари, валявшейся сверху.

— Купил,— честно ответил доктор. Он как-то отвык в Африке врать, да и велика ли штука застрелить дикого зверя.

— Пума?— С таким же успехом хозяин мог, указав на ананас, назвать его по климатической ассоциации бананом.

— Пантера.

— Ест людей?

«Фу, какие они в Европе пригодишки»,— поморщился доктор.

— Свиной ест, кур ворует. Она трусиха. Зачем же ей людей есть... На живот ей наступишь, конечно, не поздоровится.

— А это... удавные яйца?

— Страусовые.

— Такие толстые? Как же цыпленок вылупляется? Ведь это какие же мускулы надо иметь!..

Доктор рассеянно посмотрел на хозяина: о цыплячьих страусовых мускулах ему не приходилось думать.

— Почему я знаю. Может, страусиха высиженное яйцо с утеса скатывает, а оно внизу само разбивается...

«Странно,— подумал хозяин.— Два с половиной года в Африке, а таких пустяков не знает».

— А это змея?

— Удав. Самец. Четыре с четвертью метра. Сам дубил.

— О! Наповал?

— Дубил, а не убил... Выделал кожу.

— Ест людей?

— Черт его знает. Не видал, батенька. А кого и слопают, тот не расскажет.

«Обломов какой-то,— решил хозяин.— До чего однако русские люди не любознательны».

— О! Стрелы! — Он оживился. Дотронулся до зазубренного конца и вдруг отдернул руку.— Отравленные?

— Для какой же надобности? Я на них шашлык поджаривал, а вам подавай... отравленные.

«Пресный человек...» — квартирный хозяин разочарованно отвернулся от стрел и поднял с полу коричневый круглый обрубок.

— А это что?

— Слоновый клык. Середина.

— Почему же он коричневый?

— Всегда такие бывают...

— Ну, что вы говорите,— недоверчиво протянул хозяин... В самом деле, с детства он привык думать, что у слона светлокремевые, словно начищенные зубным порошком, клыки и вдруг — пожалуйста бриться... Полено какое-то темное. Странно...

В дверь постучали.

— Войдите,— любезно хрюкнул доктор, ныряя за ружьем в ящик и показывая входящему ту часть тела, которую обычно не показывают.

Вошел третий сосед, живший напротив. Он из окна видел, как подвезли ящики. Успел на улице познакомиться с доктором и прибежал теперь посмотреть на африканскую кунсткамеру. Разве утерпишь...

Перетрогал все шкуры, тащил их по одной к окну, колупал для чего-то шерсть. Удава понюхал, насчитал вдоль спины три дырки и головой покачал. Брак... Слону из черного дерева под хвост заглянул. Сразу было видно, что знаток.

— Продавать будете, доктор?

— Нет, зачем же. Еще два сежура прослужу, а там под Парижем обоснуюсь, все пригодится. Из рогов кресла сделаю, шкурами кабинет обобью. Мало ли что...

Но у соседа душа заиграла. Кабинет обобьет... Чудак! Выспросил у доктора, почем во французской Гвинее слоновая кость, почем пантеры и змеиные кожи... Грош! Да ведь если с умом пересылкой оттуда заняться,— во какие дела в Париже развернуть можно! Ситроен от зависти лопнет.

От волнения он даже язык высунул и стал в голове цифры к цифрам прикладывать да адреса полезные вспоминать. Вскочил даже от воображения... Такой уж у него характер был: старинное издание Державина увидит, сейчас же комбинации в голове у него заиграют: предложить ли в Нью-Йорк, в университетскую библиотеку, либо в Рим, в Восточный институт. Впрочем, до дела никогда не доходил.

А доктор тем временем все ящики разобрал, мусор страусовым веером подмел,— аккуратный человек был. Кое-что для украшения комнаты отложил, кое-что для подарков: курящим — слоновой кости мундштуки, некурящим — страусовые яйца. Остальное уложил в большой ящик и пошел на кухню к жене, чтобы с ней насчет вещей окончательно посоветоваться.

\* \* \*

На следующий день комната до того преобразилась, что сам Робинзон в ней бы с удовольствием пожил. От двери до камина растянулся, весь в косых шашках — циветта и рысь — меховой ковер. Над камином торчали огромные, острые рога гну. По стенам повисли плетеные щиты, копья с красными висюльками и допотопное ружье с огромным облезлым прикладом; над умывальником качалось чучело ящерицы, похожей на гигантского жирного таракана. Все чрезвычайно нужные в домашнем обиходе предметы. На диване распластался леопард, на кровати — антилопа, на комод — черт знает что.

Жена доктора недаром с раннего утра работала, все пятки оттоптала. Зато когда пришли гости — квартирная хозяйка и вторая жилица — было на что посмотреть.

— Чудесно! Ей-богу, я не узнаю вашей комнаты,— прошлестела жилица, сделав сразу два дела: сказала любезность докторше и замаскированную колкость хозяйке.

— В самом деле недурно,— сдержанно похвалила хозяйка.

Посидели, с трудом балансируя на кожаных марокканских пуфах, пощупали, охая и восхищаясь, суданские пестрые покрывала, которые докторша почему-то называла «кувертюрами». Примеряли грузные ожерелья из слоновой кости, напоминавшие связки бильярдных шаров.

— Очаровательно. Но они полнят,— улыбнулась сама себе в зеркало жилица, втягивая в себя кулебякообразный подбородок... Впрочем, на арбуз, что ни надень, все полнить будет,— эта простая мысль ей в голову не приходила.

Драпировались в леопардовые и пантерные шкуры — и походка у дам сразу сделалась хищной и экзотичной: несомненно, Клеопатра, хотя об этом точных исторических данных не сохранилось, именно так и ходила...

А потом по очереди плотной спиралью наворачивали вокруг себя змеиную кожу. Бедный удав даже и не представлял себе,

какое он после смерти получил платоническое удовольствие. Но, увы, что может сделать бессильная мертвая кожа...

— Но, голубчик, это все не модно,— очнувшись наконец жилища. И столько любезного укуса было в ее словах, что и описать невозможно.— Страусовые перья, пантеры, змеиная кожа, слоновое кольцо — все это ведь отошло уж в область преданий...

Докторша сердито повернулась на пуфе. В Африке она от дипломатии отвыкла и ответила деловито и просто:

— У кого чего нет, тому оно и не модно. Над нами не каплет. А через два сезона все опять модным станет. Вот и крокодиловые сумки, говорят, уже устарели... Что же, прикажете крокодилам беспрепятственно размножаться, потому что на них мода прошла? Чепуха. Коммерсанты свое дело знают.

И чтобы как-нибудь затушевать наступившую паузу, показала гостям за умывальником паскудного идола. Черное вздутое пузо с огромным пупком, бюст, как две дудки, и задранный кверху сверхъестественный зад. А уж про рожу лучше и не говорить: другой и непьющий запьет, если с таким маримондой месяц в комнате проживет.

— Женщине-уродине этой в глаза плюют, а потом себе слюной этой виски натирают. Говорят против головной боли помогает. Ну, что ж, давайте чай пить. Налюбовались.

Гости брезгливо переглянулись. Ведь они, черт возьми, проплеванного этого идола за морду трогали до того, как докторша им биографию его объяснила.

После демонстрации идола докторша раскрыла на столе альбом, испытанное средство, когда не знаешь, что делать с гостями.

Черные красавицы со взбитым войлоком на голове были идеально сложены, но дамы, разумеется, обратили внимание на то, что можно было и не подчеркивать (природа и сама достаточно подчеркнула):

— Ах, какие мордальоны!

К мужчинам они почему-то отнеслись снисходительнее, хотя на конкурсах «мордальонов» черные мужчины, при бесстрастном жюри, конечно, получили бы первые премии.

Безразлично перелистали серию дуплистых баобабов и роскошные фотографии докторши — на носилках, в гамаке, на муле и на велосипеде,— по земле, очевидно, она никогда не ходила. И в конце альбома наткнулись на такую гнусность, что съеденные за чаем «птифуры» к горлу подступили.

— Это что же такое?! — съжившись, спросила жилища.

— Слоновая болезнь. Видите, какая опухоль, хоть в тачках вози...

И, словно представляя добрых знакомых, стала объяснять:

— Это пупочная грыжа, это зоб... А это, видите, глаз затек, и все лицо, как губка — это волчанка...

— Заразительно?— проглотив слюну, хрипло шепнула хозяйка и, содрогнувшись, отодвинулась от альбома.

— Пожалуй,— любезно ответила докторша.— Туберкулез кожи... Медицине известны случаи, когда...

Пальцы жилицы потянулись к шее, на которую она только что примеряла слоновые колье. Такой же жест инстинктивно повторила и квартирная хозяйка. Дамы не стали затягивать визита.

Через минуту в ванной комнате и на кухне раздался плеск: они мыли руки, плечи, уши, шеи. Мыли так ожесточенно, точно в угольной шахте побывали. Шутка ли: проплеванного идола трогали, колье надевали, шляпы вождей на себя напяливали... Брр...

А потом столкнулись в коридоре и стали друг друга успокаивать. Ведь доктор и его жена не заразились, хотя они, поди, два с половиной года со всякими идолами и африканскими болезнями запанибрата. Конечно, ванну теперь после них надо будет денатуратом протирать. И кстати, тут же и решили, что все эти африканские вещи ужасно тривиальны и грубы. Само собой, кто от культуры отвык, тот и из верблюжьих кишок покрывала накупит, чтобы Европе в глаза пыль пустить... Провинциалы гвинейские!

\* \* \*

Умнее всех насладились африканскими сокровищами дети. К маленькой докторской дочке Тате пришли в гости консьержкина бойкая девочка Жильберта и увалень мальчик, сын соседа, Олег. Взрослые все куда-то ушли, и слава Богу,— надо же и от них когда-нибудь отдохнуть.

Командовала Тата. Она хорошо знала, как с африканскими вещами обращаться, недаром пропеклась столько времени во французской Гвинее.

Нечего там рассматривать! Самые обыкновенные вещи... Олега завернула в леопардовую шкуру, а чтобы она не распахивалась, застегнула ее на животе английской булавкой. Жильберте дала электрический фонарик, сняла со стены ржавое копьё и, не жалея пальцев, наглухо закрыла ставни.

Играли в ночную охоту: леопард должен был вылезти из-под кровати (лесная чаща), Жильберта—ослепить ему морду прожектором, а Тата застрелит его из копьё. Прямо в голову. Между глаз. Как в муху. Леопард должен был,— что же ему оставалось больше делать,— упасть на спину, подрыгать лапами—и готово... И тогда Тата, по расписанию, снимала с него ножом для разрезывания книг шкуру.

— Вылезай!— кричала Тата, колотя копьём по кровати.— Непременно вылезай!

Но Олег нашел под кроватью кусочек шоколада и не очень спешил.

Тогда Жильберта, войдя в раж, схватила с камина пульверизатор с одеколоном и стала прыскать под кровать прямо леопарду в нос.

Леопард вылез и стал хныкать:

— Я так не хочу... Она мне почти в глаз попала...

— Молчи! — надрывалась Тата, — непременно молчи. Леопарды не разговаривают... Слепляй его, Жильберта! Что же ты стал задом? Повернись... Бах-бах! Между глаз! Как в муху!

Леопард задрал кверху лапы и замер. Но когда девчонки стали снимать с него шкуру, он стал так брыкаться (ведь щекотно), что они оставили его в покое.

Потом открыли ставни и придумали другую игру — дневную. Поставили идола посреди комнаты на табурет, вставили ему в трухлявый пуп иглу дикобраза (Тата объяснила, что он это очень любит), и стали в его честь лупить ложками по африканским деревянным цимбалам... Тыквы под цимбалами подпрыгивали и дребезжали, дети тянули за Татой переливающимся мотив: не то слон горло полощет, не то у бегемота в животе урчит. Причем во время пения надо было быстро-быстро трясти задями... Идол был очень польщен.

А после затеяли свободную обезьянью чехарду. Вырядились в темно-шоколадные шкурки, как раз в те, которые докторша себе отобрала для шубки. Но ведь ее дома не было, — если какая шкурка и лопнет немножко, не беда... Вместо хвостов привязали себе докторские галстуки. Тата позволила. И стали носиться по кровати, по дивану, по креслам... Тревога! Ведь на холме показались охотники... Бросайте в них камнями! Но когда нет камней — книги и щеточки тоже на что-нибудь годятся.

— Цвик-цвик! — Тата укусила палец Олега. Уж она знала, как должна себя вести настоящая обезьяна...

Олег от нее на письменный стол, Жильберта на камин... Рога гну полетели на пол, плетеный щит хрустнул и продрался, электрическая лампа отчаянно взмахнула ножкой и косой бомбой перелетела в умывальник. Вдребезги! Не попадайся на дороге...

Очень было весело. А когда обезьяны набегались и устали, Тата вытянула из чемодана гвинейский гамак — в черно-белую полоску — привязала один конец к ручке двери, другой к ножке письменного стола: это был висячий мост через речку Кау-Мяу! Но когда стали переходить, веревки развязались, мост оборвался, и младшая обезьяна Тата пребольно стукнулась о ножку кровати. Хотела было захныкать, но поскакала на одной ноге, показала сама себе язык и ей сразу стало легче.

Дети угомонились, притихли. Сели рядом на какую-то шершавую кошку и стали сосать «манги». Правда, это были обыкновенные апельсины, но Тата сказала «манги» — и никаких разговоров.

Сквозь двери доносился из ванной комнаты тоненький-тоненький писк. Это плакал мохнатый фокс Лунчик. Тата его

заперла там, потому что он сумасшедший—где уж с ним в африканские игры играть.

\* \* \*

Бедный Лунчик! Ему одному африканские вещи поперек горла стали. Приехали новые люди, такие симпатичные и спокойные. И хотя хозяйка им и запрещала—они давали Лунчику и сахар, и кусочки шоколада, и даже миндальный бисквит,—самое вкусное на свете собачье лакомство.

Но вещи, вещи... Когда их разложили, когда густо запахло во всех углах какими-то невиданными полосатыми тварями, Лунчик не удержался. Схватил за хвост гнусную пантеру, поволок ее по коридору, с остервенением трепал так, что шерсть из нее клочьями летела.

Ух, как чихал!.. Но заметили, отняли, нашлепали, заперли дверь. Целый час скулил перед дверью, пока сжалились и впустили. Как он унижался,—лег на коврик, задрал лапы, прижимал морду к плечу. Простили. А потом не выдержал,—можно ли удержаться?—улучил минуту и потащил на кухню другую тварь, серую с белым. Опять отняли, и хозяйка заперла его на весь вечер в чулан.

Пять раз это повторялось. Кое-как смирился, ничего больше не трогал. Только лежал на пантере, облизывал язык, глаза горели—и тихонько ворчал. Но когда поставили за умывальником идола, фокс совсем потерял голову: прыгал на этого проклятого черта, пока не выбился из сил и не растянулся пластом на полу. Никогда до него не допрыгнешь... Отдохнул и стал выть. Никогда в жизни он не выл—парижские собаки так воспитаны—и вот пришлось.

Тогда доктор показал ему огромный арапник (из какой-то бегемотовой кожи), докторша—плетку поменьше, а их дочка—свою маленькую плетку. И Лунчик так обиделся, что, распластавшись лягушкой, забрался под кровать и сидел там, пока его девочка сахаром не выманила. Пришлось вылезать.

Кожаную разноцветную сумку с такими вкусными кистями тоже не позволили трогать. Зачем же привезли, если потрогать нельзя. На диван не садись, на кровать не садись—разве у него хуже шкура, чем у этих полосатых кошек? Огромное яйцо попробовал было по ковру покатавать—тоже отняли.

Одно утешение: во всей квартире перестали топить, а у африканских жильцов камин горит вовсю. Лежи и грейся, пока живот не задымится...

И вот сегодня, когда взрослые ушли, и дети, маленькие друзья, забралась в африканскую комнату играть,—докторская дочка заперла его в ванной.

Небось сами там на голове ходят, ишь как визжат... Вещи по всей комнате летят, грохот, треск. Им все можно, а собака

должна себя целый день вести «прилично»... Ладно. Вернутся взрослые, они им покажут.

Лунчик перестал скулить,— уж и голоса не хватало. Свернулся калачиком на холодном линолеуме, глубоко-глубоко вздохнул и заснул кротким собачьим сном. И такой обидой дышала его приткнувшаяся к ножке ванны морда, что если бы Тата его в эту минуту увидела, совесть бы ее насквозь так и прожгла...

1931

## АКАЖУ

— Садитесь, пожалуйста. В этом ресторанчике так недурно кормят. Хотите печенки с луком? Или тушеной морковки? Я, знаете ли, летом предпочитаю морковку. Легко переваривается, абсолютно не тяжело — и всего три франка. Дешевле грибов.

Так вот, продолжаю. Вы не покупатель, пришли на марше-о-пюс, купите себе какую-нибудь персидского ореха рамку, хотя вам вставлять решительно нечего. Артист в душе, разве это надо на лбу писать?.. И вот, как со старым знакомым, не покупателем, могу с вами говорить нараспашку.

Объясните мне, пожалуйста, зачем эмигрантам стиль? Я про-давец, я с этого свой хлеб кушаю, пусть покупают, дай им Бог всем выиграть на колониальный билет... Но меня интересует психология. Зачем им стиль? Разве в Одессе или, допустим, в Житомире мы все не сидели на венских стульях? Плохо было сидеть? Стул как стул, абсолютно прочный, и даже если дети на нем качались, дай Бог каждому так выдерживать.

Или, например, буфет... Дубовый, я не спорю. Большая важность в России дуб. И какая-нибудь резная собака на дверках. Или заяц, пусть себе заяц. Но при этом, заметьте,— ни малейшего стиля. Удобно, солидно, прочно — и непременно выдвижная доска, чтобы резать хлеб. В каком стиле вы здесь имеете такую доску? Не бросался в глаза,— но разве квартира — Лувр? Или буфет — это орган? Зато, когда, бывало, раскроешь дверку: варенье, наливка, повидло, хоть не ходи в лавку. А если ешь прямо из банки и капнешь, не дай Бог, на дуб,— никакого несчастья: вытер пальцем, облизал, и ни малейших следов...

А вспомните спальню. Кровать так кровать. Никелированные столбики, бронзовые шишечки. Уютно, блестит, гигиенично. И если, между нами говоря, клопы,— поставил каждую ножку в таз, выпарил кипятком и спи себе, как царь... Кровать для тебя или ты для кровати? Какой человеку ночью нужен стиль? Зато матрац — чистый волос, простыня хрустит,— лежишь, как на розах... А если ребенок когда-нибудь и отвертит шишечку, так что вы хотите, чтобы он с пулеметом играл?



Или передняя. Солидный желтый лак, вешалка на три семейства, и еще четвертое можно повесить. Кругом решетка, сбоку плевательница, внизу калоши... Я для вешалки или вешалка для меня?

А теперь им нужен стиль... Немножко человек поднялся, так он выглядит желтый, как дыня: откладывает на стол-директорию. Купит и потом ходит два дня кругом на цыпочках, пока привыкнет. И уже стакана с чаем он на него не поставит, потому что останется пятно. Газеты не положит, потому что прилипает шрифт. Пепельницу покупает стильную, потому что обыкновенное блюдце к директории не подходит. И подбирает себе всякие флакончики: тигровый глаз, кошачий глаз, собачий глаз... Мало у него болячек, так надо себе новые заводить.

Это, заметьте себе, только начало. Потом он приходит с женой, и оба бледнеют, и оба краснеют,—и выбирают себе кресло. Людовик XIII. Такие крученые ножки, будто две колбасы переплелись, а середка чтоб с гарусной вышивкой и чтоб непременно вылинявшая,—так что мы даже специально ставим на солнце, чтобы выгорало. И потом он целый день бегаёт кругом, и отгоняет моль, и не позволяет ребенку забираться с ногами, и сам садится только на пять минут, потому что в этих Людовиках пружины всегда, как дама в сорок пять лет: дрожат и не держат...

Вы думаете, это все? Каждое воскресенье он ходит ко мне с разбитым сердцем, как тихий помешанный, чтобы подобрать второе кресло. Подбираешь, лезешь из кожи,—я же с этого свой хлеб кушаю. А после начинается: тумбочка к кровати. Тоже директория, сверху круглый мрамор, внизу акажу. Для такой практической вещи,—известно, для чего такая тумбочка,—ему мавзолей нужен! Будто нельзя очки или зубы положить на табуретку...

Буфет? Так он все рюстики обнюхает. Справа, чтоб столик с пастушкой, слева — с монахом, посредине мифология, а сверху такая плоская холера для наружных тарелок... Прямо несчастье. Выберет, смотреть на него жалко. Он же теперь полгода курить не будет, вина и не понюхает... На чем его жена экономит, я даже и не знаю, должно быть, на его аппетите. Дашь ему рассрочку, человек он сравнительно порядочный, и торговать же я должен... И что, вы думаете, у него, даже и при рассрочке, в таком стильном буфете может быть? Три пуговицы от жилетки и альбом с родственниками. И целый день ходи с тряпочкой, и вытирай пастушке в ушах...

Вы думаете — все? Через месяц он приходит: достань ему ларь для передней. На вешалке гости его раздеваться не могут... Надо им раздеваться со стилем, чтобы непременно ларь... Чтобы половина пальто на крышке, а другая на полу. И тоже с мифологией, и с бархатным верхом. Конечно же, он весь проточенный, как ситечко, потому что всякий рюстик обязательно весь насквозь в дырках... Червячки у них такие есть французские. В России у нас, слава Богу, без них обходились. Шпаклевкой зама-

жешь, воском затрешь,—ничего. Но ведь совесть я все-таки имею, человека мне все-таки жалко...

Ну, подумайте сами, зачем эмигранту ларь? Для гроба он короткий, для сундука длинный... Поставь, наконец, два чемодана рядом, задрапируй пледом, вот тебе и ларь... Конечно же, я не самоубийца, этого я ему не говорю.

Так и это не все. В один прекрасный день приходит мадам,—достань ей кушетку Рекамье. С лебедем. Иначе она не может... Мучаюсь, достаю. Но вы же понимаете, когда женщина уже вся как позавчерашний шпинат, зачем ей Рекамье? Зачем ей такая рамка, когда уже с картины вся краска лупится... Они никогда не понимают. И я не вмешиваюсь. Я хочу продать, а не получить протокол. За стиль я отвечаю, за дезинфекцию я тоже отвечаю, зачем же я еще за чужую глупость отвечать буду?

И опять — новое дело. Пришлешь все это более-менее чистенькое. Тусклый блеск... Что же вы хотите, чтобы Людовики блестели, как лакированные ботинки? Так они недовольны. И муж покупает какой-нибудь патентованный «Блеск для всех» и натирает, как идиот, все эти акажу, так что сердце болит смотреть. И конечно, выходит вроде оспы. Они все думают, что играть на балалайке надо учиться, а полировать может каждый эмигрант,—оторвет рукав от фуфайки, посмотрит в самоучитель — и он уже краснодеревец. А потом прилетает ко мне, умоляет прислать ему интеллигентного мастера, который расстоянием не стесняется. Мастер действительно не стесняется и наводит такую политуру, что потом целый месяц они кушают одну редьку с голым арашидом...

Так вот, перехожу к психологии. Во-первых, они думают, что если покупают со стилем (и даже с паспортом), — так это самое верное помещение сбережений. Придется продать, — какой-нибудь «пудрез» из птичьего глаза, Людовик пополам с Филиппом, — все так и прибегут! Станут в хвост и раскроют бумажники... Чепуха на подсолнечном масле! Я, как специалист, могу вам сказать: купить ларь или пудрез может каждый болван, а чтобы продать, надо быть по меньшей мере Спинозой. И при этом иметь и лавку, и опыт, и счастье, и я не знаю еще что... Во-вторых, на полный шик теперь никого не хватает, хотя эмигранту так же нужен шик, как генерал-губернатору мамка. Что же получается? Одни, самые умные, хорошо едят и не одеваются; другие одеваются и очень плохо едят; третьи, самые сумасшедшие, — покупают акажу, а чем они питаются, спросите мою бабушку...

Отчего вы не берете коржик с маком? Я таких даже в Житомире не ел... Вот — видите: один уже стоит и колупает нормандскую прялку. Надо идти. Будьте пока здоровы. Слыхали вы когда-нибудь в России, чтобы нормальный человек покупал себе прялку?..

На пляже, в залихватски-небрежных позах, лежат курортные наяды. Огромные попугайские зонты сливаются с полосатыми палатками; палатки—с шезлонгами; шезлонги—со штанами наяд...

Близорукий человек, попав в эту цветистую кашу, легко может сесть вместо кресла на свою жену или, Боже сохрани, на чужую... Но как-то все разбираются. Каждая душа находит свое место под своим зонтом. Сидят тесными кружками в тени, как песок струится легкая беседа, глаза обжигают глаза, блестят натертые кокосовым маслом руки и плечи.

Даже неблизорукий человек не разберет: кто тут авантюрист, кто святой, кто мулат, кто белый, кто Антиной, кто Венера... Зачем вдаваться на пляже в такие подробности? Флиртуют, болтают, разрезают волны сильными взмахами рук,— да будет легким жизнь...

Между взрослыми ползают и барахтаются смуглые человеческие детеныши. Тащат в воду купаться упирающихся мохнатых собачек,— детеныши могут купаться сорок раз подряд, пока уши не станут зелеными, а губы лиловыми...

Мохнатые собачки знают, что это негигиенично,—но как от этого несчастья избавиться, когда маленький человечек тащит тебя за компанию, головой книзу, в море? Кусаться запрещено, лаять под мышкой неудобно, а удрать из воды невозможно, потому что за каждую лапу тебя держат две детских руки.

Но, в общем, хорошо на пляже... Весь божий мир—огромный салон. Васильковый потолок отделан белоснежным карнизом облаков; ветер галантно обвеивает прохладным веером спины; посреди средиземной ванны сонно покачивается эшафот,—плот для прыгунов-пловцов; по пляжу цвета чайной розы развозят на двуколке мороженое,—райскую пищу для детей до шестидесятилетнего возраста...

Если ты маленький, можешь упротить маму, чтобы позволила тебе покататься на покорном ослике: так чудесно хлопать босыми пятками по гулким бокам, так вкусно скрипит красное, кожаное седло... Если ты большой,—иди в казино, роскошную коробку из полусантиметрового бетона,—дуй аперитив, рассматривай, повернувшись спиной к морю, наядам и солнцу, родимое пятно на собственном бедре и воображай себя Оскаром Уайльдом... Хорошо, в общем, на пляже...

А в дюнах за бугром—другой век. Может быть, бронзовый, может быть, железный, может быть, волосато-орангутангский. Перед походными скворещницами на колесах сидят кирпичные, тощие люди, обросшие бурым войлоком. Вместо костюмов—пояса стыдливости шириной в почтовую марку. Ветер раздувает

на головах выцветшую паклю. Выцветшие глаза, выцветшие ресницы... Сидят и молча преют...

По временам то один, то другой вскакивает, проделывает какие-то эвритмическо-шаманские пассы,—ноги циркулем, руки косыми граблями в воздухе, пальцы, как пляшущие фурии... И опять замирает. В котелке на треножнике клопочет какое-то вегетарианское варево: быть может, рагу из сосновых шишек, быть может, суп из водорослей. Ни смеха, ни улыбок, ни веселого слова. Преть надо молча, созерцательно, принципиально, и по системе.

Одна из фигур,—тощая коза, отдаленно похожая на вымоченную в уксусе старую деву,—подошла к морю. Зачерпнула ладонью воды, полила себе на затылок. Изогнула коричневую кисть вбок, повернула ее египетским жестом вокруг оси и отошла в дюны. Это она купалась. Выцветший дылдообразный блондин, весь состоящий из ключиц, лопаток и сухожилий, торжественно распростер девушку на песке, склонился над нею. Усыплять он ее будет, что ли, или скальпировать? Вытянул ей руку, промассировал мелкими щипками, потом другую руку... Потом стал перебирать ей пальцы на ногах, будто играл на арфе... И деловито отошел в сторону, как лунатик, исполнивший свой долг.

Над косогором вверх проходят люди—двадцатого века. Осторожно косятся сквозь сосновые лапы и с почтительным недоумением шепчут:

— Нудисты...

— Культ тела. Они переутомлены городом и возвращаются к природе...

— О, о! Скажите, пожалуйста!

Какой, однако, тусклый «культ тела»... Почему эти коричневые макароны, принципиально высушенные и пересушенные на солнце, называются «культом тела»? Почему тряпочка-перемычка, скрывающая последнюю наготу, объединяет этих скучных чудаков в какую-то нудную, скопческую секту? Что понимают в природе эти эвритмические Робинзоны, созерцающие муравьев на большом пальце собственной ноги?.. Почему нужно скопом проводить лето вместе вокруг котелка с кипящей овсянкой,—без смеха, без песен, без вина, без беспечной радости легкого бродяги на легкой земле?..

Ветер насмешливо шуршит в вереске, веселые сороки стрекочут в дремучем можжевельнике, веселое море сквозит сквозь сосны... Белобрысый дылда растягивается на песке, вбирает в себя и без того вогнутый живот и медленно, с лицом пророка Исайи, массирует его грубой шерстяной перчаткой.

Мир праху твоему, волосатый бухгалтер, несущий миру новую двухсантимную бесштанную идею!

## УЮТНОЕ СЕМЕЙСТВО

В житейской лотерейной серии «маленьких чудес» Пронину выпал счастливый номер. Приятель, взявший у него займы лет десять тому назад в Берлине 70 долларов,— тогда еще у Пронина кое-какие подкожные деньги водились,— прислал ему свой долг.

К деньгам этим Пронин так и отнесся, точно нашел их на улице. Не только не положил их на книжку, даже из полезных вещей ничего себе не купил, деньги легкие, надо было их легко и спустить. И мудро решил пожить месяц барин не барином, а на полной воле. Пусть, черти, в пансионе за ним поухаживают,— будет сидеть на веранде, на осенних бабочек смотреть. Одна нога на камышовом кресле, другая... Впрочем, он так и не мог себе представить, какое роскошное положение будет занимать вторая нога.

Свое маленькое малярное дело оставил в Париже на компаньона и уехал в Сен-Клер. На обыкновенной географической карте даже и точки такой не разыщешь,—кто-то из знакомых назвал.

Оказалось, что такое место (на прошлой неделе Пронин и имени его не слышал)— не выдумка. Десяток вилл у Средиземного моря, одна другой домовитее и милее: словно в каждой давно-давно еще в детских снах жил. Группа пиний на бугре. Захолустный заливчик, окаймленный дюнами,— так к ним и потянуло— к простым песчаным буграм... И местные людишки, тихие провинциальные французы, копошащиеся около своих пансионных дел.

За домишками крутой стеной пустынные холмы. Занавес... Посмотришь из окна и спокоен: может быть, никакого прошлого и не было. Дьявол выдумал, ветер унес.

Первые дни благостные, небывало-спокойная жизнь до того укачала гостя, что он даже растерялся. Можно встать утром и выпить кофе внизу. Можно у себя поваляться: подадут в номер. Можно лечь в дюнах и, превратившись в грудного младенца, сосать былинку... Или уйти в горы и на каждом повороте, через каждые десять шагов безмолвно ахать перед всей этой красотой, которая и без него, приезжего человека, вчера здесь сияла. А уедет Пронин в Париж, к своим малярным заказам,— горы, небо и пинии даже и не поморщатся. Одним муравьем меньше.

Гость отвык от природы, до природы ли эмигранту? А тут она вдруг навалилась на него во всей своей осенней чистоте и ясности. Безлюдие,— чайка сядет в двух шагах на волну, будто никакого Пронина и на свете нет. И выходило совершенно очевидно, что чайка эта со дня рождения ведет самую настоящую правильную жизнь, а приезжий гость в дураках оказался: учился,

воевал, трепался из страны в страну, а теперь чужие комнаты обоями оклеивает.

Городской человек, если очутится лицом к голой природе, два дня поохает, потом задумываться начнет. Все, что дремало в городе под спудом, все главное, что ради «дел» ушло в душевный подвал,—выплывает и требует хоть какого-нибудь куцевого ответа. А Пронин никаких ответов не знал. Не он сеял—жать ему... Что поделаешь.

Ночью, распахнувши окно на море и глядя на полный месяц, блаженно сиявший над чужим заливом, приезжий понял, чего ему недостает. Вот сейчас, сию минуту. Русской беседы. Не эмигрантской, от тупика в тупик, от беды к беде, а так, в пространство, в неизвестном направлении, как на русских дачах когда-то разговаривали.

Как и у многих за последние годы, все больше крепла у него острая иллюзия, будто прежде, до обвала, даже самый захудалый Новгород-Волынский (из которого он когда-то очертя голову сбежал в Петербург) был переполнен необыкновенно-уютными людьми.

Кипящий самовар и вареники с вишнями перемешивались в памяти с обрывками чудесных дачных разговоров, с теплым сиянием добродушных глаз... И семени не осталось.

Ах, если бы,—думал он с враждебным недоумением всматривался в черные камни, окруженные бурлящей лунной водой,—хоть кого-нибудь чудом встретить в том прежнем облике...

Прикрыв тихо ставни,—сел на кресло, сжал крепко пальцы,—и показалось ему, что в этот лунный час несчастнее его во всем мире человека не было.

\* \* \*

На следующее утро Бог ему это чудо показал. На веранде сидел в допотопном чесучовом пиджаке и панаме плотный человек: бородка табачным венчиком, благодушные ленивые глаза. Пил чай из давно невиданного подстаканника—с собой привез, где же в Сен-Клере такую штуку достанешь. Рядом с ним вальжная дама намазывала масло на хлеб—на каждой фотографической русской группе такие дамы в старину на первом плане полтора места занимали. Жесты медлительные, будто на виолончели играет, локти сахарные, вокруг головы толстая коса выборгским кренделем уложена... Дочка, курносенький худыш, крошила в чай бисквит, болтала одновременно ложечкой, языком и ногами, да еще умудрялась непрерывно встряхивать челкой, над которой огромной бабочкой торчал гранатовый бант.

— Французский пансион!—недовольно фыркнула дама, словно свою прислугу распекала.—Порядочного кофе подать не могут... Бурда. Надо было в такую дыру забираться. Хоть бы в Париже посидели подольше. Черт с ними, с дождями, на то и зонтик есть...

— Да ведь, Клавдия...

Господин с бородкой вяло развел руками, как он, должно быть, разводил уже сорок тысяч раз.

— Ты же знаешь, дружок, почему мы из Парижа выкатились. Еще ведь месяц отпуска, а мы того: на одну овсянку осталось. Здесь вполне сносно перебиться можно... Кофе плохой,—пей шоколад. На это хватит.

— Чтоб меня воздушным шаром разнесло? Благодарю покорно. Еще рыбьего бы жиру предложили...

— Ну, чай пей. Надо же как-нибудь перебиться.

— Морская трава у них, а не чай. Не желаю я перебиваться. Не для этого во Францию приехали...

Господин поморщился. Муху из стакана выкинешь, а с женой—что делать...

— Об этом в Париже, матушка, думать надо было. Поменьше бы тряпок накупала...

— Ах, вы по-пре-ка-е-те!

И так чудесно пропела этот глагол, с такой неподражаемо переливающейся в презрение обидой, что на Пронина так Новгород-Волынским и пахнуло.

— При вашем положении чумичкой я, что ли, должна в Ковно возвращаться?

— Зачем же, мать моя, чумичкой. Сундук твой, слава тебе Господи, по швам трещит. Чего тебе здесь не хватает? Море, тишина. Виноград дешевый. Ты ж природу любишь...

— Природа... На хлеб я ее буду намазывать вашу природу. Не пятнадцать мне лет—на голую природу любоваться.

Пронин, прикрывшись газетой, жадно слушал. Господи, какие давно забытые интонации... Кто такие? Что за ковенские ископаемые?

Дама все не могла успокоиться. Съела три бутерброда и опять:

— Общества никакого. Какие-то старосветские французские помещики,—она бесцеремонно кивнула в сторону старенькой четы, тихо сидевшей в стороне за столиком.—Сезон кончен. Прямо курам на смех...

Пронин усмехнулся. Сколько лет он про этих кур не слышал.

— Брось! Дай хоть чай допить. Что за манера с утра пилить человека... Слава Богу, что сезон кончен. В сезон у них цены кусаются, душечка. Проживем месяц и дело с концом. А там у нас не очень-то разбираются, что Сен-Клер, что Сен-Рафаэль,—один бес. Ну, наври что-нибудь. Ведь вон тот в углу, в синем галстуке,—он показал глазами на Пронина,—человек солидный, живет же здесь и доволен...

Но барыня даже и «человека в синем галстуке» не оставила в покое.

— Комиссионер какой-нибудь голландский. Может, он лучше Сен-Клера и курорта никогда не видел. Конечно—будешь доволен.

Пронин улыбнулся во весь рот, привстал и вежливо объяснил:  
— Простите, пожалуйста. Я не комиссионер и не голландец, а, как изволите видеть, девяносто шестой пробы русский. И если ничего не имеете против, позвольте представиться—Иван Ильич Пронин. Приехал сюда из Парижа отдохнуть и, как ваш супруг справедливо заметил,—действительно, вполне доволен. Курортов перевидал немало, но лучше места для отдыха и не выдумаешь.

Дама спекла рака, даже ушки, даже великолепная ковенская шея покраснела, хотя надо было просто весело рассмеяться. Муж неуклюже раскланялся и пробормотал, что ему «очень приятно». Но дочка выручила:

— Русский, русский! Вот и чудесно. Я с вами гулять буду. А то они все ссорятся, мало они нассорились дома...

Дама так брандмайором и вскинулась:

— На-та-ша!!! Сейчас ступай в свою комнату... Два дня без третьего блюда. Сколько раз я тебе говорила,—когда взрослые разговаривают, дети не должны вмешиваться. Марш!

И после повелительных слов по адресу дрянь-девчонки сразу же, обернувшись к Пронину, растеклась малиновым сиропом:

— Бога ради, простите. Совсем как в водевиле, такое кви-про-кво вышло. Очень, очень рада. Сахновская. Виктор Иванович! Что же ты, друг мой, язык проглотил. В самом деле очень приятно в такой дыре с соотечественником встретиться.

Дочка стояла у входа на лестницу и, несмотря на предстоящие ей два дня без третьего блюда, улыбаясь, во все глаза смотрела на русского дядю.

— Что же ты торчишь там? Десять раз повторять надо? Ступай!

— А, может быть, вы ее простите ради неожиданного нашего знакомства?—мягко вступился за девочку Пронин,—ведь я был невольной причиной ее наказания... Пожалуйста. Мы больше не будем.

Но дама поджала пухлые губы, кисло улыбнулась и насупи-лась.

— Нет. Лучше и не просите. Не в моих принципах отменять наказания. Садитесь, пожалуйста.

А муж, взглядевшись в Пронина, откинулся к спинке стула и хлопнул себя по коленке:

— Сказала тоже... Да разве голландцы такие бывают?.. С биографией нашей вы по нашему разговору немного знакомы. А теперь надо и с вами познакомиться. Коньяк пьете? И расчудесно. Стало быть, и ваша биография нам теперь отчасти известна. Вот мы ее сейчас и спрыснем... Гарсон!

И ковенский гражданин, весьма довольный своей остротой, до того оглушительно расхохотался, что французские старички испуганно обернулись и еще тише между собой разговаривать стали.



На следующий день, во время завтрака, Пронин получил еще большее удовольствие. За два месяца в вагонах да номерах супруги друг другу достаточно надоели... А тут свежий слушатель попался, да еще русский. В глухом Сен-Клере — прямо дар судьбы.

— Что же это вы, милостивый государь, уединяетесь? — крикнул, потирая руки, Сахновский. — Валите к нашему шалашу. Вместе почавкаем.

— Фи, Виктор, какие у тебя выражения! — поморщилась бабыня.

— Ничего, душечка. Не по-испански же разговариваем... Водчонки? Флакон собственного изделия в чемодане завалился. Слеза! Эй, гарсон, еще одну рюмку! Ишь, как поворачивается. Гражданин вселенной. Одолжение мне, подлец, делает. Раз ты лакей, черт тебя задави, пол под тобой гореть должен! Разве так у нас на Литве служат... Собственный у меня служающий при конторе есть, вроде казачка. Чаю! Даже и не скажешь, палец только подынешь. Он тебе, ракалия, в момент сразу все и прет: чай, пончики, сливочки... Да какие, батенька, сливочки. Президент здешний таких не пьет.

— Ну, мы тут от казачков поотвыкали. Каждый сам себе и казачок, и нянька, и мамка, — добродушно заметил Пронин.

— Ужасно! — ковенская дама трагическим жестом поправила брошку с довоенным портретом мужа. — Я бы и трех дней не выдержала.

— А мы тут тринадцать лет выдерживаем. Экая беда! — сухо ответил Пронин. — И если кто-нибудь из эмигрантов еще казачков держит, это, знаете ли, седьмое чудо света.

— Мы не эмигранты, — гордо пояснила дама.

Пронин осекся. Вот так финик! Не из полпредских ли они ковенских кругов? Серп и молот на буржуазной подкладке?.. Нет, аллюры не те. И у девочки крестик гранатовый на шее, — это у них не в стиле.

— А кто же вы, простите за естественное любопытство?

— Литовские граждане, — с достоинством ответила новая знакомая. — Муж еще в 23-м году подданство принял. У него положение — это необходимо.

Дама так вкусно произнесла «положение», будто бутылку со старой малагой откупорила.

— У меня положение, — солидно подтвердил муж.

И вдруг так весь благодушно и засиял, точно пятки ему гусиным пером пощекотали.

— А это вы насчет седьмого чуда правильно заметили. Действительно, семейство наше за деньги показывать можно... Войны не видали. В Европе по военным приказам с женой мотался, потом так и застряли. Большевизия мимо нас прошла, Бог

миловал,— до Ковно волна не докатилась. Единственный, сударь, русский город, который не захлестнуло. Здорово?

— Бывший русский,— поправила его жена.

— Ладно, матушка. Без тебя известно... В эмиграции тоже не мыкались, потому что еще с двадцатого года я на свою специальную полку попал.

Загибая похожие на морковки пальцы, он, вспоминая все, что его семью миновало, точно роды оружия перечислял: в артиллерии не служил, в кавалерии не служил, в пехоте не служил...

— А какая же ваша специальная полка? — полюбопытствовал Пронин.

— Водочным заводом управляю. Да-с. Чистенькое, сударь мой, дело... — Сахновский назвал место, которое он на земном шаре украшал: не то Лодыжки, не то Пропилишки.

— Аркадия у нас форменная. Как в довоенном раю живем. Сад у нас фруктовый в три десятины. Яблоки с мою голову... Горы. Свины не едят, хоть в пирамиды складывай. Индюшки свои. Сало свое. А я вот в отпуск еду поехал, жене Францию показывать... С жиру люди бесятся. А что здесь видели? Подтяжки да дамские рубашки. Да вот в Сен-Клере этом паршивеньком отсиживаемся теперь, экономии нагоняем.

Дама иронически передернула плечиками.

— Меньше бы по ресторанам слонялся, вот бы что-нибудь и увидел.

— Что же ты меня ресторанами коришь... На твои комбинезоны не меньше ушло. По ресторанам тоже понятие о стране составляешь. Был, между прочим, и в ваших эмигрантских заведениях. Кормят сносно, хотя куда же им до нас. Да из литовской курицы два ваших индюка выйдет! А закуски! Хо-хо! Мой Мишка вам такой дивертисмент соорудит, что язык проглотите. А вот служить у вас не умеют... Это уж, извините.

— Как служить? — переспросил Пронин.

— Да гарсоны эти ваши эмигрантские. Разве так служат?

Водочного управляющего, очевидно, этот вопрос особенно волновал.

— Фамильярность какая-то. Улыбочки. Разговорчики... Каждый должен свое место знать. Принес-унес, раз-два, нечего дурака валять. Расстояние понимать должен. К судомойке пойдешь, ей и улыбайся!

Пронина передернуло. Но он сдержался и чрезвычайно вежливо отчеканил:

— Я в наших русских ресторанах не раз бывал. Служащие там образцовые. Большинство из них настолько воспитаны, что могли бы давать уроки вежливости даже иным господам с ... «положением». И многие из них в прошлом... Впрочем, вы не эмигрант и многого не изволите знать, или не желаете знать. Что же вам и объяснять. Чепуха.

Сахновский переглянулся с женой и посмотрел сбоку на Пронина: «Черт его знает, что за гусь» — и смолчал.

Уютный разговор подходил к концу. Благополучные ископаемые из Литвы жили, очевидно, на другой планете.

— А вы сами чем занимаетесь? — опасливо спросила дама.

Пронин чуть было не ляпнул: «банщик, — в турецких банях квасом головы туркам мою»... Но удержался и, учтиво склонив пробор, доложил:

— Малярное дело у меня, сударыня.

— Собственное? — с благосклонным удивлением осведомился Сахновский.

— С компаньоном вместе держим. Сами директора и сами маляры.

— То есть, как же это? — Дама нахмурилась, брошка с фотографией мужа так и заходила, словно на рессорах.

— Очень просто. Один раз я директор, а компаньон — маляр. Другой раз — наоборот. Когда спешная работа, третьего приглашаем. Вице-директором.

— Какая же, собственно говоря, разница? — оторопело спросил господин из Пропилишек.

— Разница в положении огромная. Директор обыкновенно обои клеит, это много легче. А маляр потолок белит, — голову задирать приходится, белила на лоб капают... Потеешь больше. Вот мы и чередуемся.

Супруги опустили глаза. Оба густо побагровели, хотя на веранде совсем не было жарко.

Пронин поднял с пола котенка, посадил его к себе на плечо и встал.

— Что же вы... и на чай получаете? — складывая салфетку и глядя в сторону, ядовито процедила дама.

— Зачем же? Дело не такое... Сами консьержкам даем, когда работу через них получаем. Вот когда я... гарсоном служил, тогда и сам получал. А что? — спросил он в упор. — Почему это вас интересует?

Она промолчала. Но совершенно было ясно, что уж за Пронина, за выходящее из «их круга» знакомство с ним, супруг полную порцию в номере получит...

Но Пронина уютное семейство больше не занимало. Было и нет. Стоит ли из всякой пролетной моли печенку себе расстраивать.

— Рыбу пойдем ловить? — спросил он гарсона, возившегося в углу с посудой.

— О, сударь, конечно! — весело ответил гарсон. — Вот только стаканы вытру...

И с осторожной лукавостью показал глазами на напыжившихся супругов, с грохотом отодвигающих стулья. Русского разговора за обедом Жозеф, конечно, не понял — но зато в интонациях разбирался отлично...

В это время дверь с лестницы на веранду хлопнула, и в столовую влетела запропастившаяся куда-то во время завтрака дочка Сахновских.

— Половина второго, мамочка! Я свою порцию в углу отстояла... Теперь до самого вечера шалить не буду.

— Молчать!—цыкнула на нее, словно прорвав предохранительный клапан, дама.—На кого ты похожа?! Посмотри на себя в зеркало! Судомойка ты, что ли, или моя дочь?

— Да я, мамочка...

— Сейчас же ступай к себе. Полчаса отдохнешь и опять на час в угол.

— Но, мамочка! Дядя Пронин обещал меня с собой на рыбную ловлю взять... Ну, я после постою...

— Сту-пай на-верх!

Голос главнокомандующего звучал так грозно, что девочку словно пылесосом выдуло.

Пронин поморщился. Ведь вот ей, мышонку бедному, два раза из-за него влетело. Что поделаешь...

Супруги выкатились. Он подошел к стеклу: вдали под метелками камыша проплывала парусная шхуна—ленивый летучий голландец... Мимоза в воздухе чертила нежный узор, качалась, уводила глаза Бог весть куда. А над головой гудел потолок, перекатывалось кресло: должно быть, двухспальные дураки цапаются... Новоградовольнский аккомпанемент.

— Что же, Жозеф, скоро?

— Сейчас, сударь. А как вы полагаете,—он поднял глаза кверху,—карету скорой помощи вызывать не придется?

<1931>

## СТРАШНЫЙ СОН

Господин Бубнов, один из кротких и симпатичных строителей «Парижского бала прессы» 13-го января, вернулся на рассвете домой с первым метро. Воротник у него размяк, усы, щеки и уши обвисли, но зато душа расцвела, как подсолнечник. Слава Богу, все было кончено: желтая больная лихорадка прошла и опять можно было дышать, завтракать и браниться с домашними в нормальном темпе.

Не раздеваясь, если не считать сброшенного на пол левого башмака,—бросился он на кровать, прикрыл голову «Последними новостями» и блаженно закрыл глаза.

И вдруг... те-ле-фон! С отвращением высунул он нос наружу и схватил лежавшую на ночном столике трубку.

— Алло? В чем дело? Меня нет дома...

— Иван Кузьмич? Здравствуйте, здравствуйте! Сколько для бала чайной колбасы надо?

— Для какого, к черту, бала?

— Для бала прессы... Странный вопрос!

— Что?! Да ведь я только что с бала прессы вернулся.

Голос в телефоне изумленно фыркнул:

— Здорово! Вам бы, Иван Кузьмич, голову под кран сунуть надо. Ведь бал прессы сегодня...

Бубнов вскочил. Посмотрел на календарь — тринадцатое... О Господи! Схватил записную книжку, перелистал:

«Срочно добыть двух первоклассных девиц для продажи цветов — и одну обыкновенную в резерв».

«Съездить в типографию за программой и намылить корректору голову за опечатки».

«Кнопки и клей для лотереи».

«Уломать певицу К., чтобы она отложила свой грипп на сутки и пела».

«Кто взял на себя сахар?»

«Попросить конферансье, чтоб он попросил публику, чтобы во время чтения разговаривали не все сразу...»

«Кто взял на себя кильки?»

«Написать экспромт и не забыть постричься».

«Оставить для господина (фамилию по телефону не разобрал) столик. Чтоб он сгорел!»

«Кто взял на себя пирожки?»

«Перетасовать певиц в обратном порядке».

«Пригласить в кабаре д'Аннунцио... Путевые расходы за его счет».

«Кто взял на себя котлеты?»

\* \* \*

Бубнов провел ладонью по глазам и отвернулся к стене... Пульс 140, давление 38...

Под дверь в парадной зашуршала почта.

«Коллега С. читать на балу не может: ячмень под мышкой. Желает успеха и прочее».

«Господин К. жертвует для лотереи детскую ванну и просит приехать за ней в Версаль. Свидетельствует свое почтение. Сейте разумное, доброе, вечное — и тому подобное...»

Чтоб он сдох!

«Скрипач Б., принципиально возмущенный тем, что заметку о его выступлении набрали петитом, — отказывается выступать...»

Бубнов широко раскрыл рот, заплакал... и не стал читать дальше. Быстро подошел к аптечному шкафчику, схватил склянку с нашатырным спиртом, залпом выпил... и, как всегда полагается в таких случаях, — проснулся. В окне серело кислое утро.

Дрожащей левой ногой нащупал Бубнов туфлю и поплелся к консьержке.

Простите, мадам... Какое сегодня число?

— 14-е, сударь. Да вы не волнуйтесь,— платить за квартиру ведь только завтра...

«Квартира,— подумал Бубнов, весь просияв, как натертая мелом медная пуговица.— Нашла тоже предмет для огорчения... А вот заставить бы тебя, матушка, повозиться с балом для прессы,— посмотрел бы я тогда на тебя, ячмень тебе под мышку!»

<1932>

## ПАСХАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ

Алюминиевые копи сегодня пусты. Если идти по верхнему краю, они, как в чашке,— по крутым бокам зигзагами вниз уходят жирные коричневые пласты; перевернутые тачки, ржавые вагонетки и воткнутые в землю лопаты, словно брошенные детские игрушки...

Словно дети без всякого плана исковеркали бока и дно оврага, вырыли ямы, провели игрушечные рельсы, прокопали узенький туннель,— надоело, бросили и ушли... У площадки, где обрывались рельсы, мертво желтел похожий на гигантскую опрокинутую песочницу приемник, откуда руду пересыпали в грузовики.

Бывшему агроному Павлу Пастухову весь этот голый, как ободранная корова, пейзаж давно осточертел,— на ладонях незаживающие пузыри, все тело с головы до пяток проедено красновато-бурой пылью руды. Но дорожка к лесу шла над копиями — и всегда по праздникам он останавливался на полпути и смотрел: так непривычен был безлюдный, празднично-зияющий кратер копей...

Конечно, это только временный и не особенно страшный ад, конечно, «настоящее» начнется, как только он выберется отсюда. Агроном же он, черт возьми,— первая профессия в мире,— а не связка мускулов, двуногий двигатель тачки. Голова свободна, руки и ноги сильны,— но вот шел уже третий год, все то же: мутный гул взрывов, кирка, лопата, тряска вагонетки да механическое, как у дрессированной собаки, втягивание головы в плечи, когда скрежещущий вагончик вкатывался в низенький туннель... Два с лишним года... Он посмотрел на дощатую клетушку-контору,— гнуснее всего то, что он, кажется, стал уже привыкать. Разрезать веревку нетрудно, но — куда пойдешь. Не знал Пастухов на всей земле ни одного адреса, где бы его ждали, улыбнулись навстречу и сказали: здесь.

Он поднес к лицу ладонь ребром, ниже глаз,— копи исчезли. Вдали серым ящиком с замшелой пирамидальной митрой вздымалась над местечком надоевшая колокольня. Скучными каменными баранками жались друг к другу старые дома... Клопы, ревматизм, сырость... Дальше, чуть опущенные свежей зеленью, вдоль дороги тянулись платаны. Грузно наплывающие крутые облака. Похожий на верблюда бесконечно чужой далекий холм... Пестрая гусеница поезда с рокочущим гулом весело всползает на мост, сорока плавной бесшумной стрелой летит черт ее знает куда, толстяк в забитом пылью автомобиле подпрыгивает на повороте и ныряет в лес... Один он, бывший агроном Павел Пастухов, как муха на липкой бумаге,— ни-ку-да...

Он зашагал к лесу и от скуки стал гадать: если до того камня четное число шагов,— уедет в этом же году. Перед самым камнем стал фальшивить и подгонять шаги,— но ничего не вышло. Метнул, как копье, остроконечную палку в груды песка: если вонзится... Но палка с грубым треском растянулась на кремнистой дорожке. К свиньям собачьим... Чепуха.

Вдоль опушки протянулись чахлые сосны с горшочками у стволов. Бурая смолистая кровь застыла бугорками у зарубок, тощие лапы безжизненно сквозили в чаще. Взрывая толстыми подошвами вереск, дошел он, как всегда, до старого каменного столба,— в выбеленной нише, в цветном ободке желтел католический крест из лучинок,— какая-то прохожая душа смастерила... И он вдруг вспомнил: да ведь сегодня русская Пасха. Шевырев просил к обеду не запаздывать,— сегодня же пасхальный обед по раскладке.

С горы идти было веселее,— сердце стучало ровнее, в руке болталась светлая метелочка вербы, камушки, гулко журча, катились вниз... Что ж... Все-таки Пасха...

\* \* \*

Десяток дощатых стойлиц, цыганское жилье,— вытянулись в ряд. В трех крайних, почти у дороги, жили русские. Сквозь распахнутые двери сразу было видно, что жильцы-соседи мало были похожи друг на друга... На стене у Шевырева висели, притиснутые кнопками, генералы; над ними кавказский, в бурых облезлых ножнах, кинжал и выцветший юнкерский погон с проде-тым сквозь петлю блеклым бессмертником. У Пастухова висели штатские: Пушкин, Гоголь, Толстой и, не по рангу рядом, грузный Апухтин; сбоку, на покоробленной доске, пестрела стопка книг. Провансальские мухи, впрочем, с одинаковым усердием, перелетая из двери в дверь, засиживали и военных, и штатских, наполняя клетушки несносным жужжанием... В третьей каморке мухам было мало радости: на стене из-под куцей простыни торчали разглаженные концы брюк— синих, коричневых, серых,— но над простыней свисали с потолка липкие спирали бума-

жек. Чагар-Туганов любил порядок, а романтику свою насыщал заботой о гардеробе, на что у него были свои особые, веские причины...

Соседние стойлицы были наглухо заколочены,— только в самом крайнем, против колодца, жил угрюмый итальянец, по целым часам в свободные дни строчивший у порога на мандолине то «Санта Лючию», то «Интернационал». Пробовал он, было, прислушавшись к русским голосам, разучить и «Коль славен»,— но ничего не вышло. Жил он в стороне, стряпал отдельно, с русскими хмуро здоровался по утрам, дергая мохнатой головой, словно осу стогнял с носа. И даже когда брился перед баракom, склонив к зеркальцу толстые, баклажанного цвета щеки,— он поворачивался всегда к соседям широкой, как шкаф, спиной. Равнодушие, впрочем, было обоюдное. Против «Санта Лючии» русские соседи ничего не имели, но «Интернационал» вызывал в памяти далеко не лирические воспоминания...

В это пасхальное воскресенье итальянца, слава Богу, не было дома, и можно было расположиться на воздухе на полной свободе. Поставили под помолодевшим, шелестящим свежей листвой каштаном столик, покрыли его чистой шершавой простыней. Шевырев постарался: спрессованный с вечера творог, пересыпанный сахарной пудрой, сошел за сырную пасху; яйца окрасил лиловым анилиновым карандашом; кусок тугой ветчины, расставшийся, наконец, с витриной местечковой лавочки, вполне заменил окорок. И посредине— гордость стола— штоф кальвадоса, заправленный какими-то былинками, которые Шевырев разыскал за бугром и, упрямо обманывая самого себя, называл зубровой травой. У ног из ведра уютно торчали, словно жаворонки из гнезда, горлышки пивных бутылок. Ведь вот— и глушь, а почти полный парадный комплект соорудили. Не пороят же из Марселя выписывать...

Чинно уселись. Вся в коричневых подтеках рабочая рубаха отчаянно размахивала рукавами над забором,— у людей, мол, праздник, а ее так и не отмыли... Но сидевшие за столом на рубаху и не смотрели,— белье и пиджачные пары на них были чистые, башмаки и туго приглаженные прически блестели,— только руки да ногти отливали навсегда вьевшимися шоколадными полосами.

Шевырев быстро опытной рукой нацедил в горчичные стаканчики кальвадосу: себе доверху, сожителям по половинке. Наскоро чокнулся и, не дожидаясь попутчиков, ухнул в себя свирепую водку.

— Вполне! Ты что ж, Павел, нюхаешь? Пятьдесят пять по Реомюру. Можешь не сомневаться.

— Не люблю я этого скипидара,— задумчиво отозвался Пастухов. Отхлебнул глоток и поскорее зачихал в рот кусочек каучуковой ветчины.



— А я, душа моя, обожаю. Если при нашей биографии хоть раз в месяц, да еще в такой день, не наалюминиться, что ж это и будет? Пей, Туганов! Арум, бабай! Аллах простит, сегодня русская Пасха...

Татарин повернул круглую голову, аккуратно выпил свою порцию и перевернул стаканчик.

— И все. Какой Аллах? Сам себе запрещаю. Вот ты только начал, совсем красный стал. А что дальше будет? Кровь себе паскудишь, жилки у тебя на носу. Глаза, как у рака... Кто тебя любить будет?

Шевырев размазал на ладони оставшиеся в рюмке капли, жадно вдохнул носом,—это ему вполне заменяло закуску,—и опять потянулся к кальвадосу.

— Ва! Мулла какой нашелся. Кому ж тут любить, чучело крымское? Коза, что ли, проходящая на меня позарится? А что ж делать-то прикажешь,—«Египетскими ночами» услаждаться?

Туганов не понял:

— Зачем наслаждаться. Ночью спать надо. Ну, выпей немножко, подыми сердце... А тебе б скорей, скорей,—черт у тебя в голове рыгать начнет, ты и доволен. Красиво пить надо. Чтоб как птица стать.

Шевырев хрипло захохотал и через стол хлопнул Туганова по плечу.

— А разве я не птица? А ты, Минарет Ахметович... Только ты вот как чижик пьешь, а я—как страус. Что ж, страус насекомое, по-твоему?.. Пастухов, ты чего на забор уставился? Созерцать изволите? Хочешь, я тебя для праздника на крышу посажу?

— Отстань,—рассеянно бросил агроном.—Экий ты, поручик, сегодня шумный.

— Да уж, какой есть. На одной льдине, душечка, плывем, надо нам друг к другу приноравливаться.

— Очень ты приноравливаешься,—добродушно улыбнулся Пастухов и вдруг, насторожившись, повернулся к дороге.

С поворота спускался легкий шарабанчик,—мул, словно притворяясь породистым рысаком, жеманно подбирал толстые ноги. На передней скамейке сидел курносый, желтоволосый хлыщ в новом сиреновом костюмчике и с сознанием собственного достоинства подбирал вожжи.

Шевырев обернулся на скрип.

— А помещику здравия желаю. Не соблаговолите ли по случаю праздника к нам? Финь-шампань у нас сегодня отменнейший... Семь звездочек, собственных погребов, разлива 1935 года. Что-с?

— Не могу,—вяло откликнулся с козел юноша.—Тороплюсь на станцию, посылку получать еду.

Шевырев привстал, изысканно расшаркался и буркнул, достаточно, впрочем, громко:

— В таком случае, ангел мой, псу под хвост. Воздушный поцелуй папаше-мамаше...

Ангел покраснел, стегнул мула, и шарабанчик, упруго подпрыгивая, нырнул в узенькую улочку местечка.

— Ты что ж хамишь? Трогал он тебя, что ли?— сердито наскочил на Шевырева агроном.

— Наплевать. Дармоед он свинячий. Папаша в Марселе с попутного ветра пену снимает... Дела-с. Да еще тут имение изволили завести, шато с марципаном. Прислал эту цацу, видите ли, для ознакомления с хозяйством. Да он козла от быка не отличит, глист курносый. В тачку бы его запрячь, небось бы поумнел...

Туганов отодвинул свою яичницу и внимательно посмотрел на поручика.

— Шайтан тебя разберет. Человек ты правый, генералы у тебя висят, а слова у тебя левые. Десятник у тебя—болван, управляющий—собака, хозяин с тебя полторы кожи дерет. Теперь вот к этому привязался: почему помещик? почему курносый? Левый ты или правый? Скажи мне окончательно.

Шевырев даже опешил, до того его эти слова ошарашили. Налил себе все того же пойла, влил под взъерошенные усы, пополоскал рот и с отвращением проглотил.

— Стану я тебе, арбузная голова, объяснять.

— Не станешь? Потому не станешь, что и сам не понимаешь.

Поручик перегнулся к Туганову, раскрыл было рот, но только хлопнул по спинке стула железной ладонью, повернулся и пошел к себе.

Он как раз дошел до такой точки, когда заваливался пластом на койку, сбивал ногой с колка балалайку и, злобно уставившись в угол, перебирал долго, не нажимая ладов, пискливые, вялые струны...

\* \* \*

Пастухов медленно обогнул пустынную площадь местечка. Солнце и тишина. Заваленная сосновыми пнями стена кооперативного склада. Рядом, изъеденная дождями и ветром, церковь—скудное барокко провансальских местечек... На паперти—одуревшая от скуки коза. У решетки памятника жертвам войны вяло играли дети,—набивали жестянки из-под сардин пылью. По углам площади темнели кургузые шелковичные деревья. У занавешенного камышовыми висюльками входа в булочную, вся в черном, старуха вязала черный чулок,—не третий ли год все тот же бесконечный чулок...

Он спустился по узкой улочке к мосту, мимо жалкого кафе с дремавшими у липких столиков стариками. Гусь, вытянув шею, настойчиво стучал клювом в кран у перекрестка.—Пастухов

дернул рычаг и напоил умную птицу. Перед кузницей стоял поперек дороги мул в пестрой упряжи, мотал малиновыми кистями и фыркал: что же это о нем забыли?

Внизу за безмолвной облупленной школой весело клокотал ручей. Пастухов присел на парапет моста, вздохнул всей грудью. Во всем местечке только этот ручей под наметом каменных дубов был ему близок: вода шумела, взрывала сонную тишину забытого Богом городка, пенясь, летела по крутому ложу вдаль,— русские надежды и мысли так тесно переплетались с беспокойным рокотом и плеском, что и уходить отсюда не хотелось.

Вверху на дороге заскрипели торопливые шаги. Агроном поднял голову: Туганов. Что ж, все-таки свой... Куда это он так расскакался?

— А я к тебе, Павел Петрович. Сойдем вниз, пожалуйста. Тут народ ходит. Секрет у меня один есть,— без тебя ничего не выйдет.

Пастухов удивленно покосился на радостно-беспокойное лицо татарина,— щеки мальвой, глаза, как у взывавшего мула. Малый серьезный, крепкий,— какие еще у него тут секреты завелись?

Уселись под толстым слоновым стволом, у самой воды. Туганов прикоснулся смуглой маленькой рукой к колену соседа:

— Во-первых,— подарок. Сегодня твоя Пасха. Я курить бросил, тебе придется...

Пастухов повертел в руке плоскую грушевую табакерку и улыбнулся.

— Чудак ты, Ахмет. Бросил, а потом опять начнешь. Как же ты без портсигара-то будешь?

— С какой стати начну? Экономию делаю. Слово себе дал,— татарское слово, как воробей в кармане... Бери. Сердцем тебя прошу.

— Да мне за что же?

— Как за что? Фотографию ты с меня снимал, за материал не брал. Французским словам учил... Если бы не экономия, серебряный бы тебе подарил. Ты для меня здесь как брат,— замечательный человек, а ты спрашиваешь, за что?

— Ну, спасибо, Ахмет.

Пастухов вспомнил, что действительно, Туганов у него всю эту весну все какие-то необыкновенные французские выражения выпрашивал. Как будет: «с любезным почтением желаем вам успеха». Как написать: «я человек первоклассный, не какой-нибудь жулик», «характер у меня справедливый, живу как святой, одной рукой три пуда поднять можем...» И требовал, чтобы Пастухов переводил точь-в-точь, без разбавки.

— А теперь смотри.

Татарин вытащил из-под куртки помятый номер французского охотничьего журнала и раскрыл его на последней странице:

— Видишь? Марьяжные объявления. Одна душа, например, под Греноблем вздыхает, другая — у Средиземного моря сохнет.

Ты не смейся, пожалуйста,— вопрос серьезный. Как им познакомиться, если друг про друга даже во сне не слыхали?.. А может, они один к другому, как ножны к кинжалу, подходят, только адреса не знали... Потому и печатают. Журнал помогает. Ты человек образованный, должен понять.

Агроном, ласково прикоснувшись к плечу Ахмета, добродушно усмехнулся.

— Ишь ты какой... Ну что ж, нашел ты свою душу?

— Приблизительно нашел. Конечно, объявления всякие бывают. Одной нужен солидный мужчина, предпочтительно жандарм. Я тут ни при чем. Другая рассчитывает, что ты прочный миллионер, будешь ее всю жизнь одной халвой кормить. Третья хочет на короткую любовь наняться,— она холостой, ты холостой, посредине голые деньги... Какой мне расчет? Пять раз туда-сюда писал. Кажется, теперь окончательно вышло.

Туганов порылся в бумажнике и протянул фотографию. Пастухов долго и внимательно рассматривал карточку: доброе, круглое лицо, провансальские теплые глаза, сдобные плечи в кружевной косынке, общий облик — хозяйственный и степенный, несмотря на зажатую в полной руке глупую бумажную розу...

— Одобряешь? Можешь не говорить, сам понимаю. Девушка. Кругом сирота. Земля у нее под самым Фрежюс, полтора гектара, домик — шесть комнат. Климат крымский. Ты понимаешь? Пишет, что ей максимально тридцать семь лет. Ну, допустим, тридцать восемь. Тоже мы не умрем от этого. Мне, конечно, тридцать четыре. Я молодой, красивый. Маленькую экономию сделал... Если вместе сложить, как раз полное счастье выйдет. Мул у нее, кажется, тоже есть... Вчера всю ночь в словарь смотрел, переводил. Почерк неразборчивый. Понравился я ей тоже... Карточку свою послал, пишет, что «тре жоли»... Проверь, пожалуйста.

Пастухов проверил: мул, действительно, был и насчет «тре жоли» тоже было верно.

— Ну что ж, Ахмет, поздравляю. Пожалуй, что ты в самую цель попал. Скучно мне без тебя будет, да что ж, у каждого своя дорога...

— А ты подожди...— Туганов круто повернулся к агроному.— Может, скучно и не будет... Потому что теперь в тебе главный секрет и есть.

— Я тут при чем? Не на мне же ты, Ахмет, жениться собираешься!

— Не понимаешь? А еще образованный! Да мне же теперь ехать к ней надо, разговор окончательный вести. Со словарем поеду? С тобой поеду. Субботу-воскресенье,— за рабочий день тебе заплачу, разве я не понимаю. Во-вторых, полтора гектара... Ложкой я их есть буду? А ты — золотой человек,— агроном, языки знаешь. Курорт рядом, овощи продавать будем, кафе откроем. Ты думаешь,— я дурак? Дай мне только лестницу, я тебе на самый верх залезу. И тебя вытащим. Плохо тебе будет?

Комнату тебе дам, процент настоящий дам, обедать, ужинать, как брат с братом, вместе будем... Разговаривать за меня будешь... Я без тебя как трехлетний... Серебряный портсигар тебе куплю. Почему молчишь? Такой человек разве здесь сидеть должен, на вагонетке тормоз вертеть, скрипкой гвозди заколачивать?.. Красивое письмо мне сегодня напишешь,— предупредить надо. Дорога туда-сюда моя. Закуска тоже моя,— как принц поедешь...

Пастухов встряхнулся. Вот так история... А ведь, пожалуй, эта татарская голова игру свою до конца доведет. Он недоуменно пожал плечами и смущенно посмотрел на Ахмета, но тот и без слов понял:

— Поедешь. Верблюды дома сидят, орел дальше летит... Я, Павел Петрович, человек привязанный, очень к тебе привязался... Может, там у нее, в Фрежюсе, сестра для тебя подходящая найдется,— и тебя женим... Дела вместе такие начнем,— ах! ах! — сам себя в зеркале не узнаешь. Только ты этому господину Шевыреву ни слова не говори. Он, дикий буйвол, смеяться начнет. Кто сам прилип, очень не любит, когда кто-нибудь окончательно вылезает... А я человек горячий,— неприятность может выйти. В морду могу дать, потому что дело серьезное. Сердцем тебя умоляю...

Ручей весело клокотал. Ветер переворачивал у ног страницы охотничьего журнала,— Пастухов вытащил из нового портсигара папиросу, закурил и потянулся.— «А черт его знает... Одна татарская душа на алюминиевых копиях вздыхает, другая, провансальская, у Средиземного моря сохнет: авось и спойются. А третья душа по этому случаю на процентных основаниях будет артишоки сажать... Такое уж эмигрантское дело: только и выскочишь, если на фантастическую лошадку поставишь...»

Он встал, отряхнулся и просто и дружелюбно сказал Ахмету:

— Ну что ж... поиграть можно. Пойдем красивое письмо писать.

\* \* \*

Пастухов долго не мог уснуть. За стеной зверски храпел Шевырев, выдувал хмель скрежетом и свистом. Лунный ободок переливался в оконце, подмигивал: «Уедешь, душа моя?»

— Кто же его знает,— подумал агроном.— Фасад у Туганова приятный... Сорокалетней девушке, если до того дожгло, что в охотничий журнал сунулась,— не Ивана же Царевича дожидаться. А разговор весь от меня зависит. Как повернется. О Господи! В сваты попал,— пожилую трепетную лань с меркантильным Адонисом сводить буду. Пес их знает,— в жизни это не такая уж плохая комбинация. Кто на ком еще ездить будет...

Он сел на койку, потянулся к полке, вытащил томик Толстого, раскрыл наудачу и, поджав ноги, стал от скуки читать.

«Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой, стройный рост

и могучая грудь и плечи и, главное, ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темной тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки...»

«Вот-вот,— рассмеялся он беззвучно.— В самую точку. Держись теперь, Ахмет,— сердцем тебя умоляю...»

В дверях зашлепали туфли. Взлохмаченный, с расплоснутым лицом, Шевырев стоял быком на пороге...

— Читаешь? А я, брат того. Переалюминился. Рому у тебя не осталось ли для поправки?

— Камфарный спирт есть.

— Бездарный ты человек, Павел. Да. Забыл тебе сказать: вчера без тебя учитель здешний приходил,— звал нас в эту субботу к тетке своей,— форель в речке ловить. Поедешь?

Пастухов смущенно перевернул в руках портсигар.

— Не могу, дружок. В эту субботу дело у меня одно наклеивается.

— Чудеса. Какие же тут дела? Все мы здесь, когда не на работе,— либо мух бьем, либо на забор зеваем...

— С Тугановым, видишь ли, дня на два по одному делу съездить надо...

Шевырев удивленно посмотрел на белую фигуру, сидевшую на койке, и прислонился плечом к косяку.

— Имение покупаете?.. Если, в случае чего, управляющий вам нужен, я к вашим услугам. Поручик Шевырев. Непьющий и некурящий. Отличные рекомендации от агронома Пастухова.

— Да нет же, комик. Ахмет, ты же знаешь, давно... мотоцикллетку хотел купить... Прочел объявление, что тут в городке одном, по сходной цене продается. Вот и поеду с ним,— насчет языка он ведь того,— как новорожденный.

— Подержанная?

— Не знаю. Кажется, еще ничего.

— Сколько сил?

— Четыре, что ли. На месте увидим...

— Заднее седло есть?

— А черт его знает. Как будто есть.

Очень трудно было Пастухову врать, да и вообще в мотоцикллетке на расстоянии разве разберешься... К счастью, Шевырев оторвался от косяка и занес за порог унылую ногу.

— Ну, будь здоров, Спиноза. Заднее седло, смотри, чтобы крепкое было. Приятелей своих, поди, кой-когда Ахмет покатает... Он, собака, добрый.

Пастухов дунул в лампочку,— желтый мотылек погас. Достал из лунного шкапчика жестяную банку, и чтобы как-нибудь от всей этой чепухи отойти, стал, вздыхая и кряхтя, выскребывать со дна яблочное желе.

Душок над стойкой стоял густой и сложный: нудно пахли в июльской духоте распластанные на тарелках кильки; рыжие пирожки излучали аромат прогорклого тюленьего жира; кислая капуста вплеталась в копченый колбасный душок; слоеные пирожные, по-русски крупные и густо засыпанные пудрой, приторно благоухали рядом с горкой котлет, щекотавших ноздри выпивающих и закусывающих гостей добротным запахом пережаренных сухарей. Но над всеми запахами царило алкогольное амбре, словно чудом перенесенное в Париж из какого-нибудь старого извозщичьего петербургского трактира с Коломенской улицы... Лекарственное дыхание зубровки, крепкий с водочной кислинкой аромат белой головки, шершавый запах перцовки, горьковато-терпкий букет померанцевой,— и как фундамент над всеми спиртуозами,— теплый и тошнотворный, застоявшийся пивной чад.

Дарья Петровна за свои четыре ресторанные года ко всему притерпелась — к ночной работе, к излипаниям и возлияниям торчащих над стойкой разнокалиберных голов, даже к мигрени своей привыкать стала... А вот к этому сложному, сгущавшемуся к вечеру настёю никак привыкнуть не могла,— только прижимала к ноздрям смятый в тряпочку платочек, да мученически поводила глазами. Хоть бы форточку по-русски в витрине завели, ироды! В кочегарках только адовой духотой да угольной пылью людей сушат, а тут летом похлеще кочегарки...

Работа только развertyвалась. Через садик,— четыре ящика с буро-зеленой замученной паклей на прутьях,— входили клиенты. Подкатывали перед ночным рейсом шоферы, чтобы подкрепить душу пирожком с вязигой, большой рюмкой водки и двумя-тремя милыми словами: сегодня Дарья Петровна дежурит. Приплелся знакомый конторщик, измолчавшаяся на службе беспокойная душа,— сейчас доест свои голубцы и начнет спорить с любым гостем направо, гостем налево, в любом направлении «туда и обратно». С каждой рюмкой зубровки все крепче будет чеканить каждое слово,— все трезвее и категоричнее рассуждать,— такая уж у него манера пьянеть. Рикошетом вкатились трое французских рабочих. С этими возни немного: свежепросольный огурец, перцовка и здравствуйте-прощайте. Двое — постарше, усталые глаза, серые, точно цементом запыленные лица; безучастно смотрят на хозяйкин бюст — даже и такая чудовищная штука им не в диковинку, и только после второй рюмки перцовки удивленно взглянули друг на друга: серьезная водка! Третий рабочий, до чего забавно,— совсем как русский приготовишка,— волосы светлым пушком, круглые детские глаза,— хотя лет ему, конечно, тридцать с гаком. Перцовкой чуть не подавился, куда ему такая... И все посматривает на Дарью Петровну; прицелился было заговорить,— да не решился или не сумел. А ей

наплевать — и своих прилипал достаточно, — «досыть», как говорил пан Дробышевский после пятнадцатой рюмки.

Перегнувшись над стойкой, она заткнула чью-то пристававшую к ней пасть пивом и пирожками и вспомнила о своей девочке. Сидит там в последней комнате и ждет. В отеле ни за что не хотела оставаться. Бедная мартышка, чужая она какая-то стала. Сидит в свободные часы на постели и все о своем Гавре рассказывает...

Уже два года, как Дарья Петровна переборола себя, — легче было бы руку отрезать... Отдала дочку знакомым еще по России французам в Гавре; цену берут божескую, учится она там, из сумрачного зверька превратилась в безразлично-вежливую французскую девицу. Теперь, перед отправкой в детский русский лагерь, несколько дней живет у матери... Сегодня, в дежурный день, притащилась сюда. Вот будто и отходит куда-то в сторону, — теплые детские дни где-то там, в чужом городе, делают свое, — школа, подруги, ласковые к ней бездетные французы. «Дядя и тетя» вчерашнего числа, а ведь скоро и совсем родными ее дочке покажутся... Приехала в Париж, глаза чужие, все всматриваются. Тоже прокурор нашелся. Однако от матери ни на шаг... Вот и сюда, в распаренную обжорку увязалась...

Дарья Петровна встрепенулась, вспомнила о клиентах и во все стороны стала бросать:

— С мясом сейчас будут, с вязигой есть и с рисом...

— С вас — три водки, две котлеты, — рыжиками закусывали? Восемь с полтиной. Мерси.

— Иван Поликарпович, оставьте мой локоть в покое. Не для вашего носа.

— Закусывать, Петенька, надо. А то один такой пил, да не закусывал... Спирт в нем и загорелся...

\* \* \*

В последней комнате было уютнее и тише. Обои в лирах с бурыми розанами, точно в русском уездном номере: на стене «Дворец Дожей» и часы с гирей. Толстый кот, сонный брюнет Митька, вяло переходил от столика к столику и равнодушно отвертывался от подачек: тоже — еда... Отдельные поздние, мирные клиенты в тишине доедали перестоявшийся на кухне ужин, больше четвертинки ординарного вина не заказывали, — иногда мысленно подсчитав наличность, — была не была! — спрашивали стакан чаю и ягодное пирожное. Не у стойки ели, — на каждый день каждый франк рассчитан.

Подавала душка-ватрушка Тамара, не к имени масть — в пыльно-бурых, оберточной бумаги, кудряшках, по сложению «уютная крошка», губы алым пупочком, глаза — пьяный крыжовник. Томно заводила, подшлепывая себе ножкой, граммофон; потряхивала бюстиком, подтанцовывала от кухонной двери



к вешалке и безостановочно, видимо не в силах удержаться, стреляла глазами в кота Митьку, в Кис-Кис,—дочку Дарьи Петровны, в каждого попавшегося по прямой линии клиента, даже в седого дикобраза—повара, высовывавшего, чтобы отдышаться, голову в дверное окошечко...

Кис-Кис,—по-будничному называлась она просто Катюшей,—сидела у стены, лепила из черного хлеба гаврских матросиков и терпеливо скучала. Третий пирожок не лез в горло, даже кот отворачивался. Посетители какие-то вялые, жуют—в тарелку только и смотрят, не то что во французских ресторанах. Тамара,—какое смешное имя,—все к ней пристаёт: тискает, целует, а сама в это время на клиентов русалкой смотрит, да меню себя, как веером, обмахивает. Куда ж ей до мамы,—та гордая: стоит за стойкой, как премированная красавица, не то что эта канарейка с бюстиком. Вот только кот понравился девочке,—ленивый, толстый, а шалит с нею, подлизывается: на задние лапки стал, передними о колени уперся, язычок показывает... Да повар-старичок симпатичный. Мама говорила, что он бывший нотариус. Должно быть, поваром выгоднее быть. Только почему он не пострижется, летом даже пуделей стригут, ведь жарко... Подошел к ней, по голове погладил, книжку с полки дал: картинки понятные, а напечатана по-русски... Хоть бы они латинским шрифтом печатали, легче было бы разобрать!

Кис-Кис встала. Ах, как долго ждать, пока мамино дежурство кончится. Она скользнула мимо вешалки в коридор, подобралась к портьерке, загнула в углу краешек и стала смотреть. Будто мама и будто не мама. Сколько у нее лиц, одному полслова, сунет, что надо, и отвернется, будто собаке кость; к другому наклонится, улыбнется,—дерзкая такая улыбка. Зачем с чужими секретничать, на ухо шепчет, по плечу его хлопает. И все курит. Четверть папироски высосет, на тарелку положит, забудет, а потом у того толстяка, с которым смеялась, свежую из портсигара тянет. Нехорошо. И зачем столько пьет... Ну, пила бы оранжад или сидр... Разве дамам можно русские кальвадосы пить? С толстяком выпила, с тихим шофером, что в уголке котлету ест. А потом сама себе, будто нечаянно, что-то темное налила, выпила, поморщилась. Глаза злые стали, гордые. На портьеру смотрит, Кис-Кис съежилась: «А может быть, она почувствовала, что я за ней подсматриваю? Грех...»

Толстуха-хозяйка из кассы зевнула, покрестила себе рот, а потом—точно вспомнила, вытатила зеркальце и стала красить губы. Тоже,—чайная колбаса. Крась—не крась, ничего тебе не поможет... Девочке стало скучно и, щелкая пальцами по скользкой стене, она опять поплелась в заднюю комнату. Села в сторонке, достала из сумочки свое сокровище—шоколадные картинки и стала их сортировать. Конца этому дежурству не будет!

На высоких табуретках над стойкой торчал полный комплект. Одни выпивали усидчиво, с разговором, чокались с при-словьями и, поигрывая пальцами в воздухе, выбирали: чем бы закусить. Другие, не теряя времени на пустяки, опрокидывали в себя свирепую водку, пихали в рот, что под руку попадет, и скрывались за дверью, растворяясь в душной уличной мгле.

Звякнул колокольчик. Дарья Петровна покосилась и брезгливо поджала губы. Вошла знакомая, до тошноты неаппетитная личность: бабье, обрюзгшее, цвета сырой говядины личико никогда не просыхавшего милостивого государя; кислые, наглые глазки, поднятый воротник, обвязанные грязным шарфом одутловатые щеки,—и поверх всего этого идиотский соломенный лопух. Сейчас эта моль начнет вязаться...

И точно. Личность придвинула к себе бокал пива, счавкала три пирожка и, вытирая концом шарфа мокрый рот, подчеркнуто громко заскулила:

— Почему ж пиво теплое? Особа! Я в а спрашиваю. И вы, как служающая, не имеете права нос воротить. Не достаиваете? К свиньям собачьим. Почем пирожки?

— Франк.

— А сколько я съел?

— Три.— Дарья Петровна отвечала отрывисто в сторону, с каменным лицом, словно с плевательницей разговаривала.

— А не два?.. Насчитываете? Все вы тут сво... Впрочем, извиняюсь: «Илья Муромец» называется, а пиво, как конский пот, теплое... Не нравится вам? В институте воспитывались... Почем бутерброд... с так называемой колбасой.

— Франк.

Личность, обращаясь ко всем, развела грязными лапами:

— Ну вот... Разве ж не сво... А я еще извинялся. Рюмку водки, крупного калибра. Носик изволите пудрить? Клиент ждет, а они — носик... Мопассана, может, еще вам принести?

У Дарьи Петровны задергалась левая бровь. Нельзя, нельзя. Это подобье человека только того и хочет, чтобы она из себя вышла. Лучшая для него закуска.

Хозяйка сидела, как задумчивая тумба, и навивала на палец распустившуюся за ухом висюльку. Клиент паршивый, но все ж таки клиент, надо ж ему на свой франк поломаться. Гости насупились: что за свинья такая неуютная... Следовало бы, собственно говоря, дать ему по морде,— что же он, гнус, к Дарье Петровне пристал. Но никто этой щекотливой миссии на себя брать не хотел.

И вдруг, никому не известный, тихонький заморыш, незаметно надравшийся в уголке у окна, приподнял опущенную на локти мутную голову, вслушался в наглый пустобрех личности, обвязанной шарфом, и встал. Твердо и вежливо подошел,— не

говоря ни слова, взял ломавшегося клиента за ворот, круто повернул, довел до дверей... И, словно в помойку разбитый горшок выбрасывал, молниеносно высадил его за дверь.

Все головы повернулись к витрине: личность за стеклом помахала для вида руками, раскрыла было рот... и уплыла, вихляя, как на роликах, из поля зрения. Кажется, милостивый государь был даже таким финалом доволен: ведь платить за пирожки и пиво будет тот,—выкативший его на свежий воздух.

Дарья Петровна удивленно и благодарно улыбнулась было неизвестному, но тот, уронив голову на руки, окаменел над стойкой. Откуда он, рыцарь такой, взялся.

А в другом конце стойки уже другой номер разыгрывался. Насосавшийся парикмахер, неизменный поклонник «Ильи Муромца», жукообразный человек без лба и с некоторым подобием глаз, тыкал пальцем в свою сидевшую рядом жену,—кроткую, как божья коровка, замухрышку,—и хрипло апеллировал ко всей, брезгливо-глухой к его словам, аудитории.

— Ну, скажите же на милость, как я на такой гниде мог жениться? Я! Выбрал, нечего сказать... Ты бы Бога должна за меня двадцать шесть часов в сутки молить, а ты морду свою неинтеллигентную воротить... Ну, скажите ж, господа, как я такую лахудру до себя допустить мог?

Неизвестный очнулся и стал было прислушиваться, но Дарья Петровна, мудрая и опытная укротительница зверей, крепко прихватила его за локоть.

— Нельзя! Пес с ним, бросьте. Постоянный клиент, чума бы его задавила. Сельтерской, может быть, хотите? Вредно вам пить, голубчик.

Но он сельтерской не хотел. Смущенно улыбнулся, провел ладонью по липкому лицу, словно смазал с себя хмель, молча и аккуратно расплатился и вытащил из-под себя распластанную в лепешку шляпу.

Дарья Петровна остановила знаком уходившую домой Тамару.

— Что Кис-Кис? Господи, Боже мой,—неужели все там одна сидит?

Но уходившая подруга,—от усталости даже глазами она кое-как повертела, успокоила ее:

— Спит твоя Кис-Кис. На старых газетах в чулане ее уложила. Дивный ребенок! Обожаю.

Загадочно улыбнулась себе в стеклянную дверь и, вертя бюстиком, ушла.

\* \* \*

Настали те блаженные полчаса, которые для хозяйки и для персонала «Ильи Муромца» были единственным подобием ресторанного счастья. Полуприспустили над витриной и входною

дверью железную штору. Собрались за столиком у ящика с никому не известным запыленным растением. Повар в пиджачке и мягкой шляпе, сразу ставший похожим на человека, крошил в стакан горсть сушек и, отдуваясь, пил чай. Хозяйка, Агафья Тимофеевна, усадив на свои слоновьи колена кота, теребила его за ушами и сладко позевывала. Выручка за день была не плохая; в кадочках, в лавке, все те же знакомые с детства грибки и огурцы, народ в ресторане болтался приблизительно такой же, как когда-то в Мценске. А что вокруг все эти там чужие улицы Парижем называются, не все ли равно... Париж ее не съест, поперхнет, пожалуй...

Дарья Петровна пила красное вино, терпкое, стягивающее язык пойло, и отдыхала всем телом,—от ноющих пяток до подставленного ночной прохладе лба. Крепкая она была на вино, любому боцману не уступит. За день наглоталась немало, и из любезности и просто потому, чтобы перебить чад и гам... Зачем теперь пила, сама не знала,—просто бутылка рядом стояла.

Обхаживающий ее весь вечер русский мебельщик, похожий на репинского запорожца, толстяк, молча курил рядом и досадливо побряхтывал. Чего ж она здесь вино это дует,—охота зря валандаться... Обещалась ведь на Монпарнас вместе ехать, к неграм в кабак. Чего ж тут прохлаждаться?

Кис-Кис сидела у ног хозяйки на тумбочке, крутила коту ушко и тоже ждала... Опять пьет. Вот повар чай из блюдца сосет, помощник его — квас, а она, дама, вино.

— Мамик, скоро? — спросила она, нетерпеливо поеживаясь.

— Что, Кис?

— Домой пойдем...

Дарья Петровна нахмурилась. Посмотрела на толстяка, на дочку. Конечно, свинство, конечно, домой надо идти с ней — с Кис,—так долго ее девочка ждала. Лечь рядом, гладить детские пушистые волосы, пока та, прижавшись к ней, не уснет. А потом и самой, рядом с ней, блаженно закрыть глаза. Но на нее еще с утра накатило, как часто бывает в дежурные дни. Недаром она столько сегодня пила... А главный разряд — ночью, с кем-нибудь из знакомых брандахлыстов: быстрый лет такси, ночной ветер в глаза... Чужой кабак, где Ей подают, где она — барыня... Идиотская, укачивающая, гнусавая музыка, вихляющие перед глазами в модном танце фигуры, с подчеркнуто-каменными лицами, напирющие друг на друга, солоновато-острый вкус коктейля с зеленой маслиной... Может быть, она бы и отправила толстого мебельщика ко всем чертям,—и не таких свиней сплавляла,—но весь день она чувствовала на себе укоризненные глаза дочки и в сухой истерике накалилась: гувернанткой над матерью хочет быть? Нет, уж это — ах — оставьте.

Она отозвала Кис-Кис в сторону. Через минуту Агафья Тимофеевна услышала у крайнего столика сдержанный детский плач, стряхнула с колен кота и повернула голову:

— Чего это она, Даша?

— Да вот еще штуки какие. Не хочет одна спать идти. Я ж ее провожу. У меня на Монпарнасе деловая встреча, обязательно обещала приехать. Через час вернусь. Перестань плакать, слышишь?

Толстяк недовольно хрюкнул, встал и стал напяливать перчатки.

Агафья Тимофеевна, с трудом оторвав от скамейки грузное тело, подошла к девочке, взяла ее за плечико и повернула к себе.

— Брось, Катюша. Чего ж ты мамашу зря огорчаешь? А знаешь, что я тебе скажу,—пойдем-ка ко мне спать, я тут в уголке и живу, против мамашиной гостиницы. У меня кровать—взбитые сливки, кота в ногах положим. Канареек своих покажу, чай, давно уже спят. Пойдем, детка, пастилы с собой возьмем,—яблочную любишь или клюквенную?

И теплой мягкой рукой притянула к себе девочку, заслонив от нее отъезжающее такси.

\* \* \*

В углу, перед темным суровым ликом сиял зеленый язычок лампадки. Кот урчал в ногах, толкал лапками, нежился. Кис-Кис, закинув худые локотки, вытянулась вдоль стенки и, недоверчиво сжав губы,—совсем она на мать стала похожей,—вслушивалась в тихие слова Агафьи Тимофеевны.

— Ты, Катюша, еще несмышлениш. Где ж тебе понять... А осуждать мамашу грех, она тебя вспоила-вскормила. Может, у нее и взаправду на Монпарнасе дело есть. Скажем, к знакомому французскому ресторатору зайдет, спросит, где для «Ильи Муромца» по сходной цене лафит купить можно... Мы ж ему не конкуренты, версты за три торгуем, да не нужно ли ему каких русских продуктов, у нас же окромя ресторации—лавка. Мамаша свой процент получит, тебе ж в лагерь гостинца пришлет.

— Мне не надо.

— А ты не скворчи. Ишь, зубастая какая. От матери—и не надо...

— Разве она днем не могла к французскому ресторатору поехать?

— Когда ж днем? Видала, какая у нас карусель. Высморгать-ся, и то некогда.

Девочка вздохнула. Голос у Агафьи Тимофеевны солидный, убедительный,—зачем она врать будет.

— Могла бы и завтра поехать, со мной вместе.

— Стало быть, не могла. Зачем ей выходной день себе портить? С тобой его и проведет. Может, завтра и ресторатору некогда... Тоже они, французы, как блохи,—сегодня здесь, а завтра в своем шате редиску сажает? Дело ведь летнее.

— А этот толстый зачем с ней поехал?

— Толстый ли, худой, тебе-то что? Женщине на Монпарнасе ночью одной раскатывать неудобно. А он человек известный, мебель нам для ресторана делал. Почему ж ему симпатичную русскую дамочку не подвезти? Опять же мамаша туда-сюда зайдет,— она на всех языках строчит... Присмотрится, где какой обиход, может, нам и пригодится...

Кис-Кис прикоснулась к толстому, жаркому телу хозяйки и голой ступней пощекотала коту живот. Нет, не врет. Просто у мамы метье<sup>1</sup> такое скверное, никогда отдыха нет.

— А вы, Агафья Тимофеевна, по-французски говорите?

— Нужен он мне, как игуменье мотоциклетка. Персонал весь говорит, за то и деньги плачу. А я за кассой. Сдачу и французам дам, ежели понадобится. У нас, милая, в Мценске, француз в семействе одном в гувернерах двадцать лет прожил. Окромья «водки» да «бифштекса» ни полслова по-русски не знал. Однако ж, жил — не жаловался, дай Бог каждому.

Девочка засмотрелась на лампадку: если смотреть не мигая, зеленый язычок все ближе-ближе,— прямо в глаза вонзается.

— А ваш кот пастилу ест?

— Зачем же ему, детка, пастила. Коты более на рыбное налегают. Да у нас его так раскормили,— чистая попадья. От котлеток и то нос воротит... Чего ищешь? Ты за кровать руку-то сунь, там у меня завсегда тряпочка лежит, после пастилы руки вытирать.

Кис один за другим обтерла липкие пальцы, прижалась к горячей, как жаровня с каштанами, спине Агафьи Тимофеевны и прищурила щелочкой глаза,— лучик стал тоненький-тоненький. И пропал. Откуда-то с потолка пахнуло гаврским морским ветром. В окно медленно вплыл с протяжным ревом, высоко вздымая нос, океанский, цвета чайной колбасы, пароход и бросил якорь у самой спины Агафьи Тимофеевны. Столб брызг... Девочка пожевала во тьме губами и затихла.

Хозяйка «Ильи Муромца» осторожно выпрямила закинутые за голову руки Катюши, согнала кота с постели и боком покосилась на нежный детский профиль. История... Почти лет сорок с ребенком не спала, с той поры, как Ильюша ее маленьким был. А теперь у Ильюши — из Праги карточку прислал — борода с проседью.

Врать на старости лет дитяти пришлось, мамашу выгораживать. А что ж скажешь? Не в горелки играть на Монпарнас ездят. Успокоила детское сердце, за грех не зачтется.

Подбила под поясницу подушку, прислонилась и стала в уме прикидывать, во что ей засол огурцов в этом году обойдется. Все равно ведь не скоро заснешь сегодня...

<1932>

<sup>1</sup> Ремесло (фр.).

## КОММЕНТАРИЙ

Настоящий том является наиболее цельным в жанровом отношении в собрании сочинений Саши Черного. В нем представлены беллетристические произведения писателя. Причем впервые под одной обложкой собраны все выявленные на сегодня рассказы Саши Черного. Впрочем, за одним исключением: известно, что в харбинской газете «Заря» 1 января 1929 года был опубликован его рассказ «Три спортсмена». Однако все попытки разыскать этот номер пока не увенчались успехом.

Говоря о жанровой цельности, следует иметь в виду, что Саша Черный не был писателем-прозаиком в привычном, традиционном понимании. Поэтому при формировании корпуса данной книги в ряде случаев существовала дилемма: считать ли данное произведение рассказом или тем, что сам автор именовал «сатирой в прозе». При таком отборе субъективный элемент неизбежен.

И еще одна проблема не могла не возникнуть в связи с двуадресностью некоторых произведений Саши Черного. Ибо и сам автор зачастую сопровождал свои публикации подзаголовками такого рода: «Рассказ для детей и взрослых» или «Рассказ для больших и маленьких». Все, обращенное к маленьким читателям, составило отдельный том. Поэтому в качестве названия настоящего тома естественно воспользоваться первой половиной авторской формулировки: «Рассказы для больших». Подобный заголовок позволяет обобщить тематическое и стилистическое разнообразие рассказов Саши Черного, создававшихся на протяжении почти всей его творческой жизни — с 1910 по 1932 год.

В основу композиционного расположения материала положен хронологический принцип. Сохранен, так же как в предыдущих томах собрания, принцип некоего цельного ядра авторских книг, состав и построение которых дается в соответствии с авторской волей. Для данного тома таковой является книга, изданная Сашей Черным в 1928 году, — «Несерьезные рассказы».

Остальной свод беллетристических произведений автора дошел до нас в виде «печатного архива», то есть отдельных публикаций, рассеянных в периодической печати дореволюционной России и русского зарубежья. Сама жизненная и творческая судьба писателя предопределила деление их на две части: «Рассказы, написанные в России» и «Эмигрантские рассказы, не собранные в книгу», которые могут рассматриваться в некотором роде как дополнение и продолжение «Несерьезных рассказов». Внутри каждого раздела (за исключением «Несерьезных рассказов») материалы выстроены строго хронологически (в порядке их появления в печати).

В комментарии каждый рассказ снабжен библиографической справкой, в которой сообщаются сведения о первой публикации: для журналов — это год, номер, страница, для газет — год и дата. Место издания отмечается для всех городов, кроме Парижа (ввиду его наибольшей повторяемости в публикациях Саши Черного).

В подавляющем большинстве случаев указывается первая публикация про-

изведения. При этом дата заключена в угловые скобки, что говорит о косвенном способе ее установления.

В комментариях отмечены также факты публичного чтения автором своих произведений, что позволяет отнести время появления рассказа на несколько более ранний срок. Даты и пометы, проставленные самим автором, даны без скобок.

Теперь о собственно самом комментарии. Художественная проза, в отличие от сатиры, публицистики и критики, как правило, не отражает сиюминутные жизненные коллизии, и потому комментарий, казалось бы, может быть сведен к минимуму — к примечаниям, то есть к толкованию специфических и вышедших из употребления слов, разъяснению библейских выражений, исторических и культурных персоналий. Это первый, что называется, традиционный пласт комментирования.

Следует, однако, помнить, что рассказы Саши Черного, отделенные от нас почти вековой дистанцией, были адресованы его современникам. За многими российскими реалиями, за какой-нибудь вплетенной в текст песенной строкой таится огромный устоявшийся мир чувствований, бытований, обычаев целых поколений. Что тогда говорить о конкретике бытия наших соотечественников, осевших после революции за границей, — она всегда оставалась для нас тайной за семью печатями. Здесь как раз и необходим комментарий, восходящий к реалиям и реальности, опирающийся на свидетельства очевидцев, материалы повременной прессы (интервью, хроника, рекламные объявления и т. п.). Можно сказать, что реальный комментарий как бы размыкает пространство в этот исчезнувший мир, способствуя более точному и глубокому прочтению прозы Саши Черного.

Комментарий также раскрывает цитаты, объясняет происхождение и смысл расхожих некогда словечек и речений. Эмигрантская практика также способствовала появлению новых словообразований, вошедших в обиход русской диаспоры.

Особого внимания заслуживает автобиографический элемент в художественной прозе Саши Черного. Ему, как поэту по своей сущности, свойственно было выкраивать сюжетные коллизии и отдельные фрагменты из собственной судьбы и личности. Поэтому одной из задач реального комментария данного тома было распознавание в художественном тексте истинной подоплеку, прототипов и локуса, имевших место в действительности. Иногда наоборот: некоторые элементы произведения позволяли высветить доселе неясные моменты биографии автора.

Для любителей «писательской кухни» могут представить интерес фиксации и расшифровки автореминисценций и всевозможных аллюзий, отсылки к семантическим и синтаксическим переключкам, а также соотношения в пространстве всего наследия Саши Черного.

Текстология тома сравнительно проста. Произведения печатаются по тексту первой (и чаще всего — единственной) прижизненной публикации либо по тексту книги «Несерьезные рассказы». Орфография и пунктуация приведены к современным нормам правописания. Однако сохранены те особенности, которые могут рассматриваться как индивидуально авторские и вследствие этого семантически значимые.

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность всем, кто в самой разнообразной форме способствовал работе над комментарием. Помимо уже указанных в предыдущих томах лиц, — это филолог-германист Р. Р. Чайковский. И еще: неоценимую помощь и поддержку в подготовке собрания сочинений Саши Черного мне оказывала моя жена — Ирина Михайловна Иванова, можно ска-



зять—мой соавтор. Она не только сверяла тексты и перепечатывала их, но и участвовала во многих кропотливых разысканиях, украсивших комментарий. Но, пожалуй, наиболее важным и ценным была моральная поддержка в многолетних исследованиях, посвященных творчеству Саши Черного, не сулящих явных выгод. Без поддержки этого, главного «фонда» задуманное едва ли удалось бы осуществить.

Купюры в цитатах комментария означены угловыми скобками и многоточием <...>. Ниже даны сокращения названий источников, неоднократно упоминаемых в комментарии:

Гликберг М. И.—Гликберг М. И. Из мемуаров // Российский литературоведческий журнал. М., 1993. № 2.

Горный С.—Горный С. Ранней весной. Берлин, 1932.

Дон-Аминадо — Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991.

ИР—Иллюстрированная Россия. Еженедельный литературно-иллюстрированный журнал. Париж, 1924—1939.

Любимов Л. Д.—Любимов Л. Д. На чужбине. Ташкент, 1965.

ПН—Последние новости. Ежедневная газета. Париж, 1920—1940.

РГ—Русская газета. Париж, 1923—1925.

## РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ В РОССИИ

ЛЮДИ ЛЕТОМ—Современный мир. Спб., 1910. № 9. С. 81—105. Действие рассказа происходит на побережье Балтийского моря, близ городка Усть-Нарва. В конце XIX—начале XX века этот модный курорт застраивается дачами и особняками, становится излюбленным местом отдыха столичной знати. Этот живописный край привлекал также научную и творческую интеллигенцию, что, кстати, нашло свое отражение в профессиональной разнообразности персонажей рассказа. Из знаменитостей здесь бывали (а некоторые из них имели и собственные дачи) Н. Лесков, Д. Мамин-Сибиряк, Я. Полонский, К. Случевский, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, И. Северянин, Б. Пастернак, И. Шибкин, И. Репин, К. Сомов, Ю. Клевер, П. Чайковский, К. Глазунов, И. Павлов, К. Тимирязев, А. Попов (подробнее см.: Кривошеев В. Нарва-Йыэсуу. Таллинн, 1971). Неоднократно в этих местах (Шмецке, Гунгербург) отдыхал Саша Черный. Его, как лирика, вдохновляли красоты Нарвского взморья и его окрестностей, а курортная публика обычно становилась объектом сатирической музыки поэта. *«Вдали тебя я обездолен...»*— начальная строка цыганской песни «Москва». *«Шумен праздник... Не счесть приглашенных гостей...»*— начало стихотворения С. Я. Надсона «Мечты королевы», входившего в репертуар сборников по декламации. *«Солнце всходит и заходит...»*— начальные слова народной песни. По словам И. А. Бунина, «эту острожную песню пела чуть ли не вся Россия». Два куплета включены Горьким в пьесу «На дне», поэтому ему иногда приписывают авторство песни. *«Друзья, подагрой изнуренный, уж я не в силах больше пить, пить, пить...»*— начальные слова вакхической песни русского студенчества. А. П. Аристов, занимавшийся устным творчеством студентов, зафиксировал несколько иной вариант этой песни:

Друзья, подагрой изнуренный,  
Не в силах больше я уж жить,  
Похороните прах мой бранный  
Вот так, как стану говорить:

«В том погребке меня заройте,  
Где чаще пьяным я бывал,  
И так могилу мне устройте,  
Чтоб я под бочкою лежал».

И т. д.

(Песни казанских студентов. Спб., 1901)

... Я то-от, ко-то-ро-му внимала! <...> Ты в по-о-лу-ноч-ной ти-ши-не-э-э-э!..—Ария из оперы А. Г. Рубинштейна «Демон». ...мы еще поживем.—Перефразирование крылатого выражения «Мы еще повоюем, черт возьми!» из стихотворения в прозе (1882) И. С. Тургенева. *Визави* (фр. vis-a-vis — лицом к лицу)—человек, находящийся напротив. *Виктория* (1819—1901)—королева Великобритании. ...*Самсон, раздвигающий колонны*.—Имеется в виду эпизод из Библии, где речь идет о Самсоне, которого жители Газа, заперев городские ворота, намеревались убить. Однако Самсон, обладавший сверхъестественной силой, освободился, вырвав из земли столбы ворот, унес их на вершину ближайшей горы (Суд. XVI, 1—3). *Зеленая лампа*—заголовок восходит к названию литературного и политического кружка начала XIX века в Петербурге. Заседания общества проходили в доме Н. В. Всеволожского за столом под лампой с зеленым абажуром, где члены кружка (А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, Ф. Н. Глинка и др.) читали свои новые произведения, обсуждали вопросы будущего политического устройства России. В русском обществе «Зеленая лампа» стала синонимом вольнодумства, дружеского единения, общности литературных и духовных интересов. В первые годы эмиграции в Берлине вышел поэтический альманах «Вечера под зеленой лампой», а в 1927 году в Париже по инициативе Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус было образовано литературно-философское общество «Зеленая лампа», сыгравшее видную роль в интеллектуальной жизни русского зарубежья. *Клевер Ю. Ю.* (1850—1926)—русский художник-пейзажист, академик. В своей живописи часто использовал эффекты заходящего солнца. *Посмотрите, как поет то облачко справа*.—Эта реплика, по всей видимости, перекликается с фразой из чеховской «Попрыгуньи», где живописец делает замечания относительно пейзажного этюда: «Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему». *Вторая жена*—роман немецкой писательницы Е. Марлитт (1825—1887). Ее героини—чаще всего молодые, красивые девушки—сталкиваются в жизни с обманом и шантажом, но в конце концов одариваются любовью. Рассчитанные на мещанский вкус, романы Марлитт пользовались большим успехом, особенно у женщин. *Лунне Т.* (1851—1914)—немецкий философ-идеалист, психолог, эстетик, основатель Мюнхенского психологического института. *«Можно жить с закрытыми глазами...»*—начальная строка стихотворения К. Бальмонта из книги «Горящие здания» (1900). *Лидо*—курорт близ Венеции. Так называются и узкие песчаные косы, отделяющие лагуны от Адриатического моря. ...стал перечитывать дачные надписи: «27 июня 1901 года здесь купался...»—В отечественной литературе эта неискоренимая привычка российского обывателя «отметиться» во что бы то ни стало там, где ему

довелось побывать, везде оставить «визитную карточку» была постоянной мишенью сатириков. Ср., например: «На камнях Алупки, на верху Ивановской колокольни, на гранитах Иматы, на стенах Бахчисарая, в Лермонтовском гроте — я видел сделанные им надписи:

«Пуся и кузики, 1903 года, 27 февраля».

«Иванов»

«А. М. Прохвостов из Сарапула»

<...>

«С сей возвышенности любовался морским видом С. Никодим Иванович Безупречный»

«Иванов»

(А. И. Куприн. Последнее слово)

«Тарарабумбия» — словечко это, ставшее расхожим фразеологизмом, вошло в разговорную речь из пьесы А. П. Чехова «Три сестры», где доктор Чебутыкин постоянно напевает: «Та-ра-ра-бум-бия... Сижу на тумбе я...» Означало оно навязчивую бессмыслицу, абракадабру, тарабарщину. М. Петровский исследовал происхождение этой песенки (Московский наблюдатель. М., 1993. № 11/12. С. 62—66) и выяснил, что она возникла в Англии около 1890 года. Авторы ее Г. Сейерс и Т. Метц, а оригинальное название Та-га-га-boum-be-au». Вскоре стала популярна в парижском кабаре «Максим», а около 1893 года появилась в России. Этот быстрый маршевый мотив, исполняемый военными оркестрами, а также куплетистами на разные фривольные тексты, звучал с грампластинок, и вошел в массовое сознание, став точным временным знаком — своего рода «маршем конца века». «Разорванные цепи» — роман немецкой писательницы Е. Вернер. Как и Е. Марлитт, являлась представительницей так называемого «романа для женщин». О ее писательской плодовитости и популярности говорит тот факт, что в конце XIX в. на русском языке вышло собрание сочинений Е. Вернер в 20 томах. ...*Бесконечно-часто катались на велосипеде.* — В России начала века велосипед еще только входил в обиход горожан; «циклисты», как их называли, были в диковинку, являлись предметом всеобщего внимания, восхищения, зависти, насмешек... Саша Черный во время летнего отдыха в Шмеечке любил кататься на велосипеде. Ю. Д. Шумаков рассказывал мне о впечатлении, которое сохранилось у брата Е. К. Борман (о ней см. с. 401), когда он мальчиком видел «пролетающего», как ему казалось, на своем велосипеде Сашу Черного: «Мне хотелось за ним гнаться: давай-ка, думал, я побегу — кто кого обгонит...» *Снимали и Марса: на коленях у докторши, которая хотела подчеркнуть свое одиночество.* — В «Новейшем самоучителе рекламы» Саша Черный вновь обратится к этому расхожему стереотипу начала века: сниматься «лучше одному, но можно и <...> с собакой (символ одиночества)...». Весьма возможно, что эта семантическая связка проникла в коллективное сознание благодаря популярному стихотворению И. А. Бунина «Одиночество» с заключительной строкой: «Хорошо бы собаку купить». *Подореховик* — гриб из семейства сыроежковых (другие названия — гладыш, молочай, подмолочник). ...*Гремят валы!.. И рвутся волны! <...> Идем вперед! Отваги полны!* — В своей стихотворной импровизации персонажи рассказа воспроизводят (вероятно, бессознательно) ритмический рисунок и лексику стихотворения Н. М. Языкова «Пловец», ставшего популярным в народовольческих и демократических кругах:

Смело; братья! Ветром полный  
Парус мой направил я:  
Полетит на скользки волны  
Быстрокрылая ладья!

Ср. стихотворение Саши Черного, написанное одновременно с рассказом «Люди летом» и опубликованное в том же журнале (Современный мир. 1910. № 1. С. 142):

#### У Балтийского моря

Валы бегут — тяжелые и злые,  
Холодный шум бесстрастно в сердце бьет.  
Блестит песок, и облака седые  
Мертво легли над ширью серых вод.

Валы бегут — тупая безнадежность  
Шумит все яростней, пугливей и больней,  
В душе кричит порывистая нежность  
И просит снов у моря и камней.

Валы бегут — но холод и раздолье  
В ответ мольбам шлет ровный, мертвый шум.  
И все сильней покорное безволье  
Звенит в ушах и усыпляет ум.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО — Земля. Литературный альманах. М., 1912. № 8. С. 267—312. В рукописном отделе Литературного музея в Москве хранится письмо Саши Черного в редакцию альманаха «Земля» с почтовым штемпелем «11 января 1912 года», где речь идет о гранках рассказа «Первое знакомство»: «Очень прошу выслать в сверстанном виде корректуру. Очень много поправок, хотелось бы, чтобы не было ошибок. В тот же день возвращу. Корректуру 2-й половины рассказа одновременно с настоящим письмом посылаю заказной бандеролью. С приветом А. Гликберг (Саша Черный). Спб. Крестовский остр(ов), Надеждинская, 5». (Ф. 258. Оф. 5309.)

Публикация в альманахе «Земля» прошла почти незамеченной в печати. Лишь газета «Русские ведомости» (10 февраля 1912) в постоянной рубрике «Литературные отголоски» отметила рассказ Саши Черного как «самую интересную и самую талантливую вещь в сборнике». Критик И. Игнатов сопоставил прозу Саши Черного с деревенской публицистикой Глеба Успенского и нашел много общего: «Ничего не изменилось, прошли десятилетия, пронеслась буря, сломавшая, казалось, так много в «устоях» деревенского жителя, а между ним и наезжающим в деревню городским обитателем все та же пропасть недоумения, все то же непонимание. Впечатления, вынесенные автором, конечно, только впечатления наезда. В какой форме сказывается теперь «власть земли», существует ли она, какими свойствами награждает своих подвластных, — об этом «Первое знакомство» дать понятия не может».

В 1923 году «Первое знакомство» было издано в Берлине отдельной книгой. При переиздании автором внесены в текст незначительные изменения. В настоящем издании печатается по последней авторской редакции.

Известен лишь один печатный отзыв на эту книгу—рецензия Н. Лидарцевой в берлинской газете «Дни» (2 сентября 1923). «Тот, от чьего лица ведется рассказ,—говорится в рецензии,—немедленно принял деревню такой, какова она есть, отнесся к ней с любовной зоркостью и простотой, с непосредственной нежностью. Мы не находим у него возмущения и сарказма даже там, где он касается темнейших сторон деревенского быта... Так,—просто ласковое подтрунивание над деревенскими жителями да и над самим собой заодно. И при чтении делается на душе легко, ибо очень уж заразительна эта радость человека, который в деревенской глуши «радовался так, словно сквозь щелку в рай заглянул». *Торчино*—название вымышленное; имеется в виду деревня Кривцово Мценского уезда. В прошлом ее владельцами были Кривцовы (из этого рода декабрист Н. И. Кривцов)—отсюда название деревни. Саша Черный дважды бывал здесь—летом 1911 года и в январе 1913 года. ...*Клопов много?*—Клопы в гостиницах—российский бич с незапамятных времен. (См. у Гоголя: «Скверная комната, и клопы такие, каких я никогда не видывал: как собаки кусают» (Ревизор, д. 2, явл. 8.) *Случай редкий*—как не содрать,—поневоле в славянской душе проснулись итальянские инстинкты.—Саша Черный к тому времени дважды побывал в Италии и на собственном опыте убедился, сколь распространен там обычай требовать с приезжих, туристов сверх положенного. Даже в справочнике туриста предупреждалось: «Нужно помнить, что «на чай» играет в Италии большую роль всегда и везде. 20—50 центезими открывают часто двери, которые, кажется, не отворяются. Этого не следует забывать» (Западная Европа. М., 1900. С. 29). *С колокольчиком поедем?*—Самодурная причуда мценского исправника, запретившего ездить по городу с колокольчиком, легла в основу фабулы сказки «С колокольчиком». *Исправник*—начальник полиции в уезде. *Нанирваниться*—неологизм Саши Черного. *Нирвана*—блаженное состояние покоя, отрешение от всех житейских забот. *Я мог бы теперь быть в Сицилии или Кауре.*—Здесь высказано одно из заветных мечтаний Саши Черного. Из мемуаров жены поэта известно, что в августе 1914 года он намеревался совершить путешествие в Палестину, Египет, на Греческие острова. Планам этим не суждено было свершиться—все перечеркнуто было разразившейся мировой войной (см. Гликберг М. И. С. 240). *Петр Петрович посоветовал <...> назвал знакомое село.*—Есть основание полагать, что Саша Черный употребил здесь не условно-нейтральное имя, а имел в виду конкретное лицо: поэта Петра Петровича Потемкина, его коллегу по «Сатирикону», уроженца Орла, примерно в 50 км от которого находилось Кривцово. *«Jugend»*—иллюстрированный художественный журнал, издававшийся в Мюнхене в 1894—1914 годах. ...*огненное орловское полотенце.*—Одно из таких рукоделий, приобретенных в Кривцово, было послано в дар Горькому на Капри. «Выслал ли Вам, наконец, Ляцкий орловское полотенце и частушки?—осведомляется Саша Черный в письме к Горькому.—Он мне клятвенно обещался сделать это еще весной, а с тех пор я его не видел» (Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Вып. 2. М., 1989//Письма Саши Черного к Горькому. С. 27). *Портерная*—пивное заведение. *Летают, говоришь <...> Ни к чему это. Зря.*—Российская печать много внимания уделяла испытательным и показательным полетам на воздухоплавательных аппаратах братьев Райт, Фармана и других, которые нередко заканчивались трагически. Увлечение авиацией затронуло преимущественно обеспеченную часть населения, господ—простой же люд относился к завоеванию воздуха чаще всего без энтузиазма, с недоверием, даже враждеб-

ностью. (См. рассказ Н. Тэффи «Аэродром»: «Чего барину не полететь,— народ обеспеченный.— Летают? А пусть себе летают. Мне-то что!» <...> Мужики и извозчики чрезвычайно равнодушны. Посмотрит сонными глазами на парящего Фармана и сплюнет».) *Сибирка*—сибирская язва, опасное инфекционное заболевание, передаваемое человеку от животных. ...*шахтеры в тот час в казармах отдыхали.*—Бедность вынуждала крестьян искать работу на стороне и прежде всего на шахтах и рудниках Донецкого бассейна. Большинство работающих там составляли приезжие, временно поселенные в казармы или семейные бараки. Ужасающие условия жизни в них фиксировались медицинскими комиссиями и попадали иногда в печать: «Это сырые, грязные ямы с тесными клетушками, в которых помещаются 8—10 душ. При некоторых рудниках имеются общие казармы. Каждая камера казармы, рассчитанная на 40—50 человек, вмещает сплошь и рядом свыше 100 человек, так как администрация предприятий разрешает селиться в казармах многим из прибывших на заработки рабочим, в чаянье иметь постоянный резерв ищущих труда и этим понижать заработную плату. Постелей в казармах нет, и рабочие спят на голых нарах. Продолжительность работы в рудниках — 12 часов, без перерыва на принятие пищи... Медицинский надзор отсутствует» (Ларский И. Вопросы текущей жизни // Современный мир. Спб., 1910. № 9. С. 144). *Сенегамбия*—старое название Сенегала. ...*рассказать ему что-нибудь из этой книги, ну хоть Коломбину?*—«Коломбина»—стихотворение П. Верлена из книги «Галантные празднества». Далее приведена цитата из «Осенней песни» П. Верлена. Заметим, что это единственное косвенное свидетельство, что Саша Черный изучал и знал французский язык, во всяком случае на том уровне, чтобы читать поэзию в подлиннике. «*Fliegende Blätter*»—немецкий иллюстрированный журнал, выходивший в 1841—1944. ...*Я вот от рождения в руках рубанка не держал <...> и все-таки я в пять, шесть раз перейму эту «нехитрую вещь».*—Судя по всему, Саша Черный и в самом деле освоил столярное мастерство и охотно предавался этому занятию (см. фото, сопровождавшее публикацию в «Ил. России» (1926, № 16) стихотворения «Как я живу и не работаю», где поэт снят с рубанком в руках). Есть и печатное свидетельство—шутливое стихотворение из цикла «Тихие удовольствия»:

### Чистое искусство

Черт знает для чего  
 Строгаешь в кухне доску...  
 Крутая стружка вьет  
 Волнистую полосу,  
 И кажется руке,  
 Что не рубанок—скрипка  
 Под пальцами дрожит  
 Томительно и зыбко...  
 До блеска отстрогал,  
 До шелкового лоску!  
 Минуты две иль три  
 Любуешься на доску  
 И вдруг, подняв кулак,—  
 Черт с ним, с зеркальным блеском!—

Расколешь доску вдоль  
 С невероятным треском...  
 Сметешь опилки в ларь  
 И, сев на стул к порогу,  
 Зевнешь, как кашалот,  
 Поджав лениво ногу.  
 (ПН. 1930. 26 апреля)

*Чичероне (ит.)* — проводник, гид, красноречиво рассказывающий о достопримечательностях (от имени знаменитого оратора Цицерона). «*Чуден месяц*» — народное песенное переложение стихотворения В. Немировича-Данченко «Ты любила его всей душою...». «*Трансваль, Трансваль...*» — народная песня, переложение стихотворения Г. А. Галиной «Бур и его сыновья» (1899). Написано оно было как отклик на англо-бурскую войну (1899—1902). Русское общество с живейшим интересом следило за военными событиями, развернувшимися в Южной Африке между англичанами (колонизаторами) и бурами (поселенцами из Голландии), отстаивавшими независимость. *Это насчет хуторов-то?* — Разговор идет о переселении на хутора — одном из основных начинаний аграрной реформы, проводимой П. А. Столыпиным. Суть ее заключалась в капитализации деревни путем возникновения крепких единоличных хозяйств. С этой целью законом от 14 июня 1910 года предусматривалось право на выход из крестьянской общины с предоставлением земельного надела — отруба (5—7 десятин). Были организованы землеустроительные комиссии, шла разъяснительная работа членами земства, выделялись пособия и ссуды на переселение и устройство. Реформа, однако, не успела дать ощутимых результатов, поскольку крестьянство отнеслось к нововведениям с недоверием, сопротивлялось им. «...мальчик с занозой». — Имеется в виду античная скульптура, изображающая спартанского мальчика, вынимающего занозу из ноги. Репродукции сделали эту скульптуру хрестоматийно известной, копии ее стали традиционным украшением интерьера в домах интеллигенции. ...*уверенность, что после погребения трупов наступает новая жизнь.* — Следует обратить внимание на это высказывание и последующие рассуждения автора, поскольку они вносят некоторую ясность в вопрос, был ли Саша Черный атеистом или верующим. Его постоянное обращение к библейским темам и образам носило, по-видимому, нравственно-духовный и литературно-художественный характер. *Шестнадцатая линия на Васильевском острове, дом купца Дронова. Может, знаете?* — Возможно, Саша Черный неслучайно назвал этот адрес, ибо сам жил неподалеку: в адресном справочнике «Весь Петербург на 1909 год» указано его местожительство — Васильевский остров, 15 линия, дом 72 (значится на имя жены — М. И. Васильевой). ...*дворникам житье.* — Из всех занятий и рабочих мест, на которые могли рассчитывать гонимые нуждой из деревни, место дворника считалось наиболее предпочтительным. Помимо жалованья и жилья, должность эта предоставляла некоторые властные функции: дворники обязаны были круглосуточно дежурить у ворот дома, впуская ночных посетителей; им вменялось в обязанность следить за «подозрительными» личностями и сообщать полиции обо всем, что происходит в доме; их обычно приглашали в качестве понятых при обысках и арестах. В общем, это была нижняя иерархическая ступенька в охранительно-полицейской системе государства. *Отчего же у башкир не бьют?* <...> *сам видел.* — Саша Черный дважды бывал в Башкирии. Впервые

в 1899 году, когда он принял участие в благотворительной экспедиции, занимавшейся устройством бесплатных столовых для голодающих в Белебеевском уезде Уфимской губернии. Летом 1909 года поэт ездил в эти края «на кумыс» лечиться. ...содержание «Духовной жизни Америки» Гамсуна.— Кнут Гамсун (1859—1952)— норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии, в начале века снискавший исключительный успех у читающей России. «Духовная жизнь современной Америки» — публицистический памфлет, появившийся в результате скитаний писателя по США. ...какой-то повести в последних книжках «Нивы». — Стихотворение Саши Черного «Визит», под которым имеется помета «Кривцово», позволяет уточнить, о какой именно повести идет речь:

Тускло льются переливы,  
Гость рассказывает вслух  
По последней книжке «Нивы»  
Повесть Гнедича «Петух».

П. П. Гнедич (1855—1925) — известный переводчик, беллетрист, драматург. *Урядник* — нижний чин уездной полиции. «*Нива*» — еженедельный иллюстрированный журнал (1870—1918), пользовавшийся колоссальной популярностью, главным образом, у провинциальных читателей, по злоречивому выражению Саши Черного, у «собачьих набалдашников». Годовые комплекты переплетались, любовно сохранялись, их можно было часами рассматривать во время скучного досуга. Именно это чтиво определяло кругозор российского обывателя, и включало оно: «И президента Кливленда, а равно и его супругу, и ангела-хранителя на первой странице, ведущего младенца между львов и тигров: «Вечный мир» с картины А. Лилиенкрона. В «Смеси» сообщалось о самой большой коллекции марок и о «танцах жрецов племени Фиджи, или Островов Товарищества». После романа Салиаса или Волконского шел мелким шрифтом рассказ Стерн, Потапенко, Авсеенко или Гнедича» (Горный С. С. 186). «О великий русский язык» — неточная цитата из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык» (1882). Полный текст ее таков: «...О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..» *Замашный холст* — то же, что посконный, то есть домотканый, из волокон конопля с тонким стеблем. ...копейками плотины не заткнешь. — В первой публикации фраза имела другой вариант: «...копейки и хлеб отберут и найдут им другое место». По-видимому, ко времени издания «Первого знакомства» отдельной книгой взгляды автора на вопросы социальной справедливости претерпели некоторые изменения. Внесенные в текст изменения позволяют усмотреть разочарование в благотворительной и филантропической деятельности, уроки которой были преподаны Саше Черному приемным отцом — К. К. Роше.

СЛУЧАЙ В ЛАГЕРЕ — Аргус. Спб., 1913. № 1. С. 98—103. Рассказ подчеркнуто документален и автобиографичен. В выписке из служебного листа рядового из вольноопределяющихся 2-го разряда Александра Михайловича Гликберга говорится, что на военную службу он был призван 1 сентября 1900 года и проходил ее в 18-м пехотном Вологодском полку, откуда был уволен в запас 25 октября 1902 года (РГВИА, ф. 2212, оп. 4, д. 162, л. 147). В начале века полк базировался в Житомире. *Вольноопределяющийся* — так в России именовали военнослужащих срочной службы, давших добровольное согласие отбывать воинскую повинность (не прибегая к жребию, могущему освободить их от армии). Для



этого надо было иметь образовательный ценз не ниже гимназического и сдать специальные экзамены. Приравненные к рядовому составу, они имели некоторые льготы по сравнению с простыми солдатами. Так, срок службы их был равен 1—2 годам, вместо обычных 3—5 лет. «*Нива*» — см. с. 399. *Бульдог* — револьвер с коротким стволом, калибра 5,6—12,7 мм, выпускавшийся в конце XIX — начале XX века. *Каптенармус* — унтер-офицер, заведующий армейским имуществом и провиантским довольствием. ...с тех пор прошло уже десять лет.— Если рассказ написан в 1912 году, то, стало быть, речь идет о 1902 годе, что совпадает с временем прохождения поэтом службы в армии (см. 399). ...никто не поверит, что все рассказанное здесь правда.— Собираясь побеседовать с Сашей Черным на мистические темы, Б. Лазаревский задал ему вопрос: «Скажите, Александр Михайлович, почему есть люди, которые так упорно отрицают все, что выше их понимания?» В ответ он услышал: «А вот потому самому, что это выше их понимания» (Л а з а р е в с к и й Б. Последний разговор // Россия и славянство. 1932. 13 августа).

ДРУГ — Солнце России. Спб., 1914. № 19. С. 13—16. *Димитрий* — для характеристики героя рассказа Дмитрия Петухова немаловажно, что, подписываясь или представляясь, он употребляет устаревшую форму своего имени, которая уже в XIX веке приобрела оттенок высокопарности и претенциозности. Здесь можно вспомнить «Даму с собачкой», где жена Гурова называет его «Димитрием». *Вейнингер О.* (1880—1903) — австрийский писатель, автор нашумевшей книги «Пол и характер». «*Но нет любви и дни ползут, как дым...*» — неточная цитата из стихотворения английского поэта Фр. Вильяма Бурдильона «Ночь смотрит тысячами глаз...» (в переводе Я. Полонского). *Комprene (фр. comprenez)* — понимаешь. ...бесконечно давно, *Петухов писал сонеты (<...> Служили музам.* — Можно полагать, что в качестве прототипа Петухова Саша Черный избрал приятеля своей житомирской молодости — Сергея Полинского (1882—?), сотрудничавшего одновременно с ним в газете «Волынский вестник». В последнем 40-м номере газеты от 19 июля 1904 года было помещено стихотворение С. Полинского с посвящением А. М. Г-у (по-видимому, А. М. Гликбергу):

### Дума

Посв. А. М. Г-у

Теперь лишь сознаю, что жизнь моя смешна.  
В тени она прошла бесследно.  
Годы текли так тускло, бледно...  
Кошмаром злым была моя весна.

Лучом просвета дни мои не озарялись,  
И мало было дней,— я помню только ночь,  
Я помню сумерки, когда они сгущались  
И мучили меня... но кто мне мог помочь?

Никто. Рассудок мой порой мне говорил,  
Что есть иная жизнь,— жизнь знания и света,  
Что песнь моя еще не вовсе спета,  
И верилось ему, но ту же жизнь влачил.

Любить, страдать, порой желать до боли,  
Но не способен был поверить, полюбить.  
И не хватало сил,— разумной, твердой воли,  
Чтоб узел жизненный без страха разрубить.

Я все молчал: придет, настанет время  
И принесет с собой все лучшие дары,  
И, поджидая светлой той поры,  
Я рабски нес накопленное бремя.

Так жизнь прошла... Без смысла, без рассудка,  
Сменяла годом год, бесцветно и темно.  
Вся жизнь была бессмысленная шутка,  
Все было жалко в ней, все было в ней смешно.

В 1913 году за год до появления в печати рассказа «Друг» С. Полинский выпустил в Нижнем Новгороде книгу стихов «Песни грусти и любви», написанную в прежней, выцветшей еще в прошлом веке манере. Не исключено, что автор послал ее в подарок другу юности. «Искры души» — в этом названии Сашей Черным дана квинтэссенция банальной, эклектичной, уныло-экзальтированной зауряд-поэзии рубежа веков. Ср. например: К. К. Роше «Поэма души» (1906) или Т. Мятлевой «Искры свободного чувства» (1902). «Мы еще повоюем» — см. с. 307. *Rira bien, qui rira le dernier (фр.)*. — «Хорошо смеется тот, кто смеется последним» — строка из басни Ж. Флориана «Два крестьянина и туча», ставшая крылатой. *Профершипиллс* — проигрался в карты, арготизм от нем. *verspielen* — проигрывать.

**ХРАБРАЯ ЖЕНЩИНА** — Солнце России. Спб., 1914. № 21. С. 12—15. Есть основание полагать, что прообразом главной героини рассказа явилась *Елена Константиновна Борман*, которой поэт был одно время увлечен. Их отношения едва ли можно было назвать романом: были ухаживания, прогулки по морскому побережью, посещение кабаре «Бродячая собака»... Елена, по изустным воспоминаниям ее младшей сестры Ирины, считалась особой своенравной, способной на экстравагантные поступки. Так, однажды она завела себе... рысь и выводила ее на улицу. Видимо, эта необычная реалья подсказала Саше Черному фабулу данного рассказа. *Франц-Иосиф I* (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии с 1848 года, из династии Габсбургов, преобразовавший в 1867 году австрийскую империю в двуединую монархию Австро-Венгрию. *Тиргартен* — обширный берлинский парк, аллеи которого украшены мраморными памятниками прусских и бранденбургских правителей. На его территории находится один из лучших в мире зоологических садов. *Лейпцигская улица* (Лейпцигерштрассе) — в справочнике туриста начала XX века сказано, что «вся новая, современная жизнь германской столицы и торговля сосредоточены на этой улице. Весь день и почти всю ночь здесь кипит шумная жизнь, проходят толпы людей. Иностранцу именно здесь лучше всего знакомиться с нравами современного Берлина, далекими от патриархальности». «*Jugend*» — см. с. 396. *Сенегамбия* — см. с. 397. ...*Юдифи*, когда та выходила из шатра Олоферна с его головой. — Имеется в виду библейская история. Красота и ум Юдифи пленили вавилонского полководца Олоферна, и,

когда он, упоенный страстью и вином, уснул в своем шатре, она отсекла ему голову мечом и принесла ее старейшинам города и тем самым спасла жителей иудейского города Ветилуи от ига Олоферна (Иуд. II, I). *Биргалле* — пивной зал. *Вертгейм* — крупнейший в Берлине универсальный магазин, получивший название по имени владельца торговой фирмы. ...*немец. Но не пруссак.* — Пруссы — северо-восточные немцы, уроженцы Пруссии, известной реакционно-милитаристскими традициями юнкерства и строгими канонами лютеранской церкви.

МИРЦЛЬ — Русская мысль. Спб., 1914. № 8/9. С. 5—34. В письмах Саши Черного к Л. Я. Гуревич, сотруднице редакции журнала «Русская мысль», имеются некоторые свидетельства о прохождении рукописи рассказа на стадии его подготовки к печати (ОР ИРЛИ. Архив «Северного вестника». Регистр. № 19872). Первое упоминание содержится в письме, относимом примерно к началу 1914 года: «Посылаю Вам стихи для «Рус<ской> м<ысли>»; рассказ, о котором я Вам говорил, я еще приглашу, перепишу и тогда пришлю Вам». В следующем письме, посланном из Усть-Нарвы (по штемпелю на конверте — 10 мая 1914 года), говорится: «Очень жду «Письма Мирцль» (таково было первоначальное название рассказа. — *А. И.*) — у меня нет черновика, и я все забыл. Верну Вам через день-два, а когда будет корректура рассказа, пусть мне пришлют — я не задержу больше дня. 19-го (в понедельник) Марья Ивановна будет в Петербурге и зайдет в «Рус<скую> мыс<ль>». Что касается условий, то я, конечно, ни на чем не настаиваю: вообще настаивать надо лично и талантливо, а я не умею». В последнем (недатированном) письме речь идет об авторской работе над рукописью с учетом редакторских замечаний: «Многоуважаемая Любовь Яковлевна! Я немного задержал «Письмо Мирцль», но очень было мне трудно. Немного это не мое дело женские письма писать, и, ей-богу, больше никогда не буду. Сократил много, кое-что изменил». И приписка: «Очень хотел бы прочесть рассказ в корректуре. Тогда ведь много ясней, и я не задержу». Корректуру Саше Черному едва ли удалось увидеть, поскольку уже в начале августа 1914 года он был призван в армию и отправлен на фронт. Ко времени переписки Саши Черного с редактором рассказа «Мирцль» относится инскрипт, сделанный поэтом на отдельном оттиске поэмы «Ной», свидетельствующий о добросердечности их отношений: «Многоуважаемой Любви Яковлевне Гуревич на добрую память от безработного пессимиста. Апрель 1914» (хранится в частном собрании). Рассказ имеет явную автобиографическую подоплеку. Местом действия является старинный немецкий город Гейдельберг, куда Саша Черный с женой приехал в апреле 1906 года. В качестве вольнослушателя он посещал лекции философского факультета университета в течение двух семестров: летнего (с 15 апреля по 15 августа) и зимнего (с 15 октября по 15 марта). Около 10—15% всех студентов составляли приезжие — в большинстве своем из России. Две трети из них приходилось на евреев, для которых существовали ограничительные нормы поступления в российские высшие учебные заведения. Среди российских подданных наиболее популярны были юридический и медицинский факультеты, гораздо более посещаемые, нежели философский и теологический факультеты. Гейдельбергские впечатления легли в основу множества лирических и сатирических стихотворений поэта. В одном из них — «В немецком кабаке» (1910) — впервые возникает образ Мирцли — кельнерши и певицы из ресторана. *Иосиф Прекрасный* — выражение, употреблявшееся в значении: целомудренный юноша. Библейский миф о юном пре-

красном Иосифе, которого тщетно пыталась соблазнить жена египетского царедворца Потифара (Бытие, 39, 7—20). *Корпорант*—член студенческого объединения в немецких университетах. ...чинными фразами по Гауффу.— Имеется в виду автор учебника немецкого языка Л. Гауфф. *Корпорант-фукс*—член корпорации «Фукс»—националистической немецкой молодежной организации. Возникла во время оккупации Наполеоном Германии; в начале XX века вела шовинистическую пропаганду, преследовалась государством. Отличительным признаком членов организации «Фукс» были порезанные щеки. Устраивая поединки на саблях, они надевали лисьи маски, оставляя открытыми только щеки. ...квартирной хозяйкой *фрау Бендер*.— В ранней сатирической прозе Саши Черного «Как студент съел свой ключ и что из этого вышло» в качестве квартирной хозяйки также фигурирует фрау Бендер. В воспоминаниях В. М. Зензинова, также учившегося в Гейдельберге, сказано, что жители этого университетского городка, не имевшего никакого производства, жили в основном за счет сдачи жилья студентам. *Весталка*— в Древнем Риме жрица в храмах Весты, богини домашнего очага. Весталки должны были хранить целомудрие в течение 30 лет. *Митенки* (*фр.*—mitaines)—полуперчатки без пальцев. *Не коту же хоронить мы сюда приехали*.—Расхожее выражение, употреблявшееся в значении «затянувшийся и бесполезный процесс». Происходит от широко распространенной лубочной картинки «Как мыши коту хоронили». *Вода Франца-Иосифа*—венгерская минеральная вода, в состав которой входили горькие соли сернокислого магния; употреблялась как слабительное. *Липтауский сыр*— словацкий сыр из овечьего молока. *Resinatwein*—греческое сельское вино, настаиваемое на сосновой смоле. По отзывам тех, кто его пробовал, оно имеет отвратительный вкус. «*Alle Fische schwimmen...*»—студенты исполняют шуточную хоровую песню, текст которой построен на непере译имой игре слов:

Все рыбы плавают—  
Только маленькая Бакфиш не плавает.  
Все мопсы лают—  
Только Рольмопс не лает.

«Бакфиш» имеет два значения: печеная рыба и девочка-подросток. «Рольмопс»—маринованная селедка, свернутая кольцом. «*Мой милый воробей!*»—интонация письма Мирцль заставляет вспомнить «Лунные рассказы»—юношеский опыт Саши Черного. Ср. сердечное признание девушки, обращенное к робкому возлюбленному: «Глупый мальчик! Ты тоскуешь, но ведь причина этой тоски—я... Не сдвигай же сурово бровей и не смотри так злобно—все равно не поверю... А теперь смотри: ты видишь, что мои глаза говорят? Они говорят, что я тебя люблю—не прежде, не после, а сейчас, вот в эту минуту, потому что это моя воля, мое желание, мой каприз, моя жестокость, а до остального тебе нет дела... Зачем ты отворачиваешься? Ты боишься... меня и сам боишься...» (Гликберг А. М. Разные мотивы.—Спб., 1906. С. 45). Характерно, что в обеих любовных историях инициатива принадлежит женщине. По-видимому, в подобных ситуациях можно усмотреть автобиографический элемент. *Маннгейм*—индустриальный город в 40 км от Гейдельберга.

ИЕРОГЛИФЫ—Солнце России. Спб., 1915. № 18. С. 6—11. Рассказ опубликован в 1915 году, когда автор находился в действующей армии и полностью отошел от литературного творчества. Очевидно, написан он

и оставлен в редакции «Солнца России» еще до начала первой мировой войны. *Dum, priusquam, antequam*—латинские предлоги. «Алгебра...»—горестно подумал Павел Федорович.—Фрагмент, следующий после этой фразы, имеет, по всей вероятности, автобиографический характер. В 1896 году Саша Гликберг был исключен из 2-й петербургской прогимназии за то, что не сдал экзамен по математике (см. Яблоновский А. «Срезался по алгебре» // Сын отечества. Спб., 1898. 8 сентября). *Extemporale*—задание по греческому языку. Об этом, наиболее ненавистном учащимся классических гимназий занятии с сарказмом вспоминал Л. Н. Андреев: «Раскладывается временное предложение; на него слоями накладывалось предложение причины, цели и все другие предложения, какие могут встретиться в порядочном синтаксисе; поверх этой подстилки клалось тоненькое и маленькое главное предложение и затем все это закатывалось. Для прочности образовавшийся жгут заворачивался в косвенную речь, и уже в таком виде преподносился для употребления» (Андреев Л. Н. «Г. Экстемполярый» // Юмористические рассказы Леонида Андреева и А. И. Куприна. Т. I. Спб., 1909. С. 13—14). *Nec plus ultra* (лат.)—дальше некуда. Согласно легенде, надпись на скалах, считавшихся границами мира. Употреблялась в значении: до крайнего предела. *Лука Жидята*—епископ Новгородский (XI в.), которому приписывается «Поучение к братии»—первое русское произведение духовной литературы. *Феодосий Печерский* (ок. 1036—1091)—один из основателей Киево-Печерской лавры, причисленный к лику святых. *Илларион*—вероятно, имеется в виду первый русский митрополит киевский, посвященный в сан в 1051 году, либо митрополит рязанский и муромский, обличавший на московском Соборе Никона. *Софья Палеолог*—племянница последнего византийского императора Константина XI; с 1472 года—супруга Ивана III. ...*избиениями филистимлян*.—Подразумевается, видимо, эпизод из Библии, повествующий о том, как Самсон побил филистимлян ослиной челюстью. Филистимляне—народ, живший с 12 в. до н. э. на территории нынешней Палестины; смесь египтян, хананеян и семитов.

## НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ

«Несерьезные рассказы»—единственный сборник прозы Саши Черного, обращенный к взрослому читателю. Вышел он в Париже в 1928 году, без указания издательства. Книга не получила широкого отклика в печати. Появились две рецензии: М. Алданова (ПН. 1928, 23 ноября) и А. Куприна (Возрождение. 1928, 25 октября), а также информационная заметка без подписи в рижской газете «Сегодня» (13 октября, 1928). Рецензенты отмечали беззлобный, проказливый юмор эмигрантских рассказов Саши Черного, его дар рассказчика-импровизатора, особенно охотно и любовно пишущего о детях, а также и о солдатах. Все критические отзывы кратки, носят в основном информативный характер.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД—Несерьезные рассказы С. 5—24. *Третьейский суд*—обращение к третьей, незаинтересованной стороне для разрешения спора, конфликта. Такое судопроизводство прочно вошло в обиход русской эмиграции, поскольку распри и обвинения касались, как правило, сугубо внутренних вопросов российской диаспоры. См., например, материалы и решение третейского суда по

делу М. Л. Гофмана и В. Ф. Ходасевича (ПН. 1929, 18 апреля). Третьейскими судьями обычно выбирались наиболее компетентные и авторитетные соотечественники.

В Париже 19 декабря 1927 года состоялся литературный вечер Саши Черного, на котором была исполнена сценка «Третьейский суд». В этом любительском спектакле выступили Е. Н. Рощина-Инсарова, А. И. Куприн, М. А. Осоргин и сам А. М. Черный (ПН. 1927, 18 декабря). Известно, что тогда Куприн и Осоргин находились в длительной размолвке, и, сведя их вместе в спектакле, Саша Черный, по всей видимости, содействовал их примирению (см. Иванов А. «Может быть, и вправду, не все слова и мысли рассеялись бесплотно в воздухе...» // Русская мысль. 1991, 1 февраля). *Депанданс* (фр. *dépendance*) — зависимость, подчиненность. «*Девятое Термидора*» — исторический роман М. А. Алданова, вышедший отдельным изданием в Берлине в 1923 году. ...*мопассановский один рассказ прочитавши*. — Подразумевается рассказ Ги де Мопассана «Дядюшка Туан». ...*по 40 сигар выкуривают... одновременно*. — Мишенью сатиры Саши Черного нередко становились всевозможные карикатурно-абсурдистские «рекорды» и «состязания», популярные на Западе. Так, в «Бумеранге», в отделе сатиры и юмора, выпускавшемся Сашей Черным, была помещена под рубрикой «Наши телеграммы» следующая пародийная хроника: «Л и в е р п у л ь (через Нью-Джерсей). — Культурная жизнь страны все ширится. В Ливерпуль прибыл Маршалл Роббинс (79 лет) для состязания в курении сигар с В. Келли (67 лет) на звание мирового чемпиона. Город в напряженном ожидании. Лондонский мэр постановил назвать две койки в городском доме умалишенных именами отважных курильщиков» (ИР. 1925. № 23. С. 13). *Противофилоксеровый раствор* — сернистый углерод, смешанный с водой, применяемый для борьбы с филоксерой (виноградная тля, вредитель). ...*вокруг по участкам люди интеллигентные живут, русские беженцы. Профессора разные*. — В воспоминаниях Л. С. Врангель фигурируют обитатели русской колонии, обосновавшейся в середине 1920-х годов в Провансе, близ Тулона: «И. Я. Билибин, П. Н. Милюков, А. А. Титов и крымчаки: С. С. Крым, Белокопытов со своей сестрой Ольгой Николаевной Мечниковой, проф. С. И. Метальников, а также общие наши знакомые: проф. Н. А. Бессонов, поэт Саша Черный с женой, С. С. Воейков (...), проф. Кокбетальянц, Я. Л. Рубинштейн, художник Околов» (Врангель Л. С. Ла Фавьер // Возрождение. 1954. № 34. С. 148). *Евразиец* — последователь евразийства, идейно-политического течения, возникшего в эмиграции в 1920-е годы. Они стремились определить истоки того духовного недуга, который привел русское общество к Октябрю, и вели поиски выхода из коммунистического тупика. Саша Черный не скрывал скептического отношения к евразийцам. *Епархиальное училище* — среднее женское учебное заведение, предназначенное главным образом для дочерей православного духовенства. Учебный курс 6—7 классов приближался к курсу женской гимназии. ...*лучше блюдо из зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть*. — Библейское изречение из притч Соломоновых (Прит., 15, 17). ...*живую картину «Смерть Клеопатры»*. — Одним из самых популярных представлений на празднествах и карнавалах были живые картины — костюмированные представления на известные исторические сюжеты, песни и т. п. *Земгорское одеяло* — то есть одеяло, выданное Земгором. Так сокращенно именовали «Всероссийский земский и городской союз» — общественную организацию, занимавшуюся благотворительной и культурной деятельностью среди соотечественников за рубежом. *Кретон* — плотная, жесткая ткань

из окрашенной пряжи, используемая для обивки мебели и драпировки. *Матине* (фр. *matinée*) — женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной кофты из легкой ткани. *Диффамация* (от лат. *diffamo* — порочу) — распространение о ком-либо порочащих сведений. *Соломоново решение* — крылатое выражение. Согласно библейской традиции, царь Соломон вершил суд мудрый и скорый. ...*фиги так и попадают. А он и подбирает. <...> вы моих пчел с ваших цветов метлой гоняете.* — Подобные нелепые обвинения отнюдь не выдумка юмориста. Видимо, эмигрантская скученность и «мелкоземелье» были порой той почвой, на которой произрастали склочность и подозрительность. Примером тому сцена на вилле Бунина в Грассе, свидетелем которой был А. В. Бахрах. Секретарь писателя Л. Ф. Зуров учинил скандал, утверждая, что Иван Алексеевич якобы ворует луковицы и томаты с его крошечной плантации (Бахрах А. В. Бунин в халате. США. 1979. С. 39—40). *Мистраль* — ветер с гор в Провансе, приносящий холодную погоду. *Бон* (фр. *bon*) — хорошо. ...*на своей смоковнице.* — Смоковница — дерево, часто упоминаемое в Библии, высоко ценимое на Востоке, так как давало тень. Отсюда выражение «под своей смоковницей», употребившееся в значении дом, место, где можно отдохнуть.

**МОСКОВСКИЙ СЛУЧАЙ** — Перезвоны. Рига. 1927. № 30. С. 958—963. Рассказ был прочитан А. Черным 24 мая 1927 в «Очаге друзей русской культуры» (Париж). «*Судьба играет человеком*» — строка из народной песни «Шумел, гудел пожар московский», представляющей собой переработку стихотворения Н. Соколова «Он» (1850). *Тетерев* — река, на которой стоит Житомир. По берегам — отвесные гранитные скалы. *Маевка* — праздник солидарности трудящихся, отмечавшийся в России начиная с 90-х годов прошлого века в первый день мая. Мероприятие это имело политическую, антиправительственную окраску, официально не было разрешено и потому проводилось, как правило, за городом, на природе. «*Зеленая роща*» — так жители Житомира называли дубовую рощу на левом берегу Тетерева. ...*своя смоковница.* — См. выше. *Служба сборов Варшавской железной дороги* — учреждение, где А. М. Гликберг служил письмоводителем в 1904—1905 годах. Свои мытарства поэт описал тогда же в стихотворении «Скверная история», начинавшемся так:

Поэт попал на Службу сборов —  
Мечта и счеты — бок о бок...  
(Судьба имеет странный нор —  
Подчас игрив ее урок.)

Заканчивалось оно так:

Утратив сон, худой и бледный,  
Он стал хулить весь Божий свет,  
А про него шептались: «Бедный,  
Плохой конторщик и поэт».

(А. М. Гликберг. Разные мотивы. Спб., 1906.)

*Таксировка* — установление цены на что-либо, оценка. *Вольнопер* — бытовое, сокращенное название вольноопределяющегося (см. с. 399). «*Вставайте, что ли, к Москве подъезжаем!*» <...> *Большинство спит!*» — Эта комическая сценка почти

точно повторяет давнюю юмореску Саши Черного «Последовательный «товарищ»» (Сатирикон. Спб., 1909. № 21. С. 3). Ирод I Великий (73—74 гг. до н. э.) — царь Иудеи с 40 г. до н. э., чье правление отличалось дикой жестокостью и сумасбродством. В христианской мифологии ему приписывается «избиение младенцев» при известии о рождении Христа (отсюда нарицательное значение имени Ирода — злодей). Символ изверга, мучителя. *Брандмайор* — см. с. 423. *Чесучовая рубашка* — рубашка из чесучи — плотной шелковой ткани. Одежда из чесучи считалась признаком барства, обеспеченности. *Пять Углов* — так в Петербурге именовалось место пересечения Загородного проспекта с Разъезжей и Троицкой улицей и Чернышовым переулком. *Пишибышевский Станислав* (1868—1927) — польский писатель-символист, испытывавший влияние Ф. Ницше. ...*Заратустра из почтотелеграфных нищиеанцев*. — Аллюзия на книгу Ф. Ницше «Так сказал Заратустра», пользовавшуюся огромной популярностью в России. *Колокольня Ивана Великого* — одна из достопримечательностей московского Кремля (высота 81 м). «*Синья птица*» (1908) — пьеса М. Метерлинка, поставленная на сцене московского Художественного театра и имевшая небывалый успех. *Василиса Мелентьевна* — очевидно, подразумевается героиня пьесы А. Островского «Василиса Мелентьева» (1867). *Труба* — так москвичи называли Трубную площадь, где располагался Птичий рынок. *Шустовской плакат* — рекламный плакат И. В. Шустова, занимавшегося закупкой за границей и поставкой в Россию коньяка. *Трехгорное пиво* — пиво Трехгорного пивоваренного завода в Москве. *Флигель-адъютант* (нем. Flügeladjutant) — почетное звание, присваивавшееся офицерам, состоящим в свите императора. «*Остров смерти*» — вероятно, имеется в виду «Остров мертвых» — картина швейцарского художника немецкого происхождения А. Беклина (1827—1901), представителя символизма и стиля модерн. Репродукции этой картины вошли в моду в России в начале века: «Кто не помнит засилья «Острова мертвых» в гостиных каждого врача и присяжного поверенного и даже над кроватью каждой курсистки?» (Тугенхольд А. Я. Художественная культура Запада. М., 1928. С. 65). *Орясина* — дубина; употр. также в значении: 'высокий, неуклюжий человек'. *Жак-Далькроз Э.* (1865—1950) — швейцарский композитор и педагог, разработавший оригинальную систему музыкального воспитания, которая получила воплощение в ритмической интерпретации музыкальных произведений. После лекций швейцарского новатора в России возникла настоящая «эпидемия» ритмической гимнастики: «Устами Жака-Далькроза античная Эллада заклинала Варварку и Якиманку скинуть тулупы и валенки, и босиком, в легких древнегреческих хитонах, под звуки свирели, начать учиться плавным, музыкальным движениям, хорошему началу и танцу» (Дон-Аминадо. С. 118).

**САМОЕ СТРАШНОЕ** — ПН. 1928, 7 января. *Приготовишка* — ученик подготовительного класса гимназии, то есть предшествующего 1-му классу. *Учился в белоцерковской гимназии*. — Пока не известно ни одного документального подтверждения, что Саша Черный в детстве жил в г. Белая Церковь. Можно назвать еще два произведения явно автобиографического плана, где фигурирует Белая Церковь. Это стихотворение «Несправедливость» и рассказ для детей «Факирский подарок». «*Луна спокойно с высоты/Над Белой Церковью сияет*» — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава». *Епископ Гаттон* — герой баллады В. А. Жуковского «Суд Божий над епископом» (из Р. Саути). Согласно средневековой легенде, относящейся к X в., скупой и жестокий архиепископ Гаттон из города Метца был



съеден мышами в замке, расположенном на острове посреди реки Рейн. ...гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл.— Подразумевается эпизод из рассказа Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота».

ИСПАНСКАЯ ЛЕГЕНДА — ИР. 1926. № 27. С. 1—4. Coeur de Jeannette — французские духи. ...в Испании правая диктатура.— В сентябре 1923 года в Испании в результате государственного переворота была установлена военно-монархическая диктатура генерала Примо де Ривера, просуществовавшая до 1931 года. На этом острове <...> жила Жорж Санд с Шопеном.— Польский композитор Ф. Шопен и знаменитая французская писательница Жорж Санд с детьми жили на Майорке с ноября 1838 по февраль 1839 года. Вначале они снимали дом у местного крестьянина. Однако враждебное отношение жителей вынудило их перебраться в оставленный монахами монастырь — Вальдемосскую обитель. Но и здесь их жизнь сложилась неудачно — постоянные дожди, в следствие этого обострившееся заболевание легких Шопена сделали их пребывание невыносимым и заставило покинуть остров.

ЭКОНОМКА — РГ. 1925, 28 апреля. Первый летний сезон во Франции в 1924 году Саша Черный с женой отдыхал недалеко от Парижа. В воспоминаниях жены поэта говорится: «К маю наша жизнь начинает налаживаться: приезжает из Берлина семья моих учениц, купившая под Парижем усадьбу. Нам предложили комнату и стол за занятия с младшими девочками. <...> В конце мая мы переехали в Gressy, откуда Саша стал посылать раз в неделю одно стихотворение в «Иллюстрированную Россию», получая за это от 25 до 30 франков. <...> В октябре мы вернулись в Париж» (Гликберг М. И. С. 245). Именно эта усадьба и ее обитатели нашли свое художественное воплощение в этом рассказе, в повести «Чудесное лето», в стихотворном цикле «В усадьбе под Парижем», а также и в других стихах Саши Черного. «Тре контан» (фр. très content) — очень доволен. ...как майская ночь или утопленница.— Перифраз названия повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Елена Молоховец — автор кулинарной книги «Подарок молодым хозяйкам», выдержавшей в России множество изданий. Жавелевая вода — раствор белильной извести с содой или поташом для стирки белья.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ — ПН. 1927, 25 декабря. Кальвадос — яблочная водка, название дано по французскому департаменту Кальвадос. Куэнтро — ликер. ...мазь для вызывания роскошных снов.— Саша Черный в своем творчестве неоднократно обращается к этой фантастической мечте: в юмореске «Разговор через десять лет» (ИР. 1925. № 29. С. 16), в повести «Чудесное лето» (глава «Когда я буду большим»). ...настоящее дело должно не эмигрантов обслуживать, а весь, так сказать, земной шар.— Многие русские ученые и инженеры, уехавшие за границу, смогли занять высокие посты, внесли значительный вклад в мировую науку и технику, так, например, «отец телевидения» В. К. Зворыкин, авиаконструктор И. И. Сикорский, физик С. П. Тимошенко, химик И. П. Ипатьев, микробиолог С. И. Метальников, биолог С. Н. Виноградский, радиоастроном О. Л. Струве, судостроители М. Н. Ростовцев и В. Н. Юркевич и др. Но не они служили примером и стимулом к изобретательству простым выходцам из России. Из газет

эмигранты нередко узнавали, что тот или иной их соотечественник сделал сенсационное открытие и запатентовал его. Так, в 1925 году много писали об изобретении инженера Махонина, который открыл способ получения топлива путем переработки мазута и технических масел. Право на использование изобретения автор преподнес в дар Франции — «в знак благодарности за гостеприимство, оказанное ему, и за отзывчивость по отношению к его соотечественникам» (ИР. 1925. № 12. С. 9). ...*Изобрету я, скажем, алкогольный зубной порошок.*— Стимулом для подобного «изобретения» мог послужить «сухой закон». Запрет на производство, продажу и потребление спиртных напитков, введенный в США в 1919 году, оказался в конечном счете неэффективным, так как американцы шли на всякие ухищрения, чтобы его обойти. В 1932 году он был отменен. *Мадлен* — одна из самых красивых, напоминающая античный храм, церквей в Париже. В воскресные дни ее посещало самое изысканное, аристократическое общество. ...*соединенные свои штаты подтяжками подтянул.*— Шутливый намек на полосатый флаг США и на модные в Америке брюки в полоску. ...*Теремин...* — правильно Л. С. Термен (1896—1993) — ученый, музыкант, изобретатель электромузыкального синтезатора (1921). На Западе получил известность как Theremin. В конце 1930-х годов был репрессирован, после освобождения из лагеря работал на кафедре акустики физического факультета Московского университета. ...*что-нибудь гвадалквирное звучит.*— Шуточная реминисценция романса на стихи А. С. Пушкина:

Ночной зефир  
Струит эфир.  
Шумит,  
Бежит  
Гвадалквир.

*Калигула* (12—41) — римский император, вошедший в историю как жестокий, сластолюбивый и расточительный тиран. Требовал почестей себе как богу; был убит заговорщиками. *Круассан* — булочка в форме полумесяца, с начинкой.

**ИЛЛИНОЙССКИЙ БОГАЧ** — ПН. 1925, 25 декабря. Напечатан в рождественском номере с подзаголовком: Святочный рассказ. *Кушетка «а ля Рекамье»* — кушетка, получившая название по имени знаменитой красавицы Юлии Аделаиды Рекамье (1777—1849), жены парижского банкира, в салоне которой собирались выдающиеся деятели того времени. *Рюстик* (от лат. *rusticus* — неотесанный) — мебель грубой работы, простая, деревенская. *Риполин* — лак. *Сорин* С. А. (1878—1953) — художник-портретист, ученик И. Е. Репина, эмигрировавший в 1920 году. Его живописные работы, отличавшиеся изяществом и филигранной техникой, создали Сорину известность одного из самых преуспевающих художников на Западе. Самые видные дамы Европы и США заказывали у него портреты; музеи и торговцы картинами старались заполучить картины Сорина. *Маявин* Ф. А. (1869—1940) — русский живописец, уже на рубеже веков завоевавший признание своими красочными полотнами, изображавшими русских женщин в ярких сарафанах и нарядных полушалках, так называемых «маявинских баб». В 1922 году эмигрировал, поселился в Париже. В своем зарубежном творчестве сохранил верность национальному колориту. *«Ротонда»* — кафе на Монпарнасе,

знаменитое тем, что в 1920—1930-е годы стало местом встреч русской богемы — литературной и художественной. Сохранились легенды и мемуарные свидетельства об этом импровизированном клубе, где за рюмкой вина или чашкой кофе велись страстные, вдохновенные беседы. *Сочельник* — христианский праздник, канун Рождества.

**ДИСПУТ** — РГ. 1926, 13 января. *Кэк-уок* — танец североамериканских индейцев, получивший широкое распространение в Европе и России в начале XX века. ...*хрипун и удушенник*. — Реминисценция из «Горе от ума» А. С. Грибоедова («Хрипун, удушенник, фогот // Созвездие маневров и мазурки!»). ...*в 17-й полевой запасный госпиталь*. — В 1916 году Саша Черный был назначен помощником смотрителя в 18-й полевой запасный госпиталь, располагавшийся в Пскове. Судя по всему, именно о нем идет речь в данном рассказе. *Ефрейтор Костяшкин* — по-видимому, это подлинная фамилия, сохранившаяся в памяти Саши Черного от тех времен. В стихотворении 1917 года «Ода на оставление доктором Држевецким 18-го полевого госпиталя» имелась такая строка: «И мчится Костяшкин к нему на рысях». *Облом* — грубый, мужиковатый человек.

**ПАТЕНТОВАННАЯ КРАСКА** — ИР. 1926. № 9. С. 1—4. Можно предположить, что фабула рассказа родилась из иронического рецепта изготовления абстрактных полотен: «Берется, видите ли, кошка или кот — безразлично-с. Окунается в краску — в желтую, изумрудную, в фиолетовую, по преимуществу. Потом заворачивается в полотно и кладется под пресс. Получается картинка...» (Саша Черный. Чехарда).

**ПОЛНАЯ ВЫКЛАДКА** — ПН. 1927, 5 февраля. *Мистраль* — см. с.406. *Першерон* (фр. percheron) — порода крупных лошадей-тяжеловозов. Выведена в 19 в. во Франции (р-н Перш). *Борм* — административный центр департамента Вар на юге Франции. *Пепермент* — прохладительный напиток с привкусом мяты, имевший зеленоватую окраску. *Брандахлыст* — зд. пустой человек, занимающийся не своим делом, шалопай. *Под сурдинку* — приглушенно, вполголоса. «*И в распухнувшее тело раки черные впились...*» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Утопленник».

**КОЛБАСНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ** — ПН. 1928, 15 апреля. Под заглавием: *Окультурный случай*. Текст объявления ясновидящей, приведенный в рассказе, немногим отличается от тех, что действительно печатались в эмигрантских газетах и журналах. Ср.:

*«Если вы хотите узнать свою судьбу,*

обращайтесь к мировой известной ясновидящей, которая вернулась после отдыха. В прошлом году она предсказала известному авиатору, что он совершит благополучный перелет лишь через год, удержав его от преждевременного полета; а также успех, славу и деньги. За несколько лет она предсказала возвращение к престолу одного короля. Прошлое, настоящее и будущее. Психоанализ и совет. Примим. ежедн. от 3 ч., кроме воскресенья. M-me Scherbatoff) (Мир и искусство. 1930. № 13). *Веранда Брахманутра* — это необычное имя «Веранда» перекочевало из «Бумеранга». В ответе редакции на письмо поэтессы содержался такой совет: «Советуем Вам избрать для Вашей музы неотразимо звучащий псевдоним: Веран-

да Шехерезадова» (ИР. 1925. № 18. С. 14). *Перфектум и презенс* — грамматическая форма в романо-германских языках, обозначающая действие соответственно в прошлом и настоящем. ...*собачьей пещеры близ Неаполя*. — Во всех учебниках по естествознанию в качестве примера, иллюстрирующего воздействие углекислого газа на живые существа, служил рассказ о пещере в Италии, где выделяющаяся углекислота стелилась по низу, поскольку была тяжелее воздуха, что оказывалось смертельно для собак и безопасно для людей. *Неразменный рубль* — образ в русской мифологии: рубль, который всегда остается при хозяине, сколько его ни разменивай и ни издерживай. *Прогимназия* — 4-классное учебное заведение, соответствующее четырем классам классической гимназии. *Ауспиция* (лат.; ед. ч. *auspicium* от *avis* — птица и *spicio* — смотрю) — в Древнем Риме гадания по наблюдениям за полетом и криком птиц, за небесными явлениями и т. д., гадание, предзнаменование. *Пифия* — жрица, прорицательница в храме Аполлона в Дельфах в Древней Греции. *Акажу* — см. с.427. *Клеопатра* (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта (с 51 г.). Сохранилось предание, что ночь любви, проведенная с ней, стоила почти каждому мужчине жизни. *Конан Дойл А.* (1859—1930) — английский писатель, автор известных детективных произведений о сыщике Шерлоке Холмсе. На склоне жизненного пути увлекся спиритизмом, опубликовал книгу «История спиритизма» (1926). *Сомье* — кушетка. *Под сурдинку* — см. с.410. *Коринки* — высушенный мелкий виноград без косточек. *Каракалла* (186—217) — римский император с 211 г., оставивший о себе недобрую память как об алчном, жестоком тиране. Убит заговорщиками. *Жест франкмасонский*. — Франкмасоны (от фр. *franc maçon* — вольный каменщик) — члены тайного общества. Они имели свои символические обряды, жесты, знаки. В русской эмиграции существовало несколько масонских лож. *Бай* (фр. *bail*) — арендный договор, контракт. *Полендвица* — сорт колбасы. «Том второй, пословицы русского народа, собранные Далем» — речь идет о фольклорном собрании В. И. Даля, впервые изданном в 1862 году. Обилие пословиц и поговорок (редкостных, не из тех, что на слуху) в эмигрантских рассказах и солдатских сказках Саши Черного, позволяет говорить о поэте как об усердном читателе В. Даля. Сохранилось и печатное свидетельство его интереса к В. Далю — ответ на новогоднюю анкету «Что вы ждете от Деда Мороза?», в котором высказано заветное желание: «Если Деду Морозу не тяжело — пусть принесет мне «Толковый словарь Даля» (старое издание). На чай дам очень щедро» (Заря. Харбин, 1931, 7 января).

КУПАЛЬЩИКИ — ПН. 1928, 22 января. *Шлык* — головной убор конической формы.

БУЙАБЕС — ИР. 1926. № 34. С. 20—21. *Алюминиевое яйцо для заварки чая* — дорожная принадлежность в форме яйца, употребляемая для заварки чая вместо ситечка. Между двух закрывающихся половинок засыпался чай. *Одёр* — старая изнуренная лошадь, кляча. *Кодак* — фотоаппарат акционерного общества «Кодак». *Американцы приезжали <...> заказали к воскресенью восемь порций*. — Буйабес в переводе со старопровансальского диалекта (*Vui-a-besso*) означает: «Вари и кончай!». Видимо, он действительно имел славу экзотического блюда, пользовавшегося спросом у туристов. В очерке «Париж домашний» А. И. Куприн писал: «Для американских гастрономов, правда, еще держатся таверны, где за дорогую цену вам дадут кушанье — гордость и славу дома: пронзительный

буйабес, или руанскую утку, не зарезанную, а непременно удушенную, или рубец по-лионски...» (Куприн А. И. Собр. соч. В 9 т. Т. 9. М., 1964. С. 325). *Облатка* — оболочка таблетки из желатина или крахмального теста.

**ЗАМИРИТЕЛЬ** — ИР. 1925. № 13. С. 1—3. С илл. художника Mad. В исполнении автора рассказ прозвучал 25 апреля 1926 на вечере парижского «Союза галлиполийцев». В рецензии А. И. Куприна на книгу этот рассказ выделен особо: «Замиритель» — это препотешный проект одного ефрейтора, как поймать в плен Вильгельма при помощи мертвой петли, спущенной с аэроплана. Без малейшей тени подражания Лескову, или даже невольного лесковского влияния, этот рассказ производит то же впечатление, как и знаменитый сказ о «Левше и стальной блохе». *Фольварк* (польск. folwark) — в западных губерниях России так называли отдельно стоящее поместье, хутор. ...*Вильгельм* <...> *Усы* — *штыками кверху закручены*. — С начала первой мировой войны шаржированные портреты германского кайзера заполняли страницы всех журналов и газет. *Офицерский Георгий* — русский военный орден Великомученика и Победоносца св. Георгия, учрежденный в 1769 году, имел четыре степени (особый знак предназначался для нижних чинов). Выдавался за особо выдающиеся военные подвиги и заслуги. *Караульный чепелин* — правильно: цеппелин — дирижабль жесткой конструкции, получивший название по имени изобретателя Фердинанда Цеппелина (1838—1917), немецкого конструктора дирижаблей, графа, генерала.

**СЫРНАЯ ПАСХА** — ИР. 1925. № 17. С. 4—5. *Крестовский* — остров в дельте Невы, который вместе с Елагиным и Каменным петербуржцы называли «Острова». Здесь, неподалеку от северной оконечности острова, омываемого речкой Крестовкой, жил перед революцией Саша Черный (Надеждинская, 5). *Монна Ванна* — героиня одноименной пьесы М. Метерлинка, олицетворение женственности и красоты. ...*против дачи градоначальника*. — Каменный остров был застроен особняками столичной знати и правительственных чиновников высшего ранга. *Битва русских с кабардинцами* — расхожее выражение, когда шутливо говорится о ссоре, шуме, неразберихе. Свое происхождение оно ведет от повести Н. Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» (1840), выдержавшая много изданий. «*Речь*» — самая, пожалуй, популярная газета русской интеллигенции, орган партии кадетов, выходившая в Петербурге в 1906—1918 годах. В сатирических обзорах российской прессы Е. Венский так аттестовывал постоянного читателя «Речи»:

Кому больше всех «попадает» —  
Непричесанный интеллигент  
«Речь» в трамваях и дома читает.

(Венский Е. Мое копыто. Спб., 1910. С. 76)

Кто между Харибдой и Сциллой  
Умеет свой челн уберечь  
И болен крамольной бациллой, —  
Читает коварную «Речь».

(Сатирикон. Спб., 1909. № 34. С. 5)

*Анемоны* — подснежники. *Гиацинты* — эти цветы были непременным атрибутом русского пасхального стола, специально выращивались к этому празднику или привозились из-за границы. В воспоминаниях С. Горного им посвящены вдохновенно-поэтические строки — своего рода гимн былому изобилию и роскоши: «... гиацинты — это Пасха. Целыми склонами стояли они в витринах Эйлерса и Ремпена, на Невском, на Морской, на улице Гоголя. Угол упругой, подкрахмаленной скатерти, оранжевые и красные пятна яиц, горка ноздреватого творога, бумажные цветы — тут же меж блюдами то белые, то розовые, а иногда и голубоватые гиацинты. Запах пронзительный и острый, вместе с тем нежный, девический. Какое-то неистовство, соединенное со стыдливостью. В упругости, в скульптуре чашечек бережность и точность. В истекающем, изнемогающем запахе — щедрость» (Горный С. С. 287). *Шустовский «Спотыкач»* — см. с. 407. *Архив русской революции* — собрание документов и воспоминаний в 22 томах, освещающее историю России в годы революции и гражданской войны. Выходило под редакцией И. В. Гессена в 1921—1937 годах в Берлине. Для Саши Черного «Архив» был символом неизученного труда, мертвым грузом осевшего на книжных полках эмигрантов.

**ГРЕЧЕСКИЙ САМОДУР** — Заря. Харбин, 1928, 2 октября. Этот рассказ был прочитан Сашей Черным 8 июня 1928 года на вечере А. А. Яблоновского. В заметке о вечере, подписанной инициалами В. Л., об этом выступлении сказано следующее: «Взрывы смеха прерывали бесхитрое описание рыболовных походов А. Черного, рассказывавшего, как он под руководством А. А. Яблоновского пытался выловить всю рыбу Средиземного моря при помощи любезно предоставленных ему «чудесных» снастей» (Возрождение. 1928, 10 июля). *Яблоновский А. А. (1870—1934)* — фельетонист, беллетрист, сыгравший исключительную роль в жизненной судьбе А. Гликберга в его гимназические годы (см. Иванов А. С. Потаенная биография Саши Черного // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып. 2. Иерусалим, 1993. С. 31—43). В эмиграции давние дружеские отношения Саши Черного и А. Яблоновского получили новое развитие. Так, летом 1928 года они совершают совместное турне по центральной и южной Франции с циклом литературных выступлений перед соотечественниками. Вероятнее всего, данный рассказ имеет под собой реальную почву: известно, что А. Яблоновский был страстным рыболовом. В частности, на вопрос корреспондента, где он собирается провести лето, сообщает, что «езжает в Чехословакию или Сербию»:

— Поближе к рыбе!

— Почему, Александр Александрович?

— Во французских реках нет хорошей рыбы, да и мало ее, а рыболовов много — под каждым кустом сидит несколько человек. Неинтересно. <...>

А. А. Яблоновский — страстный рыболов. И прекрасный. Можно сказать, магистр рыбной ловли» (Покровский Н. В Париже летом // Наша заря. Тяньцзинь, 1930, 3 сентября). *Лимитрофные* (гр.-лат. limitrophus) — пограничные. Этим термином в послереволюционную эпоху стали называть пограничные с СССР государства, образовавшиеся на ее западных окраинах, — Литву, Латвию, Эстонию, иногда к ним относили Польшу и Финляндию. *Торквемада Т.* (ок. 1420—1498) — глава испанской инквизиции (великий инквизитор), инициатор изгнания евреев из Испании в 1492 году. «*Последние новости*» и «*Возрождение*» —

две наиболее крупные эмигрантские газеты во Франции. Одна считалась оплотом либерализма, другая — консерватизма. ...у лафавьерского лукоморья, в хижине поселился. — О первом их жилище в Ла Фавьере вспоминала жена поэта — Мария Ивановна: «Перед нами в сосновой рощице был крошечный сарайчик с одной дверью, и маленьким окошечком, и почерневшей черепичной крышей. Людмила Сергеевна (Л. С. Врангель-Елпатьевская. — А. И.) торжественно распахнула дверь (не запертую на ключ), и мы очутились в крошечной комнате почти целиком занятой кроватью, стоявшей на грязном земляном полу. Потолка не было, и солнце просвечивало сквозь щели в крыше, где недоставало нескольких черепиц <...> Мы осмотрелись, и местоположение маленького кабанона, и природа, и вид с холма показались нам так хороши, что мы легко примирились с теми маленькими неудобствами жизни, которые нас так поразили в первую минуту, так как мы не ожидали ничего подобного» (Гликберг М. И. С. 247). *Туже* — прикосновение.

ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА — ИР. 1925. № 31. С. 1—2. При подготовке текста рассказа для журнала были внесены изменения, касающиеся адресата данного эпистолярно-беллетристического послания. В первопечатном варианте оно было обращено к писательнице Надежде Александровне Тэффи, коллеге Саши Черного по «Сатирикону» и его парижской знакомой. Начиналось оно так:

«Madame Teffi  
Paris (6<sup>e</sup>)

Золотая Надежда Александровна!»

Кроме того, в первоначальном варианте имелась следующая концовка: после слов «...ресторан с названием «Аскольдова могила» было: «Но, несмотря на название, кухня сильно ассимилировалась с берлинской. Сегодня, например, был такой мезальянс: на первое оксеншванцзупе — суп из бычьих хвостов, на второе коровья грудинка с подливкой из кукурузной перхоти. Третьего вовсе не было. Куда мы идем, золотая Надежда Александровна?..

Ответная телеграмма Н. А. Тэффи:

Herr Sascha Tchorny  
Kapustenstrasse  
Charlottenburg, Berlin.

Виза эмпосибль. А пропо белка анвое вит анималь иси фере воротник».

Надо полагать, что включение Тэффи в состав персонажей художественного произведения явилось частью той игровой атмосферы, которая сложилась на их совместных с Сашей Черным литературных вечерах, специально для которых сочинялись шуточные скетчи, различного рода розыгрыши, дружеские пародии и т. п. Именно в таком духе составлена «телеграмма» Тэффи. Явно русифицировано название улицы: Капустенштрассе (в действительности Саша Черный проживал в Берлине по адресу: Шарлоттенбург, Валлштрассе, 61). Сам текст телеграммы представляет смесь «французского с нижегородским» и может быть переведен следующим образом: «Виза невозможна. Кстати: из белки, присланной как живое существо, здесь сделают воротник». В этом воляпюке можно усмотреть аллюзию на знаменитую фразу из рассказа Тэффи, ставшую своего рода ее

визитной карточкой. Произносит ее русский генерал-эмигрант, оказавшийся в Париже: «Все это, господа, конечно, хорошо. А вот... Ке фер? Фер-то ке?» — Действительно — ке?» (Тэффи Н. А. Рассказы. М., 1971. С. 106). *Чудак, видите ли, завел белку.* — В берлинской квартире Саши Черного, по-видимому, действительно жила белка (см. рассказ «Берлинское Рождество» и стихотворение «На берлинском балконе...»). *Гинденбург Пауль фон* (1847—1934) — генерал-фельдмаршал, командовавший в первую мировую войну Восточным фронтом; с 1925 — президент Германии. *Ферфлюхтер* (нем. verfluchter) — проклятый. *Шац* (нем. Schatz) — сокровище. *Ами* (фр. ami) — друг. ... *приняв осеннюю муху на стене за звездик, повесил на нее свои последние золотые часы.* — Эта комическая характеристика рассеянного человека — автореминисценция из сатириконской юморески «Окрошка из профессоров», подписанной псевдонимом «Буль-буль». *Мальцайт* (нем. Mahlzeit) — приятного аппетита. *Лига наций* — международная организация, учрежденная в 1919 году, ставившая своей задачей сотрудничество между народами (предшественница ООН). Отношение к ней изгнанников из России было в основном скептическим. *Иван Лось* — в журнальном варианте стояла другая подпись: «А. Черный». Персонаж по имени «Степан Лось» встречается в другом сатирическом рассказе «Письмо из Рима», напечатанном в отделе сатиры и юмора «Бумеранга» (ИР. 1925. № 30. С. 15). «*Аскольдова могила*» — в эмиграции была мода на русопетские и фольклорные названия. Аскольд — древнерусский князь, убитый Олегом и похороненный, по преданию, в Киеве на берегу Днепра. Известна опера А. Н. Верстовского «Аскольдова могила». Семантически название это в применении к заведению подобного типа, возможно, имеет гротескно-оक्षоморный оттенок.

## ЭМИГРАНТСКИЕ РАССКАЗЫ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГУ

**БЕРЛИНСКОЕ РОЖДЕСТВО** — ИР. 1924. № 9. С. 4—5. ... *из чулана прибежала белка.* — См. выше. *Под эту песню маленького Гоголя когда-то укачивали в колыбели.* — Подтверждения этому факту в литературе, посвященной творчеству Гоголя, и в его писательском наследии обнаружить не удалось. Известно, что Гоголь был истовым собирателем произведений устного народного творчества — сохранились четыре тетради с его записями русских и украинских песен. Это увлечение писателя стало предметом особого внимания Саши Черного на чужбине. Так, 28 января 1928 года в юношеском клубе он сделал доклад на тему: «Русские народные песни по записям Гоголя» (ПН. 1928, 26 января). *Фатерланд* (нем. Vaterland) — отечество.

**РАКЕТА** — ИР. 1925. № 17. С. 8—9. Подпись: Sandro. *Курдюмов, «де-Курдюмэн»* — фамилия вызывает литературные ассоциации с героиней сатирической книги И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границу, дан л'этранже» (1840). *Казатин* — крупная железнодорожная станция в Киевской губернии. *Капитал позволял, и новые знакомые все были с икрой.* — Богатые эмигранты, либо русские нувориши, сколотившие капитал за границей, держались особняком в зарубежье и православные праздники отмечали в своем кругу. Одно из таких торжеств описано Л. Д. Любимовым: «Тридцатые годы.



Русская Пасха. К замку в нескольких километрах от Парижа после полуночи подъезжают вереницы машин. Женщины в светлых вечерних туалетах, мужчины во фраках поднимаются на крыльцо. В первом зале огромный стол с окороками, исполинскими ростбифами, всякой птицей, пасхами и куличами <...> Русских сравнительно мало, и это в большинстве не представители былой старорежимной верхушки. Вот биржевой маклер, который был биржевым маклером и в Петербурге, вот одесский банкир с довольно сомнительной репутацией, а вот дама, о которой известно только, что за ней ухаживает какой-то богатый адвокат. Среди французов есть и представители «всего Парижа». <...> Для большинства все здесь своего рода курьез: пасха и куличи, которые они никогда не пробовали, огромные портреты русских царей, да и сам хозяин» (Любимов Л. Д. С. 139). *Консоме* — бульон из мяса или дичи. *Пулярка* — жирная, откормленная курица.

КЛЕЩ — ИР. 1925. № 24. С. 1—4. *Кампо-Санто* — в Италии старое кладбище с усыпальницами знатных особ. *Нерви* — курорт на берегу Лигурийского моря, пригород Генуи. *Пульчинелла* — персонаж итальянской комедии дель арте. *Санта-Маргерита* — курорт в Италии неподалеку от Генуи, где Саша Черный отдыхал в 1910 году. *Камерьере* — официант.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ — ПН. 1926, 1 января. Тема кинематографа фрагментарно встречается во многих произведениях Саши Черного, и неизменно она преподносится в иронических, язвительных, пародийных тонах. И одновременно этот «волшебный, новый яд», столь успешно внедрявшийся в жизнь, обладал какой-то притягательной силой. Недаром сотни эмигрантов из России принимали участие в создании фильмов — иностранных или выпускавшихся русскими кинофирмами (см. Анненков Ю. Русские в мировом кинематографе // Возрождение. 1968. № 200—204).

В этом новом искусстве Сашу Черного как литератора более всего интересовал, безусловно, сценарий. Считалось, что можно легко разбогатеть, удачно продав сценарий. Отсюда поветрие, названное в одной из газетных заметок того времени «сценариоманией»: «Наиболее «легкий» случай, когда человек, прочитавший где-либо, что в Америке недавно был куплен сценарий за 5000 долларов, напишет что-нибудь и пошлет в первую попавшуюся кинофирму. Ему возвратят его сценарий в сопровождении любезного письма, и обычно на этом дело кончается. «Легкий» случай также, когда дебютант-сценарист робок от природы и свои произведения сопровождает письмом, в котором просит «комитет для чтения сценариев» быть к нему снисходительным. После двух-трех неудачных опытов он обычно бросает это занятие. Гораздо опаснее «плодовитые сценариоманы». Они начинают обычно с посылки одного сценария в неделю и, постепенно увеличивая количество, доводят до ежедневных посылок. <...> Чего только в этих сценариях не было: ограбления, автокатастрофы, кражи, отравления, просто убийства, самоубийства...» (РГ. 1925, 20 марта). Сценарный бум не обошел стороной и Советскую Россию. Явно неспроста Остап Бендер, когда ему понадобились деньги, наскоро пишет сценарий фильма «Шея» и получает-таки гонорар.

На Западе были поставлены фильмы по сценариям таких авторов, как Н. Евреинов, Е. Замятин, Г. Раевский, В. Познер, П. Устинов... Корифеев отечест-

венной словесности за рубежом, однако, в этом перечне нет. Хотя известно, что, к примеру, А. И. Куприн писал сценарий на библейскую тему «Рахиль». Между прочим, не кто иной, как Саша Черный еще в начале 1920-х годов предлагал Куприну уступить «Звезду Соломона» каким-то «фильмовым детоубийцам», добавляя при этом: «...такие предприятия, кажется, не плохи, если не попасть в лапы крокодилам» (Куприн К. А. Куприн — мой отец. М., 1979. С. 216). Если верить газетной хронике, Саша Черный тоже попытал судьбу на данном поприще. Однажды промелькнуло такое сообщение: «А. М. Черный, переехавший из Берлина в Италию, закончил сценарий для кинематографа «Ганс-изобретатель» (Дни. 1923, 15 июля). Видимо, это «предприятие» не было успешным, и Саша Черный в дальнейшем от киносценарной болезни окончательно излечился, в результате чего и появился данный рассказ. «Союз журналистов и писателей» (правильнее — «Союз русских писателей и журналистов в Париже») — профессиональная организация русских литераторов, возникшая в начале 1920-х годов и занимавшаяся в основном вопросами помощи эмигрантам, живущим исключительно своим грудом. «Великий немой» — т. е. кинематограф; выражение, введенное в оборот Л. Н. Андреевым. Вплоть до второй половины 1920-х годов в киноискусстве определяющим было изображение, хотя фильм обычно демонстрировался с музыкальным сопровождением, либо кинодекламацией. *Усть-Сысольск* — прежнее название г. Сыктывкара. В эмиграции стало своего рода синонимом уездного захолустья, употреблявшегося с долей иронии. *Сильвия Нильская* — еще с дореволюционных времен в российском кинематографе были в ходу звучные псевдонимы (Вера Холодная, например). Здесь, вероятно, шаржировано имя звезды мирового экрана Асты Нильсен.

ДОРОГОЙ ПОДАРОК — ПН. 1926, 2 февраля. ...на каминной доске сказки Афанасьева. — Русские народные сказки (в 3-х томах), собранные и изданные известным фольклористом А. Н. Афанасьевым, считаются наиболее полным и авторитетным собранием такого рода, еще до 1917 года выдержавшим несколько изданий. Сказки Афанасьева были, видимо, из тех книг, что сопровождали Сашу Черного в его беженских скитаниях. Приветствуя выпуск в Белграде грехтомника «Народных русских сказок» из собрания П. Полевого, Саша Черный писал: «Русские народные сказки всегда были излюбленным детским чтением. Для эмигрантских детей, особенно для младшего возраста, такие сказки вдвойне ценны: живой и сочный склад народной речи, русский деревенский быт, искусно переплетенный с русской фантастикой и мифологией, наиболее полно знакомит маленьких читателей с далекой, никогда не виданной, лежащей за тридевять земель родиной. До сих пор такой потребности в известной мере отвечал переизданный за рубежом том сказок Афанасьева в отборе для детей» (ПН. 1929, 18 апреля). ...вечно-радостная гарднеровская пара. — Ф. Я. Гарднер — английский купец; в 1766 году основал фарфоровый завод в селе Вербилки под Москвой, выпускавший массовую и высокохудожественную продукцию, в том числе и небольшие изящные фарфоровые фигурки. ...последние поезда, отходившие в Германию. — Данная историческая подробность позволяет соотнести сюжет рассказа с фактами биографии автора. В августе 1918 года, в связи с наступлением Красной армии на Псков, Саша Черный покинул город, вместе с полковником Будревичем он добирается до станции Турмонт (под Двинском), где его спутник приобретает дом. Видимо, Будревич и послужил прототипом героя рассказа —

хозяина усадьбы, «бородатого русского Робинзона, полковника». Вдова Саши Черного вспоминала его как мастера на все руки — он штукатурил, белил, плотничал, столярничал, чистил трубы, а Саша Черный учился у него и помогал ему по мере своих сил. Во второй половине декабря 1918 года последние германские части покидали Россию, и в одном из таких составов Саша Черный выехал в Вильно.

**ЖИТОМИРСКАЯ МАРКИЗА** — ИР. 1926. № 52. С. 8—11. *Приготовишка* — см. с. 407. *Щеголь-студент* <...> в темном сюртуке — без шинели <...> воротник иссиня-черный, околыш такой же; царского сукна темно-зеленые брюки натянуты штрипками. — В царской России форма студентов имела полувоенный характер. По цвету материи, кантов, околышей, эмблемам на пуговицах можно было определить, к какому учебному заведению относится студент. Герой рассказа Саши Черного учился, судя по цвету околыша, не в университете, а в Институте путей сообщения, где были приняты тужурки и брюки зеленоватого цвета. Нередко демократическое студенчество не носило форму как из-за дороговизны материала и шитья, так и из принципиальных соображений — чтобы не быть похожими на «белоподкладочников». ...*кургузога памятничка Пушкину*. — Бюст А. С. Пушкина был установлен в Житомире в 1899 году — в столетнюю годовщину со дня рождения поэта. *Вольноопределяющийся* — см. с. 399. ...*по костюму сразу узнаешь: из Башкирии с кумыса вывезла*. — Летом 1909 года Саша Черный ездил лечиться в Башкирию — «на кумыс». *Управляющий акцизами* — начальник службы, ведающей акцизными сборами, то есть взиманием в казну доходов с питей, изделий из вина и спирта, дрожжей, табаку, сахара, осветительных нефтяных масел и зажигательных спичек. *Мариинская гимназия* — в России средние женские учебные заведения были организованы по инициативе и при попечительстве императрицы Марии Федоровны, жены Александра III, в честь которой получили наименование «мариинские». «*На волнах*» — вальс Н. Розаса, пользовавшийся популярностью на рубеже веков. *Брандмайор* — см. с. 423. ...*Майская ночь, или Утопленница*. — См. с. 408. *Лейденская банка* — разновидность конденсатора электричества. Изобретена голландцем Кюнеусом в середине 18 века в городе Лейден. Обычно демонстрировалась на уроках физики.

**В ЛУННУЮ НОЧЬ** — ПН. 1928, 8 июня. *Острогорский В. П.* (1840—1902) — педагог, редактор журнала «Детское чтение», составитель хрестоматий для детей. *Борм* — административный центр департамента Вар на юге Франции, в Провансе.

**ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА В МЕДОН И ОБРАТНО** — ПН. 1928, 6 сентября. На литературном вечере в Медоне 27 мая 1928 года этот рассказ был прочитан автором (ПН. 1928, 18 мая). *Медон* — небольшой город, по сути — пригород Парижа. Из-за дороговизны жилья в Париже его облюбовали низовые слои беженцев из России. Н. Покровский в очерке «Русский город под Парижем» писал: «Давно, еще в самом начале эмиграции, нахлынули сюда многие тысячи, снимали квартиры, особняки и павильоны, и очень скоро французский Медон — бывшую королевскую охотничью резиденцию — превратили в уездный город Медонск или Медынь, как ласково называет теперешний Медон А. И. Куприн. Русская церковь, русские лавочки, русское спортивное общество, русская

библиотека. Конечно, и жизнь русская, похожая немного на жизнь русской уездной провинции. <...> Большинство проживающих в Медоне русских работают в Париже. Там они заняты целый день и домой возвращаются к вечеру» (Шанхайская заря. Шанхай, 1930, 29 ноября). *Ордюрные баки* — баки для мусора и отходов. *Евразиец* — см. с. 405. *Эгалите, фратерните* (фр. *égalité, fraternité*) — равенство, братство: слова девиза Великой французской революции. *Карт-д'идантите* (фр. *carte d'identité*) — вид на жительство во Франции на два года. Документ, который предписывалось иметь каждому иностранцу по достижении 15-летнего возраста. В отличие от паспорта он не давал право гражданства. *Медон-Монтарнас, Медон-Валь-Флери, Ба-Медон* — три больших района, из которых состоит Медон. Первый примыкает к железнодорожному вокзалу, последний — к пристани на Сене. *Генерал Буланже Ж.-Э.* (1837—1891) — генерал, возглавлявший военное Министерство Франции. После поражения в войне 1870 года способствовал поднятию патриотического духа нации, что обеспечило ему огромную популярность (появился марш Буланже, исполнялись песенки о нем). ...*дощечки с заманчивыми надписями: «Бобы королевские», «Лук Шарлотта», «Артишоки Царица Весны» и прочее в таком роде. Кроме дощечек ничего не было.* — Возможно, это иронический намек на М. А. Осоргина, который в 1927 году опубликовал серию очерков под рубрикой «Огородные записки» в газете «Последние новости». *Франциск Ассизский* (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, основатель вблизи города Ассизи религиозного «братства», которое было преобразовано впоследствии в орден францисканцев. Проповедовал подвижничество, бедность, отказ от собственности. *Зал «Панорама»* — общественное помещение в Медоне, которое обычно арендовывалось эмигрантами из России для проведения праздников и культурных мероприятий. Неоднократно выступал в этом зале Саша Черный. *Медон-Шваль-Флери* — иронически перефразировано «Медон-Валь-Флери»; игра слов («шваль» имеет двойное значение: фр. — 'лошадь', рус. — 'негодная вещь').

**ТАБАЧНЫЙ ПАТРИОТ** — Заря (Харбин). 1928, 13 декабря. На литературном вечере 21 марта 1929 года в Тургеневском обществе был прочитан автором вместе с другим рассказом «Три спортсмена» («Возрождение». 1929, 18 марта). *Медонский лес* — обширный лесной массив близ Медона, излюбленное место воскресного отдыха парижан. *Гильзы Катыка* — трубочки из папиросной бумаги, набиваемые табаком с помощью специального приспособления. Наибольшим распространением в России, судя по рекламе дореволюционных газет и журналов, пользовались гильзы производства Катыка. *Далматский порошок* — порошок из цветков ромашки, растущей в Далмации. Аналогичный порошок, приготовленный из сортов, растущих в Персии и Закавказье, назывался персидским или арагацем. Применялся как средство от насекомых. ...*Разве в замордованной стране такую душистую папиросу сфабриковать могут!* — Едва ли это утверждение справедливо. В Советской России в 1920-е годы наблюдается стремительный подъем табачной промышленности. Наряду с дореволюционными сортами папирос появляется множество новых. Вот некоторые названия папирос, фигурирующие в рекламе Ленинградского табачного треста (1926): «Зефир», «Осман», «Смычка», «Государственный банк», «Сафо», «№ 6», «Ю-ю».

**ФИЗИКА КРАЕВИЧА** — ПН. 1928, 25 декабря. Публикация сопровождается подзаголовком: «Из повести «Молодое вино». Вероятно, рассказ носит автобио-

графический характер и воссоздает обстановку, в которой прошли в Житомире юношеские годы писателя под попечительством К. К. Роше. Подобно герою рассказа, А. Гликберг жил, видимо, при женской гимназии. Подтверждением тому служит объявление, помещенное К. К. Роше в местной газете: «Пожертвования принимаются мною ежедневно до 3 ч.—на Киевской ул., в губернском по крестьянским делам присутствии, а с 3 часов в здании женской гимназии. В праздничные дни—исключительно в этой гимназии» (Роше К. С миру по нитке—голому рубаха // *Вольный. Житомир*, 1899, 2 мая). В «адресной книге Житомира» (1896) указано местожительство Александры Ивановны Роше—главного надзирателя Житомирской женской гимназии и преподавательницы немецкого языка: ул. Б. Бердичевская, женская гимназия. Именно А. И. Роше явилась, вероятно, прототипом начальницы Н-ской мариинской гимназии, преподавательницы немецкого языка. *Маршинская гимназия*—см. с. 418. *Гарус*—пряжа из козьей или овечьей шерсти, тонкая глянцевиная, без ворса, идущая на вышивание по канве. ...с меркурьевыми крылышками.— В римской мифологии—бог торговли, покровитель ремесел, вестник и прислужник богов, изображался с крыльями, которые использованы в качестве эмблемы велосипедной фирмы «Меркурий». *Рекреационный зал*—в средних учебных заведениях зал для отдыха и игр школьников. *Живописная Россия*—иллюстрированное приложение к журналу «Новь» в роскошных переплетах, выходило в конце прошлого века. Содержало описание исторического прошлого, жизни племен и быта России. *Что же, дева младая, / Молви, куда нам плыть! / Ветер, парус взвивая, / Челн мой давно кружит...*—Начальная строфа «Баркаролы» на музыку французского композитора Ш. Гуно. *Краевич К. Д.* (1833—1892)—преподаватель гимназии, автор учебника физики, изучение которой начиналось в 6-м классе классических гимназий. В ряду других это имя навсегда оставалось в памяти выпускников гимназий: «Какой таинственный смысл был в словах и сочетаниях, в именах авторов, в названиях книг и учебников! Вторая часть хрестоматии Смирновского. История Иловайского. Учебник арифметики Малинина и Буренина. География Елпатьевского. Задачник Евтушевского. Алгебра Киселева. Физика Краевича. (...) И все это не так, на воздух, на фу-фу, а с допущения цензурой и с одобрения ученого Комитета при Святейшем Правительствующем Синоде» (Дон-Аминадо. С. 11—12).

ВИЗИТ—ПН. 1929, 7 января. ...живая собака... Она с вами живет всю жизнь?—Только год. Год назад она даже стоять не умела на паркете.—Речь идет о фоксе Микки, который появился в доме Саша Черного в январе 1928 года—см. стихотворение «Щенок», героем которого является «фокс—пятинедельный гномик» (ПН. 1928, 12 февраля). «Саламандра»—металлическая печь, которую топят углем. Свое название получила по имени мифологического существа, способного находиться в огне, не сгорая. *Комюньон* (фр. communion)—религиозное причастие. Они живут у Бога. И Бог им позволяет кушать все.—Детские представления о Боге, о райской жизни весьма занимали Сашу Черного. Данный фрагмент заставляет вспомнить аналогичные записки К. И. Чуковского, когда он только начинал заниматься изучением детского слово- и мифотворчества,—те, что позднее не были включены в книгу «От двух до пяти»:

- А что—Богин (Божий) домик—на небе?
- На небе.

- А у Бога жена есть?
- Еще бы!
- А где же Божница (богиня) живет?

(Речь. Спб., 1909, 14 декабря)

**ПТИЧИЙ ДЕНЬ** — ПН. 1929, 26 января. *Он был ночной шофер.* — В Париже 1920-х годов из 30 тысяч шоферов такси 4—5 тысяч — русские эмигранты. Большинство из них бывшие офицеры, владевшие французским языком и сдавшие экзамены на управление автомобилем, на знание города и на «гранд релиз» — лавирование между колышками с заездом в воображаемый гараж. Из тех вакансий, на которые могли рассчитывать беженцы из России, эта работа считалась наиболее престижной: «Полная независимость, уважение со стороны окружающих, легкий, почти творческий труд, а главное, щедрый и неиссякаемый поток, широким устьем направленный к карману удачника, уверенность в завтрашнем, неведомом и капризном дне» (Н. Р-ин. Русские шоферы в Париже // ИР. 1925. № 18. С. 9). *Щукины дети* — шутовское выражение, имитирующее детскую шепелявость. Но, возможно, это и ироничная переключка с Тэффи: «кукины дети» — так именовала она клиентов туристической конторы Кука. *Марше-о-пюс* (фр. *marché au puce*) — «блошинный рынок», знаменитый вещевой рынок в Париже. *Борм* — см. с. 410. *...смотрели на невиданную с самого Крыма ширь.* — В воспоминаниях К. А. Куприной и многих других обитателей русской колонии в Ла Фавьере говорится, что это место было облюбовано эмигрантами из России во многом из-за сходства с побережьем Крыма, где многие из них когда-то отдыхали, имели свои дачи.

**НАСТОЯЩИЙ БУЙАБЕС** — ПН. 1929, 27 октября. *Габерсуп* (нем.) — суп из овсянки. «*Дубовый листок оторвался от ветки родимой...*» — начальная строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Листок». *Вербицкая А. А.* (1861—1928) — автор женских романов, пользовавшихся в начале века колоссальным успехом. *Маевка* — см. с. 406. *Буцефал* — любимый конь Александра Македонского. *Татьянин день* — старинный праздник русского студенчества, начало зимних каникул, связан с учреждением 12 января (25-го по новому стилю) 1755 года Первого российского Московского университета. В церковном календаре дата эта отмечена как день святой мученицы Татьяны, которая стала считаться отныне покровительницей студенчества. «*Гаудеамус*» (лат. *gaudeamus* — будем радоваться) — старинный, возникший в средние века студенческий гимн, исполняемый обычно на латыни. «*Умрешь — похоронят, как не жил на свете... Сгинешь — не встанешь...*» — строки из старинной студенческой песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни»:

Темна наша жизнь, как осенью ночь,  
Грядущее скрыто для нас впереди.  
Налей же, товарищ.  
Умрешь — похоронят, как не жил на свете,  
Сгинешь — не встанешь к веселью друзей.  
Налей же, товарищ.

И т. д.

Текст представляет собой народную версию стихотворения «Вино» А. П. Себрянского (1810—1838). «*Не осенний мелкий дождичек*» — народная песня,

являющаяся вариантом стихотворения А. Дельвига; ее мелодия восходит к музыке М. И. Глинки. Начинается она с куплета:

Не осенний мелкий дождичек  
Брызжет, брызжет сквозь туман;  
Слезы горькие льет молодец  
На свой бархатный кафтан.

*Кота не хоронят* — см. с. 403.

**ПТИЧКА** — ПН. 1929, 8 декабря. ...*родившись в Одессе, должен был в Вильне, при помощи двух бескорыстных лжесвидетелей, заново родиться в Ковно.* — Этот квази-анекдотичный случай имеет явную автобиографическую подоплеку. Ибо именно Саша Черный, уроженец Одессы, для того чтобы эмигрировать в Германию, вынужден был из Вильно перебраться в литовскую столицу Ковно, где и получил в немецком консульстве визу на въезд в Берлин по литовскому паспорту. ...*медонско-боярским акцентом.* — Медон см. с. 418. *А мы просто сеяли-сеяли...* — искаженная строка народной русской песни «А мы просо сеяли-сеяли». *Театр Гиньоль* — театр ужасов. *Ре-де-шоссе* (фр. *res-de chaussée*) — принятое во Франции наименование первого этажа дома (первым там считается второй этаж). *Крестословица* — русский вариант слова «кроссворд», автором этого слова, вошедшего в эмигрантский обиход, был, по его собственному признанию, В. В. Набоков (см. Набоков В. В. Другие берега. Мичиган, 1978. С. 241). *Болхов* — уездный город Орловской губернии, где Саша Черный бывал в 1911 и 1913 годах. «*Чужая служанка и муж под кроватью*» — рассказ Ф. М. Достоевского называется «Чужая жена и муж под кроватью».

**КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ** — Наша заря (Тяньцзин). 1930, 1 января. *Шато* — замок; *зд.* — загородный дом, особняк. *Штабс-ротмистр* — военный чин в кавалерии. ...*шоферы из эмигрантского офицерства.* — См. с. 421. *Визави* — см. с. 393. *Квакерша* (квакер) — члены англо-американской религиозной христианской общины. Квакеры отличаются строгими нравами, избегают роскоши, не признают присяги и военной службы. *Брандахлыст* — дурное, безвкусное и жидкое хмельное питье. *Запеканка* — в южных губерниях России так называли водку с медом, настоенную на пряностях в печи, в замазанной наглухо посуде. *Живая картина* — см. с. 405.

**КАПИТАН БОПП** — ПН. 1930, 13 апреля. В качестве заглавия взято название повести в стихах В. А. Жуковского «Капитан Бопп». В тяньцзинской газете «Наша заря» рассказ был перепечатан под несколько измененным названием «Капитан Баранов». Было ли переименование авторским, неизвестно. «*Дом отдыха*» под *Ниццей* — летом 1929 года Саша Черный отдыхал и лечился в «Русском доме отдыха» на Лазурном берегу. Вот каким запомнился он Ф. Г. Ковальчуку, также отдыхавшему в этом санатории: «...в течение двух недель я наблюдал его близко во время обедов и ужинов, за «табельдот». Выше среднего роста, полуседой, с удивительно красивыми черными глазами и умным выражением лица, Саша Черный производил впечатление грустного, молчаливого человека» (из письма И. В. Кодюковой). *Сен-Тропец* — курортный городок на Лазурном берегу неподалеку от Тулона. ...*провел весь каменщицкий искус,* — стал *заправским «масоном»* — *зд.* игра слов: подмена профессии каменщика принадлежностью к масону.

ской организации — «вольным каменщикам» (см. с. 411). *Пуца-Водица* — пригород Киева. *Выдубецкий монастырь* — Выдубецкий Михайловский мужской монастырь неподалеку от Киева. Основан в 1070 году на правом берегу Днепра. Архитектурный памятник 11—18 вв. Упразднен после 1917 года. *Больше о капитане Боппе в этот вечер не говорили.* — В этой заключительной фразе можно усмотреть аллюзию на крылатое выражение из Данте («Ад». Песнь 4-я). Повествование Франчески да Римини о любовном свидании завершается словами: «И в этот день мы больше не читали».

**СВАДЬБА ПОД КАЛАНЧОЙ** — ПН. 1930, 22 апреля. Рассказ этот, судя по всему, должен был войти составной частью в повесть «Молодое вино», о которой заявлено в публикации «Физика Краевича» (тот же главный герой, место действия и прочие обстоятельства). Продолжения, однако, не последовало, — по-видимому, авторский замысел до конца не был осуществлен. *«Спи, милый прах, до радостного утра»* — с небольшим искажением цитируется эпитафия, принадлежащая Н. М. Карамзину. *Коростышево* — правильное Коростышев — городок в Киевской губернии, на берегу Тетерева, неподалеку от Житомира. *Начальник акцизных сборов* — см. с. 418. *Вольноопределяющийся* — см. с. 399. *Куроцапов* — эта забавная фамилия, которой представляется на свадебном маскараде главный герой рассказа, заимствована автором из «Бумеранга» — отдела сатиры и юмора журнала «Иллюстрированная Россия». Первые 13 номеров «Бумеранга» редактировал Саша Черный, выступавший под именем Ф. С. Смяткина, а затем его сменил на этом посту некто Псой Сысоевич Куроцапов де Лаперуз, доктор политграммы и кожных болезней. *Горняшка* — зд. горничная. *Брандмайор* — городской полицейский чиновник, в ведении которого находилась пожарная команда, лошади и прочие пожарные принадлежности. *Чуйка* — мужской суконный кафтан; другое значение — простолюдин в такой одежде — болван, дурак. *Полендица* — копченая колбаса из филейной части. *Жавелевая вода* — см. с. 408.

**«ТИХОЕ КАБАРЕ»** — Заря (Харбин). 1930, 20 апреля. В эпиграфе — цитата из стихотворения «Всероссийское горе» (1910). *Письмо (<...> со всеми онёрами* — то есть со всем, что необходимо, что полагается в таких случаях. Онёр — в некоторых карточных играх козырная старшая карта от десятки до туза. *Бекер Жозефина* (1906—1961) — американская эстрадная певица и танцовщица. В 1926 году дебютировала в негритянском ревю в Париже и сразу стала звездой варьете и любимицей французской публики. *Дактило* — зд. секретарь-машинистка, стенографистка, переписчица. *Под сурдинку* — см. с. 410. *Хор... сестер Зайцевых* — в «русском Париже» успехом пользовался хор братьев Кедровых; возможно, шутливая аллюзия направлена на них. *«Оловянные матросики»*. *«Эмигрантская Катенька»* — в этих пародийно-трансформированных названиях угадываются эстрадные номера и сценки из репертуара театра миниатюр «Летучая мышь»: «Марш деревянных солдатиков» и «Катенька»; автором последней был П. П. Потемкин. В памяти современников заразительный речитатив из этой пьески остался неким веселым аккомпанементом кануна революции:

Что танцуешь, Катенька?  
Польку, польку маменька!  
С кем танцуешь, Катенька?  
С офицером, папенька!



*Подобно пронесшемуся ветру, нечестивый не существует более.* — Неточная цитата из притч Соломоновых. Правильно: «Как пронесится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник — на вечном основании» (Прит. 10, 25).

**«ЛЮДОВИК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ»** — Жизнь и суд. 1930. № 5. С. 2—4.  
*Людовик Девятнадцатый* — такого короля не существовало; последним на престоле Франции был Людовик XVII. *Марше-о-пюс* — см. с. 421. *Александровский рынок* — петербургский рынок в квартале улиц: Садовой, Вознесенской, Фонтанки и Малкова переулка. Включал десятки магазинов, лавчонок, три пассажа, между которыми посреди площади находилась толкучка. Торговали здесь «вразвал» подержанными вещами (ковры, гобелены, старинные монеты, меха, драгоценности, книги и пр.). *Клинанкур* — квартал в северной части Парижа, к которому примыкал, уже за городской чертой, вещевого рынок, существующий по сей день. В очерке тех лет запечатлены некоторые бытовые реалии этой парижской барахолки: «Напротив — ларьки с картинным и книжным хламом. Большинство картин никуда не годятся, но иногда здесь можно найти настоящие художественные произведения, хотя и никому не известных художников. Я знаю одного русского, который собрал таким образом коллекцию прелестных картин. Тут же торгуют старым железом — гайки, болты, ржавые замки, кривые обломки и какие-то причудливые и самые разнообразные предметы совершенно неизвестного назначения. (...) Ближе к воротам, на окраине рыночного поля, приютились многочисленные кабаки и дешевые харчевни. Когда проходишь мимо таких харчевен — дыхание спирает от запаха горелого оливкового масла, в котором жарят картошку» (К о н о п л е в Н. Парижская Сухаревка // Парижский вестник. 1925, 28 июля). *Антик* (фр. antique — древний) — произведение античной скульптуры или его фрагмент (в оригинале или в слепке). *Прогимназия* — см. с. 411.

**ЧЕЛОВЕК С ЗАВЯЗАННЫМИ УШАМИ** — Русский инвалид. 1930, 22 мая.  
*Театр Гиньоль* — см. с. 422. ...*вопросе, о котором много лет назад еще Короленко писал.* — Видимо, имеются в виду письма В. Г. Короленко А. В. Луначарскому, опубликованные в журнале «Современные записки» (№ 9 за 1922 год), где красной нитью проходит мысль о бессмысленной жестокости общества в эпоху революции и гражданской усобицы. ...*превращается в бешеную свинью.* — По-видимому, имеется в виду эпизод из Евангелия: Иисус, исцеляя бесноватых, вселяет бесов в стадо свиней. Бешеные свиньи бросились с крутизны в море и погибли (Мф. 8, 28—34). *Св. Себастиан* — во время правления римского императора Диоклетиана был начальником стражи. Тайно исповедовал христианство и, уличенный в этом, принял мученическую смерть (287 г.). Возведен в ранг святых. *Вольноопределяющийся* — см. с. 399. ...*там тебе до победного конца покажут.* — Лозунг «Война до победного конца!», выдвинутый после свержения монархии в 1917 году, был поддержан в основном состоятельным слоем общества и значительной частью интеллигенции. Подобных взглядов придерживался, очевидно, и Саша Черный, написавший в те дни стихотворение-призыв «Заем свободы» (однодневная газета «Во имя свободы». Спб., 1917, 25 мая). Со словами укоризны, презрения и боли обращался Л. Н. Андреев к солдатам, охваченным в большинстве своем антивоенными, дезертирскими настроениями: «...десятики тысяч Иуд, обгоняя друг друга, несутся вскачь, бросая ружья, грызаясь и все еще похваляясь какими-то митингами. Куда они торопятся? Они торопятся предать

родину. Они даже германского выстрела не ждут,— так торопятся предать родину, чуть ли не насильно всучить ее в руки изумленного врага» (Андреев Л. Н. К тебе, солдат//Русская воля. Спб., 1917, 14 июля).

**ФОКС-ВОРИШКА**—ПН. 1930, 30 августа. В цикле из двух рассказов под общим заглавием: «Провансальские страницы». Главный «герой»—фокстерьер Микки (о нем см. с. 420) фигурирует также в тех немногих воспоминаниях о Саше Черном, где рассказывается о его последних годах жизни. Одно из них принадлежит Н. В. Станюковичу: «...Саша Черный любил, держа его за задние лапки, перекинуть через плечо и, оглаживая, бродить с ним под соснами, приговаривая: «Мушка, Мушка...» (Возрождение. 1966. № 169. С. 121).

**МОРСКАЯ ПОДУШКА**—ПН. 1930, 30 августа. В цикле из двух рассказов под общим заглавием: «Провансальские страницы».

**КОМАРИНЫЕ МОЩИ**—Заря (Харбин). 1931, 1 января. ...*нафталином самого себя пересыпать, в ломбард на хранение сдать.*—Автореминисценция из стихотворения «Под сурдинку» (1909):

Как молью, изъеден я сплином...  
Посыпьте меня нафталином,  
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,  
Пока не наступит весна.

*Лоти Пьер* (1850—1923)—французский писатель, создатель жанра так называемого колониального романа, овеянного романтикой моря и восточной экзотики. *Святой Себастьян*—см. выше. *Монна Ванна*—см. с. 412. *Облатка*—см. с. 412. ...*у эпископки на весах* (фр. *episcopie*)—у бакалейщицы, торгующей пряностями, то есть на очень точных весах. *Саль Друо*—аукционный зал в Париже, где торговали мебелью, антиквариатом. *Людвиковов 20-х скупаю*—см. с. 424. *Магнезия*—лекарственное средство. *Першерон*—см. с. 410. *Рюстик*—см. с. 409.

**КОЗЬЯ ФЕРМА**—ПН. 1931, 8 февраля. В цикле из двух рассказов под общим заголовком: «Провансальские рассказы».

**ОТБОРНЫЕ ДЫНИ**—ПН. 1931, 8 февраля. В цикле из двух рассказов под общим заголовком: «Провансальские рассказы». *Душа Хлеба в «Синей Птице»*—персонаж сказочной пьесы М. Метерлинка «Синяя Птица» (1908), отличавшийся пухлостью, рыхлостью.

**МЕЛКОЗЕМЕЛЬНЫЙ ГРИПП**—ПН. 1931, 12 апреля. Саша Черный, по всей видимости, тоже переболел «мелкоземельным гриппом», то есть желанием стать владельцем загородного участка (один из его инскриптов 1928 года подписан: «от безземельного автора»). В конце 1930-х годов его мечта, наконец, исполнилась—в письме к З. Д. Шкловской (от 22 октября 1930 года) он сообщает: «Жили мы около Тулона в La Favière, где, благодаря неожиданно обнаружившемуся финансово-комбинационному гению Марьи Ивановны, стали владельцами 1000 кв. метров земли у моря. Построили и подобие дома (2 комнаты с верандой) в рассрочку. Вот там и провели в тишине и на свободе—чуть ли не первый раз в жизни—все лето» (РГАЛИ, ф. 1390, оп. 2, ед. хр. 166).

...продолжение «Египетских ночей» обдумывает.— Известно, что повесть А. С. Пушкина «Египетские ночи» не была закончена. В. Я. Брюсов сделал попытку дать свою версию развития сюжета (опубликовано в альм. «Стремнины». 1915). Однако современниками (за исключением А. М. Горького) брюсовское продолжение «Египетских ночей» было воспринято скептически. *Месопотамский банк*— Месопотамия— государство Древнего мира, находившееся в междуречье Тигра и Ефрата. Саша Черный неоднократно обращался к эпитету «месопотамский», как синониму чего-то давно канувшего в небытие, либо шарлатански мифического. *Пале* (фр. palais)— дворец, особняк. *Гадание Соломона*— распространенная в народе лубочная картинка для угадывания судьбы в форме круга, разделенного на сегменты. *Канитферштан*— имя, ставшее нарицательным, обозначающим некоего мифического богача, владельца недвижимости. Вошло в обиход благодаря одноименной поэме В. А. Жуковского (1831)— перевода в стихах рассказа немецкого писателя И. Гербеля «Kannitverstan», суть которой в следующем: немецкий купец, попавший в Голландию, обращается к прохожим с вопросами: «Кому принадлежит этот дом, корабль и т. д.?» В ответ он слышит один и тот же ответ: «Канитферштан»— «Не понимаю». Купец же считает, что владельцем всех этих богатств является некий Канитферштан. ...*моя чечевичная похлебка тебе впрок пойдет.*— Выражение «чечевичная похлебка» взято из Библии (Бытие, 25, 3—34), означает «отдать свое, поступиться чем-либо значительным ради ничтожной выгоды». *Режица*— город в Латвии (с 1918 года— Резекне). *Шато*— см. с. 422. *Каширская долина*— долина на севере Индии, в предгорьях Гималаев. *Марш-фюнебр* (фр. marche funèbre)— похоронный марш.

БУБА— Сатирикон (Париж). 1931. № 3. С. 5—6. *Медонский лес*— см. с. 419. *Бесплодная смоковница*— о бездетной женщине или семье, выражение из Библии (Матф., 21, 19). *Брандахлыст*— см. с. 410. *Ком сэ жоли* (фр. comme c'est joli)— как это красиво. *Кутюрные преискуранты*— преискуранты модной женской одежды. *Антиной*— греческий юноша, любимый раб римского императора Адриана (I в. н. э.), воплощение идеала мужской красоты, обожествленный после смерти. *Салтык*— образец, лад, норв. «Соборяне»— роман Н. С. Лескова (1872). *Диферанс* (фр. différence)— различие, разница. «*Ларусс*»— серия энциклопедических изданий, основанная Пьером Ларуссом в 1856 году и выпускаемая его наследниками по сей день. Во Франции считается наиболее образцовым и авторитетным энциклопедическим изданием. Однако, как пишет в своей книге мемуаров Л. Н. Любимов, «Малый Ларусс» содержит немало казусных сведений» (Любимов Л. С. 147—148). *Полетки*— зд., очевидно, то же, что погодки— то есть дети, родившиеся с разницей в один год. *Оршад*— прохладительный напиток с миндалем и сахаром.

АФРИКАНСКИЕ ВЕЩИ— ПН. 1931, 24 мая. Прототипом главного героя рассказа послужил В. Н. Унковский (1888—1964). Врач по образованию, он сочетал медицинскую практику с литературными занятиями, активно печатался в эмигрантской прессе (статьи, очерки, рассказы). В середине 1920-х годов, вместе с другими русскими медиками (около 20 человек), работал по контракту санитарным врачом в экваториальной Африке. В 1931 году отмечалось 25-летие литературной деятельности Унковского (вероятно, к этой дате и приурочен рассказ Саши Черного). А. М. Ремизов сочинил шутовскую мистификацию о празднова-

нии юбилея «африканского доктора»: «...С речами выступили представители африканских делегаций, писатели и общественные деятели. «Имя доктора соединило все партии и сгладило цвета народов!»— по справедливому определению одного из ораторов, провозгласившего юбиляра достойным премии Мира. В ответной речи доктор вспомнил свою жизнь в Африке, указал на значение «черноводья» центральной Нигерии — «этой сокровищницы мудрости, долженствующей сыграть огромную роль,— по мнению доктора,— в судьбах человечества» («Москва». Чикаго, 1931. № 11. С. 24). *Гар д-Орсе* — железнодорожный вокзал в Париже. *Першерон* — см. с. 410. «*Архив русской революции*» — см. с. 413. *Цветта* — хищное животное семейства виверновых, размером со среднюю собаку, рыжая, с черными пятнами и полосами; мех грубый. *Приготовишка* — см. с. 407. *Сежур* (фр. séjour) — пребывание, срок жительства. *Восточный институт* — (Pontificio instituto orientale), институт в Риме, занимающийся культурой стран Восточной Европы. Имеет богатое собрание русской дореволюционной и эмигрантской периодики, книг и документов. По воспоминаниям жены поэта, в 1924 году, чтобы перебраться в Париж, Саше Черному пришлось продать свое книжное собрание в эту библиотеку. ...показала (<...> *наскудного идола*. — Речь идет, по-видимому, о статуэтке африканской богини, подаренной доктором Унковским Саше Черному, которую, в свою очередь, тот передал А. В. Щекотихиной-Потоцкой. В воспоминаниях ее сына — М. Н. Потоцкого об этом сказано следующее: «У Саши Черного был знакомый — русский врач, который долго жил в Конго и привез ему африканского божка: обнаженную женскую фигурку, примерно 30 см высоты. Мария Ивановна ворчала, что это неприлично: отвислые груди, огромный пупок... И Саша Черный преподнес фигурку Александре Васильевне (сейчас она хранится у меня в Ленинграде)» (Машинописный оригинал воспоминаний М. Н. Потоцкого находится в собрании составителя). *Маримонда* — порода обезьян. *Птифуры* — вид пирожных.

АКАЖУ — Сат. (Париж). 1931. № 14. С. 8. *Акажу* — стильная мебель из пород красного дерева, произрастающего в тропиках. *Марше-о-пюс* — см. с. 421. *Стол-директория* — стол в стиле времен французской Директории (1795—1799). *Гарусная вышивка* — см. с. 430. *Рюстик* — см. с. 409. *Кушетка Рекамье* — см. с. 409. *Арашид* — арахисовое масло. *Пудрез* — галантерейный пульверизатор.

У МОРЯ — Сат. (Париж). 1931. № 19. С. 10. *Антиной* — см. с. 426. *Нудисты* — люди, исповедующие культ обнаженного тела. Движение это в 1920—1930-е годы имело распространение в Европе. В Ла Фавьере Саша Черный мог воочию наблюдать нудистов, поскольку ими был куплен расположенный неподалеку остров Дю-Леван. У К. А. Куприной, которая тоже побывала в лагере нудистов, составилось впечатление не столь скептическое, как у Саши Черного: «На этом острове добропорядочные французские буржуа проводят свои летние каникулы нагишом. И, странное дело, когда попадаешь туда одетым, то не им становится стыдно, не они чувствуют себя неловко, а вы. Натуральная жизнь настолько здесь естественная, что у многих людей приобретает не что от животной грации, какой-то первобытности. Нравы там не разнуданные, а скорее патриархальные. Шутников и безобразников с этого острова выгоняли» (Куприна К. А. Куприн — мой отец. М., 1979. С. 225). *Исайа* — библейский пророк. По-видимому, здесь имеется в виду изображение Исайи работы Микеланджело в Сикстинской капелле.

**УЮТНОЕ СЕМЕЙСТВО**—ПН. 1931, 1 ноября. *Чесучовый пиджак*—см. с. 407. *Кви-про-кво* (лат. qui pro quo)—букв. «одно вместо другого», т. е. путаница, недоразумение. *Ракалия* (от фр. gasaille—груб. 'шваль, подонки')—негодяй, подлец. *Аркадия*—область в Древней Греции. В переносном смысле—страна, населенная счастливыми людьми.

**СТРАШНЫЙ СОН**—Заря (Харбин). 1932, 1 января. «*Бал прессы*»—традиционный праздник в эмиграции. Проводился он обычно 13 января с благотворительной целью—оказания материальной помощи литераторам. Саша Черный и его жена, как правило, принимали самое активное и непосредственное участие в этих мероприятиях, что нашло отражение в хронике культурной жизни русского зарубежья. Так, в отчете о «Бале русской прессы» в Берлине сообщалось о киоске прессы, где царствовала Н. А. Тэффи, предсказывавшая судьбу. Рядом Лоло, Саша Черный, В. Н. Немирович-Данченко (Руль. Берлин, 1922, 28 ноября). Следующие сообщения относятся к Парижу. Так, в 1926 году «Комитет помощи писателям и ученым» установил следующий порядок вечера: «Тэффи, Саша Черный и П. Потемкин будут в стихах эпитаграм предсказывать судьбу» (ПН. 1926, 8 января). В 1927 году в зале «Лютетия» с большим успехом прошел бал в пользу русских писателей и журналистов: «Публика дружно аплодировала скетчу, в котором приняли участие писатели: Бунин, Осоргин, Сургучев, Тэффи, Саша Черный, А. Яблоновский и др.» (ИР. 1927. № 4. С. 13). Годом позже появилась еще одна информация: «Приготовления к грандиозному балу прессы 15 марта идут оживленным темпом. Бал костюмированный и будет носить характер масленичного карнавала. Художником С. Лиссимом расписывается большой «чайный трактир с дворянской половиною». В числе аттракционов—русские горы, тир (дирекция А. И. Куприна, А. Черного), хороводы и пр.» (ПН. 1928, 23 февраля). Таким образом, хлопоты, сопряженные с проведением подобных мероприятий, Саша Черный знал на собственном опыте. *Д'Аннунцио Г.* (1863—1938)—итальянский писатель—романист, поэт, драматург, творчество которого отличало эстетическое любование формой и культ «сильной личности». «*Сейте разумное, доброе, вечное...*»—цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям», ставшая крылатым выражением.

**ПАСХАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ**—ПН. 1932, 1 мая. Русские люди на алюминиевых копиях Франции... Тема эта не причуда автора и не частный случай. В результате гражданской войны остатки белой армии были вынуждены искать убежища за границей—главным образом, в Турции, Болгарии, Югославии. Многие беженцы мечтали перебраться во Францию—страну, славящуюся своей культурой и гостеприимством, однако разрешение на въезд получить было непросто. Одним из таких способов являлось заключение годового контракта с французскими предпринимателями, нуждающимися в дешевой рабочей силе на шахтах и рудниках. Условия жизни и труда были там поистине каторжные. Заработка едва хватало на пропитание, и нередко кредит оказывался больше получки, что вынуждало подписывать новый контракт. «*Коль славен*»—гимн (слова М. М. Хераскова, музыка Д. С. Бортнянского), звучавший на торжественных церемониях, преимущественно с участием войск. Мелодию «Коль славен» исполняли куранты Спасской башни Московского Кремля. *Зубровая трава*—имеется в виду зубровка, пряное ароматическое многолетнее травянистое растение, ис-

пользуемое для приготовления настойки. *Финь-шампань* — коньяк высокого качества. *Фрежюс* — старинный город на юге Франции на Лазурном берегу Средиземного моря. *Тре жоли* (фр. très joli) — очень красиво. *Адонис* — в греческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты. «*Черты ее лица <...> и ласковое выражение рта и улыбки*». — Цитата из повести Л. Н. Толстого «Казаки»; портрет Марьяны.

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» — ПН. 1932, 7 августа. С подзаголовком: «Посмертный рассказ». Н. А. Тэффи в своей иронической характеристике «русского Парижа» назвала одной из его примечательных особенностей непомерное количество трактиров: «Люди зрелого возраста содержали трактиры или служили в этих трактирах: брюнеты — в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами» (Тэффи и Н. А. Городок. Париж, 1927. С. 5). Действительно, русских ресторанов (от роскошных заведений до забегаловок низшего разряда) во французской столице возникло в 1920-е годы десятки. Клиентами их были, главным образом, соотечественники, частью французы и иностранные туристы, привлекаемые российской экзотикой — национальной кухней, старорусским интерьером и услугой, русскими, цыганскими или кавказскими эстрадными номерами. Соответственно и названия этих заведений были выдержаны в сугубо русском, сказочно-былинном стиле: «Боян», «Богатырь», «Ермак Тимофеевич», «Золотой петушок», «Теремок». В этом же ряду и «Илья Муромец» — название ресторана, фигурирующего в одноименном рассказе Саша Черного. *Оршад* — см. с. 426. *Лафит* — красное бордоское столовое вино.

# СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Ком- мента- рий
<i>Анатолий Иванов. «Ах, зачем нет Чехова на свете!» (Проза Саши Черного)</i> .....	5	

## РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ В РОССИИ

Люди летом .....	27	392
Первое знакомство .....	48	395
Случай в лагере .....	82	399
Друг .....	89	400
Храбрая женщина .....	98	401
Мирицль .....	106	402
Иероглифы (Не-юмористический рассказ) .....	131	403

## НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ

Третейский суд .....	141	404
Московский случай (Рассказ обывателя) .....	152	406
Самое страшное .....	159	407
Испанская легенда .....	163	408
Экономка .....	168	408
Изобретатели .....	172	408
Иллинойсский богач .....	176	409
Диспут .....	181	410
Патентованная краска .....	185	410
Полная выкладка (Подлинное происшествие) .....	189	410
Колбасный оккультизм (Рассказ делового человека) .....	195	410
Купальщики .....	201	411
Буйабес .....	205	411
Замиритель .....	209	412
Сырная пасха .....	213	412
Греческий самодур .....	217	413
Письмо из Берлина .....	220	414

## ЭМИГРАНТСКИЕ РАССКАЗЫ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГУ

Берлинское Рождество .....	225	415
Ракета (Пасхальный рассказ) .....	227	415
Клещ .....	230	416

	Текст	Ком- мента- рий
Млечный Путь (Назидательный рассказ) .....	236	416
Дорогой подарок (Эмигрантская быль) .....	240	417
Житомирская маркиза (Святочная быль) .....	243	418
В лунную ночь .....	249	418
Путешествие из Парижа в Медон и обратно .....	254	418
Табачный патриот .....	259	419
Физика Краевича .....	262	419
Визит .....	269	420
Птичий день .....	272	421
Настоящий буйабес .....	279	421
Птичка .....	286	422
Кофе по-турецки .....	290	422
Капитан Бопп (Сентиментальный рассказ) .....	294	422
Свадьба под каланчой .....	303	423
«Тихое кабаре» .....	312	423
«Людовик Деятнадцатый» (Рассказ кроткого человека) .....	317	424
Человек с завязанными ушами (Рассказ офицера) .....	322	424
Фокс-воришка .....	326	425
Морская подушка .....	328	425
Комариные мощи .....	330	425
Козья ферма .....	336	425
Отборные дыни .....	338	425
Мелкоземельный грипп .....	340	425
Буба .....	347	426
Африканские вещи .....	351	426
Акажу .....	359	427
У моря .....	362	427
Уютное семейство .....	364	428
Страшный сон .....	371	428
Пасхальный сюрприз .....	373	428
«Илья Муромец» .....	382	429
 Комментарий .....	 390	 —



## **Саша Черный**

**Собрание сочинений в пяти томах  
Том четвертый**

**Редактор *И. Л. Тимашева*  
Художественный редактор *В. И. Сергутин*  
Технический редактор *Л. В. Жигульская*  
Корректор *О. В. Мокрович***

**Сдано в набор 05.03.96. Подписано к печати 13.06.96.  
Формат 60 × 90<sup>1/16</sup>. Гарнитура Таймс. Бумага офс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 27,0. Уч.-изд. л. 31,1.  
Тираж 15 000 экз. Заказ 2033. С48. ЛР № 040571 от 19.01.93 г.**

**Издательство «Эллис Лак»  
123242, Москва, ул. Большая Грузинская, 3, стр. 1  
Тел. 254-74-72  
Факс 254-52-80**

**Государственное ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного  
Знамени Московское предприятие «Первая Образцовая типография» Комитета  
Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Валуевая, 28**